This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

3 3433 06986564 4

6160

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО

ТОМЪ VII.

1855 г. — 1877 г.

ИЗДАНІЕ

Графа С. Д. Шереметева.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 л., 7

1882.

6160

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО

ТОМЪ VII.

1855 г. — 1877 г.

ИЗДАНІЕ

Графа С. Д. Шереметева.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 л., 7

1882.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
R 1907 L

(675)

ЛИТТЕРАТУРНЫЕ

КРИТИЧЕСКІЕ и БІОГРАФИЧЕСКІЕ

ОЧЕРКИ

ТОМЪ VII.

1855 г.—1877 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 л., 7.
1882.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
R 1907 L

ЛИТТЕРАТУРНЫЕ

КРИТИЧЕСКІЕ и БІОГРАФИЧЕСКІЕ

ОЧЕРКИ

ТОМЪ VII.

1855 г.—1877 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 л., 7.
—
1882.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
R 1907 L

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		стр.
LXXV. (1855)	18 Августа 1855 года	1— 4
LXXVI. (1855)	Освященіе церкви во имя Святыя Праведныя Елисаветы въ Висбаденѣ	5— 15
LXXVII. (1855)	Нѣсколько словъ о народномъ просвѣщеніи въ настоящее время	16— 27
LXXVIII. (1855)	О славянофилахъ	28— 31
LXXIX. (1857)	Обозрѣніе нашей современной литтературной дѣятельности съ точки зрѣнія цензурной	32— 47
LXXX. (1858)	О цензурѣ	48— 51
LXXXI. (1859)	Ферней	52— 61
LXXXII. (1860)	Рѣчь, произнесенная на юбилеѣ пятидесятилѣтней государственной дѣятельности Е. П. Ковалевскаго	62— 64
LXXXIII. (1861)	Рѣчь, произнесенная княземъ П. А. Вяземскимъ на юбилеѣ своей пятидесятилѣтней литтературной дѣятельности	65— 68
LXXXIV. (1861)	О Запискахъ Порошина	69— 77
LXXXV. (1861)	Сперанскій	78— 79
LXXXVI. (1865)	Допотопная или допожарная Москва	80—116
LXXXVII. (1865)	Вилла Вермонъ	117—127
LXXXVIII. (1866)	Памяти П. А. Плетнева	128—132
LXXXIX. (1866)	О письмахъ Карамзина	133—147
XC. (1866)	Стихотворенія Карамзина	148—157
XCI. (1866)	Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ	158—167
XCII. (1867)	Рѣчь, произнесенная при открытіи Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, въ присутствіи Его Императорскаго Высочества Государя Цесаревича и Великаго Князя Александра Александровича, нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора	168—169

		стр.
XCIII.	(1867) Замѣтка изъ воспоминаній	170—172
XCIV.	(1868) Князь Василій Андреевичъ Долгоруковъ . . .	173—180
XCV.	(1868) По поводу статьи о Полевомъ и Бѣлинскомъ .	181—182
XCVI.	(1868) Воспоминаніе о Булгаковыхъ	183—190
XCVII.	(1868) Воспоминаніе о 1812 годѣ	191—213
XCVIII.	(1868) Графъ Алексѣй Алексѣевичъ Бобринскій. . .	214—230
XCIX.	(1868) Князь Козловскій	231—257
C.	(1869) Озеровъ	258—267
CI.	(1869) Баратынскій	268—269
CII.	(1871) Замѣтка о запискѣ Карамзина, представленной въ 1820 году, Императору Александру I касательно освобожденія крестьянъ . . .	270—275
CIII.	(1873—1875) Современныя темы или канва для журнальныхъ статей	276—305
CIV.	(1873) Мицкѣвичъ о Пушкинѣ	306—332
CV.	(1873) Дѣла или пустяки давно минувшихъ лѣтъ. (Письмо къ М. Н. Лонгинову).	333—344
CVI.	(1873) Отмѣтки при чтеніи историческаго похвальнаго слова Екатеринѣ II, написаннаго Карамзинымъ	345—373
CVII.	(1874—1875) Грибоѣдовская Москва	374—382
CVIII.	(1875) Письмо князя П. А. Вяземскаго князю Д. А. Оболенскому, издателю Хроники недавней старины	383—404
CIX.	(1875) По поводу бумагъ В. А. Жуковскаго. (Два письма къ издателю Русскаго Архива).	405—424
CX.	(1876) По поводу записокъ графа Зенфта	425—464
CXI.	(1876) Отрывокъ изъ письма князя П. А. Вяземскаго графу С. Д. Шереметеву	465—469
CXII.	(1876) Жуковскій въ Парижѣ	470—484
CXIII.	(1877) Московское семейство стараго быта	485—499
CXIV.	(1877) Замѣтки и воспоминанія о графѣ Ростопчинѣ .	500—514

LXXV.

18 АВГУСТА 1855 ГОДА.

Сегодня минуло шесть мѣсяцевъ съ того роковаго дня, въ который Россія лишилась Императора Николая.

Нельзя сказать, чтобы въ сей день общая скорбь о незабвенной утратѣ возобновилась; нѣтъ, сія скорбь еще вполнѣ жива въ сердцахъ оплакивающаго его семейства, въ душѣ народа, его оплакивающаго! Но церковь и обычаи установили урочные дни, въ которые любовь и память по умершихъ особенно обращаются къ нимъ и услаждаютъ скорбь свою и духовно укрѣпляютъ ее заупокойными молитвами. И сегодня въ соборной церкви Свв. Апостоловъ Петра и Павла, предъ гробницею Николая I, въ виду родственныхъ гробницъ Петра, Елисаветы, Екатерины, Александра, совершена была паннихида о немъ, достойномъ вѣчныя памяти и вѣчныя славы. Царская семья, а позднѣе Дворъ, высшіе сановники, чиновники военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, народъ спѣшили во храмъ, чтобы съ любовью и вѣрою творить по немъ умилительныя и торжественныя поминки.

Мысль и душа каждаго переносились обратно въ минувшее время, протекшее съ обычной своей скоротечностью.

Между тѣмъ, въ теченіе этихъ шести мѣсяцевъ, событія шли своимъ чередомъ; и какія событія! Исторія едвали представляетъ имъ подобныя. Но ни время, ни событія не измѣнили Россіи. Духъ ея еще носитъ отпечатокъ того, который тридцать лѣтъ правилъ судьбами ея. Отъ Царя до подданнаго Россія понынѣ остается вѣрна Ему.

Вражда могла думать и надѣяться, что съ перемѣною царствованія будетъ перемѣна и въ правилахъ, руководившихъ Русскою политикою. Она думала, что имѣла упорнымъ противникомъ себѣ одну личность Самодержца; что съ кончиною его, Русское правительство будетъ сговорчивѣе; что новый Царь, начиная, такъ сказать, новый періодъ въ государственной жизни народа, не связанный событіями прошедшаго, можетъ снизойти на уступки и удовлетворенія требованіямъ Западныхъ Державъ; что Русскій народъ, утомленный долгою бранью, истощенный тяжкими пожертвованіями, будетъ ждать мира отъ новаго Царя. Но вражда ошиблась. Она имѣла дѣло не съ *волею*, но съ *убѣжденіемъ* Самодержца, — съ убѣжденіемъ, которое съ высоты Престола и изъ глубины царской души излилось, проникло и воодушевило весь народъ. Сіе убѣжденіе перешло къ Царскому Преемнику, съ державнымъ наслѣдствомъ. Онъ принялъ его вмѣстѣ съ правами и обязанностями своими, вмѣстѣ съ добровольною, но священною отвѣтственностью предъ Богомъ и Отечествомъ, надъ которымъ Богъ его поставилъ; предъ памятью великихъ предковъ, коихъ онъ внукъ и наслѣдникъ; предъ памятью великаго отца, коего онъ сынъ, питомецъ и преемникъ; предъ потомствомъ, предъ грядущимъ Россіи, предъ сыномъ своимъ, которому также онъ долженъ нѣкогда сдать чистымъ и честнымъ свое великое и священное достояніе.

Такъ, вражда ошиблась. Россія понынѣ осталась вѣрна Императору Николаю; въ день 18 августа она все еще та же, какою была по день 18 февраля.

Державный сынъ вѣренъ памяти державнаго отца. Какъ родитель его, онъ готовъ на честный миръ; но какъ родитель, готовъ и на упорную, кровопролитную борьбу, если вражда, безумная въ началахъ своихъ и вѣроломная и ожесточенная въ дѣйствіяхъ, не отречется отъ своихъ дерзкихъ и несбыточныхъ требованій.

Вѣренъ ему и народъ, который, въ виду гробницы и престола, воодушевляется двойнымъ усердіемъ, возгарается двойнымъ пламенемъ и готовъ принести всѣ жертвы и всего себя на жертву, чтобы оправдать прошедшее и отстоять настоящее; полный любви и благодарности къ минувшему царствованію и безусловно и неограниченно преданный воцарившемуся Государю.

Вѣрно ему и войско его, которое онъ любилъ, усыновилъ любовью своею и которое безпримѣрнымъ мужествомъ и самоотверженіемъ оправдывало предъ живымъ, и нынѣ оправдываетъ предъ Царскою тѣнью, довѣренность и любовь, которыя онъ къ нему питалъ и, въ изъявленіи послѣдней своей воли и послѣднихъ желаній, передалъ своему сыну и преемнику.

Вѣрность свою памяти его запечатлѣлъ и ты, святодоблестный и многострадальный Севастополь, постоянный предметъ его живыхъ попеченій, забота и скорбь его предсмертныхъ думъ.

Кровью залитая почва твоя, твои окровавленныя и сокрушенныя стѣны, освященныя паденіемъ столькихъ славныхъ жертвъ, столькихъ жертвъ неизвѣстныхъ и безгласныхъ, свидѣтельствуютъ о неустрашимости, о доблести твоихъ мужественныхъ защитниковъ.

За камни не отвѣчаемъ, но ручаемся за людей. Грозные и многочисленные непріятели, ражженные безпримѣрною злобою и вооруженные всѣми пособіями и орудіями науки убійства и разрушенія, могутъ сокрушить каменныя твердыни, но духъ твой не сокрушимъ, христолюбивое, мужественное, мученическое воинство! Вѣнцы земной славы и нетлѣнные вѣнцы, обѣтованные воинамъ, павшимъ за Вѣру, за Отечество и братьевъ, равно принадлежатъ тебѣ.

Чтобы съ тобою ни было, возлюбленный и геройскій Севастополь, ты отнынѣ народная святыня Русской земли; ты гордость, слава и любовь Россіи!

Въ сей день, ознаменованный нашими заупокойными молитвами, Севастопольское войско, безъ сомнѣнія, вспомнило слова, переданныя ему по волѣ Царя и нынѣ ему повторяемыя изъ глубины его гробницы:

„Благодарю всѣхъ за усердіе. Скажи нашимъ молодцамъ, что я на нихъ надѣюсь. Никому не унывать; надѣяться на милосердіе Божіе; помнить, что мы, Русскіе, защищаемъ родимый край и Вѣру нашу и предаться съ покорностью волѣ Божіей. Да хранитъ тебя и васъ всѣхъ Господь! Молитвы мои за васъ и за наше правое дѣло, а душа моя и всѣ мысли мои съ вами“.

Многихъ уже нѣтъ изъ тѣхъ, къ которымъ были обращены сіи священныя, задушевныя слова, полныя великодушія и покорности и высшаго краснорѣчія, то есть краснорѣчія души. Нѣкото-

рые изъ храбрыхъ опередили Царя своего, другіе вскорѣ за нимъ послѣдовали. И тѣ, и другіе соединились нынѣ съ великимъ вождемъ своимъ, съ великимъ царскимъ сподвижникомъ, и вмѣстѣ съ Нимъ, какъ на землѣ бодрствовали и трудились они за Россію, такъ нынѣ молятся за нее предъ престоломъ Того, Коего пути неисповѣдимы, но Который сказалъ ближнимъ и вѣрнымъ своимъ: „Да не смущается сердце ваше: вѣруйте въ Бога и въ Мя вѣруйте“. „Претерпѣвый до конца, той спасенъ будетъ“.

Но пережившіе ратныхъ братьевъ своихъ, но новые сподвижники, поспѣшившіе со всѣхъ концовъ Русской земли стать въ ряды воинственной дружины, повторили эти священныя слова съ благоговѣйнымъ умиленіемъ. Они почерпнутъ въ нихъ новое мужество, новую силу на отраженіе непріятеля, или на достохвальную смерть, которую въ роды родовъ ублажатъ церковь и благодарное Отечество.

LXXVI.

ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВИ ВО ИМЯ СВЯТЫЯ ПРАВЕДНЫЯ ЕЛИСАВЕТЫ ВЪ ВИСБАДЕНѢ.

1855.

Хочу подѣлиться съ вами, любезнѣйшіе и отдаленнѣйшіе друзья, впечатлѣніями, которыя глубоко врѣзались въ душу мою и по многимъ отношеніямъ найдутъ, безъ сомнѣнія, теплое сочувствіе и въ вашей. Вамъ извѣстно, что, по приказанію и особенною заботливостью герцога Нассаускаго, производилось въ Висбаденѣ сооруженіе православнаго храма въ память супруги его, въ Бозѣ почившей Великой Княгини Елисаветы Михаиловны. Нынѣшнею весною храмъ сей окончательно отстроенъ и освященіе онаго назначено было 13 (25) мая текущаго года.

Постройка новой церкви и освященіе ея есть событіе, вездѣ и всегда возбуждающее живое соучастіе въ сердцѣ каждаго, *любящаго благолѣпіе дома* Господня. Церковь есть соборное, избранное мѣсто, куда стекаются общею любовью и въ одно семейство всѣ братья одного исповѣданія, куда стремятся всѣ молитвы, коими воскриляется душа наша, всѣ упованія, всѣ чистыя радости, всѣ скорби, коими испытуется она во дни своего земнаго странствованія. Всѣ другія человѣческія зданія, какъ ни поражай они своимъ величіемъ, своею роскошью, своимъ значеніемъ, какъ ни удовлетворяй они разумнымъ потребностямъ жизни нравственной и духовной, но все же они не что иное, какъ однодневныя палатки, разбитыя на временномъ пути нашего скоропреходящаго бытія. Церковь одна есть зданіе, построенное на пути вѣчности. Не даромъ цер-

ковь именуется Божіимъ домомъ: въ ней болѣе, нежели гдѣ-нибудь, сыны Божіи чувствуютъ себя дома И кто же въ часъ радости и въ часъ скорби не ощущаетъ въ себѣ иногда неодолимой потребности отдохнуть, освѣжиться духовно, духовно укрѣпиться подъ Отцовскимъ кровомъ, *отложивъ всякое житейское попеченіе*, или очистивъ и освятивъ его чувствомъ любви, благодарности и Вѣры. Если вездѣ и для всѣхъ Божій домъ имѣетъ подобное значеніе, то тѣмъ еще живѣе и полнѣе оно на чужбинѣ и особенно для Русскаго. Для насъ православный храмъ есть духовная и, вмѣстѣ съ тѣмъ, народная святыня. Русская церковь, гдѣ бы ни была она,—есть Россія. Въ ней мы окружены, проникнуты духовною жизнью родины; въ ней слышимъ мы языкъ ея въ высшихъ и благозвучнѣйшихъ выраженіяхъ роднаго слова. Сыны западныхъ церквей лишены этого чистаго, намъ свято принадлежащаго наслажденія.

Легко послѣ того понять, съ какимъ усердіемъ воспользовался я предстоящимъ мнѣ случаемъ присутствовать при священномъ обрядѣ, который своею христіанскою и народною торжественностью обѣщалъ душѣ моей такъ много отрадныхъ и душеспасительныхъ впечатлѣній. Готовясь на дняхъ къ отъѣзду въ Россію, мнѣ пріятно было заключить свое долгое и болѣзненное странствованіе по чужимъ краямъ участіемъ въ событіи въ высшемъ смыслѣ Русскомъ. Еще другое побужденіе, равно всесильное и равно близкое сердцу моему, влекло меня нынѣ въ Висбаденъ. Въ Бозѣ почившій Его Императорское Высочество Великій Князь Михаилъ Павловичъ всегда удостоивалъ меня милостиваго своего доброжелательства: глубочайшая преданность моя къ живому обратилась въ признательное благоговѣніе къ его незабвенной памяти. Тѣмъ-же чувствомъ благодарной и неизмѣнной преданности глубоко проникнута душа моя и къ Августѣйшей Особѣ Великой Княгини Елены Павловны. Предъ отъѣздомъ моимъ изъ Россіи, на который я былъ вынужденъ тяжкою и упорною болѣзнью, Ея Императорское Высочество благоволила оказать мнѣ милостивое и сердобольное участіе, которое неизгладимо запечатлѣно въ душѣ моей. Слабою данью признательности радъ я былъ ознаменовать конецъ путешествія, которое предпринято было подъ благодѣтельнымъ ея напутствіемъ. Могъ ли я отказаться отъ исполненія священной обязанности и отъ грустной

отрады поклониться смертнымъ останкамъ ихъ возлюбленной дочери, которые, послѣ десятилѣтняго перепутья, могли, наконецъ, быть водворены на постоянное и родное жительство подъ материнскою сѣнью Православной церкви?

Вслѣдствіе того, отложивъ на нѣсколько дней отъѣздъ мой въ Россію, отправился я изъ Баденъ-Бадена 12 (24) мая и въ тотъ-же день вечеромъ, благодаря желѣзной дорогѣ, былъ я уже въ Висбаденѣ. Въ вагонахъ и предъ входомъ въ Висбаденскія гостинницы замѣтно было особенно Русское движеніе: съ разныхъ сторонъ соотечественники наши съѣзжались на православное торжество и чаще обыкновеннаго раздавались здѣсь и тамъ Русскія рѣчи [1]).

13 (25) въ девять часовъ утра мы были собраны въ Русской церкви, еще издали привѣтствовавшей насъ съ одного изъ уступовъ Таунусскихъ горъ своими родными намъ пятью куполами и золотомъ блестящими пятью крестоносными главами. Какъ много ни наслышались мы прежде о благолѣпіи церковнаго зданія, но оно превзошло всеобщее ожиданіе. Все тутъ соединено, чтобы изумить и порадовать самое взыскательное вниманіе. Величавость, красивость, соразмѣрность, роскошь и утонченная отдѣлка всѣхъ частностей и малѣйшихъ подробностей въ художественномъ исполненіи зодчества и живописи, все слилось въ одну цѣлую и стройную громаду, исполненную изящности и величія и воодушевленную религіозною мыслью и религіознымъ чувствомъ. И въ Россіи подобный храмъ былъ бы особенно замѣчательнымъ и отраднымъ явленіемъ. Здѣсь, на чужой сторонѣ и посреди чуждаго ему народонаселенія, онъ поражаетъ еще живѣйшимъ и болѣе глубокимъ впечатлѣніемъ. Благочестивый создатель Висбаденскаго храма Его Высочество герцогъ Нассаускій сдѣлалъ доброе и прекрасное дѣло. Благодарность и достойная хвала ему! И въ храмѣ семъ, на многія и

---

[1]) Здѣсь встрѣтилъ я: повѣреннаго въ дѣлахъ при Германскомъ союзѣ Д. Г. Глинку съ секретаремъ миссіи барономъ Менгденомъ, повѣреннаго въ дѣлахъ при Баденскомъ дворѣ Н. А. Столыпина съ супругою, секретаря Стутгартской миссіи князя Щербатова съ супругою, князя А. Н. Волконскаго, князя Гагарина—секретаря при Аѳинской миссіи, Н. А. Свистунову, княгиню Гагарину съ невѣсткою ея, вдовою Мартыновою, графиню Шуазель, урожденную княжну Голицыну, баронессу Клинковстремъ и еще нѣсколько Русскихъ семействъ.

долгія лѣта, доколѣ будетъ проповѣдано въ немъ слово Божіе, жертва сія не будетъ забыта, и прольется изъ души молитва о создателѣ *святыя обители сея*.

Мѣстоположеніе храма къ сѣверо-западу отъ Висбадена, въ 45 минутахъ пути отъ средоточія города, отмѣнно красиво. Оно очень нравилось Ея Императорскому Высочеству, и было одною изъ любимыхъ ея прогулокъ по окрестности. Это предпочтеніе не было ли тайнымъ, безсознательнымъ предчувствіемъ, что изъ всей живописной и благами природы ущедренной Нассауской области, гдѣ любовь супруга, любовь народа и святыя радости семейной жизни обѣщали ей такъ много счастія; не было-ль это предчувствіемъ, что вскорѣ одинъ этотъ уголокъ останется за нею въ вѣчное и неотъемлемое владѣніе? Кругомъ зеленѣетъ лѣсъ, а къ сѣверу возвышаются лѣсистыя Таунусскія горы. Византійская архитектура храма съ куполами своими, смѣло и, такъ сказать, одушевленно поднимающимися къ небу, отличается рѣзкимъ и самобытнымъ рисункомъ своимъ отъ мрачнаго однообразія готическихъ зданій, разбросанныхъ по берегамъ Рейна. Основаніе храма извнѣ представляется квадратнымъ; внутри же оно образуетъ правильно равноконечный крестъ: углы, образуемые оконечностями креста, застроены четырьмя башнями, которыя дверьми соединяются съ внутренностью храма. Онъ освѣщается посредствомъ четырехъ тройныхъ оконъ, прорѣзанныхъ подъ каждою изъ четырехъ арокъ, на которыхъ держится куполъ. Надъ тремя изъ этихъ оконъ извнѣ помѣщено по одному барельефному изображенію въ овальной формѣ и значительномъ размѣрѣ. Сіи барельефы—художественно-замѣчательное произведеніе Берлинскаго скульптора Гопфгартена, который, впрочемъ, обезсмертилъ имя свое еще превосходнѣйшимъ твореніемъ, составляющимъ новую замѣчательность Висбаденскаго храма, о которой упомянемъ ниже. Въ барельефахъ изображены: на восточной сторонѣ—Св. Архистратигъ Михаилъ, на южной—Св. Праведная Елисавета, на западной — Св. Царица Елена, которой преимущественно быть здѣсь подобаетъ, какъ небесной представительницѣ за матерь усопшей Великой Княгини и вмѣстѣ съ тѣмъ усердной основательницѣ благолѣпныхъ храмовъ, достойно служившихъ Висбаденскому образцемъ. Къ сѣверной же стѣнѣ, непосредственно

примыкающей къ горѣ, сдѣлана выдающаяся изъ цѣлаго пристройка, внутри отдѣленная отъ храма завѣсою, и въ которой помѣщенъ надгробный памятникъ Государыни Великой Княгини. Внутреннее расположеніе и украшеніе храма вполнѣ соотвѣтствуютъ величію и изящности цѣлаго зданія. Просторъ и вышина съ перваго взгляда пріятно поражаютъ соразмѣрностью своею. Ровное освѣщеніе представляетъ всѣ частности въ приличномъ и выгодномъ свѣтѣ. Стѣны покрыты частью темно-сѣрымъ, частью темно-голубымъ и темно-красноватымъ нассаускимъ мраморомъ; полъ въ видѣ мраморнаго паркета также изъ здѣшняго темнаго и бѣлаго мрамора. Но однимъ изъ важнѣйшихъ и въ высшей степени изящнымъ украшеніемъ зданія служитъ его иконостасъ, раздѣленный на три яруса и сдѣланный изъ бѣлаго каррарскаго мрамора по плану, составленному Висбаденскимъ архитекторомъ Гофманомъ, строившимъ храмъ. Назначенный къ производству сей постройки, онъ ѣздилъ въ Россію съ тѣмъ, чтобы изучить въ С.-Петербургѣ и Москвѣ Русское церковное зодчество. Природное дарованіе и прилежное и добросовѣстное изученіе его увѣнчаны были полнымъ успѣхомъ, ознаменовавшимся въ блистательномъ исполненіи великаго труда.

Иконы, помѣщенныя въ трехъ ярусахъ иконостаса, писаны С.-Петербургскимъ художникомъ Нефомъ, и пожалованы храму Ея Императорскимъ Высочествомъ Государынею Великою Княгинею Еленою Павловною, такъ же какъ и богатая ризница, въ которую было облачено духовенство въ день освященія храма. За исключеніемъ образовъ Спасителя, Божіей Матери и Тайной Вечери, остальные 18 писаны на золотомъ грунтѣ и 12 изъ нихъ въ полный ростъ человѣческій. Трудно найти даже и въ Россіи такое собраніе иконъ, которое было бы во всѣхъ частяхъ своихъ такъ тщательно и изящно отдѣлано. Наибольшее вниманіе обращали на себя изображенія: Божіей матери съ Божественнымъ Младенцемъ на рукахъ (у Царскихъ вратъ), Святой Маріи Магдалины надъ южною боковою дверью алтаря (въ среднемъ ярусѣ), Святой Царицы Елены и Святой Великомученицы Екатерины (противъ лѣваго клироса въ нижнемъ ярусѣ).

Въ верхней части храма,—тамъ, гдѣ оканчивается иконостасъ, начинается рядъ священныхъ стѣнныхъ изображеній, писанныхъ

также на золотомъ грунтѣ Берлинскимъ профессоромъ Гопфгартеномъ (родственникомъ скульптора того же имени). На углахъ подъ куполомъ изображены святые пророки; на аркахъ, поддерживающихъ куполъ, св. апостолы и ветхозавѣтные праведники: Моисей, Ааронъ, Илія и Елисей. Въ самомъ куполѣ представленъ ликъ ангеловъ, парящихъ къ небу. Подъ самою главою купола изображено всевидящее Око Божіе. Въ алтарѣ, воскресшій Спаситель представленъ на оконномъ стеклѣ Мюнхенской работы.

Памятникъ въ Бозѣ почившей Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини, воздвигнутый въ особой постройкѣ, отдѣленной завѣсою отъ внутренности храма, и слѣдовательно невидимый, хотя собственно и не принадлежитъ ему, но составляетъ одно изъ лучшихъ его украшеній. Великая Княгиня представлена лежащею на одрѣ. Сонъ ли это отдыхающей жизни? Безсмертное ли успеніе странницы, уже совершившей свой путь земной? Трудно рѣшить! Такъ много жизни и теплоты въ этомъ неподвижномъ и холодномъ мраморѣ, такое ясное и уже безплотное спокойствіе въ выраженіи лица, во всемъ станѣ, въ членахъ. Нельзя хладнокровно и отчетливо входить во всѣ подробности превосходнаго исполненія труда, коимъ г. Гопфгартенъ запечатлѣлъ имя свое въ спискѣ изящнѣйшихъ и первостепенныхъ художниковъ нашего времени. Не только слова, но, по мнѣ, и сама живопись не въ силахъ замѣнить и передать впечатлѣнія, которыя съ такою истиною и полнотою отражаются въ чувствахъ при созерцаніи мастерскаго произведенія ваятельнаго искусства.

Изъ всѣхъ церковныхъ обрядовъ, обрядъ освященія церкви есть одинъ изъ торжественнѣйшихъ и умилительнѣйшихъ. Оно такъ и должно быть. Царь славы нисходитъ на землю и благоволитъ водвориться въ обитель, устроенную Ему слабыми, но усердными руками Его поклонниковъ и молитвенниковъ. Святая церковь предписываетъ священнослужителямъ самимъ созидать Престолъ для Царя славы, омывая, отирая и наконецъ украшая престольную святыню священными одеждами. За тѣмъ слѣдуетъ торжественное шествіе кругомъ освящаемаго храма съ хоругвями, зажженными свѣчами, иконами и наконецъ со святымъ антиминсомъ на главѣ настоятеля, предварительно уже освященнымъ рукою епископа и снабженнымъ

частью святыхъ мощей. Весьма знаменательно возглашеніе настоятеля предъ храмомъ, когда процессія останавливается у западныхъ затворенныхъ вратъ его: „Возьмите врата князи ваша, и внидетъ Царь славы“. На что хоръ пѣвчихъ внутри храма отвѣчаетъ: „Кто есть сей Царь славы“? И съ отвѣтомъ настоятеля: „Господь силъ, той есть Царь славы“, врата храма отворяются, и при общемъ пѣніи: „Господь силъ, той есть Царь славы“, всѣ вмѣстѣ съ невидимымъ Царемъ входятъ въ новое селеніе Божіе. За тѣмъ слѣдуютъ молитвы и отпустъ. По отпустѣ, чтеніе часовъ и святая литургія.

Все богослуженіе исполнено было со всевозможною торжественностью, съ благоговѣніемъ и пышностью. Три священника: Стутгартскій, Берлинскій и Висбаденскій и Веймарскій діаконъ совершали богослуженіе. Было два хора превосходныхъ пѣвчихъ: одинъ прибывшій изъ Стутгарта, другой составленный въ Висбаденѣ изъ Нѣмцевъ, которые не только пѣли отлично, но терпѣливою заботливостью Висбаденскаго священника обучены были совершенно правильному произношенію Русскихъ словъ. Священникъ Янышевъ сказалъ приличное обстоятельству и торжеству духовное слово, которое глубоко отозвалось въ душѣ слушателей. Жалѣю, что не могу сообщить вамъ выписокъ, не имѣя его подъ руками, такъ же какъ и слова протоіерея Базарова, который въ присутствіи сановниковъ Двора, чиновниковъ и многихъ иновѣрныхъ посѣтителей, прочелъ на Нѣмецкомъ языкѣ краткое надгробное слово въ память Августѣйшей Покойницы. Словомъ сказать, хотя и далеко отъ родины, духомъ, помышленіемъ и всѣми чувствами своими могли мы вообразить себѣ, что мы не на чужбинѣ, а на святой Руси, посреди роднаго Православія. Здѣсь кстати замѣтить съ должною благодарностью, что вообще въ заграничныхъ Русскихъ церквахъ богослуженіе совершается съ отмѣннымъ благочестіемъ. Священники въ высшей степени образованные, благочестивые и усердные къ исполненію своихъ священныхъ обязанностей. Не только услаждаютъ они духовною отрадою соотечественниковъ, имѣющихъ счастіе сблизиться съ ними, но они умѣютъ заслуживать уваженіе и сочувствіе даже и иновѣрныхъ жителей въ мѣстахъ ихъ пребыванія. Въ числѣ многихъ заслугъ, оказанныхъ пользамъ Русской Церкви

нашимъ Святѣйшимъ Синодомъ, выборъ достойныхъ представителей Русской Церкви за границею не долженъ быть пропущенъ безъ вниманія и признательности.

Эту заслугу могутъ особенно оцѣнить Русскіе, заброшенные въ чужіе края недугами и желаніемъ возстановить здоровье свое вліяніемъ лучшаго климата и благодѣяніями щедрой и цѣлительной природы. Для насъ Русская церковь, Русская обѣдня, слышанная на чужбинѣ, имѣютъ невыразимую прелесть и для души цѣлительную и успокоительную силу. Нѣтъ сомнѣнія, что въ каждомъ благонастроенномъ сердцѣ чувство родины, чувство родное не только не ослабѣваетъ за границею, не притупляется отъ различныхъ и многостороннихъ внѣшнихъ впечатлѣній, но напротивъ изощряется, крѣпнетъ и болѣе и глубже сосредоточивается въ себѣ. Каждый изъ насъ готовъ сказать съ Французскимъ поэтомъ: „Plue je vis l'étranger, plus j'aimai mon pays“, или съ Русскимъ: „Мила намъ добра вѣсть о нашей сторонѣ“. Не знаю, какъ объяснить, но оно положительно вѣрно. Въ Россіи жадно прислушиваемся ко всему, что дѣлается въ Европѣ: посреди разнообразія, шума, тревоги, соблазновъ Европейскихъ, вниманіе наше преимущественно обращено на Россію. Каждая вѣсть, каждый звукъ, долетающіе до насъ изъ родины, западаютъ въ душу, сладостно или горестно ее волнуя. Мы какъ-то утѣшаемъ себя въ отсутствіи изъ Россіи всеобъемлющимъ господствующимъ въ насъ чувствомъ и сознаніемъ, что мы Русскіе. Въ Россіи многіе хлопочутъ какъ бы прочесть листокъ Journal des Débats, за границею жадно кидаемся на листокъ Сѣверной Пчелы и Инвалида, и прочитываемъ его отъ строки до строки. Это родное чувство, эта Русская потребность всегда отыскивались въ душѣ Русскаго путешественника: въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ они еще могущественнѣе и увлекательнѣе. И гдѣ же болѣе и отраднѣе, какъ не въ нашей церкви, можемъ утолить сей задушевный голодъ, сію жажду Русскихъ впечатлѣній, Русскихъ ощущеній разумныхъ и нравственныхъ? Какъ выразить умиленіе, воодушевленіе наше при слышаніи церковныхъ молитвъ: „о недугующихъ, страждущихъ, плѣненныхъ и о спасеніи ихъ„; „о Благочестивѣйшемъ, самодержавнѣйшемъ Великомъ Государѣ нашемъ Императорѣ всея Россіи; о державѣ, побѣдѣ, пребываніи,

мирѣ, здравіи, спасеніи его и наипаче поспѣшити и пособити ему во всѣхъ, и покорити подъ нозѣ его всякаго врага и супостата", и „о всемъ христолюбивомъ воинствѣ"; „о блаженныхъ и приснопамятныхъ, святѣйшихъ патріарсѣхъ православныхъ и благочестивыхъ царѣхъ и благовѣрныхъ царицахъ и о всѣхъ прежде почившихъ отцѣхъ и братіяхъ"! Каждое слово изъ сихъ молитвъ глубоко отзывается въ душѣ; кажется, оно пріемлетъ въ ней новое, доподнительное, усиленное значеніе. Церковное наше благозвучное пѣніе умиляетъ и окриляетъ душу и, увлекая ее, переноситъ то въ земную отчизну, то въ небесную. Никогда не присутствовалъ я при Русскомъ богослуженіи за границею, чтобы слезами не отвѣчать на нѣкоторыя изъ нашихъ молитвъ. Признаюсь, въ самомъ Іерусалимѣ, въ сей святынѣ, въ семъ живомъ храмѣ Бога живаго, умершаго и воскресшаго, я невольно тосковалъ о нашемъ богослуженіи, о нашемъ молитвенномъ языкѣ и пѣніи.

Въ полночь на 14 (26) мая, совершена была православнымъ священникомъ литія предъ выносомъ гроба блаженной памяти Великой Княгини; послѣ чего онъ взялъ образъ Спасителя, которымъ почившая была благословлена отъ своихъ высокихъ родителей, и вмѣстѣ съ тѣмъ открылась траурная процессія въ новую православную церковь, гдѣ была приготовлена встрѣча со стороны прочаго Русскаго духовенства. Процессія сія проходила чрезъ многія улицы, наполненныя народомъ, не смотря на позднюю пору, окна домовъ были открыты и изо всѣхъ выглядывали лица. Память Великой Княгини жива въ столицѣ, которую она такъ недолго украшала присутствіемъ своимъ; но и въ это недолгое время успѣла добродѣтелью своею и прозорливою, и дѣятельною благотворительностью оставить по себѣ незабвенные слѣды, которые Русскій съ радостью и благодарностью встрѣчаетъ вездѣ, гдѣ жила, или гдѣ живетъ благословенная отрасль нашего Царскаго Дома.

Картина была въ высшей степени поразительная и трогательная. Благоуханная, тихая, теплая, ярко освѣщенная мѣсяцемъ ночь таинственностью и торжественностью своею вполнѣ соотвѣтствовала умилительному дѣйствію, которое совершалось на землѣ. Съ возвышенія, на которомъ стоитъ церковь, видно было, какъ погребальная процессія, при зажженныхъ факелахъ, медленно поднима-

лась на гору и приближалась къ мѣсту своего назначенія. Послѣдній земной переходъ Странницы, которая такъ недолго жила на землѣ и которой по смерти ея суждено было десять лѣтъ ожидать, пока заботливостью любви, ее оплакивающей, былъ устроенъ и освященъ для ея останковъ пріютъ, ея достойный. Звуки погребальной военной музыки заунывно раздавались въ ночной тишинѣ.

Наконецъ почившая Странница дома! Церковь приняла ее на свое лоно и осѣнила кровомъ и крестомъ своимъ. Гробъ поставленъ посреди храма, ярко освѣщеннаго, и мраморныя стѣны блещутъ; отражая многочисленные огни. Заупокойная служба есть печальный, но вмѣстѣ съ тѣмъ и утѣшительный обрядъ. Началась паннихида: поистинѣ ночное бдѣніе! Умилительность заупокойныхъ нашихъ церковныхъ молитвъ и пѣсней знакома каждому изъ насъ. Въ комъ не пробуждаютъ онѣ глубокія и навсегда незабвенныя воспоминанія и скорби? Кто не связываетъ съ ними памяти о дняхъ, о событіяхъ, которые изъ всѣхъ дней, изъ всѣхъ событій жизни одни не подлежатъ уже ни теченію, ни измѣненіямъ времени, а остаются неотъемлемою собственностью души? Всѣ прочія событія и воспоминанія относятся къ жизни преходящей и конечной. Одна смерть, одна паннихида, торжественное, христіанское славословіе смерти, напоминаютъ намъ *о жизни безконечной*.

„Со святыми упокой, Христѐ, душу рабы Твоея, идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь безконечная“.

Внимая симъ словамъ въ Висбаденской церкви, кто изъ насъ не повторялъ ихъ въ глубинѣ души въ память виновницѣ сего печальнаго торжества, и вмѣстѣ съ тѣмъ не переносился мыслью и чувствомъ въ Россію, которая недавно и такъ неожиданно внимала симъ молитвеннымъ словамъ предъ другимъ гробомъ, предстоящему родственнымъ и вмѣстившимъ въ себѣ тридцать лѣтъ могущества, славы и любви Россіи.

По окончаніи паннихиды, гробъ перенесенъ былъ и опущенъ въ подземельный склепъ храма, находящійся подъ надгробнымъ памятникомъ. Цвѣты, которые въ свѣжей красотѣ своей были положены на гробъ въ день перваго отпѣванья, нынѣ уцѣлѣвшіе, но уже поблекшіе, опущены были въ землю вмѣстѣ съ останками

той, которая также цвѣла на землѣ и, какъ они, скоро и преждевременно увяла.

14 (26) мая совершена была торжественная заупокойная обѣдня и въ заключеніе опять паннихида.

Слышно, что при церкви предназначается устроить Русское кладбище. Мысль прекрасная, и да благословитъ ее Господь Богъ и дастъ ей созрѣть и осуществиться! Отрадно каждому изъ насъ думать, что если суждено ему будетъ умереть на чужбинѣ, то есть въ ней гостепріимный уголокъ, освященный Русскимъ богослуженіемъ, гдѣ можно будетъ отдыхать, какъ дома, вмѣстѣ съ *родными земляками*, и гдѣ на родномъ языкѣ будутъ молиться *о здѣ лежащихъ и повсюду православныхъ*.

LXXVII.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О НАРОДНОМЪ ПРОСВѢЩЕНІИ ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

1855.

I.

Покойный графъ Северинъ Потоцкій сказалъ: „En Russie tout ministère est difficile, celui de l'instruction publique est impossible".

Если и не осудить себя на совершенную невозможность, то нѣтъ сомнѣнья, что министерству народнаго просвѣщенія суждено бороться съ трудностями, которыя въ другихъ министерствахъ не встрѣчаются.

Въ самомъ наименованіи его есть уже задача не легко разрѣшимая. Всѣ другія министерства имѣютъ свой кругъ дѣйствія и способовъ—опредѣленный, положительный. Въ семъ министерствѣ все болѣе или менѣе условно и умозрительно. Напримѣръ, министерство юстиціи есть общій блюститель правосудія въ государствѣ; оно примѣняетъ положительные законы къ извѣстнымъ обстоятельствамъ и равно ко всѣмъ лицамъ; никто не будетъ опасаться, никто не будетъ жаловаться, когда оно будетъ равно нелицепріятно, равно правосудно для всѣхъ лицъ, для всѣхъ общественныхъ разрядовъ высшихъ и низшихъ, богатыхъ и бѣдныхъ. Значенье и цѣль министерства финансовъ, со всѣми отраслями его, также ясны и вовсе не двусмысленны; они заключаются въ обогащеніи казны, для устройства и поддержанія государственнаго и общественнаго благосостоянья; въ развитіи всѣхъ частныхъ выгодъ съ тѣмъ, чтобы частные лица могли повинностями своими содѣйствовать общимъ

потребностямъ не только не въ ущербъ себѣ, но даже и съ сохраненіемъ своей пользы. Здѣсь также никому не придетъ въ голову жаловаться, когда и казна не будетъ въ долгахъ, и частныя лица не будутъ въ убыткѣ.

О дѣйствіяхъ военнаго министерства также разномыслья и разногласья быть не можетъ. Всѣ желаютъ, чтобы войско было могущественно въ духовномъ и матеріальномъ отношеніи: хорошо обучено, здорово, сыто, надлежащимъ образомъ одѣто, воодушевлено духомъ воинскимъ, храбростью, самоотверженьемъ.

Управленіе путей сообщенія въ одномъ своемъ наименованіи заключаетъ свое назначенье всѣмъ доступное, никому не опасное, для всѣхъ желательное. Всѣ желаютъ, чтобы сообщенія были вездѣ удобныя, какъ можно болѣе распространены между городами и селами, дешевы,—чтобы мосты были всегда исправны, рѣки, по возможности, вездѣ судоходны. И такъ далѣе по всѣмъ министерствамъ и по всѣмъ главнымъ государственнымъ управленьямъ.

При одномъ наименованіи министерства народнаго просвѣщенія возбуждаются многіе вопросы. Что такое просвѣщенье? Какъ понимать его? Какъ примѣнить? до какой степени примѣнять? Въ какихъ границахъ? Кому? Здѣсь уже въ виду не ясныя понятія, неразлучныя съ министерствомъ юстиціи, или министерствомъ финансовъ. Рѣчь идетъ не о томъ, чтобы всѣ равно были охраняемы общими законами, или пользовались общею системою, развивающею народныя средства, промышленныя, торговыя и денежныя. Здѣсь идутъ сомнѣнія и споры о самомъ существѣ, о самомъ началѣ вопроса, о развитіи его. Спрашивается, должно ли ученымъ развивать умственныя народныя способности? Можно ли, должно ли всѣхъ просвѣщать? Не говоримъ уже въ неограниченномъ смыслѣ просвѣщенья, то есть о томъ, чтобы каждому человѣку, по дарованнымъ ему отъ Бога способностямъ, дать средства узнать что Богомъ дано знать человѣку. Нѣтъ, мы говоримъ въ самомъ ограниченномъ смыслѣ просвѣщенья. Напримѣръ, о грамотѣ. Для многихъ не рѣшенъ еще вопросъ, можно ли, должно ли дать грамоту каждому человѣку? или иначе, можно ли дать каждому крестьянину средство читать молитвы, катихизисъ, Ветхій и Новый Завѣтъ, и не грѣшно ли лишать его этой способности?

Объ этомъ идутъ споры не только между ревнителями свѣта и идолопоклонниками тьмы, но и между противниками, равно благонамѣренными и добросовѣстными. Идутъ споры не только у насъ, гдѣ просвѣщенье еще не обжилось, не укоренилось, но даже и въ странахъ, у которыхъ образованность и просвѣщенье считаются вѣками. Конечно, всему должна быть мѣра. Но какъ опредѣлить эту мѣру? Вотъ одно изъ главныхъ затрудненій въ задачѣ просвѣщенія.

Нѣтъ сомнѣнія, что всеобщее энциклопедическое ученье не должно быть расточаемо безъ обдуманнаго и твердаго руководства. Но нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что если неразборчивое ученье можетъ быть вредно, то невѣжество есть всегда положительное зло. Впрочемъ, и тѣ самые, которые добросовѣстно полагаютъ, что опасно обучать простой народъ, если они безпристрастно и безъ предубѣжденья всмотрятся въ ходъ времени и событій, то и они должны признаться, что пора спокойнаго и душеспасительнаго *невѣдѣнья* миновалась. Новыя поколѣнія, даже и оставшіяся безграмотными, вкусили, хотя и безсознательно, плодовъ древа познанья. Нынѣ нашъ безграмотный крестьянинъ уже не то, что безграмотный предокъ его. Онъ окруженъ живою, неотразимою грамотою, которая, если и не *просвѣщаетъ*, то волнуетъ и увлекаетъ его. Современный крестьянинъ работаетъ на заводахъ и фабрикахъ, которые приводятся въ движеніе парами и машинами. Онъ переѣзжаетъ всѣ рѣки на пароходѣ, съ неизвѣстною для него быстротою, онъ переносится изъ мѣста въ мѣсто по желѣзной дорогѣ. Если онъ занимается торговлею, онъ, можетъ быть не разъ, получалъ и отправлялъ заказы по телеграфу. Грамота, ученье въ нашъ вѣкъ уже не дѣло частное, домашнее, келейное, и не дѣло книжное. Грамота или ученье преподаются на открытомъ воздухѣ; преподаются стихіями, и этой грамотой пользуются равно всѣ члены народной семьи. Крестьянинъ какъ и баринъ его ѣдутъ по одной желѣзной дорогѣ: тутъ грамотный и безграмотный просвѣщаются однимъ и тѣмъ же просвѣщеньемъ.

Что до меня касается, то я не безусловный и слѣпой поклонникъ этихъ успѣховъ современнаго просвѣщенья. Полагаю, что духовное и нравственное образованіе человѣчества, все то, что под-

разумѣвается подъ выраженіемъ „ни о единомъ хлѣбѣ“, могутъ быть еще недостаточно обезпечены этими успѣхами и пріобрѣтеніями науки. Напротивъ, можно еще предполагать, что, при нѣкоторыхъ колебаніяхъ и не вполнѣ раціональномъ направленіи, они иногда способны увлечь человѣка на пути, которые имѣютъ свои пропасти. Но дѣло не въ томъ, радоваться ли этимъ успѣхамъ, или опасливо смущаться ими; но не признавать, что они въ настоящее время преобладательны — дѣло безумное и невозможное: слѣдовательно надобно съ ними справляться и въ нѣкоторыхъ предѣлахъ покоряться имъ. Въ нихъ сила событій, не вполнѣ подчиняющаяся человѣческой волѣ, слѣдовательно, надобно согласовать свои дѣйствія съ нею и соображаться съ нею: иначе она переломитъ насъ и сокрушитъ.

При таковыхъ явленіяхъ, вопросъ о томъ, что можно-ли допустить низшіе общественные ряды къ источнику просвѣщенья, нѣсколько измѣняется, и уже нельзя рѣшать его исключительно по понятіямъ, прежде существовавшимъ и имѣвшимъ законную силу. Держаться въ дѣлѣ народнаго просвѣщенья прежнихъ правилъ и опасеній, было бы тоже, что держаться, напримѣръ, въ военномъ дѣлѣ системы прошедшаго вѣка. Суворовъ говаривалъ: пуля дура, а штыкъ молодецъ. Нынѣ, по усовершенствованіи огнестрѣльныхъ орудій, оказывается, что пуля *поумнѣла,* а штыкъ *отсталъ,* хотя все-таки остается молодцомъ. Такъ и во многомъ. Что было возможно и хорошо въ старое время, нынѣ неудобно и недостаточно. Нужно и тутъ благоразумье и умѣренность, но одного отрицательнаго сопротивленья недостаточно.

II.

Кромѣ общихъ причинъ, затрудняющихъ ходъ министерства просвѣщенья, есть еще причины частныя, особенно намъ свойственныя. Это министерство въ отношеніяхъ своихъ къ другимъ министерствамъ, а частью и къ обществу, находится въ странномъ положеніи.

Во-первыхъ, если оно и не обвиняемо законно и всенародно,

то, примѣняясь къ нашему судебному выраженію, можно сказать, что оно остается въ *сильномъ подозрѣніи*. Кромѣ того, оно еще какъ бы подъ опекою у другихъ министерствъ. Каждое изъ нихъ считаетъ себя въ правѣ, болѣе или менѣе, вмѣшиваться въ его дѣла, жаловаться, доносить на него, а иногда объявлять ему и формальные выговоры. Экономическія сокращенія министерства финансовъ, не только у насъ, но и въ другихъ государствахъ, всего охотнѣе падаютъ на него. Его считаютъ какимъ-то второстепеннымъ учрежденіемъ, и другіе смотрятъ на него свысока. Оно предъ другими находится на какомъ-то учительскомъ положеніи: обращаются съ нимъ, какъ въ старинныхъ барскихъ домахъ обращались съ домашними учителями: на продовольствія ихъ отпускались сальныя свѣчи, за столомъ учительское вино и такъ далѣе.

Упомянувъ объ экономическихъ сокращеніяхъ, нельзя не замѣтить, что неумѣстныя экономіи по этому министерству, опять-таки не исключительно у насъ, а почти вездѣ,—то же, что была бы въ сельскомъ хозяйствѣ экономія на посѣвъ. Министерство просвѣщенія сѣетъ, а другія министерства жнутъ на обработанныхъ имъ поляхъ. Лишайте министерство просвѣщенія средствъ готовить образованныхъ и способныхъ людей, и государство останется безъ образованныхъ дѣятелей. Государственное заведеніе съ каждымъ годомъ становится многосложнѣе и обширнѣе: слѣдовательно, подготовка людей съ каждымъ годомъ дѣлается необходимѣе, а съ этою необходимостью неразрывно соединяется необходимость распространенія и размноженія училищъ, не возможныхъ безъ денежныхъ пособій отъ казны. Расходы на учебныя заведенія преимущественно расходы производительные.

По другимъ управленіямъ случающіеся безпорядки кончаются обыкновенно домашнимъ образомъ; ни высшая власть, ни общество часто о нихъ не узнаютъ. Въ министерствѣ просвѣщенія каждая шалость малолѣтняго гимназиста принимаетъ тотчасъ видъ государственной важности. И что всего прискорбнѣе, отдѣльная шалость, частный безпорядокъ падаетъ упрекомъ не на мѣстное начальство, это бы еще ничего, нѣтъ, оно падаетъ упрекомъ на само просвѣщеніе, колеблетъ вѣру въ него и дѣлаетъ его подозрительнымъ.

Здѣсь также не обращаютъ вниманія на одно обстоятельство,

которое образуетъ исключительную принадлежность министерства просвѣщенія и составляетъ одно изъ его затрудненій.

Другія управленія имѣютъ дѣло съ людьми уже готовыми, болѣе или менѣе обозначившимися по своимъ способностямъ и нравственности. Годныхъ изъ нихъ употребляютъ они; негодныхъ удаляютъ.

Министерство просвѣщенія имѣетъ дѣло съ дѣтскимъ и юношескимъ возрастомъ. Оба возраста требуютъ особаго вниманія, попечительности, но и снисхожденія. Министерство просвѣщенія есть собственно министерство народнаго воспитанія, а воспитаніе и имѣетъ предметомъ искоренять недостатки, худыя наклонности и пороки, свойственные человѣчеству.

Оно не только не можетъ и не должно отказываться отъ исправленія этихъ худыхъ наклонностей и пороковъ, но обязано...

III.

Французы много шумятъ о своей всемірной выставкѣ. Они съ самодовольствіемъ указываютъ на это мирное празднество искусствъ и промышленности. Они видятъ въ ней, посреди военныхъ непогодъ, потрясающихъ нынѣ Европу, свидѣтельство духовной силы Франціи, которая одною рукою дѣйствуетъ мечемъ, а другою, въ торжественномъ развитіи успѣховъ просвѣщенія и гражданскаго благоденствія, празднуетъ и славословитъ миръ и его благодѣянія. Это отчасти можетъ быть и правда, но эта правда требуетъ нѣкоторыхъ оговорокъ и поясненій.

Во-первыхъ, не должно забывать, что какъ нѣкогда нравственно ослабѣвшій и развращенный Римъ требовалъ *игрищъ* и *хлѣба,* такъ и нынѣшній Парижъ исключительно требуетъ *зрѣлищъ* и *денегъ.* А всемірная выставка, очищенная отъ всѣхъ своихъ честолюбивыхъ притязаній и стремленій и приведенная къ настоящему знаменателю своему, ничто иное, какъ *зрѣлище* и *деньги*, или, говоря другими словами: *шарлатанство* и *спекуляція.* О пользѣ не говорите: она тутъ дѣло второстепенное, если и можно принять ее въ соображеніе. Всемірная выставка не имѣетъ въ наше время того зна-

ченья, той плодовитой поучительности, которую имѣла бы она за нѣсколько десятковъ лѣтъ. Нынѣ, при многочисленности и удобствѣ сообщеній, окрыленныхъ на водѣ и на сушѣ могуществомъ паровъ, при общей гласности, всемірной извѣстности, всюду разливающейся посредствомъ тысячи журналовъ энциклопедическихъ и спеціальныхъ, всѣ и каждый знаютъ не только что дѣлается у нихъ дома, но и то, что дѣлается у сосѣда. А нынѣ этотъ сосѣдъ—весь міръ, отъ одного полюса до другаго, не исключая даже и Китая. Напрасно прятался онъ долго за стѣною своею: нынѣ парами пробита и эта стѣна. Все и вездѣ насквозь и настежь. Новыя изобрѣтенія, новыя усовершенствованія не остаются подъ спудомъ; они доступны каждому. Каждая большая столица, напримѣръ Лондонъ, Парижъ— и такъ уже постоянная всемірная выставка. Чрезвычайные съѣзды, торжества и празднества не нужны. Каждый будничный день есть уже самъ по себѣ праздникъ всемірной промышленности. Слѣдовательно, польза тутъ въ сторонѣ, то-есть польза всеобщая; остается на лицо одна польза парижская.

Парижу нужны были разсѣяніе и деньги; одно—для отвлеченія его отъ заботъ военныхъ; другія—для покрытія всепоглощающихъ расходовъ. Догадливое правительство снабдило его и тѣмъ, и другими. Оно открыло свою всемірную ярмарку, устроивъ ей роскошные и великолѣпные балаганы. Французскіе журналы, при барабанномъ своемъ боѣ, созвали со всѣхъ концовъ земли промышленниковъ, барышниковъ и торгашей; десятки, сотни тысячъ праздношатающихся путешественниковъ нахлынули вслѣдъ за ними. Такимъ образомъ всемірная выставка сдѣлалась приливомъ всемірныхъ денегъ, пущенныхъ въ обращеніе и на съѣденіе многожадному и всегда ненасытному Парижу. Вмѣстѣ съ тѣмъ, легкомысленные и самохвальные Парижане, забывая, что братья ихъ страдаютъ и погибаютъ подъ стѣнами Севастополя, глазѣютъ на товары и на всемірное любопытство, которое пришло къ Парижу на поклонъ. Обстановка выставки самая искусная и заманчивая. Самъ родственникъ Французскаго императора и наслѣдникъ престола его, оставя поля войны и войска, коими онъ предводительствовалъ, обратился въ *импрессаріо* и въ главнаго распорядителя этого чрезвычайнаго представленія. Все было придумано и хитро улажено. Публика

должна остаться довольна, и сборъ въ кассѣ долженъ быть значительный. Еще одна оговорка: Франція вовлечена нынѣ правительствомъ своимъ во внѣшнюю войну: разноситъ тревоги, смуты, бѣдствія войны въ чужой землѣ, далекой отъ ея предѣловъ. Франція много терпитъ, это неоспоримо; но страданія ея, такъ-сказать, ей заочны и слѣдовательно не такъ живы и чувствительны.

Это не то, что въ Россіи. Война со всѣми ужасами своими вторглась въ ея предѣлы. Военные громы раздаются въ ней отъ одного конца до другаго: отъ Чернаго моря до Балтійскаго, отъ Балтійскаго до Бѣлаго, отъ Бѣлаго до Тихаго океана, гдѣ сыны ея также отражаютъ нападенія сильныхъ непріятелей и бодро отстаиваютъ честь Россіи и русскаго флота.

Вся обширная Россія не только подъ ружьемъ, но ратоборствуетъ въ кровавой и безмѣрно протяженной сѣчѣ. А между тѣмъ, не только стоитъ она, упорствуетъ и защищается, но еще бодрствуетъ и духовно дѣйствуетъ и на другихъ поприщахъ. Безпримѣрная въ лѣтописяхъ міра война не сосредоточиваетъ, не поглощаетъ всѣхъ ея заботъ и усилій. Россія и при ней не возмущенно, но съ спокойнымъ духомъ совершаетъ, смиренно и безъ шума, мирные подвиги на пути просвѣщенія. Войдите въ наши университеты, въ наши училища, въ духовныя и свѣтскія академіи и вы убѣдитесь, что все въ нихъ кипитъ просвѣтительною и любознательною дѣятельностью. Правительство наше не исключительно озабочено однѣми заботами дня сего, какъ онѣ, впрочемъ, ни всесильны и не всемогущи; но оно печется еще о пользѣ и преуспѣяніи грядущихъ поколѣній, оно расширяетъ, поощряетъ развитіе трудовъ и успѣховъ науки и награждаетъ ея усердныхъ дѣятелей и сподвижниковъ.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому, когда Европейское недоброжелательство возвѣщало объ унынiи, объ изнеможеніи Россіи, когда Русская кровь лилась на разныхъ почвахъ нашей родной земли, старѣйшій изъ нашихъ университетовъ праздновалъ въ стѣнахъ первопрестольной столицы свое столѣтнее существованіе.

Это было празднество не одной Москвы, но и всей Россіи. Вся Россія ему сочувствовала и принимала въ немъ теплое, дѣятельное и благодарное участіе. На этомъ праздникѣ наука подавала Россіи столѣтній отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ на пользу и просвѣще-

ніе многихъ поколѣній. Сей праздникъ, историческіе и ученые труды, какъ хлѣбъ-соль приготовленные для гостей празднующимъ университетомъ, будутъ и отдаленнѣйшему потомству служить отраднымъ свидѣтельствомъ, что и въ годину тяжкихъ испытаній Русская мысль не унывала, что не отчаявалась она ни въ настоящихъ, ни въ грядущихъ судьбахъ Россіи, но съ твердымъ сознаніемъ и съ полнымъ упованіемъ работала и дѣйствовала.

Въ Бозѣ почившій Императоръ Николай I не уклонилъ вниманія своего отъ мирнаго празднества Московскаго университета, хотя въ это время, душою и мыслью своею, онъ постоянно и заботливо присутствовалъ въ рядахъ мужественнаго своего воинства и, такъ-сказать, жилъ съ нимъ на Севастопольскихъ твердыняхъ. Но и подъ громами военными, и въ виду геройскихъ подвиговъ, онъ ласковымъ царскимъ словомъ, отличіями и наградами почтилъ труды въ мирной твердынѣ наукъ и народной образованности.

Тѣнь императрицы Елисаветы, тѣни Шувалова и Ломоносова могли радостно вздрогнуть, видя, что и посреди кровавыхъ испытаній, дѣло рукъ и попеченій ихъ поминается и прославляется благодарною Россіей.

А нынѣ, въ виду и подъ пушками враждебныхъ флотовъ, С.-Петербургскій университетъ расширяетъ кругъ своей ученой дѣятельности: для удобнѣйшаго и дѣятельнѣйшаго сосредоточенія открываетъ или, лучше сказать, переноситъ къ себѣ новый факультетъ восточныхъ языковъ. Преподаватели и слушатели уже готовы. Это новое учрежденіе, совершенно своевременное по цѣли своей, обѣщаетъ богатыя послѣдствія и въ будущемъ. Сношенія Россіи съ народами Азіятскими суть сношенія, основанныя на историческихъ и географическихъ началахъ, слѣдовательно, никакія событія, никакія ухищренія и усилія западнаго недоброжелательства не могутъ измѣнить ихъ. Напротивъ, время и развитіе образованности, полнѣйшее и ближайшее изученіе восточныхъ языковъ, должны придать этимъ вѣковымъ сношеніямъ новую силу и извлечь изъ нихъ новую пользу.

Въ началѣ прошедшаго года министръ народнаго просвѣщенія ходатайствовалъ предъ Государемъ Императоромъ о дозволеніи

повергать на благоусмотрѣніе Его Величества вѣдомость, за каждую треть года, о произведеніяхъ Русской письменной дѣятельности, которыя, по строгомъ обсужденіи, признаны будутъ достойнѣйшими монаршаго вниманія и особеннаго поощренія. Императоръ Николай I изъявилъ, въ 8 день февраля 1854 года, Высочайшее соизволеніе свое на приведеніе представленія сего въ исполненіе. Нѣтъ сомнѣнія, что сія поощрительная мѣра принесетъ желанные плоды. Дарованія, посвятившія себя важному и общественному труду наукъ и словесности, воодушевятся новою къ нему ревностью, при ободрительной для нихъ мысли, что значительнѣйшая и лучшая часть ихъ дѣятельности будетъ совершаться, такъ-сказать, предъ глазами державнаго покровителя умственнаго преуспѣянія въ отечествѣ. Это царское поощреніе и прежде было постояннымъ двигателемъ Русской словесности. Начиная отъ Ломоносова, никакое отличное дарованіе не ускользало отъ царскаго вниманія и покровительства. Въ наши дни Карамзинъ, Жуковскій, Крыловъ, Пушкинъ, Гоголь, Батюшковъ и многіе другіе не только поощрены, но и обезпечены были щедротами правительства въ отношеніи къ житейскимъ потребностямъ, отличены и возвышены по заслугамъ своимъ. Но отнынѣ это поощреніе приведено, такъ-сказать, въ закопный порядокъ, имѣетъ законную силу и вошло въ составъ правительственныхъ учрежденій.

Въ концѣ прошедшаго года поднесена была Государю Императору вѣдомость о семнадцати новыхъ сочиненіяхъ; и въ числѣ авторовъ, обратившихъ трудами своими наиболѣе вниманія, удостоены были монаршаго благоволенія профессоры Московскаго университета Соловьевъ и Калачовъ и въ должности адъюнкта при кіевскомъ—Ѳедоренко.

Нынѣ министръ народнаго просвѣщенія имѣлъ счастіе всеподданнѣйше повергнуть на Высочайшее воззрѣніе благополучно царствующаго Императора вѣдомость о замѣчательнѣйшихъ сочиненіяхъ, вышедшихъ въ свѣтъ съ января текущаго года.

При этомъ удостоились особеннаго вниманія Государя слѣдующія сочиненія:

1) *Исторія Русскаго раскола, извѣстнаго подъ названіемъ старообрядства:* автору ея Макарію, епископу Винницкому, всемилостивѣйше повелѣно объявить Высочайшее благоволеніе.

2) *Исторія Московской греко-славяно-латинской академіи:* автору ея, бакалавру Московской академіи, Смирнову также всемилостивѣйше повелѣно объявить Высочайшее благоволеніе.

3) *Юридическій сборникъ,* издаваемый профессоромъ Казанскаго университета Мейеромъ, которому всемилостивѣйше пожалованъ брилліантовый перстень.

3) *Русская геральдика:* автору ея, надворному совѣтнику Лакьеру, всемилостивѣйше повелѣно объявить благоволеніе.

5) *Адъ.* Поэма Данта Алигьери. Перев. Мина. Переводчику поэмы всемилостивѣйше пожалованъ брилліантовый перстень.

Въ тоже время министръ народнаго просвѣщенія имѣлъ счастіе поднести Государю Императору *Собраніе сочиненій Коперника,* изданное въ латинскомъ подлинникѣ съ польскимъ переводомъ. Издателю и переводчику сочиненій, директору Варшавской астрономической обсерваторіи Барановскому всемилостивѣйше пожалованъ брилліантовый перстень.

Нельзя здѣсь не замѣтить, съ особеннымъ удовольствіемъ, что въ общемъ движеніи дѣятельности Русскаго слова преимущественно проявляется направленіе совершенно народное. Изученіе Россіи въ ея исторіи, въ общественномъ бытѣ, языкѣ и преданіяхъ ея, въ свойствѣ и естественной производительности ея, особенно обращаютъ на себя вниманіе и труды нашихъ изыскателей и производителей. Дорога, прочищенная Карамзинымъ и многолѣтними трудами его, съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе обработывается и сближаетъ насъ съ желанною цѣлью: вполнѣ узнать и оцѣнить любезное наше отечество и, вслѣдствіе того, еще сознательнѣе возлюбить его любовью просвѣщенною.

Можно надѣяться, что, при дальнѣйшемъ развитіи сего направленія, народныя, Русскія стихіи окончательно установятся въ нашей словесности и восторжествуютъ надъ заимообразными началами, которыя слишкомъ часто донынѣ совращали ее съ пути и стѣсняли ея природныя движенія. Разумѣется, здѣсь идетъ дѣло и рѣчь не о заключеніи словесности нашей въ четырехъ стѣнахъ. Уму нужны сообщительность и взаимная мѣна понятій, свѣдѣній, вдохновеній. Но если занимать и перенимать чужое, то слѣдуетъ перенимать одно хорошее, одно доброе въ умственномъ, изящномъ и нрав-

ственномъ отношеніи. Не ищите вдохновеній и руководства себѣ въ литературахъ, которыя отжили свои цвѣтущіе и зрѣлые возрасты и нынѣ проявляютъ остатки силъ своихъ въ судорожной и болѣзненной тоскѣ.

Въ эпохи политическаго, гражданскаго и общественнаго безпорядка литература также должна быть безпорядочная и тревожная.

Возвысьтесь выше! Не увлекайтесь одною современностью, какою ни была бы она. Сокровища вѣковъ предъ вами: они и современны, и долговѣчны. Изучайте ихъ прилежно, передавайте, переправляйте ихъ въ Русскую мысль, въ Русскую рѣчь. Жуковскій переводомъ Одиссеи подарилъ поэзію нашу превосходнымъ Русскимъ твореніемъ. Не сравнивая достоинства обоихъ переводовъ, переводчикъ Данте добросовѣстнымъ трудомъ своимъ пополнилъ недостатокъ, давно ощутительный въ нашей литературѣ. И трудъ его удостоенъ всемилостивѣйшаго награжденія.

Правительство равно поощряетъ полезные и замѣчательные труды во всѣхъ отрасляхъ письменной дѣятельности. Наука имѣетъ въ немъ благосклоннаго поощрителя и покровителя: сама поэзія не остается безъ сочувствія и вниманія.

Закончимъ статью свою общимъ выводомъ, равно замѣчательнымъ и отраднымъ. Въ нынѣшнихъ тревожныхъ и военныхъ обстоятельствахъ вооруженная и отражающая Россія не ослабѣваетъ въ своей ученой и литературной дѣятельности, обращая ее, преимущественно, на труды самостоятельные, отечественные или имѣющіе общую всемірную цѣну и занимательность. Правительство, коего все вниманіе могло бы быть поглощено важностью настоящихъ событій, во всеобъемлющей своей любви ко всему, что относится къ пользѣ и славѣ отечества, удѣляетъ вниманіе свое и на труды науки и словесности.

Въ семъ обоюдномъ проявленіи заключаются несомнѣнные признаки духовной силы настоящей Россіи и благонадежный залогъ ея грядущихъ судебъ.

LXXVIII.

О СЛАВЯНОФИЛАХЪ.

1855.

Не знаю, вредно ли, или нѣтъ, направленіе, такъ-называемое, славянофильское. Но судя объ этомъ направленіи въ отношеніи чисто-литературномъ (которое одно подлежитъ нашему сужденію), невозможно, по мнѣнію моему, признавать въ немъ ничего предосудительнаго. Если же подъ литтературною вывѣскою скрывается тайна политическая и вредный умыселъ, то это дѣло другое. Но оно уже не подлежитъ цензурѣ, а высшему правительству. Цензура же должна судить не лицо, не автора, а только представляемое имъ сочиненіе. Если совращать ее съ прямыхъ правилъ, коими руководствоваться она должна, въ силу даннаго ей устава, если требовать отъ цензуры, чтобы она иначе смотрѣла на рукопись такъ-называемаго славянофила, нежели на рукопись, напримѣръ, послѣдователя, такъ-называемой, натуральной школы, то сужденія ея будутъ неминуемо пристрастны, своевольны и слѣдовательно противозаконны. Обращаясь къ прозванію славянофиловъ, нельзя не замѣтить, что это прозваніе насмѣшливое, данное одною литтературною партіею другой партіи. Это чисто семейныя, домашнія клички. Лѣтъ за-сорокъ предъ симъ, мы же, тогда молодые литтераторы Карамзинской школы, такъ прозвали А. С. Шишкова и школу его. Въ послѣднее время прозвище это воскресили и обратили къ нѣкоторымъ Московскимъ литтераторамъ, приверженцамъ старины. Изъ

журнальныхъ сплетней и пересмѣшекъ возникло пугало, облеченное политическою таинственностію. Собственно же, судя о славянофильствѣ по его словопроизводству, мудрено заключить, что можетъ быть вреднаго въ любви къ Славянамъ, нашимъ предкамъ и одноплеменнымъ братьямъ, и въ любви къ Славянскому языку, который былъ языкомъ нашей исторіи и есть языкъ нашей церкви? Отказаться отъ чувства любви ко всему Славянскому, значило бы отказаться намъ отъ исторіи нашей и отъ самихъ себя. Государь Императоръ Николай I въ достопамятныхъ словахъ своихъ, обращенныхъ къ профессорамъ, сказалъ: „надобно сохранить то въ Россіи, что искони бѣ". Слѣдовательно, должно сохранять и родовое чувство любви къ Славянскому нашему происхожденію.

Повторяю, если гдѣ-нибудь и въ комъ-нибудь, подъ оболочкою славянолюбія, таится нѣчто другое и вредное, то должно преслѣдовать и преграждать это другое, но нельзя преслѣдовать славянолюбія, иначе пришлось бы преслѣдовать чувство и образъ мыслей чисто Русскіе и свойственные каждому изъ насъ; кому только дороги имя Русскаго и сопряженныя съ этимъ именемъ родственныя, семейныя и духовныя преданія нашей народной исторической и государственной жизни.

Что же касается прямо до статьи *О Богатыряхъ*, я никакъ не могу доискаться въ ней политическаго значенія, и во-первыхъ просто потому, что не могу признать автора ея сумасшедшимъ, а одному безумію можно было-бы приписать намѣреніе противодѣйствовать существующему законному порядку полуисторическою, полубаснословною картиною нравовъ, обычаевъ и повѣрій, существовавшихъ въ Россіи почти за 1000 лѣтъ до насъ. Даже и сѣтованья объ этой отдаленной эпохѣ могутъ быть также не важны и чужды всякаго политическаго умысла, какъ общія сѣтованія поэтовъ о золотомъ вѣкѣ, а потому за исключеніемъ двухъ или трехъ мѣстъ въ цитатахъ, приводимыхъ авторомъ изъ древнихъ пѣсней, я полагаю, что статья К. С. Аксакова, въ теперешнемъ ея изложеніи, не можетъ по цензурнымъ правиламъ подлежать запрещенію. Нужнымъ считаю присовокупить, что и эти мѣста, сами по себѣ какъ цитаты, не предосудительны и составляютъ выраженіе временъ давноминувшихъ, не имѣющихъ никакого соотношенія къ нашимъ вре-

менамъ. Но по легкомыслію и невѣжеству многихъ читателей эти выписки могли бы для нѣкоторыхъ служить поводомъ къ соблазну, и слѣдовательно благоразумнѣе ихъ устранить. Въ дополненіе къ моимъ замѣчаніямъ, позволю себѣ подкрѣпить ихъ общимъ заключеніемъ. Болѣе 40 лѣтъ принадлежу я къ званію писателей. Съ нѣкоторымъ самолюбіемъ и съ благодарностію замѣчу, что дѣятельности моей по этому званію отчасти обязанъ возможностію и честію подавать нынѣ голосъ мой въ главномъ управленіи цензуры, Такимъ образомъ, думаю безъ излишней гордости, что нельзя отказать мнѣ, по крайней мѣрѣ, въ опытности моей по этому вопросу. Руководствуясь этою опытностію и добросовѣстнымъ убѣжденіемъ, которое, впрочемъ, раздѣляли со мною лучшіе и благонамѣреннѣйшіе наши писатели, начиная съ Карамзина и Жуковскаго, скажу откровенно, что всѣ многосложныя, подозрительныя и слишкомъ хитро обдуманныя притѣсненія цензуры не служатъ измѣненію въ направленіи мыслей, понятій и сочувствій. Напротивъ, они только раздражаютъ умы и отвлекаютъ отъ правительства людей, которые по дарованіямъ своимъ могутъ быть ему полезны и нужны. Наконецъ, эти притѣсненія, или излишнія стѣсненія, могутъ именно возродить ту опасность, отъ которой думаютъ отдѣлаться прозорливостію цензурной строгости. Они могутъ составить систематическую оппозицію, которая и безъ журнальныхъ статей и мимо стоокой цензуры получитъ въ обществѣ значеніе, вѣсъ и вліяніе. Подозрѣвая такихъ и такихъ-то писателей, правительство облекаетъ ихъ въ политическій характеръ и обращаетъ на нихъ общественное мнѣніе. Самое молчаніе ихъ полно смысла и значенія. При законныхъ средствахъ нашего правительства ему и намъ еще долго нечего опасаться злоупотребленій нашей литтературы. Скорѣе слѣдуетъ опасаться дѣйствія и послѣдствій насильственнаго молчанія.

Позволительно въ умѣренной свободѣ излагать свои мнѣнія, желанія, даже и тогда, когда они не буквально согласны съ общимъ порядкомъ и ходомъ дѣйствительности, выраженія эти уже и тѣмъ безвредны, что они самымъ дѣломъ выраженія испаряются и къ тому же обезсиливаются и неутрализируются противодѣйствіемъ другихъ мнѣній, другихъ воззрѣній, направленій. Взаперти всякій протестъ, даже въ основаніи своемъ безопасный, крѣпнетъ и безмолвно воо-

ружается. Правительство обязано заботиться не только о текущемъ днѣ и о случайныхъ явленіяхъ, съ нимъ сопряженныхъ, но еще болѣе должно пещись о будущемъ и о событіяхъ, которыя могутъ зародиться въ настоящемъ, чтобы въ послѣдствіи созрѣть и осуществиться.

LXXIX.

ОБОЗРѢНІЕ НАШЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТТЕРАТУРНОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ СЪ ТОЧКИ ЗРѢНІЯ ЦЕНЗУРНОЙ.

1857.

I.

Въ настоящей литературѣ нашей нѣтъ, въ собственномъ смыслѣ, вреднаго и злонамѣреннаго направленія. Основныя начала, на коихъ зиждется благосостояніе государства, не нарушаются ею: то есть религія, верховная власть и чистота нравственности не оскорбляемы изложеніемъ мнѣній, которыя могли бы потрясти эту тройственную святыню общественнаго порядка. Впрочемъ этимъ хвалиться еще нечѣмъ. Оно иначе и быть не можетъ. При существованіи предупредительной цензуры, при твердой и безусловной силѣ правительства нашего, всякое, со стороны писателей, покушеніе посягнуть на общественный порядокъ было бы не только безумно, но и несбыточно.

Между тѣмъ недостаточно, чтобы въ печати не выказывались явныя посягательства на коренныя начала общественнаго и законнаго благоустройства. Предосудительны и опасны могутъ быть потаенныя попытки дѣйствовать въ этомъ смыслѣ, и тѣмъ опаснѣе, что прикрытыя и облеченныя хитростью слова могутъ быть передаваемы въ тайнѣ, какъ лозунгъ, отъ одного другому соумышленнику. По убѣжденію моему, нѣтъ и того. У насъ въ литературѣ могутъ быть единомышленники, партіи, пожалуй старообрядцы

(какъ, напримѣръ, „*Русская Бесѣда*“), но *злоумышленниковъ* нѣтъ. *Нѣтъ началъ злонамѣренныхъ и возмутительныхъ.*

Если и встрѣчались изрѣдка выходки, вспышки, которыя могли давать справедливый поводъ къ перетолкованію въ смыслѣ предосудительномъ, то и онѣ были развѣ совершенно отдѣльныя, личныя и не находили ни сочувствія, ни отголоска въ большинствѣ писателей. Напротивъ, онѣ подвергались общему осужденію. Когда министерство почло себя обязаннымъ обратить взыскательное вниманіе на нѣкоторыя стихотворенія Некрасова и приняло строгія мѣры къ предупрежденію дальнѣйшихъ уклоненій въ этомъ родѣ, *то многіе изъ журналистовъ и молодыхъ писателей жалѣли, что, вслѣдствіе запрещенія печатно говорить о сочиненіяхъ Некрасова, не могли они орудіемъ критики осудить и заклеймить всю неблаговидность и неумѣстность подобнаго литтературнаго своеволія.*

Можно сказать положительно, что современная наша литтература не заслуживаетъ, чтобы заподозрили ея политическія и нравственныя убѣжденія. Вопросы религіозные и существенно государственные остаются для нея неприкосновенными какъ предметы безусловнаго и безграничнаго почитанія. Когда въ журналахъ нашихъ завязалась довольно живая полемика о нѣкоторыхъ отношеніяхъ крѣпостнаго состоянія въ Россіи, то министерство обратило тотчасъ вниманіе свое на эти пренія. Въ управленіе мое министерствомъ, я, циркуляромъ въ цензурные комитеты, пріостановилъ эту полемику, и съ той поры она не возобновлялась. Журнальныя разсужденія о семъ предметѣ не выходили изъ границъ чисто теоретическихъ, но, со всѣмъ тѣмъ, какъ сей вопросъ есть государственный и подлежитъ разсмотрѣнію и разрѣшенію одного правительства, то онъ и не можетъ быть печатно обсуждаемъ иначе, какъ съ соизволенія на то правительства.

Но, съ другой стороны, нельзя не замѣтить и не сознаться, что частные, не скажу второстепенные, а состоящіе на гораздо низшей степени, общественные вопросы возбуждаютъ пытливость, дѣятельность современной литтературы и подвергаются ея изслѣдованіямъ. Это явленіе новое, или, лучше сказать, возобновленное послѣ нѣсколькихъ лѣтъ наложеннаго молчанія. Не позволяю себѣ судить объ этомъ періодѣ литтературнаго молчанія: можетъ быть,

временныя мѣры строгости и были вынуждены необходимостію, въ виду современныхъ событій и Европейскаго волненія. Во всякомъ случаѣ, повторю, что нѣкоторое вмѣшательство литтературы въ дѣла общественныя—явленіе у насъ не новое. Оно только поражаетъ мнимою новизною тѣ лица, которыя незнакомы съ ходомъ нашей литтературы. И въ прежнія времена наши писатели подавали голосъ въ живыхъ и общественныхъ вопросахъ. Они имѣли свои періоды благоразумной и законной свободы съ одобренія цензуры. Въ доказательство того можно исчислить многія сочиненія и книги, вышедшія въ царствованіе Екатерины II, Павла I, Александра и въ началѣ царствованія Николая Павловича, которыя возбуждаютъ нынѣ напуганную опасливость цензуры; другія и совершенно запрещены.

Нынѣ въ литтературу нашу входятъ вопросы спеціальные, напримѣръ, по части народной промышленности, торговли и статистики, и другіе относящіеся до преобразованій и усовершенствованій въ государственно-матеріальномъ отношеніи. Эти вопросы приняли нынѣ большое развитіе въ журналахъ, но они не принадлежатъ къ вопросамъ щекотливымъ и раздражительнаго свойства. Нельзя не желать, чтобы предоставлена была имъ нѣкоторая умѣренная свобода и чтобы со стороны министерства финансовъ, министерства внутреннихъ дѣлъ и главнаго управленія путей сообщенія не было излишняго вмѣшательства для прегражденія развитія и обсужденія этихъ вопросовъ, совершенно практическихъ. Приступимъ теперь прямо и откровенно къ разсмотрѣнію вопроса, имѣющаго свою важность и относительную щекотливость. Литтература наша, въ особенности журналы, дѣятельно принялась въ послѣднее время за обличеніе и исправленіе злоупотребленій, вкравшихся и укоренившихся въ нижнихъ слояхъ нашей администраціи. Это явленіе также не новое. Съ давнихъ временъ Сумароковъ, фонъ-Визинъ, позднѣе Капнистъ и многіе другіе преслѣдовали на театрѣ, въ сатирахъ, романахъ, журналахъ русское крючкотворство, подьячество, ябедничество, взяточничество и злоупотребленія помѣщичьей власти. Къ сожалѣнію должно признаться, что эти исправительные нападки и преслѣдованія мало содѣйствовали не только къ искорененію, но даже и къ исправленію зла. За то, съ другой стороны, можно

спросить: ослабили ли они чувство покорности къ монархической власти и ея охранительное дѣйствіе въ Россіи? Потрясены ли были ими общественное устройство, законный порядокъ и повиновеніе частнымъ властямъ? На эти вопросы двухъ отвѣтовъ быть не можетъ. Всѣмъ ясно, что такихъ вредныхъ послѣдствій не было.

Должно сказать всю правду: въ прежнія времена эти нападки были отдѣльные, временные; нынѣ они приняли объемъ болѣе обширный, характеръ болѣе постоянный и систематическій. Можно бы назвать это направленіе *слѣдственною литературою*. Литература обратилась въ какую то *слѣдственную коммиссію низшихъ инстанцій*. Наши литераторы (напримѣръ, авторъ *Губернскихъ Очерковъ* и другіе) превратились въ какихъ то *литературныхъ становыхъ и слѣдственныхъ приставовъ*. Они слѣдятъ за злоупотребленіями мелкихъ чиновниковъ, ловятъ ихъ на мѣстѣ преступленія и доносятъ о своихъ поимкахъ читающей публикѣ, въ надеждѣ вмѣстѣ съ тѣмъ, что ихъ рапорты дойдутъ и до свѣдѣнія высшаго правительства. Въ литературномъ отношеніи я осуждаю это господствующее нынѣ направленіе: оно матеріализируетъ литературу подобными снимками съ живой, но низкой натуры, низводитъ авторство до какой то механической фотографіи, не развиваетъ высшихъ творческихъ и художественныхъ силъ, покровительствуетъ посредственности дарованій этихъ фотографовъ-литераторовъ и отклоняетъ нашу литературу отъ путей, пробитыхъ Карамзинымъ, Жуковскимъ и Пушкинымъ. Многіе негодуютъ на то, что эти живописцы изображаютъ одну худую сторону лицъ и предметовъ. И негодуютъ справедливо. Но дѣло въ томъ, что пошлость и пятна скорѣе кидаются въ глаза, что легче ихъ схватывать и описывать. Область нравственно-прекраснаго и возвышеннаго не всѣмъ доступна. Родись у насъ великое дарованіе, какъ Жуковскій или Пушкинъ, и въ литературѣ нашей откроются новые горизонты. Я сознаю, что нынѣшнее направленіе неудовлетворительно, неутѣшительно, но опасно и вредно ли оно въ государственномъ и правительственномъ отношеніи? — рѣшительно не признаю того. Напротивъ, если такому направленію приписывать какую-нибудь относительную пользу, то, безъ сомнѣнія, правительству благопріятную. Отъ этихъ тысячи разсказовъ, тысячу разъ повторяемыхъ, общество наше ничего новаго не узнаетъ. Вся Рос-

сія на практикѣ давно затвердила наизустъ продѣлки нашего чиновничьяго люда. Всѣ отъ нихъ болѣе или менѣе страдаютъ. Слѣдовательно, зло не въ томъ, что разсказывается, а въ томъ, что дѣлается. Каждый крестьянинъ, и не читая журналовъ, знаетъ лучше всякаго остроумнѣйшаго писателя, что за человѣкъ становой приставъ. Но въ этихъ журнальныхъ обличеніяхъ можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ есть несомнѣнное добро, а именно: возрождающееся отъ нихъ убѣжденіе въ народѣ, что высшее правительство не принимаетъ, такъ сказать, на себя отвѣтственности въ этихъ злоупотребленіяхъ, не застраховываетъ ихъ закономъ молчанія, который налагается на общество; напротивъ, соболѣзнуя больному, оно не лишаетъ его отрады поохать и покряхтѣть, когда приходится ему жутко.

Я убѣжденъ, и мое убѣжденіе основано на многихъ личныхъ свидѣтельствахъ, что нынѣшнее снисходительное, противу прежняго, ослабленіе цензуры имѣло самое благопріятное дѣйствіе. Оно во многихъ отозвалось живѣйшею благодарностію къ Государю; обратило къ правительству многихъ, которые, при напряженномъ молчаніи литтературы, держались въ какой-то тайной оппозиціи, и нынѣ въ печати тѣ же самые мыслятъ гораздо умѣреннѣе и благонамѣреннѣе *нежели готовы были дѣйствовать въ кругу рукописной литтературы, а она, очень любимая въ Россіи, имѣетъ несравненно болѣе важности и цѣнности въ глазахъ читающей публики.* По справкамъ, заслуживающимъ довѣренности, извѣстно, что, до разрѣшенія напечатать комедію „Горе отъ ума“, она въ нѣсколько десяткахъ тысячъ рукописныхъ экземпляровъ разошлась по всей Россіи. Подобнаго результата въ печати она не имѣла бы никогда. Этотъ примѣръ можетъ отнестись и ко всѣмъ другимъ рукописямъ. Нѣтъ сомнѣнія, и это также подтверждается фактами, что внутри Россіи эти журнальныя нескромности и сплетни не имѣютъ никакого вреднаго дѣйствія. Онѣ никого не смущаютъ, а развѣ многихъ потѣшаютъ. До верховной власти восходитъ одна благодарность. По Русскому понятію и чувству, все доброе истекаетъ отъ Государя, а все худое отъ нерадивыхъ исполнителей воли Его. Слѣдовательно, и въ этомъ случаѣ, губерніи, терпя административныя злоупотребленія, утѣшаются тѣмъ, что Государь дозволяетъ на нихъ указывать и жаловаться съ горемъ и смѣхомъ по поламъ. Такой выводъ

весьма важенъ. Для пріобрѣтенія его можно пожертвовать личностью нѣкоторыхъ недостойныхъ взяточниковъ и необдуманною щекотливостью тѣхъ, которые въ нападкахъ на частныя злоупотребленія видятъ посягательство на священное начало и право власти. Все отъ Бога; но между тѣмъ нѣтъ никакого кощунства въ жалобѣ на дурную погоду, когда идетъ проливной дождь и на дворѣ слякоть. Также и здѣсь жалобы на личныя отдѣльныя притѣсненія не имѣютъ въ виду верховной власти.

Если, по моему мнѣнію, помянутое направленіе литературы нашей не производитъ соблазна во внутренней Россіи, то здѣсь въ Петербургѣ дѣло другое. Въ высшемъ обществѣ, и то въ весьма ограниченномъ кругу тѣхъ, которые изрѣдка и случайно читаютъ по русски, понятно, что Русская грамота, мало имъ знакомая, имѣетъ въ глазахъ ихъ особенную важность. Имъ какъ-то дико и странно видѣть мысль, облеченную въ Русскія буквы. Они уже свыклись съ выраженіями иностранныхъ языковъ; но имъ кажется, что Русская азбука совсѣмъ не на то составлена, чтобы служить проводникомъ и выраженіемъ Русскаго ума. Какъ въ этомъ отношеніи, такъ и во многихъ другихъ, мы увлекаемся чужими вліяніями и порабощаемся чужимъ страхомъ. Если смотрѣть безпристрастно и не малодушно, то какъ не убѣдиться, что Русская литература не имѣетъ того господства, *не облечена въ ту диктаторскую власть, которыми вооружена она на Западѣ*. Русскій журналъ не есть ни Англійскій, ни Французскій. Онъ не вожатый, не глашатай той или другой политической партіи. Наша литература *не есть передовой застрѣльщикъ общественнаго мнѣнія*. Наша письменность даже и въ тѣхъ пріемахъ, которые наиболѣе пугаютъ нѣкоторыхъ, своею мнимою наступательностію, *все еще далеко отстоитъ отъ общаго изустнаго мнѣнія*. Въ самыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ своихъ, она развѣ дозволяетъ себѣ, или дозволяютъ ей, говорить кое-что и кое-какъ о томъ, что у всѣхъ на умѣ и на языкѣ и что говорится громогласно на всѣхъ перекресткахъ обширнаго нашего государства. Можно, конечно, липпить ее и этого безобиднаго и весьма умѣреннаго права, но какая будетъ отъ того польза и кому? ужъ вѣрно не правительству. Это мое глубокое, совѣстливое и испытанное убѣжденіе.

Литературу нашу можно усыпить и заставить ее молчать, но возвратить ее насильственно къ патріархальной и пастушеской простотѣ золотаго вѣка — дѣло невозможное. Мы живемъ въ вѣкъ испытаній и великихъ событій. Литература не можетъ оставаться беззаботною, посреди озабоченнаго общества. Севастопольскіе громы пробудили въ насъ новыя понятія, новыя стремленія, новую потребность въ назидательномъ самопознаніи. Въ нашемъ обществѣ, какъ и во всякомъ другомъ человѣческомъ обществѣ, гнѣздятся свои недуги, свои язвы и недостатки. Послѣднія событія строго указали намъ на эти немощи. Воспользуемся урокомъ и постараемся сознательно измѣрить, осязать и привести въ ясность наше внутреннее положеніе. Злоупотребленія ли нашей литературы, излишняя ли свобода ея породили тѣ невозможности, тѣ преграды, которыя, такъ сказать, сковали волю самаго благодушнаго и самаго энергическаго изъ властителей и вмѣстѣ съ нею сковали всѣ усилія доблести и самоотверженія храбраго войска и благочестиваго народа. Не вѣрнѣе ли будетъ искать въ непробудномъ молчаніи одну изъ причинъ многихъ заблужденій, предубѣжденій и ошибокъ? Зачѣмъ предполагать опасность тамъ, гдѣ ея нѣтъ и ослѣплять себя добровольнымъ и умышленнымъ невѣдѣніемъ опасностей, о которыя претыкаются ноги наши? Для насъ, въ противность другимъ обществамъ, опасность отъ приведеннаго въ систему *молчанія* пока гораздо пагубнѣе, нежели опасность отъ нѣкотораго *многоглаголанія*. Излишняго вреднаго многоглаголанія при цензурѣ нѣтъ и быть не можетъ; каждому противодѣйствію есть свое время; обязанность благоразумія и верховной власти есть своевременное примѣненіе той мѣры, того орудія, на которыя указываютъ потребность и сила обстоятельствъ. Никому не уступлю въ любви къ отечеству и въ вѣрноподданической преданности къ Государю, но вмѣстѣ съ тѣмъ скажу, что не вижу теперь ни малѣйшей опасности, угрожающей со стороны литературы. Напротивъ думаю, что для общей пользы не должно усыплять ея. Она должна быть бдительнымъ и откровеннымъ, но умѣреннымъ выраженіемъ общества: выраженіемъ потребностей его, упованій и ожиданій, даже и опасеній и жалобъ, разумѣется, не раздражающихъ, не возмущающихъ страстей, а возбуждающихъ разумное вниманіе общества. Она зеркало, въ которомъ

изображается и сосредоточивается общество, съ соизволенія и подъ надзоромъ и опекою правительства.

Изъ того не слѣдуетъ, что я желаю совершенно развязать руки писателямъ и совершенно обезоружить цензуру. Нѣтъ, я желаю, чтобы цензура наша была сильна, но вмѣстѣ съ тѣмъ благоразумна и прозорлива, и не мелочна и не придирчива. Не вижу пользы при каждомъ движеніи прицѣплять литературѣ тормазъ, если впереди дорога гладкая. Тормазъ хорошъ и необходимъ, когда въ виду крутой скатъ, или *косогоръ*; но теперь ихъ нѣтъ.

Со всѣмъ тѣмъ, повторю, положеніе нашей литературы не блестящее. Бѣда въ томъ, что во главѣ ея стоятъ не великіе писатели, а болѣе или менѣе ловкіе и смышленные журналисты. Промышленная, торговая, любостяжательная, однимъ словомъ, реальная сторона вѣка отразилась и на нашей литературѣ. Нѣтъ вдохновенья, творчества, безкорыстной и благородной любви къ искусству. Но что же тутъ дѣлать? Цензура горю этому помочь не можетъ,

Но въ настоящемъ положеніи цензуры можно было бы ей помочь, уяснивъ и упростивъ дѣйствія ея. Собственно нѣтъ у насъ цензурнаго устава, хотя изданный въ 1828 году не отмѣненъ. Но ни цензоры, ни писатели не могутъ имъ руководствоваться и законно ссылаться на него. Частныя, временныя предписанія, въ безчисленномъ множествѣ изданныя, по разнымъ случаямъ, можно сказать, загромоздили уставъ такъ, что до него добраться нельзя. Такимъ образомъ, одна изъ важнѣйшихъ отраслей нашего охранительнаго законодательства совершенно запутана и лишена необходимаго единства. По моему мнѣнію, нужно безотлагательно возстановить нынѣ только нарицательно существующій уставъ и сдѣлать въ немъ измѣненія и пополненія, какія признаются нужными. Затѣмъ слѣдуетъ совершенно отмѣнить всѣ предписанія и распоряженія, которыя были отдѣльно изданы.

II.

Цензура, сія управа благочинія мыслей и выраженій, являющихся въ печати, не можетъ (за исключеніемъ нѣкоторыхъ верховныхъ и основныхъ началъ, которыя, впрочемъ, и остаются не

прикосновенными) во всѣхъ дѣйствіяхъ своихъ руководствоваться примѣненіемъ положительныхъ и ясныхъ узаконеній, подобно всякому другому административному учрежденію. И тамъ бываютъ ошибки и недоразумѣнія, хотя дѣйствія и законы твердо выведены въ параллельной точности.

Какъ же имъ не быть въ дѣлѣ цензуры, гдѣ по большей части все предоставлено личному уразумѣнію, а чаще всего личнымъ догадкамъ. Въ цензурѣ, кромѣ тѣхъ коренныхъ началъ, о которыхъ сказано выше, все прочее условно и почти неуловимо. Здѣсь нѣтъ яспыхъ указаній, непреложныхъ запрещеній, буквально означающихъ то, что дозволено, и то, что запрещено. Многое зависитъ отъ внутренняго сознанія, въ силу коего авторъ выразилъ свою мысль, отъ понятія и догадки цензора при сужденіи того, что написано, и отъ частныхъ впечатлѣній и личныхъ расположеній разнородныхъ читателей при чтеніи написаннаго. Тутъ открывается безграничное поле для встрѣчъ и столкновеній мнѣніямъ и убѣжденіямъ, и убѣжденіямъ разномысленнымъ и другъ другу противорѣчащимъ. Отдѣльно взятое убѣжденіе каждое можетъ быть равно основательно и добросовѣстно, но въ общемъ итогѣ выводятся заключенія спорныя и взаимно обвинительныя. Можно ли требовать отъ автора, чтобы онъ въ увлеченіи своемъ никогда *не обмолвился* или не подалъ повода къ превратному толкованію того, что онъ хотѣлъ сказать? Отъ цензора, который съ утра до вечера обязанъ прочитывать исписанныя кипы бумагъ и производить формальныя слѣдствія надъ каждою фразою, надъ каждымъ словомъ, *чтобы онъ ничего не просмотрѣлъ*, или понялъ все имъ прочитанное точно такъ, какъ поймутъ оное послѣ и на досугѣ читатели, увлеченные иногда излишней строгостію или озабоченные своими личными предубѣжденіями. Въ такомъ неопредѣленномъ положеніи часто всѣ могутъ быть правы и всѣ виноваты. Не ослабляя обязанности цензуры, не уменьшая отвѣтственности цензоровъ, можно дозволить себѣ замѣтить, что несправедливо было бы, упуская изъ виду вышеприведенныя соображенія, судить о печатныхъ недосмотрахъ или даже и проступкахъ съ безусловною строгостію; несправедливо было бы вездѣ искать злонамѣренности тамъ, гдѣ часто провинились одна опрометчивость автора и одно недоразумѣніе цензора.

III.

Настоящее положеніе литтературы нашей можно подраздѣлить на три главныя и характеристическія направленія:

1) Направленіе правописательное и, такъ сказать, исправительное, то-есть изысканіе и преслѣдованіе всѣхъ злоупотребленій, вкравшихся въ нашъ общественный и административный бытъ.

2) Направленіе болѣе частное и одностороннее и принадлежащее только ограниченному числу писателей. Оно имѣетъ цѣлью отстаивать историческія начала наши, нашу старину, нравы, обычаи ея, Русскую самобытность, основанную на духовномъ началѣ православія, и противодѣйствовать вліянію Запада, которому мы, по мнѣнію его, слишкомъ безусловно подражаемъ и покоряемся.

3) Направленіе ученое, любознательное, испытующее и практическое. Цѣль и способъ сего направленія: изученіе и разъясненіе вопросовъ, всѣхъ равно занимающихъ; распространеніе общеполезныхъ свѣдѣній по всѣмъ частямъ государственнаго управленія въ отношеніи гражданскомъ, законодательномъ, экономическомъ; знакомство общества съ началами, признанными новѣйшею наукою, съ успѣхами и улучшеніями во всѣхъ отрасляхъ общежительнаго устройства. Всѣ эти три направленія не новы въ нашей литературѣ. Знакомымъ съ ходомъ ея, изучившимъ ея творенія, легко прослѣдить ихъ повторявшіяся проявленія. Имъ извѣстно, что, начиная отъ князя Кантемира, знаменитаго нашего государственнаго сановника и перваго по старшинству изъ свѣтскихъ нашихъ писателей, исправительное и сатирическое преслѣдованіе домашнихъ и административныхъ злоупотребленій не переставало отзываться въ Русской письменной дѣятельности. Можно было бы здѣсь исчислить многія сатирическія періодическія изданія, исключительно посвященныя обличенію и наказанію общественныхъ пороковъ, какъ-то: взяточничества, противозаконнаго самоуправства, невѣжества или безграмотности, злоупотребленій помѣщичьей власти. Это направленіе господствовало на нашемъ театрѣ. Эту сатирическую стихію находимъ мы почти вездѣ, равно и въ одахъ Державина, и въ басняхъ Хемницера и Крылова. Эта свобода, правительствомъ дарованная писателямъ нашимъ, никогда не потрясала государствен-

наго и общественнаго порядка и не ослабляла любви и преданности народа къ Царямъ. Напротивъ, она возбуждала общую признательность къ верховной власти, которая въ лицѣ Екатерины Второй разрѣшила журналъ „Живописецъ“ и комедію „Недоросль“, въ лицѣ Императора Павла I приняла посвященіе комедіи „Ябеда“, и въ лицѣ Императора Николая I созвала Русское общество на представленіе „Горе отъ ума“ и „Ревизора“.

Второе направленіе литтературы нашей, извѣстное нынѣ подъ названіемъ славянофильскаго, также явленіе у насъ не новое. Борьба съ западными нововведеніями въ нашу Русскую жизнь, борьба съ духомъ подражанія, вытѣсняющаго изъ нашего общества духъ народной первобытности и самостоятельности—издавна отзывалась во многихъ изъ нашихъ благонамѣренныхъ и монархическихъ писателей. Не входя и здѣсь въ литтературныя обозрѣнія и въ исчисленія личностей, достаточно будетъ наименовать одного Шишкова. На анти-западныхъ убѣжденіяхъ въ дѣлѣ литтературномъ и общественномъ, которыя онъ исповѣдывалъ и печатно проповѣдывалъ, основана извѣстность его. Они не только дали ему замѣчательное мѣсто въ нашей литтературѣ, но, безъ сомнѣнія, открыли ему поприще къ достиженію высшихъ государственныхъ званій и почестей. Онъ также былъ поборникомъ старыхъ обычаевъ, повѣрій, нравовъ; онъ изобличалъ современное общество въ отступленіи отъ православныхъ началъ богобоязненной и душеспасительной старины, въ слѣпомъ и преступномъ подражаніи всему иноземному и въ порчѣ нравовъ, которая была горькимъ плодомъ этого подражанія. Если и слѣдуетъ иногда останавливать это направленіе въ попыткахъ его къ неумѣреннымъ и крайнимъ заключеніямъ, то нельзя не сознать, что это *старообрядческое* ученіе есть болѣе историческое и умозрительное, нежели практическое. По существу своему нельзя отъ него ни въ какомъ случаѣ ожидать и опасаться живаго примѣненія къ дѣйствительности. Можно опасаться зайти слишкомъ далеко при постоянномъ и усиленномъ стремленіи впередъ; но при всѣхъ напряженіяхъ ума и воли, при всей запалъчивости мнѣній, не увлечешь общества въ движеніе обратное и не заставишь его отскочить на 150 лѣтъ назадъ. Слѣдовательно, во всякомъ случаѣ опасность не тутъ.

Третье, нами означенное, направленіе литтературы истекаетъ прямо изъ современныхъ потребностей и обстоятельствъ. Литтература, т.-е. грамотность, никогда не оставалась равнодушною и нѣмою зрительницею тѣхъ общественныхъ интересовъ, которые преимущественно занимали и озабочивали современную ей эпоху. Нынѣ это участіе, это вмѣшательство развилось болѣе противу прежняго, и таковое развитіе совершенно естественно. Нынѣ эти интересы въ обществѣ сами заговорили громче. Они сдѣлались разнообразнѣе и многосложнѣе. Событія и наука сдѣлали ихъ каждому доступнѣе. Нововведенія въ жизни общественной болѣе или менѣе сблизили всѣ народы, всѣ состоянія. Сіи нововведенія—не исключительная принадлежность особеннаго званія; они общее достояніе всѣхъ и каждаго. Прежде одни богатые люди могли пользоваться дорогими открытіями науки и удобствами жизни. Для массы наука ничего не дѣлала и не существовала. Нынѣ наука приспособляетъ свои открытія въ пользу всѣхъ. Не входя въ дальнѣйшія подробности, ограничимся замѣткою, что нынѣ богатый и бѣдный, благодаря наукѣ, отправляются въ одномъ поѣздѣ изъ Москвы въ Петербургъ, а чрезъ нѣсколько лѣтъ будутъ отправляться изъ одного конца Россіи въ другой. При такомъ развитіи матеріальныхъ пріобрѣтеній и улучшеній, которыя состоятъ въ нераздѣльной связи съ умственными и духовными силами народа, не возможно требовать, чтобы литтература, сіе выраженіе общества и своего времени, оставалась праздною и въ сторонѣ. Можетъ ли она молчать о томъ, что въ помышленіяхъ каждаго и у каждаго на языкѣ? Можетъ ли не принимать она участія въ общемъ движеніи и въ перерожденіи общества на другихъ началахъ и при другихъ условіяхъ? Литтература должна содѣйствовать и помогать обществу въ уразумѣніи и присвоеніи себѣ этихъ побѣдъ, одержанныхъ наукою и просвѣщеніемъ въ пользу правительствъ и въ пользу управляемыхъ. Въ эту среду, которою обхвачено все общество, сами собою врываются вопросы промышленности, торговли, финансовъ, всего государственнаго хозяйства. Отъ этого новаго положенія возрождается въ обществѣ потребность изученія и уразумѣнія этихъ вопросовъ. Отчужденіе общества отъ знакомства, по крайней мѣрѣ, въ общихъ понятіяхъ отъ сихъ важныхъ и жизнен-

ныхъ вопросовъ, равнодушіе къ ихъ дѣйствіямъ и пользѣ, было бы явленіемъ прискорбнымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, оно лишило бы правительство надежнѣйшаго пособія нравственной силы, которою оно можетъ дѣйствовать на общество, на его довѣріе, убѣжденіе, сочувствіе и единомысліе.

IV.

Въ настоящихъ обстоятельствахъ цензура находится въ самомъ затруднительномъ и почти безъисходномъ положеніи. Цензура сама подчинена различнымъ цензурамъ, которыя въ дѣйствіяхъ своихъ руководствуются не положительнымъ цензурнымъ уставомъ, а личными впечатлѣніями. Отъ того цензора не могутъ имѣть ни правильнаго и однообразнаго направленія, ни довѣрія къ себѣ. Отъ того часто и дѣйствуютъ они безсознательно и на удачу. Не только цензура, подвѣдомственная министерству народнаго просвѣщенія, но и само министерство, при такомъ стеченіи и столкновеніи разнородныхъ вліяній, не можетъ въ цензурномъ отношеніи дѣйствовать по убѣжденію своему и съ полною и законною отвѣтственностію за свои дѣйствія. Въ безпрестанномъ недоумѣніи должно оно угадывать частныя истолкованія и заключенія многочисленныхъ вѣдомствъ. И когда цензура обращается къ министерству для разрѣшенія сомнѣнія, оно должно сознать передъ цензурою, что неспособно и не въ правѣ разрѣшить предлагаемое сомнѣніе.

Часто переводныя статьи, чисто принадлежащія наукѣ и въ которыхъ не было никакого примѣненія къ Россіи, подвергали цензоровъ взысканію только потому, что въ этихъ статьяхъ излагались начала, упоминалось о мѣрахъ, учрежденіяхъ и преобразованіяхъ, несходныхъ съ нашими. Въ этихъ изложеніяхъ видѣли укоризну на то, что дѣлается у насъ, или предосудительное сожалѣніе о томъ, чего у насъ нѣтъ. При такихъ условіяхъ невозможно изученіе ни всеобщей исторіи, ни законодательства, ни статистики. Изученіе сихъ предметовъ неминуемо укажетъ на постановленія и факты, несогласные съ нашими и которые могутъ порождать у насъ опасныя умствованія и противузаконныя желанія.

Въ послѣднее время разрѣшены были изданія политико-экономическихъ и другихъ подобныхъ журналовъ. При разъединеніи цензуры опытъ доказываетъ невозможность подобныхъ журналовъ. Наука, какъ она ни стѣсняй себя строгими предѣлами, не можетъ держаться въ одной только сферѣ теоріи, такъ чтобы въ самыхъ началахъ своихъ или выводахъ не касалась она, хотя и косвенно, какихъ нибудь государственныхъ мѣръ, потребностей или вопросовъ, существующихъ и въ Россіи. Подобныя разсужденія не могутъ потрясти довѣрія къ дѣйствіямъ правительства. Чуждые наукѣ не станутъ читать этихъ разсужденій; люди образованные и съ наукою знакомые съумѣютъ понять необходимое различіе, которое существуетъ между общими понятіями науки и нѣкоторыми государственными мѣрами, оправдываемыми мѣстными условіями, временемъ, историческими началами и другими законными обстоятельствами. Но не менѣе того они желаютъ знать, что дѣлается и какъ дѣлается въ другихъ государствахъ. Науку обрѣзывать нельзя. Отрывочныя понятія и свѣдѣнія порождаютъ одну сбивчивость. Слѣдя за ходомъ ученой журналистики, нельзя не признать, что въ послѣднее время появлялись нѣкоторыя весьма дѣльныя статьи. Если и нельзя было принимать безусловно всѣ выраженныя въ нихъ мнѣнія, то не менѣе того эти мнѣнія могли быть приняты въ соображеніе, чтобы обнять вопросъ во всей его полнотѣ. Нерѣдко появлялись ученыя разсужденія о поземельной собственности, о распредѣленіи сельскихъ работъ и тому подобныя, гдѣ безъ всякой рѣзкости и заносчивости, хладнокровно и ученымъ образомъ разсматривались тѣже вопросы, которые нынѣ будутъ предложены на разсмотрѣніе губернскихъ комитетовъ. Подобное вмѣшательство науки въ дѣла дѣйствительности ничему повредить не можетъ. Оно ни для кого не обязательно, а между тѣмъ уясняетъ и провѣряетъ частныя понятія и обогащаетъ свѣдѣніями, которыя всегда полезны. Нѣкоторые изъ писателей нашихъ и помѣщиковъ, благоговѣя къ великому дѣлу, указанному правительствомъ объ улучшеніи быта крестьянъ, поспѣшили представить статьи о томъ, какъ это совершилось въ другихъ мѣстахъ, напримѣръ въ Пруссіи, но и тѣ статьи подвергнуты сомнѣнію и задержкѣ, хотя въ нихъ о Россіи ничего не упоминается. Многіе опасаются у насъ толковъ, которые каж-

дая печатная статья можетъ породить. Но въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ вынужденное молчаніе породитъ еще болѣе толковъ, истекающихъ часто отъ невѣжества и невѣдѣнія, а иногда и отъ недоброжелательства. Когда умы заняты важнымъ современнымъ вопросомъ, здравая пища нужна для ихъ возбужденнаго вниманія и дѣятельности. Извѣстно, что въ военное время недостатокъ вѣстей изъ дѣйствующей арміи всегда порождаетъ въ массѣ самые нелѣпые, неблагонамѣренные и недоброжелательные слухи.

Всѣ эти несогласности и противорѣчія, дѣйствующія нынѣ на цензуру, влекутъ къ одному разстройству и къ произволу. Для приведенія вопроса въ надлежащій порядокъ и ясность, должно положительно опредѣлить и обозначить ту долю благоразумной и законной свободы, которую правительство полагаетъ возможнымъ предоставить наукѣ и литературѣ. Иначе слѣдуетъ рѣшительно поставить такія преграды, за которыя не могла бы литература вступать въ область мышленія, любознательности, общественныхъ интересовъ, и однимъ словомъ всего, чѣмъ нынѣ занимается и живетъ общество. Подобное запрещеніе возможно; но, не входя въ сужденіе о такой мѣрѣ, можно спросить, не повлечетъ ли она за собою вредъ, гораздо опаснѣйшій того вреда, котораго опасаются отъ частныхъ покушеній литературы и отъ снисхожденія и оплошности цензоровъ. Умамъ дала движеніе не литература наша; напротивъ, въ литературѣ слабо и поверхностно отзывается движеніе умовъ, пробужденныхъ событіями, духомъ времени, побѣдами науки и усиленною дѣятельностію нашей эпохи. Вопросы, вытѣсненные изъ печатной литературы, которая, не смотря на своевременныя уклоненія, невольно держится въ берегахъ, опредѣленныхъ ей цензурнымъ уставомъ, эти вопросы свободнымъ разливомъ вторгнутся въ рукописную литературу и въ контрабандную литературу заграничныхъ Русскихъ печатныхъ станковъ.

Никакія предохранительныя и стѣснительныя мѣры полиціи не будутъ въ силахъ бороться съ этимъ безпрестанно возрастающимъ и напирающимъ зломъ. Она проникнетъ къ намъ, разольется у насъ въ тысячѣ видахъ. Русская литература перенесется за-границу, и совершенно отрѣшенная не только отъ надзора, но и отъ вліянія правительства, отрѣшится отъ собственнаго надзора за собою и

броситься въ крайности. Мы видимъ тому поучительный и несчастный примѣръ.

Для огражденія цензуры отъ той сбивчивости, въ которую она поставлена, и для отвращенія того зла, которое могла бы повести за собою рукописная и заграничная литература, необходимо было бы нынѣ же, до окончанія пересмотра по Высочайшему повелѣнію цензурнаго устава, опредѣлить временно границы благоразумной дѣятельности литературы и дѣйствію цензуры на слѣдующихъ главныхъ основаніяхъ:

1) Оставить въ прежней силѣ разрѣшеніе говорить въ печати, въ предѣлахъ наукъ для книгъ и журнальныхъ программъ для періодическихъ изданій, о вопросахъ ученыхъ, современныхъ и общественныхъ, со строгимъ охраненіемъ основныхъ государственныхъ началъ въ политическомъ, религіозномъ и нравственномъ отношеніяхъ.

2) Имѣя въ виду неопредѣленность и разнообразіе толкованій и примѣчаній, которымъ подвергаются печатныя статьи, предоставить постороннимъ вѣдомствамъ входить съ своими замѣчаніями на статьи, которыя, по ихъ мнѣнію, признаются предосудительными, въ главное управленіе цензуры, письменно, съ точнымъ объясненіемъ причинъ, могущихъ уяснить, въ предосторожность цензуры, вредъ, проистекающій отъ одобренія ихъ въ печать.

3) Кромѣ сего, для большаго удовлетворенія требованій разныхъ министерствъ, съ которыми наиболѣе встрѣчаются соприкосновенія, предоставить назначить съ ихъ стороны въ Москвѣ и Петербургѣ довѣренныхъ чиновниковъ, которые могли бы разрѣшать возникающіе въ цензурѣ вопросы и сомнѣнія и тѣмъ способствовать сей послѣдней къ поддержанію ея предупредительнаго характера.

4) Между прочимъ, разрѣшить, по смыслу 1 пункта, допущеніе въ печать благонамѣренныхъ ученыхъ разсужденій и практическихъ замѣчаній по поводу вопросовъ, возбужденныхъ нынѣ Высочайшими рескриптами объ улучшеніи крестьянскаго быта, въ предѣлахъ строгихъ приличія какъ относительно правительства, такъ и помѣщиковъ, и осторожности относительно крестьянъ.

LXXX.

О ЦЕНЗУРѢ.

1858.

Цензура, съ самаго присоединенія къ министерству народнаго просвѣщенія и ея учрежденія въ нынѣшнемъ составѣ, была всегда одна изъ тягчайшихъ обязанностей сего министерства и налагала на него самую затруднительную и щекотливую отвѣтственность. Она была занозою и камнемъ преткновенія для многихъ министровъ. На нашихъ глазахъ графъ Уваровъ, оскорбленный и измученный подъ бременемъ этихъ затрудненій, оставилъ министерство. Князь Ширинскій-Шихматовъ, можно сказать, изнемогъ и умеръ въ борьбѣ, которую вызвали на него дѣла, непріятности и столкновенія цензурныя. Не смотря на различіе образованій, способностей того и другаго, на различіе воззрѣній и способовъ дѣйствія ихъ, тотъ и другой не могли совладѣть съ трудностями положенія и сдѣлались жертвами ихъ. Эти примѣры доказываютъ, что затрудненія, сопряженныя съ управленіемъ цензурою, имѣютъ особую важность и выходятъ изъ предѣловъ затрудненій, которыя неминуемо связаны съ каждымъ изъ государственныхъ управленій. Причины тому ясны и неоспоримы. Въ каждомъ другомъ вѣдомствѣ, дѣла болѣе или менѣе остаются безъ огласки, и рѣшеніе ихъ недоступно для посторонняго, а еще менѣе для общаго изслѣдованія. Они болѣе или менѣе замыкаются въ кругѣ департаментскихъ стѣнъ. Дѣла цензуры—дѣла гласности, какъ и вообще дѣла министерства народнаго просвѣщенія. Подъ его вѣдомствомъ находится гласность преподаванія и гласность печати: это одно объясняетъ

почему оно имѣетъ затрудненія, другимъ министерствамъ неизвѣстныя, а можетъ быть, почему встрѣчаетъ оно и многихъ недоброжелателей. Каждая одобренная цензурою печатная строка подвергается общему сужденію или, правильнѣе, частному понятію и перетолкованію каждаго. Когда министерство народнаго просвѣщенія не имѣетъ ни права, ни повода вмѣшиваться въ дѣла, распоряженія и рѣшенія другихъ вѣдомствъ, каждое министерство полагаетъ, что имѣетъ право и поводъ вмѣшиваться въ дѣла министерства народнаго просвѣщенія и протестовать противъ распоряженій его по части цензуры. Общество съ разнорѣчивыми своими убѣжденіями и мнѣніями, предубѣжденіями и заблужденіями, также дѣлается гласнымъ судіею каждаго цензурнаго дѣйствія. Всѣмъ угодить, согласовать всѣ различныя мнѣнія и сужденія дѣло не только трудное, но и невозможное. Тѣмъ болѣе оно невозможно въ дѣлѣ цензуры, которая руководствуется болѣе общими правилами, нежели буквальными постановленіями и не имѣетъ на каждый случай готовой статьи въ Сводѣ Законовъ, чтобы сослаться и опереться на нее. За неимѣніемъ всегда подъ рукою данныхъ, чтобы судить вкривь и вкось о распоряженіяхъ другихъ министерствъ, наше общество вымещаетъ свое обиженное любопытство на министерствѣ просвѣщенія. Тѣже лица, которыя за нѣсколько лѣтъ предъ симъ разносили по городу анекдоты, часто съ преувеличеніемъ и искаженіемъ истины, о неблагоразумныхъ строгостяхъ цензуры, нынѣ также охотно и усердно, и съ тою же часто необдуманною ревностію, разглашаютъ о неблагоразумныхъ упущеніяхъ, снисхожденіяхъ и вредныхъ послабленіяхъ цензуры. Таково общее затруднительное и едва ли не безъисходное положеніе министерства народнаго просвѣщенія въ дѣлѣ цензурномъ. Въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ эти затрудненія еще многосложнѣе и обширнѣе. Правительство признало пользу и законность этихъ благонамѣренныхъ стремленій: стремленій изучить себя, изучить свое время, изучить новыя государственныя и общественныя потребности, которымъ само правительство указываетъ путь и цѣль. Попечительное о благѣ Россіи правительство, желающее укоренить у себя просвѣщеніе умственное и нравственное, которое должно быть нераздѣльно, не могло поступить иначе. При таковыхъ обстоятель-

ствахъ дѣло цензуры становится еще затруднительнѣе, и отвѣтственность министерства возрастаетъ съ каждымъ днемъ. При возбужденіи новыхъ интересовъ, при разширеніи горизонта, цензура, еще не совершенно ознакомившаяся съ ними, еще не наученная опытомъ, не успѣвшая опредѣлить постоянныхъ и законныхъ рубежей, должна неминуемо сбиваться иногда съ пути и заблуждаться. Упущенія, промахи цензуры всегда бывали въ тѣ времена, когда дѣйствія ея были гораздо ограниченнѣе, нежели теперь. Встрѣчаются они и нынѣ и должны встрѣчаться чаще, потому что внимательность цензуры развлечена и раздроблена множествомъ предметовъ и вопросовъ прежде не существовавшихъ. Эти упущенія болѣе прежняго кидаются въ глаза потому, что общество придало нынѣ литературѣ значеніе, котораго она прежде въ глазахъ его не имѣла. Люди благонамѣренные, но благонамѣренности недѣятельной и отрицательной, болѣе всего опасливой, пугаются каждаго движенія и выраженія мысли. Они просвѣщенія боятся какъ огня, забывая, что если огонь иногда сожигаетъ, то онъ всегда можетъ согрѣвать и освѣщать. Съ огнемъ шутить не должно, это правда; но это не мѣшаетъ пользоваться имъ. Бдительность въ дѣлѣ цензуры нужна, и бдительность самая дѣятельная, зоркая и строгая, но она не можетъ быть всегда *предупредительною*.

Министерство не можетъ отвѣтствовать за каждое упущеніе цензора, какъ никакое другое министерство не можетъ отвѣчать за недоразумѣнія каждаго подвѣдомственнаго ему чиновника. Разница только въ томъ, что погрѣшность другаго чиновника остается обыкновенно домашнимъ дѣломъ того вѣдомства, которому онъ принадлежитъ; а ошибка цензора получаетъ всеобщую гласность, и требуютъ отъ него не только, чтобы онъ не былъ явнымъ и злонамѣреннымъ нарушителемъ закона, но требуютъ, чтобы онъ во всемъ, вездѣ и всегда былъ непогрѣшителенъ. Цензоръ не можетъ иногда не просмотрѣть и не провиниться. Министерство не можетъ утверждать цензорскихъ ошибокъ. Ошибка является ошибкою, когда она въ печати, то-есть, когда дѣло уже сдѣлано и поправить его нельзя. Но министерство можетъ и должно взыскивать за каждое упущеніе, безпрестанно руководствовать цензоровъ, возбуждать ихъ внимательность и опасливость. По убѣжденію и разумѣнію своему,

оно это и дѣлаетъ. Но совсѣмъ тѣмъ ошибки есть и будутъ. Къ инымъ можно оказывать снисходительность, къ другимъ должно оказывать неуклончивую строгость. Министерство соблюдаетъ и это правило. Нынѣшнее состояніе литтературы и цензуры можно почитать переходнымъ. Выдвинутыя на новую почву, та и другая не успѣли оглядѣться, установиться. Неправильныя движенія неизбѣжны. Но придавать имъ излишнее значеніе не должно. Круто выпрямить это положеніе и съ одного раза дать ему надлежащее образованіе нельзя. Остается только постоянно слѣдить за уклоненіями этихъ движеній и, по возможности, удерживать ихъ въ берегахъ благоразумной свободы.

Пересмотръ цензурнаго устава, коимъ нынѣ, по Высочайшему повелѣнію, занимается министерство, будетъ, по окончаніи своемъ, содѣйствовать приведенію этого дѣла въ надлежащій порядокъ и ясность.

Возобновленный уставъ, соображенный съ новыми потребностями общества, науки и литтературы, можно надѣяться, утвердитъ за ними ихъ законныя обязанности и права и поставитъ болѣе опредѣленныя и точныя границы той свободѣ, которую правительство признаетъ возможнымъ и заблагоразсудитъ литтературѣ предоставить.

LXXXI.

ФЕРНЕЙ.

1859.

„Кто, будучи въ Женевской республикѣ, не почтетъ за пріятную должность быть въ Фернеѣ, гдѣ жилъ славнѣйшій изъ писателей нашего вѣка?“

Въ этихъ словахъ Русскаго Путешественника поразило меня слово *должность*. Теперь сказали бы мы *долгъ*, или *обязанность*. Конечно, лестно самолюбію каждаго писателя отыскать неправильное выраженіе въ Карамзинѣ, какъ всякому астроному отыскать пятнышко въ солнцѣ. Это доказываетъ, что глаза хороши и телескопъ хорошъ. Но полно пятнышко-ли это? Съ Карамзинымъ надобно быть осторожнымъ, онъ слова употреблялъ не на угадъ. Можетъ-быть, выраженіе Карамзина и правильно, и въ духѣ языка нашего. *Долгъ* и *должность* имѣютъ не одно значеніе. „Отпусти намъ долги наши!“ Тутъ не замѣнишь слово *долги* словомъ *должность*, равно какъ и въ смыслѣ *дома*, не лежащаго на должникѣ. Слово *обязанность* было бы ближе къ дѣлу. Теперь выраженіе *должность* приняло исключительно оффиціальное и служебное назначеніе.

Какъ бы то ни было, и я почелъ за пріятную обязанность или должность побывать еще разъ въ Фернеѣ. Посѣтилъ я его за нѣсколько лѣтъ тому въ первый мой проѣздъ черезъ Женеву. Вчера опять отправился я на поклоненіе. Я не вольтеріянецъ, но и не бѣшеный анти-вольтеріянецъ. Иное въ сторону, и очень въ сторону, и очень далеко въ сторону, а все-таки въ Вольтерѣ найдется много,

за что можно помянуть его не лихомъ, а добрымъ словомъ. Да и время взяло свое и отребило пшеницу отъ плевелъ. Кощунства Вольтера не читаются нынѣ даже и необдуманной молодежью, падкой на всякіе соблазны. Можетъ быть, даже ударились въ противоположную крайность. Вольтера, можетъ быть, вовсе не читаютъ. Это жаль и несправедливо. Какъ и во времена Карамзина, доступъ въ Фернейскій замокъ или *дворецъ* (ссылаясь на недавно вышедшую книгу Arsène Houssaye „Le Roi Voltaire") не совершенно свободенъ. Онъ долженъ былъ увѣрить въ благодарности человѣка, вышедшаго ему на встрѣчу съ отказомъ, а я побѣдилъ недоброжелательство своею визитною карточкой. Благо, что нынѣшній владѣлецъ Фернейскаго помѣстья, г. Давидъ, торгующій брилліантами, торговалъ ими и въ Россіи, гдѣ, по словамъ моего чичероне, нажилъ онъ значительное богатство. Впрочемъ, нельзя обвинять и владѣльцевъ извѣстныхъ историческихъ мѣстностей, если они не растворяютъ дверей настежь алчной и хищной ордѣ туристовъ, которые совершаютъ набѣги на достопамятныя мѣста. Они, и вѣроятно наиболѣе изъ орды Англо-Саксоновъ, ободрали занавѣски, окружавшія кровать Вольтера, такъ-что не осталось ни одного клочка. Есть въ саду *вязъ*, посаженный самимъ Вольтеромъ. Онъ такъ изувѣченъ и ободранъ, что прошла молва, что его обожгло молніею. По ближайшему слѣдствію и достовѣрнымъ справкамъ оказывается, что кору слупили съ него тѣ же ордынцы-туристы. Теперь дерево обведено защитительною оградою. Вообще, по всему видно, что нынѣшній хозяинъ дорожитъ памятью своего дальняго предмѣстника. У насъ подобный *консерватизмъ* не введенъ въ наши нравы и обычаи. Съ царствованія Императора Николая государственная историческая археологія и особенно нынѣ археографія получили живое значеніе. Признательное потомство этого не забудетъ. Но частные, семейные, біографическіе памятники, которые также, въ свою очередь, суть принадлежность и необходимое пополненіе общей народной исторіи, почти у насъ не существуютъ. Во многихъ-ли семействахъ сохранились семейные портреты, переписки, родовые акты, родовыя имѣнія? Меня увѣряли, что недавно, когда, для совершенія какого-то акта, потребны были бумаги князя Смоленскаго-Голенищева-Кутузова, нигдѣ не могли найти послуж-

наго списка его. Мы скоро живемъ, и наши до-историческія эпохи, какъ изволите видѣть, довольно свѣжи. Авось новое поколѣніе наше будетъ бережливѣе и домостроительнѣе... Передъ входомъ во дворъ замка стоитъ еще *каплица,* построенная Вольтеромъ, и сохранила свою знаменитую надпись: *Deo erexit Voltaire.* Нынѣ церковь упразднена и даже прежними владѣльцами обращена была въ сарай. Это святотатство, но, впрочемъ, достойное святотатства самой надписи. Слышно, что новый помѣщикъ хочетъ возобновить церковь и возвратить ея служенію Богу. Пускай помолятся въ ней добрые люди объ успокоеніи души усопшаго болярина Аруэта и о прощеніи ему вольныхъ и невольныхъ прегрѣшеній его; а болярина-помѣщика есть чѣмъ помянуть. Онъ создалъ это селеніе, благодѣтельствовалъ ему и жителямъ его. Изъ любви къ нимъ навязывалъ часы издѣлія ихъ земнымъ владыкамъ, а особенно Императрицѣ Екатеринѣ II. Изъ благодарности къ ней портретъ ея висѣлъ надъ самымъ изголовьемъ кровати. Онъ и донынѣ сохранился на томъ же мѣстѣ. Вообще спальня Вольтера, которая была и кабинетомъ его, довольно тѣсная комнатка, и рядомъ съ нею пріемная его носятъ еще признаки и характеръ ему современные. Портреты, висящіе на стѣнѣ, большею частію, гравированные въ маломъ размѣрѣ, вводятъ зрителя въ кругъ пріязней и сочувствій его. Мавзолей, весьма не художественный и не богатый, въ которомъ было погребено сердце его, съ надписью: *son esprit est partout et son coeur est ici,* остался, но пустой. Надпись лживая, какъ почти всѣ надписи. Умъ или духъ его уже не вездѣ, а сердце его не здѣсь. Умъ нѣсколько выдохся, а сердце не успокоилось и не улеглось и тогда, когда перестало тревожно биться въ груди его. Оно увезено было въ Парижъ. Слышно, что оно возвратится во-свояси. Нынѣшній хозяинъ Фернея, брилліанщикъ домогается добыть его. Можетъ быть вымѣняетъ онъ его на драгоцѣнный алмазъ. Странная участь сердца покойника. Что живыя сердца пускаются въ торговое обращеніе, это дѣло виданное и сбыточное; но мертвое! Совѣстно, примѣненіе, но это невольно напоминаетъ Чичикова и закупку его мертвыхъ душъ. Кстати о Фернеѣ и Карамзинѣ. Любопытно отмѣтить литтературное сужденье его о Вольтерѣ. Отдавая полную справедливость уму и дарованію его, не признаетъ онъ въ немъ тѣхъ

великихъ идей, которыя бываютъ непосредственною принадлежностью *избранныхъ смертныхъ,* каковъ, напримѣръ, Шекспиръ; на этомъ, такъ-сказать, *среднемъ* состояніи ума и основываетъ онъ общій успѣхъ Вольтера. Вольтеръ писалъ для читателей всякаго рода, для ученыхъ и не ученыхъ; всѣ понимали его и всѣ плѣнялись имъ. Далѣе говоритъ онъ: „Кто не чувствуетъ красоты Заиры? но многіе-ли удивляются Отеллу?“ Затѣмъ въ выноскѣ слѣдуетъ оговорка, весьма любопытная, *„тогда я такъ думалъ“. Тогда,* то-есть въ молодости; я не думаю, чтобы Карамзинъ въ лѣтахъ умственной зрѣлости болѣе уважалъ и выше цѣнилъ творца Заиры: съ лѣтами, съ усовершенствованіемъ дарованія и духовныхъ силъ его, понятія болѣе и болѣе приходили въ немъ въ равновѣсіе и стройное спокойствіе. Чисто судорожные, насильственные движенія и порывы должны были предъ судомъ его вредить истиннымъ красотамъ Шекспира. Золото золотомъ, а грязь грязью. Не забудемъ, что только промытое золото становится золотомъ. Шекспиръ не промывалъ своего золота. Вольтеръ не только промывалъ свое золото, но и давалъ ему художественную оправу. Вспомнимъ, что и Гёте, который также бывалъ иногда Шекспиромъ, признавалъ въ старости пользу и необходимость изрѣдка перечитывать Французскихъ классиковъ. На память приходитъ мнѣ случай, который какъ ни маловаженъ, но можетъ пояснить и подтвердить догадку мою о позднѣйшемъ умственномъ настроеніи Карамзина. Графъ Віельгорскій пѣлъ при немъ только-что появившуюся пѣснь Пушкина изъ поэмы *Цыгане.* Когда дошло до стиховъ: *рѣжь меня, жги меня* и проч. Карамзинъ воскликнулъ: какъ можно класть на музыку такіе ужасы, и охота вамъ ихъ пѣть? Много причинъ, почему, согласно съ Карамзинымъ: *публика была всегда на сторонѣ Вольтера.* Главная и лучшая есть, конечно, та, что онъ былъ человѣкъ ума необычайнаго, разнообразнаго, смѣлаго и остраго и писатель, въ отношеніи художественномъ, какихъ не много. Но есть причины и прикладныя, содѣйствовавшія успѣху его и господству надъ современниками. Во-первыхъ, онъ родился во время. Родись онъ ранѣе, его, можетъ быть, сожгли бы: умри онъ нѣсколько позднѣе, его бы гильотировали какъ аристократа. Вольтеръ былъ умозрительный революціонеръ; но въ житейскихъ условіяхъ онъ

былъ консерваторъ и дворянинъ, пожалуй баринъ и помѣщикъ. Во-вторыхъ, по словамъ не помню кого: онъ въ высшей степени имѣлъ тотъ умъ, который всѣ имѣютъ. Il avoit le plus de cet esprit qu'a tout le monde. А каждый любитъ видѣть свои мысли, свои сочувствія въ изящномъ переводѣ и въ блестящей оправѣ. Въ заключенье, онъ былъ изъ Французовъ Французъ, а въ его эпоху вся Европа была болѣе или менѣе питомица Франціи. О Нѣмцахъ, объ Англичанахъ въ литературномъ отношеніи не было и помину. Послѣ сами же Французы, начиная отъ г-жи Сталь, которая сама писала со словъ братьевъ Шлегелей, имена Шекспира, Гете, Шиллера и другихъ иноземцевъ получили право гражданства въ литературной республикѣ. Тутъ возникло противодѣйствіе. Начали жечь то, что прежде обожали, и воздвигать алтари тому, чего прежде не знали. У насъ, когда прочая Европа еще молчала объ Англійскихъ поэтахъ и Нѣмецкихъ писателяхъ, Карамзинъ первый, и на долгое время исключительно одинъ, говорилъ о нихъ; онъ знакомилъ насъ съ ихъ произведеніями и оцѣнивалъ ихъ съ тонкимъ чувствомъ критика и съ сочувствіемъ ума доступнаго и души открытой ко всему изящному.

II.

Мы упомянули выше о книгѣ *Царь Вольтеръ*. Она замысловата и остроумно составлена, но жаль, что авторъ ея часто грѣшитъ излишнею изысканностью и остроуміемъ, иногда до приторности. Слогъ его нарумяненъ, напудренъ, облѣпленъ мушками. Все это было въ обычаяхъ XVIII вѣка, но не въ обычаяхъ лица, котораго жизнь онъ намъ разсказываетъ. Вольтеръ былъ тоже остроуменъ и замысловатъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, всегда простъ, ясенъ и умѣренъ на краски и блестки. Авторъ раздѣляетъ свою біографію на отдѣленья: молодость Вольтера, дворъ его, министры, народъ, завоеванія, династія его и проч. Подъ оболочкою шутки есть истина въ этомъ расположеньи. Остановимся мимоходомъ на статьѣ дворъ Вольтера, потому что она переноситъ насъ въ Ферней и ближе знакомитъ насъ съ пребываньемъ его въ этой резиденціи. Въ книгѣ нашей о *Фонъ-Визинѣ* мы уже замѣтили, за-долго до появленья

сочиненья, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, что Вольтеръ имѣлъ при себѣ аккредитованныя дипломатическія лица и, между прочими, нашего Салтыкова. Въ письмахъ своихъ Гриммъ, котораго Arsène Houssaye, именуетъ министромъ внѣшнихъ дѣлъ Вольтера, разсказываетъ слѣдующимъ образомъ о другомъ Русскомъ посольствѣ, прибывшемъ въ Ферней: „на-дняхъ пріѣхалъ въ замокъ Ферней князь Козловскій, присланный чрезвычайнымъ посломъ отъ Императрицы Всероссійской, въ сопровожденіи гвардейскаго офицера, и поднесъ Вольтеру, отъ имени Ея Императорскаго Величества, круглую костяную табакерку, оправленную въ золотѣ, художественно отдѣланную и выточенную руками самой Императрицы. Табакерка была украшена портретомъ Ея Величества и осыпана драгоцѣнными брилліантами. Вмѣстѣ съ тѣмъ, была доставлена патріарху отъ Императрицы великолѣпная шуба, чтобы охранять его отъ Альпійскихъ вѣтровъ. Къ подаркамъ приложены были Французскій переводъ *Наказа* Екатерины II и письмо, достойное генія, который продиктовалъ его, и того, которому оно было надписано. Увѣряютъ, что Вольтеръ помолодѣлъ десятью годами отъ этого императорскаго посольства. Гюберъ, извѣстный своими вырѣзками, предложилъ недавно Императрицѣ представить домашнюю жизнь Вольтера въ собраніи отдѣльныхъ картинокъ. Предложеніе было благосклонно принято, и онъ нынѣ занимается этою работою. На первый разъ послалъ онъ Императрицѣ изображеніе пріема посольства князя Козловскаго въ замкѣ Фернея!“ Извѣстно, что послѣ ссоры своей съ Фридрихомъ Великимъ, непріятностей и гоненій, претерпѣнныхъ имъ въ отечествѣ, Вольтеръ переселился въ Женевскую республику. Ему было тогда 60 лѣтъ. Онъ купилъ помѣстье *Les Délices,* у самыхъ воротъ республиканскаго города. Странная противоположность, говоритъ A. Houssaye, Ж. Ж. Руссо, Спартанскій уроженецъ Женевы, переселяется въ Парижъ, а Вольтеръ, Аѳинскій уроженецъ Парижа, водворяется въ Женевѣ. Не смотря на то, онъ не очень ей сочувствуетъ: „Вы не повѣрите“, писалъ онъ, „какъ эта республика заставляетъ меня любить монархіи“. Замокъ и садъ помѣстья *Délices* существуютъ и нынѣ. Деревья съ лѣтами разрослись и богаты дремучею тѣнью. Болѣе прежняго Вольтеръ могъ бы сказать теперь:

O jardin d'Epicure!

Невольно при этомъ стихѣ рождается во мнѣ мысль, что въ саду было много *комаровъ*. Простите мнѣ этотъ пошлый каламбуръ!

Vous qui me présentez dans vos enclos divers
Ce qui souvent manque à mes vers
Le mérite de l'art soumis à la nature.

Но домъ, который, говорятъ, остался въ прежнемъ видѣ, выдержалъ странное внутреннее преобразованіе или новое назначеніе. Это мѣсто принадлежитъ нынѣ Фази, брату нынѣшняго диктатора, и домъ отдается въ наемъ подъ *дѣвичій пансіонъ*. Должно надѣяться, что тѣнь великаго проказника, автора Кандида и многихъ другихъ сочиненій, не совсѣмъ принаровленныхъ ad usum, не является во снѣ непорочнымъ дѣвицамъ и не нашептываетъ имъ свои часто грѣшные стихи и грѣшную прозу.

Но онъ не ужился въ республикѣ и вскорѣ послѣ того купилъ Фернейское помѣстье, пограничное между Франціею и Женевою. Здѣсь построилъ замокъ, церковь, театръ. Построилъ онъ городокъ и призвалъ туда переселенцевъ, не имѣющихъ пристанища. Основалъ онъ мануфактуру часовъ, коей доходъ ежегодный возросъ скоро до 400,000 ливровъ. Онъ осушилъ болото, разработалъ безплодныя земли и проч. Однимъ словомъ, былъ попечительный и благотворительный помѣщикъ. Эта часть трудовъ его не потеряла цѣны своей, пережила его и многіе другіе письменные труды его, которые нынѣ забыты. Городокъ или посадъ Фернейскій, существующій и нынѣ, созданіе его... Чтобы о томъ не забывали, содержатель харчевни, вмѣсто вывѣски, повѣсилъ надъ заведеньемъ своимъ Вольтера портретъ, который качается по вѣтру и словно поклономъ привѣтствуетъ любопытныхъ посѣтителей его любимаго жилища.

Авторъ упоминаемой нами книги мысленно переносится обратно въ давно-минувшую эпоху и входитъ въ кабинетъ Вольтера: „Вхожу въ комнату, гдѣ разбросаны книги всѣхъ нарѣчій и всѣхъ возможныхъ понятій. Тутъ работаютъ два человѣка, приготовляя судьбы или случаи міра. Вольтеръ диктуетъ. Ваньеръ пишетъ. Низко кланяюсь Вольтеру, который подаетъ мнѣ руку, не прерывая начатой фразы. „Позвольте“, говоритъ Ваньеръ, „мнѣ кажется, что вы ошибаетесь въ приведеніи текстовъ“. Идите далѣе, отвѣчаетъ Воль-

теръ, я ошибаюсь, но я правъ. Истина выше выше всего, донынѣ исторіи не было; я за нее принялся „et je la fais“. Между тѣмъ, осматриваю его съ головы до ногъ. Онъ въ странномъ нарядѣ. Это чета Жанъ-Жаку въ его Армянскомъ одѣяніи. Огненная голова его заключена въ огромномъ парикѣ, камзолъ, обшитый мѣхомъ, штаны цвѣта ventre de biche, на ногахъ сандаліи, руки обременены книгами. Вотъ въ какомъ видѣ представляется мнѣ Вольтеръ. Не переставая диктовать Ваньеру и лаская дѣтей его, онъ говоритъ мнѣ о Парижѣ, о великомъ человѣкѣ, котораго зовутъ Дидеротомъ, о негодяѣ, котораго зовутъ Ноннотомъ; онъ говорилъ мнѣ о поэзіи, какъ человѣкъ, который не имѣетъ времени сдѣлаться мечтателемъ“. Переходятъ въ пріемныя комнаты. Подаютъ завтракъ. Вольтеръ пьетъ одинъ кофій. Являются посѣтители; онъ принимаетъ ихъ и часто смѣется ихъ торжественной важности. Адвокатъ развертываетъ предъ нимъ все свое провинціальное краснорѣчіе и, восторженно обращаясь къ нему, восклицаетъ: привѣтствую васъ, свѣтильникъ міра! Г-жа Денисъ, подайте щипцы, говоритъ Вольтеръ. За часомъ славы слѣдуетъ часъ текущихъ дѣлъ. Приходятъ фермеры, заемщики, жильцы по найму въ помѣстьяхъ Турна и Ферней, весь народъ воскормленный Вольтеромъ. Онъ требуетъ кофій, еще кофій, всегда кофій. На просьбы является онъ снисходительнымъ и упорнымъ; выслушиваетъ иныхъ какъ отецъ семейства, другихъ какъ помѣщикъ. Послѣ опять идетъ въ свой паркъ, иногда съ лопаткою, другой разъ съ книгою въ рукѣ, съ цвѣткомъ никогда. Приходятъ вѣсти и письма изъ Парижа. Тутъ ему и кофій не нуженъ: онъ можетъ ими одними питать себя и жить. Взволнованный идетъ онъ въ свой кабинетъ; пишетъ двадцать писемъ въ одинъ часъ, пуская на волю невоздержное перо свое, которое выкупается умомъ его.

Вечеромъ гости замка: Кондорсетъ, Кименесъ, Мармонтель, Лагарпъ, Флоріанъ и нѣсколько дамъ и актрисъ являются ко двору Фернейскаго царя.

Знаменитый герцогъ Ришелье (о которомъ Вольтеръ говорилъ: „мой герой и мой должникъ“, потому что онъ давалъ ему денегъ взаймы. Вольтеръ былъ не только помѣщикъ, но и капиталистъ) и не менѣе знаменитый и намъ по двору Екатерины II знакомый,

принцъ де-Линь были въ числѣ *хаджи*, которые ѣздили на поклоненіе въ эту Мекку философіи XVIII вѣка. А Вольтеру, часто были въ тягость приходящіе къ нему поклонники и онъ ограждалъ себя отъ нихъ страннымъ и забавнымъ образомъ. Не зная еще принца де-Линь и боясь скуки, онъ добросовѣстно принялъ лекарство, чтобы имѣть право сказаться больнымъ, когда принцъ де-Линь въ первый разъ посѣтилъ Ферней. Но вскорѣ дѣло объяснилось и уладилось, и патріархъ призналъ въ принцѣ достойнаго ученика своего и онъ сдѣлался у него домашнимъ. Непремѣнный секретарь академіи французской Arsène de Houssaye приводитъ въ книгѣ своей любопытныя выписки изъ писемъ г-жи Сюаръ къ мужу своему, которому разсказываетъ она пребыванье свое въ Фернеѣ. Эти выписки доказываютъ, до какой восторженности, до какого дайламическаго обожанія доходили его приверженцы. „Наконецъ“, пишетъ она въ своемъ письмѣ, „я видѣла г. Вольтера, мнѣ казалось, что я стою предъ существомъ не земнымъ, не смертнымъ; сердце мое ужасно билось, когда я въѣзжала во дворъ этого освященнаго замка. Вольтера не было дома: онъ гулялъ по саду. Скоро возвратился онъ, громко взывая: „гдѣ она, эта душа, которую ищу?“ И г-жа Сюаръ блѣдная и трепещущая, подходитъ и говоритъ: „эта душа преисполнена вами: еслибы сожгли ваши сочиненія, ихъ отыскали бы во мнѣ“. „Исправленныя“, говоритъ Вольтеръ, съ тою быстротою и сметливостью ума, которыя сохранилъ онъ до послѣдняго часа. „Невозможно“, продолжаетъ она, „описать пламень глазъ его, привлекательность и миловидность (les grâces) лица. Какая обворожительная улыбка. Какъ была я поражена, когда вмѣсто дряхлости, которую думала я найти, увидѣла эту физіономію, исполненную выраженія; когда вмѣсто согбеннаго старца, предсталъ мнѣ человѣкъ статный, держащійся прямо, съ благородною и развязною поступью. Нѣтъ въ лицѣ его ни одной морщины, которая не была бы миловидна“. (Вольтеръ былъ тогда 81 года). Г-жа Сюаръ цѣлуетъ руки его: „счастливъ я“, говоритъ онъ, „что я уже полумертвый; вы не такъ ласково обходились бы со мною, будь мнѣ 20 лѣтъ“.

Но могла бы я любить васъ сильнѣе, нежели теперь люблю, но была бы я вынуждена таить отъ васъ біеніе моего сердца, еслибъ вы были бы 20 лѣтъ.

Однажды катаются они по лѣсу въ колескѣ: „я была въ восхищеніи“, пишетъ она, „я держала въ рукѣ своей руку его и поцѣловала ее двѣнадцать разъ. Онъ не мѣшалъ мнѣ, видя, что это для меня счастіе“.

По счастію, замѣчаетъ историкъ, они были не одни. Третьимъ съ ними сидѣлъ Салтыковъ, чрезвычайный посолъ Екатерининскаго двора и былъ свидѣтелемъ сего возрожденья къ новой юности стараго титана. Дѣло въ томъ, что Вольтеръ былъ очень влюбчивъ и *сердечникъ* до преклонной старости. Эта черта сильно миритъ меня съ нимъ. Странно нынѣ читать подобныя изліянія восторга и идолопоклонства. Авторамъ нашихъ дней не воздаютъ такихъ сердечныхъ почестей. А вотъ что Пушкинъ разсказывалъ о себѣ: дорогою гдѣ-то обѣдалъ онъ въ почтовомъ домѣ. Является барыня, молодая, пріятной наружности, похвалами осыпаетъ поэта, радуется случаю, который доставилъ ей счастіе узнать его, взглянуть на него и подноситъ ему кошелекъ своего рукодѣлія. Пушкинъ, какъ ни былъ скептикъ, тронутъ изъявленьемъ этой простосердечной преданности и доказательствомъ *популярности* своей даже и въ уѣздной глуши. Барыня уходитъ. Въ коляску Пушкина запрягли лошадей и онъ отправился далѣе. Не успѣлъ онъ выѣхать изъ селенья, какъ слышитъ погоню за собою. Верховой скачетъ во всю прыть, останавливаетъ коляску и докладываетъ Пушкину, что барыня проситъ заплатить ей 5 рублей за кошелекъ, который онъ принялъ отъ нее....

LXXXII.

РѢЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ НА ЮБИЛЕѢ ПЯТИДЕСЯТИЛѢТНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ Е. П. КОВАЛЕВСКАГО.

1860.

Кромѣ общежитейскихъ отношеній и дружескихъ сочувствій, предоставляющихъ мнѣ нѣкоторое право подать голосъ мой на праздникѣ, который насъ здѣсь радушно собралъ, я имѣю на это еще другія, болѣе положительныя, права. Позвольте мнѣ, любезнѣйшій и почтеннѣйшій хозяинъ, привести ихъ вамъ на память.

Мы съ вами на службѣ почти сверстники, — то есть вы мнѣ почти ровесникъ: потому что если ваша золотая со службою свадьба 1810-й пробы, то мое золото еще нѣсколькими годами или цифрами повыше. Но хотя на Руси любятъ считаться и трунить другъ надъ другомъ годами, я нахожу это удовольствіе грустнымъ. Морщины и сѣдины, которыя наживаемъ годами служебной жизни, не вѣнчаются на пиршествахъ розами, подобно сѣдинамъ Анакреона. И такъ перейдемъ къ другому. Мы съ вами неоднократно сходились на служебномъ поприщѣ и, сколько помнится, мы другъ у друга не перебивали дороги, а шли дружелюбными спутниками и сослуживцами. Мы встрѣчались съ вами въ кабинетѣ общаго начальника нашего, незабвеннаго намъ и Россіи, графа Канкрина. Съ нами здѣсь преемникъ его, также нашъ современникъ и сослуживецъ [1]). Тѣмъ охотнѣе заявляю при немъ доброе слово въ память государственнымъ заслугамъ общаго нашего начальника,

[1]) А. М. Княжевичъ.

что и онъ, убѣжденъ я, отзовется на голосъ мой и подкрѣпитъ его. Вы въ то время, для обогащенія Россіи, допытывались подземелій и рудниковъ ея [1]). И тогда уже вы на этомъ пути встрѣчались съ литературою и ученостью нашею въ лицѣ родоначальника ихъ Ломоносова. Я въ тѣхъ же финансовыхъ цѣляхъ допытывался кармановъ потребителей нашихъ по части внѣшней торговли и проникалъ въ потаенные склепы контрабанды. Тогда и я, по странному случаю и какъ будто пророчески, участвовалъ въ таможенной цензурѣ, которая именуется тарифомъ, чтобы позднѣе участвовать въ литературномъ тарифѣ, который именуется цензурою. И на этомъ пути встрѣчались и сошлись мы съ вами. Мы вмѣстѣ занимались уходомъ за древомъ познанія добра и зла, еще со временъ Адама весьма искусительнымъ и нѣсколько колючимъ, по крайней мѣрѣ для тѣхъ, которые къ нему приставлены. Графъ Канкринъ, говоря мнѣ однажды о своихъ трудахъ и болѣзняхъ, сказалъ, что онъ уже 15 лѣтъ сидитъ *„на огненномъ стулѣ“* министерства финансовъ; я полагаю, что и стулъ министерства просвѣщенія набитъ не одними лаврами и розами. Какъ бы то ни было, но я вскорѣ, подобно Кутейкину, „убояся бездны премудрости“, просилъ объ увольненіи отъ нея. Какъ писатель, я иногда жаловался на цензуру, но сталъ постоянно бояться ее и на нее жаловаться, когда она поступила въ мое вѣдѣніе. Сначала казалось мнѣ достаточнымъ смотрѣть въ оба глаза за тѣмъ, что́ печатается; но вышло, что нужны особые два глаза и особыя уши, чтобы слѣдить за читателями, угадывать какъ прочтутъ они то, что написано, и разслушать разнородныя сужденія доброжелателей и публики. Немногіе даже и между грамотными умѣютъ читать. Есть такіе читатели, которые отъ себя причитываютъ къ прочитанному, такъ что часто эти причитающіеся проценты превышаютъ самый капиталъ. Какъ бы то ни было, эта борьба съ посторонними препятствіями была мнѣ не по силамъ, и я, за неспособностью, еще до увольненія министра Норова, просилъ о своемъ увольненіи отъ должности Аргуса. Вмѣсто того, чтобы цензуровать писателей и быть самому подъ прихотливою цензурою почтеннѣйшей публики, я мирно возвратился, простымъ рядовымъ,

[1]) Евграфъ Петровичъ долго служилъ въ горномъ вѣдомствѣ.

къ прежнему моему ремеслу. Въ этомъ ремеслѣ поступилъ я подъ вашу цензуру, поручая себя благосклонности и снисходительности вашего высокопревосходительства.

Позвольте мнѣ, любезнѣйшій и почтеннѣйшій Евграфъ Петровичъ, мнѣ, нѣкогда спутнику вашему, нынѣ отъ васъ отставшему, пожелать вамъ отъ души счастливаго пути и безпрепятственнаго достиженія цѣли, или, по крайней мѣрѣ, сближенія съ нею, если Провидѣніемъ рѣдко предоставляется человѣческимъ надеждамъ и силамъ возможность и отрада достигнуть вполнѣ до благородной цѣли, которая у нихъ въ виду. Путь, по которому вы ведете другихъ, есть путь всѣмъ намъ общій. Дѣло, которымъ вы завѣдываете, есть также дѣло всѣмъ намъ общее: оно дѣло близкое, родное, кровное каждому сердцу. Кто любитъ Россію, тотъ долженъ любить и ея просвѣщеніе, долженъ желать ему успѣха, а равно, по своимъ силамъ, долженъ содѣйствовать трудамъ и успѣхамъ того, который поставленъ царемъ во главѣ народнаго образованія. Да здравствуетъ просвѣщеніе на святой Руси, дабы она была точно честною и святою Русью! Да здравствуетъ и бодрствуетъ тотъ, кто держитъ въ рукѣ своей охранительную и священную хоругвь мысли и слова! Эта хоругвь осѣняетъ не только подвигъ дня, но и грядущія поколѣнія. Министерство просвѣщенія есть не только министерство настоящаго, но еще болѣе министерство будущаго. Оно не отдѣльное, не спеціальное министерство, а министерство, такъ сказать, подготовительное для всѣхъ министерствъ, образуя будущихъ министровъ и всѣхъ отъ мала до велика общественныхъ дѣятелей по всѣмъ отраслямъ, по всѣмъ поприщамъ государственнаго, нравственнаго и умственнаго развитія. Ему особенно нужно время, и время благопріятное. Молясь о немъ, каждому кстати молиться о *временѣхъ мирныхъ и о благорастворенiи воздуховъ, для изобилія плодовъ земныхъ*. Въ данную минуту оно болѣе сѣетъ, нежели пожинаетъ. Жатва впереди. Да низойдутъ на эту ниву Божья благодать и царское благоволеніе!

Богъ помощь вамъ, добрые пахари, добрые сѣятели! Труды ваши велики, но велика и награда ваша. Васъ ожидаютъ благословенія усердныхъ жнецовъ и признательность Россіи, изъ рода въ родъ.

LXXXIII.

РѢЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ КНЯЗЕМЪ П. А. ВЯЗЕМСКИМЪ НА ЮБИЛЕѢ СВОЕЙ ПЯТИДЕСЯТИЛѢТНЕЙ ЛИТТЕРАТУРНОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ.

1861.

Первымъ чувствомъ и первымъ словомъ моимъ да будетъ глубочайшая моя благодарность Государю Императору и Государынѣ Императрицѣ за высочайшую милость, которою Ихъ Величества меня осчастливили.

Искренняя признательность моя и вамъ, милостивые государи, за благосклонное вниманіе, которымъ вы меня удостоили. Теперь позвольте мнѣ объяснить вамъ, какъ я сознаю и понимаю это вниманіе.

Къ сожалѣнію, литературные юбилеи совершаются у насъ рѣдко. Смерть перебѣгаетъ имъ дорогу, и часто, еще далеко до цѣли, захватываетъ избранныхъ, которыхъ долгоденствіе было бы народной радостью и обогащеніемъ народной славы. Особенное тому исключеніе, встрѣченное вами съ лестнымъ вниманіемъ, пало на меня, на меня, который менѣе многихъ другихъ заслуживалъ бы сей почести. Нынѣшнее собраніе и радушное привѣтствіе, которыми вы меня удостоиваете, служатъ доказательствомъ, во-первыхъ, моей живучести, за которую обязанъ я благодарить Провидѣніе, дозволившее мнѣ дожить до настоящаго праздничнаго дня; во-вторыхъ, доказательствомъ вашей памяти, не сухой, строго подводящей всему итоги, по драгоцѣнной памяти сочувствія и благоволенія. За нее не умѣлъ бы я вполнѣ и достаточно выразить мою

глубочайшую благодарность. Тѣмъ болѣе тронутъ я находчивостью вашей памяти, что я съ своей стороны ничего не сдѣлалъ, чтобы облегчить ее и указать ей путеводительные слѣды. Я даже не кончилъ тѣмъ, чѣмъ многіе спѣшатъ начать, а именно, собраніемъ и напечатаніемъ полныхъ своихъ произведеній. И донынѣ еще не собраны грамоты моего авторскаго мѣстничества, моя метрика, мой литтературный послужной списокъ—все у меня находится въ большомъ безпорядкѣ. Предстою предъ вами безъ документовъ на лицо, безъ полновѣсныхъ книгъ и книжекъ, получившихъ осѣдлость и право гражданства въ библіотекахъ и книжныхъ лавкахъ. Самъ почтеннѣйшій президентъ академіи, котораго ученая, разнообразная и богатая память можетъ замѣнить полнѣйшую энциклопедію и подробнѣйшій каталогъ; самъ управляющій публичною библіотекою, который привелъ наше народное книгохранилище въ такой удовлетворительный и блестящій порядокъ—и они затруднились бы возстановить вполнѣ и въ хронологической послѣдовательности родословное древо моего авторскаго достоинства, если и могла бы здѣсь рѣчь идти о какомъ нибудь достоинствѣ. Это древо, въ теченіе многихъ пропущенныхъ десятилѣтнихъ давностей, разбросано по широкому полю отдѣльными вѣтками и листьями. Кто дастъ себѣ трудъ отыскать въ *дѣлахъ давно минувшихъ лѣтъ*, подъ полувѣковою пылью забытыхъ журналовъ и сборниковъ, эти затерянные зародыши, попытки и матеріалы, изъ коихъ многіе уже успѣли сдѣлаться развалинами? Впрочемъ, такой подвигъ, послѣ оказываемаго мнѣ вами, мм. гг., снисхожденія, мнѣ и не нуженъ. Вы довѣряете мнѣ, такъ сказать, на-слово; вы, по собственному побужденію вашего просвѣщеннаго и дружелюбнаго сочувствія, мимо всѣхъ формальностей и законныхъ видовъ, вы меня удостоиваете лучшаго отличія. Высоко цѣню эту честь, не обольстительно возвышая себя предъ собою, но сердечно умиляясь предъ высотою награды вашей. Вмѣстѣ съ тѣмъ понимаю и вѣрное ея значеніе. Здѣсь придется мнѣ повторить себя: со стариками это часто бываетъ. Нѣсколько лѣтъ тому было мнѣ оказано въ Москвѣ вниманіе въ родѣ нынѣшняго, и тогда выразилъ я свое убѣжденіе. Съ тѣхъ поръ я въ глазахъ своихъ не выросъ; я только состарѣлся. Но съ тою же живою признательностію, съ тѣмъ же самосозна-

нiемъ, какъ и тогда, скажу, мм. гг., и вамъ: вы во мнѣ радушно привѣтствуете и ласково провожаете живое и не чуждое сочувствiямъ вашимъ преданiе. Вы въ моемъ лицѣ празднуете умилительную тризну славнымъ покойникамъ, которыхъ нѣкогда былъ я питомцемъ, современникомъ и товарищемъ. Не мои дѣла, не мои труды, не мои побѣды празднуете вы. Вы заявляете сердечное слово, вы подаете ласковую руку простому рядовому, который уцѣлѣлъ изъ побоища смерти и пережилъ многихъ знаменитыхъ сослуживцевъ. На поприщѣ гражданина имѣлъ я также одинъ поэтическiй и достопамятный день, который означаетъ особенною отмѣткой обыкновенную жизнь человѣка. Много ли насчитается нынѣ на лицо изъ тѣхъ, которые были хотя и незамѣтными, но присутствующими участниками въ великой, эпической Бородинской битвѣ? Не ищите имени моего въ лѣтописи этой битвы; но я подъ ядрами находился въ сей день при *Милорадовичѣ*. Въ ушахъ моихъ еще звучитъ повелительный голосъ его; предъ глазами моими еще рисуется его спокойное и мужественное лице. На литературномъ поприщѣ равно я живое воспоминанiе великой эпохи. Я напоминаю вамъ, милостивые государи, имена ея, имена *Карамзина, Жуковскаго, Пушкина* и нѣкоторыхъ другихъ знаменитыхъ ея дѣятелей, сихъ воиновъ мирнаго, но побѣдительнаго слова. Я пережилъ ихъ, какъ пережилъ и многихъ изъ своихъ Бородинскихъ товарищей. Это не заслуга, но это право на сочувственное вниманiе ваше. Вы вмѣняете мнѣ въ заслугу счастiе, которое сблизило и сроднило меня съ именами, вамъ любезными и съ блескомъ записанными на скрижаляхъ памяти народной. Вы любите настоящее: вы горячо живете его жизнiю, его заботами, успѣхами и надеждами. Но вы не отрекаетесь отъ минувшаго и не остаетесь равнодушными къ тому и къ тѣмъ, которые честно отживаютъ. Вы сочувствуете и радуетесь новымъ дарованiямъ, новымъ труженикамъ науки, слова и искусства, которые нынѣ обогащаютъ литературу нашу. Но вы того мнѣнiя, что все новое хорошее, изящное, честное не должно насильственно замѣщать и уничтожать изящное и честное старое, а служить ему развитiемъ и пополненiемъ. Любовь, во всѣхъ возвышенныхъ и духовныхъ примѣненiяхъ къ явленiямъ жизни и дѣйствительности, есть чувство безсмертное и слѣдовательно всеобъем-

лющее. Ограничивать любовь единовременнымъ пристрастіемъ къ тому, что есть, къ тому, что на глазахъ и подъ рукою, значитъ унижать ее. Нѣтъ, любовь къ просвѣщенію, любовь къ добру, къ человѣчеству, объемлетъ и то, что есть, и то, что было, а безсмертнымъ предчувствіемъ и то, что будетъ. Все прекрасное, все доброе совмѣщается для нея въ одно разумное и стройное цѣлое, которое имѣетъ корни въ минувшемъ и незримые и таинственные зародыши и побѣги въ будущемъ. Любви не чужды ни колыбели потомковъ, ни могилы предковъ. Она, заботясь объ обязанностяхъ дня сего, привѣтствуетъ упованія завтрашняго, но вмѣстѣ съ тѣмъ свято дорожитъ памятью и вчерашняго дня. Если не ошибаюсь, таковы значеніе и сокровенное чувство избраннаго и разнообразнаго общества, которое здѣсь собралось и удостоиваетъ меня честью, далеко превосходящею мои литтературныя заслуги. Во мнѣ, пока еще живомъ, спѣшите вы, милостивые государи, заплатить долгъ любви и признательности нашимъ общимъ наставникамъ и друзьямъ, уже отжившимъ. За себя и за тѣхъ, которыхъ вы во мнѣ почтили, благодарю васъ отъ полноты умиленной и сладостно взволнованной души. Благодарю васъ и за настоящее поколѣніе, которое съ юными силами и мужественнымъ одушевленіемъ служитъ благородному дѣлу слова, искусства и истины. Оно также въ свою очередь уступитъ мѣсто молодому племени, которое, по слѣдамъ его, будетъ продолжать и довершать святую задачу просвѣщенія. Пускай изъ моего примѣра и нынѣшняго собранія почерпнетъ оно отрадное убѣжденіе, что общество, увлекаемое потокомъ настоящаго, умѣетъ съ благодарностію поминать и прошедшее.

LXXXIV.

О ЗАПИСКАХЪ ПОРОШИНА.

1861.

Comme le journal de Porochine n'a point été écrit pour être livré à la publicité, il doit nécessairement contenir beaucoup de rechutes et de détails insignifiants. J'ai marqué au crayon les endroits les plus intéressants et même ceux qui n'offraient qu'un intérêt secondaire ou relatif, pour en faciliter encore plus la lecture, j'ai fait une table de matières, avec des indications succinctes, pour aider et fixer l'attention.

Ce journal quoique incomplet, est néanmoins un document précieux sous bien des rapports. Outre le but principal, que s'est posé l'auteur de se rendre compte jour par jour du développement intellectuel et moral de son auguste élève, ce mémoire à défaut de ceux qui nous manquent, retracent en légères esquisses, en traits détachés une peinture vraie et vive de l'époque de ses mœurs et de ses tendances, de ses individualités qui toutes plus ou moins portent un cachet d'originalité, que l'on chercherait vainement de nos jours. La société qui y est peinte, quoique entraînée par l'éclat, les séductions, et souvent, avouons le, par les écarts de la civilisation Européenne, portait cependant en soi, un élément vivace de nationalité, elle était plus russe qu'elle ne l'est devenue par la suite. Le gouverneur du jeune Grand Duc, le Comte Panine, tout diplomate, tout ministre des affaires étrangères qu'il était, avait non seulement des tendances et des principes russes en politique, mais il était complètement russe de pied en cap. Son esprit s'était

nourri de traditions nationales, historiques et littéraires. Rien de ce qui tenait à la Russie ne lui était ni étranger, ni indifférent. Aussi, aimait-il son pays, non de cet amour tiède, de cet instinct intéressé et égoiste d'un homme en place qui aime son pays parce-qu'il aime le pouvoir, mais il l'aimait avec ce dévouement ardent et vivifiant, qui ne peut exister que lorsque l'on est attaché à son pays par tous les liens, toutes les affinités que font naître une communauté d'intérêts et de sympathie, communauté où se résument dans le même amour, le passé, le présent et l'avenir de la patrie. Ce n'est qu'alors que l'on peut aimer et bien servir son pays et sa nation, tout en reconnaissant leurs défauts, leurs travers et leurs vices, et en les combattant de toute sa puissance et de tous ses moyens d'action. Tout autre amour, est un amour aveugle, stérile, inintelligent et même funeste.

Quant à l'éducation du jeune prince il est bon et urgent d'observer:

1° qu'il était élevé dans un milieu intellectuel et social, peut être un peu trop au dessus de son âge, mais en tout cas fait pour développer son esprit et éclairer son âme, pour lui donner une tendance sérieuse pratique et éminemment nationale, pour lui faire connaître les hommes distingués du pays et le mettre en contact avec toutes les capacités, toutes les supériorités et les talents de l'époque; en un mot pour le rattacher à toutes les forces morales du pays, dont un jour il devait être le maître.

Les conversations qui se tenaient à sa table et en sa présence, peut être parfois déplacées, et par trop excentriques, étaient en général instructives et attachantes; elles dénotaient une grande liberté d'esprit, une franchise d'opinions qui devaient éveiller et consolider le jugement du jeune prince et l'habituer à entendre et à apprécier la vérité. Cette société, il faut bien y faire attention, ne se composait pas de frondeurs, d'hommes de l'opposition, mais tout au contraire, d'hommes chaleureusement dévoués à leur souveraine et à leur pays. Mais par cela même, ils avaient leur franc-parler, et ne craignaient pas de se compromettre et de trahir la cause de la monarchie en blâmant ce qui leur paraissait blâmable et contraire aux vrais intérêts du pays qu'ils aimaient avant tout.

2°. L'élément militaire ne prédominait pas dans l'éducation et l'entourage du jeune Grand Duc. Les exercices et les formalités militaires ne le distrayaient pas de ses études. On ne l'habituait pas à se considérer comme militaire avant tout. Certes, le futur souverain d'une grande puissance comme la Russie ne pouvait pas rester étranger à ce qui doit en partie constituer la force et la sécurité de l'état. Mais on ne lui faisait envisager cette question, que sous un point de vue élevé, et non dans les détails d'une pratique minutieuse, faite pour absorber, et fausser l'esprit d'un enfant. On se gardait bien de lui imposer comme des devoirs importants et suprêmes, ce qui en réalité, ne pouvait être pour lui qu'un amusement, et aurait dû nécessairement le distraire et le détacher d'études plus sérieuses et l'empêcher de se préparer à l'accomplissement de devoirs, bien plus rudes et plus sacrés. Un prince doué par la nature de grands talents militaires et appelé un jour à devenir un grand capitaine, le deviendra naturellement par la force des choses, des évènements et de la vocation. Il est non seulement superflu, mais même dangereux de lui inculquer dès son enfance de pareils goûts, violemment et pour ainsi dire machinalement et par habitude. Une direction semblable donnée à son esprit peut paralyser son intelligence, et la détourner d'une autre voie plus féconde en grands résultats pour le bien du pays et qui aurait pu illustrer son nom et son règne.

Une éducation principalement militaire peut en outre amener une confusion d'idées, qui pourrait se traduire plus tard en confusion de principes et de faits. Il serait à craindre dans ce cas que l'état militaire ne formât dans le pays une caste privilégiée et dominante, ne devint un état dans l'état. La profession des armes si belle, si noble, si généreuse en temps de guerre, qui peut créer non seulement des héros, mais même de grands hommes en développant toutes les facultés et les vertus humaines, n'est à tout prendre, en temps de paix qu'une nécessité matérielle, un métier stérile et négatif, fait pour assoupir et rapetisser les hautes facultés de l'intelligence. Un grand homme de guerre peut aisément devenir un grand homme d'état, car la science de la guerre tient à toutes les autres branches de la science humaine, mais tout militaire n'est

pas fait pour devenir un homme de guerre, et encore moins forcément apte à remplir toute fonction civile et administrative, en vertu de l'uniforme qu'il porte.

3° L'instruction religieuse du jeune prince était particulièrement soignée. Outre les leçons que lui donnait l'Archiprêtre Platon, qui plus tard fut une des illustrations de notre église, il faisait avec lui de pieuses lectures tous les dimanches et jours de fêtes. Il était admis dans sa societé et dînait souvent à sa table, ce qui faisait que les rapports du Grand Duc avec le prêtre n'étaient pas seulement spirituels et officiels à telle ou telle occasion, mais acquéraient un caractère intime et en dehors des exercices de piété obligée. Platon prêchait à la Cour. Les paroles de verité qu'il y faisait entendre au nom de Dieu et de Sa loi, devaient exercer une sévère et bienfaisante influence sur l'esprit du jeune prince et de la Cour. On voit dans le journal de Porochine, que l'Impératrice elle même subissait cette influence. Les sermons tenus à la Cour devaient relever l'autorité morale du prêtre en Russie, autorité tellement nécessaire et tellement négligée chez nous. Ils devaient en outre favoriser le développement de l'éloquence religieuse et stimuler l'émulation des autres prédicateurs, qui chez nous ne prêchent guère, ou prêchent dans le désert. L'exemple de la Cour devait mettre le sermon à la mode, et en fait de mode, celle ci avait son bon côté.

Une leçon importante à retirer de la lecture de ces mémoires, c'est de se bien convaincre, combien il a été de tout temps difficile à un homme d'honneur et consciencieux de se maintenir sur le terrain de la Cour. Il ne lui suffit pas de posséder la confiance de l'autorité suprême et d'être protegé par elle. Les influences secondaires, mais toutes puissantes, les influences occultes, imperceptibles, insaisissables qui règnent sur ce plateau élevé, combattent sourdement cette protection et cette confiance, et finissent souvent, pour ne pas dire toujours, par avoir le dessus et miner la position de l'homme de bien. Certes, Porochine l'était complètement, il était tout coeur à ses devoirs, appréciait leur sainteté, considérait sa mission comme un sacerdoce, il portait à son élève un culte, non aveugle et servile, mais noble et élevé; eh bien! nous voyons cependant les découra-

gements, les tristesses qui s'emparaient de lui et ont probablement amené son éloignement du poste qu'il occupait.

Il serait trop hasardé de tirer une conclusion de ce qui ne peut rester qu'à l'état de conjecture, mais on ne saurait s'empêcher de déplorer que ce noble caractère n'ait présidé jusqu'au bout à l'éducation du jeune prince. On aime à croire que son influence salutaire se fut retrouvée et manifestée plus tard, dans l'adolescent, devenu Empereur.

A l'aide de la table de matières que j'ai tracée, on pourrait, je crois, faire un extrait et un choix de ces mémoires à l'usage de Monseigneur le Grand Duc Cézarévitch.

Cette lecture ne manquerait pas d'être attachante et instructive.

Переводъ:

Такъ какъ веденныя Порошинымъ записки не предназначались для печати, то въ нихъ встрѣчается, конечно, много повтореній и пустыхъ подробностей. Я отмѣтилъ въ нихъ карандашемъ, для облегченія чтенія, мѣста самыя занимательныя и даже такія, которыя имѣютъ интересъ второстепенный или относительный; я составилъ къ нимъ оглавленіе съ краткими замѣтками для сосредоточенія вниманія.

Записки эти, хотя и неполныя, составляютъ несомнѣнно весьма цѣнный документъ во многихъ отношеніяхъ. Кромѣ главной цѣли, поставленной себѣ авторомъ—вести изо дня въ день отчетъ объ умственномъ и нравственномъ развитіи своего Августѣйшаго воспитанника—записки эти, за неимѣніемъ другихъ, воспроизводятъ въ легкихъ очеркахъ, въ отдѣльныхъ чертахъ, вѣрную и живую картину того времени, тогдашнихъ нравовъ, стремленій и личностей, которыя, болѣе или менѣе, всѣ носили своеобразную печать, чего напрасно было бы искать въ наши дни. Общество, описанное въ запискахъ, хотя и увлекалось блескомъ, обаяніемъ и, признаемся, зачастую даже уклоненіями Европейской цивилизаціи, носило, однако, въ себѣ живой элементъ своей національности и сравнительно съ тѣмъ чѣмъ оно стало впослѣдствіи—было болѣе Русскимъ. Воспитатель молодаго великаго князя, графъ Панинъ, хотя и былъ вполнѣ дипломатъ и министръ иностранныхъ дѣлъ,

былъ однако Русскимъ не только по характеру и направленію своей политики, но и истинно Русскимъ человѣкомъ съ головы до ногъ. Умъ его напитанъ былъ народными историческими и литературными преданіями. Ничто, касавшееся до Россіи, не было ему чуждо или безразлично. Поэтому и любилъ онъ свою родину—не тепленькою любовью, не своекорыстнымъ инстинктомъ человѣка на видномъ мѣстѣ, любящаго страну свою—въ силу любви къ власти. Нѣтъ онъ любилъ Россію съ пламенною и животворною преданностью, которая тогда только существуетъ, когда человѣкъ принадлежитъ странѣ всѣми связями, всѣми свойствами своими, порождающими единство интересовъ и симпатій, въ которомъ сказывается единая любовь къ своему отечеству—его прошлому, настоящему и будущему. Только при такой любви и можно доблестно служить странѣ своей и родному своему народу, сознавая при этомъ всѣ его недостатки, странности и пороки и борясь съ ними насколько возможно и всѣми средствами. Всякая другая любовь—слѣпа, безплодна, неразумна и даже пагубна.

Что касается до воспитанія молодаго князя, то можно и должно замѣтить, что:

1) Онъ былъ воспитанъ въ средѣ общественной и умственной, быть можетъ, немного не по возрасту для него, но во всякомъ случаѣ въ средѣ, способной развить его умъ, просвѣтить его душу и дать ему серьезное практическое и вполнѣ національное направленіе, знакомившей его съ лучшими людьми страны, ставившей въ соприкосновеніе со всѣми дарованіями и выдающимися талантами эпохи,—однимъ словомъ въ средѣ, способной привязать его ко всѣмъ нравственнымъ силамъ страны, въ которой онъ будетъ нѣкогда государемъ

Разговоры, которые велись у него за столомъ и въ его присутствіи, быть можетъ, неумѣстные и черезчуръ странные, были однако вообще поучительны и привлекательны. Они отличались большою свободою ума и откровенностью мнѣній, что должно было возбуждать и укрѣплять сужденія молодаго великаго князя и пріучать его выслушивать и уважать правду. Это общество—нужно принять это особенно во вниманіе—не состояло изъ недовольныхъ и лицъ оппозиціи, напротивъ того состояло изъ людей, горячо пре-

данныхъ своей государынѣ и своей землѣ. По этому-то и позволяли они себѣ свободно выражаться, не боясь компрометировать себя, ни дѣйствовать предательски, когда порицали то, что имъ казалось достойнымъ осужденія и противнымъ истиннымъ пользамъ родины, которую они любили прежде всего.

2) Военный элементъ не преобладалъ въ воспитаніи и въ обстановкѣ юнаго великаго князя. Военныя упражненія не отвлекали его отъ занятій. Его не пріучали быть прежде всего военнымъ. Конечно будущій монархъ такого великаго государства какъ Россія, не могъ оставаться чуждымъ того, что должно отчасти составлять силу и безопасность страны, но его обучали военному дѣлу съ высшей точки зрѣнія, а не погружали въ мельчайшія практическія подробности, которыя только могли бы сбить и ложно направить умъ ребенка.

Ему отнюдь не вмѣняли въ важнѣйшія и первѣйшія обязанности то, что на самомъ дѣлѣ для него не было бы ни чѣмъ инымъ какъ забавою и должно было бы отвлечь его отъ занятій болѣе серьезныхъ и помѣшало бы приготовиться къ исполненію несравненно болѣе суровыхъ и священныхъ обязанностей. Царскій сынъ, одаренный отъ природы большими военными способностями и призванный стать великимъ полководцемъ, сдѣлается имъ просто силою вещей, событій и призванія. Но совершенно лишне и даже опасно развивать въ немъ съ дѣтства такіе вкусы насильно и, такъ сказать, механически и въ силу привычки. Подобное направленіе можетъ парализировать его умственныя способности и совратить съ пути, который привелъ бы къ болѣе великимъ и плодотворнымъ результатамъ для блага страны и для славы его имени и царствованія.

Образованіе исключительно военное можетъ, кромѣ того, произвести запутанность въ мысляхъ которая впослѣдствіи отзовется запутанностью въ принципахъ и дѣйствіяхъ. Можно опасаться, чтобы въ такомъ случаѣ милитаризмъ не образовалъ бы въ странѣ привилегированной и господствующей касты, которая бы составила государство въ государствѣ. Военная служба, столь благородная, прекрасная и возвышенная во время войны, способная производить не только героевъ, но даже и великихъ людей, развивая въ нихъ

всѣ человѣческіе дары и добродѣтели, становится совсѣмъ иною въ мирное время—не болѣе какъ матеріальною необходимостью, ремесломъ безплоднымъ и отрицательнымъ, способнымъ заглушить и умалить высшія умственныя свойства. Великій полководецъ легко можетъ сдѣлаться великимъ государственнымъ человѣкомъ, потому что военная наука касается до всѣхъ отраслей человѣческаго знанія, но не всякій военный можетъ сдѣлаться боевымъ, а тѣмъ болѣе быть способнымъ исполнять всѣ гражданскія и административныя должности—въ силу носимаго имъ мундира.

3) Религіозное воспитаніе великаго князя было особенно тщательно. Кромѣ своихъ уроковъ, архимандритъ Платонъ, бывшій впослѣдствіи украшеніемъ нашей церкви, занимался каждое воскресенье и каждый праздникъ благочестивымъ чтеніемъ съ ученикомъ своимъ. Онъ былъ допущенъ въ его общество и часто обѣдалъ у него; вслѣдствіе чего отношенія великаго князя къ своему законоучителю и духовнику были не только въ извѣстныхъ случаяхъ духовныя, а въ другихъ оффиціальныя, но постоянно, и внѣ духовно-служебныхъ обязанностей, имѣли характеръ задушевный. Платонъ говорилъ проповѣди при дворѣ. Истины, которыя онъ высказывалъ во имя слова Божія, имѣли самое лучшее и благотворное вліяніе на умъ великаго князя и на весь дворъ. Изъ записокъ Порошина видно какъ подчинялась сама Императрица этому вліянію. Проповѣди при дворѣ должны были поднять нравственный авторитетъ духовенства въ Россіи, столь необходимый и столь у насъ уничиженный. Кромѣ того, эти проповѣди должны были способствовать развитію духовнаго краснорѣчія и возбудить соревнованіе въ другихъ проповѣдникахъ, которые у насъ или духовными рѣчами не занимаются или же проповѣдуютъ въ пустынѣ. Примѣръ двора долженъ былъ ввести проповѣди въ моду, а это, даже какъ мода—имѣло свою хорошую сторону.

Изъ записки Порошина можно вывести еще одинъ важный урокъ, убѣждающій какъ во всѣ времена трудно было благородному и добросовѣстному человѣку удержаться на придворной почвѣ; для этого недостаточно располагать довѣріемъ и покровительствомъ высшей власти. Второстепенныя, но всесильныя вліянія, незримыя и неуловимыя, господствуютъ въ этихъ возвышенныхъ сферахъ, ве-

дутъ глухую борьбу противъ оказываемаго довѣрія и покровительства и кончаютъ очень часто, чтобы не сказать всегда, побѣдою и подкопомъ подъ положеніе честнаго человѣка. Порошинъ былъ несомнѣнно таковымъ: онъ всѣмъ сердцемъ любилъ свои обязанности, понималъ ихъ святость, считалъ порученіе ему данное священнодѣйствіемъ; питалъ къ воспитаннику своему обожаніе, но не слѣпое и низкое, а высоко-благородное, и что же? мы, однако, замѣчаемъ, что отчаяніе и грусть проникаютъ въ его душу и приводятъ его къ удаленію отъ занимаемаго имъ мѣста.

Было бы очень смѣло вывести заключеніе, когда возможно лишь одно предположеніе, но нельзя не пожалѣть, что этотъ благородный человѣкъ не остался во главѣ воспитанія великаго князя до самаго конца. Хотѣлось бы вѣрить, что благотворное вліяніе его выказалось бы впослѣдствіи времени, когда юноша сталъ Императоромъ.

При помощи составленнаго мною оглавленія, можно, полагаю я, сдѣлать выборъ въ запискахъ, пригодный для Его Высочества Наслѣдника Цесаревича. Чтеніе это непремѣнно будетъ поучительно и привлекательно.

LXXXV.

СПЕРАНСКІЙ.

1861.

Книга Корфа убѣдила меня еще болѣе въ мнѣніи моемъ о Сперанскомъ. Онъ былъ не государственный человѣкъ, не изъ числа тѣхъ избранныхъ, которые назначаются промысломъ для прочнаго преобразованія государства. Онъ былъ въ высшемъ значеніи слова чиновникъ, дѣятель съ большими способностями, но не творческими, а второстепенными. Il aurait pu briller an second rang, si de son temps quelqu'un avait brillé au premier.

Онъ съ достоинствомъ и пользою могъ бы занять видное мѣсто въ порядкѣ уже благоустроенномъ и сильно организованномъ. Но у насъ былъ онъ не столько *выскочка* въ аристократическомъ мірѣ—этимъ насъ не удивишь и мы къ этимъ явленіямъ привыкли, но онъ былъ *выскочка* въ государственномъ дѣлѣ; и этого *выскочку*, а не перваго порицалъ Карамзинъ, а съ нимъ порицали замѣчательнѣйшіе люди того времени: Державинъ, Трощинскій, Чичаговъ, Ростопчинъ и другіе. Онъ самъ не шелъ и не велъ Россіи прямымъ путемъ преобразованій, а перескакивалъ чрезъ затрудненія, но не одолѣвалъ ихъ, и затрудненія оставались за нимъ тѣми же, чѣмъ были прежде. Онъ заставлялъ Россію подпрыгивать и перепрыгивать за собою силою мнимыхъ, то есть внѣшнихъ, обрядныхъ *уновленій*, по выраженію его, но на дѣлѣ ничего не *уновлялось*, а только къ старымъ пружинамъ стараго устройства прицѣпились пружины новыя, и то побочныя, второстепенныя, которыя вводили только безпорядокъ и разладъ въ государственной машинѣ. Онъ

думалъ, что, перемѣнивъ азбуку или замѣнивъ нѣсколько старыхъ буквъ новыми, или прибавя къ нимъ нѣсколько буквъ изъ Латинской, Французской азбуки, онъ тѣмъ преобразуетъ всю литературу, создастъ новую и что тутъ неминуемо послѣдуютъ и хорошія книги, и умные писатели.

Только у насъ, думаю, существуетъ, или покрайней мѣрѣ принимается въ томъ значеніи выраженье: человѣкъ на все способный, которое еще переводится у насъ выраженіемъ: человѣкъ геніальный. Этихъ людей у насъ довольно, и въ этомъ богатствѣ именно и заключается бѣдность наша въ людяхъ дѣйствительно способныхъ. Людей на все способныхъ много; а человѣка, способнаго именно на такое-то дѣло и на такое-то мѣсто, трудно найти; дѣло мастера боится, а мастеровъ то у насъ именно и нѣтъ. И выходитъ, что дѣло никого не боится, но за то постоянно боишься за всякое дѣло. Вся эта роскошь, или бѣда, заключается въ несовершенствѣ образованія, подготовленья себя именно на опредѣленное дѣло, не опредѣленное мастерство. Ни первоначальное воспитаніе, ни подготовительная государственная служба не даются этимъ (Wilhelm Meister).

Наши журналы, по прочтеніи книги Корфа находятся въ затруднительномъ и щекотливомъ положеніи. Они сочувствуютъ Сперанскому потому, что онъ съ плеча предпринималъ *ломку*, хотѣлъ fouller dans le nid. Но съ другой стороны онъ не вносилъ *ломку* во все, напримѣръ, въ понятія и въ чувства религіозныя, въ безсмертіе души, въ уваженье къ нѣкоторымъ нравственнымъ авторитетамъ, на которыхъ зиждется благоустройство обществъ, къ отношеньямъ семейнымъ, къ правиламъ общежитья и другимъ предубѣжденьямъ и старинымъ предразсудкамъ. Тутъ онъ для нихъ уже человѣкъ отсталый, не симпатичный. Развѣ одинъ Карамзинъ ниже его, потому что онъ и никакой крутой ломки не хотѣлъ, потому что онъ изъ пера своего не дѣлалъ *лома*, а довольствовался (truelle), чтобы поддерживать основаніи и кое-гдѣ, когда нужно, достроивать и поправлять зданіе, построенное въ силу историческихъ предначертаній.

LXXXVI.

ДОПОТОПНАЯ ИЛИ ДОПОЖАРНАЯ МОСКВА.

1865.

Случайно напалъ я (говорю случайно, потому что очень трудно, если и несовершенно невозможно, слѣдить внѣ Россіи за общею Русскою журнальною дѣятельностію), случайно напалъ я на статью въ журналѣ, въ которой, между прочимъ, сказано, что „Москва 1805 года была совершенною провинціею въ сравненіи съ Петербургомъ; что она, полная богатымъ барствомъ, жила на распашку, хлѣбосольничала и сплетничала; политическіе интересы занимали ее мало. Въ то время, когда въ Петербургѣ только и толковъ было, что о предстоящей войнѣ съ Наполеономъ, Москва гораздо болѣе занималась тяжкою болѣзнію одного богатаго барина и вопросомъ, кому онъ оставитъ громадное свое состояніе". (Замѣтимъ мимоходомъ, что тогда въ Москвѣ не могли толковать о *громадномъ* состояніи, потому что на Карамзинскомъ языкѣ, тогда господствовавшемъ въ Москвѣ, слово „громадное" не примѣнялось, какъ нынѣ, ко всѣмъ понятіямъ и выраженіямъ).

Какъ старый и допотопный Москвичъ почитаю обязанностію своею прямо и добросовѣстно подать голосъ свой противъ такого легкомысленнаго и несправедливаго мнѣнія о Москвѣ. Новое поколѣніе знаетъ старую Москву по комедіи Грибоѣдова; въ ней почерпаетъ оно всѣ свои свѣдѣнія и заключенія. Грибоѣдовъ—ихъ преподобный Несторъ, и по его разсказу возсоздаютъ они мало знакомую имъ старину. Но по несчастію драматическій Несторъ въ своей Московской лѣтописи часто *мудрствовалъ лукаво*. Въ нѣко-

торыхъ захолустьяхъ Москвы, можетъ быть, и господствовали нравы, исключительно выставленные имъ на сценѣ. Но при этой темной Москвѣ была и другая еще свѣтлая Москва. Что сказано о ней 1805 года журналистомъ, коего слова приведены выше, можетъ быть сказано не только о Москвѣ такого то года, но о всякомъ большомъ городѣ и во всякое время, какъ о Парижѣ, такъ и о Лондонѣ, Нью-Іоркѣ, и пр. и пр. *Тяжкая болѣзнь богатаго барина и вопросъ, кому достанется громадное его состояніе*, могутъ служить и безъ сомнѣнія служатъ, въ числѣ другихъ предметовъ, темою общежитейскихъ разговоровъ, и не выпускаются изъ вида свѣтскою хроникою. Не одни же общечеловѣческія задачи и государственные вопросы занимаютъ вниманіе общества. Впрочемъ вездѣ и во всѣхъ столицахъ, городахъ и во всякихъ другихъ сборищахъ встрѣчаются пошлые и смѣшные люди. Безъ этого баласта нигдѣ не обойдешься. Безъ сомнѣнія, и въ изящной, пластической древней Греціи, въ сей странѣ образцовой красоты, бывали и горбатые, кривобокіе и колченогіе. Но не ихъ избирали Фидіасы, Праксители для возсозданія своихъ произведеній. Впрочемъ, когда охота есть, почему не изображать и горбатыхъ и колченогихъ, благо, что и они существуютъ въ природѣ: а *все человѣческое—не чуждо человѣку*, какъ сказалъ Римскій поэтъ. Но не выставляйте этихъ несчастныхъ выродковъ прототипами общаго народонаселенія. Не подражайте тому путешественнику, который, проѣзжая чрезъ какой то городъ и подсмотрѣвъ, что рыжая баба бьетъ ребенка, тутъ же внесъ въ свой дорожный дневникъ: Здѣсь вообще женщины рыжія и злыя.

Что Москва не была исключительно тѣмъ, чѣмъ ее нѣкоторые нравописатели представляютъ, можно сослаться на слова другаго Москвича, еще старѣйшаго меня, котораго свидѣтельство принадлежитъ исторіи. Вотъ что Карамзинъ говорилъ о Москвѣ въ статьѣ своей *„О публичномъ преподаваніи наукъ въ Московскомъ университетѣ“*. Знаю, что въ наше время мало читаютъ Карамзина, а потому считаю нелишнимъ привести здѣсь собственныя слова его. Говоря о лекціяхъ, Авторъ замѣчаетъ: „Любитель просвѣщенія съ душевнымъ удовольствіемъ увидитъ тамъ (т.-е. на лекціяхъ) знатныхъ Московскихъ дамъ, благородныхъ молодыхъ людей, духовныхъ, купцовъ, студен-

товъ Заиконоспасской академіи и людей всякаго званія". Эта статья появилась въ 1803 году, слѣдовательно не задолго до 1805 года, такъ жестоко заклейменнаго журналистомъ. Слѣдовательно, публичныя лекціи, о которыхъ толкуютъ нынѣ, привлекали уже за 60 лѣтъ тому назадъ любознательное вниманіе Московской публики; онѣ были оцѣнены Карамзинымъ гораздо ранѣе, чѣмъ была вообще признана польза популярнаго преподаванія науки. „Знанія,—говорилъ онъ—бывшія удѣломъ особеннаго класса людей, собственно называемаго *ученымъ*, нынѣ болѣе и болѣе распространяются, вышедши изъ тѣсныхъ предѣловъ, въ которыхъ они долго заключались; къ числу сихъ способовъ (т.-е. способовъ дѣйствовать на умъ народа) принадлежатъ и публичныя лекціи Московскаго университета. Цѣль ихъ есть та, чтобы самимъ тѣмъ людямъ, которые не думаютъ и не могутъ исключительно посвятить себя ученому состоянію, сообщать свѣдѣнія и понятія о наукахъ любопытнѣйшихъ нововводителей". Польза общенародной науки была признана и приведена въ дѣйствіе въ Москвѣ еще въ началѣ текущаго столѣтія. Эти понятія, воззрѣнія и сужденія могли бы написаны быть вчера. Въ нихъ не отзывается отсталость устарѣвшей мысли. Мысль эта свѣжа и нынѣ, но выражена языкомъ, который по несчастію устарѣлъ, т.-е. сдѣлался преданіемъ давно минувшихъ лѣтъ. Тогда чистота, правильность и звучность Русскаго языка была на высшей степени своего развитія.

Есть еще другое свидѣтельство, и болѣе важное, объ умственномъ, гражданскомъ и политическомъ состояніи старой Москвы. Вотъ что говорилъ Карамзинъ въ путеводительной запискѣ своей, составленной для Императрицы, предъ отъѣздомъ Ея Величества въ Москву: „Со временъ Екатерины Москва прослыла *Республикою*. Тамъ безъ сомнѣнія болѣе свободы, но не въ мысляхъ, а въ жизни; болѣе разговоровъ, толковъ о дѣлахъ общественныхъ, нежели здѣсь въ Петербургѣ, гдѣ умы развлекаются Дворомъ, обязанностями службы, исканіемъ, личностями".

Изъ приведенныхъ словъ явствуетъ, что вопреки Грибоѣдову и послѣдователямъ, слѣпо довѣрившимъ на слово сатирическимъ выходкамъ его, оцѣнка Петербурга и Москвы должна быть признана именно въ обратномъ смыслѣ, т.-е. что въ Москвѣ было болѣе разговоровъ и толковъ о дѣлахъ общественныхъ, нежели въ Пе-

тербургѣ, гдѣ умы и побужденія развлекаются и поглощаются дворомъ, обязанностями службы, исканіемъ и личностями. Оно такъ и быть должно: въ Петербургѣ—сцена, въ Москвѣ зрители; въ немъ дѣйствуютъ, въ ней судятъ. И кто же находится въ числѣ зрителей? Многіе люди, коихъ имена болѣе или менѣе принадлежатъ административной и государственной исторіи Россіи. Пожалуй, нѣкоторые изъ нихъ оказываются зрителями и судьями пристрастными, недовольными тѣмъ, что есть, потому что настоящее уже не имъ принадлежитъ и что они должны были уступить мѣсто новымъ дѣйствующимъ лицамъ. Бывшіе актеры сдѣлались нынѣ зрителями актеровъ новыхъ, но за то въ этомъ оппозиціонномъ партерѣ, какъ и во всякой оппозиціи, были живость пренія и даже страсти, но ни въ какомъ случаѣ не могло быть застоя. И кто же засѣдалъ въ этомъ партерѣ или, по крайней мѣрѣ, занималъ въ немъ первые ряды—Графы Орловы, Остерманы, князья Голицыны, Долгорукіе и многія другія второстепенныя знаменитости, которыя въ свое время были дѣйствующими лицами на государственной сценѣ. Всѣ эти лица были живая лѣтопись прежнихъ царствованій. Они сами участвовали въ дѣлахъ и болѣе или менѣе знали закулисныя тайны придворной и государственной сцены. Позднѣе къ этимъ обломкамъ славнаго царствованія Екатерины измѣнчивая судьба закидывала жертвы новѣйшихъ крушеній и загоняла въ пристань и затишье тихихъ пловцовъ, жаждущихъ отдыха и спокойствія. Въ то время не одни опальные или недовольные покидали службу; были люди, которые, достигнувъ нѣкотораго чина и нѣкоторыхъ лѣтъ, оставляли добровольно служебное поприще, жили для семейства, для управленія хозяйствомъ своимъ, для тихихъ и просвѣщенныхъ радостей образованнаго общества. Къ прежнимъ именамъ прибавимъ имена княгини Дашковой и графа Ростопчина, который, удаленный отъ дѣлъ въ продолженіе царствованія Павла I, жилъ въ Москвѣ на покоѣ до назначенія своего начальникомъ Москвы предъ бурею 1812 г. Одна княгиня Дашкова, своею историческою знаменитостію, своенравными обычаями, могла придать особенный характеръ тогдашнимъ Московскимъ салонамъ. Это соединеніе людей, болѣе или менѣе историческихъ, имѣло вліяніе не только на Москву, но дѣйствовало и на Замосковныя губерніи. Москва подавала лозунгъ Россіи.

Изъ Петербурга истекали мѣры правительственныя; но способъ понимать, оцѣнивать ихъ, судить о нихъ, но нравственная ихъ сила имѣли средоточіемъ Москву. Фамусовъ говоритъ у Грибоѣдова: „Что за тузы въ Москвѣ живутъ и умираютъ!“ и партеръ встрѣчаетъ смѣхомъ и рукоплесканіями этотъ стихъ, въ самомъ дѣлѣ забавный. Но если разобрать хладнокровнѣе, то что за бѣда, что въ колодѣ общества встрѣчаются тузы! Ужели было бы лучше, если бъ колода составлена была изъ однѣхъ двоекъ? Многіе изъ этихъ баръ жили хлѣбосольно и открытыми домами, доступными Москвичамъ, иногороднымъ дворянамъ, пріѣзжавшимъ на зиму въ Москву, деревенскимъ помѣщикамъ и молодымъ офицерамъ, празднующимъ въ Москвѣ время своего отпуска. Дворянскій клубъ или Московское благородное собраніе было сборнымъ мѣстомъ Русскаго дворянства. Пространная и великолѣпная зала въ красивомъ зданіи, которая въ то время служила однимъ изъ украшеній Москвы и не имѣла себѣ подобной въ Россіи, созывала на балы по вторникамъ многолюдное собраніе, тысячъ до 3, до 5 и болѣе. Это былъ настоящій съѣздъ Россіи, начиная отъ вельможи до мелкопомѣстнаго дворянина изъ какого нибудь уѣзда Уфимской губерніи, отъ статсъ-дамы до скромной уѣздной невѣсты, которую родители привозили въ это собраніе съ тѣмъ, чтобы на людей посмотрѣть, а особенно себя показать и, вслѣдствіе того, выйдти замужъ. Эти вторники служили для многихъ исходными днями браковъ, семейнаго счастія и блестящихъ судебъ. Мы всѣ, молодые люди тогдашняго поколѣнія, торжествовали въ этомъ домѣ вступленіе свое въ возрастъ свѣтлаго совершеннолѣтія. Тутъ учились мы любезничать съ дамами, влюбляться, пользоваться правами и, вмѣстѣ съ тѣмъ, покоряться обязанностямъ общежитія. Тутъ учились мы и чинопочитанію и почитанію старости. Для многихъ изъ насъ эти вторники долго теплились свѣтлыми днями въ лѣтописяхъ сердечной памяти. Надобно признаться, хотя это признаніе состоится нынѣ исповѣдью въ тяжкомъ грѣхѣ, мы, старые и молодые, были тогда свѣтскими людьми и не только не стыдились быть ими, но придавали этому званію смыслъ умственной образованности и вѣжливости, а потому и дорожили честью принадлежать къ высшему обществу и наслаждаться его удобствами и принадлежностями. Нѣкоторые изъ Московскихъ баръ имѣли кар-

тинныя галлереи, собранія художественныхъ и научныхъ предметовъ, напр., графъ Алексѣй Кирилловичъ Разумовскій, кромѣ роскошнаго дома и при немъ обширнаго и со вкусомъ расположеннаго сада въ самомъ городѣ, имѣлъ подъ Москвою въ Горенкахъ разнообразный и отличный ботаническій садъ, разсадникъ рѣдкихъ растеній изъ отдаленныхъ краевъ всего міра. Графъ Бутурлинъ имѣлъ обширную, съ любовью и знаніемъ дѣла собранную библіотеку, одну изъ полнѣйшихъ у частныхъ лицъ библіотекъ, извѣстныхъ въ Европѣ. Иные вельможи, на собственномъ своемъ иждивеніи, устраивали для меньшихъ братьевъ больницы и странноприимные дома, а другіе—почему и въ этомъ не признаться—содержали хоры крѣпостныхъ пѣвчихъ, крѣпостные оркестры и крѣпостныхъ актеровъ. Если по существующимъ тогда узаконеніямъ помѣщики могли имѣть для фабрикъ и заводовъ своихъ крѣпостныхъ фабрикантовъ и мастеровыхъ, то почему же оскорбительнѣе было для человѣчества образовать художниковъ изъ подвѣдомственныхъ имъ людей. Эти явленія приводятъ нынѣ въ ретроспективный ужасъ жеманную филантропію и пошлый либерализмъ, но тогда эти *полубарскія затѣи*, какъ иногда онѣ ни были неудачны и смѣшны, съ другой стороны развивали въ крѣпостномъ состояніи хотя и невольныя и темныя, но не менѣе того нѣкоторыя понятія и чувства изящныя. Это все-таки была кое-какая образованность и распространяла грамотность въ грубыхъ слояхъ общества, обреченнаго невѣжеству и безграмотности. Имена Сумарокова, Княжнина, фонъ-Визина, Бортнянскаго, Мольера, Коцебу и творенія ихъ становились имъ доступными. Многіе актеры изъ домашнихъ и крѣпостныхъ труппъ, напримѣръ въ числѣ другихъ Столыпина, сдѣлались впослѣдствіи украшеніемъ Московскаго театра. Если крѣпостное владѣніе въ Россіи не имѣло бы другихъ упрековъ и грѣховъ на совѣсти своей, а только эти полубарскія затѣи, то можно бы еще примириться съ нимъ и даже отчасти сказать ему спасибо. Нынѣ много толкуютъ въ Европѣ *объ обязательномъ и даровомъ* обученіи народномъ; вотъ вамъ въ нашихъ Москвичахъ живой примѣръ ужъ подлинно *обязательнаго и даровано обученія*.

Мы видѣли изъ словъ Карамзина, какое вліяніе имѣлъ тогда университетъ на Московское общество; онъ сохранилъ и передалъ

на уваженіе потомства имена нѣкоторыхъ изъ его дѣятелей: Политковскаго, Страхова, Гейма, которому Русскій языкъ не былъ природнымъ, но которымъ говорилъ онъ чисто и правильно, молодаго Шлецера, также не Русскаго, но вполнѣ земляка нашего по историческимъ трудамъ знаменитаго отца своего. Еще другія имена могутъ быть внесены признательностью въ послужной списокъ Московскаго университета, какъ, напр., Буле, Рейнгардта и нѣкоторыхъ другихъ изъ Русскихъ и чужеземныхъ профессоровъ. Этотъ періодъ былъ едва ли не самымъ цвѣтущимъ въ исторіи университета, въ чемъ убѣдиться легко, справившись съ исторіей Московскаго университета и біографическимъ словаремъ профессоровъ его, изданными покойнымъ Шевыревымъ. Тогда не заботились и не толковали о самородной наукѣ; тогда общая, человѣческая наука и заграничные представители ея не пугали и не оскорбляли нашего раздражительнаго патріотизма. Скорѣе, послѣ 1812 года былъ на нѣкоторое время застой дѣятельности и жизни сего старѣйшаго и высшаго учебнаго заведенія въ Россіи. Помню, какъ Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ, который любилъ дружески трунить надъ ректоромъ его и пріятелемъ своимъ, всѣмъ намъ памятнымъ А. А. Антонскимъ

(„Тремя помноженный Антонъ,

„А на закуску Прокоповичъ“, какъ сказано было о немъ во время оно), говорилъ ему: признайтесь, что вашъ университетъ нынѣ дремлетъ; только и замѣчаешь въ немъ движеніе, когда ѣдешь по Моховой и видишь, какъ профессора у оконъ переворачиваютъ на солнцѣ бутылки съ наливками“. Изящная текущая словесность также почти исключительно имѣла въ Москвѣ своихъ выборныхъ и верховныхъ дѣятелей. Россія училась говорить, читать и писать по русски по книгамъ и журналамъ, издаваемымъ въ Москвѣ. Петербургъ коснѣлъ въ старомъ слогѣ; Москва развивала и преподавала новый. Карамзинъ и Дмитріевъ были его основателями и образцами. Около нихъ и подъ ихъ сѣнью разцвѣтали молодыя дарованія: напр., Макаровъ (Петръ)—по части прозы и журналистики, Жуковскій—на вершинахъ поэзіи. Около того времени появился и Русскій Вѣстникъ, издаваемый Сергѣемъ Глинкою. Въ литературномъ отношеніи сей журналъ былъ, можетъ быть,

мало замѣчателенъ, но въ нравственномъ и политическомъ онъ имѣлъ всю важность событія, какъ противодѣйствіе владычеству Наполеоновской Франціи и какъ воззваніе къ единомыслію и единодушію, предчуемой уже въ воздухѣ грозы 1812 года. Сей журналъ имѣлъ свое неоспоримое и весьма сильное значеніе. Зоркіе и подозрительные глаза Наполеона ничего не упускали изъ вида; Французскій носолъ въ Петербургѣ жаловался нашему правительству на содержаніе нѣкоторыхъ изъ его статей. Глинка раздѣлялъ съ г-жею Сталь славу угрожать перомъ своимъ всепобѣждающему и всесокрушающему мечу Наполеона и тревожить самоувѣренность честолюбиваго владыки. Пишу на память и не имѣю подъ рукою справочныхъ матеріаловъ: иное и иныхъ могу пропустить забвеніемъ и отступать отъ хронологическаго порядка, но главныя черты и краски мнѣ приснопамятны, и картина, мною слегка набросанная, можетъ быть лишена полноты, но не истины. Грѣшно было бы, при этомъ литературномъ очеркѣ, пройти молчаніемъ Хераскова. Онъ, конечно, нынѣ устарѣлъ и болѣе нежели нѣкоторые изъ его сверстниковъ и предшественниковъ. Въ немъ ничего не было или было слишкомъ мало оригинальности или самобытности, какъ въ хорошихъ свойствахъ, такъ и погрѣшностяхъ, а одна самобытность долговѣчна и переживаетъ свое время. Державинъ и въ паденіяхъ своихъ поэтъ иногда увлекательный и почти всегда поучительный. Новѣйшія поколѣнія довольно глумились надъ бѣднымъ Херасковымъ. Я первый тягчилъ свою совѣсть нѣсколькими эпиграммами и насмѣшками, не пощадившими его почтенной и честной памяти;

„Но жизни перешедъ волнуемое поле,
„Сталъ менѣ пылокъ я и жалостливъ сталъ болѣ“,

а особенно сталъ болѣе справедливъ и почтителенъ. Приношу повинную голову мою и раскаяніе предъ тѣнью пѣвца Россіады. Онъ въ свое время занималъ видное и почетное мѣсто въ высшихъ рядахъ Русской словесности. Онъ долго былъ патріархомъ ея и особенно патріархомъ Московскимъ. Постоянно, и добросовѣстно во все продолженіе долгой жизни, былъ онъ вѣренъ служенію прекраснаго, нравственнаго и добраго. Писатель, написавшій такъ много прозой и стихами и все же не лишенный нѣкотораго дарованія, не могъ не имѣть вліянія на языкъ и не оставить по себѣ какихъ

нибудь слѣдовъ, достойныхъ вниманія и даже изученія. Смѣшно и жалко хотѣть переспорить минувшее. Если Херасковъ въ свое время имѣлъ читателей и толпы поклонниковъ, то и онъ принадлежитъ исторіи. Какъ патріархъ, онъ и нынѣ, по ветхозавѣтнымъ заслугамъ своимъ, имѣетъ полное право на уваженіе наше. Зачитываться его не будемъ, а читать его и справляться съ нимъ, какъ съ литературнымъ знаменіемъ современной ему эпохи, не мѣшаетъ. По времени и по мѣстности, недалеко отъ могилы Хераскова встрѣчаемъ колыбель Пушкина: Un grand destin s'achève, un grand destin commence. И въ этихъ двухъ участяхъ все противоположно, кромѣ общей любви къ искусству и благородному служенію его. Пушкинъ былъ также родовой Москвичъ. Нѣтъ сомнѣнія, что первымъ зародышемъ дарованія своего, кромѣ благодати свыше, обязанъ онъ былъ окружающей его атмосферѣ, благопріятно проникнутой тогдашней Московской жизнію. Отецъ его Сергѣй Львовичъ былъ въ пріятельскихъ сношеніяхъ съ Карамзинымъ и Дмитріевымъ и самъ, по тогдашнему обычаю, получилъ если не ученое, то, по крайней мѣрѣ, литературное образованіе. Дядя Александра, Василій Львовичъ, самъ былъ поэтъ или, пожалуй, любезный стихотворецъ, и по тогдашнимъ немудрымъ, но не менѣе того признаннымъ требованіямъ былъ стихотворцемъ на счету. Вся эта обстановка должна была благотворно дѣйствовать на отрока. Зоркіе глаза могли предвидѣть.

„Въ отважномъ мальчикѣ грядущаго поэта“. (Дмитріевъ).

Старая Москва нисколько не могла быть признана за провинціальный и заштатный городъ, особенно до 1812 года. Скорѣе же послѣ, освѣщенная пламенемъ и славою, обратилась она въ провинцію: многое изъ того, что придавало ей особенный характеръ и особенную физіономію, все что, однимъ словомъ, составляло душу ея безвозвратно исчезло въ пожарѣ, начиная съ того, что Москва матеріально обѣднѣла и истощилась. Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ, она, конечно, возродилась снова, но уже въ другихъ условіяхъ, въ новой обстановкѣ и значеніи, но все же была она ни что иное какъ первый изъ провинціальныхъ Русскихъ городовъ. Нѣкоторые изъ первостепенныхъ представителей ея сошли въ могилу, другіе по изгнаніи Французовъ изъ Москвы переселились въ

свои деревни, третьи—за-границу и въ Петербургъ, напр., между послѣдними Ю. А. Нелединскій. Онъ имѣлъ въ Москвѣ прекрасный домъ, около Мясницкой, который впрочемъ уцѣлѣлъ отъ пожара. Онъ давалъ иногда великолѣпные праздники и созывалъ на обѣды молодыхъ литераторовъ—Жуковскаго, Д. Давыдова и другихъ. Какъ хозяинъ и собесѣдникъ, онъ былъ равно гостепріименъ и любезенъ. Онъ любилъ Москву и такъ устроился въ ней, что думалъ дожить въ ней вѣкъ свой. Но выѣхавъ изъ нея 2 сентября, за нѣсколько часовъ до вступленія Французовъ, онъ въ Москву болѣе не возвращался. Онъ говорилъ, что ему было бы слишкомъ больно возвратиться въ нее и въ свой домъ, опозоренные присутствіемъ непріятеля. Это были у него не одни слова, но глубокое чувство. Кстати замѣчу въ этомъ домѣ была обширная зала съ зеркалами во всю стѣну. Въ Вологдѣ, куда мы съ нимъ пріютились, говорилъ онъ мнѣ однажды, сокрушаясь объ участи Москвы: „Вижу отсюда, какъ Французы стрѣляютъ въ мое зеркало“, и прибавилъ смѣясь: „впрочемъ, признаться должно, я и самъ на ихъ мѣстѣ далъ бы себѣ эту потѣху“. По окончаніи войны перемѣщенъ былъ онъ изъ Московскаго департамента въ Петербургскій сенатъ и прожилъ тутъ до отставки своей.

Тогдашняя допожарная Москва имѣла нѣсколько подобныхъ средоточій общежитія. Въ 1805 году былъ я слишкомъ молодъ, чтобы посѣщать и знать ихъ коротко. Но домъ отца моего могъ дать мнѣ понятіе о свѣтской жизни той эпохи. Я имѣлъ несчастіе лишиться отца моего, князя Андрея Ивановича, въ лѣтахъ, едва выходящихъ изъ отрочества. Но первыя впечатлѣнія мои подтвердились позднѣе отзывами о немъ людей образованныхъ и бывшихъ съ нимъ въ постоянныхъ и дружескихъ сношеніяхъ. А потому и могу искренно говорить о немъ, не подвергаясь опасенію быть подозрѣваемымъ въ излишнемъ сыновнемъ пристрастіи. Мой родитель былъ одинъ изъ образованнѣйшихъ, почтеннѣйшихъ и любезнѣйшихъ людей своего времени. Онъ владѣлъ даромъ слова, любилъ разговоръ, обмѣнъ мыслей и мнѣній, даже любилъ споры, но не по упрямству убѣжденій своихъ, не по тщеславію ума, довольнаго самимъ собою, но по любви къ искусству и къ оживленію бесѣды. Онъ любилъ споръ для спора, какъ умственную гимнастику, какъ

безобидную стрѣльбу въ цѣль, какъ фехтованье, удовлетворяющее личному самолюбію, но не оставляющее по себѣ раны на побѣжденномъ. Онъ зналъ нѣсколько иностранныхъ языковъ, особенно хорошо зналъ Французскій; Русскій зналъ онъ болѣе на практикѣ, нежели литературно и грамматически, какъ и большая часть Русскаго общества въ то время, которое писало умно и дѣльно, но съ ошибками противъ правилъ правописанія. Жуковскій сказывалъ мнѣ, что онъ часто въ разговорѣ съ нимъ дивился ловкости и мѣткости, съ которыми бѣгло переводилъ онъ на Русскій языкъ мысли и выраженія, явно сложившіяся въ умѣ его на языкѣ Французскомъ. Когда замѣчалъ онъ кокетничанье молодыхъ дамъ, онъ говорилъ, что она *перестьменивает*ъ, и этотъ вольный переводъ Французскаго слова пошелъ въ ходъ и употреблялся въ обществѣ. Помню, что князь И. И. Долгорукій, долго послѣ смерти отца моего, шутя жаловался мнѣ на него за подобные переводы. Князь Андрей Ивановичъ былъ въ послѣдній годъ царствованія Екатерины Нижегородскимъ и Пензенскимъ генералъ-губернаторомъ, а князь Долгорукій подъ начальствомъ его—вице-губернаторомъ въ Пензѣ. Вмѣсто того, чтобы, слѣдуя Русскому обычаю, называть его по имени и отчеству, онъ, въ разговорѣ обращаясь къ нему, говорилъ: г. вице-губернаторъ, какъ говорится во Франціи: Monsieur le président; Monsieur le conseillier и т. д. Мой отецъ довольно блистательно прошелъ свое служебное поприще. 20 лѣтъ съ небольшимъ былъ онъ уже полковникомъ и командовалъ полкомъ. Не знаю, чему приписать такое скорое повышеніе, но вѣрно уже — не искательству, чему служитъ доказательствомъ, что, находясь подъ начальствомъ князя Потемкина въ Турецкую войну, былъ онъ съ нимъ въ неблагопріятныхъ сношеніяхъ: слыхалъ я, что князь находилъ молодаго человѣка черезъ чуръ независимымъ и гордымъ. Впрочемъ съ самихъ раннихъ лѣтъ мой отецъ имѣлъ доступъ къ великому князю Павлу Петровичу и былъ однимъ изъ ближнихъ ему товарищей. По кончинѣ Императрицы и по уничтоженіи намѣстничествъ былъ онъ назначенъ сенаторомъ въ Москву. Въ семъ званіи получилъ онъ чинъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и орденъ Св. Александра Невскаго. Вскорѣ потомъ въ то же царствованіе императора Павла былъ онъ вовсе уволенъ отъ службы; ему было тогда около

50 лѣтъ. Послѣдніе годы жизни своей, совершенно свободные отъ служебныхъ и даже свѣтскихъ обязанностей (потому что онъ мало выѣзжалъ изъ дому, и то единственно по утрамъ для прогулки и навѣщанія родственниковъ и ближайшихъ друзей), провелъ онъ въ Москвѣ въ собственномъ домѣ, у Колымажнаго двора. По тогдашнимъ понятіямъ и размѣрамъ, домъ былъ довольно большой, съ очень большимъ дворомъ и садомъ. Онъ жилъ открыто, но не по тогдашнему обычаю, т.-е. не давалъ ни праздниковъ, ни большихъ обѣдовъ, а принималъ гостей ежедневно, по вечерамъ, за исключеніемъ трехъ или четырехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, которые проводилъ въ своей подмосковной, селѣ Остафьевѣ. Большую часть дня просиживалъ онъ за книгою у камина въ большихъ, обитыхъ зеленымъ сафьяномъ креслахъ, которыя мнѣ еще памятны и знакомы были почти всей Москвѣ. Въ домѣ была значительная библіотека, ежегодно обогащаемая новыми произведеніями Французской литтературы. Онъ былъ дѣятельнымъ потребителемъ тогдашнихъ книжныхъ лавокъ, Рица и Курделя (кажется такъ). Любимое чтеніе его были историческія и философическія книги; урывками и тайкомъ обращали они на себя мое ребяческое вниманіе. Помню между прочими книгу знаменитаго Французскаго врача и физіологиста Cabanis: Rapports du physique et du moral de l'homme. За этимъ чтеніемъ и въ упомянутыхъ выше креслахъ заставали его пріѣзжающіе гости, начиная съ 9 часовъ вечера. Иногда съѣзжалось пять-шесть человѣкъ, иногда двадцать, иногда пятьдесятъ и болѣе, и все незванные. Пріемное помѣщеніе заключалось въ двухъ небольшихъ комнатахъ, изъ которыхъ одна называлась *зеленою*, другая *диванною*, и то и другое названіе было знакомо Москвичамъ. Послѣ разговора, продолжавшагося около часу за чаемъ, ставились карточные столы для охотниковъ, къ которымъ и самъ хозяинъ принадлежалъ. Этихъ столовъ было иногда такъ много, что князь Як. Ив. Лобановъ-Ростовскій шутя предлагалъ хозяину устроить висячіе столы и стулья для удобнѣйшаго размѣщенія гостей. Когда нечаянный ихъ наплывъ принималъ слишкомъ большіе размѣры, то молодежь отправлялась въ другіе нежилые покои, болѣе обширныя гостиныя, назначенныя для экстренныхъ случаевъ; тутъ предавалась она или играмъ, или пляскѣ, при наскоро устроенномъ, но впрочемъ очень

умѣренномъ освѣщеніи, и подъ музыку домашняго оркестра, состоявшаго изъ скрипки и флейты. Тотъ же князь Лобановъ говаривалъ: „кажется, люди живутъ въ одномъ домѣ, а нѣтъ между ими никакого согласія“. Скрипачъ былъ нашъ буфетчикъ, а флейтистъ—дядька мой Никита Егоровъ. Вношу имя его въ мою лѣтопись, во первыхъ, изъ благодарности къ памяти его, а во вторыхъ, потому, что впослѣдствіи времени онъ очень забавлялъ насъ съ Жуковскимъ, когда случалось ему быть въ пьяномъ видѣ, что, сказать правду, случалось ему едва-ли не каждый вечеръ. Онъ тогда читалъ намъ безграмотныя и безтолковыя произведенія пера своего. Какъ сказали мы выше, родительскій домъ не отличался ни внѣшнею пышностію, ни лакомыми пиршествами. Опять тотъ же князь Лобановъ говорилъ мнѣ долго по кончинѣ отца моего: „ужъ, конечно, не роскошью зазывалъ онъ всю Москву, должно признаться, что кормилъ онъ насъ за ужинами довольно плохо, а когда хотѣлъ похвастаться искусствомъ повара своего, то бывало еще хуже“.

Первыя мои дѣтскія и отроческія впечатлѣнія сливаются въ памяти моей съ воспоминаніями о замѣчательныхъ лицахъ, которыхъ видалъ я у отца моего. Тутъ рано свыкся я съ внѣшнею жизнію и обстановкою образованія. Эти явленія были для меня болѣе галлереею отдѣльныхъ портретовъ, нежели полною картиною дѣйствительности. Знакомства и сближенія съ лицами быть не могло. Но все же чуткое свойство отрочества не лишено было нѣкоторой воспріимчивости. Съ учителями своими, признаться должно, учился я плохо; но мнѣ сдается и нынѣ, что эта живая атмосфера, въ которой я жилъ, хотя и не сознательно, была для меня не совсѣмъ безполезною школою. Постараюсь оттиснуть хотя бѣгло и слегка кое какія фотографіи изъ моей памяти. Лицо моего отца сдѣлается явственнѣе при начертаніи среды его окружавшей. Нѣкоторыя изъ этихъ лицъ были Москвичами и постоянными посѣтителями нашего дома; другія заѣзжіе въ Москву. Въ числѣ послѣднихъ начнемъ съ канцлера графа Александра Романовича Воронцова. Онъ долго управлялъ иностранными дѣлами государства. Князь Андрей Ивановичъ былъ съ нимъ особенно друженъ и велъ съ нимъ постоянную переписку на Французскомъ языкѣ. У обоихъ

почеркъ былъ почти недоступенъ глазамъ простыхъ смертныхъ. Мой отецъ обыкновенно диктовалъ свои письма сестрѣ моей, бывшей послѣ замужемъ за княземъ Алексѣемъ Григорьевичемъ Щербатовымъ. Но графъ писалъ собственноручно. Письма его были нерѣдко предметомъ напряженныхъ изученій и усилій, на которыя сзывались всѣ домашніе, отъ мала до велика, а иногда и посторонніе.

Братья Зубовы, князь Платонъ и князь Валеріанъ.

Еще помню красивое лицо и деревяшку послѣдняго, сильно поразившаго мое вниманіе. Изъ двухъ братьевъ, кажется, съ нимъ особенно друженъ былъ мой родитель. Помню, какъ, въ царствованіе Императора Павла, онъ въ дорожномъ платьѣ прямо въѣхалъ къ намъ въ домъ, проѣздомъ изъ ссылки своей въ Петербургъ. Кажется, что князь Андрей Ивановичъ по связямъ своимъ отчасти даже содѣйствовалъ возвращенію его изъ ссылки, о чемъ послѣ, вѣроятно, и сожалѣлъ и упрекалъ себя, хотя лично и любилъ его.

Свѣтлѣйшій князь Петръ Васильевичъ Лопухинъ. Письма его къ моему отцу, хотя писаны и не очень грамотно и на Французскомъ, и на Русскомъ языкѣ, отличаются нѣкоторою живостью и литературностію. Въ нихъ встрѣчаются цитаты изъ Diderot, что даетъ легкое, но довольно вѣрное понятіе о діапазонѣ тогдашняго настроенія умовъ и вѣрованій. Многіе полагаютъ, что въ жизни и привычкахъ отцовъ нашихъ литературная стихія или вовсе не существовала, или была едва замѣтна. Это совершенно противорѣчитъ истинѣ: дѣды и отцы были гораздо литературнѣе внуковъ и сыновей. Можно рѣшительно сказать, что нигдѣ и никогда не было двора столь литературнаго, какъ дворъ Екатерины II-й. И Людовикъ XVI, покровительствомъ, оказаннымъ Расину и Мольеру, и самъ Фридрихъ Великій, сей ученикъ Вольтера на Прусскомъ престолѣ, не могутъ затѣнить въ этомъ отношеніи блескъ Петербургскаго двора. У Екатерины Великой былъ, такъ сказать, собственный литературный секретаріатъ: Храповицкій, Козицкій и другія лица, между прочими государственными дѣлами, занимались при ней и литературными. Великій князь Павелъ Петровичъ и великая княгиня Марія Ѳеодоровна имѣли въ Парижѣ литературнаго корреспондента, въ лицѣ нынѣ только-что извѣстнаго, а въ свое

время знаменитаго писателя Лагарпа. Письма эти, впослѣдствіи изданныя, представляютъ любопытную картину тогдашней современной литературы. Въ отсутствіи всякой принужденности и оффиціальной чопорности, они приносятъ честь и писавшему ихъ и тѣмъ, къ которымъ они были писаны. Подобные примѣры, истекающіе изъ царскаго двора, не могли не имѣть увлекательнаго и значительнаго вліянія на людей приближенныхъ къ двору, на высшее общество, а потомъ и на средніе слои его. Вельможи и государственные люди, какъ Шуваловы, Бецкіе, Румянцевы и другіе, вступали также въ переписку съ иностранными писателями, особенно Французскими, и каждый хотѣлъ имѣть въ своемъ портфелѣ хотя одно письмо Вольтера или Д'Аламбера. Не касаясь настоящаго времени, чтобы съ нимъ не ссориться можно искренно и положительно сказать о прошедшемъ, что нѣкоторая часть высшаго нашего общества была гораздо выше нашей тогдашней литературы. Любознательность, вкусъ, потребность въ умственныхъ наслажденіяхъ были пробуждены *и тонко изощрены*. Не скажу, чтобы уровень просвѣщенія былъ тогда возведенъ на значительную степень. Ученіе, положительныя знанія были довольно поверхностны. Но все же не было не только невѣжества, но не было и равнодушія къ уму и его проявленіямъ. Пожалуй можно витіевато и сердито возставать на тогдашнюю французоманію. Но справедливы ли будутъ эти нареканія? Здѣсь кстати припомнить Русскую пословицу: нужда научитъ ѣсть калачи. Любовь, алчность къ чтенію сильно давали себя чувствовать въ высшемъ обществѣ, а домашняго хлѣба не было. По прочтеніи нѣсколькихъ Русскихъ поэтовъ, и пожалуй двухъ трехъ Русскихъ книгъ, образованные и мучимые голодомъ читатели по неволѣ должны были кидаться на Французскія книги. Въ переводахъ съ иностранныхъ языковъ, особенно съ Французскаго, они не нуждались, потому что могли читать подлинникъ. Переводами они пренебрегали, а въ туземныхъ произведеніяхъ родной почвы былъ недостатокъ. Что же оставалось имъ дѣлать? Неужели безграмотность или совершенная безчитательность, изъ упрямой любви къ родному и благоразумнаго презрѣнія къ иностранному, были бы благоразумнѣе и лучше? Знаю, что нынѣ нѣкоторые патріоты-публицисты, изъ ненависти ко всему привозному,

негодовали бы на разрѣшеніе привоза хлѣба изъ заграницы, въ случаѣ общаго неурожая въ Россіи. Но патріотизмъ прежнихъ поколѣній не доходилъ до этого геройскаго самопожертвованія.

Князь Лопухинъ имѣлъ, какъ сказываютъ, много природнаго ума и Русскаго шутливаго остроумія. Помню, какъ однажды, въ проѣздъ его черезъ Москву, представлялись мы ему съ Карамзинымъ и почти всею Москвою, что было въ обыкновеніи при всѣхъ проѣздахъ сановниковъ и высшихъ государственныхъ людей. Тогда только что получено было извѣстіе о назначеніи Мертваго генералъ-провіантмейстеромъ, „увидимъ, сказалъ князь, что будетъ отъ Мертваго, а отъ живыхъ по этой части доселѣ проку было мало“. При Екатеринѣ князь былъ въ С.-Петербургѣ полиціймейстеромъ, и цензура книгъ была ему подвѣдомственна; позднѣе, когда онъ былъ предсѣдателемъ государственнаго совѣта, а Дмитріевъ—министромъ юстиціи, и дѣла цензуры стали многосложнѣе и щекотливѣе,—„а помните ли, говорилъ онъ Дмитріеву, какъ въ наше время все это проходило тихо и просто? Въ залу, куда собиралось множество народа и всякаго званія, кто съ прошеніемъ, кто съ схваченнымъ на улицѣ за шумъ, пьянство или буйство, ты бывало приносилъ мнѣ свою рукопись,—я наскоро прочитывалъ ее, подписывался на ней, и дѣло съ концомъ“. Дмитріевъ поступилъ на мѣсто его въ званіи министра юстиціи и въ домъ, по этому званію имъ занимаемый. Спустя нѣсколько дней князь, встрѣтясь съ нимъ, спросилъ его: „Какъ устроились вы въ министерскомъ домѣ и приняли ли вы въ цѣлости всю казенную мебель“? Дмитріевъ былъ очень щекотливъ и раздражителенъ; такой вопросъ показался ему страннымъ и неумѣстнымъ, и отвѣчалъ онъ довольно сухо. „Вы видно меня не понимаете, сказалъ ему князь: я говорю о—“ и тутъ назвалъ онъ одного изъ сенаторовъ, который былъ неизмѣнною принадлежностью каждаго министра юстиціи и его то причислялъ онъ къ мебели казеннаго дома.

Николай Семеновичъ Мордвиновъ, одинъ изъ старѣйшихъ и ближайшихъ друзей отца моего, у коего въ домѣ онъ со всѣмъ семействомъ однажды останавливался и прожилъ нѣсколько времени, проѣздомъ въ Петербургъ. Онъ и тогда уже имѣлъ эти распущенныя сѣдины, которыя до глубокой старости придавали осо-

бенную прелесть и красивость его свѣжему и юно-старческому лицу. Ханыковъ, воинъ, поэтъ и дипломатъ. Онъ болѣе и удачнѣе писалъ по французски, но въ *Аонидахъ* Карамзина встрѣчаются и Русскіе стихи его, помнится—на смерть брата, не чуждые дарованія и согрѣтые сердечною теплотою. Онъ очень былъ остеръ и любезенъ, но и очень некрасивъ, а между тѣмъ очень занятъ собою. Бѣда, говорили о немъ, когда въ разговорѣ глаза его попадутъ на зеркало: тутъ прости всѣ любезности и умъ его! Онъ начнетъ охорашиваться и чтобы опять привести его въ себя, нужно собесѣднику его лавировать его отъ зеркала.

Князь Бѣлосельскій. Человѣкъ умный, до высшей степени любезный, ума образованнаго, но одержимый недугомъ метроманіи; онъ прославился своими эксцентрическими Французскими стихами. На Русскомъ языкѣ много шума надѣлала опера его „Олинька". Въ царствованіе Императора Павла была разыграна она на домашнемъ и дворовомъ театрѣ Столыпина. Поэтическія и другія вольности были доведены въ ней до самыхъ крайнихъ предѣловъ, такъ что вся присутствующая публика пришла въ соблазнъ и негодованіе. Это былъ настоящій драматическій гвалтъ: дамы съ ужасомъ выбѣгали изъ залы, и скоро весь городъ наполнился молвою объ этомъ представленіи. Слухи объ этомъ соблазнительномъ происшествіи дошли до Петербурга, и отъ правительства потребована была рукопись этой оперы. Испуганный князь Бѣлосельскій прибѣжалъ къ пріятелю своему Карамзину и просилъ его кое-какъ и на скорую руку очистить текстъ отъ слишкомъ скоромныхъ выраженій и замѣнить ихъ другими болѣе приличными. Въ такомъ экспургаціонномъ видѣ рукопись немедленно отправлена въ Петербургъ. И концы въ воду: тѣмъ дѣло и кончилось. Авторъ и содержатель театра Столыпинъ спасены отъ дальнѣйшихъ взысканій. Очищенная опера была послѣ напечатана и должна составлять нынѣ литературную рѣдкость. Князь Бѣлосельскій былъ нравственною физіологическою загадкою. И до него, и при немъ, и послѣ него видали умныхъ людей и вмѣстѣ съ тѣмъ плохихъ стихотворцевъ; но у него, по извѣстному выраженію П. В. Мятлева, первые три пальца правой руки одержимы были горячкою, когда онъ брался за перо. Мнѣ сказывали, что въ раннемъ дѣтствѣ моемъ я былъ

съ нимъ въ перепискѣ, и что онъ называлъ меня своимъ поэтомъ. Это для меня преданіе доисторическое. Но помню, что онъ всегда былъ ко мнѣ очень ласковъ.

Ѳедоръ Ивановичъ Киселевъ (родной дядя графа Павла Дмитріевича). Еще вижу предъ собою львиную голову его, о которой могутъ дать нѣкоторое понятіе портреты Мирабо, тѣмъ болѣе, что и его лицо было изрыто оспою. Помню Владимірскую звѣзду 2-й степени на его фракѣ, знакъ отличія, который въ то время былъ еще довольно рѣдокъ. Онъ человѣкъ былъ пылкій и страстный, между прочимъ, къ карточной игрѣ, которая раззорила состояніе и здоровье его. Онъ цѣлыя ночи просиживалъ за картами. Тогда вели въ Москвѣ крупную, азартную игру. У насъ въ домѣ по вечерамъ также играли много, но единственно въ коммерческія игры и преимущественно въ бостонъ, бывшій въ общемъ употребленіи. Кто-то сказалъ, что въ этой игрѣ имѣешь дѣло съ двумя врагами и однимъ предателемъ, т.-е. съ тѣмъ, который вамъ вистуетъ. Киселевъ былъ остеръ и рѣзокъ на языкъ: въ словахъ и шуткахъ его отзывалась острота и шутка, совершенно Русскаго свойства, что тогда встрѣчалось часто. Французская шутка обыкновенно отвлеченна и улетучена: она ударитъ въ голову, пощекочетъ мозгъ и тутъ же выдыхается, какъ шампанское вино; Русская шутка полновѣснѣе: ее почти всегда можно представить въ лицахъ; въ ней, если она удачна, должно быть всегда что то живописное и драматическое. Оттого она и болѣе живуча. Русская шутка не беретъ сразу; ей нужно нѣсколько устарѣть и частыми повтореніями войти въ свои права. Это доброкачественное вино, которое и на первый годъ вкусно: но чѣмъ дальше, тѣмъ лучше и разъемистѣе. Мнѣ часто хотѣлось составить новую Россіаду изъ шутокъ, поговорокъ, острыхъ словъ, запечатлѣнныхъ особымъ русицизмомъ. Есть нѣкоторый складъ ума, нѣкоторое балагурство, краснобайство, которое такъ и пахнетъ Русью, и этотъ запахъ чуется не только въ томъ, что называется у насъ народомъ,—нѣтъ, не во гнѣвъ будь сказано оплакивающимъ разъединеніе высшаго общественнаго класса съ низшимъ, какъ будто не всегда и не вездѣ развивалось и должно въ нѣкоторой степени развиваться такое историческое разъединеніе—нѣтъ, этотъ складъ, этотъ норовъ Рус-

ского ума встрѣчается не только въ избѣ, на площади, на крестьянскихъ сходкахъ, но и въ блестящихъ салонахъ, обставленныхъ и проникнутыхъ принадлежностями, воздухомъ и нанѣемъ Запада.

Мы упомянули выше, что Киселевъ, многими любимый и уважаемый, былъ нрава нѣсколько крутаго и желчнаго, слѣдовательно имѣлъ и недоброжелателей. „Отчего это, Ѳедоръ Ивановичъ, многіе васъ не любятъ?“ кто-то спросилъ его.—А почему же всѣмъ любить меня? отвѣчалъ онъ: развѣ я червонецъ?—Однажды предлагали ему войти въ масонскую ложу. Мнѣ извѣстно, отвѣчалъ онъ, что масоны раздѣляются на двѣ степени—на *биратусы* и на *донатусы:* въ числѣ первыхъ быть не хочу, въ числѣ послѣднихъ—и подавнѣе.

Вскорѣ по возвращеніи изъ арміи, послѣ заключенія Тильзитскаго мира, кн. Дм. Ив. Лобановъ-Ростовскій говорилъ однажды при немъ, на вечерѣ у отца моего: „странная судьба моя! Живу себѣ преспокойно на своемъ винномъ заводѣ и занимаюсь хозяйствомъ. Вдругъ получаю Высочайшее повелѣніе явиться въ армію и тутъ же подписываю прелиминаріи Тильзитскаго мира“.—Да, въ самомъ дѣлѣ, очень странно, возразилъ Киселевъ, прикладывая правую руку къ щекѣ своей—что бывало обыкновеннымъ движеніемъ его, когда онъ готовился выпалить краснымъ или острымъ словцомъ: „если послѣ подписанія этихъ прелиминарій сослали бы васъ на заводъ, то оно было бы понятнѣе“.—Кстати о Лобановѣ. Я слышалъ отъ него, что за обѣдомъ у Наполеона разговорились о Екатеринѣ Великой. Наполеонъ много его разспрашивалъ о ней. Князь Лобановъ уже въ ея царствованіе былъ дѣйствующимъ лицомъ,—онъ, какъ всѣ современники и сослуживцы его, признательно и горячо преданъ былъ ея памяти. У него при разсказѣ навернулись слезы на глазахъ. Наполеонъ это замѣтилъ и сказалъ: „Видишь, Бертье, какъ Русскіе любятъ и помнятъ своихъ царей“. Въ подписаніи упомянутыхъ прелиминарій кн. Лобановъ оказалъ удѣльную находчивость: Французскій уполномоченный подписалъ: Berthier, prince de Neufchâtele. Лобановъ, чтобы не отстать отъ него, подписалъ: Lobanoff prince de Rostoff.

Послѣ Киселева упомянемъ о Павлѣ Никитичѣ Каверинѣ. Вотъ тоже былъ коренной Русскій умъ, краснобай, искусный и живо-

писующій разсказчикъ. Онъ долго былъ оберъ-полиціймейстеромъ: зналъ многихъ и многое, чего другимъ не удавалось знать. Все это изощрило умъ его, тонкій и проницательный отъ природы. Онъ былъ въ пріятельскихъ сношеніяхъ съ Карамзинымъ и Дмитріевымъ и близкій человѣкъ въ домѣ нашемъ. Карамзинъ всегда съ уваженіемъ упоминалъ объ одномъ случаѣ, который хорошо характеризуетъ и его нравственныя качества. Незадолго до вступленія непріятеля въ Москву, графъ Ростопчинъ говорилъ ему и Карамзину о возможности предать городъ огню и такою встрѣчею угостить побѣдителя. Каверинъ совершенно раздѣлялъ мнѣніе его и ободрялъ къ приведенію въ дѣйствіе. А между тѣмъ у небогатаго Каверина все достояніе заключалось въ домахъ, кажется въ Охотномъ ряду, которые отдавались въ наемъ подъ лавки Московскимъ торговцамъ. Послѣ дѣтскаго знакомства моего съ нимъ, я имѣлъ случай сблизиться съ нимъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ моихъ; я часто уговаривалъ его составить на досугѣ записки свои. Не знаю, исполнилъ-ли онъ мое желаніе.

Сюда просится еще одно лицо, также отпечатокъ Русскій и въ старину извѣстный остротами, балагурствомъ и проказами своими Копьевъ. Онъ также былъ изъ близкихъ людей въ домѣ нашемъ и даже когда-то въ немъ жилъ. Въ это время и вслѣдствіе нѣкоторыхъ обстоятельствъ онъ крѣпко озаботилъ и напугалъ отца моего. Копьевъ помолвленъ былъ на богатой невѣстѣ: однажды на вечерѣ заснулъ онъ, сидя возлѣ нея; пробужденіе было несчастное. Обиженная невѣста отказала ему. Онъ былъ въ отчаяніи и говорилъ о самоубійствѣ. Нѣсколько дней родитель мой и приставленные къ нему люди день и ночь караулили его. Все обошлось благополучно. Помню одну сцену, которой въ дѣтствѣ я былъ свидѣтелемъ: за ужиномъ у насъ, гдѣ постороннимъ былъ одинъ Копьевъ, онъ вѣроятно о чемъ-то и о комъ-то похвастался: подробностей не помню. Отецъ мой сказалъ ему что-то въ этомъ родѣ: „ну, полно Копьевъ! какъ же это могло быть такъ? Ты тогда былъ еще молодымъ и неизвѣстнымъ человѣкомъ, едва вступившимъ въ свѣтъ и въ службу. А тотъ — чуть-ли не шла рѣчь о Петрѣ Васильевичѣ Мятлевѣ,—былъ уже и въ чинахъ и занималъ почетное мѣсто въ обществѣ“. Оскорбленный Копьевъ вскочилъ изъ-за стола

и сказалъ: „видно, князь, вы судите о людяхъ по чинамъ: если такъ, то не иначе возвращусь къ вамъ въ домъ, какъ въ генеральскомъ чинѣ“,—и выбѣжалъ изъ комнаты. Этотъ упрекъ, который вовсе не могъ мѣтить въ отца моего, не смутилъ его, и онъ очень смѣялся выходкѣ Копьева. Дѣло въ томъ, что такъ и было: спустя нѣсколько лѣтъ, Копьевъ явился генераломъ въ Москву и въ домъ отца моего, который, разумѣется, принялъ его, какъ ни въ чемъ не бывало. Послѣ и гораздо позднѣе вторично встрѣтился я съ Копьевымъ. Въ немъ были еще кое-какія замашки остроумія, но уже не было прежняго пыла и блеска. Дѣло въ томъ, что если Русская шутка не старѣетъ, то Русскіе шутники, какъ и всѣ другіе люди, могутъ легко состарѣться. Копьевъ имѣлъ довольно значительное лицо: онъ былъ очень смуглъ, съ черными выразительными глазами, которыми поминутно моргалъ; говоря, онъ нѣсколько картавилъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отчеканивалъ слова свои какимъ-то особеннымъ удареніемъ. Копьевъ написалъ комедію: *„Лебедянская ярмарка“*. Вѣроятно, въ свое время имѣла она нѣкоторый успѣхъ, по крайней мѣрѣ въ дѣтствѣ моемъ слыхалъ я нѣкоторыя повторяемыя изъ нея шутки.

Графъ Левъ Кириловичъ Разумовскій. Вотъ вѣрный типъ истиннаго и благороднаго барства. Одна уже наружность его носила отпечатокъ аристократіи: высокаго роста и пріятнаго лица; поступью, стройными движеніями, вѣжливостью отличался въ образованной и вѣжливой средѣ своей. Онъ смотрѣлъ, мыслилъ, чувствовалъ, дѣйствовалъ бариномъ. Умъ, образованный ученіемъ, чтеніемъ и любовью ко всему прекрасному, нравъ мягкій и доброхотный,—въ то время, по Французскимъ поговоркамъ, говорили: „poli comme un grand seigneur“ и „insolent comme un valet“. Подобная оцѣнка можетъ служить вывѣской стараго общества и едва-ли не за нимъ исключительно осталась. Помню, какъ въ дѣтствѣ радовался я ловкости, съ которою, пріѣзжая онъ къ намъ зимою, кидалъ онъ въ первой комнатѣ на стулъ большую бѣлую муфту свою. Въ молодости своей былъ онъ сердечникомъ и счастливымъ обожателемъ прекраснаго пола. Дмитріевъ разсказывалъ мнѣ, что когда они по Семеновскому полку дежурили вмѣстѣ на гауптвахтѣ, онъ поминутно получалъ и писалъ цидулочки на тонкой ду-

шистой бумагѣ. Впослѣдствіи, въ домѣ своемъ на Тверской, нынѣ занимаемомъ Англійскимъ клубомъ, и въ своей подмосковной, извѣстномъ Петровскомъ-Разумовскомъ, онъ жилъ открыто, давалъ балы, концерты, спектакли и радушно угощалъ Москву. Въ домѣ его былъ зимній садъ, богатая библіотека и красивыя произведенія художествъ — картины, статуи. Онъ въ дѣтствѣ моемъ особенно ласкалъ меня, всегда вступалъ со мною въ разговоръ, повторялъ другимъ мои такъ-называемыя острыя дѣтскія слова, что, разумѣется, льстило моему раннему самолюбію и привлекало меня къ его личности. Однажды очень смѣялся онъ отвѣту моему на вопросъ: какъ доволенъ я Нѣмецкимъ своимъ дядькой, который — будь сказано между нами — немного пошивалъ: Il est bon, mais il cultive trop la vigne du seigneur. Позднѣе опять встрѣтились мы съ нимъ въ жизни, и по преданіямъ, и по сочувствію были съ нимъ, не смотря на разность лѣтъ, въ пріятельскихъ сношеніяхъ. Впрочемъ, могу сказать, что я имѣлъ счастье возсоздавать эти наслѣдственныя связи и съ нѣкоторыми другими пріятелями родителя моего. Въ молодости моей я не чуждался бесѣды съ стариками; въ зрѣлыхъ лѣтахъ и въ старости равно сближался я съ молодежью. Это, такъ сказать, расширяло кругъ жизни моей и обогатило меня многими впечатлѣніями и воспоминаніями.

Графъ Бутурлинъ. Я уже упоминалъ о немъ, какъ о знаменитомъ библіофилѣ. Еще были у него два особенныя свойства, а именно: лингвистическое и топографическое. Не только зналъ онъ твердо многіе европейскіе языки, но и различныя ихъ областныя нарѣчія. Онъ былъ въ свое время маленькій Меццофанти. Никогда еще не выѣзжавши изъ Россіи, онъ хранилъ въ памяти планы первѣйшихъ столицъ и городовъ въ Европѣ, со всѣми зданіями, площадями, улицами и закоулками. Это служило часто поводомъ къ забавнымъ мистификаціямъ надъ иностранными путешественниками, посѣщавшими Москву. Онъ закидывалъ ихъ своими свѣдѣніями и выдавалъ себя за человѣка, объѣхавшаго Европу и обратившаго долгое и рачительное вниманіе на пріобрѣтеніе этихъ разнообразныхъ и мелочныхъ свѣдѣній. Каково же было изумленіе слушателей, когда узнавали они, что этотъ полиглотъ, что этотъ наблюдательный странствователь никогда не переступалъ Русской границы.

Князь Андрей Ивановичъ, находившійся въ дружбѣ съ замѣчательными современниками своими и со старшими, былъ очень привѣтливъ и къ молодежи, которая ему сочувствовала и уважала его. Изъ числа молодыхъ людей назову князя Петра Петровича Долгорукова. Онъ былъ генералъ-адъютантъ Императора Александра Павловича и любимецъ по восшествіи его на престолъ. Но не долго пользовался онъ своимъ счастьемъ и умеръ въ молодыхъ лѣтахъ. По бабкѣ моей, женѣ князя Ив. Андреевича, урожденной Долгоруковой, мы находились въ родствѣ съ этою фамиліею. Нынѣ семейныя узы значительно укоротились. Не смотря на свою молодость, Долгоруковъ былъ, такъ-сказать, представителемъ или предтечею того, что послѣ начали называть ультра-русскою партіею; ненавидя властолюбіе Французовъ и особенно Наполеона, онъ былъ—сказываютъ—однимъ изъ сильнѣйшихъ побудителей войны, которая несчастно запечатлѣна была Аустерлицкимъ сраженіемъ. Наполеонъ (не помню въ точности, гдѣ и когда) не пощадилъ князя Долгорукова, упрекая Императора Александра, что онъ поддается побужденіямъ и совѣтамъ молодыхъ, неопытныхъ людей, его окружающихъ. Готовясь къ войнѣ 1812 года, Государь писалъ Чарторижскому: esprit publique est excellent, en différant essentiellement de celui dont vous avez été témoin: il n'y a plus de cette jactance, qui faisait me briser ennemi. Въ этихъ словахъ можетъ быть есть обратный намекъ на Долгорукова. Вижу словно теперь, какъ князь Долгоруковъ въ самый день коронаціи пріѣхалъ къ намъ вечеромъ, вѣроятно, прямо изъ дворца, въ полномъ мундирномъ облаченіи. Долго длился разговоръ его съ отцомъ съ глазу на глазъ. Родитель мой, хотя никогда не пользовался отмѣнною милостію Императора Павла, на которую такъ былъ онъ щедръ съ нѣкоторыми лицами, и хотя никогда не принадлежалъ къ такъ-называемой Гатчинской партіи, былъ однакожъ, какъ говорится, на хорошемъ счету у Императора. Самъ же онъ преданъ былъ ему глубоко и горячо. Мы уже сказали, что въ молодыхъ или отроческихъ лѣтахъ былъ онъ приближеннымъ къ обществу молодаго цесаревича. Знавшіе коротко внутреннія качества Императора, напримѣръ, Нелединскій, мой родитель и другіе, достойные уваженія и довѣренности люди, отзывались всегда о немъ съ живымъ и особеннымъ сочувствіемъ. Они могли жалѣть о нѣ-

которыхъ дѣйствіяхъ и явленіяхъ его правленія, но всегда отдавали справедливость природнымъ, прекраснымъ его чувствамъ и правиламъ. Помню, какъ родитель мой пораженъ былъ извѣстіемъ объ его кончинѣ и отъ скорби занемогъ, какъ Нелединскій, не иначе, какъ со слезами на глазахъ, воспоминалъ и говорилъ о немъ. Вѣроятно, разговоръ Долгорукова съ родителемъ моимъ имѣлъ предметомъ послѣднія событія и виды и надежды на тѣ событія, которыхъ можно было ожидать при новомъ царствованіи.

Графъ Никита Петровичъ Панинъ. Довольно живо помню его холодное и нѣсколько строгое лицо. Во время учрежденія первой милиціи былъ онъ избранъ Смоленскимъ дворянствомъ въ областные начальники. Императоръ Александръ не утвердилъ этого выбора; вслѣдствіе того возникла переписка. Письма графа Панина отличались рѣзкостью выраженій. Ихъ читали у насъ въ домѣ, и мой отецъ резюмировалъ ихъ выраженіемъ также не совсѣмъ парламентарнымъ, котораго я тогда не понялъ, а теперь не могу повѣрить. Графъ Панинъ рѣдко являлся въ Москву. Послѣ отставки, не имѣя позволенія жить въ Петербургѣ, онъ жилъ почти безъвыѣздно въ своей деревнѣ (Смоленской губ.). Онъ былъ страстный охотникъ, и охота его была устроена на иностранную богатую руку. Вѣроятно послѣ его должно было остаться много любопытныхъ и важныхъ бумагъ, какъ собственно имъ собранныхъ, такъ и документовъ историческихъ прежняго времени и писемъ къ отцу его графу Петру Ивановичу, одному изъ замѣчательнѣйшихъ лицъ царствованія Екатерины Великой. Въ книгѣ моей о Фонъ-Визинѣ мелькомъ упоминаю о немъ и о сокровищахъ, которыя могли сохраниться въ его семейномъ архивѣ. Помню о перепискѣ графа Никиты Петровича съ графомъ Ростопчинымъ, напечатанной, кажется, во Французскомъ Монитерѣ. Дѣло идетъ о какомъ-то письмѣ, вѣроятно найденномъ Французами въ Москвѣ и напечатанномъ въ Парижѣ по приказанію Наполеона. Въ этомъ письмѣ, будто писанномъ гр. Ростопчиннымъ Россійскому послу въ Лондонѣ, графу Воронцову, неблагопріятно упоминается о графѣ Никитѣ Петровичѣ. Сей послѣдній письменно требовалъ отъ графа Ростопчина объясненія и вмѣстѣ съ тѣмъ опроверженія упомянутыхъ нареканій.

Князь Сергій Долгорукій, прозванный Le prince Calembour,

потому что онъ отличался въ этой гимнастикѣ словъ и мыслей. При сестрѣ моей была старая Французская гувернантка M-me Perlot. Долгорукій говорилъ, что нѣтъ ей опасенія умереть отъ водяной (perd l'eau). Въ то время на-досугѣ не стыдились читать Mercure de France и ломать себѣ голову надъ разгадываніемъ шарадъ и логогрифовъ, въ немъ печатаемыхъ. Что-жъ дѣлать! Приверженецъ и поклонникъ старины, винюсь и каюсь въ этомъ грѣхѣ нашихъ отцовъ. Въ семейныхъ бумагахъ нашелъ я слѣды игры *секретарь* и разныхъ буриме. Однажды вечеромъ какая-то загадка въ журналѣ утомила головоломныя упражненія собравшихся Эдиповъ. Но все было безуспѣшно: сфинксъ не давался въ руки. Такъ и разошлись. Поздно ночью, уже къ утру, будятъ отца моего и приносятъ ему письмо отъ Долгорукого. Онъ встревожился и ожидалъ какой-нибудь бѣды: можетъ быть Долгорукій внезапно сильно занемогъ; можетъ быть, вызвалъ онъ на поединокъ и приглашаетъ онъ друга своего въ секунданты. Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ. Долгорукій, возвратившись домой, не успокоился и не заснулъ, покуда, наконецъ, не напалъ на сфинкса. Опасаясь, чтобы кто-нибудь другой не предупредилъ его, спѣшилъ онъ заявить отцу моему свою находку. Впрочемъ, какъ Долгорукій, какъ и многіе его сверстники, хотя и соревновалъ съ Французами въ каламбурахъ и шарадахъ, но не менѣе того храбро дрался противъ ихъ, когда задавали они другія задачи на рѣшеніе. Подъ ядрами и пулями ихъ и самъ направляя въ нихъ таковыя же, стрѣлялъ онъ въ нихъ въ отечественную войну Французскими каламбурами. Извѣстна шутка его, сказанная послѣ Тарутинскаго сраженія. Онъ приписывалъ Наполеону слѣдующее обращеніе къ Кутузову: Vieux routier sa routine m'a dérouté. Когда разнесся слухъ, что взятъ въ плѣнъ генералъ Le Pelletier, онъ предсказалъ, что Французы замерзнутъ въ Россіи, потому что они потеряли le pelletier général de l'armée française (генеральнаго мѣховщика Французскихъ войскъ).

Въ эту фотографическую перечень просится и князь Александръ Николаевичъ Голицынъ. Въ царствованіе Императора Павла былъ онъ сосланъ въ Москву въ одно время съ Гурьевымъ (впослѣдствіи министромъ финансовъ). Разумѣется въ ссылкѣ своей были они

рады дому отца моего. Князь Андрей Ивановичъ прозвалъ его le petit commandeur. Родитель мой любилъ раздавать подобныя забавныя и невинныя прозвища въ пріятельскомъ кругу своемъ. Впрочемъ, это народная и простонародная черта. Въ деревняхъ рѣдко встрѣчаешь крестьянина, не имѣющаго какого-нибудь особаго прозвища. Такимъ образомъ прозвалъ онъ Неаполитанскимъ королемъ Михаила Михайловича Бороздина, который нѣкогда занималъ Неаполь Русскими войсками, находившимися подъ начальствомъ его. А одного изъ временщиковъ царствованія Императрицы Екатерины Ивана Николаевича Римскаго-Корсакова называлъ онъ Польскимъ королемъ, потому что онъ постоянно носилъ по камзолу ленту Бѣлаго Орла, которая въ то время была еще рѣдкостью въ Россіи. Князь Голицынъ былъ необыкновенно любезный человѣкъ и мастеръ разсказывать на Русскомъ и Французскомъ языкѣ. Онъ также былъ живыя записки о трехъ царствованіяхъ. Жаль, что эти записки выдохлись въ однихъ разговорахъ. Замѣчательно, что онъ оставилъ Петербургъ и государственную службу еще заживо. Въ Крымскомъ уединеніи своемъ *Гаспра,* на южномъ берегу, посвятилъ онъ себя исключительно духовной и созерцательной жизни: впрочемъ, и созерцательной почти въ одномъ духовномъ отношеніи, потому что не могъ онъ любоваться прекрасной горной природою, лишившись въ послѣдне время жизни своей зрѣнія. Но и тутъ, по свидѣтельству знавшихъ его, не терялъ онъ живости ума и прелести разговора. Это уединеніе и отшельничество его напоминаютъ примѣры нѣкоторыхъ Французскихъ вельможъ и свѣтскихъ людей старой Франціи, которые также послѣ боевой и страстной жизни, оканчивали дни свои въ Port-Royal, или въ какой-нибудь другой духовной общинѣ.

Разшевелившаяся память моя выдвигаетъ впередъ еще одно лицо, нѣкоторымъ образомъ посторонне и случайно принадлежащее къ картинѣ, которую уставляю. Но оно относится къ той же эпохѣ и было у насъ домашнее. Одна черта изъ жизни его, мнѣ памятная, такъ оригинальна, что стоитъ привести ее. Рѣчь идетъ о музыкантѣ М-ег George, кажется, Англичанинѣ. По назначеніи князя Андрея Ивановича генералъ-губернаторомъ, семейство наше, т.-е. матушка съ дѣтьми и другими домашними лицами, ѣхали мы въ

Нижній-Новгородъ въ большой линейкѣ. Тогда взыскательности комфорта мало были извѣстны. Ночью кто-то просыпается и видитъ, что соскочилъ кожаный фартукъ съ линейки, а мѣсто, занимаемое матерью моей, пусто. Общій испугъ: всѣ спрашиваютъ: да гдѣ же княгиня? Ужъ нѣсколько минутъ, что она упала—отвѣчаетъ Жоржъ съ невозмутимымъ британскимъ флегмомъ. По счастію обошлось благополучно: матушка не ушиблась. Паденіе ея и слова Жоржа возбудили общій смѣхъ, который всегда повторялся въ домѣ нашемъ при разсказѣ объ этомъ происшествіи.

Еще одно послѣднее сказаніе, тоже вставка, но въ которомъ я разыгрываю если не дѣйствующую роль, то страдательную. Въ первыхъ годахъ моего дѣтства (мнѣ было тогда года 4 или 5) былъ при мнѣ въ должности дядьки Французъ La Pierre. Не знаю, какія были умственныя и нравственныя качества его, по крайней мѣрѣ мнѣ памятно, что онъ не грѣшилъ потворствомъ и баловствомъ въ отношеніи къ барскому и генералъ-губернаторскому сынку. Видно, привиллегіи аристократіи, противъ которыхъ такъ вопіютъ въ наше время, не заражали тогда дѣтей своимъ тлетворнымъ вліяніемъ. Дѣло въ томъ, что господинъ Лапьеръ, не помню именно за что и про что, сѣкалъ меня бритвеннымъ ремнемъ. Лѣтъ 30 спустя, бывши въ Нижнемъ-Новгородѣ, заходилъ я въ домъ, тогда нами занимаемый. Въ немъ отыскалъ я впрочемъ не памятью сердца, а развѣ памятью чего-нибудь другаго, или чуялось мнѣ, что отыскалъ я комнату, въ которой подвергался я этимъ экзекуціямъ. Но я не злопамятенъ. Признаюсь, не раздѣляю благороднаго негодованія, которымъ воспламеняются либералы и педагоги-недотроги, при одной мысли объ исправительныхъ розгахъ, употребляемыхъ въ дѣтствѣ. Во-первыхъ, судя по себѣ и по многимъ изъ нашего сѣченаго поколѣнія, я вовсе не полагаю, чтобы тѣлесныя наказанія унижали характеръ и достоинство человѣка. Всѣ эти филантропическія умствованія по большей части ни что иное, какъ суемыслiе и суесловіе. Дѣло не въ наказаніяхъ, а дѣло въ томъ, чтобы дѣти и взрослые люди, подвергающіеся наказанію, были убѣждены въ справедливости наказателя, а не могли приписывать наказаніе произволу и необдуманной вспыльчивости. Не признаю сѣченія радикальнымъ пособіемъ для воспитанія малолѣтнихъ: но и отсутствіе розогъ не

признаю также радикальнымъ способомъ для нравственнаго образованія и посѣянія въ дѣтяхъ благородныхъ чувствъ. Эти благородныя чувства могутъ быть равно посѣяны и съ розгами, и безъ розогъ. Но при нашемъ, отчасти при матеріальномъ сложеніи, страхъ физической боли особенно въ дѣтствѣ имѣетъ, безъ сомнѣнія, значеніе свое. Къ тому же развѣ однѣ розги принадлежатъ къ тѣлесному наказанію? Развѣ посадить ребенка или взрослаго человѣка на хлѣбъ и на воду не есть также тѣлесное наказаніе? А запереть провинившагося въ школьный карцеръ или въ городскую тюрьму не то же тѣлесное наказаніе? А заставить лѣниваго и небрежнаго ученика написать въ рекреаціонные часы нѣсколько страницъ склоненій или спряженій — неужели и это духовное, а не прямо тѣлесное и физическое наказаніе? При нашей немощи, при погрѣшностяхъ и порокахъ, которымъ зародышъ находится и въ дѣтствѣ, при страстныхъ и преступныхъ увлеченіяхъ, которымъ подвержена человѣческая природа, намъ нуженъ тѣмъ или другимъ способомъ дѣйствительный, воздерживающій насъ страхъ. Этотъ необходимый внутренній нравственный балластъ нынѣ многіе хотятъ бросить за бортъ. Они хотѣли бы изгнать всякій страхъ изъ дѣтства, изъ взрослыхъ людей, изъ политическаго и гражданскаго общества. Они хотѣли бы уничтожить страхъ на землѣ, и внѣ и выше земли. Извѣстная аксіома: дайте волѣ идти (laisser faire, laisser-passer), которую экономисты прикладываютъ къ матеріальнымъ силамъ и движеніямъ промышленности и торговли, можетъ быть, еще имѣетъ свой смыслъ и свою пользу въ этомъ отношеніи; но неблагоразумно, нелѣпо хотѣть приспособить ее къ нравственнымъ и духовнымъ силамъ человѣка. Нѣтъ спора, что безъ страха, безъ этой, такъ-сказать, внутренней оглядки, съ этой дикою и необузданною безнаказанностью, безъ этого полновѣснаго балласта, который служитъ уравновѣшиваніемъ и охраною, можно идти легче и уйдти далеко. Но какъ и куда? вотъ вопросы, о которыхъ стоитъ поразмыслить.

Не умѣю сказать, какимъ образомъ не задолго до кончины отца моего попалъ на житье къ намъ въ домъ старый итальянецъ Ротондъ Батонди. Онъ былъ большой чудакъ и вѣроятно нѣсколько тронутый. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, которые провелъ у насъ,

мы не могли дознаться происхожденія его и обстоятельствъ его жизни. Онъ или умышленно скрывалъ, или вслѣдствіе какой-нибудь болѣзни, или крутаго переворота въ жизни, утратилъ сознаніе о себѣ. Однимъ словомъ, отшибло память ему. Мы всегда подозрѣвали, что онъ игралъ нѣкоторую роль во Французской революціи. По крайней мѣрѣ, ее единственно зналъ онъ, хотя ошибочно и смутно, и въ разговорѣ своемъ усвоилъ себѣ ея фразеологію. Впрочемъ, чтобы ни было прежде въ жизни его, въ настоящей былъ онъ очень добръ, кротокъ и всему нашему семейству преданъ. Даже былъ онъ любимъ домашнею прислугою нашею и Остафьевскими крестьянами, хотя Русское простонародье не очень жалуетъ и любитъ чужеземныхъ приживалокъ обоего пола на хлѣбахъ у барина. Былъ онъ большой охотникъ читать газеты и занимался политикой по своему, или, лучше сказать, по обычаю многихъ, которые слѣпо вѣрятъ своей газетѣ и вкривь и вкось судятъ о событіяхъ и слухахъ. Обыкновенное заключеніе политическихъ свѣдѣній его было il y a quelque chose sur le tapis. Мы уже сказали, что исключая эпохи 93-го года, которую вѣроятно зналъ онъ на дѣлѣ и по опыту, онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія ни о природѣ, ни о мірѣ его окружающемъ. Карамзинъ удивлялся и часто смѣялся его всеобщему невѣдѣнію; онъ не зналъ имени ни единаго дерева, ни единаго растенія: точно родился онъ вчерашняго дня. Между тѣмъ онъ вовсе былъ не глупъ и даже имѣлъ нѣкоторую проницательность и оригинальность въ понятіяхъ и въ способѣ ихъ выраженія. Онъ былъ роста высокаго, очень толстъ, съ чертами въ лицѣ довольно правильными и выразительными. Разумѣется, онъ не зналъ и лѣтъ своихъ; но по видимому былъ онъ лѣтъ 60. Бывало передъ самымъ ужиномъ выходилъ онъ изъ своей комнаты и являлся въ столовую съ красной скуфейкой на головѣ—вѣроятно, воспоминаніемъ о прическѣ своей во время оно—и съ зажженною копеечной свѣчкою въ рукѣ. Явившись, снималъ онъ скуфейку, гасилъ свѣчку, и обыкновенно предъ собравшимися гостями начиналъ читать собственныя философическія, а иногда о современной политикѣ разсужденія, набросанныя на лоскуткѣ бумаги. Что была за философія, что за изложеніе, что за слогъ, о томъ и говорить нечего. Но все было оригинально, часто нелѣпо и всегда забавно.

Карамзинъ вообще не былъ хохотливъ, но не рѣдко и онъ заливался веселымъ и добродушнымъ смѣхомъ, при выходкахъ его изустнаго и письменнаго витійства. За ужиномъ Батонди былъ разумѣется мишенью всякихъ шутокъ и мистификацій. Князь Лобановъ, Нелединскій и другіе болѣе или менѣе принимали въ нихъ дѣятельное участіе. Одному Киселеву это не нравилось: „только и былъ домъ—говаривалъ онъ—домъ князя Вяземскаго, въ которомъ можно было предаваться удовольствіямъ разумнаго и занимательнаго разговора; а теперь и тутъ завелись домашнимъ медвѣдемъ и всѣ только и занимаются что травлею его“.

И признаться должно, травля иногда была безпощадная. Но медвѣдь не унывалъ и не сдавался. У Батонди выдавались нерѣдко выходки довольно удачныя. Однажды сказалъ онъ князю Платону Александровичу Зубову: „послушайте, князь, роль ваша кончена: вы наслаждались всѣми благами фортуны и власти. Совѣтую вамъ теперь сойти со сцены окончательно, удалиться въ деревню, завестись хорошею библіотекой и сыскать себѣ, если можете, вѣрнаго друга, который согласился бы раздѣлять съ вами ваше уединеніе“.

Одна милая дама казалось неравнодушна была ко вниманію къ ней молодаго гвардейскаго офицера, пріѣхавшаго изъ Петербурга. „Какъ странно играетъ нами судьба—сказалъ онъ ей при многолюдномъ обществѣ — нѣкогда имѣли вы въ рукавѣ своемъ (французское выраженіе dans la manche) нѣсколько министровъ, а теперь вы сами попали въ рукавъ молодаго поручика.

Я нѣсколько распространился о Батонди, потому что онъ былъ характеристическая личность въ домѣ нашемъ и въ самомъ Московскомъ обществѣ, прилегавшемъ къ нашему дому. Предъ вступленіемъ непріятеля въ Москву, спустя уже нѣсколько лѣтъ по кончинѣ отца моего, отправилъ я его въ нашу подмосковную, село Остафьево. Онъ пробылъ тамъ все время пребыванія Французовъ въ Москвѣ. Вскорѣ затѣмъ онъ тамъ и умеръ, угорѣвъ ночью въ своей комнатѣ. — Карамзинъ въ письмѣ своемъ изъ Нижняго ко мнѣ оплакивалъ его кончину. Его присутствію, а также и бывшей Швейцарской гувернантки при дочеряхъ Карамзина, равно пріютившейся въ Остафьевѣ, вѣроятно обязанъ я тѣмъ, что мой домъ не былъ преданъ разоренію и грабительству. Французы не

стыдились Русскихъ варваровъ и варварски поступали съ ними, но можетъ быть посовѣстились предъ Европейскими свидѣтелями. Одними слѣдами ихъ наѣздовъ и набѣговъ осталось нѣсколько пустыхъ мѣстъ на полкахъ библіотеки и двѣ три Польскія пули, вбитыя во внутреннія стѣны дома и ругательная на Русскихъ надпись, сдѣланная на Польскомъ языкѣ. Извѣстный партизанъ Фигнеръ заходилъ въ то время нѣсколько разъ въ Остафьево и былъ въ хорошихъ ладахъ съ Батонди и Швейцаркою. Чтобы покончить съ этимъ вводнымъ этюдомъ о Батонди, замѣтимъ, что послѣ смерти князя Андрея Ивановича, который кажется не любилъ графа Ростопчина, графъ, по родству и связямъ своимъ къ Карамзинымъ, сдѣлался ежедневнымъ посѣтителемъ нашего дома; авторъ „Мыслей въ слухъ на Красномъ крыльцѣ“, авторъ комедіи „Вѣсти или убитый живой“, а впослѣдствіи знаменитыхъ московскихъ афишекъ, нерѣдко входилъ въ письменное и полемическое состязаніе съ Батонди. Не нужно прибавлять, что участіе его въ этихъ шуткахъ придавало имъ особую занимательность.

Въ числѣ фотографій, отразившихся по большей части въ профиль и при сумеркахъ временъ давно минувшихъ, приведу мелькомъ еще нѣсколько лицъ, которыхъ видалъ я на вечерахъ у отца моего.

Разумѣется, въ это общество, составленное изъ постоянно осѣдлыхъ Москвичей и изъ наплыва гостей, по временамъ наѣзжавшихъ изъ Петербурга и изъ провинцій, являлись и чужеземные путешественники, которые всегда любили гостепріимную и своеобразную Москву. Матушка моя была Ирландка, изъ фамиліи *О'рейли* и потому Англичане преимущественно находили у насъ особенное и почти родное привѣтствіе. Скончалась она за нѣсколько лѣтъ до отца моего, когда мнѣ было лѣтъ 10 и потому личныя мои воспоминанія о ней очень темны и неполны. Но по слухамъ знаю я, что и она была любезная хозяйка и помогала отцу моему дѣлать домъ нашъ пріятнымъ и гостепріимнымъ. Нѣкоторые изъ путешественниковъ въ изданныхъ ими книгахъ упоминали объ отцѣ моемъ, о любезности его, о ласковомъ пріемѣ, о библіотекѣ его, собраніи медалей и физическомъ кабинетѣ. Эти иноплеменныя лица менѣе врѣзались въ памяти моей, нежели родные земляки. Были

тутъ и просто путешественники, извѣстные нынѣ подъ именемъ туристовъ, были художники и промышленники. Одинъ Англичанинъ выглядываетъ изъ этихъ истертыхъ и скудныхъ воспоминаній. Кажется называли его Монтексъ. Онъ пріѣзжалъ изъ Лапландіи: угадывая и предупреждая нынѣшнюю фотографическую картоманію, развозилъ онъ вмѣсто обыкновенныхъ визитныхъ карточекъ свое гравированное изображеніе, въ шубѣ, мѣховой шапкѣ, въ саняхъ, запряженныхъ оленями.

Мелькомъ представляется еще одинъ Ліонскій фабрикантъ. Отецъ мой былъ большой приверженецъ и поклонникъ консула Бонапарте. Помню, какъ однажды за обѣдомъ разсказалъ онъ старой своей теткѣ княгинѣ Оболенской, малознакомой съ современною политическою исторіею, въ сжатомъ и бѣгломъ очеркѣ главныя событія изъ жизни Бонапарте и объяснилъ ей изумительную судьбу этого баловня и покорителя обстоятельствъ. По возвращеніи своемъ въ Францію, Ліонецъ, признательный отцу моему за любовь его къ Бонапарте, прислалъ ему большой портретъ его, вытканный изъ шелка. Сей портретъ до самой кончины его висѣлъ у него на стѣнѣ въ спальнѣ. Не знаю, какими судьбами тотъ же самый портретъ пропалъ въ Московскомъ разгромѣ, какъ будто въ знаменіе, что и самый подлинникъ скоро пропадетъ. Въ пребываніе фабриканта въ Москвѣ уже готовились къ первой Французской войнѣ и говорили о выступленіи гвардіи изъ Петербурга. Кто-то за ужиномъ довольно нескромно и необдуманно подшутилъ: при этомъ Французѣ сказалъ онъ, что пріятель его, какой-то гвардейскій офицеръ, обѣщалъ прислать ему пирогъ изъ Парижа. — „А сказалъ ли онъ вамъ—спросилъ на отрѣзъ запальчивый Французъ—не пришлетъ ли онъ вамъ этотъ пирогъ въ качествѣ плѣнника“. Сердиться было не за что, потому что въ 1805 году никто еще не могъ и видѣть во снѣ, что въ 1814 г. будемъ мы въ Парижѣ.

Помню еще и Гарнереня, извѣстнаго воздухоплавателя. Онъ первый познакомилъ Москву съ аэростатомъ и въ первое свое плаваніе спустился у насъ въ Остафьевѣ. Но къ сожалѣнію, мы не были свидѣтелями этого зрѣлища. Въ самый этотъ день мы переѣзжали изъ подмосковной въ городъ: дорогою любовались полетомъ воздушнаго странника, не подозрѣвая, что онъ къ намъ со-

бирается въ гости. Памятникомъ этого перваго воздухоплаванія хранится у насъ и донынѣ въ подмосковной лодка, въ которой сидѣли Гарнерень и Московскій Французскій торговецъ Оберъ.

Въ то время толки и споры о сословіяхъ, о *сословномъ духѣ*, о разобщеніи сословій, не были на череди, но, не менѣе того, нравы смягчались. Правила и обычаи, внушенные просвѣщенною философіею и христіанскимъ братствомъ, входили болѣе и болѣе глубже и благотворнѣе въ умы и сердца. Признаюсь, я за себя радъ, что въ нашу молодость мы не были оглушены трескотнею словъ, которая нынѣ раздается въ журналахъ и въ ораторскихъ рѣчахъ. Во первыхъ радъ я и потому что самое выраженіе *сословія* по этимологическому составу своему совершенно безсмысленно и что оно и не по русски, и не по каковски. А во вторыхъ, потому, что въ силу какого-то роковаго логическаго послѣдствія и самыя пренія, изъ него истекающія, заимствуютъ часто безсмыслiе и неправильность своего родоваго происхожденія. Разряды, различные слои общественные, встрѣчаются вездѣ и должны встрѣчаться въ благоустроенномъ обществѣ. Одни дикари наслаждаются полнымъ равенствомъ невѣжества и почти животной грубости. Въ этомъ дикомъ положеніи одна физическая сила даетъ сословную или пожалуй сокулачную привилегію. Въ монархическомъ обществѣ, строгое и точное распредѣленіе общественныхъ разрядовъ необходимо какъ для пользы высшихъ, такъ и для пользы низшихъ. Въ республикахъ эти разряды или особенности составляются сами собою, или силою вещей. Нужно только, чтобы условія, выгоды однаго разряда, выгоды однихъ лицъ не были въ ущербъ другимъ, чтобы общество не было рѣзко раздѣлено на молоты и на наковальни, но чтобы всѣ общественныя стихіи, силы и пружины содѣйствовали другъ другу въ достиженіи общественнаго устройства. Въ числѣ лживыхъ выраженій, пущенныхъ въ ходъ въ новѣйшее время, замѣчательно и слѣдующее: *эксплуатація человѣка человѣкомъ* (l'exploitation de l'homme par l'homme). При этомъ выраженіи пѣна выступаетъ у рта, волосъ становится дыбомъ и кипятъ чернила у либераловъ и прогрессистовъ; здѣсь забывается одно: все гражданское общество, вся образованность, все просвѣщеніе основаны на этой эксплоатаціи, на этой разработкѣ ближняго ближнимъ, чтобы

помогать другъ другу. Скажу опять: одни дикари не умѣютъ эксплуатировать другъ друга иначе, какъ на пустой желудокъ, когда съ голоду одному прійдется съѣсть другаго. *Эксплоатація* есть круговая порука, взаимное обученіе, взаимное содѣйствіе. Одинъ даетъ свою мысль, свой капиталъ, нажитый этою мыслью; другой свои руки, свои силы, чтобы привесть эту мысль въ исполненіе и самому получить отъ нея возмездіе и выгоду.

Въ тогдашней Москвѣ не было словопреній о подобныхъ вопросахъ. Это такъ! Но то, что въ этихъ вопросахъ заключается существеннаго и добросовѣстнаго, сказывалось молча само собою. Въ различныхъ слояхъ общества не было ни высокомѣрнаго презрѣнія съ одной стороны, ни тревожной зависти съ другой. Безспорно, и тогда были свои *больныя мѣста*, но какая-то терпимость, эта житейская мудрость, не давала забывать, что есть однакоже нѣкоторое необходимое равенство, а именно: равенство предъ закономъ, т.-е., чтобы никто не былъ ни выше, ни ниже, ни внѣ закона. Другое поголовное равенство противно и природнымъ, и общественнымъ узаконеніямъ. Нынѣ встрѣчаются часто большіе мастера возбуждать и разжигать вопросы. Жуковскій говорилъ объ одномъ нашемъ пріятелѣ, который выдавалъ и признавалъ себя болѣе влюбленнымъ, нежели былъ на самомъ дѣлѣ: „да, онъ работалъ, работалъ и наконецъ расковырнулся весь сердечной болячкой и страстью!“ Такъ и теперь расковыриваютъ нѣкоторые вопросы до болячки.

Въ то время были еще Европѣ памятны свѣжія преданія о событіяхъ, возмутившихъ и обагрившихъ кровью почву Франціи въ борьбѣ съ старыми порядками и въ напряженныхъ восторженныхъ усиліяхъ установить порядки новые. Въ самой Франціи умы успокоились и остыли. Эта реакція вызвала потребность и жажду мирныхъ и общежитейскихъ удовольствій. Эта реакція, хотя до насъ собственно и не касавшаяся, потому что у насъ не было перелома, неминуемо, однако же должна была отозваться и въ Россіи. Праздная Москва обратилась къ этимъ удовольствіямъ, и общественная жизнь сдѣлалась потребностью и цѣлью ея исканій и усилій. Было въ этомъ много поверхностнаго, много, можетъ быть, легкомысленнаго — не спорю; но по крайней мѣрѣ внѣшняя и блестящая сторона умственной жизни, именно до-пожарной Москвы, была во всей силѣ своей

и процвѣтаніи. И въ этомъ отношеніи могла носить она почетное званіе первопрестольной столицы, не смотря на отсутствіе двора и высшихъ государственныхъ учрежденій.

Недоуміе ли, упрямство ли, или сознательное заблужденіе, но нѣкоторые изъ нашихъ мыслителей и писателей признаютъ за Русскій *народъ* то, что на дѣлѣ и по исторіи есть *простонародье*. Въ семъ послѣднемъ, по мнѣнію ихъ, вся сила, вся жизнь, всѣ доблести, однимъ словомъ вся русская *суть*. Въ подобномъ воззрѣніи есть много матеріальнаго и количественнаго. Большинство имѣетъ конечно свое значеніе и свою силу. Но въ государственномъ устройствѣ и меньшинство, особенно когда оно отличается образованіемъ и просвѣщеніемъ, должно быть принято въ счетъ и уважено. Смотрѣть на него, какъ на вставочныя числа, которыя можно вычеркнуть изъ итога, есть не только несправедливость и слѣдовательно проступокъ, но и безуміе. При имени Минина, представителя большинства, есть рядомъ имя и князя Пожарскаго, представителя меньшинства, которое дало ходъ дѣлу и окончательно его порѣшило. Такъ было, такъ и есть и нынѣ въ нашей исторіи; такъ будетъ, надѣемся, и впредь, и долго-долго, если не всегда, потому что, какъ сказалъ Карамзинъ, на землѣ нѣтъ ничего безсмертнаго, кромѣ души человѣческой.

Эти сѣтованія о русскомъ разладѣ со времени Петра I—у многихъ, вѣрю, искреннія и слѣдовательно почтенныя: какъ всякое крайнее мнѣніе или парадоксъ, имѣютъ и они свою долю истины, но во всякомъ случаѣ эти сѣтованія безполезны: соль этой истины обезсилилась, и по выраженію Евангелія, ее осолить уже нечѣмъ. Перевороты и событія перешли въ исторію: исторія перешла въ жизнь; а исторіи перестраивать нельзя. Попытки на это возсозданіе, если бы и можно было серьезно за него приняться, только загромоздили бы насъ и дорогу нашу новыми обломками, а не создали бы ничего новаго. Не признавать въ Петрѣ I русской личности, русскаго духа, не смотря на всѣ его чужеземныя нововведенія, выказываетъ—воля ваша—непониманіе русскаго начала и русской природы. Своими геніальными свойствами и духовными доблестями, своими недостатками и пожалуй погрѣшностями, принадлежащими впрочемъ еще болѣе эпохѣ его, нежели ему самому,

своею государственною опрометчивостію, Петръ былъ въ высшемъ размѣрѣ, въ высшей степени первообразъ русскаго человѣка. Въ свое время онъ былъ въ тѣсномъ сочувствіи и въ живыхъ сношеніяхъ съ народомъ и простонародьемъ. Дубина его и нынѣ памятна народу: и если современникамъ она была подъ часъ тяжела, она нынѣ благословляется безпристрастнымъ преданіемъ. Анекдоты о немъ, легенды, пѣсни, народныя и солдатскія, ходятъ и нынѣ по городамъ и деревнямъ. Слава имени и дѣлъ его—достояніе народное. Иногда безсознательно, безъ изслѣдованія, безъ критической повѣрки, но чувствомъ, но темною благодарностію они присвоены народной памяти. Въ числѣ немногихъ историческихъ воспоминаній онѣ уцѣлѣли въ умѣ и простаго народа. Подобная *популярность* (скажемъ мы за неимѣніемъ русскаго кореннаго слова) выше всякихъ историческихъ кабинетныхъ умствованій. Образы Петра Великаго и Екатерины Великой живы въ воспоминаніяхъ народныхъ. А объ этомъ до Петровскомъ періодѣ, о лицахъ, которыя этотъ періодъ знаменуютъ, объ этомъ *золотомъ народномъ вѣкѣ*, про который ему поютъ и о которомъ онъ будто тяжко вздыхаетъ и скорбитъ, народъ, т.-е. простонародье, никакого понятія не имѣетъ. Простонародью некогда изучать, классически изучать свою древнюю исторію; довольно съ него знать на дѣлѣ кое-что изъ настоящей, и темно и смутно готовиться къ будущей. И должно сознаться, что по образу и складу выраженій, которыя употребляютъ нѣкоторые изъ этихъ *пророковъ минувшаго*, народъ и послѣ ихъ іереміадъ никакого понятія имѣть не можетъ. Нѣкоторые изъ нашихъ писателей, скорбя о народномъ разладѣ въ Россіи, пишутъ именно такимъ языкомъ, который въ разладѣ съ народнымъ понятіемъ и котораго любимое ими большинство въ толкъ взять не можетъ. Ратуютъ они за большинство, а пишутъ для немногихъ. Надобно опрокинуться въ бездну нѣмецкой философіи, рыться въ иноязычныхъ словаряхъ, и то новѣйшихъ изданій, чтобы попасть на слѣдъ того, что сказать хотѣла ихъ интеллигенція и субъективность. Прочтите что-нибудь изъ сочиненій этихъ народолюбцевъ на деревенской сходкѣ, и вы убѣдитесь, поймутъ ли васъ грамотные гласные волостные, не говоря ужъ о сельскомъ мірѣ. Въ наше старое

время смѣялись надъ галлицизмами и прочими *измами* нѣкоторыхъ писателей изъ Карамзинской школы; но въ виду пестроты нынѣшняго языка можно было бы и самаго князя Шаликова причислить къ Шишковскимъ старовѣрамъ.

LXXXVII.

ВИЛЛА БЕРМОНЪ.

(Villa Bermont).

1865.

I.

Нѣтъ словъ на языкѣ человѣческомъ, чтобы выразить чувство, которое объемлетъ душу при входѣ въ этотъ домъ, въ эту комнату, святыню скорби, нынѣ опустѣвшую и безжизненную. Здѣсь царствуетъ утомленная и глубокая тишина. Едва прерываетъ ее медленное и въ полголоса чтеніе божественныхъ писаній, въ которыя углубились благочестивый богомолецъ или усердная богомолка. Чуть слышно движеніе посѣтителей, которые, колѣна преклоняя, изливаютъ также внутреннюю молитву свою и творятъ задушевное и заупокойное поминаніе. А давно ли? Только минули девятины со дня, навсегда памятнаго и навсегда скорбнаго. Здѣсь совершались и окончательно совершились таинственныя и сокрушительныя судьбы неисповѣдимаго Промысла. Здѣсь страдалъ и угасъ прекрасный Юноша, прекрасный красотою внутреннею и внѣшнею, надежда и любовь Семьи, олицетворенное грядущее народа, который узналъ, оцѣнилъ и полюбилъ его, когда являлся онъ ему изъ края въ край обширнаго государства, и который самъ привязался къ народу чистою, сознательною и плодотворною любовью. Здѣсь Царственные Родители, Царская Семья, Братья, Сестра, Родственники молились, уповали, страшились, бодрствовали и отъ избытка скорб-

ныхъ чувствъ, изнемогая наконецъ, повергли предъ гробомъ, похитившимъ надежды ихъ, и предъ святою волею Провидѣнія свои покорныя страданія и слезы. Здѣсь, съ Царскою Семьею, заочно и вся Россія, помышленіемъ и душою, тѣснилась въ этой компатѣ, предъ этимъ болѣзненнымъ одромъ, предъ этимъ неумолимымъ гробомъ. Слухомъ сердца можно было здѣсь разслушать ея молитвы, ея сѣтованія, ея глубокія и неисчислимыя рыданія. Россія окружала здѣсь любовью и плачемъ и первороднаго сына неутѣшныхъ Родителей, и своего драгоцѣннаго сына. Стоя въ этой комнатѣ, невольно проходишь мыслью и горестью рядъ впечатлѣній и событій, которыхъ развязка должна была завершиться столь жестокимъ ударомъ. Въ минуты унынія сей ударъ могъ иногда казаться сбыточнымъ, но не менѣе того разразился онъ какъ-будто неожиданно и нечаянно.

II.

О здоровьѣ Государя Цесаревича доходили въ Ниццу изъ Флоренціи тревожныя вѣсти. Наконецъ, въ декабрѣ мѣсяцѣ, прибылъ онъ въ Ниццу, и за опасеніями и безпокойствомъ о немъ послѣдовали болѣе благопріятныя впечатлѣнія. Его встрѣчали въ часы прогулокъ въ открытомъ экипажѣ. Свѣтлое лицо его не было омрачено никакими зловѣщими признаками. Слышно было, что онъ духомъ спокоенъ, нерѣдко даже веселъ, обращаетъ живое вниманіе на всѣ событія, совершающіяся въ Россіи, и на движенія общей политики въ Европѣ, слѣдитъ за современными явленіями Русской литературы. Какъ было не надѣяться, что молодость возьметъ свое? Какъ было не вѣровать въ южное небо, въ благотворный воздухъ, въ теплый и умѣренный климатъ? Хотя въ прошлую зиму Ницца и не всегда соотвѣтствовала хвалебной молвѣ о ней, но все же выдавались нерѣдко свѣтлые и едва-ли не лѣтніе дни, когда въ другихъ южныхъ странахъ свирѣпствовали необычайные холода и непогоды. Казалось, что всѣ эти пособія благодѣтельной природы вѣрнѣе и цѣлительнѣе, нежели всякое искусное врачеваніе, должны окончательно возстановить здоровье и силы его. Между тѣмъ, эта надежда бывала по временамъ возмущаема извѣстіями,

что Великій Князь худо ночь провелъ, болѣе страдалъ, болѣе разстроенъ нервами. Но вслѣдъ за угрожающими признаками обнаруживались другіе, казалось совершенно успокоительные. Такъ шли дни и недѣли среди неожиданныхъ испуговъ и опасеній, среди надеждъ и умиротворяющихъ впечатлѣній. Наконецъ, когда это перемежающееся состояніе упорною продолжительностью своею поколебало увѣренность и надежды, вызваны были изъ Парижа двѣ Европейскія врачебныя знаменитости: Нелатонъ и Рейе. Ошибочно ли было ихъ воззрѣніе, таившаяся ли болѣзнь не достигла еще несомнѣнной степени развитія, какъ бы то ни было—и не намъ, не посвященнымъ въ таинства науки, излагать въ этомъ случаѣ свой приговоръ—но, къ общему успокоенію, къ общей радости, Парижскіе врачи утвердительно, и безъ сомнѣнія добросовѣстно, объявили, что болѣзнь Цесаревича не являетъ никакой опасности, что онъ страдаетъ единственно простуднымъ ревматизмомъ, который не можетъ вскорѣ искорениться; но что лѣто и лѣченіе на водахъ одержатъ рѣшительную побѣду и не оставятъ ни малѣйшихъ слѣдовъ настоящаго недуга. Нареканія здѣсь неумѣстны и во всякомъ случаѣ были бы безполезны. Остается только скорбѣть о томъ, что наука, имѣющая предметомъ изученіе человѣческаго тѣла и организма его, пекущаяся о жизни и здоровьѣ ближняго, такъ часто бываетъ сбивчива въ своихъ воззрѣніяхъ и такъ разнорѣчива въ сужденіяхъ своихъ.

III.

По пріѣздѣ своемъ въ Ниццу, Государь Цесаревичъ жилъ въ *виллѣ Гизбахъ*, на такъ называемой *Прогулкѣ Англичанъ*. Близость моря, которое могло содѣйствовать раздраженію нервовъ и безсонницамъ, возбудила опасеніе врачей. Великій Князь переѣхалъ въ *виллу Бермонъ*, которая садомъ соединяется съ виллою, мѣстопребываніемъ Императрицы. Домъ стоитъ на возвышеніи и въ отдаленіи отъ моря. Можно было думать, что это новое помѣщеніе будетъ благопріятнѣе здоровью страждущаго. И въ самомъ дѣлѣ показались сначала нѣкоторыя измѣненія къ лучшему. Но это лучшее было неблагонадежно и также измѣнчиво, какъ и

прежнія. Послѣ многихъ промежутковъ и перемирій въ таинственной борьбѣ, которая то явно, то скрытно подвигалась къ своей неизбѣжной цѣли, опасенія все болѣе и болѣе возрастали. Наконецъ роковая истина предстала во всей зловѣщей и убѣдительной наготѣ. Настало Свѣтлое Воскресеніе. Въ этотъ торжественный и радостный для всей христіанской братіи день, надежда снова, но уже въ послѣдній разъ, озарила и оживила сердца. Вмѣстѣ съ христіанскимъ православнымъ привѣтствіемъ, всѣ передавали другъ другу радостную вѣсть: Наслѣдникъ ночь провелъ хорошо, лихорадочные признаки исчезли, и если это состояніе продолжится нѣсколько дней, то можно надѣяться на спасеніе. Но этотъ обманчиво радостный день былъ предтечею злополучнаго дня. Въ понедѣльникъ, во время обѣдни, разнесся въ церкви слухъ, что Великому Князю очень худо. По окончаніи священной литургіи, совершено было заздравное молебствіе. Горесть и страхъ поразили всѣ сердца. Теплыя молитвы изливались вмѣстѣ съ слезами. Въ продолженіе недѣли молебствія совершались два раза въ день. Стеченіе усердныхъ молельщиковъ было всегда многолюдно и наполняло Божій храмъ. Съ каждымъ днемъ молитвы были теплѣе, слезы были обильнѣе.

IV.

Ожидали прибытія Императора въ Ниццу. Однимъ развлеченіемъ въ тяготѣвшей надъ всѣми скорби было озабоченное и тоскливое желаніе, чтобы Родителю, пораженному въ глубину души своей, Богъ дозволилъ застать еще въ живыхъ возлюбленнаго Сына. Всѣ понимали мыслью и перечувствовали душою невыразимую тоску, волненія, которыя Царь-Отецъ долженъ былъ испытывать въ этомъ быстромъ переѣздѣ изъ конца въ конецъ Европы, подъ картечью телеграммъ, нѣсколько разъ въ сутки раздиравшихъ сердечную рану его и возвѣщавшихъ ему неотвратимое и съ каждымъ часомъ приближавшееся несчастіе. По крайней мѣрѣ эта молитва наша была услышана: Государь пріѣхалъ еще вовремя. Въ день и часъ, назначенные для пріѣзда Государя, всѣ Русскіе, проживавшіе въ Ниццѣ, собрались на площадкѣ у желѣзной дороги.

Невозможно выразить, съ какими чувствами, съ какимъ стѣсненіемъ сердца увидѣли мы приближавшійся поѣздъ и встрѣтили его. Многихъ изъ насъ не щадило Провидѣніе; многіе изъ насъ испытали на себѣ горе, подобное тому, котораго мы были свидѣтелями. Но здѣсь самое естественное, свыше предопредѣленное и всѣхъ въ жизни, въ томъ или другомъ видѣ, ожидающее горе было обстановлено необычайными и потрясающими душу особенностями и принадлежностями. Воображенію нельзя было бы придумать ничего разительнѣе и оконченнѣе въ своей величавой и скорбной полнотѣ. Самый плодовитый вымыселъ изнемогаетъ иногда предъ ужасами дѣйствительности. Не исчисляя всѣхъ подробностей, укажемъ на нѣкоторыя черты. Въ поѣздѣ съ Императоромъ была и нареченная Невѣста Великаго Князя. Государь встрѣтился и познакомился съ Нею въ Дижонѣ. Ѣхала Она не на бракъ, не на радостное свиданіе, а на предсмертное прощаніе при болѣзненномъ одрѣ умирающаго и нѣжно любимаго Ею Жениха. Тутъ же должна была познакомиться съ Нею и Та, которая была уже второю, нареченною Ей Матерью! Сія нѣжная Мать уже заранѣе предчувствіемъ, скоро оправдавшимся, полюбила новую Дочь Свою нераздѣльною и горячею любовью, которую питала Она къ Сыну своему. Въ помышленіяхъ своихъ, въ гаданіяхъ и заботахъ о близкомъ будущемъ, Она уже сливала въ душѣ Своей эти два милые образа, двѣ жизни, двѣ участи. Но разразившаяся гроза сокрушила въ первую минуту свиданія всѣ надежды Матери и обрывала всѣ цвѣты, возлелѣянные Ея любовью. И первое лобзаніе, первое благословеніе, данное ею той, которая и заочно занимала уже кровное мѣсто въ душѣ и семействѣ ея, были привѣтствіемъ и выраженіемъ безнадежной скорби, грустнымъ напутствіемъ на дорогу, гдѣ милый суженый спутникъ долженъ былъ оторваться отъ избранной имъ спутницы и проститься съ нею навсегда на близкомъ и роковомъ перепутьѣ. Какое трагическое свиданіе! Какое сцѣпленіе и, при самой очевидности ихъ, уму едва доступныхъ и невѣроятныхъ явленій! И все это на чужой и дальней сторонѣ, соединившей для подобной скорби два царства, два царскія семейства, двѣ молодыя прелестныя жизни, другъ другу сочувственныя, но которымъ не суждено было осуществиться въ одной. Какъ

выразить все умиленіе, весь ужасъ этой встрѣчи, этихъ первыхъ слезъ первыхъ привѣтствій, въ которыхъ уже невольно было слышно прощаніе съ тѣмъ, кто былъ виновникомъ и душою сего семейнаго и предгробнаго свиданія!

V.

Въ жизни бываютъ дни и часы, особенно освященные душевною скорбью, которые никакъ не поддаются выраженію и не вмѣщаются въ тѣсный объемъ его. Многіе неуловимые оттѣнки ихъ ускользаютъ не отъ вниманія, не отъ чувства, совершенно поглощенныхъ ими, но отъ скуднаго и холоднаго механизма слова. Такими днями были предсмертные дни Великаго Князя. Свиданіе съ Отцемъ, Братьями и Невѣстою, все, что могъ онъ прочувствовать въ эти минуты, все, что перечувствовали они, можетъ быть постигнуто и угадано сердцемъ, но вполнѣ передать это невозможно. Имѣлъ ли онъ сознаніе, имѣлъ ли предчувствіе близкой своей кончины, мелькомъ ли только вглядывался онъ въ участь, которая была ему суждена, сказать трудно. Окруженный всѣми тѣми, которыхъ онъ любилъ, настоящимъ семействомъ своимъ и желаннымъ будущимъ, которое предстало ему въ лицѣ любимой Невѣсты, въ минуты отдыха, когда голова его не была угнетена страданіемъ, онъ особенно ко всѣмъ былъ внимателенъ и нѣженъ. Съ благоговѣніемъ совершилъ онъ предсмертный христіанскій обрядъ. Чистая душа его, напутствуемая священными таинствами Вѣры и Церкви, готова была приступить къ великому таинству смерти. Сіе послѣднее земное таинство совершилось надъ нимъ въ первомъ часу по полуночи 12-го (24-го) апрѣля.

VI.

Умилителенъ и торжественъ былъ выносъ тѣла усопшаго Цесаревича изъ виллы Бермонъ въ Русскую церковь. Но еще трогательнѣе, еще торжественнѣе было, 16-го (28-го) апрѣля, шествіе за печальною колесницею изъ церкви черезъ весь городъ и потомъ вдоль моря до Виллафранки. Русское духовенство, въ

полномъ и богатоблестящемъ, по случаю пасхальнаго празднества, облаченіи, стройное, величавое, умилительное пѣніе нашихъ пригробныхъ молитвъ, Царь и все Семейство Его, слѣдовавшіе верхомъ, многіе Русскіе, пріѣхавшіе изъ разныхъ концовъ Европы на сей печальный обрядъ, представители разныхъ иностранныхъ дворовъ, все народонаселеніе Ниццы, частью слѣдовавшее за печальнымъ шествіемъ, частью сомкнувшееся въ живыя стѣны по улицамъ и площадямъ, частью облѣпившее крыши домовъ, деревья, скалы, мимо которыхъ тянулся загробный ходъ—все это представляло невыразимо печальную, но вмѣстѣ съ тѣмъ невыразимо живописную и величественную картину. Придайте къ ней богатства природы и мѣстоположеніе, которое служило прекрасною рамою сей мрачной картинѣ: съ одной стороны зеркальное море, которое ясностью и тишиною своею какъ будто сознательно готовилось принять на свое лоно драгоцѣнный залогъ, ввѣряемый ему любовью Родителей и любовью Россіи; съ другой стороны—величавыя скалы, чудная растительность, померанцовыя рощи и сады, разливающіе по чистому воздуху свои благоуханія. При всемъ этомъ невольно возбуждалось въ умѣ печальное недоумѣніе: *какъ можетъ быть такое благолѣпіе, такая благодать въ природѣ и такая скорбь на землѣ?* Умъ безмолвствовалъ и преклонялся предъ этимъ вопросомъ. Сердце, печалью разбитое, говорило: блаженни вѣрующіи. Въ продолженіе медленнаго и долгаго шествія солнце болѣе скрывалось за легкими облаками; жаръ былъ умѣренный. Но по приближеніи шествія къ цѣли предназначенной, солнце вечерними и прощальными лучами вдругъ озарило небосклонъ, море и корабли, стоявшіе въ пристани. Гробъ приподнятъ былъ съ катера, приставшаго къ фрегату „Александръ Невскій“, нѣсколько минутъ какъ будто носился по воздуху въ цвѣточной корзинѣ своей, опустился и сокрылся изъ глазъ.

VII.

Мы забыли упомянуть еще одну рѣзкую подробность и одно впечатлѣніе, которое невольно вторгалось въ душу. Весь этотъ печальный, торжественный, исключительно Русскій обрядъ былъ,

по неизбѣжному и никогда непредвидимому стеченію обстоятельствъ, въ тѣсномъ соприкосновеніи съ стихіями ему чуждыми. Сердце болѣзненно вздрагивало, слушая пальбу французскихъ и русскихъ орудій, нынѣ печально и дружно отвѣчающихъ другъ другу, и припоминало, что еще недавно эти орудія гремѣли враждебно и изрыгали смерть въ противустоявшіе имъ ряды. Но здѣсь злопамятство не у мѣста. Смерть имѣетъ примирительную силу. Предъ нею страсти угасаютъ и отдѣльныя національности сливаются въ одно общечеловѣческое сочувствіе. Къ тому же должно сознаться, что Ницца встрѣтила наше русское горе теплымъ и единодушнымъ участіемъ. Стоя на дежурствѣ въ церкви при гробѣ въ Бозѣ почившаго Цесаревича, я видѣлъ не однажды, какъ жители всѣхъ званій и всѣхъ возрастовъ приходили благоговѣйно поклониться гробу: какъ французскіе солдаты тихо подходили, отдавали по-своему воинскую честь, осѣнялись христіанскимъ крестомъ, съ умиленіемъ вмядывались въ черты молодаго покойника и съ грустнымъ выраженіемъ на лицѣ почтительно выходили изъ церкви. Не только въ домахъ, но и на улицахъ, вездѣ слышны были рѣчи о печальномъ событіи, сѣтовали о бѣдномъ Родителѣ, о бѣдной Матери, о бѣдномъ Юношѣ, котораго ожидала une des plus belles couronnes du monde (одна изъ прекраснѣйшихъ коронъ въ мірѣ *).

VIII.

Велика утрата наша, обильны и горестны наши слезы; но не должны онѣ быть безнадежны. Не измѣняя скорби въ минувшемъ, будемъ уповать и вѣровать въ будущее. Тотъ самый, кого мы такъ искренно оплакиваемъ, оставилъ намъ въ завѣщаніе отрадное слово. Государь Цесаревичъ сердечно любилъ семейство свое, былъ нѣжный и почтительный сынъ и нѣжно любящій братъ. Но, сколько намъ извѣстно, Онъ особенно уважалъ нравъ и характеръ Брата своего Великаго Князя Александра Александровича. Повторяемъ слышанное нами отъ постороннихъ, но приближенныхъ къ нему людей. Онъ говорилъ о Братѣ своемъ: „это честная,

*) Собственныя слова женщины простаго званія, слышанныя мною на улицѣ.

правдивая, *хрустальная* душа". Сей отзывъ, выраженный безъ малѣйшаго намека на событіе, которое въ то время никому и въ мысль не приходило, не могъ имѣть никакого примѣнимаго къ дѣлу и политическаго значенія. Это было просто искреннее выраженіе братской любви, сознательная оцѣнка чистой души, хорошо понимающей и знающей душу товарища и друга. И лучшаго завѣщанія, благонадежнѣйшаго залога не могъ оставить по себѣ грядущему поколѣнію тотъ, который готовился служить ему и посвятить ему всѣ умственныя и духовныя силы свои, всю душу, всю любовь свою, всего себя. Многое въ послѣднее время было совершено въ Россіи: многое зачато, многое посѣяно. Пора и успѣхъ жатвы въ рукѣ Божіей. Но какъ жизнь частныхъ лицъ, такъ и жизнь народовъ есть непрерывный трудъ и подвигъ. Каждое поколѣніе, каждое царствованіе завѣщаетъ преемнику слѣдующія ему заботы. Какъ много ни дѣлай, все еще болѣе дѣла впереди. Государство и народъ не умираютъ, когда умѣютъ чисто и цѣльно сохранить въ себѣ жизненныя силы и доблести, имъ дарованныя Провидѣніемъ.

IX.

Незабвенно горестное впечатлѣніе и воспоминаніе, глубоко въ душу запавшія, навсегда оставила намъ Ницца. Но не менѣе того, или именно потому, навсегда и сроднилась она съ нами. Силою событій вторгается и записывается она въ нашу народную лѣтопись. Отнынѣ принадлежитъ она Русской исторіи. Глядя на этотъ домъ, припоминая въ этой временной усыпальницѣ все, что здѣсь происходило, больно думать, что сей домъ можетъ со-временемъ попасть Богъ знаетъ въ какія руки и какое назначеніе ему готовится. Нѣтъ. Мѣсто Русское, святое мѣсто, на которомъ совершилась великая русская скорбь, не можетъ, не должно оставаться чуждымъ Россіи. Оно ея собственность, законная, цѣною страданій и слезъ благопріобрѣтенная собственность. Почему бы Россіи не купить этого дома, съ принадлежащею ему землею? Можно бы въ комнатѣ, въ которой почилъ въ Бозѣ нашъ молодой Цесаревичъ, устроить часовню. Въ ней нѣсколько разъ въ году совершa-

лось бы богослуженіе, а въ день печальной годовщины отправлялась бы панихида [1]). Благо, что въ Ниццѣ уже есть Русская церковь, можно бы на землѣ, прилегающей къ дому, устроить и кладбище для православныхъ. Смотря по денежнымъ средствамъ, которыя будутъ въ виду, мало ли еще какія другія богоугодныя назначенія могутъ обрусить и освятить это мѣсто [2]). Дѣло сбыточное, которое удобно и легко можетъ быть приведено въ исполненіе и не требовало бы чрезмѣрныхъ расходовъ. Передать это мѣсто произволу обстоятельствъ, было бы оскорбленіемъ русскому чувству, народнымъ святотатственнымъ отрѣшеніемъ отъ благоговѣйнаго уваженія и братской любви къ мертвымъ, которыми отличается нашъ народъ. Всѣ жители Ниццы, всѣ иностранцы, присутствовавшіе при нашихъ печальныхъ обрядахъ, были въ высшей степени и умилительно поражены ихъ глубокою, грустною торжественностью, а равно и благоговѣйнымъ сочувствіемъ, которое ихъ сопровождало. Это было не офиціяльное, не гражданское, а въ полномъ выраженіи своемъ духовное и христіанское исполненіе задушевной обязанности. Иностранцы изумлялись, какъ Царскіе Родители могли постоянно присутствовать на пригробныхъ церковныхъ службахъ, какъ оказывали они мертвому любовь и ласки, которыя были имъ такъ радостны, когда они обращались къ живому. Они дивились и умилялись, когда Царь-Отецъ съ Семействомъ Своимъ несъ на рукахъ гробъ возлюбленнаго Сына. Всѣ эти семейные обряды, вся эта непрерывающаяся связь между жизнью и смертью, между пережившими и отшедшимъ были для нихъ зрѣлищемъ совершенно новымъ. И въ самомъ дѣлѣ, уваженіе къ мертвымъ и живое, дѣятельное сочувствіе къ нимъ есть особенная и глубоко умилительная черта въ характерѣ и обычаяхъ Русскаго народа. Благодушіе Государя, которое просвѣчивалось сквозь глубокую горесть, осѣняв-

[1]) Собственность обширна и на ней много строеній. Ненужное для предполагаемой цѣли и лишнее пространство земли можно бы продать для вознагражденія, хотя частію, издержекъ, употребленныхъ на покупку сей собственности.

[2]) Можно передать этотъ домъ подъ смотрѣніе двухъ или трехъ офицеровъ-инвалидовъ военнаго и морскаго вѣдомствъ, или офицеровъ, которыхъ разстроенное здоровье нуждается въ южномъ небѣ и умѣренномъ климатѣ, и причислить къ нимъ нѣсколько инвалидовъ изъ нижнихъ чиновъ для охраненія и содержанія въ порядкѣ. Можно бы опредѣлять этихъ офицеровъ на нѣсколько лѣтъ и по прошествіи срока смѣнять ихъ другими, находящимися въ этихъ же условіяхъ.

шую лицо его, твердость и одушевленная религіознымъ чувствомъ покорность Матери не измѣнили имъ ни на минуту. Царское семейное горе было семейнымъ горемъ и всѣмъ Русскимъ. Отношенія державныя и отношенія частныя явились здѣсь во всей своей взаимности и во всей простой и глубокой истинѣ. Ницца все это видѣла, могла оцѣнить и, безъ сомнѣнія, оцѣнила въ этомъ случаѣ *нравственно-народную и духовную силу Россіи*. Должно намъ оставить ей и на будущее время памятникъ того, чему она была свидѣтельницею. Надобно, чтобы вилла Бермонъ была русскою собственностью, освященною памятью и любовью къ усопшему Цесаревичу, и богоугоднымъ назначеніемъ.

LXXXVIII.

ПАМЯТИ П. А. ПЛЕТНЕВА.

1866.

Человѣкъ въ теченіи жизни своей обреченъ Провидѣніемъ на утраты, отъ которыхъ онъ болѣе или менѣе бѣднѣетъ. Но бываютъ и такія потери, послѣ которыхъ остается онъ совершенно нищимъ. Чувствительнѣйшими утратами въ жизни, разумѣется, тѣ сердечныя утраты, которыя отрываютъ отъ насъ людей близкихъ сердцу нашему, попутчиковъ и товарищей на пути земномъ, съ которыми шли мы рука объ руку, мысль съ мыслью, чувство съ чувствомъ. По настоящему, онѣ однѣ и могутъ быть признаваемы за утраты. Все прочее — лишенія болѣе или менѣе временныя и тяжкія, легче или труднѣе замѣняемыя; они не посягаютъ на внутреннюю жизнь человѣка: только слегка увѣчатъ внѣшнюю жизнь. Съ помощію Божіею и добрыхъ людей, эти раны заживаютъ, или обживаешься съ ними. Къ прискорбію, и въ молодыхъ лѣтахъ, и въ лѣтахъ зрѣлости, мы не рѣдко испытываемъ сердечныя утраты. Оглядываемся, и съ грустью видимъ, что нѣтъ того, нѣтъ другаго. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, рядомъ съ нами и кругомъ идутъ еще попутчики. Съ ними дѣлимъ горе свое, съ ними оплакиваемъ утраченнаго товарища. И въ этомъ обмѣнѣ скорби есть свое утѣшеніе, есть своя унылая сладость. Прорвавшійся кругъ снова сдвигается, какъ будто новою силою, новою тѣснѣйшею скрѣпою. Есть порожнія мѣста въ дружеской артели; но артель еще есть. Есть въ ней еще мѣсто и жизни, и общей дѣятельности, надеждамъ и радостямъ, и единодушному стремленію къ обѣтован-

ной цѣли. Но когда заживешься на землѣ, когда зайдешь такъ далеко, что всѣ товарищи твои, кто ранѣе, кто позднѣе, отъ тебя отстали, когда чувствуешь, когда убѣдишься, что новыхъ уже не нажить, что пора пріобрѣтеній миновала, а настала пора окончательныхъ недочетовъ, и наконецъ разочтешься съ послѣднею утратою: тутъ и очутишься нищимъ, какъ сказано было выше.

Такъ теперь и со мною по кончинѣ П. А. Плетнева.

Пріятельскія наши съ нимъ сношенія начались давно. Я встрѣтился съ нимъ въ началѣ двадцатыхъ годовъ, въ средѣ намъ равно сочувственной и близкой. Плетневъ былъ уже тогда пріятелемъ Жуковскаго и другомъ Пушкина, Дельвига, Баратынскаго. Эти связи его тотъ-же часъ породнили съ нимъ и меня. Независимо отъ взаимныхъ условій круговой поруки, которая соединяетъ людей одного кружка, принадлежащихъ, такъ сказать, одному исповѣданію, одной вѣрѣ, я скоро полюбилъ и оцѣнилъ въ немъ все, что было личною и самобытною собственностію его самого. Чистое сердце, свѣтлый и спокойный умъ, безкорыстная, безпредѣльная, теплая преданность друзьямъ, нравъ кроткій, мягкій и уживчивый, добросовѣстное, не по расчетамъ, не въ виду житейскихъ выгодъ и въ чаяніи блестящихъ успѣховъ, но по призванію, но по святой любви, служеніе литературѣ, изящный и вѣрный вкусъ, съ которымъ любили справляться и совѣтоваться Баратынскій и самъ Пушкинъ,— всѣ эти качества, всѣ эти счастливые дары природы, развитые и возлелѣянные жизнью стройною и сосредоточенною въ однихъ мирныхъ занятіяхъ и наслажденіяхъ скромнаго и постояннаго труда, все это давало Плетневу особенное значеніе и почетное мѣсто въ обществѣ нашемъ. Рано пріобрѣлъ онъ это мѣсто, и удержалъ его за собою до конца долговременной жизни своей. Новыя явленія, новыя потребности жизни и перевороты въ литературѣ не сдвинули его съ той ступени, на которой онъ твердо и добросовѣстно сталъ однажды навсегда. Къ первоначальнымъ товарищамъ и единомышленникамъ его постепенно примыкали и новые пришельцы, отмѣченные печатью истиннаго дарованья. Въ числѣ ихъ достаточно упомянуть одно имя Гоголя.

По трудамъ своимъ, по свойству дарованія своего и по своей натурѣ, безстрастной и обреченной, такъ сказать, на плавное, а не

порывистое движеніе, онъ никогда не искалъ и не могъ искать быть любимцемъ большинства; не хотѣлъ и не могъ дѣйствовать на публику, то есть на толпу, самовластно и полномочно. Но тѣмъ болѣе дорожилъ свойствами и качествами его ограниченный кругъ избранныхъ, который могъ вполнѣ оцѣнить его. Имъ однимъ доступны были не блистательныя, не расточительныя, но благонадежныя и вѣрныя богатства ума и души его. Заслуги, оказанныя имъ отечественной литературѣ, не кидаются въ глаза съ перваго раза. Но они отыщутся и по достоинству оцѣнятся при позднѣйшей разработкѣ и приведеніи въ порядокъ и ясность дѣйствій и явленій современной ему литературной эпохи. Въ общей человѣческой жизни, на всѣхъ ея поприщахъ, встрѣчаются не передовые, а такъ сказать *пассивные* дѣятели, мало замѣтные для проходящихъ, но которыхъ вліяніе переживаетъ иногда шумныя и наступательныя дѣйствія болѣе отважныхъ подвижниковъ.

Съ Плетневымъ лишился я послѣдняго собесѣдника о *дѣлахъ минувшихъ лѣтъ*. Есть еще у меня кое-кто, съ кѣмъ могу перекликаться воспоминаніями послѣднихъ двухъ десятилѣтій. Но выше эти преданія пересѣкаются. Они теряются въ сумракѣ преданій временъ доисторическихъ. Говоря о томъ, что тогда занимало меня, и насъ тревожило, или радовало, что и кого любилъ я, чѣмъ и кѣмъ жила жизнь моя, уже некому при случаѣ сказать: „а помните ли?“ и прочее. Этотъ пробѣлъ, эта несбыточность, не своевременность подобнаго вопроса—грустны, невыразимо грустны. На подобный вопросъ, какъ онъ ни казался бы простъ, отвѣта нѣтъ. Нѣтъ уже пайщика въ памяти моей. Никто не помнитъ того, что я помню, что мнѣ такъ памятно, что такъ еще присущно, живо и свѣжо старой памяти моей, пережившей, такъ сказать, цѣлые вѣка, цѣлый міръ лицъ и былей, сроднившихся съ жизнью моей, вошедшихъ въ нее и въ мое минувшее принадлежностью нераздѣльною и неотъемлемою. Теперь помню одинъ. Теперь я одинъ съ глазу на глазъ съ памятью моею и съ тою стороною прошедшаго, которая отсвѣчивается на мнѣ одномъ.

Монологи скучны въ драмѣ и въ дѣйствительности. Для оживленія дѣйствія и рѣчи нужно имѣть предъ собою соучастника, готоваго откликнуться на мысль нашу, на воспоминаніе наше. Те-

перь уже некому давать мнѣ реплику (donner la replique, какъ говорится на Французской сценѣ). Такъ, послѣ смерти Пушкина и Жуковскаго, перекликались мы съ Плетневымъ самъ-другъ и келейно. Оказывающіеся промежутки не отодвигали насъ одного отъ другаго, а напротивъ плотнѣе насъ сближали. Жизнь шла впередъ. Чѣмъ братскій кругъ становится малолюднѣе, тѣмъ жизнь и память минувшаго становится дороже и обязательнѣе. Въ года усиленнаго движенія и преизбытка жизни еще возможны случайныя ошибки и минутныя недоразумѣнія. Но въ старости и самыя разнорѣчія, если они и существовали бы, а какъ и не быть имъ въ томъ или другомъ случаѣ, смягчаются и сглаживаются. А общія сочувствія и точки соприкосновенія съ каждымъ днемъ сильнѣе и глубже означаются. Въ старости ищешь не того, что особляетъ, а того, что обобщаетъ. Предчувствуешь, что времени уже мало впереди. Ратовать некогда, да, сдается, и не для чего. Если въ чемъ и есть разнорѣчіе, то на добровольныхъ и честныхъ уступкахъ, какъ будто самъ собою заключается прочный и благоденственный миръ. Таково примирительное дѣйствіе лѣтъ и успокоившагося ума. Тѣмъ болѣе благотворно это дѣйствіе на почвѣ уже мирной и дружеской, и разработанной единодушными сочувствіями и усиліями.

Въ послѣдніе два-три года личныя и устныя бесѣды мои съ Плетневымъ были прекращены. Болѣзнь закинула его и меня далеко отъ родины и въ разныя стороны. Помню, что въ письмѣ къ нему жаловался я однажды на судьбу, которая не свела насъ, по крайней мѣрѣ въ одну больницу, и не положила бокъ о бокъ въ одну палату. Туда перенесли бы мы свой домашній очагъ, свою Россію. Но въ это время мы часто переписывались другъ съ другомъ, рѣдко о томъ, что дѣлалось на чужбинѣ, у насъ подъ глазами, но болѣе о томъ, что доходило до насъ изъ Россіи и о Россіи. Собственно литтературная переписка наша была случайнымъ образомъ довольно оживлена. Я въ это время на досугѣ написалъ много стиховъ. Готовясь издать ихъ особою книжкою, посылалъ я ему рукописи мои на судъ и расправу. И по стихамъ нуженъ былъ мнѣ собесѣдникъ и духовникъ. Я никогда не довѣрялъ собственному родительскому чувству. Во время производства работы,

я почти всегда доволенъ собою, и тѣмъ, что произвожу. На душѣ сладостно и тепло. Но вскорѣ послѣ жаръ творчества и чувство самодовольства остываютъ. Въ любимомъ новорожденномъ дѣтищѣ своемъ вижу, или подозрѣваю, одни недостатки его. Для окончательной провѣрки сознанія мнѣ нужна оцѣнка посторонняго лица, къ которому имѣю довѣріе. Плетневъ изъ Парижа возвращалъ мнѣ въ Венецію стихи мои съ своими замѣчаніями. Начиналась иногда тяжба съ своими обвиненіями съ одной стороны, и оправданьями и защитою со стороны подсудимаго. Но окончательно почти всегда пользовался я замѣчаніями его съ полнымъ сочувствіемъ къ критикѣ его и съ благодарностью. Между прочимъ написалъ посвятительное письмо къ нему и къ Ѳ. И. Тютчеву. Оно назначается въ видѣ предисловія къ предполагаемому собранію новыхъ стихотвореній моихъ. Сочетаніе двухъ приведенныхъ именъ не совершенно соотвѣтствуетъ хронологическому порядку. Тютчевъ не принадлежитъ къ первоначальной нашей старинѣ. Онъ позднѣе къ ней примкнулъ. Но онъ чувствомъ угадалъ ее, и во многихъ отношеніяхъ усвоилъ себѣ ея преданія. Мнѣ очень отрадно думать теперь, что я успѣлъ сообщить Плетневу это стихотвореніе, и еще вслухъ могъ выразить чувства мои къ нему. Онъ отвѣчалъ мнѣ на него милымъ и теплымъ письмомъ. Нынѣ, съ чувствомъ живѣйшей скорби, печатаю стихи мои, какъ приношеніе памяти его. Они подтвердятъ заднимъ числомъ все, здѣсь мною сказанное, объ отношеніяхъ моихъ къ нему. Вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлятъ они и мѣру утраты, которую понесъ я кончиною милаго, незабвеннаго Плетнева.

LXXXIX.

О ПИСЬМАХЪ КАРАМЗИНА.

1866.

I.

Ко дню столѣтней годовщины рожденія Карамзина вышли въ свѣтъ, совершенно кстати, Записки Дмитріева и письма къ нему Карамзина. Нельзя не привѣтствовать съ живѣйшею радостью одновременное появленіе этихъ двухъ замѣчательныхъ книгъ. Это — свѣтлое событіе въ Русскомъ литературномъ мірѣ. Здѣсь и новость, и старина: и новость тѣмъ свѣжѣе, что она не взята изъ современнаго движенія. Отъ этихъ двухъ книгъ вѣетъ на насъ и благоухаетъ ясною и безстрастною жизнію минувшаго. На нихъ мысль и чувства могутъ отдохнуть. На нихъ не запечатлѣны заботы, предубѣжденія, борьба, страсти, недомолвки и противорѣчія настоящаго. Каждый, кто только одаренъ чувствомъ любви къ нравственно-прекрасному, по внутреннему достоинству его и по внѣшней прелести, то есть по духу и образу, можетъ свободно приступить къ сему явленію и оцѣнить его безпристрастно. Тутъ нѣтъ ни повода, ни предлога къ торжеству или къ униженію личнаго самолюбія. Тутъ слышится загробный голосъ изъ другаго міра, но міра всѣмъ намъ родственнаго: если не всѣ, если весьма немногіе изъ нынѣшнихъ современниковъ въ немъ жили, то всѣ сознательно, или

безсознательно изъ него исходятъ. Въ жизни народовъ, какъ ни различны бываютъ стремленія и судьбы поколѣній, одного за другимъ слѣдующихъ, есть однако же Промысломъ предназначенная нравственная послѣдовательность, которая ихъ связываетъ взаимно отвѣтственностью и роднымъ сочувствіемъ. Исторія, то есть жизнь народа, не образуется изъ отдѣльныхъ явленій и случаевъ; она не отрывочные и летучіе листы, не частныя указанія и узаконенія. Нѣтъ, она полный, нераздѣльный бытъ, полный сводъ законовъ. Съ нимъ должны справляться, имъ должны дорожить всѣ тѣ, которые хотятъ знать настоящее не только поверхностно, но добросовѣстно и сознательно, то есть въ связи его съ минувшимъ. Такъ оно въ гражданскомъ, такъ и въ литературномъ порядкѣ.

Эти двѣ книги служатъ пополненіемъ одна другой, какъ и личности Дмитріева и Карамзина пополняютъ другъ друга. Литературные труды того и другаго, какъ ни различны свойства ихъ, имѣли дѣятельное и глубокое вліяніе на развитіе нашего языка; почти одновременно вступили они на поприще словесности и долго пользовались нераздѣльно, какъ будто братскою славою: трогательная, неизмѣнная, можно бы сказать безпримѣрная, дружба сблизила и сроднила ихъ.

Все это связываетъ нераздѣльно эти два лица въ памяти и уваженіи Россіи. Вмѣстѣ прошли они, рука въ руку, душа въ душу, честное поприще дѣятельной жизни; и нынѣ изъ гроба нераздѣльно встаютъ они и являются вмѣстѣ, какъ братья на праздненствѣ, которое признательное потомство совершаетъ въ честь одному изъ нихъ. На дѣлѣ выходитъ въ память обоихъ. Юбилейная наша тризна была бы не полна, если не примкнулъ бы къ ней и Дмитріевъ. Когда получено было въ Петербургѣ извѣстіе о кончинѣ его, помню, что я писалъ къ кому-то въ Москву: со смертію Дмитріева мы какъ будто во второй разъ теряемъ и погребаемъ Карамзина. Пока былъ онъ живъ, и образъ друга его былъ намъ еще присущенъ. Со смертью Дмитріева, и преданія о Карамзинѣ пресѣклись. Мы всѣ, болѣе или менѣе приближенные къ нему, знали его такъ сказать по частямъ, то въ одно время, то въ другое. Дмитріевъ одинъ зналъ его отъ дѣтства до смерти; зналъ и его, и жизнь его вполнѣ. Мы могли бы представить однѣ разбросанныя

черты изъ его жизни; одинъ Дмитріевъ могъ бы быть его полнымъ біографомъ. Но и эти отдѣльныя черты, отрывчатые отголоски почти не сохранились: чувства и любовь остаются вѣрными, но память измѣняетъ.

По хронологическому порядку начнемъ съ писемъ Карамзина. Въ нихъ старшій памятникъ и жизни его, и литературнаго нашего преобразованія. Первое письмо его, безъ означенія года, должно быть зачислено 1787 годомъ. Укажемъ первоначально на языкъ и слогъ, ихъ отличающій. Это уже не языкъ Ломоносова, Сумарокова, даже не языкъ Фонъ-Визина, котораго письма также намъ извѣстны. Здѣсь уже слышится что-то другое, новое, еще неправильно образованное, но уже пытающееся идти своимъ шагомъ и проложить себѣ свою дорогу; есть уже самобытность, хотя еще не окрѣпшая. Любопытно и поучительно, перечитывая нынѣ эти письма, слѣдить за ходомъ успѣховъ писателя. Языкъ и слогъ его, а слогъ есть характеръ, есть нравственная личность писателя, совершенствовались съ каждымъ годомъ. Можно подмѣчать изъ писемъ, какъ подростаетъ Русскій путешественникъ, творецъ Маѳы Посадницы и Похвальнаго слова Екатеринѣ. Можно наконецъ угадывать, до чего выростетъ историкъ государства Россійскаго.

По мнѣ, въ предметахъ чтенія нѣтъ ничего болѣе занимательнаго, болѣе умилительнаго, чтенія писемъ, сохранившихся послѣ людей, имѣющихъ право на уваженіе и сочувствіе наше. Самыя полныя, самыя искреннія записки не имѣютъ въ себѣ того выраженія истинной жизни, какими дышатъ и трепещутъ письма, написанныя бѣглою, часто торопливою и разсѣянною, но всегда по крайней мѣрѣ на ту минуту проговаривающейся рукою. Записки, то есть мемуары, сказалъ бы я, если не страшился бы провиниться иноязычіемъ въ стѣнахъ святилища Русскаго слова и Русской науки, а еще болѣе провиниться подражаніемъ пестротѣ новѣйшаго словосочиненія, записки все-таки не что иное, какъ обдуманное возсозданіе жизни. Письма — это самая жизнь, которую захватываешь по горячимъ слѣдамъ ея. Какъ семейный и домашній бытъ древняго міра, внезапно остывшій въ лавѣ, отыскивается цѣликомъ подъ развалинами Помпеи: такъ и здѣсь жизнь нетронутая и нетлѣнная, такъ сказать, еще теплится въ остывшихъ чернилахъ.

Но при этой сладости и свѣжести впечатлѣнія, есть и глубокая грусть, которая освящаетъ это впечатлѣніе и тѣмъ придаетъ ему невыразимую прелесть. Тутъ предъ вами жизнь, но вмѣстѣ съ нею и осязательное свидѣтельство ея безнадежности, ея несостоятельности. Всѣ эти заботы, радости, скорби, эти мимоходныя исповѣди, надежды, сожалѣнія; всѣ эти, едва уловимые оттѣнки, которые въ свое время имѣли такую полную дѣйствительность, все это и самыя лица, запечатлѣвшія ихъ, за скрѣпою руки и души своей, все это давно увлечено потокомъ времени, все это сдано въ архивъ давноминувшихъ дѣлъ, или вовсе предано забвенію и въ жертву настоящему.

Письма Карамзина вообще возбуждаютъ въ насъ эту грустную и плѣнительную прелесть. Они обыкновенно кратки; рѣдко, и то въ послѣдніе только годы, касаются мимоходомъ событій дня, которыя позднѣе переходятъ въ собственность исторіи; въ нихъ нѣтъ систематически заданныхъ себѣ и разрѣшаемыхъ вопросовъ по части литтературы, политики и философіи, но есть личныя воззрѣнія, или чувства, то по одному, то по другому предмету. Въ нихъ спеціяльно ничему не научишься; но вмѣстѣ съ тѣмъ научишься всему, что облагороживаетъ умъ и возвышаетъ душу. Личность и задушевность выглядываютъ почти изъ каждаго письма. Письма его, еще болѣе, нежели Записки Дмитріева, могутъ быть признаны личною исповѣдью писателя, конечно не полною, не подробною; но часто по одному полуслову, брошенному какъ-бы случайно, по одному звуку души, неожиданно раздающемуся и часто вызванному безъ видимой причины, проникаешь во глубь этой свѣтлой и спокойной внутренней святыни. Дмитріевъ назвалъ Записки свои: *Взглядъ на мою жизнь*, а мы хотѣли бы имѣть полное созерцаніе ея. Къ сожалѣнію, на письмѣ онъ никогда не только не проговаривается, но рѣдко и договариваетъ. Конечно, и въ недосказанномъ сказано много. Слова его не обильны, но полновѣсны. Какъ въ разговорѣ, такъ и въ письмахъ Карамзина отзывалась всегда увлекательная, теплая, задушевная рѣчь. Философія и поэтическая живость его истекали изъ одного свѣжаго, свѣтлаго и глубокаго источника; а источникъ сей былъ душа, исполненная любви къ братьямъ и неувядаемой молодости впечатлѣній, воспріимчивости и чувства.

Можно сказать по совѣсти и по убѣжденію, что едва-ли былъ гдѣ-нибудь и когда-нибудь человѣкъ его благосклоннѣе и благодушнѣе. Въ знаніяхъ, въ полнотѣ и блескѣ умственной дѣятельности имѣлъ онъ совмѣстниковъ и соперниковъ, могъ и долженъ былъ имѣть и побѣдителей. Но по душѣ чистой и благолюбивой былъ онъ безъ сомнѣнія однимъ изъ достойнѣйшихъ представителей человѣчества, если, къ сожалѣнію, не того, какъ оно вообще въ дѣйствительности, то человѣчества, какимъ оно должно быть по призванію Провидѣнія.

Въ другихъ твореніяхъ его высшее мѣсто занимаетъ писатель: въ письмахъ высшее мѣсто принадлежитъ человѣку. Вообще о дарованіяхъ писателей, о степени превосходства и заслугъ, оказанныхъ ими дѣлу мысли и слова, можетъ еще быть нѣкоторое разногласіе вслѣдствіе личныхъ воззрѣній, понятій, а часто и предубѣжденій читателя. Вопреки извѣстной поговоркѣ скажемъ, что о вкусахъ спорить не только можно, но иногда и должно. Есть вкусъ изящный, есть и худой вкусъ; есть вѣрный, есть и ложный; есть здравый вкусъ, есть и испорченный. Но о нравственномъ достоинствѣ человѣка спора быть не можетъ. Въ письмахъ своихъ Карамзинъ, какъ въ чистомъ и вѣрномъ зеркалѣ, изображается во всей своей ясности. Здѣсь не знавшіе его лично могутъ ознакомиться съ нимъ, а ознакомившись, не могутъ отказать ему въ сочувствіи, въ любви и въ глубокомъ уваженіи.

II.

Читая со вниманіемъ письма Карамзина, нельзя не подорожить одною стороною ихъ, которая имѣетъ и личный характеръ, и, можно сказать, историческій: оба равно сочувственны и привлекательны. Сношенія его съ Императоромъ Александромъ и съ двумя Императрицами принадлежатъ Русской исторіи. Они придаютъ свѣтлую и отрадную страницу, которую будущій повѣствователь блестящаго и славнаго царствованія Александра долженъ непремѣнно внести въ свою живую лѣтопись. Едва-ли гдѣ въ исторіи Двора и въ исторіи литтературы найдется что-нибудь подобное. Нерѣдко видали, что вѣнценосцы оказывали писателямъ не только

покровительство, но и личную благосклонность. Видали и писателей не только вѣрноподданно-преданныхъ, но и пламенно ревнующихъ о славѣ монарха своего. Но здѣсь отношенія имѣютъ совершенно особые и исключительно имъ присвоенные оттѣнки. Въ нихъ есть что-то умилительное, чистое, теплое и возвышенное. Посреди житейскихъ суетностей, часто мелкихъ по достоинству, но сильныхъ по волненію своему, отъ картины, которую имѣемъ предъ глазами, вѣетъ на насъ яснымъ благорастворенiемъ какого-то золотаго, доисторическаго вѣка.

„Кромѣ его (т.-е. Императора Александра) любезнаго обхожденія со мною“, пишетъ Карамзинъ, „онъ имѣетъ въ себѣ что-то особенно привлекательное: вижу въ немъ болѣе человѣка, нежели Царя; а какъ вспомню, что это Царь, то нахожу его еще любезнѣе“.

Можно угадать, что и Александръ полюбилъ въ Карамзинѣ человѣка и полюбилъ его тѣмъ сильнѣе, что признавалъ въ немъ и великаго писателя, что видѣлъ въ немъ одно изъ свѣтлыхъ достояній своего царствованія. Безошибочно можно сказать, что изъ современниковъ, изъ числа приближенныхъ къ Государю, разумѣется за исключенiемъ Царскаго семейства, никто не любилъ Александра такъ нѣжно, такъ искренно, такъ безкорыстно, какъ любилъ его Карамзинъ. Никто вѣроятно лучше его не понялъ, не оцѣнилъ прекрасныя свойства и качества его. Никто не зналъ его такъ близко, глубоко и вѣрно. Карамзинъ не даромъ былъ историкъ, а историку должно быть земнымъ серцевѣдцемъ. Скажемъ и здѣсь: біографу Александра непростительно было бы не справляться съ бѣглыми очерками, здѣсь и тамъ набросанными рукою Карамзина: въ чистой душѣ его слѣдуетъ ему изучать образъ Александра, такъ какъ онъ въ ней отразился. Безъ того ускользнули бы отъ живописца мало кому извѣстныя тайныя выраженія и проблески этого свѣтлаго образа.

Царь и исторіографъ были по многимъ важнымъ вопросамъ въ явномъ противорѣчіи. Тѣмъ лучше. Сіи двѣ личности именно этимъ разногласіемъ вѣрнѣе и возвышеннѣе себя обозначаютъ. Не мудрено государю любить подданнаго и собесѣдника, который во всемъ съ нимъ соглашается. И не одни государи, а и многіе простые смертные довольно жалуютъ подобныхъ собесѣдниковъ. Легко и под-

данному безусловно усвоивать себѣ воззрѣнія, мысли и мнѣнія, облеченныя высочайшею властью. Но здѣсь явленіе совершенно другое. По новизнѣ своей имѣетъ оно полное право возбуждать и привлекать къ себѣ общее любопытство и вниманіе. Вслѣдствіе этихъ противорѣчій и умственныхъ ошибокъ, Александръ и Карамзинъ, если позволено будетъ замѣтить, иногда сердились другъ на друга. По человѣческой слабости, каждому сродной, они были иногда нечужды минутнаго злопамятства. Царь холоднымъ обращеніемъ выказывалъ спорнику, что онъ нисколько не убѣдилъ его, а только слегка раздражилъ. Тотъ про себя или, изрѣдка, въ скромныхъ и сердечныхъ изліяніяхъ невольно и скорбно проговаривался. Онъ также оставался недоволенъ. Скажу опять: тѣмъ лучше! Эти размолвки, эти набѣгавшія тучки были негрозны и скоротечны. Благодушіе того и другаго вскорѣ очищало небосклонъ, на минуту потемнѣвшій. Со стороны Карамзина, при мягкосердечіи его, этотъ поворотъ къ ясной погодѣ дѣлался самъ собою. Въ самомъ пылу состязанія любящая душа его всегда сберегала слово и чувство на миръ. Въ Александрѣ это была великодушная побѣда надъ собою. Власть, не говоря уже о Царской, гдѣ бы она и какая ни была бы, по свойству своему, по привычкамъ, по внѣшнимъ обстоятельствамъ, которыя служатъ ей обстановкою и подножіемъ, не можетъ не быть щекотлива и настойчива.

При Дворѣ Карамзинъ былъ одинокъ и такъ сказать лицо заштатное. Въ придворныхъ, въ равныхъ ему, онъ мало встрѣчалъ сочувствія. Должно признаться, что и онъ немногимъ изъ нихъ сочувствовалъ, и то подъ нѣкоторыми условіями. При Дворѣ сочувствія на него сходили свыше и отъ него также выше обращались. Вскорѣ по кончинѣ его, одинъ изъ придворныхъ, можно почти сказать изъ сановниковъ, образованный, не лишенный остроумія, не старожилъ и не старовѣръ, спрашивалъ меня однажды: „Вы коротко знали Карамзина, скажите мнѣ откровенно, точно ли онъ былъ умный человѣкъ“? — Да, отвѣчалъ я, кажется нельзя отнять ума отъ него.— „Какъ же, продолжалъ онъ, за Царскими обѣдами часто говорилъ онъ такія странныя и неловкія вещи“.

Дѣло въ томъ, что по понятіямъ и на языкѣ нѣкоторыхъ всякое чистосердечіе равняется неловкости. По счастью, Царскіе

Хозяева оказывали болѣе терпимости, нежели гости ихъ. Они именно полюбили въ Карамзинѣ эти неловкости; пресыщенные ловкостью, ихъ окружающей, они находили особую прелесть, особое достоинство въ этомъ свободномъ, но никогда не своевольномъ выраженіи истиннаго чувства и независимой мысли.

Въ отношеніяхъ Карамзина къ Императору нельзя не замѣтить еще одного знаменательнаго обстоятельства. Удостоенный лаской, особеннымъ благоволеніемъ, можно сказать дружбою его, онъ не былъ никогда предметомъ такъ сказать вещественныхъ его благодѣяній. Онъ могъ до конца питать къ нему самобытную, безкорыстную любовь. Онъ дорожилъ сею нравственною независимостью.

„Въ послѣднемъ моемъ искреннемъ разговорѣ съ Императоромъ“, пишетъ Карамзинъ къ Дмитріеву, „я сказалъ ему, что не хочу болѣе ни чиновъ, ни денегъ казенныхъ: надобно сдержать слово“. Такъ оно и было. Императоръ Николай мало зналъ его въ прежнее царствованіе. Только по кончинѣ Александра I и особенно въ трудные дни, которые послѣдовали за этимъ горестнымъ событіемъ, Онъ сблизился съ нимъ, видалъ его часто и имѣлъ съ нимъ продолжительныя и откровенныя бесѣды. Тутъ имѣлъ онъ возможность постичь и оцѣнить возвышенныя чувства его и прямоту души, которыми такъ дорожилъ покойный Государь. Вскорѣ затѣмъ, при первомъ случаѣ, онъ, какъ душеприкащикъ почившаго Брата, угадалъ и привелъ въ исполненіе невысказанную и посмертную волю его. И здѣсь прекрасная царская черта. Николаю I извѣстно было, что Карамзину жить уже недолго. Оказаніемъ ему безпримѣрной милости онъ не искалъ подкупить въ немъ приверженнаго къ себѣ писателя, историка, *привратника у порога храма безсмертія*, по забавному выраженію Ростопчина. Нѣтъ, по внезапному и совершенно чистому побужденію Онъ только хотѣлъ успокоить, прояснить послѣдніе печальные дни умирающаго: хотѣлъ уплатить ему въ лицѣ семейства его отъ имени брата и своего, отъ имени всего отечества достойное возмездіе за честную, полезную и нравственно-прекрасную жизнь.

Говоря о томъ, чѣмъ были для него два Государя, нельзя забыть и о личныхъ отношеніяхъ, въ которыхъ онъ находился къ Императрицамъ Маріи Ѳеодоровнѣ и Елисаветѣ Алексѣевнѣ.

Здѣсь, къ выраженію царскихъ милостей, еще присоединяется особая прелесть женскаго, утонченнаго выраженія этихъ милостей. Тутъ уже онъ и вовсе забывалъ о предстоящемъ царскомъ величіи. Еще свободнѣе, нежели при Императорѣ, могъ онъ быть совершенно и вполнѣ самимъ собою. Предъ нимъ были двѣ женщины высокихъ нравственныхъ качествъ, умственной образованности и очаровательнаго обращенія. Хотя нѣкоторыми свойствами и возрастомъ отличались онѣ между собою, но отъ той и отъ другой благоухало на него всѣмъ, чѣмъ только можетъ прельститься и насытиться умъ, озариться и согрѣться душа.

Благодушіе вдовствующей Государыни такъ и видится, и слышится сквозь письма Карамзина. Впрочемъ оно извѣстно и донынѣ памятно всей Россіи. Тысячи родителей и семействъ, по всѣмъ областямъ обширнаго нашего отечества, не престаютъ поминать въ молитвахъ своихъ ея заботливую, просвѣтительную и благотворную дѣятельность. Въ строгомъ и точномъ значеніи слова сего, она служила Россіи и заслужила ея безконечную благодарность. Державная исполнительница трудныхъ обязанностей, добровольно ею на себя возложенныхъ, она до конца жизни своей посвятила себя съ любовью и рвеніемъ великому дѣлу и достиженію великой цѣли. Но изъ словъ Карамзина, изъ писемъ ея къ нему, узнаемъ эту душевную доброту какъ-то еще ближе, въ частномъ, обыденномъ проявленіи, въ свободномъ обмѣнѣ сочувствій, вызванныхъ взаимнымъ пониманіемъ, взаимнымъ уваженіемъ другъ друга.

Отношенія Карамзина къ Императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ еще достойнѣе вниманія. Ее мало знали и при жизни ея. Какъ современная молва, такъ и преданія о ней равно молчаливы. Она какъ-то невидимо, какою-то таинственною тѣнью прошла поприще жизни и царствованія своего. Весьма немногіе допущены были въ святилище, въ это, можно сказать, царское затворничество, въ которомъ она скрывалась. Въ первой молодости ея, въ первые годы царствованія говорили о красотѣ ея, о невыразимой прелести, которою вся она была озарена. Поступь ея, малѣйшія движенія, рѣдкія, но всегда вѣрныя мыслямъ и чувствамъ слова—все въ ней было плѣнительно-стройно. Пріятность, скажемъ грація, сливалась въ ней съ величественною осанкою. Говоря объ этомъ

времени, сказала она однажды Карамзину, что нерѣдко, стоя передъ зеркаломъ для убранства, когда готовилась на царскій выходъ или на балъ, она сѣтовала и почти досадовала на дары природы, которые должны обратить на нее общее вниманіе и привѣтливые глаза. Но эти годы торжества, свѣтскаго и женскаго честолюбія продолжались недолго. Царица удалилась въ свой теремъ. Все кругомъ него было тихо. Молва умолкла. Одно участіе немногихъ оставалось ей вѣрно: оно ловило изрѣдка дальніе и отрывочные отголоски, которые изъ уединенія ея долетали до общества. Она заживо сдѣлалась поэтическимъ и таинственнымъ преданіемъ. Въ это время познакомилась она съ Карамзинымъ: очаровала его и приблизила къ себѣ. Можно сказать, что за недостаткомъ другихъ и полнѣйшихъ свѣдѣній, образъ ея, или по крайней мѣрѣ очерки этого образа исключительно запечатлѣны для насъ въ словахъ, сказанныхъ о ней Карамзинымъ, въ письмахъ ея къ нему, и въ тѣхъ, которыя онъ писалъ къ Императрицѣ.

Еще было одно время, еще былъ одинъ день, въ который имя ея торжественно и печально отозвалось во всей Россіи. Голосъ ея достигъ до насъ изъ Таганрога: „Нашъ Ангелъ въ небесахъ“, писала она, извѣщая о смерти Александра. И эти немногія, трогательныя слова сдѣлались лозунгомъ скорби народной. Скоро потомъ и этотъ отголосокъ умолкъ и соединилась она съ ангеломъ, котораго такъ нѣжно оплакивала.

Мы имѣли случай видѣть въ Карлсруэ нѣкоторыя изъ писемъ ея, писанныхъ къ матери по кончинѣ Александра. Они невыразимо умилительны. Въ нихъ раскрываются вся нѣжность чувства и вся глубина души, которая такъ долго въ себѣ сосредоточивалась. Судя по этимъ письмамъ, можно постигнуть всю плѣнительную силу очарованія, которому долженъ былъ поддаться Карамзинъ, пользовавшійся ея искреннею и едва-ли не безграничною довѣренностью.

III.

Карамзинъ говаривалъ, что, оставляя Петербургъ, будетъ онъ жалѣть только о Невѣ и о Царскомъ семействѣ. Особенно въ первые годы пребыванія, сердце у него не лежало къ Петербургу; оно

тосковало по родной Москвѣ. Почти въ каждомъ письмѣ къ Дмитріеву слышится нота этой тоски по отчизнѣ. Если обстоятельства позволили бы ему выѣхать изъ Петербурга, то вѣроятно пожалѣлъ бы онъ и о Царскомъ Селѣ. Лѣтнія и позднія осеннія пребыванія въ немъ имѣли для него особенную прелесть. Онъ тутъ былъ болѣе дома, болѣе у себя и съ собою, былъ свободнѣе въ занятіяхъ, досугахъ и прогулкахъ своихъ. За нѣсколько мѣсяцевъ до кончины, а именно 22-го октября 1825 года, вотъ что изъ Царскаго Села пишетъ онъ Дмитріеву:

„Я точно наслаждаюсь здѣшнею тихою, уединенною жизнью, „когда здоровъ и не имѣю сердечной тревоги. Всѣ часы дня заня„ты пріятнымъ образомъ: въ 9 утра гуляю по сухимъ и въ нена„стное время дорогамъ, вокругъ прекраснаго нетуманнаго озера.

„Въ 11 завтракаю съ семействомъ и работаю съ удовольст„віемъ до 2-хъ, еще находя въ себѣ и душу, и воображеніе; въ 2 „часа на конѣ, не смотря ни на дождь, ни на снѣгъ, трясусь, „качаюсь и веселъ.

„Въ темнотѣ вечерней еще хожу часъ по саду, смотрю вдали „на огни домовъ, слушаю колокольчикъ скачущихъ по большой до„рогѣ и нерѣдко крикъ совы.

„Съ 10-ти до половины 12-го читаемъ съ женою и съ двумя „дѣвицами Валтеръ-Скота романы, но съ невинною пищею для „воображенія и сердца, всегда жалѣя, что вечера коротки. Не знаю „скуки съ зѣвотою, и благодарю Бога; радъ такъ жить до конца „жизни. Что мнѣ городъ?

„Я такъ неподвиженъ, что былъ только однажды въ Гатчинѣ, „не смотря на мою сердечную любовь къ Императрицѣ. Работа „сдѣлалась для меня опять сладка; знаешь ли, что я съ слезами „чувствую признательность къ Небу за свое историческое дѣло? „Знаю, что и какъ пишу; въ своемъ тихомъ восторгѣ не думаю ни „о современникахъ, ни о потомствѣ; я независимъ и наслаждаюсь „только своимъ трудомъ, любовью къ отечеству и человѣчеству. „Пусть никто не будетъ читать моей исторіи: она есть, и довольно „для меня. Однимъ словомъ, я совершенный графъ Хвостовъ по „жару къ музамъ, или музѣ! За неимѣніемъ читателей могу читать „себя и бормотать сердцу, гдѣ и что хорошо. Мнѣ остается просить

„Бога единственно о здоровьѣ милыхъ и насущномъ хлѣбѣ до той „минуты,

„Какъ лебедь на водахъ Меандра,
„Пропѣвъ умолкнетъ навсегда.

„Чтобы чувствовать всю сладость жизни, надобно любить и смерть, „какъ сладкое успокоеніе въ объятіяхъ отца. Въ мои веселые, „свѣтлые часы я всегда бываю ласковъ къ мысли о смерти, мало „заботясь о безсмертіи авторскомъ, хотя и посвятивъ здѣсь способности ума авторству. Такъ пишутъ къ друзьямъ изъ уединенія".

Какая свѣжесть и спокойная ясность души! Какъ вѣрно, сердечно и живописно каждое слово. Это письмо — одна изъ лучшихъ въ числѣ лучшихъ страницъ, имъ написанныхъ. Тутъ весь человѣкъ.

Помню тѣсный кабинетъ его въ Царскосельскомъ домикѣ. Входя въ него, трудно было понять, какъ могла умѣститься въ немъ Исторія Государства Россійскаго. Тутъ казалось только и мѣста, что для историка какой-нибудь республики Санъ-Марино. И что за поэтическій или историческій безпорядокъ въ этомъ ограниченномъ пространствѣ; но онъ однако же чутьемъ и привычкою умѣлъ тутъ оглядываться и ощупываться. Маленькій письменный столикъ, обложенный, загроможденный книгами и рукописями: едвали оставался уголокъ для листа бумаги, на которой онъ писалъ. На полу кругомъ также разбросаны фоліянты. Двери кабинета, недоступнаго для постороннихъ, всегда были настежъ растворены для семейства, для жены и малолѣтнихъ дѣтей. Одному улыбнется онъ, другому скажетъ ласковое слово, не выпуская изъ руки пера, мысли изъ головы, и продолжая писать въ невозмущаемомъ спокойствіи и будто въ тишинѣ совершеннаго уединенія.

Въ этомъ, болѣе чѣмъ скромномъ, кабинетѣ была написана знаменитая записка о Польшѣ. Писалъ онъ ее послѣ продолжительной бесѣды и жаркихъ преній съ Государемъ. Противъ обыкновенія своего ложиться спать довольно рано, писалъ онъ ее далеко за полночь. Умъ и душа его были такъ переполнены мыслями, чувствами и встревоженною любовью къ отечеству, что написалъ

онъ ее съ одного присѣста. Она, такъ сказать, накипѣла въ немъ и стремительно и горячо вылилась на бумагу. Онъ зналъ, что она будетъ непріятна Александру, даже можетъ оскорбить Его: онъ въ ней явно и сильно противорѣчилъ завѣтнымъ намѣреніямъ Государя, тому, что справедливо или нѣтъ признавалъ онъ обязанностью своею и призваніемъ свыше. Карамзину больно было навести и малѣйшее непріятное впечатлѣніе на Царя и на человѣка, нѣжно имъ любимаго. Жертвуя собою, положеніемъ своимъ, а что еще тяжелѣе—личными и глубокими сочувствіями своими, онъ смѣло совершилъ доблестный подвигъ Русскаго историка и гражданина.

Опасенія не обманули его; но онъ пребылъ твердъ и покоенъ въ совѣсти своей. Къ утѣшенію, опасенія недолго смущали его чувствительное сердце. Чувство справедливости и кротости восторжествовало въ Царѣ надъ упорствомъ любимыхъ политическихъ мнѣній. Онъ не сдался убѣжденіямъ Карамзина, но оцѣнилъ его искренность. Послѣ нѣсколькихъ дней холодныхъ отношеній, наступила снова ясная и теплая пора. Вскорѣ *зеленый кабинетъ*, какъ называлъ Императоръ аллеи Царскосельскаго сада, въ которыхъ они бесѣдовали, сдѣлался снова свидѣтелемъ радушныхъ встрѣчъ и продолжительныхъ разговоровъ.

Для того, кто жилъ въ это время и былъ, хотя случайно и косвенно, болѣе или менѣе приближенъ къ событіямъ его, для того Царскосельскій садъ имѣетъ особое значеніе и прелесть. Подъ сумракомъ вѣтвистыхъ и тѣнистыхъ деревъ, почти на каждомъ шагу виднѣются и чуются образы и голоса, одни давно померкшіе, другіе давно замолкшіе.

Весна младый разсвѣтъ, а осень вечеръ года.

Вечеромъ, когда утихаютъ тревоги и шумъ дѣятельнаго дня, въ эту таинственную пору обыкновенно чувствуешь въ себѣ какое-то тихое и сладостное уныніе и, забывая настоящее, предаешься воспоминаніямъ.

Какъ часто, гуляя въ осенніе дни кругомъ тихаго и свѣтлаго озера, или углубляясь въ чащу парка, переношусь мыслью и чувствомъ къ этимъ минувшимъ временамъ. Иногда сдается мнѣ, что вотъ здѣсь, вотъ тамъ встрѣчусь съ лицомъ, которое, кажется, встрѣтилъ я вчера: такъ память бываетъ въ одно время и вѣрна,

и обманчива. Невольно забываешь, что это вчера отодвинуто въ недосягаемую даль уже многими десятками годовъ. Эти живыя знакомыя существа—нынѣ уже тѣни. Но предъ глазами воображенія и самыя тѣни населяютъ пространство. Онѣ слѣдуютъ за мною, вьются надо мною и кругомъ меня.

Вотъ величественная тѣнь Царственнаго хозяина сей великолѣпной и миловидной области. Отпечатокъ жизни, ознаменованной великими событіями, но отпечатокъ и какой-то грусти пресыщенія власти, могущества и славы, еще выражаются на задумчивомъ челѣ. Въ улыбкѣ есть плѣнительная кротость, но и въ ней проглядываетъ уныніе. Сознательно чувствуется, какъ-будто видится, что нѣкогда, во дни жизни, тягостно было ей земное величіе. Какъ-будто слышится повѣсть о внутреннихъ борьбахъ, о многихъ испытаніяхъ, обманутыхъ надеждахъ, о многихъ благородныхъ стремленіяхъ, не достигнувшихъ окончательно предназначенной цѣли.

Прекрасны и торжественны были нѣкоторые дни изъ сей жизни, принадлежащей исторіи. И свой народъ, и чуждые народы, нѣкогда враждебные, съ признательностью благословляли эти незабвенные дни. Но отъ этихъ торжествъ въ Немъ самомъ осталось одно глубокое чувство смиренія и едва-ли не безнадежности. Земной славы Ему было мало: Онъ жаждалъ разрѣшенія таинствъ, къ которымъ съ пытливою тоскою стремилась душа Его. На высотѣ земнаго величія Онъ отрѣшался отъ земли; Онъ прислушивался къ голосамъ другаго, таинственнаго, но обѣтованнаго намъ міра. Рѣдко кто изъ царствовавшихъ владыкъ досягалъ до вершины, на которую вознесли Его событія и Его твердая и великодушная воля. Но можно сказать, что въ Немъ человѣкъ былъ еще выше владыки. Самое унылые предсмертныхъ годовъ Его и недовѣрчивость къ Себѣ служатъ тому умилительнымъ и поражающимъ умъ доказательствомъ.

Къ Нему идетъ на встрѣчу другая тѣнь, намъ также знакомая и сочувственная. И тотъ, чей образъ носитъ она, одушевленъ былъ во дни жизни благородными побужденіями, и въ тишинѣ труда совершилъ дѣла полезныя и благія. И онъ насладился мирною земною славою. Но и эта жизнь не упивалась соблазнами успѣховъ. И она въ себѣ носила зародышъ чего-то высшаго:

стремилась къ тому, чего здѣсь нѣтъ, но къ чему, не менѣе того, стремиться должно, чтобы облагородить земное поприще и самую славу освѣтить заревомъ неугасающимъ.

Въ этомъ сходствѣ, въ этомъ настроеніи духа, можетъ быть, кроется нравственная причина сочувствія и сближенія, которыми, не смотря на различіе положенія того и другаго, Александръ привлекаемъ былъ къ Карамзину и Карамзинъ къ Александру.

Какъ любопытны были бы и назидательны для насъ откровенныя исповѣди двухъ собесѣдниковъ, если бы невидимый стенографъ могъ передать ихъ намъ во всей духовной и буквальной полнотѣ и точности.

А вотъ еще поодаль два любезные образа мелькаютъ предъ нами. Оба принадлежатъ Царскосельскимъ преданіямъ. Одинъ— чистый, стройный лебедь поэзіи. Сдается, что слышишь грустные и какъ-будто святые напѣвы предсмертной пѣсни, которую самъ воспѣлъ онъ себѣ, вмѣстѣ съ послѣднею пѣснью Царскосельскаго лебедя Екатерининскихъ временъ *). Около него, еще отрокомъ, но уже поэтомъ, мерещится любимый питомецъ Карамзина и Жуковскаго. Первыя его благозвучныя пѣсни раздались подъ вдохновительною тѣнью, оглашенною нѣкогда и пѣснями Державина. Царское Село—святилище исторіи и поэзіи. Надъ всѣми этими тѣнями и преданіями носятся въ отдаленной высотѣ лучезарныя и величественныя воспоминанія другаго вѣка.

Въ Царскомъ Селѣ нельзя забывать Екатерину. Она какъ будто наслѣдственно передала любимому внуку любовь Свою къ этой мѣстности, нѣкогда одушевленной присутствіемъ Ея, Ею украшенной и нынѣ еще озаренной лучами Ея славы. Памятники Ея царствованія здѣсь повѣствуютъ о Ней. Сложивъ вѣнецъ съ головы и порфиру съ плечъ Своихъ, здѣсь жила Она домовитою и любезною хозяйкою. Здѣсь, кажется, встрѣчаешь Ее въ томъ видѣ и нарядѣ, какою Она изображена въ извѣстной картинѣ Боровиковскаго, еще болѣе извѣстной по прекрасной и превосходной гравюрѣ Уткина. Тотъ-же образъ Ея находимъ и у Пушкина въ повѣсти его: „Капитанская дочка“.

*) Извѣстное стихотвореніе Жуковскаго.

XC.

СТИХОТВОРЕНІЯ КАРАМЗИНА

1866.

Въ первыхъ письмахъ Карамзина къ Дмитріеву встрѣчаются довольно часто стихи, такъ сказать въ дополненіе и въ подтвержденіе сказанному въ прозѣ, и замѣтимъ мимоходомъ, по большой части, бѣлые стихи. Въ молодости поэты новички обыкновенно увлекаются прелестью риѳмы, этой заманчивой игрушки. Впрочемъ здѣсь можно отыскать разъясненіе и оцѣнку стихотворческаго дарованія Карамзина. Онъ былъ поэтъ по чувству, по краскамъ, и нерѣдко по содержанію стихотвореній своихъ; но не по внѣшней отдѣлкѣ. Стихотворецъ въ немъ, такъ сказать, не по силамъ поэту. Онъ самъ какъ будто сознавалъ это различіе: въ одномъ письмѣ къ Дмитріеву говоритъ онъ: онъ *прости мой любезный поэтъ и стихотворецъ*. Въ другѣ своемъ, и справедливо, признавалъ онъ того и другаго. Его же призваніе было иное:

Пой, Карамзинъ, и въ прозѣ
Гласъ слышенъ соловьинъ,

сказалъ ему Державинъ. У него былъ свой взглядъ на стихи. Помню, какъ онъ однажды вошелъ въ мою комнату и засталъ меня за чтеніемъ Бюргеровой баллады: Des Pfarrers Tochter.

Онъ взялъ у меня книгу изъ рукъ, и напалъ на куплетъ:

Er kam in Mantel und Kappe vermummt,
Er kam um die Mitternachtsstunde.
Er schlich, umgürtet mit Waffen und Wehr,
So leise, so lose, wie Nebel, einher
Und stillte mit Brocken die Hunde.

Прочитавъ это, сказалъ онъ: вотъ какъ надобно писать стихи. Можно подумать, что онъ держался извѣстнаго выраженія: «c'est beau comme de la prose».

Онъ требовалъ, чтобы все сказано было въ обрѣзъ и съ буквальною точностью.

Онъ давалъ просторъ вымыслу и чувству; но не выраженію. Въ первой части Онѣгина, особенно цѣнилъ онъ 35-ю строфу, въ которой описывается Петербургское утро съ своимъ барабаннымъ боемъ, съ Охтенкою, которая спѣшитъ съ кувшиномъ, съ Нѣмецкимъ хлѣбникомъ, который

Въ бумажномъ колпакѣ не разъ
Ужъ отворялъ свой васпсдасъ.

Онъ любилъ здѣсь и вѣрность картины, и трезвую вѣрность выраженія. Изъ Державина повторялъ онъ съ особеннымъ удовольствіемъ то мѣсто въ „Видѣніи Мурзы“, въ которомъ поэтъ говоритъ, что луна

Сквозь окна домъ мой освѣщала
И палевымъ своимъ лучемъ
Златыя стекла рисовала
На лаковомъ полу моемъ.

Часто вспоминалъ онъ слѣдующіе стихи Хераскова:

Какъ лебедь на водахъ Меандра
Поетъ послѣдню пѣснь свою,
Такъ я монарха Александра
На старости моей пою.

Онъ даже въ Сумароковѣ отыскалъ стихъ, который нравился ему точностью выраженія.

Въ немъ не было лиризма. Въ прозѣ его, напротивъ, много движенія и музыкальной пѣвучести. Самыя рифмы ему какъ то неохотно поддавались:

Чиновъ и рифмъ онъ не искалъ,
Но рифмы и чины къ нему летѣли сами,

сказалъ онъ о Дмитріевѣ, и могъ завидовать въ другѣ своемъ если не послѣднимъ, о которыхъ онъ не заботился, то первымъ, которыя отъ него будто прятались. Было время, что онъ вовсе охолодѣлъ къ поэзіи, или по крайней мѣрѣ къ выраженію ея стихами; а именно въ первые годы его историческаго труда. Мнѣ очень памятно это время. Я тогда утаивалъ отъ него стихи свои,

какъ мальчишка утаиваетъ проказы отъ строгаго дядьки: такъ сильно напугалъ онъ меня своею холодностью и частоповторяемымъ приговоромъ, что нѣтъ никого болѣе жалкаго и смѣшнѣе посредственнаго стихотворца. Только гораздо позднѣе, какъ видимъ изъ писемъ его къ Дмитріеву, онъ умилялся даже и предъ упорствомъ ничѣмъ и никѣмъ невозмутимаго графа Хвостова. Тутъ и на мою долю выпалъ лучшій жребій. Какъ то случайно прочитавъ какіе то мои стихи, сказалъ онъ мнѣ: теперь не стану отговаривать васъ отъ стихотворства. Это разрѣшеніе было для меня самою лестною похвалою. О ней отрадно вспомнить мнѣ и нынѣ. Благодарное чувство мое да будетъ оправданіемъ моему случайному самохваленію.

Если въ послѣдніе годы жизни онъ опять нѣсколько теплѣе обратился къ стихамъ, то не мудрено найти тому причину въ слѣдующемъ обстоятельствѣ. Въ пребываніе свое въ Царскомъ Селѣ онъ узналъ Пушкина, тогдашняго питомца лицея: полюбилъ онъ его родительскою, но вмѣстѣ съ тѣмъ и строгою любовью. Развивающееся подъ глазами его дарованіе могло пробудить охолодѣвшее сочувствіе. По выраженію Дмитріева, онъ угадывалъ, и вѣрнымъ своимъ взглядомъ угадалъ безошибочно

Въ отважномъ мальчикѣ грядущаго поэта.

Въ одно и тоже время онъ пріязненнѣе и тѣснѣе сблизился и съ Жуковскимъ, котораго также любилъ онъ горячо и нѣжно какъ младшаго брата. Жуковскій и Пушкинъ должны были примирить его съ поэзіей, разумѣется, повторю опять, съ тою, которая вырабатывается стихами, потому что къ душевной поэзіи, къ поэзіи мысли и чувства, онъ никогда не остывалъ. Говоря о поэтическомъ дарованіи Карамзина, постараемся прослѣдить и оцѣнить достоинство стихотвореній его. Что ни говори, и какъ о нихъ ни суди, но въ свою пору были они не безъ значенія и не безъ самобытнаго достоинства. Припомнимъ настроеніе лиръ Петрова, Хераскова, Державина, не говоря уже о ихъ многочисленныхъ и второстепенныхъ подражателяхъ. Вспомнимъ ихъ часто напряженный, надутый стихъ, совершенную, за исключеніемъ одного Державина, отвлеченность и безличность нашей поэзіи до появленія Карамзина. Съ нимъ родилась у насъ поэзія чувства, любви къ природѣ, нѣжныхъ

отливовъ мысли и впечатлѣній: словомъ сказать поэзія внутренняя, задушевная. Въ ней впервые отразилась не одна внѣшняя обстановка, но въ сердечной исповѣди сказалось, что сердце чувствуетъ, любитъ, таитъ и питаетъ въ себѣ. Изъ этого пока еще, согласенъ я, довольно скромнаго родника, пролились и прозвучали позднѣе обильные потоки, которыми Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ оплодотворили нашу поэтическую почву. Любуясь величавою Волгою, воспѣтою питомцами ея Карамзинымъ и Дмитріевымъ въ Симбирскѣ, почтимъ ее признательнымъ привѣтомъ и тамъ, гдѣ она еще, такъ сказать въ младенчествѣ, струится тихо и смиренно. Если въ Карамзинѣ можно замѣтить нѣкоторый недостатокъ въ блестящихъ свойствахъ счастливаго стихотворца, то онъ имѣлъ чувство и сознаніе новыхъ поэтическихъ формъ. Преобразователь языка нашего, онъ не былъ рабски приписанъ къ ямбу и другимъ узаконеннымъ стопосложеніямъ. Онъ первый и въ стихотворный нашъ языкъ ввелъ новые пріемы и соображенія. Попытки его были удачны. Укажемъ на стихи къ Дмитріеву:

Многіе Барды лиру настроивъ, и проч.

на *Кладбище*; на стихотвореніе *Къ прекрасной*:

Гдѣ ты, прекрасная, гдѣ обитаешь?
Тамъ ли, гдѣ пѣсни поетъ Филомела,
Кроткая ночи пѣвица,
Сидя на миртовой вѣтви?
Тамъ ли, гдѣ солнечный лучъ освѣщаетъ
Горъ неприступныхъ хребетъ разноцвѣтный?

Нельзя мимоходомъ не полюбоваться красотою сего живописнаго стиха:

Гласъ твой Божественный часто внимаю,
Часто сквозь облако образъ твой вижу,
Руки къ нему простираю,
Облако, воздухъ объемлю.

Въ этомъ стихотвореніи есть и свѣжесть древности, и предвѣстье оттѣнковъ и созвучій, которые позднѣе обозначатъ новѣйшую поэзію.

Въ стихотвореніи *Осень* встрѣчаются тоже предчувствіе, тѣ же первоначальныя ноты, пробные, вступительные напѣвы, которые далѣе и далѣе, глубже и глубже разольются и будутъ господствовать въ поэзіи. *Новѣйшая критика, проблематическая критика*

какихъ то кабалистическихъ сороковыхъ годовъ, о которыхъ проповѣдуютъ намъ послушники новаго раскола, совершенно исключила имя Карамзина изъ списка поэтовъ нашихъ. Въ предположеніи, что многимъ будутъ новы старыя пѣснопѣнія позволю себѣ представить нѣсколько куплетовъ и изъ *Осени*:

Вѣютъ осенніе вѣтры
Въ мрачной дубравѣ;
Съ шумомъ на землю валятся
Желтые листья.

Поздніе гуси станицей
Къ югу стремятся,
Плавнымъ полетомъ несяся
Въ горнихъ предѣлахъ.

Вьются сѣдые туманы
Въ тихой долинѣ;
Съ дымомъ въ деревнѣ мѣшаясь,
Къ небу восходятъ.

Странникъ, стоящій на холмѣ,
Взоромъ унылымъ
Смотритъ на блѣдную осень,
Томно вздыхая.

Странникъ печальный, утѣшься.
Вянетъ природа
Только на малое время:
Все оживится,

Все обновится весною;
Съ гордой улыбкой
Снова природа возстанетъ
Въ брачной одеждѣ.

Смертный, ахъ вянетъ на вѣки!
Старецъ весною
Чувствуетъ хладную зиму
Ветхія жизни.

Читая эти стихи, можно-ли догадаться, что они написаны за 80 лѣтъ тому. Не сдается ли, что они писаны вчера и что найдешь подъ ними подпись Жуковскаго, Пушкина или Баратынскаго? Тутъ все вѣрно: краски, точность выраженія и музыкальный ритмъ. Въ философическихъ стихотвореніяхъ Карамзинъ также заговорилъ

новымъ и образцовымъ языкомъ. Въ нихъ свободно выражается мысль. Прочтите напримѣръ посланія его *къ Дмитріеву* и *Плещееву*.

Вотъ какъ кончается первое изъ двухъ:

Въ комъ духъ и совѣсть безъ пятна,
Тотъ съ тихимъ чувствіемъ встрѣчаетъ
Златую Фебову стрѣлу (*)
И Ангелъ мира освѣщаетъ
Предъ нимъ густую смерти мглу.
Тамъ, тамъ, за синимъ океаномъ,
Вдали, въ мерцаніи багряномъ,
Онъ зритъ... но мы еще не зримъ.

Здѣсь опять не слышится ли Жуковскій съ своею *синею далью* и съ своимъ нѣсколько мистическимъ направленіемъ? Кстати, упомянувъ о Жуковскомъ, не забудемъ замѣтить, что первыя Русскія баллады и *Романцеро* были: *Раиса* и *Графъ Гваринось*. А *Раиса*, какъ родоначальница многочисленнаго потомства, дала случайно и пророчески имя и старшей изъ балладъ Жуковскаго:

Кронидъ вдали
Бѣжалъ отъ глазъ монахъ съ Людмилой,

говоритъ она предъ тѣмъ, чтобы броситься въ море.

Какъ много чувства и прелести въ стихотвореніи *Берегъ*:

Послѣ бури и волненья,
Всѣхъ опасностей пути,
Мореходцамъ нѣтъ сомнѣнья
Въ пристань мирную войти

Пусть она и неизвѣстна!
Пусть ее на картѣ нѣтъ!
Мысль, надежда имъ прелестна:
Тамъ избавиться отъ бѣдъ.

Есть ли жъ взоромъ открываютъ
На брегу друзей родныхъ,
О блаженство! восклицаютъ,
И летятъ въ объятья ихъ.

Жизнь! ты море и волненье!
Смерть! ты пристань и покой!
Будетъ тамъ соединенье
Разлученныхъ здѣсь волной.

(*) Смерть, по древнему греческому вымыслу.

Вижу, вижу... вы маните
Насъ къ таинственнымъ брегамъ!..
Тѣни милыя! храните
Мѣсто подлѣ васъ друзьямъ!

Судя по приведеннымъ отрывкамъ, не правда ли, что наши дѣды и отцы, и мы сами въ молодости своей, не слишкомъ грѣшили предъ вкусомъ и поэзіей, читая и перечитывая подобныя стихотворенія и затверживая ихъ наизусть? Чтобы еще лучше понять наши впечатлѣнія, вспомните, что Карамзинъ явился въ самый разгаръ поэзіи Державина. Поэзія Державина была жаркій лѣтній полдень. Все сіяло, все горѣло яркимъ блескомъ. Много было очарованія для воображенія и глазъ; но сердце оставалось въ сторонѣ. Съ Карамзинымъ наступила поэзія лѣтняго сумрака. И здѣсь, какъ при ясномъ закатѣ дня, тихая нѣга, свѣжее благоуханіе, тѣ-же умѣренныя краски въ картинахъ. Поэзія утратила свой рѣзкій и ослѣпительный блескъ: въ ней есть что то болѣе успокоивающее и чарующее глаза миловидными и разнообразными оттѣнками. Однимъ словомъ, меланхолія была до Карамзина чужда Русской поэзіи. А что ни говори новѣйшіе реалисты, и какъ ни блистательны нѣкоторыя ихъ попытки, меланхолія есть одна изъ принадлежностей поэзіи, потому что она одна изъ природныхъ принадлежностей души человѣческой.

Повторяя эти стихи, которыя мнѣ одному, а можетъ быть еще двумъ-тремъ человѣкамъ въ Россіи, памятны, невольно призадумаешься. Невольно спрашиваешь себя: отчего у Русскихъ память такъ коротка? отчего зрѣніе наше, по крайней мѣрѣ въ литтературномъ отношеніи, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, такъ устроено, что глаза наши видятъ только то, что у насъ подъ рукою, а не имѣютъ способности заглядывать ни въ обратную, ни въ предстоящую даль? Мы не умѣемъ ни помнить, ни ожидать.

„У насъ ничего общаго съ новымъ поколѣніемъ быть не можетъ“—говорилъ мнѣ однажды покойный Клементій Россетъ, извѣстный своимъ остроуміемъ и неожиданною оригинальностью своихъ выходокъ.—„Кого ни спросишь, никто не знаетъ пѣсни:

Всѣхъ цвѣточковъ болѣ
Розу я любилъ.

„А въ наше время всѣ знали ее наизусть.“

Въ этой шуткѣ много и ко многому примѣнимой истины. Вотъ намекъ на отношенія наши къ минувшему. А вотъ намекъ на отношенія къ будущему. Однажды видѣлъ я въ саду, какъ садовникъ срывалъ вишни съ дерева. Я замѣтилъ ему, что онъ срываетъ зеленую вишню. „Ничего, отвѣчалъ онъ мнѣ, другая и спѣлая“.

Мы неспособны осаждать вопросъ по стратегическимъ правиламъ и порядку, и выжидать, чтобы онъ сдался. Мы все беремъ приступомъ. Удалось: хорошо! не удалось: мы къ вопросу холодѣемъ. Намъ равно противны и долгая память, и долгое желаніе. Отказываясь отъ опытности, которая слѣдуетъ завчера, мы мало расчитываемъ и на содѣйствіе завтрашняго дня. День мой—вѣкъ мой: вотъ наша коренная пословица и нашъ народный лозунгъ. Съ нимъ можемъ иногда претерпѣвать пораженія; но съ нимъ и одерживали мы на всѣхъ поприщахъ блестящія и многознаменательныя побѣды.

Въ нашемъ частномъ и народномъ воспитаніи ощутительна важная погрѣшность, и именно все болѣе и болѣе послѣдовательный разрывъ съ прошедшимъ. Намъ оно какъ будто въ тягость, или въ стыдъ. Многіе видятъ въ этомъ хроническомъ недугѣ слѣдствіе крутаго перелома, совершеннаго рукою Петра. Оно отчасти такъ, но отчасти и не такъ. Петръ Великій, можетъ быть, съ разу и совершилъ переломъ, потому что онъ былъ преимущественно Русскій по духу и по природѣ своей, и потому что онъ зналъ свой народъ. Онъ зналъ, что съ нимъ ничего въ долгій ящикъ откладывать нельзя. Для Русскаго долгій ящикъ тотъ-же гробъ. Нѣтъ, не реформа Петра Великаго отучила насъ отъ чтенія Русскихъ книгъ. Ломоносовъ и писатели, за нимъ послѣдовавшіе, были истинными сынами Петровской реформы. Но что же? теперь и ихъ не знаютъ. Развѣ только въ училищахъ ведутъ имъ для порядка счетъ по пальцамъ, какъ Ассирійскимъ царямъ. Реформа, которая низвергла наши старые авторитеты въ литературѣ, не есть слѣдствіе Петровской. Приписывать ей такое происхожденіе было бы для нее слишкомъ почетно и лестно. Она даже не произведена литературными законными властями, а скорѣе Тушинскими литературными самозванцами.

Во Франціи переворотъ или общій *низворотъ* 1789 и слѣдующихъ годовъ былъ еще круче и разрушительнѣе. Но тамъ, когда умы успокоились и отрезвились, когда буря утихла, нравы, обычаи и литтературные авторитеты всплыли почти невредимо: встревоженныя волны улеглись въ прежнее свое ложе. Старая литтература сохранила свою законную власть. Были послѣ попытки, оказывались новыя направленія, затѣвались разныя литтературныя революціи; но и понынѣ Расинъ еще не забытъ. Франція посреди тревожной дѣятельности находитъ время читать своихъ новыхъ авторовъ и перечитывать старыхъ. Ихъ изучаютъ, судятъ, преподаютъ молодымъ поколѣніямъ. У насъ не только въ обществѣ, но и въ школахъ книги, подобно календарямъ, держатся только на извѣстный срокъ. Для насъ уже старъ

И календарь осьмаго года,

отмѣченный Пушкинымъ въ Онѣгинѣ.

Всему этому есть многія причины; укажемъ на одну: на высокомѣріе наше, хотя мы и любимъ прославлять свое Русское смиреніе. Мы такъ привыкли къ чинамъ, что и въ поколѣніяхъ нашихъ идетъ служебное производство. Молодежь ставитъ себя выше отцевъ, потому что она попала въ высшій разрядъ. Нѣтъ сомнѣнія, что новое поколѣніе пользуется выгодами и преимуществами, до которыхъ отцы не дослужились. Сіи преимущества, сіи завоеванія и побѣды времени, конечно, обращаются ему въ пользу; но они не могутъ быть признаны достоинствами каждаго лица въ отдѣльности. Благодарите за нихъ Провидѣніе, но не гордитесь ими въ униженіе предковъ. Нашъ вѣкъ изобрѣлъ желѣзныя дороги и паровозы. Прекрасно! но изъ этого слѣдуетъ ли, что каждый человѣкъ, который спокойно садится въ вагонъ и перелетаетъ въ нѣсколько часовъ обширное пространство, умнѣе того, который тоже пространство переѣзжалъ въ старину на долгихъ и въ неуклюжей бричкѣ, издерживая на этотъ переѣздъ нѣсколько сутокъ.

Какъ мало у насъ авторовъ и книгъ, а мы еще пренебрегаемъ и тѣмъ что имѣемъ! Литтература первой четверти вѣка нашего для многихъ уже не существуетъ. Любопытство и вниманіе наше возбуждаются одними текущими произведеніями. Книга хороша,

пока листы ея отзываются свѣжестью и сыростью бумаги, только что вышедшей изъ подъ печатнаго станка. Успѣетъ она высохнуть, книга уже откладывается въ сторону.

Въ отношеніи къ минувшему зрѣніе наше все болѣе и болѣе тупѣетъ. Карамзина и Дмитріева видятъ уже немногіе. Едва разглядываютъ самого Пушкина. Завтра глазъ и до него не доберется. За каждымъ шагомъ нашимъ впередъ оставляемъ мы за собою пустыню, тьму кромѣшную, тьму Египетскую да и только...

XCI.

ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ДМИТРІЕВЪ.

1866.

Въ одномъ письмѣ Карамзинъ говоритъ Дмитріеву: „ты мастеръ жить“: и могъ это ему сказать съ нѣкоторою завистью. Карамзинъ вообще не имѣлъ этого мастерства. Онъ не старался сглаживать свой путь и осыпать его мягкимъ пескомъ и цвѣтами. Онъ всегда былъ озабоченъ чѣмъ нибудь и кѣмъ нибудь: и никогда не отгонялъ отъ себя эти заботы. Можно сказать, что онъ до самой кончины своей кое какъ перебивался, чтобы съ году на годъ сводить денежные концы съ концами. А въ Петербургѣ расходы его пополнялись капиталомъ. Для чадолюбиваго отца, какимъ былъ Карамзинъ, это была постоянная сердечная болячка. Благосостояніе, вслѣдствіе истинно царской и просвѣщенной щедроты Императора Николая, пришло къ нему только предъ самою кончиною. Оно тѣмъ болѣе было ему утѣшительно, что не онъ имъ воспользуется, но что оно вполнѣ обезпечивало участь семейства его. Онъ всегда страшился долговъ какъ за себя, такъ и за друзей. Дмитріевъ, по крайней мѣрѣ въ молодости своей, былъ въ этомъ отношеніи безстрашнѣе. Карамзинъ пришелъ къ нему однажды и съ ужасомъ засталъ въ передней комнатѣ нѣсколько кредиторовъ. „Какъ съ ними развяжешься ты и какъ отпустишь?“ спросилъ онъ его. „А вотъ какъ, — ты сей часъ увидишь!“ и вышелъ къ нимъ съ Карамзинымъ. Онъ такъ шутливо, такъ забавно объяснялъ каждому изъ нихъ, почему на этотъ разъ не можетъ расплатиться съ нимъ, что

кредиторъ за кредиторомъ уходилъ отъ него съ хохотомъ и почти довольный какъ будто съ деньгами. Особенно позднѣе онъ въ самомъ дѣлѣ устроилъ жизнь свою независимо и согласно со вкусами и склонностями своими. Какъ мы уже замѣтили, въ немъ была какая то чопорность, но болѣе внѣшняя и обстановочная. По видимому онъ строго держался нѣкоторыхъ условій свѣтскаго уложенія и чинопочитанія. Но это касалось исключительно одной оффиціальной жизни и проявлялось въ случаяхъ представительства. Тогда стоялъ онъ прямо и чинно на часахъ. Но отслуживъ эти часы или минуты, онъ радушно возвращался къ своей любимой независимости. Самое положеніе его, какъ холостяка, обезпечивало за нимъ эту независимость. Семейство, семейныя заботы, столь близкія сердцу друга его, были чужды ему. Онъ былъ себѣ хозяиномъ и бариномъ. Но въ немъ не было ни сухости, ни чорствости, которыя многіе ему приписывали. Они не знали его, но судили о немъ по внѣшней холодности и по нѣкоторой гордости въ пріемахъ. Эта гордость была не суетность, а чувство достоинства. Она оказывалась особенно съ высшими или и съ равными, но которые, по счастливымъ обстоятельствамъ жизни, почитали себя выше его. Онъ былъ добръ, сострадателенъ и чувствителенъ, но все же опять не такъ какъ Карамзинъ. Узнаетъ ли сей послѣдній, что въ какой нибудь полосѣ Россіи неурожай, онъ, словно помѣщикъ того края, озабоченъ былъ этимъ горемъ и говорилъ о немъ съ искреннимъ и живымъ соболѣзнованіемъ: „Помилуй, братецъ, возражалъ ему Дмитріевъ прерывая сѣтованія его, — о чемъ ты тоскуешь, все же калачи будутъ еще продаваться на Тверской“ — и меланхоликъ Карамзинъ отъ души смѣялся утѣшенію друга своего. Дмитріевъ по своему былъ и мастеръ жить, и любилъ жизнь. „Каждый разъ, что утромъ просыпаюсь, говорилъ онъ мнѣ однажды, первая мысль моя и первое движеніе сердца благодарить Бога за то, что Онъ даровалъ мнѣ еще день“. Онъ не былъ особенно набоженъ: эта благодарная молитва не была у него дѣломъ обряда и заведенной привычки. Тѣмъ болѣе она трогательна, тѣмъ болѣе свидѣтельствуетъ она о его внутренней безмятежности и ясности. Вотъ еще черта, доказывающая, что онъ способенъ былъ живо и глубоко чувствовать. Онъ однажды говѣлъ великимъ постомъ; въ самое то время,

когда кончалъ составленіе своихъ записокъ. Я пришелъ поздравить его съ пріобщеніемъ святыхъ таинъ. „А знаете ли вы — сказалъ онъ мнѣ — что я сдѣлалъ сегодня? я уничтожилъ въ запискахъ своихъ все то, что было сказано слишкомъ рѣзкаго и предосудительнаго о князѣ Салтыковѣ. Мнѣ казалось неприличнымъ, исполнивъ христіанскія обязанности, оставить на совѣсти и на бумагѣ слѣды досады моей на того, котораго считалъ я виновнымъ предо мною“. Во время отсутствія Императора Александра, въ продолженіе Европейской войны, князь Салтыковъ облеченъ былъ почти полномочною властью по административному управленію Россіи. Дѣйствія Дмитріева, тогда министра юстиціи, встрѣчали въ немъ постоянное недоброжелательство и противодѣйствіе. На эти непріятности находятся еще и нынѣ указанія въ запискахъ его: но онѣ въ изложеніи своемъ смягчены и частію утаены. На дѣлѣ эти непріятности были такъ чувствительны ему, что онъ, вслѣдствіе ихъ, вышелъ въ отставку.

Другимъ поводомъ къ отставкѣ было и то, что Государь, по возвращеніи въ Петербургъ, отмѣнилъ по нѣкоторымъ министерствамъ личные по дѣламъ ему доклады.

Припомнивъ сказанное выше, что Дмитріевъ не былъ въ строгомъ смыслѣ набоженъ, нельзя не признать въ добровольномъ самопожертвованіи авторскаго самолюбія и личнаго честолюбія подвига, который свидѣтельствуетъ объ истинномъ его благодушіи. Здѣсь не христіанское раскаяніе, предписанное церковными законами и всегда достойное почтенія, а чисто и просто человѣческое, истекающее изъ собственнаго побужденія.

Мы уже говорили о независимости его отъ многихъ общепринятыхъ житейскихъ условій. Онъ не покланялся и не жертвовалъ собою свѣтскимъ повинностямъ, когда считалъ ихъ для себя притѣснительными. Онъ не былъ угодникомъ ни привычекъ, ни обычаевъ, ни предубѣжденій въ ходу и въ чести. Здѣсь характеры двухъ друзей совершенно сходятся. Въ томъ и въ другомъ было много самобытности и независимости. Обѣдалъ онъ въ свой часъ, не заботясь о томъ, что это часъ былъ старосвѣтскій. Одѣвался онъ по своему покрою, носилъ платье того цвѣта, какой ему болѣе нравился: у него были и сѣрые, и коричневые, и зеленые фраки,

парики всѣхъ цвѣтовъ, даже иногда цвѣтовъ невозможныхъ, почти фантастическихъ. Строгій классикъ по своимъ литературнымъ вѣрованіямъ, онъ во многомъ былъ самовольный романтикъ.

Въ обществѣ знался онъ съ кѣмъ хотѣлъ, ѣздилъ куда сочувствіе призывало его. Долго былъ онъ постояннымъ членомъ Англійскаго клуба: вдругъ, за что то—на него прогнѣвавшись, отослалъ свой билетъ; вскорѣ послѣ, соскучась, опять записался.

Въ домашнемъ быту былъ онъ причудливъ, какъ бываютъ обыкновенно причудливы перезрѣвшіе холостяки обоего пола. Но онъ былъ оригинально и мило причудливъ. Здѣсь нравы друзей расходятся. Въ Карамзинѣ, въ обычаяхъ, въ пріемахъ его, во всей внѣшности и личности не было ничего своенравнаго, ничего, такъ сказать, анекдотическаго. Вся жизнь его отличалась стройною простотою, спокойствіемъ и равновѣсіемъ. Дмитріевъ былъ физически мнителенъ и боялся всякаго внѣшняго непріятнаго впечатлѣнія. Въ этомъ отношеніи онъ берегъ и нѣжилъ себя. Однажды, въ самый тотъ часъ, какъ готовился обѣдать, вбѣгаетъ къ нему камердинеръ его, намъ всѣмъ сторожиламъ извѣстный, Николашка. Онъ докладываетъ, что пріѣхалъ изъ деревни Иванчинъ-Писаревъ, литтераторъ, котораго Дмитріевъ особенно любилъ. „Да какой страшный, прибавляетъ онъ, весь желтый!“ Дмитріева кольнуло въ сердце. Онъ хотѣлъ было отказать, но пріязнь побѣдила отвращеніе: „проси“, сказалъ онъ. Но тутъ же повязалъ себѣ глаза платкомъ. Такъ и произошло свиданіе послѣ долгой разлуки. Этого мало: разговоръ завязался, и онъ оставилъ его у себя обѣдать:—„только извини меня сказалъ онъ ему—мы будемъ за двумя столиками сидѣть спиною другъ къ другу“.

Этотъ камердинеръ Николашка игралъ не послѣднюю роль въ жизни его. Однажды зашелъ я къ нему въ Петербургѣ утромъ, на другой день пріѣзда его. Послѣ первыхъ привѣтствій, указалъ онъ мнѣ на слугу своего, который, съ видомъ похмѣлья и синими пятнами на лицѣ, стоялъ въ углу. „Рекомендую вамъ, сказалъ онъ мнѣ,—нашего Говарда, любознательнаго посѣтителя и изслѣдователя тюремныхъ заведеній. Вчера только пріѣхали мы, а онъ уже провелъ ночь на съѣзжей. Что прикажите съ нимъ дѣлать? а иногда изъ этихъ пакостныхъ устъ еще вылетаетъ имя Шатобріана“.

Нужно замѣтить, что камердинеръ состоялъ и въ должности библіотекаря. Выучась кое какъ разбирать по складамъ Французскія буквы, онъ могъ приносить ему ту или другую книгу, которая спрашивалась. Дмитріевъ говорилъ однажды о пристрастіи своемъ ко всему молочному. „Это доказываетъ, сказалъ князь Одоевскій, пришедшій къ нему вмѣстѣ со мною, что въ васъ нѣтъ желчи".

„Вотъ онъ одинъ, сказалъ онъ, указывая на Николашку, приводитъ желчь мою въ движеніе, да еще Полевой". Полевой, готовясь тогда къ Исторіи Русскаго народа, пробовалъ силы свои въ „Телеграфѣ", нападая на Исторію Государства Россійскаго.

Въ Москвѣ собирались по вечерамъ у него не только всѣ извѣстные литтераторы но и всякіе. Одинъ изъ нихъ особенно былъ скученъ и тяжелъ съ глазу на глазъ. Когда онъ бывалъ одинъ у него, хозяинъ отъ этой тягости облегчалъ себя, по возможности, хотя наружно сначала скажетъ, что голова болитъ и попроситъ дозволенія снять парикъ и надѣть колпакъ. Потомъ скажетъ, что болитъ поясница и проситъ позволенія прилечь на диванѣ. Онъ называлъ всѣ эти льготы единственнымъ утѣшеніемъ своимъ въ пыткѣ бесѣды съ докучливымъ и слишкомъ усидчивымъ гостемъ.

Въ Москвѣ онъ былъ очень популяренъ, особенно у людей по грамотной части. Къ нему прихаживали всѣ уличные поэты, или шинельные, какъ онъ ихъ называлъ. Онъ благосклонно выслушивалъ ихъ стихи и помогалъ имъ денежными пособіями. Особенно жаловалъ онъ одного Фомина. Сей Фоминъ ходилъ всегда въ черномъ фланелевомъ капотѣ, вѣроятно доставшемся ему, замѣчалъ Дмитріевъ, послѣ траурнаго церемоніала; за недостаткомъ пуговицъ капотъ сверху зашпиленъ былъ булавкою съ какимъ то цвѣтнымъ камешкомъ. Дмитріевъ особенно любовался ею, угадывая, что она подарена была поэту кухаркою или прачкою, которую онъ воспѣлъ.

Дмитріевъ вообще какъ то мало сочувствовалъ драмматическимъ сочиненіямъ, особенно трагедіямъ. Когда молодый трагикъ являлся ему и просилъ позволенія прочесть ему свое произведеніе, онъ, чтобы озадачить его, предлагалъ ему прежде чтенія разсказать планъ своей трагедіи, ходъ и постепенныя развитія сценъ и обозначить вкратцѣ характеристику дѣйствующихъ лицъ. А какъ эта домостроительная часть художественнаго созданія вообще у

многихъ, а въ особенности у Русскихъ дѣятелей, слаба, несчастный авторъ запутывался въ своемъ отчетѣ; онъ не въ силахъ былъ давать отпоръ представляемымъ ему возраженіямъ, и наконецъ радъ былъ вовсе отказаться и отъ чтенія, только съ тѣмъ, чтобы отдѣлаться отъ пристрастныхъ допросовъ своего слѣдователя. Дмитріевъ съ торжествомъ радовался каждый разъ успѣху своей уловки. Припомнимъ здѣсь еще одну забавную литературную сцену, которой кабинетъ Дмитріева былъ свидѣтелемъ и мѣстомъ дѣйствія. Въ это время молодой поэтъ Раичъ сдѣлался извѣстенъ переводомъ Виргиліевыхъ Георгикъ. Тогда же проживалъ въ Москвѣ нѣкто, котораго имя очень сбивалось на имя поэта. Онъ извѣстенъ былъ любовью своею къ Египетскому племени вообще, говоря языкомъ академическимъ, и къ одной Египтянкѣ въ особенности. Тотъ и другой были только по слуху извѣстны Дмитріеву. Эти два лица сочетались въ умѣ его въ одно лицо. Когда кто-то просилъ его о дозволеніи представить ему переводчика, онъ съ большимъ удовольствіемъ принялъ это предложеніе: ему любопытно было узнать лично и ближе человѣка, въ которомъ сочетались поэзія Мантуанскаго лебедя и разгульная поэзія героевъ, нѣкогда воспѣтыхъ Майковымъ. Познакомившись съ нимъ и вглядываясь на него, онъ началъ мало по малу свыкаться съ этою психологическою странностію; онъ находилъ въ смугломъ лицѣ, въ черныхъ глазахъ Раича что то цыганское, оправдывающее сочувствіе и наклонность его. Ему нравились эти противорѣчія и независимость поэта, который не стѣснялъ себя свѣтскими предубѣжденіями и котораго воспріимчивая и сильная натура умѣла совмѣщать въ себѣ и согласовать такія противорѣчія и крайности. Въ третье или четвертое свиданіе захотѣлось ему вызвать Раича на откровенную исповѣдь. Онъ началъ слегка заводить съ нимъ рѣчь о Цыганахъ. Съ сочувствіемъ говорилъ о нихъ. Кто зналъ застѣнчиваго, неловкаго и цѣломудреннаго Раича, тотъ легко представитъ себѣ удивленіе и смущеніе его при подобныхъ намекахъ. Наконецъ дѣло объяснилось.

Дмитріевъ обращался со своими домочадцами милостиво и патріархально, какъ бывало въ старые годы, но былъ съ ними и вспыльчивъ, и скоръ на расправу, какъ бывали патріархи того времени, когда положеніе 19 февраля еще никому въ голову не

приходило. Здѣсь опять совершенное разногласіе въ характерахъ двухъ друзей. Карамзинъ скорбѣлъ о проступкахъ и худомъ поведеніи своей прислуги, но никогда не было у него вспышекъ горячности.

Однажды вечеромъ зашелъ я къ Дмитріеву. Тутъ тоже, по Русскому и патріархальному обычаю, тотчасъ велѣлъ онъ подавать чай. Мы разговорились. Вдругъ послышались за дверью звуки разлетѣвшейся въ дребезги посуды. Онъ продолжалъ разговоръ, но въ голосѣ его уже отзывалось нѣкоторое смущеніе. Наконецъ всталъ онъ, говоря: „извините, князь, но я не могу выдержать“. Онъ вышелъ изъ комнаты, и раздались двѣ звонкія пощечины. Возвратившись, возобновилъ онъ разговоръ, неожиданно прерванный. Послѣ каждой подобной выходки онъ примирялся съ обиженнымъ и въ пользу его самъ возлагалъ на себя денежную пеню за поличное оскорбленіе.

Упоминаю этотъ случай съ точностью и безстрастіемъ, вполнѣ историческими. Знаю, что онъ возбудитъ негодованіе и вызоветъ вопли ужаса у многихъ хулителей старины и глашатаевъ нравственнаго превосходства нынѣшняго времени. Нельзя одобрять ручной управы и еще менѣе жалѣть о ней, если она окончательно вышла изъ домашняго обихода. Но не должно придавать ей особенной важности и признавать въ ней сокрушительной улики на людей стараго поколѣнія. Дурныя привычки, порожденныя внѣшними обстоятельствами, могутъ согласоваться съ благородствомъ духа и другими возвышенными качествами. Хорошія привычки легко прививаются, но не такъ легко усвоиваются доблестныя начала прямодушнаго и благороднаго характера. Не смотря на продѣлки его съ Николашкою, котораго вѣроятно нынѣ называлъ бы онъ Николаемъ, а пожалуй еще и по отчеству, Дмитріевъ не былъ жестокосердымъ бариномъ. Домочадцы любили его: они обращались съ нимъ съ покорностію, можетъ быть и со страхомъ, но и съ любовью, какъ съ главою домашняго семейства. Дмитріевъ, я въ томъ убѣжденъ, привѣтствовалъ бы съ искреннею радостью новое положеніе; но не ручаюсь притомъ, чтобы, при старыхъ привычкахъ его, не доводилось ему иногда имѣть дѣло съ мировымъ судьей. Скажу болѣе, каковъ онъ ни былъ въ своемъ домашнемъ быту,

онъ былъ либералъ въ честномъ и неискаженномъ значеніи этого слова, хотя иногда и клеймилъ умствованія и притязанія заносчивой молодежи шуточнымъ прозваніемъ: *завиральныхъ идей*. Во всемъ этомъ есть противорѣчіе, но въ чемъ и въ комъ его нѣтъ. Вся наша жизнь, вся человѣческая мудрость наталкиваются на противорѣчія. Противорѣчія въ нравахъ и обычаяхъ не мѣшаютъ и дружбѣ. Въ среднихъ слояхъ обыкновенной жизни Карамзинъ и Дмитріевъ были во многихъ отношеніяхъ едва ли не совершенно противоположны другъ другу. Но въ высшихъ, нравственныхъ слояхъ они сходились и стояли на одинаковой высотѣ. Дмитріевъ нѣжно, даже по характеру своему умилительно, любилъ Карамзина. Онъ благоговѣлъ предъ его высокимъ дарованіемъ, предъ его чистою, возвышенною душею. Карамзинъ любилъ и уважалъ въ немъ честность и прямоту правилъ его. Любилъ въ немъ и эти странности и причуды, которыя рѣзкими оттѣнками обозначали его.

Чувствую и жалѣю, что мои бѣглые очерки не дадутъ тѣмъ, которые не знали Дмитріева, полнаго и удовлетворительнаго понятія объ этой замѣчательной и любезной личности. Время наше такъ переиначило, такъ перетасовало вверхъ дномъ всѣ понятія, всѣ значенія и оцѣнки, что трудно, чтобы не сказать невозможно, передать съ вѣрностью сочувствія свои тѣмъ, которые въ свое время съ нами ихъ не раздѣляли. Нетерпимость есть одно изъ отличительныхъ свойствъ нашего времени. Мы не поддаемся ни на какія уступки. Каждый оттѣнокъ, рѣзко выдающійся и не приспособленный къ нашимъ глазамъ, портитъ для насъ всю картину какъ-бы впрочемъ ни была она изящна и жива. Въ этомъ отношеніи наше старое поколѣніе уживчивѣе и богаче настоящаго. Мы отдаемъ справедливость и новому, когда оно хорошо; наслаждаемся тѣмъ, что есть, когда находимъ въ немъ пищу наслажденію; мы любимъ настоящее, но безъ идолопоклонства; вѣруемъ въ будущее, но безъ самонадѣянья; съ любовью помнимъ и старое, хотя и не вмѣщается оно въ заготовленную рамку новыхъ требованій и условнаго размѣра.

Послѣ умилительной проповѣди одного церковнаго пастыря, всѣ слушатели были растроганы до слезъ. Одинъ изъ плакавшихъ спросилъ сосѣда своего: что-же вы не плачете?—да я не здѣшняго

прихода, отвѣчалъ онъ. Боюсь, что и на мои разсказы найдутся многіе, которые скажутъ мнѣ: мы съ вами не одного поколѣнія.

Нечаянно нахожу я въ старыхъ своихъ бумагахъ нѣсколько строкъ написанныхъ мною вслѣдъ за свиданіемъ моимъ съ Дмитріевымъ. Привожу ихъ цѣликомъ и въ томъ видѣ, въ которомъ онѣ, по горячимъ впечатлѣніямъ, написаны мною на скорую руку. Изъ этихъ строкъ можно составить себѣ понятіе о разнообразіи, живости и анекдотической прелести разговора его.

15 іюня 1833 года. Я сегодня обѣдалъ у Дмитріева. Каждые два часа бесѣды съ нимъ могутъ дать матеріаловъ на нѣсколько главъ записокъ. Сегодня между прочимъ говорилъ онъ о какомъ то Беклемишевѣ, жившемъ въ Петербургѣ, въ царствованіе Екатерины, хлѣбосоломъ, къ которому ежедневно сходились многіе обѣдать и въ числѣ ихъ Дмитріевъ, тогда еще гвардіи сержантъ. Мать Дмитріева была дружна съ женою его. Беклемишевъ ходилъ всегда въ гродетуровомъ кафтанѣ одного цвѣта съ прочими частями одежды. По возвращеніи отъ должности уже находилъ онъ у себя накрытымъ длинный обѣденный столъ: подавали закуску и отъ закуски до обѣда занимался онъ переводами. Къ обѣденному часу съѣзжались обыкновенно камергеръ Валуевъ, Польскій посланникъ Деболи, влюбленный въ дочь Беклемишева, красавицу, и другіе гости. Когда Дмитріевъ пріѣхалъ въ Петербургъ министромъ юстиціи, получаетъ онъ письмо отъ Беклемишевой вдовы, которая проситъ у него сто рублей на погребеніе этой дочери. Сто рублей даны, а на другой день онъ подаетъ Государю докладную записку о вспомоществованіи матери, лишившейся дочери своей, бывшей красавицы. Та что всегда облизывалась, говоритъ Государь и приказываетъ выдать 500 р. Во время коронаціи Императора Николая, Князь Лопухинъ спрашиваетъ Дмитріева: а помнишь ли, какъ ты прихаживалъ ко мнѣ съ тетрадкою перевода въ рукѣ? Лопухинъ былъ тогда Петербургскимъ полиціймейстеромъ, а вслѣдствіе того и цензоромъ. Бывало—говоритъ онъ—только что прочтешь кое какъ рукопись и подпишешь разрѣшеніе къ напечатанію, не опасаясь никакой отвѣтственности: а теперь что за важная должность цензора—тутъ описываетъ Дмитріевъ аудіенцію Лопухина: частные пристава подходятъ къ нему одинъ за другимъ: у каждаго своя

добыча: одинъ ведетъ женщину, у которой глазъ подбитъ; другой — двухъ купчиковъ — какъ теперь вижу ихъ говоритъ онъ: въ халатахъ, бѣлокурые волоса распущены по плечамъ, они пойманы въ чужомъ саду, куда перелѣзли чрезъ заборъ. Лопухинъ слушаетъ доклады и, прищуриваясь, даетъ рѣшеніе свое. Между тѣмъ я стою въ углу и ожидаю своей очереди. А между тѣмъ сегодня разсказываетъ онъ мнѣ съ живостью и олицетвореніемъ сцену происходившую за полвѣка. Лопухинъ былъ цензоръ снисходительный: онъ знакомъ былъ съ философіей 18 вѣка. Въ письмахъ его къ отцу моему, князю Андрею Ивановичу, встрѣчаются нерѣдко цитаты изъ Дидерота и другихъ писателей.

Одинъ литераторъ обѣдалъ у него въ Москвѣ и во весь обѣдъ разсказывалъ анекдоты о своемъ пріятелѣ и товарищѣ по литературѣ, анекдоты не весьма благовидные, и послѣ каждаго прибавлялъ: да вы не подумайте, что онъ подлецъ, совсѣмъ нѣтъ, а уродъ сумасшедшій — да не подумайте, что онъ злой человѣкъ, напротивъ, предобрая душа, а уродъ и пр. и проч. все въ такомъ-же смыслѣ.

Что дѣлаетъ въ Москвѣ Александръ Ивановичъ Салтыковъ? Все вздыхаетъ о измѣненіяхъ Французскаго языка.

Салтыковъ былъ человѣкъ очень образованный, честный и благородный. Образованіе его было чисто Французское по классическимъ преданіямъ и образцамъ, онъ не могъ привыкнуть къ неологизмамъ новѣйшей школы: съ ужасомъ выписывалъ ихъ изъ журналовъ и новыхъ книгъ, и развозилъ ихъ по Московскимъ дамамъ, прихожанкамъ одного съ нимъ класическаго прихода.

Здѣсь къ сожалѣнію прекращаются мои замѣтки; но можно видѣть и изъ нихъ, какъ былъ разнообразенъ и животрепещущъ разговоръ его. Онъ переносилъ васъ въ другой міръ, въ другой вѣкъ и дѣлалъ васъ современникомъ, зрителемъ и почти участникомъ того вѣка, а между тѣмъ теперь и разсказы мои о самомъ Дмитріевѣ переносятъ насъ въ какую то глубокую даль.

XCII.

РѢЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРИ ОТКРЫТІИ ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ИСТОРИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, ВЪ ПРИСУТСТВІИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ЦЕСАРЕВИЧА И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, НЫНѢ БЛАГОПОЛУЧНО ЦАРСТВУЮЩАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

1867

Позвольте имѣть честь принести отъ имени историческаго общества и, смѣю сказать, отъ имени всей Русской литтературы и науки глубочайшую признательность Вашему Императорскому Высочеству за милостивое принятіе вами званія почетнаго предсѣдателя нашего общества. Благодаримъ васъ и за честь, оказанную обществу присутствіемъ и участіемъ Вашимъ въ нынѣшнее засѣданіе. Надѣемся, что, съ легкой и благосклонной руки Вашей, труды наши принесутъ желаемую пользу. Ваше высокое вниманіе будетъ служить намъ поощреніемъ. Вниманіе Ваше намъ драгоцѣнно и лестно, но оно и легко объясняется. Отечественная исторія намъ всѣмъ родная, но для Вашего Высочества она имѣетъ еще прелесть и назиданіе семейной хроники. Мы всѣ — дѣти великихъ царствованій Екатерины II-й, Александра I-го, Николая I-го. Но Вы ихъ прямой и законный наслѣдникъ. Вамъ преимущественно предстоитъ священная обязанность, великая, но и трудная задача внести въ свою очередь, съ честью и пользою имя Ваше въ сію семейную царственную хронику и передать память о себѣ народнымъ скрижалямъ. Теперь, вмѣстѣ съ Вашимъ Высочествомъ, мы съ любовью и благотовѣніемъ отъискиваемъ сохранившіеся, но мало извѣстные

слѣды минувшихъ государственныхъ событій, слѣды именитыхъ дѣятелей, которые въ нихъ участвовали, и славными личностями своими, такъ сказать, олицетворили замѣчательныя историческія эпохи. Будущіе члены и труженики нашего общества, которому дай Богъ долголѣтія на Русской землѣ, съ такою же любовью и признательностью отъищутъ въ свое время и участіе благодушной, плодотворной дѣятельности Вашей на поприщѣ просвѣщенія, преуспѣнія и славы любезной намъ Россіи. Мы всѣ только временные члены сего историческаго общества; но Ваше Императорское Высочество, вы одни навсегда принадлежите ему: пынѣ Вашимъ милостивымъ благоволеніемъ, позднѣе дѣлами, которыя сохранятся въ памяти народной, и будутъ возстановлены трудами исторіи и науки.

Карамзинъ, въ посвященіи историческаго творенія своего императору Александру, сказалъ: „Исторія народа принадлежитъ царю“. Либералы того времени осуждали эти слова и видѣли въ нихъ выраженіе раболѣпства. Взглядъ ихъ былъ ошибоченъ и буквально близорукъ. Они не понимали ни Александра, ни Карамзина. Разумѣется, мысль писателя заключалась не въ томъ, что исторія есть, такъ сказать, казенная собственность царей, изъ которой могутъ они сдѣлать все, что имъ угодно. Карамзинъ видимымъ образомъ говорилъ, что исторія народа есть нераздѣльная принадлежность царскаго званія, т. е. что цари должны преимущественно предъ прочими изучать минувшую исторію своего народа, чтобъ въ настоящей и будущей занять почетное и незабвенное мѣсто.

XCIII.

ЗАМѢТКА ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ.

1867

Марія Ивановна Римская-Корсакова должна имѣть почетное мѣсто въ преданіяхъ хлѣбосольной и гостепріимной Москвы. Она жила, что называется, открытымъ домомъ, давала часто обѣды, вечера, балы, маскарады, разныя увеселенія, зимою санныя катанья за городомъ, импровизированные завтраки, на которыхъ сенаторъ Башиловъ, другъ дома, въ качествѣ ресторатора, съ колпакомъ на головѣ и въ фартукѣ, угощалъ по картѣ, блюдами, имъ самимъ изготовленными, и должно отдать справедливость памяти его, съ большимъ кухоннымъ искусствомъ. Красавицы-дочери ея, и особенно одна изъ нихъ, намеками воспѣтая Пушкинымъ въ Онѣгинѣ, были душою и прелестью этихъ собраній. Сама Марія Ивановна была типъ Московской барыни въ хорошемъ и лучшемъ значеніи этого слова. Въ ней отзывались и Русскія преданія Екатерининскихъ временъ и выражались понятія и обычаи новаго общежитія. Въ старыхъ, очень старыхъ, воспоминаніяхъ Москвы долго хранилась молва о мастерской игрѣ ея въ ролѣ Еремѣевны въ комедіи Фонъ-Визина, которую любители играли гдѣ то на домашнемъ театрѣ. Позднѣе мама Митрофанушки любовалась въ Парижѣ игрою m-elle Mars. Всѣ эти разнородныя впечатлѣнія, старый вѣкъ и новый вѣкъ, сливались въ ней въ разнообразной стройности и придавали личности ея особенное и привлекательное значеніе. Сынъ ея, Григорій Александровичъ, былъ замѣчательный человѣкъ по многимъ нравственнымъ качествамъ и по благородству характера. Знавшіе его

коротко и пользовавшіеся дружбою его (въ числѣ ихъ можно именовать Тучкова, бывшаго послѣ Московскимъ генералъ-губернаторомъ) искренно оплакали преждевременную кончину его. Онъ тоже въ своемъ родѣ былъ Русскій и особенно Московскій типъ, отличающійся оттѣнками, которые вынесъ онъ изъ довольно долгаго пребыванія своего въ Парижѣ и въ Италіи, Многіе годы, особенно между предшествовавшими 30-му году и вскорѣ за нимъ слѣдовавшими, былъ онъ на виду у Московскаго общества. Всѣ знали его, вездѣ его встрѣчали. Тогда еще не существовало общественнаго званія: свѣтскаго льва. Но по нынѣшнимъ понятіямъ и по новѣйшей табели о рангахъ, можно сказать, что онъ былъ однимъ изъ первозванныхъ Московскихъ львовъ. Видный собою мущина, рослый, плечистый, съ частымъ подергиваніемъ плеча, онъ, уже и по этимъ наружнымъ и физическимъ отмѣткамъ, былъ на примѣтѣ вездѣ, куда ни являлся. Умственная физіономія его была также рѣзко очерчена. Онъ былъ задорный, ярый спорщикъ, нѣсколько властолюбивый въ обращеніи и мнѣніяхъ своихъ. Въ Англійскомъ клубѣ часто раздавался его сильный и повелительный голосъ. Старшины побаивались его. Взыскательный гастрономъ, онъ не спускалъ имъ, когда за обѣдомъ подавали худо изготовленное блюдо, или вино, которое достоинствомъ не отвѣчало цѣнѣ ему назначенной. Помню забавный случай. Вечеромъ въ газетную комнату вбѣжалъ съ тарелкою въ рукѣ одинъ изъ старшинъ и представилъ на судъ Ив. Ив. Дмитріева котлету, которую Корсаковъ опорочивалъ. Можно представить себѣ удивленіе Дмитріева, когда былъ призванъ онъ на третейскій судъ по этому вопросу и общій смѣхъ насъ, зрителей этой комической сцены. Особенно памятна мнѣ одна зима или двѣ, когда не было бала въ Москвѣ, на который не приглашали бы его и меня. Послѣ присталъ къ намъ и Пушкинъ. Знакомые и незнакомые зазывали насъ и въ Нѣмецкую Слободу и въ Замоскворѣчье. Нашъ тріумвиратъ въ отношеніи къ баламъ отслуживалъ службу свою, на подобіе бригадировъ и кавалеровъ св. Анны, непремѣнныхъ почетныхъ гостей, безъ коихъ обойтиться не могла ни одна купеческая свадьба, ни одинъ именинный купеческій обѣдъ. Скажу о себѣ безъ особеннаго самолюбія и честолюбія, но и не безъ чувства благодарности, что репутація моя по сей части была безпрекословно и подачею

общихъ голосовъ утверждена. Вотъ этому доказательство. На одномъ балѣ, не помню по какому случаю устроенномъ въ Благородномъ Собраніи, одинъ изъ старшинъ, именемъ собратій своихъ, просилъ меня руководствовать или скорѣе *ноговодствовать* танцами, прибавляя безъ всякаго лукаваго и насмѣшливаго умысла: „мы всѣ на васъ надѣемся: вѣдь вы наша примадонна“.

Чистосердечіе и смиреніе вынуждаютъ меня сознаться, что тогда было насъ три примадонны.

Заключимъ еще однимъ воспоминаніемъ о Корсаковѣ. Это уже по части литературной. Корсаковъ вызвалъ на поединокъ князя Шаликова. Сей послѣдній, въ Дамскомъ Журналѣ, или въ Московскихъ Вѣдомостяхъ, въ точности не упомню, зацѣпилъ личность его намеками, впрочемъ довольно явственными. Ссора, съ помощью миротворцевъ, была улажена безъ дальнѣйшаго кровопролитія.

Дѣла давно минувшихъ лѣтъ,
Преданья старины глубокой!

Воспоминая васъ, какъ удержаться отъ добродушной улыбки и отъ невольнаго грустнаго вздоха? Улыбка тому что было, вздохъ тѣмъ, которыхъ уже нѣтъ.

XCIV.

КНЯЗЬ ВАСИЛІЙ АНДРЕЕВИЧЪ ДОЛГОРУКОВЪ.

1868.

Вѣсть о смерти знакомаго намъ человѣка всегда имѣетъ для насъ что-то разительное и какъ-будто что-то неожиданное и необычайное. Человѣкъ болѣе или менѣе готовъ ко всякому событію, которое можетъ постигнуть его. Онъ смолоду свыкается съ мыслью, что жизнь подвергнута разнымъ измѣненіямъ, превратностямъ и ударамъ. Но съ мыслью объ измѣненіи самомъ неизбѣжномъ, но съ мыслью о смерти смертный свыкнуться не можетъ. Особенно вѣсть о скоропостижной смерти поражаетъ насъ, какъ ударъ грома, разразившійся съ неба безоблачнаго и совершенно яснаго. А между тѣмъ сей громъ и въ свѣтлый день, и въ пасмурный всегда таится надъ каждымъ изъ насъ. Вчера видѣли мы человѣка въ полнотѣ жизни, силы, дѣятельности. Сегодня думаемъ съ нимъ встрѣтиться снова: и съ первымъ шагомъ на томъ мѣстѣ, гдѣ мы полагали съ нимъ сойдтись, узнаемъ, что его уже нѣтъ, что онъ уже не нашъ, что мы не его, что всѣ земныя сношенія съ нимъ навсегда прекратились, что оборвалась та нить, которая казалась намъ надежною и крѣпкою связью. Тутъ какъ-будто въ первый разъ догадываемся и постигаемъ, что на землѣ жизнь есть случайность, явленіе скоропреходящее, а что смерть одна есть законная и неизмѣнная принадлежность всего земнаго.

Такое глубоко потрясающее впечатлѣніе встрѣтило съѣхавшихся во Дворецъ къ слушанію литургіи въ день Богоявленія Господня. Тутъ разнеслось извѣстіе, что въ ночь скоропостижно скончался князь Василій Андреевичъ Долгоруковъ. Изумленіе и скорбь были всеобщія. Князь принадлежалъ къ малому числу избранныхъ, которые умѣли снискать и заслужить любовь и уваженіе всѣхъ знавшихъ его. А знали его всѣ. Кто по личнымъ и коротким сношеніямъ съ нимъ, кто по служебнымъ и оффиціальнымъ, кто по общей молвѣ, которая можетъ временно ошибаться въ частностяхъ и скорыхъ своихъ оцѣнкахъ людей и событій, но которой окончательный приговоръ всегда утверждается на судѣ безпристрастномъ и правомъ. Человѣка болѣе благороднаго, болѣе честнаго и благонамѣреннаго найдти было невозможно. Въ этомъ отношеніи смерть его есть утрата общественная и государственная. Въ послѣдніе годы, послѣ долголѣтней дѣятельности въ высшихъ слояхъ управленія, онъ уже не занималъ мѣста, связаннаго съ непрерывными занятіями на высотахъ государственнаго поприща. Но самое присутствіе его въ обществѣ, въ государственномъ совѣтѣ, особенно при лицѣ Государя, который отличалъ его испытанною на дѣлѣ и высокою довѣренностію и, можно сказать, сердечною пріязнью, все это придавало личности и жизни его особенное и благотворное значеніе. Нравственное вліяніе человѣка благодушнаго не всегда можетъ быть исчислено и измѣрено видимыми послѣдствіями и, такъ сказать, приведено въ наличный итогъ. Но не менѣе того какимъ-то внутреннимъ и вѣрнымъ сознаніемъ оно чувствуется и зарождаетъ въ душѣ успокоительное и отрадное впечатлѣніе. Присутствіе подобныхъ людей при Дворѣ есть благое знаменіе, по которому и со стороны можно угадывать состояніе господствующей атмосферы.

Этому знаменію вѣруешь и радуешься.

О заслугахъ государственныхъ дѣятелей современники не всегда вѣрные судьи: именно потому, что они смотрятъ на нихъ вблизи. Судъ надъ ними для безошибочности своей трубуетъ нѣкоторой отдаленности отъ мѣста дѣйствія, требуетъ совершенія нѣсколькихъ законныхъ давностей, которыя переходятъ въ область исторіи и потомства. Этотъ судъ похожъ на судъ присяжныхъ, которые

съ мѣста преній и битвы удаляются въ особое отдѣленіе: тамъ, сосредоточившись въ тишинѣ совѣсти, они произносятъ свой окончательный и рѣшительный приговоръ. Современные приговоры часто сбиваются на неосновательные слухи, на догадки, на пристрастныя предубѣжденія, которые приводили къ ошибочнымъ заключеніямъ.

Оффиціальная государственная жизнь князя Долгорукова не подлежитъ, въ этой статьѣ, ни нашей повѣркѣ, ни нашему суду. Мы до нея только мимоходомъ и коснемся. Но въ каждомъ оффиціальномъ лицѣ есть еще другое лицо—самобытное, такъ сказать, перворожденное. Это послѣднее проглядываетъ сквозь внѣшнюю оффиціальную обстановку. О немъ съ полнымъ правомъ могутъ судить современники. Ихъ сужденіемъ пополняется и олицетворяется тотъ образъ, который позднѣе выставляется предъ глаза исторіи.

Въ князѣ Долгорукомъ доступъ къ человѣку, вооруженному властью, былъ всегда облегчаемъ вѣжливыми и доброжелательными пріемами человѣка частнаго. Въ этомъ отношеніи отзывы подчиненныхъ и сослуживцевъ его и всѣхъ тѣхъ, которые къ нему прибѣгали, сливаются въ одинъ голосъ уваженія, признательности и преданности. Самое сочувствіе и почести, оказанныя отшедшему, служатъ тому убѣдительнымъ доказательствомъ. Бывшіе его въ разныя времена адъютанты добровольно и по взаимному сердечному влеченію чередовались день и ночь при гробѣ его въ эти послѣдніе дни. Онъ былъ ко всѣмъ внимателенъ, предупредителенъ и вѣжливъ. Учтивость его возрастала вмѣстѣ съ постепеннымъ возвышеніемъ его положенія. Вѣжливость его была не изъ тѣхъ, которыя бьютъ свысока, обрызгиваютъ холодомъ, и отъ которой, или, вѣрнѣе, подъ которой бываетъ неловко и досадно. Его вѣжливость носила на себѣ печать обязанности, которую онъ возлагалъ на себя—именно потому, что онъ былъ выше многихъ: вмѣстѣ съ тѣмъ отзывалась она свѣжимъ изліяніемъ доброжелательства, котораго источникъ былъ въ душѣ его. Какое-то внѣшнее, ненарушимое спокойствіе, какая-то безоблачная, улыбчивая ясность на лицѣ, въ движеніяхъ, въ рѣчи были примѣтами и неизмѣнными свойствами его. Не знавшіе его коротко могли признать ихъ вывѣсками равнодушія; но находившіеся съ нимъ въ ближайшихъ сношеніяхъ

знали, что онъ не былъ холоднымъ эгоистомъ. Природныя наклонности, складъ ума, можетъ быть обстоятельства жизни, не совсѣмъ намъ извѣстныя, пріучили его къ нѣкоторой сдержанности, къ какому-то стройному, невозмутимому спокойствію, къ строгому уравновѣшиванію всѣхъ внѣшнихъ выраженій его нравственнаго бытія: все это обратилось въ привычку и образовало характеръ его. Онъ всегда спокойно выслушивалъ и спокойно отвѣчалъ — даже, когда противорѣчилъ. Самая мягкость голоса его, и плавность, и стройность рѣчи его имѣли въ себѣ что-то примирительное. Можно угадывать и угадывать навѣрно, что свойство *примирительности* было особенною принадлежностію убѣжденій его, правилъ и дѣйствій. Эта благозвучная струна отзывалась въ немъ какъ въ жизни частной, такъ и общественной. Онъ не увлекался противоположными крайностями вопросовъ, подлежащихъ сужденію и совѣщанію его. Онъ искалъ въ противоположныхъ мнѣніяхъ и вопросахъ точки ихъ сближенія и соприкосновенія, и отъ нихъ уже шелъ онъ къ предназначенной цѣли. Какъ другіе ищутъ пререканій и спора, онъ искалъ согласія и умиротворенія. И тутъ стройное направленіе способностей его изыскивало равновѣсія требованій и разрѣшенія ихъ. Онъ чувствовалъ, онъ былъ убѣжденъ въ томъ, что въ стройномъ равновѣсіи нѣтъ мѣста враждебнымъ столкновеніямъ и произволу страстей. Есть времена, когда многіе щекотливые и жгучіе вопросы на очереди Сіи вопросы неминуемо рождаютъ противорѣчіе и раздражительность мнѣній и страстныхъ увлеченій. Въ эти времена то, что мы назвали бы *„пассивныя силы“*, нужно и благодѣтельно. Съ перваго взгляда не подглядишь ихъ внутренняго дѣйствія; но оно есть, и какъ всякое благое начало, отзывается въ послѣдствіяхъ. Даже и, тогда, когда побѣда остается не за ними, все же участіе ихъ въ разработкѣ вопросовъ приноситъ свою пользу. Кажется, князь Долгоруковъ былъ чистѣйшее и лучшее выраженіе подобныхъ силъ. Впрочемъ, пассивная натура его не мѣшала ему, особенно въ отношеніи къ себѣ и къ положенію своему, дѣйствовать въ данную минуту съ твердостію и рѣшимостью. Есть тому извѣстные примѣры. И въ этихъ случаяхъ побужденіемъ служили ему не суетные разсчеты, личности, но глубокая добросовѣстность, возвышенное смиреніе и безкорыстіе, достигавшее до самоотверженія. Князь

былъ самый строгій исполнитель всѣхъ своихъ обязанностей, хотѣлось бы сказать—до мелочей, если бы каждая обязанность не имѣла своей доли важности въ глазахъ честнаго и добросовѣстнаго человѣка и тѣмъ самымъ не была бы обязатсльна. Въ другомъ такая строгость, можно было бы сказать, доходила до педантизма: въ немъ, должно сказать, доходила она до рыцарства. Святое слово, святое значеніе „долгъ", въ какомъ бы видѣ оно ни выражалось, было для него руководствомъ, совѣстью и закономъ. Долгъ былъ для него высокое и честное знамя, которому онъ во всю жизнь свою служилъ вѣрой и правдой. Съ этимъ безусловнымъ подчиненіемъ долгу имѣлъ онъ еще способность и любить его.

Вѣрноподданническія чувства его озарены были и согрѣты теплою, независимою любовью. Здѣсь можно сказать, что сердце сердцу вѣсть подавало. Самая любовь его ничего не имѣла суетливаго. Онъ и при Дворѣ, во главѣ царедворцевъ, былъ также стройно спокоенъ, какъ въ отношеніяхъ съ равными себѣ, какъ у себя дома. Ничего не старался онъ выказывать; ничего не искалъ и ни въ чемъ и ни при комъ не было у него ни задней мысли, ни себялюбивой цѣли.

Онъ былъ нѣжнымъ, примѣрнымъ родственникомъ, вѣрнымъ пріятелемъ, любезнымъ собесѣдникомъ. При всей его безстрастной и пластической постановкѣ, казалось, чуждой всякой впечатлительности, въ немъ не было ни сухости, ни холодности.

По роду службы, которая нѣкогда была на него возложена, онъ зналъ темныя стороны многаго и многихъ: но это печальное всевѣдѣніе не озлобило и не заволокло его чистой и мягкосердечной натуры. Онъ все еще вѣрилъ въ добро и не отчаявался въ средствахъ осуществить его. При этомъ должно замѣтить, что никогда неосторожное, не только не доброжелательное, слово, никогда двусмысленный намекъ ни на какое лицо не выдавали тайны, которая въ груди и памяти его была неприкосновенно застрахована. Умъ его былъ, можетъ быть, и памятливъ; но въ отношеніи къ злу сердце его было забывчиво. Могъ ли онъ имѣть враговъ, то есть недоброжелателей? Не думаю. Завистниковъ? И того нѣтъ. Тѣмъ же спокойствіемъ и тѣмъ же благодушіемъ, которыя отличали его, онъ долженъ былъ обезоруживать и всякую мнительную

зависть. Онъ никому не перегораживалъ дороги, ни на какую чужую дорогу не кидался, никого перегонять не хотѣлъ.

Человѣкъ вполнѣ служебный и свѣтскій, онъ доступенъ былъ всѣмъ свѣжимъ и молодымъ впечатлѣніямъ жизни. Онъ любилъ природу и способенъ былъ любоваться красотами ея. Я бывалъ съ нимъ лѣтомъ за-городомъ и на южномъ берегу Крыма и всегда съ сочувствіемъ замѣчалъ, что многотрудная служба, недавнія заботы и, вѣроятно, неразлучныя съ ними, часто тяжкія, испытанія, оставили въ немъ еще много простора и свободы для тихихъ и созерцательныхъ наслажденій. Онъ любилъ заниматься, много читалъ, постоянно и внимательно слѣдилъ за движеніями Русской литтературы. Онъ велъ обширную переписку на Русскомъ и Французскомъ языкахъ, на которыхъ равно правильно изъяснялся. По разнообразію служебныхъ его обязанностей, по отношеніямъ къ разнымъ лицамъ въ разныя времена, переписка его можетъ со временемъ служить богатымъ и вѣрнымъ матеріаломъ для исторіи. Въ самомъ разгарѣ дѣятельности и дѣлъ онъ никогда не казался ими обремененнымъ. Со стороны нельзя было и догадаться, что за тяжкая ноша лежитъ на плечахъ его. Какъ графъ Канкринъ, при всей своей обширной дѣятельности, находилъ время читать романы и играть на скрипкѣ, такъ князь Долгоруковъ находилъ время быть въ обществѣ и не отрекался отъ свѣтскихъ удовольствій. Всею жизнью его правилъ точный и неизмѣнный порядокъ. Время его было математически измѣрено. Все это облегчало ему занятія и давало средства и силу съ ними справляться.

До конца жизни ничто не было ему ни чуждо, ни постыло. Ни въ чемъ не зналъ онъ ни алчности, ни пресыщенія. Онъ вполнѣ любилъ жизнь и умѣлъ ею пользоваться и наслаждаться. Жизнь — во всемъ, что́ есть въ ней благопривѣтливаго, ласковаго и чистаго — такъ была въ немъ воплощена, что при немъ мысль о смерти, мысль о разрушеніи этой стройной и ясной полноты къ нему и прикоснуться не смѣла и не могла. Никакіе тусклые и зловѣщіе признаки старости не отражались на немъ. Казалось, что онъ долженъ пережить своихъ сверстниковъ и многихъ младшихъ. А смерть уже близко и настойчиво къ нему приступала. Въ день

кончины своей онъ провелъ день, какъ обыкновенно, хотя чувствовалъ себя не совершенно здоровымъ. Многіе видѣли его, и никто изъ нихъ не могъ помыслить, что видитъ его въ послѣдній разъ. Вечеромъ отправился онъ во Дворецъ къ слушанію всенощной, но долженъ былъ возвратиться домой, ощущая нѣкоторое стѣсненіе въ груди. Дома читалъ онъ газеты. За нѣсколько часовъ до смерти, написалъ онъ своимъ красивымъ и стройнымъ почеркомъ, стройнымъ какъ вся внутренняя и внѣшняя жизнь его, записку къ генералъ-адъютанту Тимашеву, въ которой просилъ его о благосклонномъ вниманіи къ одному чиновнику. Позднѣе сдѣлалось ему хуже, и конецъ его былъ такъ неожиданъ и скоропостиженъ, что ни врачи, ни родные, ни пріятели его не могли поспѣть вовремя. Время, это слово было для него уже чуждое и неумѣстное: оно непримѣтно для него самого и для другихъ слилось со словомъ: вѣчность.

Въ настоящей статьѣ своей не имѣли мы, разумѣется, ни времени, ни повода, ни даже права опредѣлить полную характеристику князя Долгорукова и собрать біографическіе матеріалы для будущаго историка нашего времени. А князь вполнѣ ему принадлежитъ. Служебная дѣятельность его въ теченіе трехъ царствованій заранѣе вписала его въ число дѣйствовавшихъ лицъ.

Мы только хотѣли выразить собственныя свои чувства и впечатлѣнія, и вмѣстѣ съ тѣмъ быть отголоскомъ отзывовъ и сужденій, которые всюду слышатся: они могутъ быть лучшимъ прощальнымъ и надгробнымъ словомъ тому, о комъ единодушно всѣ жалѣютъ, кого всѣ сердечно и сознательно оплакиваютъ.

Наканунѣ наступившаго года отборное и многолюдное общество провожало у него на балѣ старый годъ и встрѣчало новорожденный. Всѣмъ было пріятно и радостно быть на этихъ проводахъ и на этой встрѣчѣ у радушнаго и вѣжливаго хозяина. Онъ намѣревался въ теченіе зимы еще не одинъ разъ собирать у себя гостей, всегда готовыхъ являться на дружескій призывъ его. Вечеромъ 6-го января почти тоже общество собралось въ томъ же домѣ, въ которомъ за нѣсколько дней оно веселилось и праздновало. Но это общество, смущенное и печальное, собралось въ этотъ день, чтобы отдать послѣдній братскій, христіанскій долгъ хозяину,

уже въ послѣдній разъ гостепріимному. Гробъ его стоялъ въ бальной залѣ и живо и язвительно напоминалъ стихи Державина:

„Гдѣ столъ былъ яствъ, тамъ гробъ стоитъ;
. . . . . .
. . . . . .
И блѣдна смерть на всѣхъ глядитъ!..“

XCV.

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ О ПОЛЕВОМЪ И БѢЛИНСКОМЪ.

1868

Наша литтература, или письменная дѣятельность, представляетъ иногда явленія, которымъ подобныхъ не найдешь ни въ какой литтературѣ. Статья: *о Полевомъ и Бѣлинскомъ*, напечатанная въ „Русскомъ„ навела меня на эту мысль или, вѣрнѣе сказать, пробудила во мнѣ мысль, которая давно во мнѣ зародилась. Въ другихъ литтературахъ толкуютъ о книгахъ, о содержаніи, о направленіи ихъ, а у насъ толкуютъ о заглавіяхъ. Карамзинъ озаглавилъ трудъ свой *Исторія Государства Россійскаго* Полевой озаглавилъ свою книгу *Исторія Русскаго Народа.* И на этомъ различіи названій досужіе люди и даже ученые основываютъ совершенное различіе ученій и находятъ многознаменательнымъ названіе, данное Полевымъ. Развѣ исторія государства не есть исторія народа, а исторія народа не есть вмѣстѣ съ тѣмъ и исторія государства? Если шла-бы рѣчь о какой-нибудь маленькой древней республикѣ — пожалуй, можно-бы еще принять въ соображеніе, болѣе или менѣе, приличія того и другого названія. Но и тутъ правильнѣе было-бы сказать: исторія такой-то республики. Заглавіе *Исторія Русскаго Народа* ни въ какомъ случаѣ правильнымъ быть признано не можетъ. Народъ, въ совокупности своей, не всегда является главнымъ и постояннымъ дѣятелемъ. Государство, т.-е. государственная дѣятельность, всегда на лицо, а народъ какъ дѣйствующее лицо, остается часто

въ сторонѣ. Да и въ самыхъ событіяхъ, въ которыхъ наиболѣе выдвигается впередъ народная стихія, все же эти событія олицетворяются отдѣльными личностями, какъ, напримѣръ, у насъ имена Пожарскаго и Минина. Разумѣется, исторія не должна ограничиваться монографіями царственныхъ лицъ, полководцевъ, министровъ, и т. д. Въ ней должны сосредоточиваться всѣ народныя силы, вся народная дѣятельность, но все-же разсматриваться онѣ должны съ общей, а не отдѣльной, точки зрѣнія.

XCVI.

ВОСПОМИНАНІЕ О БУЛГАКОВЫХЪ.

1868.

Александръ Яковлевичъ Булгаковъ, хотя собственно и не принадлежалъ ни *Арзамасу*, ни литературной дѣятельности нашей, былъ не менѣе того общимъ нашимъ пріятелемъ, то-есть Жуковскому, Тургеневу, Дашкову, мнѣ и другимъ. Онъ былъ, такъ сказать, членомъ-корреспондентомъ нашего кружка. Въ печати извѣстенъ онъ нѣкоторыми статьями, болѣе біографическими и полуили бѣгло-историческими: но въ немъ, при хорошемъ образованіи и любви къ чтенію, не было ни призванія литературнаго, ни авторскаго дарованія. Впрочемъ, что касается до нѣкоторыхъ его печатныхъ статей, то и тутъ надобно сдѣлать оговорку. Дружба дружбой, а правда правдой. Онъ не всегда держался правила „не мудрствовать лукаво,“ увлекался своимъ воображеніемъ и живостью впечатлѣній и сочувствій. Помню, между прочимъ, статью его, гдѣ-то напечатанную, въ которой онъ будто записалъ слова Карамзина, сказанныя въ кабинетѣ графа Ростопчина за нѣсколько дней до вступленія Французовъ въ Москву. Сущность разсказа, вѣроятно, отчасти и справедлива, но много придалъ онъ Карамзину и своего собственнаго витійства. Карамзинъ ни до войны 1812 года, ни при началѣ ея, не былъ за войну. Онъ полагалъ, что мы недостаточно для нея приготовлены: опасался ея послѣдствій, при настойчивости, властолюбіи, военныхъ дарованіяхъ и счастьи Наполеона. Онъ зналъ, что Наполеонъ поведетъ на насъ

всю Европу, и что она отъ него не отстанетъ, покуда онъ будетъ въ силѣ и счастіи. Онъ былъ того мнѣнія, что нѣкоторыми дипломатическими уступками можно и должно стараться отвратить, хотя на время наступающую грозу. Патріотизмъ его былъ не патріотизмомъ запальчивыхъ газетчиковъ: патріотизмъ его имѣлъ охранительныя свойства историка.

Собственно литература Булгакова была обширная его переписка. Въ этомъ отношеніи, онъ, по-истинѣ, былъ писатель и писатель плодовитый и замѣчательный. Вольтеръ оставилъ по себѣ многіе томы писемъ своихъ: они занимаютъ не послѣднее мѣсто въ авторской дѣятельности и славѣ его; они пережили многія его трагедіи и другія произведенія. Разумѣется, не сравнивая одного съ другимъ, можно предполагать, что едва-ли не столько-же томовъ писемъ можно было-бы собрать и послѣ Булгакова. Нѣтъ сомнѣнія, что и они, собранныя во едино, могли-бы послужить историческимъ или, по-крайней-мѣрѣ, общежительнымъ справочнымъ словаремъ для изученія современной ему эпохи, или, правильнѣе, современныхъ эпохъ, ибо, по долголѣтію своему, пережилъ онъ многія. Кромѣ насъ, выше поименованныхъ, былъ онъ въ постоянной перепискѣ со многими лицами, занимавшими болѣе или менѣе почетныя мѣста въ нашей государственной и оффиціальной средѣ. Назовемъ, между прочими, графа Ростопчина, князя Михаила Семеновича Воронцова, графа Закревскаго. Вѣроятно, можно было-бы причислить къ нимъ и Дмитрія Павловича Татищева, графа Несельроде, графа Каподистрію и другихъ. Но важнѣйшее мѣсто въ этой перепискѣ должна, безъ сомнѣнія, занимать переписка съ братомъ его Константиномъ Яковлевичемъ. Она постоянно продолжалась въ теченіе многихъ лѣтъ. Оба брата долго были почтъ-директорами, одинъ въ Петербургѣ, другой въ Москвѣ. Слѣдовательно, могли они переписываться откровенно, не опасаясь нескромной зоркости посторонняго глаза. Весь бытъ, все движеніе государственное и общежительное, событія и слухи, дѣла и сплетни, учрежденія и лица — все это, съ вѣрностью и живостью, должно было выразить себя въ этихъ письмахъ, въ этой стенографической и животрепещущей исторіи текущаго дня. Судя по нѣкоторымъ оттѣнкамъ, свойственнымъ характеру и обычаямъ братьевъ и отли-

чавшимъ одного отъ другого, не смотря на ихъ тѣсную родственную и дружескую связь, можно угадать, что письма Константина Яковлевича при всемъ своемъ журнальномъ разнообразіи, были сдержаннѣе писемъ брата. Константинъ Яковлевичъ былъ вообще характера болѣе степеннаго. Положеніе его въ обществѣ было тверже и опредѣлительнѣе положенія брата. Вѣроятно, нѣкоторыя изъ пріятельскихъ отношеній къ лицамъ, стоящимъ на высшихъ ступеняхъ государственной дѣятельности, перешли къ послѣднему, такъ сказать, по родству, хотя и отъ младшаго брата къ старшему. Онъ смолоду шелъ по дипломатической части и бывалъ въ военное время агентомъ министерства иностранныхъ дѣлъ при главныхъ квартирахъ дѣйствующихъ армій. Это сблизило его съ графомъ Нессельроде, графомъ Каподистріемъ, княземъ Петромъ Михаиловичемъ Волконскимъ и другими сподвижниками царствованія Александра I. Умственныя и служебныя способности его, нравъ общежительный, скромность, къ тому-же прекрасная наружность, всегда привлекающая сочувствіе, снискали ему общее благорасположеніе, которое впослѣдствіи на опытѣ умѣлъ онъ обратить въ уваженіе и довѣренность. Императоръ Александръ особенно отличалъ его и, вѣроятно, имѣлъ на виду и готовилъ для опредѣленія на одинъ изъ высшихъ дипломатическихъ заграничныхъ постовъ. Говорили, что государь очень неохотно и съ трудомъ, по окончаніи Вѣнскаго конгресса, согласился на просьбу его о назначеніи на открывавшееся тогда почтъ-директорское мѣсто въ Москвѣ. Но не за долго предъ тѣмъ Булгаковъ женился и желалъ для себя болѣе спокойной служебной осѣдлости. Московскимъ старожиламъ памятно его директорство, всѣмъ доступное—подчиненнымъ и лицамъ постороннимъ, для всѣхъ вѣжливое и услужливое; памятенъ и гостепріимный домъ его, въ которомъ за-просто собирались пріятели и лучшее общество. Съ перемѣщеніемъ его изъ Москвы въ Петербургъ, на таковую-же должность, кругъ его служебной дѣятельности и общежительныхъ отношеній еще болѣе расширился. Билліардъ (оба брата были большіе охотники и мастера въ этой игрѣ) былъ два раза въ недѣлю, по вечерамъ, неутральнымъ средоточіемъ, куда стекались всѣ званія и всѣ возрасты: министры, дипломаты Русскіе и иностранные, артисты свои и чужеземные, военные, директоры департаментовъ, начальники отдѣленій

и многіе другіе, непринадлежащіе никакимъ отдѣленіямъ. Разумѣется, тутъ была и биржа всѣхъ животрепещущихъ новостей, какъ заграничныхъ, такъ и доморощенныхъ. Въ другіе дни, менѣе многолюдные, домъ также былъ открытъ для пріятелей и короткихъ знакомыхъ. Тогда еще болѣе было непринужденія во взаимныхъ отношеніяхъ и разговорѣ. Тутъ и князь П. М. Волконскій вообще мало обходительный и разговорчивый, распоясывался и при немногихъ слушателяхъ дѣлился своими разнообразными и полными историческаго интереса воспоминаніями. Тутъ, между прочимъ, разсказывалъ онъ намъ, въ продолженіи цѣлаго вечера, многія замѣчательныя подробности о походахъ императора Александра, или воспоминанія свои о преимущественно анекдотическомъ царствованіи императора Павла.

Собираясь говорить объ одномъ братѣ, я разговорился о другомъ; но это не отступленіе, а, скорѣе, самое послѣдовательное и логическое вводное предложеніе. Тѣмъ, которые были знакомы съ обоими братьями и знали ихъ тѣсную связь, оно не покажется неумѣстнымъ.

Александръ Яковлевичъ — уроженецъ Константинопольскій и чуть не обыватель Семибашеннаго замка, въ которомъ отецъ его довольно долго пробылъ въ заточеніи, — провелъ года молодости своей въ Неаполѣ, состоя на службѣ при посланникѣ нашемъ *Татищевѣ*. Онъ носилъ отпечатокъ и мѣста рожденія своего и пребыванія въ Неаполѣ. По многому видно было, что солнце на утрѣ жизни долго его пропекало. Въ немъ были необыкновенныя для нашего сѣвернаго сложенія живость и подвижность. Онъ вынесъ изъ Неаполя неаполитанскій темпераментъ, который сохранился до глубокой старости и началъ въ немъ остывать только года за два до кончины его, послѣдовавшей на 82-мъ году его жизни. Игра лица, движенія рукъ, комическія ухватки и замашки, вся эта южная обстановка и представительность, были въ немъ какъ-будто врожденными свойствами. Отъ него такъ и несло шумомъ и движеніемъ Кіяи и близостью Везувія. Онъ всегда, съ жаромъ и даже умиленіемъ, мало свойственнымъ его характеру, вспоминалъ о своемъ Неаполѣ и принадлежалъ ему какимъ-то родственнымъ чувствомъ. И немудрено! Тамъ протекли лучшіе годы его молодости.

Молодостъ впечатлительна, а въ старости мы признательны къ ней и ею гордимся, какъ разорившійся богачъ прежнимъ обиліемъ своимъ, пышностью и роскошью. Онъ хорошо зналъ Итальянскій языкъ и литтературу его. Въ разговорѣ своемъ любилъ онъ вмѣшивать Итальянскія прибаутки. Впрочемъ, вмѣстѣ съ этою заморскою и южною прививкою, онъ былъ настоящій, коренной Русскій и по чувствамъ своимъ и по мнѣніямъ. Отъ его сочувствій и сотрудничества не отказался-бы и современникъ его, нашъ пріятель Сергѣй Николаевичъ Глинка, Русскій перваго разбора, и основатель „Русскаго Вѣстника“. И умъ его имѣлъ настоящія Русскія свойства: онъ ловко умѣлъ подмѣчать и схватывать разныя смѣшныя стороны и выраженія встрѣчающихся лицъ. Онъ мастерски разсказывалъ и передразнивалъ. Бесѣда съ нимъ была часто живое театральное представленіе. Тутъ опять сливались и выпукло другъ другу помогали двѣ натуры: Русская и Итальянская. Часто потѣшались мы этими сценическими выходками. Разумѣется, Жуковскій сочувствовалъ имъ съ особеннымъ пристрастіемъ и добродушнымъ хохотомъ. Булгаковъ вынесъ изъ Италіи еще другое свойство, которое также способствовало ему быть занимательнымъ собесѣдникомъ: онъ живо и глубоко проникнутъ былъ музыкальнымъ чувствомъ. Музыкѣ онъ не обучался и, слѣдовательно, не былъ музыкальнымъ педантомъ. Любилъ Чимарозе и Моцарта Нѣмецкую, Итальянскую и даже Французскую музыку, въ хорошихъ и первостепенныхъ ея представителяхъ. Самоучкой, по слуху, по чутью, разыгрывалъ онъ на клавикордахъ цѣлыя оперы. Когда основалась Итальянская опера въ Москвѣ предпріятіемъ и иждивеніемъ частныхъ лицъ – князя Юсупова, князя Юрія Владиміровича Долгорукова, Степана Степановича Апраксина, князя Дмитрія Владиміровича Голицина и другихъ любителей—Булгаковъ болѣе всѣхъ насладился этимъ пріобрѣтеніемъ: оно переносило его въ счастливые года молодости. Впрочемъ, имѣло оно, несомнѣнно, изящное и полезное вліяніе и на все Московское общество. Часто, послѣ представленія какой-нибудь новой оперы, заходилъ онъ ко мнѣ и далеко за-полночь разыгрывалъ съ памяти мѣста, которыя наиболѣе намъ понравились. Тутъ воспроизводились и въ звукахъ музыкальныя мелодіи, и въ лицахъ впечатлѣніе и сужденія иныхъ новозавербо-

ванныхъ меломановъ, которые, изъ подчиненности къ начальству и къ модѣ, выдавади себя за пламенныхъ диллетантовъ. Между тѣмъ, были и въ то время *запретительные* патріоты и протекціонисты: они, оберегая домашнюю духовную промышленность, вопили противъ привознаго заграничнаго удовольствія. Еще можно признавать, въ нѣкоторомъ размѣрѣ, требованія протекціонистовъ въ дѣлѣ фабричномъ и ремесленномъ; но въ дѣлѣ свободныхъ искусствъ, кажется, нельзя не быть фритредеромъ. Вообще, должно опасаться неблагоразумно съуживать чувство народности и любви къ отечеству: по этой дорогѣ скоро дойдешь и до Китайской стѣны. Князь Николай Борисовичъ Юсуповъ не любилъ Кокошкина, тогда директора Московскаго театра. Можетъ быть, въ эту нелюбовь входила и частичка сомѣстничества и ревности. Князь бывалъ самъ главнымъ директоромъ Петербургскихъ театровъ: большой и просвѣщенный любитель драматическаго искусства, по преданіямъ юности пламенный почитатель Суморокова и знавшій наизусть многія мѣста изъ его трагедій,—можетъ быть, желалъ онъ причислить и Московскую Дирекцію къ своему вѣдомству Кремлевской Экспедиціи. Своимъ рѣзкимъ, а иногда слегка и чингизъ-хановскимъ, остроуміемъ преслѣдовалъ онъ Кокошкина и поднималъ его на смѣхъ. Однажды говорилъ онъ князю Дмитрію Владиміровичу Голицыну, что его кучеръ (т.-е. князя Юсупова) былъ-бы лучшимъ директоромъ, нежели Кокошкинъ. „Вотъ что со мною случилось“, продолжалъ онъ: „однажды, выходя изъ оперы, долго прождалъ я карету. Когда ее подали, я гнѣвно спросилъ кучера о причинѣ замедленія.—„Извините, Ваше Сіятельство“, отвѣчалъ мнѣ кучеръ: „я былъ въ райкѣ, мнѣ хотѣлось послушать музыку.“—Это признаніе совершенно обезоружило мой гнѣвъ. А вашъ Кокошкинъ ни разу не былъ въ Итальянской оперѣ!“

Вотъ еще отступленіе. Но, собственно для меня, тутъ отступленія нѣтъ. Образъ Булгакова самъ собою такъ и вставляется въ раму Итальянской оперы. Какъ-будто вчера, сижу въ креслахъ возлѣ него: такъ и кажется мнѣ, что онъ знакомитъ меня съ особенностями итальянизмовъ музыки и либретто.

Послѣ Неаполя, едва-ли не лучшее время жизни его было время его почтъ-директорства. Тутъ былъ онъ также совершенно

въ своей стихіи. Онъ получалъ письма, писалъ письма, отправлялъ письма: словомъ сказать, купался и плавалъ въ письмахъ, какъ осетръ въ Окѣ. Московскія барыни закидывали его любезными записочками съ просьбой переслать прилагаемое письмо или выписать что-нибудь изъ Петербурга, или Парижа. Здѣсь кстати сказать, что гражданскіе порядки у насъ какъ-то туго прививаются. Мы во многомъ держимся патріархальныхъ и доисторическихъ привычекъ. Многіе любятъ у насъ писать по „сей вѣрной оказіи“ и увѣдомлять, что „по отпускѣ письма сего, они, благодаря Бога, живы и здоровы.“ Также равно есть у насъ разрядъ Молчалиныхъ, которые любятъ списывать стишки, уже давно напечатанные. Булгаковъ не даромъ долго жилъ въ Неаполѣ и усвоилъ себѣ качества *cavaliero servente* и услужливаго *сичизбея*. Теперь, за истеченіемъ многихъ законныхъ давностей, можно признаться, безъ нарушенія скромности, что онъ всегда, болѣе или менѣе, былъ *inamorato*. Казенные интересы почтоваго вѣдомства могли немножко страдать отъ его любезностей; но за то почтъ-директоръ былъ любимецъ прекраснаго пола.

Въ одномъ письмѣ своемъ Жуковскій говоритъ ему: „ты созданъ былъ почтъ-директоромъ дружбы и великой Русской Имперіи“. Въ томъ же отношеніи, въ другомъ письмѣ Жуковскій, съ своимъ геніальнымъ шутовствомъ, очень забавно опредѣлилъ письмоводительное свойство Булгакова: „ты рожденъ гусемъ, т. е. все твое существо утыкано гусиными перьями, изъ которыхъ каждое готово безъ устали писать съ утра до вечера очень любезныя письма“. Обоихъ братьевъ называлъ я „Любовною Почтой“ [1]). Но наконецъ бѣднаго гуся, Жуковскимъ прославленнаго, ощипали. Когда уволили его изъ почтоваго вѣдомства съ назначеніемъ въ Сенатъ, онъ былъ пораженъ, какъ громомъ. Живо помню, какъ пришелъ онъ ко мнѣ съ этимъ извѣстіемъ: на немъ лица не было. Я подумалъ, Богъ знаетъ, что за несчастіе случилось въ нимъ. Я убѣжденъ, что сенаторство, то-есть отсутствіе почтовой дѣятельности, имѣло прискорбное вліяніе на послѣдніе годы жизни его и ее сократило. До того времени бодро несъ онъ свою старость. Сложенія худощаваго, поджарый, всегда держащійся прямо, отли-

[1]) Опера *Шаховскаго*.

чающійся стройной таліей Черкеса, необыкновенной живостью въ движеніяхъ и рѣчи,—онъ вдругъ осунулся тѣломъ и духомъ. Такимъ находилъ я его, когда въ послѣднее время пріѣзжалъ въ Москву. Мы и тогда часто видались, но бесѣды были уже не тѣ. Я видѣлъ предъ собою только тѣнь прежняго Булгакова, темное преданіе о живой старинѣ. Послѣ и того уже не было. Бѣдный Булгаковъ, уже переживший себя, окончательно умеръ въ Дрезденѣ у младшаго сына своего.

Въ одинъ изъ послѣднихъ пріѣздовъ моихъ въ Москву уже не нашелъ я и старшаго сына его Константина. Разбитый недугомъ и параличемъ и въ послѣдніе годы жизни казавшійся старикомъ въ виду молодаго отца своего, онъ обыкновенно угощалъ меня артистическимъ вечеромъ. Тутъ слушалъ я стихи Алмазова, комическія разсказы Садовскаго и самого хозяина, котораго прозвалъ я Скароном; а самъ себя называлъ онъ скоромнымъ Скароном. На этихъ вечерахъ, уже хриплымъ голосомъ, но еще съ большимъ одушевленіемъ, распѣвалъ онъ романсы пріятеля своего Гнинки. По наслѣдству отъ отца, имѣлъ онъ также отличный даръ передразниванья: представлялъ, въ лицахъ и въ голосѣ, извѣстныхъ пѣвцовъ Итальянскихъ и Русскихъ. Особенно умѣлъ онъ схватить пріемы пѣнья нашего незабвеннаго Вьельгорскаго и картавое произношеніе его. Вотъ также была богатая Русская натура: это второе поколѣніе Булгаковыхъ. Музыкантъ въ душѣ, но также самоучка, остроумный, безъ приготовительнаго образованія, хорошо владѣющій карандашемъ, особенно къ каррикатурѣ,—онъ былъ исполненъ дарованій, не усовершенствованныхъ прилежаніемъ и наукой. Все это погубила преждевременно жизнь слишкомъ беззаботная и невоздержная. Онъ тоже былъ особенная и оригинальная личность въ Московской жизни. Все это переходитъ въ разрядъ темныхъ преданій.

Все близкое и знакомое мнѣ въ Москвѣ годъ отъ году исчезаетъ. Москва все болѣе и болѣе становится для меня Помпеей. Для отыскиванія жизни, то-есть того, что было жизнью для меня, я не могу ограничиваться одною внѣшностью: я долженъ дѣлать разысканія въ глубинѣ почвы, давно уже залитой лавою минувшаго.

XCVII.

ВОСПОМИНАНІЕ О 1812 ГОДѢ.

1868.

Написанное мною стихотвореніе: „Поминки по Бородинской битвѣ“ дало мнѣ мысль перебрать въ головѣ моей все, что сохранилось въ ней изъ воспоминаній о томъ времени. 1812 годъ останется навсегда знаменательною эпохою въ нашей народной жизни. Равно знаменательна она и въ частной жизни того, кто прошелъ сквозь нее и ее нережилъ. Предлагаю здѣсь скромные и старые пожитки намяти моей.

I.

Пріѣздъ Императора Александра I въ Москву изъ арміи 12 іюля 1812 года былъ событіемъ незабвеннымъ и принадлежитъ исторіи. До сего война, хотя и ворвавшаяся въ нѣдра Россіи, казалась вообще войною обыкновенною, похожею на прежнія войны, къ которымъ вынуждало насъ честолюбіе Наполеона. Никто въ Московскомъ обществѣ порядочно не изъяснялъ себѣ причины и необходимости этой войны; тѣмъ болѣе никто не могъ предвидѣть ея исхода. Только позднѣе мысль о мирѣ сдѣлалась недоступною Русскому народному чувству. Въ началѣ войны встрѣчались въ обществѣ ея сторонники, но встрѣчались и противники. Можно сказать вообще, что мнѣніе большинства не было ни сильно потрясено, ни напугано этою войною, которая таинственно скрывала въ себѣ и тѣ событія, и тѣ историческія судьбы, которыми послѣ ознамено-

вала она себя. Въ обществахъ и въ Англійскомъ клубѣ (говорю только о Москвѣ, въ которой я жилъ) были, разумѣется, разсужденія, пренія, толки, споры о томъ, что происходило, о нашихъ стычкахъ съ непріятелемъ, о постоянномъ отступленіи нашихъ войскъ во внутрь Россіи. Но все это не выходило изъ круга обыкновенныхъ разговоровъ, въ виду подобныхъ-же обстоятельствъ. Встрѣчались даже и такіе люди, которые не хотѣли или не умѣли, признавать важность того, что совершалось почти въ ихъ глазахъ. Помнится мнѣ, что на успокоительныя рѣчи такихъ господъ одинъ молодой человѣкъ—кажется, Мацневъ—забавно отвѣчалъ обыкновенно стихомъ Дмитріева:

Но какъ ни разсуждай, а Миловзоръ ужъ тамъ.

Но никто, и, вѣроятно, самъ Мацневъ не предвидѣлъ, что этотъ Миловзоръ-Наполеонъ скоро будетъ *тутъ*, то-есть въ Москвѣ. Мысль о сдачѣ Москвы не входила тогда никому въ голову, никому въ сердце. Ясное понятіе о настоящемъ рѣдко бываетъ удѣломъ нашимъ: тутъ ясновидѣнью много препятствуютъ чувства, привычки, то излишнія опасенія, то непомѣрная самонадѣянность. Не одинъ Русскій, но вообще и каждый человѣкъ, крѣпокъ заднимъ умомъ. Пора дѣйствія и волненій не есть пора суда. Въ то время равно могли быть правы и тѣ, которые желали войны, и тѣ которые ея опасались. Окончательный исходъ и опытъ утвердили торжество за первыми. Но можно-ли было, по здравому разсудку и по строгому исчисленію вѣроятностей, положительно предвидѣть подобное торжество?—это другой вопросъ.

Съ пріѣзда Государя въ Москву, война приняла характеръ войны народной. Всѣ колебанія, всѣ недоумѣнія исчезли; все, такъ-сказать, отвердѣло, закалилось и одушевилось въ одномъ убѣжденіи, въ одномъ святомъ чувствѣ, что надобно защищать Россію и спасти ее отъ вторженія непріятеля. Уже до появленія Государя въ собраніе Дворянства и Купечества, созванное въ Слободскомъ Дворцѣ все было рѣшено, все было готово, чтобы на дѣлѣ оправдать вѣру Царя въ великодушное и неограниченное самопожертвованіе народа въ день опасности. На вызовъ Его единогласнымъ и единодушнымъ отвѣтомъ было—принести на пользу Отечества

поголовно имущество свое и себя. Настала торжественная минута. Государь явился въ Слободской Дворецъ предъ собраніемъ. Наружность Его была всегда обаятельна. Тутъ Онъ былъ величаво-спокоенъ, но видимо-озабоченъ. Въ выраженіи лица Его обыкновенно было замѣтно, и при улыбкѣ, что-то задумчивое на челѣ. Это отличительное выраженіе мѣтко схвачено Торвальдсеномъ въ извѣстномъ бюстѣ Государя. Но на сей разъ сочувственная и всегда привѣтливая улыбка не озаряла лица Его; только на челѣ Его темнѣлось привычное облачко. Въ краткихъ и ясныхъ словахъ Государь опредѣлилъ положеніе Россіи, опасность, ей угрожающую, и надежду на содѣйствіе и бодрое мужество своего народа. Послѣдствія и приведеніе въ дѣйствіе мѣръ, утвержденныхъ въ этотъ день, достаточно извѣстны, и мы на нихъ не остановимся. Главное вниманіе наше обращается на духовную и народную сторону этого событія, а не на вещественную. Оно было не мимолетной вспышкой возбужденнаго патріотизма, не всеподданнѣйшимъ угожденіемъ волѣ и требованіямъ Государя. Нѣтъ, это было проявленіе сознательнаго сочувствія между Государемъ и народомъ. Оно во всей своей силѣ и развитости продолжалось не только до изгнанія непріятеля изъ Россіи, но и до самаго окончанія войны, уже перенесенной далеко за родной рубежъ. Съ каждымъ шагомъ впередъ яснѣе обозначалась необходимость расчесться и покончить съ Наполеономъ не только въ Россіи, но и гдѣ-бы онъ ни былъ. Первый шагъ на этомъ пути было вступленіе Александра въ Слободской Дворецъ. Тутъ невидимо, невѣдомо для самихъ дѣйствующихъ, Провидѣніе начертало свой планъ: начало его было въ Слободскомъ Дворцѣ, а окончаніе въ Тюильерійскомъ.

Самое назначеніе предъ тѣмъ графа Ростопчина главнокомандующимъ въ Москву на мѣсто фельдмаршала графа Гудовича, который былъ изнуренъ годами и, слѣдовательно, недостаточно бдителенъ и дѣятеленъ, было уже предвѣстникомъ новаго настроенія, новаго порядка. Ростопчинъ могъ быть иногда увлекаемъ страстною натурою своею, но на ту пору онъ былъ именно человѣкъ, соотвѣтствующій обстоятельствамъ. Наполеонъ это понялъ и почтилъ его личною ненавистью. Карамзинъ, поздравляя графа Ростопчина съ назначеніемъ его, говорилъ, что едва-ли не поздрав-

ляетъ онъ калифа *на часъ*: потому что онъ одинъ изъ немногихъ предвидѣлъ паденіе Москвы, если война продолжится. Какъ бы то ни было, но на этотъ *часъ* лучшаго калифа избрать было невозможно. Такъ называемыя „афиши“ графа Ростопчина были новымъ и довольно знаменательнымъ явленіемъ въ нашей гражданской жизни и гражданской литературѣ. Знакомый намъ „Сила Андреевичъ“ 1807 года, нынѣ повышенъ чиномъ. Въ 1812 году онъ уже не частно и не съ Краснаго Крыльца, а словомъ властнымъ и воеводскимъ разглашаетъ свои *Мысли въ слухъ* изъ своего генералъ-губернаторскаго дома, на Лубянкѣ. Карамзину, который въ предсмертные дни Москвы жилъ у Графа, разумѣется, не могли нравиться ни слогъ, ни нѣкоторые пріемы этихъ летучихъ листковъ. Подъ прикрытіемъ оговорки, что Ростопчину уже и такъ обремененному дѣлами и заботами первой важности, нѣтъ времени заниматься еще сочиненіями, онъ предлагалъ ему писать эти листки за него, говоря въ-шутку, что тѣмъ заплатитъ ему за его гостепріимство и хлѣбъ-соль. Разумѣется, Ростопчинъ, по авторскому самолюбію, тоже вѣжливо отклонилъ это предложеніе. И признаюсь, по мнѣ, поступилъ очень хорошо. Нечего и говорить, что подъ перомъ Карамзина эти листки, эти бесѣды съ народомъ были бы лучше писаны, сдержаннѣе, и вообще имѣли бы болѣе правительственнаго достоинства. Но за то лишились бы они этой электрической, скажу, грубой, воспламенительной силы, которая въ это время именно возбуждала и потрясала народъ. Русскій народъ—не Аѳиняне: онъ, вѣроятно, мало былъ бы чувствителенъ къ плавной и звучной рѣчи Демосѳена и даже худо понялъ бы его.

II.

Въ романѣ, или исторіи: *„Война и миръ“*, знаменательные дни 12—18 іюля 1812 года представлены съ другой точки зрѣнія и расцвѣчены другими красками. Отдавая полную справедливость живости разсказа въ художественномъ отношеніи, смѣю думать, что и мои впечатлѣнія, какъ очевидца этого событія, могутъ быть приняты въ соображеніе: едва-ли они не вѣрнѣе и ближе къ истинѣ, хотя слишкомъ полустолѣтнее разстояніе могло, разу-

мѣется, ослабить и притупить эти впечатлѣнія. Мимоходомъ наткнувшись на упоминаемую книгу, не могу воздержаться отъ нѣкоторыхъ замѣтокъ на содержаніе ея, особенно же по тому предмету, котораго я коснулся выше. Впрочемъ и въ этомъ случаѣ остаюсь въ 1812 году: слѣдовательно не выхожу изъ круга, который я себѣ предначерталъ. Книга: *„Война и миръ“*, за исключеніемъ романической части, не подлежащей нынѣ моему разбору, есть, по крайнему разумѣнію моему, протестъ противъ 1812 года, есть апелляція на мнѣніе, установившееся о немъ въ народной памяти и по изустнымъ преданіямъ, и на авторитетѣ Русскихъ историковъ этой эпохи: школа отрицанія и униженія исторіи подъ видомъ новой оцѣнки ея, разувѣренія въ народныхъ вѣрованіяхъ— все это не ново. Эта школа имѣетъ своихъ преподавателей и, къ сожалѣнію, довольно много слушателей. Это уже не скептицизмъ, а чисто нравственно-литтературный матеріализмъ. Безбожіе опустошаетъ небо и будущую жизнь. Историческое вольнодумство и невѣріе опустошаютъ землю и жизнь настоящаго отрицаніемъ событій минувшаго и отрѣшеніемъ народныхъ личностей. Лѣтъ 30 тому и болѣе, видѣлъ я въ Саратовскомъ острогѣ раскольника, принадлежавшаго къ толку *Нѣтовщины*. Сектаторы убивали другъ друга. Обрекающій себя на смерть клалъ голову свою на деревянный чурбанъ, и очередной отрубалъ ее. Видѣнный мною уцѣлѣлъ одинъ отъ побіенія болѣе 30-ти человѣкъ въ одну ночь на деревенскомъ гумнѣ. Въ числѣ убитыхъ были мужчины, женщины, старики, дѣти. Предъ кончиной своей каждый говорилъ: *Прекрати меня, ради Христа!* Не знаю, ради чего или кого дѣйствуютъ историческіе *прекращатели*; но не мѣшало бы и этому толку присвоить себѣ прозваніе: *Нѣтовщина*.

Возвратимся къ нашему предмету.

Сей протестъ противъ 1812 года, подъ заглавіемъ: *„Война и миръ“*, обратилъ на себя общее вниманіе и, судя по нѣкоторымъ отзывамъ, возбудилъ довольно живое сочувствіе. Въ этомъ изъявленіи, вѣроятно, уплачивается заслуженная дань таланту писателя. Но чѣмъ выше талантъ, тѣмъ болѣе долженъ онъ быть осмотрителенъ. Къ тому-же, признаніе дарованія не всегда влечетъ за собой, не всегда застраховываетъ и признаніе истины того, что

воспроизводитъ дарованіе. Таланту сочувствуешь и поклоняешься; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, можешь дозволить себѣ и оспаривать сущность и правду разсказовъ, когда они кажутся сомнительными и положительно невѣрными. Тутъ даже, можетъ быть, возлагается и обязанность оспаривать ихъ. Я именно нахожусь въ этомъ положеніи. Такъ мало осталось въ живыхъ не только изъ дѣйствовавшихъ лицъ въ этой народной эпической драмѣ, громко и незабвенно озаглавленной: „1812 годъ“; такъ мало осталось въ живыхъ и зрителей ея, что на долю каждаго изъ нихъ выпадаетъ долгъ подавать голосъ свой для возстановленія истины, когда она нарушена. Новыя поколѣнія забывчивы; а читатели легковѣрны, особенно же, когда увлекаются талантомъ автора.

Вотъ почему я, одинъ изъ немногихъ, пережившихъ это время, считаю долгомъ своимъ изложить, по воспоминаніямъ моимъ, то, что было, и какъ оно было.

III.

Начнемъ съ того, что въ упомянутой книгѣ трудно рѣшить и даже догадываться, гдѣ кончается исторія и гдѣ начинается романъ, и обратно. Это переплетеніе, или, скорѣе, перепутываніе исторіи и романа, безъ сомнѣнія, вредитъ первой и окончательно, передъ судомъ здравой и безпристрастной критики, не возвышаетъ истиннаго достоинства послѣдняго, то есть романа. Встрѣча историческихъ именъ или именъ извѣстныхъ, но отчасти искаженныхъ и какъ будто указывающихъ на дѣйствительныя лица, съ именами неизвѣстными и вымышленными, можетъ-быть, неожиданно и пріятно озадачиваетъ нѣкоторыхъ читателей, мало знакомыхъ съ эпохою, мало взыскательныхъ и простодушно поддающихся всякой приманкѣ. Но истинному таланту не должно было бы выгадывать подобные успѣхи и подстрекать любопытство читателей подобными театральными и маскарадными продѣлками. Вальтеръ Скоттъ, создатель историческаго романа, могъ *поэтизировать и романизировать* историческія событія и лица: онъ бралъ ихъ изъ дальней старины. Къ тому-же, и въ вымыслахъ, онъ всегда оставался вѣренъ исторической истинѣ, т. е. ея нравственной силѣ. Пушкинъ, въ истори-

ческой своей драмѣ, многое выдумалъ: напримѣръ, сцену Дмитрія съ Мариной въ саду. Но эта сцена *могла быть* и, во всякомъ случаѣ, именно такъ и *могла быть*. Когда знаешь исторію, то убѣждаешься, что поэтъ остался вѣренъ ей въ изображеніи характеровъ пылкаго самозванца и честолюбивой полячки [1]). Событія же и лица историческія, намъ современныя, или почти современныя, такъ сказать не остывшія еще на почвѣ настоящаго, требуютъ въ возсозданіи своемъ гораздо больше осмотрительности и точнѣйшаго соблюденія сходства.

Если нельзя всегда быть фотографомъ, то должно, по крайней-мѣрѣ, быть строгимъ историческимъ живописцемъ (peintre d'histoire), а не живописцемъ фантастическимъ и юмористическимъ.

Съ исторіей надлежитъ обращаться добросовѣстно, почтительно и съ любовью. Не святотатственно ли да и не противно ли всѣмъ условіямъ литтературнаго благоприличія и вкуса низводить историческую картину до каррикатуры и до пошлости? Есть доля пошлости въ натурѣ человѣка: не споримъ. Нѣтъ великаго человѣка для камердинера его, говорятъ Французы: и это правда. Но писатель не камердинеръ. Онъ можетъ и долженъ быть живописцемъ и судьею историческаго лица, если оно подвертывается подъ его кисть. Онъ долженъ смотрѣть ему прямо въ глаза и проникать въ умъ и душу его, а не довольствоваться однимъ улавливаніемъ какихъ-нибудь внѣшнихъ его слабостей и промаховъ, вдоволь шпыняя надъ ними. Презрѣніе есть часто лживый признакъ силы. Оно иногда просто доказываетъ одно непониманіе того, что выше и чище насъ. Новѣйшая литтература наша, по слѣдамъ Французской — т. е. по слѣдамъ ея второстепенныхъ писателей—любитъ *опошлять* жизнь, дѣйствія, событія, самыя страсти общества. Она все низводитъ, все сплющиваетъ, съуживаетъ. Пора людямъ съ талантомъ нѣсколько возвысить общій уровень умозрѣнія и творчества. Нѣкоторые повѣствователи и драматурги любятъ выводить на показъ личности посредственныя, слабоумныя, слабодушныя, или производить такихъ чудаковъ, которыхъ образа и подобія въ обществѣ

[1]) Въ „*Капитанской дочкѣ*“ есть также соприкосновеніе исторіи съ романомъ; но соприкосновеніе естественное и вмѣстѣ съ тѣмъ мастерское. Тутъ исторія не вредитъ роману; романъ не дурачитъ и не позоритъ исторію.

не встрѣчается. Въ послѣднемъ случаѣ нѣтъ на авторѣ никакой нравственной и логической отвѣтственности. Это не живыя лица, а какіе-то привидѣнія прихотливаго или больнаго воображенія. Съ ними много церемониться нечего. Относительно же первыхъ, съ высоты авторства своего, повѣствователи до пресыщенія трунятъ надъ своими находками и добиваютъ ихъ до окончательнаго ничтожества. Во первыхъ, лежачаго не бьютъ: людей, уже избитыхъ природою, незачѣмъ добивать перомъ. Нѣтъ, попробуйте силы свои—а въ нѣкоторыхъ изъ васъ этихъ силъ довольно,—попробуйте справиться съ личностями умными, съ характерами возвышенными и благородными, хотя и волнуемыми страстью, — однимъ словомъ, съ личностями, выходящими изъ среды дюжинныхъ: а, воля ваша, въ нашихъ рядахъ отъищутся и такія личности. Не оставайтесь на лощинахъ, на плоскостяхъ, гдѣ, разумѣется, дѣйствовать легче и вольнѣе, и гдѣ разгулу болѣе простора. Потрудитесь всходить на пригорки и насъ самихъ взводите на нихъ. Тамъ воздухъ чище, благорастворенніе; тамъ болѣе свѣта; тамъ небосклонъ обширнѣе; тамъ яснѣе и дальше смотришь; тамъ и вы и лица, вами выводимыя, будутъ болѣе на виду. Предъ вами жизнь со всѣми своими таинствами, глубокими пропастями, свѣтлыми высотами, со своими назидательными уроками; предъ вами исторія съ своими драматическими событіями и также со своими уроками, еще болѣе наставительными, чѣмъ первыя. А вы изъ всего этого выкраиваете однихъ Добчинскихъ, Бобчинскихъ и Тяпкиныхъ-Ляпкиныхъ. Къ чему такое недовѣріе къ себѣ, къ своимъ силамъ, къ своему дарованію? Къ чему такое презрѣніе къ читателямъ, какъ будто имъ не по глазамъ и не по росту картины болѣе величавыя, болѣе исполненныя внутренняго и нравственнаго достоинства? Къ тому-же, не забывайте, что Гоголь уже геніально разработалъ и истощилъ до-самой сердцевины поле нашей пошлости. Какъ послѣ Гомера нечего писать новую Иліаду, такъ послѣ „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“ нечего гоняться за Ильями Андреичами, за Безухими и за *старичками-вельможами*, у которыхъ въ такую минуту, когда дѣло, или, по-крайней-мѣрѣ, слово шло о спасеніи отечества, одно выражалось въ нихъ—что *имъ очень жарко*. Не спорю, можетъ быть, были тутъ и такіе; но не на нихъ должно было

остановиться вниманіе писателя, имѣющаго несомнѣнное дарованіе. Къ чему, въ порывѣ юмора, впрочемъ, довольно сомнительнаго, населять собраніе 15-го числа, которое все-таки останется историческимъ числомъ, *стариками подслѣповатыми, беззубыми, плѣшивыми, оплывшими желтымъ жиромъ,* или *сморщенными, худыми?* Конечно, очень пріятно сохранить въ цѣлости свои зубы и волоса: намъ-старикамъ даже и завидно на это смотрѣть. Но чѣмъ-же виноваты эти старики, изъ коихъ нѣкоторые, можетъ-статься, были —да и навѣрное были—сподвижниками Екатерины; чѣмъ же виноваты и смѣшны они, что Богъ велѣлъ имъ дожить до 1812 г. и до нашествія Наполеона? Можно, пожалуй, если есть недостатокъ въ сочувствіи, не преклоняться предъ ними, не помнить ихъ заслугъ и блестящаго времени; но, во всякомъ случаѣ, можно и должно, по крайней-мѣрѣ, изъ благоприличія, оставлять ихъ въ покоѣ.

Воля ваша, нельзя описывать историческіе дни Москвы, какъ Грибоѣдовъ описывалъ въ комедіи своей ея ежедневную жизнь. Да и въ самой комедіи есть уже замашки каррикатуры. Могли быть Фамусовы и въ Москвѣ 1812 года, но были и не одни Фамусовы. А въ книгѣ „Война и миръ“ все это собраніе состоитъ изъ лицъ подобнаго калибра. Это лица вымышленныя: авторъ воленъ въ вымыслахъ своихъ—пожалуй; но зачѣмъ тогда выводить тутъ же, напримѣръ, Степана Степановича Апраксина, лицо очень дѣйствительное и въ то время извѣстное въ Московскомъ обществѣ? Къ чему выводить en toutes lettres графа Ростопчина, лицо еще болѣе извѣстное и въ Мосгвѣ и въ исторіи 1812 года? И, выводя эту энергическую и рѣзко выдающуюся личность, можно ли ограничиться нѣкоторыми внѣшними примѣтами, какъ въ видѣ, выданномъ отъ полиціи, или отмѣткою, что онъ былъ въ генеральскомъ мундирѣ и съ лентой чрезъ плечо? Да, онъ и былъ генералъ, и слѣдовательно не могъ быть иначе, какъ въ генеральскомъ мундирѣ. Въ чрезвычайномъ собраніи и въ присутствіи Государя долженъ былъ онъ быть неминуемо и съ лентой чрезъ плечо, какъ и всѣ прочіе, имѣвшіе орденскіе знаки. Что это за характеристика? А между тѣмъ тутъ обнаруживается притязаніе или поползновеніе придать картинѣ историческій оттѣнокъ. Вотъ, что должно сбивать легковѣрнаго читателя, и что, по моему мнѣнію, нехорошо и непростительно.

А въ какомъ видѣ представленъ императоръ Александръ въ тѣ дни, когда Онъ появился среди народа Своего и вызывалъ его ополчиться на смертную борьбу съ могущественнымъ и счастливымъ непріятелемъ? Авторъ выводитъ Его передъ народъ — глазамъ своимъ не вѣришь, читая это-съ „бисквитомъ, который Онъ доѣдалъ“.— „Обломокъ бисквита, довольно большой, который держалъ Государь въ рукѣ, отломившись, упалъ на землю. Кучеръ въ поддевкѣ (замѣтьте, какая точность во всѣхъ подробностяхъ) поднялъ его. Толпа бросилась къ кучеру отбивать у него бисквитъ. Государь подмѣтилъ это и (вѣроятно, желая позабавиться?) велѣлъ подать Себѣ тарелку съ бисквитами и сталъ кидалъ ихъ съ балкона“...

Если отнести эту сцену къ исторіи, то можно сказать утвердительно, что это басня; если отнести ее къ вымысламъ, то можно сказать, что тутъ еще болѣе исторической невѣрности и несообразности. Этотъ разсказъ изобличаетъ совершенное незнаніе личности Александра I. Онъ былъ такъ размѣренъ, разсчетливъ во всѣхъ Своихъ дѣйствіяхъ и малѣйшихъ движеніяхъ; такъ опасался всего, что могло показаться смѣшнымъ или неловкимъ; такъ былъ во всемъ обдуманъ, чиненъ, представителенъ, оглядливъ до мелочи и щепетливости: что, вѣроятно, Онъ скорѣе бросился бы въ воду, нежели бы рѣшился показаться предъ народомъ, и еще въ такіе торжественные и знаменательные дни, *доѣдающимъ бисквитъ*. Мало того: Онъ еще забавляется киданьемъ съ балкона Кремлевскаго Дворца бисквитовъ въ народъ,—точь въ точь какъ въ праздничный день старосвѣтскій помѣщикъ кидаетъ на драку пряники деревенскимъ мальчишкамъ! Это опять каррикатура, во всякомъ случаѣ совершенно неумѣстная и несогласная съ истиной. А и сама каррикатура—остроумная и художественная—должна быть правдоподобна. Достоинство исторіи и достоинство народнаго чувства, въ самомъ пылу сильнѣйшаго его возбужденія и напряженія, ничего подобнаго допускать не могутъ. Исторія и разумныя условія вымысла тутъ равно нарушены...

Не идемъ далѣе: довольно и этой выписки, чтобы вполнѣ выразить мнѣніе наше.

IV.

Теперь, спускаясь съ общихъ соображеній о событіяхъ, смиренно обращаюсь къ самому себѣ. Постараюсь припомнить частные случаи и личныя впечатлѣнія, собственно до меня касающіяся. Графъ Канкринъ говорилъ мнѣ однажды, что въ обществѣ гражданскомъ и въ совокупности государственнаго устройства всѣ люди песчинки, изъ коихъ образуется и возвышается гора: разница только въ томъ, что одна песчинка выше, другая ниже. Вотъ и я, незамѣтная и очень нижняя песчинка, заявляю существованіе свое въ эпохѣ 1812-го года.

Въ самый день состоявшагося собранія, и когда положено было образовать народное ополченіе, графъ Мамоновъ подалъ чрезъ графъ Ростопчина Государю письмо, въ которомъ онъ всеподданнѣйше предлагалъ вносить, во все продолженіе войны, на военныя издержки весь свой доходъ, оставляя себѣ 10,000 руб. ежегодно на прожитіе. Мамоновъ былъ богатый помѣщикъ нѣсколькихъ тысячъ крестьянъ. Государь, приказавъ поблагодарить Графа за усердіе его и значительное пожертвованіе, призналъ полезнѣе предложить ему составить конный полкъ. Такъ и было сдѣлано. Дѣло закипѣло. Вызвалъ онъ изъ деревень своихъ нѣсколько сотъ крестьянъ, началъ вербовать за деньги охотниковъ, всѣхъ ихъ обмундировалъ, посадилъ на коней, вооружилъ: исправно и скоро полкъ началъ приходить въ надлежащее устройство. Были и другія отъ частныхъ лицъ предложенія и попытки ставить полки на собственныя издержки; но, кажется, одинъ полкъ Мамонова окончательно достигъ предназначенной цѣли. Мамоновъ, хотя и въ молодыхъ лѣтахъ, былъ тогда оберъ-прокуроромъ въ одномъ изъ Московскихъ Департаментовъ Сената. Военное дѣло было ему совершенно неизвѣстно. Онъ надѣлъ генеральскій мундиръ; но чувствуя, что одного мундира недовольно для устройства дѣла, предложилъ мѣсто полковаго командира князю Четвертинскому—тогда въ отставкѣ, но извѣстному блестящему кавалерійскому офицеру въ прежнихъ войнахъ. За нимъ послѣдовали многіе молодые люди, въ томъ числѣ и я. Я уже однажды говорилъ [1]), что никогда не готовился къ военной

[1]) Р. Архивъ 1866, стр. 231.

службѣ. Ни здоровье мое, ни воспитаніе, ни наклонности мои не располагали меня къ этому званію. Я былъ посредственнымъ ѣздокомъ на лошади, никогда не бралъ въ руки огнестрѣльнаго оружія. Въ пансіонѣ учился я фехтованью, но послѣ того раззнакомился и съ рапирою. Однимъ словомъ, ничего не было во мнѣ воинственнаго. Смолоду былъ я довольно старообразенъ, и казацкій мундиръ и военная выправка были, вѣроятно, очень мнѣ не къ лицу. Когда графъ Левъ Кириловичъ Разумовскій, пріятель отца моего и послѣ всегда оказывавшій мнѣ дружеское расположеніе, въ первый разъ встрѣтилъ меня въ моемъ новомъ нарядѣ, онъ говорилъ, что я напоминаю ему старыхъ казаковъ, которыхъ онъ у Гетмана, отца своего, видѣлъ въ Батуринѣ. Къ тому-же, я только-что предъ тѣмъ женился и только-что начиналъ оправляться отъ болѣзни въ легкихъ, которая угрожала мнѣ чахоткою. Но все это было отложено въ сторону предъ общимъ движеніемъ и важностью обстоятельствъ. Полкъ нашъ, или зародыши нашего полка стояли тогда около Петровскаго Дворца. Туда былъ наряжаемъ и я на дежурства, дѣлалъ смотры, переклички и самъ себѣ не вѣрилъ, глядя на себя.

Между тѣмъ Милорадовичъ былъ проѣздомъ въ Москвѣ и обѣдалъ у пріятеля своего и моего свояка князя Четвертинскаго. Я также былъ на этомъ обѣдѣ. Милорадовичь предложилъ мнѣ принять меня къ себѣ въ должности адъютанта. Разумѣется, съ охотою и признательностью принялъ я это предложеніе. Онъ тогда долженъ еще былъ ѣхать въ Калугу для устройства войскъ но вскорѣ затѣмъ, пріѣхавъ въ дѣйствующую армію, вызвалъ меня изъ Москвы. Первыя мои военныя впечатлѣнія встрѣтили меня въ Можайскѣ. Тамъ былъ я свидѣтелемъ зрѣлища печальнаго и совершенно для меня новаго. Я засталъ тутъ многихъ изъ своихъ знакомыхъ по Московскимъ баламъ и собраніямъ, и всѣ они, болѣе или менѣе, были изувѣчены послѣ битвы, предшествовавшей Бородинской, 24 августа. Между прочими былъ графъ Андрей Ивановичъ Гудовичь, коего полкъ въ этотъ день мужественно и блистательно дрался и крѣпко пострадалъ.

По пріѣздѣ своемъ на мѣсто, гдѣ расположена была армія, долго искалъ я Милорадовича. Въ этомъ исканіи, проходилъ я

мимо избы, которая, кажется, была занята Кутузовымъ. Много военныхъ и много движенія было около нея. Я разслышалъ, что нѣкоторые изъ офицеровъ давали кому-то разныя порученія, вѣроятно, для закупки у маркитанта. Когда я поровнялся съ ними, одинъ изъ нихъ громко сказалъ: „да не забудь принести Вяземскихъ пряниковъ“! На мое ли имя отпущено было это порученіе, можетъ-быть, шуткою кѣмъ-нибудь изъ знавшихъ меня, или было оно сказано случайно—не знаю. Но помню еще и теперь, что это меня—новичка въ военномъ званіи—нѣсколько смутило и озадачило. Благоразуміе однако взяло верхъ, и, не доискиваясь прямого объясненія этихъ словъ, пошелъ я далѣе. Наконецъ нашелъ я Милорадовича и засталъ его на бивуакѣ, предъ разведеннымъ огнемъ. Принялъ онъ меня очень благосклонно и ласково: много разспрашивалъ о Москвѣ, о нравственномъ и духовномъ расположеніи ея жителей и о графѣ Ростопчинѣ, который, хотя и заочно, распоряженіями своими и воинственнымъ перомъ, воюющимъ противъ Наполеона, такъ сказать, принадлежалъ дѣйствующей арміи. Поздравивъ меня съ пріѣздомъ совершенно кстати, потому что битва на другой день была почти несомнѣнна, онъ отпустилъ меня и предложилъ мнѣ для отдыха переночевать въ его избѣ, ему ненужной, потому что онъ всю ночь намѣревался оставаться въ своей палаткѣ. На другое утро, съ разсвѣтомъ, разбудила меня вѣстовая пушка, или говоря правдивѣе, разбудила она не меня, заснувшаго богатырскимъ сномъ, а вѣрнаго камердинера моего, болѣе меня чуткаго. Наскоро одѣлся я и пошелъ къ Милорадовичу. Всѣ были уже на коняхъ. Но, на бѣду мою, верховая лошадь моя, которую отправилъ я изъ Москвы, не дошла еще до меня. Всѣ отправились къ назначеннымъ мѣстамъ. Я остался одинъ. Минута была ужасная. Меня обдало холодомъ и унынiемъ. Мнѣ живо представились вся несообразность, вся комическо-трагическая неловкость моего положенія. Пріѣхать въ армію, какъ нарочно, ко дню сраженія, и въ немъ не участвовать! Мысль объ ожидавшихъ меня насмѣшкахъ, подозрѣніяхъ, толкахъ меня преслѣдовала и удручала. Невольно говорилъ я себѣ: „къ-чему было выскочкой изъ ополченія кидаться въ воинственные, дѣйствующіе ряды“? Мнѣ тогда казалось, что если до конца сраженія не добуду себѣ лошади, то не-

премѣнно застрѣлюсь. Не знаю, исполнилъ-ли-бы я свое намѣреніе, но, по крайней-мѣрѣ, на ту пору крѣпко засѣло оно у меня въ головѣ. По-счастью, незнакомый мнѣ адъютантъ Милорадовича, Юнкеръ, случайно подъѣхалъ и, видя мое отчаяніе, предложилъ мнѣ свою запасную лошадь. Обрадовавшись, и какъ-будто спасенный отъ смерти выѣхалъ я въ поле и присоединился къ свитѣ Милорадовича. Я такъ былъ неопытенъ въ дѣлѣ военномъ и такой мирный Московскій баричъ, что свистъ первой пули, пролетѣвшей надо мной, принялъ я за свистъ хлыстика. Обернулся назадъ и, видя, что никто за мной не ѣдетъ, догадался я объ истинномъ значеніи этого свиста.

Вскорѣ потомъ ядро упало къ ногамъ лошади Милорадовича. Онъ сказалъ: „Богъ мой! видите, непріятель отдаетъ намъ честь.“ Но, для сохраненія исторической истины, долженъ я признаться, что это было сказано на Французскомъ языкѣ, на которомъ говорилъ онъ охотно, хотя часто весьма забавнонеправильно.

На полѣ сраженія встрѣчался я также со многими своими городскими знакомыми и, между прочими, съ генераломъ Капцевичемъ, который такъ-же, какъ Милорадовичъ, враждебно, но охотно обращался съ Французскимъ языкомъ. Помню, что онъ привѣтствовалъ меня смѣшною Французскою фразою, отъ которой я невольно и внутренно улыбнулся.

Хотя здѣсь и не у мѣста, но не могу не замѣтить нашимъ непреклоннымъ *языколюбцамъ*, что привычка говорить по Французски не мѣшала генераламъ нашимъ драться совершенно по Русски. Не думаю, чтобы они были храбрѣе, болѣе любили Россію, вѣрнѣе и пламеннѣе ей служили, еслибъ не причастны были этой маленькой слабости.

Странны были мнѣ эти встрѣчи на полѣ сраженія. Впрочемъ всѣ эти господа были, болѣе или менѣе, какъ у себя, или въ знакомомъ домѣ. Я одинъ былъ тутъ новичкомъ и неловкимъ провинціаломъ въ блестящемъ и многолюдномъ столичномъ обществѣ. Къ сожалѣнію, не встрѣтился я на полѣ сраженія съ Жуковскимъ, который такъ-же, какъ и я, былъ на скорую руку посвященъ въ воины. Онъ съ Московскою дружиною стоялъ въ резервѣ, нѣсколько поодаль. Но былъ и онъ подъ ядрами, потому что Бородинскія

ядра всюду долетали. Кажется, вскорѣ послѣ сдачи Москвы онъ причисленъ былъ къ штабу Кутузова, по приглашенію пріятеля своего, дежурнаго генерала Кайсарова. Едвали даже не написано было имъ нѣсколько приказовъ и реляцій. Въ Вильнѣ схватилъ онъ тифозную горячку и долго пролежалъ въ больницѣ. Но лучшимъ и незабвеннымъ участіемъ его въ отечественной войнѣ остался „Пѣвецъ во станѣ Русскихъ воиновъ“.

Мой казацкій мундиръ Мамоновскаго полка, впрочемъ, несовсѣмъ казацкій, былъ неизвѣстенъ въ арміи. Онъ состоялъ изъ синяго чекменя съ голубыми обшлагами. На головѣ былъ большой киверъ съ высокимъ султаномъ, обтянутый медвѣжьимъ мѣхомъ. Не умѣю сказать, на какой, но были мы съ Милорадовичемъ на баттареѣ, дѣйствовавшей въ полномъ разгарѣ. Тутъ подъѣхалъ ко мнѣ незнакомый офицеръ и сказалъ, что киверъ мой можетъ сыграть надо мной плохую шутку. „Сейчасъ“, продолжалъ онъ, „остановилъ я летѣвшаго на васъ казака, который говорилъ мнѣ: „посмотрите, ваше благородіе, куда врѣзался проклятый французъ!“ Поблагодарилъ я незнакомца за доброе предостереженіе, но сказалъ, что нельзя же мнѣ бросить киверъ и разъѣзжать съ обнаженной головой. Тутъ вмѣшался въ нашъ разговоръ молодой Петръ Петровичъ Валуевъ, блестящій кавалергардскій офицеръ, и, узнавъ, въ чемъ дѣло, любезно предложилъ мнѣ фуражку, которая была у него въ запасѣ. Киверъ мой былъ сброшенъ и остался на полѣ сраженія. Можетъ быть, послѣ попалъ онъ въ число принадлежностей убитыхъ и въ общій ихъ итогъ внесъ свою единицу. Но бѣдный Валуевъ вскорѣ потомъ былъ въ самомъ дѣлѣ убитъ. Видно, въ Бородинскомъ дѣлѣ суждено мнѣ было быть принятымъ за француза. Во время сраженія, разнесся слухъ у насъ, что взятъ былъ въ плѣнъ Мюратъ; но послѣ оказалось, что принятъ былъ за него генералъ Бонами. Не помню, съ кѣмъ ѣхалъ я рядомъ: мой спутникъ спросилъ ѣхавшаго къ намъ навстрѣчу офицера, знаетъ-ли онъ, что Мюратъ взятъ въ плѣнъ?—„Знаю“, отвѣчалъ тотъ.

„А это кого ты ведешь?“ спросилъ онъ про меня.

Данная мнѣ адъютантомъ Юнкеромъ лошадь была пулею прострѣлена въ ногу и такъ захромала, что не могла уже мнѣ служить. И вотъ я опять сталъ въ тупикъ, по образу пѣшаго

хожденія. А за Милорадовичемъ, на полѣ сраженія, пѣшкомъ угнаться было невозможно: онъ такъ и леталъ во всѣ стороны. Когда ранили лошадь подо мною, неизъяснимое чувство то радости, то самодовольствія пробудилось во мнѣ и меня воодушевило. Мнѣ въ эту минуту сдалось, что я недаромъ облачился въ казацкій чекмень. Я понялъ значеніе Французскаго выраженія: „le baptême de feu“ Хотя собственно былъ раненъ не я, а только неповинная моя лошадь; но все же былъ я въ опасности и также могъ быть раненъ. Я даже жалѣлъ, что эта пуля не попала мнѣ въ руку, или ногу, хотя—каюсь—и не желалъ бы глубокой раны, а только чтобъ закалилась на мнѣ память о Бородинской битвѣ. Когда былъ я въ недоумѣніи, что дѣлать, опять явился ко мнѣ добрый человѣкъ и выручилъ меня изъ бѣды. Адъютантъ Милорадовича, Д. Г. Бибиковъ, сжалился надо мной и далъ мнѣ свою запасную лошадь. Но и ему за оказанное одолженіе не посчастливилось: вскорѣ затѣмъ ядромъ оторвало у него руку. Спустя немного времени послѣ сдѣланной ему операціи видѣлъ я его: онъ былъ спокоенъ духомъ и даже шутилъ.

Милорадовичъ велъ въ дѣло дивизію Алексѣя Николаевича Бахметева, находившуюся подъ его командою. Подъ Бахметевымъ была убита лошадь. Онъ сѣлъ на другую. Спустя нѣсколько времени, ядро раздробило ногу ему. Мы остановились. Ядро, упавъ на землю, зашипѣло, завертѣлось, взвилось и разорвало мою лошадь. Я остался при Бахметевѣ. Съ трудомъ уложили мы его на мой плащъ и съ нѣсколькими рядовыми понесли его подалѣе отъ огня. Но и тутъ, путемъ, сопровождали насъ ядра, которыя падали направо и налѣво, предъ нами и позади насъ. Жестоко страдая отъ раны, генералъ изъявлялъ желаніе, чтобы мѣткое ядро окончательно добило его. Но мы благополучно донесли его до мѣста перевязки. Это тотъ самый Бехметевъ, при которомъ позднѣе Батюшковъ находился адъютантомъ. Но, кажется, Бахметевъ, лишившись ноги, уже не возвращался въ армію: онъ изъ Нижняго Новгорода, гдѣ лежалъ больной, и гдѣ также находился Батюшковъ, отправилъ его къ генералу Раевскому, при которомъ Батюшковъ былъ въ походѣ до самаго Парижа.

Не помню, по какому случаю, уже позднимъ вечеромъ, попалъ я въ избу, гдѣ лежалъ тяжело раненый князь Багратіонъ. Шуринъ

мой, князь Ѳ. Гагаринъ, былъ при немъ адъютантомъ. Онъ меня, голоднаго и усталаго, накормилъ, напоилъ и уложилъ спать. Не только мое частное, неопытное впечатлѣніе, но и общее между военными, тутъ находившимися, мнѣніе было, что Бородинское дѣло нами не проиграно. Всѣ еще были въ такомъ восторженномъ настроеніи духа, всѣ были такими живыми свидѣтелями отчаянной храбрости нашихъ войскъ, что мысль о неудачѣ, или даже полуудачѣ не могла никому приходить въ голову. Къ утру эта пріятная самоувѣренность нѣсколько ослабѣла и остыла. Мы узнали, что дано было приказаніе къ отступленію. Помню, какая была тутъ давка; кажется, даже и не обошлось безъ нѣкотораго безпорядка. Артиллерія, пѣхота, кавалерія, обозы—все это стѣснилось на узкой дорогѣ. Начальники кричали и распоряжались; кажется, дѣйствовали и нагайки. Между рядовыми и офицерами отступленіе никому не было по вкусу.

Когда мы пришли въ Можайскъ, городъ казался уже опустѣвшимъ. Нѣкоторые дома были разорены; выбиты и вынесены были окна и двери. Милорадовичъ увидѣлъ солдата, выходящаго изъ одного дома съ разными пожитками. Онъ его остановилъ и далъ приказаніе его разстрѣлять. Но, кажется, это было болѣе для острастки, и казнь не была совершена. Мы расположились въ какомъ-то домѣ, оказавшемся нѣсколько болѣе удобнымъ. Генералъ продиктовалъ мнѣ приказы по отдѣленію войскъ, находившихся подъ его начальствомъ и остававшихся еще въ Подольскѣ. Тутъ-же пригласилъ онъ меня съ нимъ отобѣдать, извиняясь, что худо меня накормитъ, когда могли-бы мы хорошо пообѣдать у графа Маркова, начальника Московскихъ дружинъ, который звалъ его и перенесъ на поле сраженія свое Московское хлѣбосольство и гостепріимство. Милорадовичъ былъ обыкновенно невзыскателенъ въ своихъ житейскихъ потребностяхъ. Да къ тому-же, щедрый и расточительный на деньги, иногда оставался онъ безъ гроша въ карманѣ. Разсказывали, что, во время походовъ, бывало, воротится онъ въ свою палатку послѣ сраженія и говоритъ своему слугѣ: „Дай-ка мнѣ пообѣдать!“

— Да у насъ ничего нѣтъ, отвѣчаетъ тотъ.

„Ну, такъ дай чаю!“

— И чаю нѣтъ.

„Такъ трубку дай!“

— Табакъ весь вышелъ.

„Ну, такъ дай мнѣ бурку!“ скажетъ онъ, завернется въ нее и тутъ-же заснетъ богатырскимъ сномъ. Онъ былъ весьма пріятнаго и плѣнительнаго обхожденія, внимателенъ и привѣтливъ къ своимъ подчиненнымъ.

Многимъ уже извѣстно было на другой день, что я лишился двухъ лошадей, и меня поздравляли съ этимъ починомъ. Дѣло въ томъ, что Милорадовичъ самъ разсказывалъ объ этомъ въ главной квартирѣ Кутузова. Послѣ этого минутнаго знакомства, мы всегда съ нимъ оставались въ хорошихъ отношеніяхъ.

Вотъ и вся моя Иліада! Разумѣется, могъ бы я, не хуже другихъ, справляясь съ реляціями и описаніями войны, войти въ болѣе подробный разсказъ о положеніи разныхъ отрядовъ войска и о движеніи ихъ на Бородинскомъ полѣ. Но я никогда и ни въ чемъ не любилъ шарлатанить. Да, кажется, еслибъ и захотѣлъ, не съумѣлъ бы. Во время сраженія я былъ, какъ въ темномъ, или, пожалуй, воспламененномъ лѣсу. По природной близорукости своей, худо видѣлъ я, что было предъ глазами моими. По отсутствію не только всѣхъ военныхъ способностей, но и простаго навыка, ничего не могъ я понять изъ того, что дѣлалось. Разсказывали про какого-то воеводу, что, при докладѣ ему служебныхъ бумагъ, онъ иногда спрашивалъ своего секретаря: „а это мы пишемъ, или къ намъ пишутъ?“ Такъ и я могъ бы спрашивать въ сраженіи: „а это мы бьемъ, или насъ бьютъ?“ Благодаря генерала Богдановича, узналъ я изъ книги его, что генералъ Бахметевъ потерялъ ногу (а, слѣдовательно, и лошадь свою) въ 2 часа по полудни, когда Коленкуръ повелъ въ атаку дивизію Ватье, между тѣмъ какъ продолжалась усиленная канонада, что заставило нашу пѣхоту перестроиться въ карэ подъ жесточайшимъ огнемъ непріятельскихъ баттарей.“ [1])

V.

Жуковскій вынесъ изъ Бородинской битвы „Пѣвца во станѣ Русскихъ воиновъ“. Какой-же будетъ мой итогъ за этотъ день?

[1]) „Исторія Отеч. войны“ 1812 года“, соч. генерала Богдановича. т. II. стр. 210.

Самый прозаическій. На повѣрку выходитъ, что поплатился я одною кошкою и двумя лошадьми. Въ избѣ, которую уступилъ мнѣ Милорадовичъ, нашелъ я кошку. Я къ этому животному имѣю неодолимое отвращеніе. Предъ тѣмъ, чтобы лечь спать, загналъ я ее въ печь и крѣпко-на-крѣпко закрылъ заслонку. Не знаю, что съ нею послѣ было: выскочила-ли она въ трубу, или тутъ скончалась. Нерѣдко послѣ совѣсть моя напоминала мнѣ это звѣрское малодушіе. Тогда еще не былъ я членомъ Общества Покровительства Животныхъ, и объ этомъ покровительствѣ мало кто думалъ. Что касается до лошадей, то разскажу слѣдующее. Однажды пріѣхалъ ко мнѣ изъ внутренней губерніи сосѣдъ мой по деревнѣ. Я не зналъ, о чемъ вести съ нимъ разговоръ. Благо, была предъ тѣмъ холера въ этой сторонѣ, и я спросилъ его, не много-ли пострадала деревня его? „Нѣтъ“, отвѣчалъ онъ мнѣ: „благодаря Бога, пожертвовалъ я только одной старухой.“ А мнѣ нельзя даже похвалиться и такимъ пожертвованіемъ, потому-что павшія подо мной лошади не мнѣ принадлежали. Стало-быть, въ эти достопамятные дни самоотверженія, частныхъ и общихъ жертвъ, я ни собою, ни крѣпостною собственностью моею не пожертвовалъ.

VI.

Въ дополненіе ко всему сказанному считаю не лишнимъ прибавить нѣсколько словъ о графѣ Ростопчинѣ.

Въ исторической или гражданской жизни его есть одна темная страница: темная и по печальному событію, которымъ ознаменована; темная и по сбивчивымъ свѣдѣніямъ, сохранившимся о ходѣ и подробностяхъ сего событія. Каждому ясно, что мы говоримъ о смерти Верещагина.

Вотъ что сохранилось въ памяти моей изъ этого эпизода 1812 года, и что разсказывалось о немъ въ Москвѣ. Купеческій сынъ Верещагинъ знакомъ былъ съ сыномъ Московскаго Почтъ-Директора Ключарева. Вслѣдствіе этого знакомства имѣлъ онъ возможность читать запрещенные цензурою нумера иностранныхъ газетъ. Онъ переводилъ изъ нихъ на Русскій языкъ то, что касалось до Россіи и до намѣреній Наполеона. Можетъ-быть, иное и самъ

сочинялъ въ этомъ смыслѣ; но положительно извѣстно то, что предосудительные, особенно по важности и смутности тогдашнихъ обстоятельствъ, листки были перехвачены полиціей. Графъ Ростопчинъ не могъ не обратить на это дѣло бдительнаго и строгаго вниманія. По легкомыслію-ли поступалъ Верещагинъ, по злому-ли умыслу — онъ все-же былъ виновенъ передъ закономъ. Графъ Ростопчинъ приказалъ задержать его и предалъ суду. Соучастіе въ этомъ сына Ключарева также легкомысленное, или задуманное было, во всякомъ случаѣ, не менѣе предосудительно, особенно-же не должно терять это изъ виду—въ тогдашнихъ обстоятельствахъ. Подозрѣнія, павшія на Почтовое Вѣдомство, должны были быть разъяснены, ибо тайныя и неблагонамѣренныя дѣйствія его могли имѣть вредныя послѣдствія для безопасности государства. Москва не находилась дѣйствительно и законно въ осадномъ и на военномъ положеніи; но нравственно не была она въ мирныхъ условіяхъ обыкновеннаго порядка. Почтъ-Директоръ Ключаревъ, допустившій, по малой мѣрѣ, недостаточною бдительностью, нарушеніе закона, по которому запрещенные нумера газетъ должны оставаться тайными, былъ удаленъ отъ своего мѣста и отправленъ въ Воронежъ. Нѣкоторые полагали, что принадлежность его къ масонству была одной изъ причинъ неблаговоленія къ нему Ростопчина. Едва ли можно согласиться съ этимъ предположеніемъ. Тутъ дѣло шло не о масонствѣ. Къ тому-же, другіе масоны не были потревожены. Для пылкаго и властолюбиваго Графа Ростопчина достаточно было, что Ключаревъ, вѣдомо или невѣдомо, допустилъ злоупотребленіе въ своемъ вѣдомствѣ, и къ тому-же совершенное *сыномъ его*; а еще болѣе, что присланный для производства первоначальнаго слѣдствія полицеймейстеръ Дурасовъ встрѣтилъ сопротивленіе въ Почтамтѣ и былъ допущенъ не иначе, какъ съ особаго разрѣшенія Почтъ-Директора. Въ то-же время выраженіе Ростопчина въ одной изъ его афишъ, что у него болѣлъ глазъ, а теперь смотритъ онъ въ *оба*, относилось, по общему отзыву, къ удаленію Ключарева. Въ книгѣ: „Чтенія въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ при Московскомъ Университетѣ, за октябрь—декабрь 1866 г.“, напечатаны довольно обстоятельныя и любопытныя свѣдѣнія и описанія всего этого происшествія. Не имѣя предъ глазами подлинныхъ документовъ,

на которые ссылается авторъ описанія, не могу ни убѣдиться въ достовѣрности всѣхъ свѣдѣній, ни оспаривать ихъ. Извѣстно, что производимыя слѣдствія содержатъ въ себѣ вообще нерѣдко много сбивчивыхъ и даже невѣрныхъ показаній. Въ одномъ изъ этихъ извѣстій авторъ, оспаривая сужденія Фаргагена и М. А. Дмитріева о смерти Верещагина, говоритъ, что *эта жертва принесена Графомъ Ростопчинымъ единственно для личнаго спасенія, въ самой рѣшительный моментъ, отъ этой буйной, стоявшей лицомъ-къ-лицу черни и пр.* (стр. 253). Тутъ-же несчастный Верещагинъ названъ *юнымъ мученикомъ и прибавлено, что настаетъ пора, когда безпристрастный судъ исторіи, произнося свой приговоръ о личности и бывшихъ сильныхъ міра и братій малыхъ, воздастъ коемуждо по дѣломъ его* (Дѣло о Верещагинѣ и Мѣшковѣ. стр. 258).

Начнемъ съ того, что мученикомъ обыкновенно называемъ мы человѣка, который претерпѣваетъ и погибаетъ за правое дѣло. Какова ни была бы участь Верещагина, нельзя признать, что пострадалъ онъ за правое дѣло; и слѣдовательно, безпристрастному суду исторіи нечего входить здѣсь въ личности сильныхъ міра и братій малыхъ. Къ тому-же, не должно позабывать, что *юный мученикъ* и одинъ изъ *братій малыхъ*, о коемъ идетъ рѣчь, былъ впослѣдствіи законно признанъ государственнымъ измѣнникомъ и приговоренъ къ тому, чтобы „заклепавъ въ кандалы, сослать его въ Нерчинскъ, вѣчно на каторжную работу“.

Нельзя такъ вольно и произвольно обращаться съ исторіей и вносить свои догадки въ число положительныхъ указаній или истинъ. Самая смерть Верещагина могла пасть скорбнымъ и тягостнымъ воспоминаніемъ на Ростопчина. Не нужно еще отъ себя прибавлять къ тому малодушное, позорное и даже преступное побужденіе. Многіе въ то время и—откровенно сознаюсь – въ числѣ непослѣднихъ и я, осуждали сей поступокъ Ростопчина. Но никому изъ насъ не приходило въ мысль отнести сей поступокъ къ его трусости, или чувству самохраненія. Мы всѣ знали, что Московскій Главнокомандующій могъ 20 разъ въ день выѣхать изъ города, не подвергая себя нареканію или насильственнымъ нападеніямъ черни, которая впрочемъ, никогда и не помыслила бы напасть на него. Ростопчинъ въ афишахъ своихъ увѣрялъ народъ, что *злодѣй*

въ Москву не будетъ; но онъ тутъ только подтверждалъ завѣренія самого Кутузова. Во всякомъ случаѣ ни тотъ, ни другой не обманывали народъ умышленно, а развѣ обманывали они сами себя.

Позднѣе мнѣ самому случалось нерѣдко слышать отъ *очевидцевъ*, или причислявшихся къ очевидцамъ, подробные разсказы о смерти Верещагина. Но разнорѣчивые и нерѣдко противорѣчивые разсказы о томъ не оставили во мнѣ убѣжденія о достовѣрности подробностей всего происшествія. Очныя ставки и свидѣтельства, дѣланныя подъ присягою, въ законныхъ слѣдствіяхъ, доказываютъ намъ, различіемъ указаній, что и сами очевидцы нерѣдко смотрятъ совершенно различно на одно и то-же дѣло.

По моимъ личнымъ воспоминаніямъ и внутреннему убѣжденію, прихожу къ слѣдующему заключенію: Графъ Ростопчинъ виновенъ тѣмъ, что онъ превысилъ и во зло употребилъ власть свою и поступилъ внѣ закона, предавъ Верещагина расправѣ черни, а не окончательному приговору законнаго суда. Законность такое святое дѣло, что ни въ какомъ случаѣ нарушать ее не слѣдуетъ. Законъ долженъ быть охраной частной личности и общества—равно въ мирное, какъ и въ смутное время. Чрезвычайныя обстоятельства могутъ вынудить потребность временныхъ и чрезвычайныхъ законовъ, провозглашаемыхъ государственною властью. Въ настоящемъ случаѣ этого не было. Но въ поступкѣ Ростопчина ничего не было преднамѣреннаго, обдуманнаго и—тѣмъ болѣе—не было удовлетворенія личныхъ выгодъ. Нисколько не сравнивая одного поступка съ другимъ, скажу, что Ростопчинъ въ минуту великой скорби, великаго раздраженія, предалъ Верещагина на жертву народу, какъ послѣ предалъ онъ огню свой домъ въ селѣ Вороновѣ. Ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ онъ не приносилъ никакой пользы общественному дѣлу. Существеннаго вреда непріятелю онъ также этимъ не наносилъ. Но въ нравственномъ, или политическомъ отношеніи могло побудить его желаніе тѣмъ и другимъ дѣйствіемъ озадачить и напугать непріятеля. Въ этомъ соображеніи можно согласиться съ Фарнгагеномъ, что Графъ Ростопчинъ принесъ Верещагина въ жертву для *усиленія народнаго негодованія;* а вмѣстѣ съ тѣмъ онъ давалъ Наполеону и Французамъ какъ-будто предчувствіе того ожесточенія, съ которымъ будутъ встрѣчены они въ *гостепріимной* Москвѣ. Когда одно

подозрѣніе въ измѣнѣ законному Государю и Отечеству и въ сочувствіи къ непріятелю могли побудить народъ на такое дѣло, то непріятель могъ ясно постигнуть народное чувство и дальнѣйшія послѣдствія его. Такое предположеніе подкрѣпляется и тѣмъ, что Ростопчинъ избавилъ отъ казни француза Mout n, который могъ ожидать той-же участи. Если предполагать, что Ростопчинъ приготовилъ эту трагическую сцену *ради личнаю спасенія своего*, то, разумѣется, для выиграніа времени и большаго развлеченія народа, онъ долженъ былъ-бы и другую жертву предать черни Но вмѣсто того онъ отпустилъ его, говоря ему: „Поди, разскажи твоему царю, какъ наказываютъ у насъ измѣнниковъ".

Въ этихъ словахъ едва-ли не заключается разгадка и объясненіе поступка Ростопчина.

XCVIII.

ГРАФЪ АЛЕКСѢЙ АЛЕКСѢЕВИЧЪ БОБРИНСКІЙ.

1868.

I.

Пріятели графа А. А. Бобринскаго—а ихъ много—были на-дняхъ неожиданно поражены извѣстіемъ о скоропостижной кончинѣ его, послѣдовавшей въ Смѣлѣ, помѣстьѣ, ему принадлежавшемъ, въ Кіевской губерніи. Электрическая сила телеграфа, такъ же внезапная и быстрая, какъ и самая смерть, не даетъ времени ни приготовиться къ удару, ни опомниться. Разомъ ошеломитъ она мысль и сердце; и тутъ же страшно замолкнетъ. Сердце ожидало бы и требовало бы дальнѣйшихъ подробностей и объясненій,—конечно, не къ утѣшенію своему, но къ полному сознанію своей скорби и своего несчастія. Напрасно! Суровый лаконизмъ телеграфа остается безжалостенъ.

Въ кончинѣ Графа мы всѣ понесли сердечную и незабвенную утрату. Онъ былъ одна изъ благороднѣйшихъ и въ высшей степени сочувственныхъ личностей нашего времени. О скорби семейства его и говорить нечего. Онъ былъ связью и душою его. Онъ былъ не столько старшимъ и высшимъ звеномъ въ семейномъ кругу своемъ, сколько свѣтлымъ средоточіемъ, къ которому стекались, къ которому свободно, дружно и крѣпко примыкали всѣ живыя, нравственныя силы, всѣ чувства, вся любовь этого семейнаго круга. Въ сыновнемъ почтеніи, въ сознательной уступчивости, въ

нѣжныхъ заботахъ, которыми былъ онъ окруженъ, было что-то и дружеское и братское. Онъ казался старшимъ братомъ сыновей своихъ. Онъ съ ними молодѣлъ, они съ нимъ созрѣвали и мужали. Можетъ быть, не безъ основанія нѣкоторые замѣчаютъ какое-то ослабленіе семейныхъ узъ, которыя встарину были туго стянуты. Въ этомъ свободномъ и домашнемъ равновѣсіи, на которое мы указываемъ, не должно искать ни обезсиленія этихъ узъ, ни дѣла случая. Здѣсь заключались начала болѣе нравственныя и назидательныя. Кромѣ природныхъ сочувствій здѣсь ясно были видны слѣды и плоды воспитанія. Подобныя семейныя отношенія, разумѣется, приносятъ большую честь дѣтямъ; но, скажемъ искренно, приносятъ еще болѣе чести родителямъ, которые умѣли (здѣсь идетъ рѣчь *о сердечномъ умѣньи*) зародить въ сердцахъ дѣтей своихъ эти отношенія, ихъ развить, ихъ, такъ сказать, застраховать отъ всѣхъ случайностей и превратностей жизни. Нельзя также не согласиться, что нынѣ часто и во многомъ замѣчается, можно сказать, вопіющій разладъ между поколѣніями: онѣ, словно, разбиты на два воинственные стана. И если не всегда доходятъ до битвы, то надъ каждымъ изъ этихъ становъ развѣвается враждебное знамя. Въ виду этой печальной междоусобицы нельзя было намъ не остановиться и не отдохнуть мыслію и чувствомъ на картинѣ, которую представляло намъ семейство графа Бобринскаго. Здѣсь отрадно проявляется примиреніе между минувшимъ, еще не отрѣшившимся отъ настоящаго, и будущимъ, которое уже созрѣваетъ въ настоящемъ, но не отворачивается отъ опытности и отъ безпристрастныхъ, строгихъ, но кроткихъ назиданій ея.

Намъ не достаетъ здѣсь ни времени, ни положительныхъ данныхъ для составленія полнаго біографическаго очерка. Ограничимся на сей разъ нѣкоторыми бѣглыми воспоминаніями и впечатлѣніями, глубоко запавшими въ сердце наше отъ долголѣтней пріязни.

Впрочемъ, и сама жизнь графа Бобринскаго, можетъ быть, не обильна событіями. Можетъ быть, нѣтъ въ ней достаточно тѣхъ драматическихъ движеній, которыя нужны для разнообразія и занимательности біографическаго изображенія. Обстоятельства были вообще благопріятны ему, но не выдвинули они его на особенную

ступень, на высоту, которая могла бы господствовать надъ окрестностью.

Онъ былъ свѣтлое, стройное изваяніе, которымъ любовались ближніе и достойные цѣнители изящнаго; оно имѣло свое опредѣленное мѣсто въ уваженіи общества; но судьба не подвела подъ это изваяніе высокаго пьедестала. При всѣхъ общественныхъ преимуществахъ, дарованныхъ ему рожденіемъ, можно сказать, что онъ положеніемъ своимъ былъ обязанъ наиболѣе себѣ самому, а не внѣшней обстановкѣ. Всѣми помышленіями и внутренними силами своими принадлежалъ онъ обществу; болѣлъ и, по возможности, радѣлъ о пользѣ общественной; принималъ живое, теплое, даже пламенное, участіе въ общественныхъ вопросахъ, стоящихъ на очереди; но онъ не имѣлъ случая руководить ими, окончательно разрѣшать ихъ своимъ непосредственнымъ вліяніемъ. Однимъ словомъ, чтобы говорить оффиціальнымъ и общепонятнымъ для всѣхъ языкомъ, онъ никогда не былъ отдѣльнымъ управляющимъ какою либо вѣтвью государственнаго устройства; но совѣщательный голосъ его былъ часто слышенъ и, вѣроятно, нерѣдко уваженъ. Хотя безъименно, но не безслѣдно прошло участіе его въ разработкѣ многихъ правительственныхъ вопросовъ.

Онъ пользовался особымъ благоволеніемъ Императора Николая I, который зналъ и достойно цѣнилъ способности его, прямодушіе и независимость мнѣній. Нынѣ царствующій Государь наслѣдовалъ отъ Родителя Своего уваженіе и сочувствіе къ характеру графа Бобринскаго. Въ прежнее царствованіе и въ настоящее, онъ часто былъ назначаемъ членомъ въ особые комитеты, имѣвшіе цѣлію разработку финансовыхъ и другихъ государственныхъ мѣръ. Здѣсь невольно рождается вопросъ: почему же, съ умственными способностями его, съ образованностью, съ усердіемъ, которыя были признаваемы Высшею Властію и государственными людьми, не пренебрегавшими его указаніями и мнѣніями,—почему не вышелъ онъ прямо въ правительственныя лица, наравнѣ съ другими, у кормила государства? Дадимъ, по разумѣнію своему, отвѣтъ откровенный. Его подозрѣвали въ нѣкоторыхъ увлеченіяхъ къ утопіи, къ идеологіи. Со времени Наполеона I слово: „идеологія“ не въ чести на языкѣ оффиціальномъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что нелюбовь Наполеона

къ такъ называемымъ идеологамъ окончательно не принесла ему много пользы. Не идеологи сокрушили могущество его: сокрушили тѣ же матеріальныя силы, которыми, въ свое время, онъ сокрушалъ другихъ. Впрочемъ, нѣтъ сомнѣнія, что излишняя отвлеченность въ понятіяхъ не можетъ всегда согласоваться съ дѣйствительностью и настойчивыми ея требованіями. Практика имѣетъ свои необходимые, непреложные условія и законы.

Государственнымъ людямъ, этимъ въ высшей степени практикамъ, блюстителямъ и врачамъ государственнаго тѣла, нѣтъ часто ни времени, ни возможности предаваться теоретическимъ умозрѣніямъ. Положимъ, идеологія неумѣстна на сценѣ дѣйствующихъ лицъ; но въ партерѣ такъ называемые идеологи могутъ имѣть свое законное мѣсто и быть очень полезны. Они возвышаютъ уровень дѣйствительности; они напоминаютъ правительственнымъ лицамъ, что внѣ текущихъ дѣлъ, и даже надъ самими текущими дѣлами, есть какая то нравственная, если не сила, то, по крайней мѣрѣ, нѣчто такое, которое не худо принимать иногда въ соображеніе. Разумѣется, говорится здѣсь объ идеологахъ благонамѣренныхъ и добросовѣстныхъ. Былъ-ли бы графъ Бобринскій болѣе полезенъ прямымъ и личнымъ участіемъ своимъ въ высшей государственной дѣятельности, нежели въ своемъ, такъ-сказать, стороннемъ содѣйствіи—это рѣшить трудно. Можетъ быть, Жуковскій и даже самъ Карамзинъ были бы не вполнѣ хорошими министрами, хотя бы и народнаго просвѣщенія. Всякое министерство, кромѣ высшаго значенія своего, есть еще многосложное ремесло, а ремесло не всегда дается и самымъ избраннымъ людямъ. Но не менѣе того можно быть полезнымъ дѣятелемъ по той или другой части, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не считаться въ спискѣ высшихъ чиновниковъ того или другого вѣдомства. Въ кругу и въ размѣрѣ своего призванія и графъ Бобринскій можетъ тому служить примѣромъ.

Графъ Канкринъ очень уважалъ графа Бобринскаго, служившаго въ министерствѣ финансовъ, хотя и расходился съ нимъ во многихъ мнѣніяхъ. Но къ чести того и другого, начальникъ не требовалъ безусловнаго подчиненія мыслямъ своимъ, разумѣется, не по исполнительной части, но только въ свободномъ обмѣнѣ мыслей; а подчиненный не уступалъ начальнику своихъ убѣжденій.

Впрочемъ графъ Бобринскій, должно сознаться, былъ человѣкомъ увлеченій, но всегда благородныхъ, и чистыхъ. Любознательная натура его безпрестанно требовала себѣ пищи: онъ искалъ ее вездѣ. Всякая новая мысль, открытіе, новое ученіе – политическое ли, финансовое, соціальное, гигіеническое—возбуждали въ немъ тоску и лихорадочную дѣятельность любопытства. Ему непремѣнно нужно было вкусить отъ всякаго свѣжаго плода. Онъ съ ревностью, съ горячностью кидался въ новую, назнакомую область, старался изслѣдовать ее, проникнуть въ ея таинства. Ему недостаточно было бы, подобно Колумбу, открыть одну Америку; онъ хотѣлъ бы открыть ихъ нѣсколько. И тутъ, если было бы время впереди, онъ еще не остановился бы, а стремился бы все далѣе. Съ ревностью новообращеннаго, новопосвященнаго въ эти таинства, онъ дѣлался на время ихъ сторонникомъ и провозглашателемъ. Въ немъ былъ избытокъ любознательности, пытливости и дѣятельности. Но чистая душа его, благородство чувствованій и правилъ охраняли его всегда отъ ученій вредныхъ, или отъ крайностей и злоупотребленій всякой теоріи. Добросовѣстность и праводушіе отрезвляли пылъ его умозрительныхъ ненасытностей. Не говорю уже о жадности, съ которой онъ кидался на вопросы, имѣющіе болѣе или менѣе ученую и общечеловѣческую приманку: онъ покушался часто на извѣданіе и такихъ вопросовъ, которыхъ важность могла казаться сомнительною. Напримѣръ, въ отношеніи къ гигіенѣ, онъ испыталъ на себѣ не знаю сколько терапевтическихъ ученій по мѣрѣ того, какъ они начинали дѣлаться извѣстными. А между тѣмъ, онъ не былъ ни болѣзненнаго сложенія, ни мнительный больной. Одна любознательность и вѣра въ преуспѣяніе и завоеванія науки дѣлали изъ него добровольнаго и вѣрующаго паціента. Въ Парижѣ усердно занимался онъ одно время магнетизмомъ. Точно ли вѣрилъ онъ въ истину, силу и самобытность магнетизма, или только увлекался его заманчивою таинственностью,—сказать не умѣю. Эти подробности, конечно, имѣютъ небольшое значеніе; но приводимъ ихъ, какъ воспоминанія, какъ частныя и мелкія особенности его личности, для полнаго сходства портрета не должно ничѣмъ пренебрегать; самые тонкіе и мельчайшіе оттѣнки, схваченные вѣрно, содѣйствуютъ сходству съ подлинникомъ. Съ умомъ, склоннымъ ко всему, что

нынѣ называется позитивизмомъ и утилитаризмомъ, съ умомъ, обращеннымъ наиболѣе къ вопросамъ дѣйствительнымъ и положительнымъ, онъ могъ имѣть и свои суевѣрія. Онъ любилъ выводить истину на свѣтъ Божій, но способенъ былъ гоняться иногда и за призраками въ обаятельномъ сумракѣ волшебнаго лѣса. Въ его богатой натурѣ было много разнокачественныхъ родниковъ. Какъ бы то ни было, запасы опытовъ или попытокъ, изученій, пріобрѣтеній придавали разговору его обильное и увлекательное разнообразіе. Онъ бывалъ иногда парадоксаленъ; бывало видно, что онъ подъ властью новаго ученія: но такъ много было живости, теплоты искренняго увлеченія въ рѣчи его, что, и не соглашаясь съ нимъ, нельзя было слушать его безъ удовольствія и даже безъ нѣкотораго сочувствія.

Графъ Бобринскій былъ либералъ, въ лучшемъ и возвышеннѣйшемъ значеніи этого слова. Либерализмъ его былъ нечисто политическій, который можно легко позаимствовать, брать на прокатъ и усвоивать себѣ изъ памфлетовъ и газетъ. Либерализмъ его заключался въ прирожденномъ чувствѣ, во внутреннемъ, никогда не развлекаемомъ и ничѣмъ не соблазняемомъ служеніи вѣчнымъ началамъ любви человѣческой, законности, правосудности и правомѣрія, которое не имѣетъ двухъ вѣсовъ и двухъ мѣръ, смотря по тому, какъ приходится судить — направо, или налѣво. Есть либерализмъ, свободолюбіе не чуждое, между тѣмъ, и нетерпимости: оно, и послѣ Положенія 19-го Февраля, еще хочетъ удержать за собой помѣщичье крѣпостное право надъ чужой мыслью и надъ чужимъ мнѣніемъ. Либерализмъ графа Бобринскаго былъ другаго свойства и совершенно враждебенъ вышеприведенному. Въ примѣненіяхъ своихъ онъ былъ шире и доброжелательнѣе. Онъ держался своихъ мыслей, старался защищать ихъ, давать имъ ходъ; но онъ никогда не налагалъ ихъ насильственно на другихъ. Въ дѣлѣ промышленности и торговли, ученикъ Канкрина, онъ былъ нѣсколько *протекціонистомъ*; но въ средѣ умственной онъ былъ чистымъ послѣдователемъ Кобдена: онъ былъ искренній сторонникъ и вѣрный приверженецъ свободнаго обмѣна мыслей. На этой свободѣ основывалъ онъ торжество истины. Споры съ нимъ могли быть живы и горячи,

но никогда не доходили они до раздраженія и не зарождали злопамятства.

Онъ былъ патріотъ, также въ лучшемъ и высшемъ значеніи этого слова, всецѣло преданный отечеству. Но также и патріотизмъ его не имѣлъ узкихъ свойствъ односторонности и исключительности. Русскій душою, онъ былъ Европеецъ по образованности и сочувствіямъ своимъ. Онъ не раболѣпно предавался подчиненію Французскому, Нѣмецкому или Англійскому; но признавалъ, что и Россія есть часть Европы, т. е. признавалъ географическую истину, часто опровергаемую нѣкоторыми изъ нашихъ новѣйшихъ публицистовъ. Онъ считалъ, что не можетъ и не должно быть систематическаго разлада и разрыва между Россіею и всѣмъ тѣмъ, что есть хорошаго и поучительнаго въ Европѣ.

Благодарностью преданный Двору, среди котораго находилъ онъ всегда милостивый и ласковый пріемъ, онъ не былъ тѣмъ, что обыкновенно называется царедворцемъ.

При всей мягкости и утонченной вѣжливости нрава, онъ былъ одаренъ необыкновенною силою воли. Памятниками этой силы остаются по немъ въ Россіи желѣзныя дороги и свеклосахарная промышленность. Онъ родоначальникъ первыхъ и могучій труженикъ, способникъ и распространитель послѣдней. Построенная желѣзная дорога между Петербургомъ и Павловскомъ, первый сей опытъ въ Россіи, существованіемъ своимъ обязана его иниціативѣ и, преимущественно, непреклонному упорству его. Много претерпѣлъ онъ противудѣйствія, много вынесъ бореній для достиженія цѣли своей. Къ чести его относится и то, что въ томъ и другомъ дѣлѣ онъ долженъ былъ идти наперекоръ начальнику своему, котораго онъ уважалъ и любилъ. Канкринъ, при всемъ обширномъ умѣ своемъ, худо вѣрилъ въ будущія судьбы желѣзныхъ дорогъ и свеклосахарной промышленности.

Въ доказательство того, какъ Бобринскій настойчиво и добросовѣстно преслѣдовалъ всякую цѣль, которую онъ себѣ предназначалъ, приведу слѣдующій примѣръ. Когда поступилъ онъ на службу въ Министерство Финансовъ, по кредитному отдѣленію, онъ спохватился и призналъ, что недостаточно-правильно владѣетъ Русскимъ письменнымъ языкомъ. Изъ чиновника сдѣлался онъ, вмѣстѣ съ этимъ, и

ученикомъ: засѣлъ за грамматику и чуть ли не затвердилъ наизустъ всю грамматику Греча, которая предъ тѣмъ только что была издана. Онъ упражнялся въ изученіи языка подобно прилежному гимназисту, желающему перейти въ высшій классъ. Помню, какъ однажды одинъ изъ пріятелей его смѣялся надъ этимъ ученическимъ смиреніемъ, признавая его вовсе ненужнымъ. Дѣло пошло на споръ. Бобринскій предложилъ противнику биться объ закладъ, что онъ не напишетъ пяти строкъ безъ ошибокъ. Закладъ состоялся. Онъ продиктовалъ ему двѣ, или три фразы. На повѣрку вышло, что Бобринскій выигралъ закладъ. Все это происходило съ отмѣнною важностью, не чуждою для зрителя и смѣшной стороны. Но эта черта дорисовываетъ человѣка и такъ и просится въ характеристику его.

II.

Мать графа Бобринскаго, урожденная Унгернъ-Штернбергъ, бывшая въ замужествѣ за извѣстнымъ графомъ Бобринскимъ, уединилась, послѣ кончины мужа своего, въ деревню. Тамъ провела она много годовъ, исключительно посвященныхъ благоустройству значительнаго имѣнія мужа, которое оставилъ онъ обремененнымъ долгами и въ безпорядкѣ. Заботясь объ обезпеченіи матеріальной будущей участи своихъ дѣтей, занималась она вмѣстѣ съ тѣмъ и нравственною ихъ участью, постоянными стараніями о ихъ воспитаніи и образованіи. Въ томъ и другомъ отношеніи попеченія нѣжной матери увѣнчались успѣхомъ. Устроивъ хозяйственныя дѣла свои, переселилась она въ Петербургъ. По склонностямъ своимъ и умѣнью жить, Графиня была рождена для общества. До кончины своей жила она открытымъ домомъ то въ Москвѣ, то въ Петербургѣ. „Жить открытымъ домомъ“—выраженіе, нынѣ почти непонятное. Истолкованія ему должно искать въ преданіяхъ, а преданія у насъ скоро стираются. Графиня жила жизнью общежительною, гостепріимною. Она веселилась весельемъ другихъ. Всѣ добивались знакомства съ нею, всѣ ѣздили къ ней охотно. А она принимала всѣхъ такъ радушно,—можно сказать, такъ благодарно, какъ будто мы ее одолжали, а не себя, посѣщая ея домъ. Въ обѣихъ

столицахъ давала она праздники. Эти праздники были нетолько блистательны и роскошны, но и носили отпечатокъ вкуса и художественности. Не жалѣть денегъ на праздникъ еще ничего не значитъ. Въ званіи, въ обязанностяхъ гостепріимной хозяйки дома есть, безъ сомнѣнія, своя доля художества: тутъ надобно призваніе и умѣніе, пріобрѣтаемое опытностью. Эти свойства, эта наука мало по малу пропадаютъ. Кто-то замѣтилъ, что общество, что эта гостепріимная, неутральная область, которую въ старину называли „салономъ", утратила нынѣ свою обаятельную прелесть и силу, съ тѣхъ поръ, что не стало *женщины*. Разумѣется, и теперь встрѣчаются милыя и любезныя женщины; но характеръ, но типъ женщины исчезъ. Этой властительницы, этой царицы свѣтской общежительности уже нѣтъ. Она сошла или низвергнута съ престола своего. Кстати здѣсь замѣтить, что для полнаго владычества въ этомъ салонномъ царствѣ, женщинѣ не нужно быть первой молодости, и даже не второй. Молодость живетъ болѣе для себя, молодость себялюбива. Нѣтъ, лучше, если хозяйка дома въ зрѣломъ возрастѣ, болѣе безпристрастномъ и безкорыстномъ. Можетъ она благополучно царствовать и до глубокой старости, какъ мы это видимъ изъ мемуаровъ Французскаго общества послѣдней половины минувшаго столѣтія, т. е. до революціи. Графиня Бобринская имѣла много изъ тѣхъ качествъ и дарованій, которыя даютъ и освящаютъ эту власть.

Графъ Алексѣй Алексѣевичъ, рожденный и воспитанный въ этой средѣ, въ этой благорастворенной атмосферѣ, проникнулся и пропитался ею. Нельзя было найдти и придумать собесѣдника, болѣе его пріятнаго, вѣжливаго, болѣе уважающаго того, съ которымъ онъ велъ бесѣду. Когда послѣ самъ зажилъ домомъ, онъ явилъ себя послѣдователемъ, достойнымъ образца своего. Домъ его привлекалъ и собиралъ въ себѣ избранное общество. Приглашалъ ли онъ гостей на свои обѣды или вечера, онъ умѣлъ подбирать, т. е. сортировать гостей своихъ, не столько по чинамъ, сколько по внутреннему ихъ сходству и сочувствію. Онъ принималъ участіе въ разговорѣ, но не присвоивалъ себѣ въ немъ львиной части и монополіи. Онъ не подчинялъ разговора своему лозунгу, не настраивалъ его подъ свой собственный камертонъ. Каждый держался

своего: и эта разноголосица имѣла свою прелесть и окончательно свою гармонію. Князь Козловскій, умный и свѣтскій человѣкъ по превосходству, говорилъ, что умѣнье слушать есть одно изъ первыхъ отличій благовоспитаннаго человѣка. Въ самомъ пылу разговора и сшибки противорѣчащихъ мнѣній, Бобринскій отличался этимъ умѣньемъ.

Въ отношеніи общежительно-хозяйственной науки дѣйствовалъ онъ не одинъ. У него была помощница, его достойная. Графиня Софія Александровна Бобринская, урожденная графиня Самойлова, была женщина рѣдкой любезности, спокойной, но неотразимой очаровательности. Есть женскія прелести, такъ-сказать, завоевательныя и побѣдоносныя. Предъ ними и къ ногамъ ихъ кладемъ оружіе съ какимъ то самолюбіемъ и самодовольствіемъ. Намъ лестно, мы почти гордимся тѣмъ, что удостоились побѣжденія. Есть другія женщины, которыхъ прелесть и власть, такъ-сказать, притягательны. Онѣ не завоевываютъ, не ищутъ побѣды: а просто, невольно, нечувствительно, какъ будто безсознательно, поддаешься ихъ власти. Если позволительно заимствовать такое уподобленіе, то мы сказали бы, что есть женщины, которыя, *„какъ лиліи, не трудятся, не прядутъ“*, но просто красуются и благоухаютъ. Этой прелестью въ высшей степени обладала графиня Бобринская. Ей равно покорялись мужчины и женщины. Она была кроткой, миловидной, плѣнительной наружности. Въ глазахъ и улыбкѣ ея были чувство, мысль и доброжелательная привѣтливость. Ясный, свѣжій, совершенно женственный умъ ея былъ развитъ и освѣщенъ необыкновенною образованностью. Европейскія литтературы были ей знакомы, не исключая и Русской. Жуковскій, встрѣтившій ее еще у Двора Императрицы Маріи Ѳеодоровны, при которой была она фрейлиной, узналъ ее, оцѣнилъ, воспѣвалъ и остался съ нею навсегда въ самыхъ дружескихъ сношеніяхъ.

Императрица Александра Ѳеодоровна угадала ее по сочувствію и сблизилась съ нею. Этому и слѣдовало быть. Въ ней также таилась не многимъ замѣтная поэтическая струя (здѣсь подъ именемъ поэзіи разумѣемъ все свѣтлое, все возвышенное и чистое, присущее душѣ человѣческой и въ особенности женской). Императрица часто съ нею видалась и вела постоянную переписку.

Сколько въ этихъ письмахъ должно таиться драгоцѣнныхъ царскихъ жемчужинъ и чисто человѣческихъ сокровищъ! Какъ не пожалѣть, что подобныя драгоцѣнности остаются подъ спудомъ! Сколько неизвѣстныхъ намъ подземныхъ родниковъ ожидаютъ еще воздуха и свѣта! Часто при жизни знаемъ мы людей по одной ихъ внѣшности и обстановкѣ: по этимъ наружнымъ знакамъ и судимъ о нихъ. Мы знаемъ и видимъ только то, что лицомъ къ лицу обращено къ обществу. Бываетъ — хотя и рѣдко — что, вопреки извѣстной поговоркѣ, обратная сторона медали еще прекраснѣе и драгоцѣннѣе лицевой стороны. Не всѣмъ даны случаи и умѣнье заглядывать во внутренніе тайники и святилища. Можно намъ позавидовать внукамъ нашимъ, которымъ, можетъ быть, сдѣлаются доступны эти пока потаенныя сокровища: имъ, можетъ быть, нѣкогда посчастливится раскрыть эти родники и утолить жажду свою ихъ свѣтлою и прозрачною свѣжестью.

Графиня мало показывалась въ многолюдныхъ обществахъ. Она среди общества, среди столицъ, жила какою-то отдѣльною жизнію — домашнею, келейною; занималась воспитаніемъ сыновей своихъ, чтеніемъ, умственною дѣятельностью; она, такъ сказать, издали и заочно слѣдила за движеніями общественной жизни, но слѣдила съ участіемъ и проницательностью. Салонъ ея былъ ежедневно открытъ по вечерамъ Тутъ находились немногіе, но избранные. Сходились люди, которымъ нотребно было послѣ заботъ, а иногда и пустыхъ развлеченій дня, насладиться часъ или два пріятнымъ разговоромъ, обмѣномъ мыслей и впечатлѣній. Молодые люди могли тутъ научиться свѣтскимъ условіямъ вѣжливаго и утонченнаго общежитія. Дипломаты, просвѣщенные путешественники находили тутъ осуществленіе преданій о томъ гостепріимствѣ, о тѣхъ салонахъ, которыми нѣкогда славились западныя столицы. Нѣкоторые изъ нашихъ государственныхъ людей любили тутъ искать и находить не тупое и праздное, а умственное отдохновеніе отъ трудовъ, а иногда и докукъ, своей дневной дѣятельности. Графъ Нессельродъ занималъ тутъ едва ли не первое мѣсто. Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ были двѣ натуры: одна — совершенно оффиціальная и дипломатическая, способная и прилежная къ государственной работѣ, къ благоразумному разрѣшенію, а подъ

часъ и ловкому обходу, высшихъ политическихъ задачъ, холодная, осторожная, вѣчно безотвѣтная на всѣ вопросы нескромнаго любопытства. На безстрастномъ лицѣ его была какъ будто врѣзана надпись, въ родѣ Дантовской: „Вы, которые приступаете ко мнѣ, *оставьте надежду* что нибудь узнать отъ меня". Эта натура была, такъ сказать, мундиръ его: онъ снималъ ее съ плечъ по окончаніи служебной дѣятельности. Тутъ запиралъ онъ ее вмѣстѣ съ дѣлами и бумагами подъ ключъ въ свой письменный столъ. Кажется, еще глубже и крѣпче запиралъ онъ въ особенный, потаенный ящикъ ума своего заботы, мысли и самую память о дѣлахъ. Тогда пробуждалась и выходила на смѣну первой другая натура, болѣе сообщительная, даже веселая и радушная. Тогда, и въ старости, проявлялась въ немъ молодость съ ея живыми потребностями и воспріимчивостію. Онъ любилъ поэзію, цвѣты, театръ, музыку; онъ любилъ дамское общество, чуждое политическихъ притязаній на обсужденіе современныхъ вопросовъ. Съ этими вопросами онъ уже разъ покончилъ, выходя изъ своего кабинета, и не хотѣлъ вечеромъ быть снова на стражѣ и на часахъ, чтобы отбиваться отъ приступовъ политической назойливости. Салонъ графини Бобринской былъ любимымъ пріютомъ его. Здѣсь наслаждался онъ затишьемъ и тихою радостью прекраснаго вечера. Непосредственно за именемъ графа Нессельрода могло-бы слѣдовать другое имя, которое сочувственно и родственно складывается съ именами графини и графа Бобринскихъ. Но мы здѣсь о живыхъ говорить не хотимъ. Мы исключительно остаемся въ тихомъ пристанищѣ и объемѣ некрологическихъ границъ.

Мы уже замѣтили, что Графиня была домосѣдка. Мужъ ея охотно принималъ гостей у себя, но и самъ охотно ѣздилъ въ общество. Въ теченіе многихъ лѣтъ былъ онъ постояннымъ и блестящимъ посѣтителемъ столичныхъ собраній Петербурга и Москвы. Утро его посвящено было пытливости, ученію и хозяйственнымъ дѣламъ, которыя, по обширности и многосложной спеціальности, требовали неусыпныхъ заботъ. Было время: утро его было исключительно посвящено службѣ. Помню, какъ мы съ нимъ по сосѣдству просиживали утро за департаментскимъ столомъ — онъ въ канцеляріи по кредитной части, я по департаменту внѣшней

торговли. Въ промежуточныя минуты, *рекреаціи*, выбѣгали мы другъ къ другу, чуть-ли не съ перомъ за ухомъ, чтобы обмѣниваться нѣсколькими пріятельскими словами и условливаться, какъ бы и гдѣ бы встрѣтиться въ теченіи дня. Послѣ урочныхъ часовъ (должно признаться, что онъ всегда позднѣе меня засиживался) отряхивали мы съ себя — онъ кредитныя, я таможенныя числа и, оправляя крылья свои, вылетали изъ своихъ клѣтокъ на чистый воздухъ. Часто встрѣчались мы съ нимъ въ кабинетѣ графа Канкрина, но уже не чиновниками, а внимательными слушателями его живой, остроумной и всегда своеобразной рѣчи. Встрѣчались мы часто и въ домѣ графа и графини Фикельмонъ, которые оставили у насъ по себѣ незабвенную память. Ихъ салонъ былъ также Европейско-русскій. Въ немъ и дипломаты и Пушкинъ были дома. Въ то время было нѣсколько подобныхъ общественныхъ средоточій, о которыхъ нынѣ можно сказать: „преданья старины глубокой“. Бобринскій любилъ женскую аудиторію. Рѣчь его была свободна, иногда цвѣтиста, но чужда всякаго педантства. Онъ довольно охотно и слегка преподавалъ слушательницамъ любимые предметы своего ученія и новыхъ открытій.

Такъ протекли многіе годы. Въ 1856 году, Бобринскій отправился въ свое Кіевское помѣстье, куда нерѣдко вызывали его потребности личнаго хозяйственнаго надзора. Тутъ заболѣлъ онъ и заболѣлъ опасно. По первому извѣстію о томъ, Графиня, почти никогда не выѣзжавшая изъ Петербурга, отправилась къ мужу. Съ этой поры наступилъ рѣшительный переломъ въ ихъ образѣ жизни. Со дня отъѣзда ея, всѣмъ намъ знакомые и привлекательные домъ въ Галерной улицѣ и дача на Каменномъ острову опустѣли. Хозяева ихъ окончательно остались въ деревнѣ. Блестящая Петербургская жительница перенесла въ свое уединеніе склонности, привычки, всю внутреннюю и внѣшнюю обстановку своей прежней жизни. Мнѣ не удалось навѣстить ихъ, но я увѣренъ, что тамъ устроилась эта vie de château (выраженіе, едва переводимое на Русскій языкъ и пока на Русскую дѣйствительность), которою мы такъ любуемся въ хорошихъ Англійскихъ романахъ. Тутъ, во всей стройной полнотѣ хорошо придуманной домовитости, складывается и перерождается свѣтская жизнь: она очищена отъ всѣхъ

столичныхъ повинностей и тягостей, но сохраняетъ всѣ вещественныя и умственныя удобства, не исключая и прихотей. А вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ и независимость, и досуги, и спокойствіе жизни деревенской.

Около десяти лѣтъ не видались мы съ Бобринскимъ, даже не было между нами и письменнаго сообщенія. Нечаянно судьба свела насъ въ Петербургѣ: онъ пріѣзжалъ на время изъ деревни, я возвращался изъ-за границы. Мы встрѣтились, какъ будто разстались вчера, какъ будто продолжая только что прерванный разговоръ. Въ этотъ пріѣздъ онъ возобновилъ свои прежнія связи. Нечего и говорить, какъ пріятели его ему обрадовались. Они убѣдились, что года и болѣзнь не остудили прежняго пыла его, не истощили живыхъ запасовъ внутренней его бодрости. Въ старомъ, то есть постарѣвшемъ, Бобринскомъ нашли мы прежняго Бобринскаго, съ нѣкоторыми оттѣнками съ лѣтами нажитой опытности. Онъ былъ какъ-будто еще болѣе кротокъ, доброжелателенъ и дружелюбенъ. Конецъ пребыванія его между нами омраченъ былъ великою скорбью. Нечаянный и роковой ударъ поразилъ его въ самую глубь сердца; болѣзненно отозвался онъ и въ насъ. Онъ получилъ извѣстіе о кончинѣ нѣжно-любимой жены своей. Отправившаяся изъ Россіи для возстановленія разстроеннаго здоровья, она умерла въ Парижѣ. Ихъ, нѣсколько лѣтъ соединенныхъ въ деревнѣ общею и постоянно-неразрывною жизнію, судьба разлучила, казалось, на время, какъ будто съ тѣмъ, чтобы она предъ кончиною своею не имѣла отрады пожать на прощаніи дружескую и милую ей руку, чтобы онъ не могъ оказать ей послѣднія нѣжныя заботы и принять послѣдній вздохъ жизни, ему цѣло, нѣжно и свято преданной.

Позднѣе съѣхались мы съ нимъ лѣтомъ 1867 года, въ Ливадіи, гдѣ прожилъ онъ недѣли двѣ гостемъ Царскаго Семейства. Тутъ опять, разумѣется, были мы съ нимъ неразлучны: гуляли по живописнымъ окрестностямъ, вспоминали свою старину и другъ другу повѣряли свои потаенныя мысли и чувства.

Лѣтомъ 1868 года, неожиданно встрѣтилъ я его въ Москвѣ. Онъ пріѣзжалъ туда печатать книгу свою: „*О примѣненіи системъ охранительной и свободной торговли къ Россіи*“. Не признавая себя законнымъ судьей подобнаго труда, не буду оцѣнивать его. Около

двадцати лѣтъ прослужилъ я по вѣдомству министерства финансовъ; но, долженъ я сознаться, служилъ не по призванію, а по обстоятельствамъ. По мѣрѣ силъ и способностей своихъ старался я исполнять обязанность свою усердно и добросовѣстно, но исполнялъ ее безъ увлеченія, безъ вдохновенія; а нѣкоторая доля вдохновенія нужна и въ примѣненіи къ самымъ сухимъ занятіямъ. Въ этомъ-то и заключалось особенное свойство Бобринскаго. Онъ съ вдохновеніемъ, со страстью принимался за всякое дѣло. Вычисленія, цифры не пугали его. Но для меня истина цифръ казалась всегда самою головоломною, наименѣе привлекательною, и даже наименѣе убѣдительною истиною. Онъ находилъ въ нихъ рычагъ, которымъ поднималъ и разрѣшалъ жизненные вопросы гражданскаго устройства: политическая экономія, статистика живутъ, дѣйствуютъ, господствуютъ цифрами. Въ молодости и зрѣломъ возрастѣ, можетъ быть, Бобринскій и носилъ въ себѣ нѣкоторые зародыши благороднаго честолюбія; но съ умиротвореніемъ годовъ и при опытности жизни они дальнѣйшихъ ростковъ не пустили, а окончательно заглохли. Слѣдовательно, въ появленіи книги его непозволительно искать тайныхъ помышленій и личныхъ видовъ. Справедливѣе будетъ признать въ этомъ дѣло честнаго и добросовѣстнаго труженика. Ею достойно завершилъ онъ свою многостороннюю дѣятельность, свое желаніе и всегдашнее стремленіе быть полезнымъ обществу.

Странное и грустное сближеніе обстоятельствъ! Графиня Бобринская, прожившая послѣдніе годы неразрывно, такъ сказать, рука въ руку и, за нѣкоторыми временными исключеніями, съ глазу на глазъ съ мужемъ, — умираетъ вдали отъ него. Онъ, почти постоянно имѣшій при себѣ, въ деревнѣ своей, часть своего семейства, умираетъ одинъ. Сыновья его только что разъѣхались. Одинъ изъ нихъ съ своимъ семействомъ провелъ у него нѣсколько мѣсяцевъ и долженъ былъ возвратиться въ Петербургъ. Другой, неожиданно и по собственной волѣ отправился на дняхъ въ Америку, съ цѣлью изучать систему Американскихъ желѣзныхъ дорогъ, для возможнаго примѣненія ихъ къ нашимъ. Третій сынъ былъ также въ отсутствіи. Зная Бобринскаго, можно угадать, какъ отрадна была ему поѣздка сына за дальній океанъ, не просто путешественникомъ, а искате-

лемъ пользы. Въ немъ могъ узнать онъ кровь и плоть свою, духъ и предпріимчивость.

III.

Не все сказали мы о Бобринскомъ, что̀ можно было бы сказать. Но надѣемся, что и сказаннаго нами достаточно, чтобы нѣсколько ознакомить и сочувственно сблизить съ нимъ незнавшихъ его, а предъ тѣми, которые знали его и были ему пріятелями, возсоздать въ легкомъ очеркѣ нѣкоторыя черты этого милаго и незабвеннаго спутника и товарища нашего.

Другимъ, болѣе свѣдущимъ цѣнителямъ, предоставляемъ мы задачу опредѣлить въ исторіи промышленности нашей и вообще нашего экономическаго развитія мѣсто, которое ему достойно подобаетъ. А на такое мѣсто имѣетъ онъ, безъ сомнѣнія, полное право. Онъ положилъ первые желѣзные рельсы на Русской почвѣ. Это была попытка, которой важность и богатыя послѣдствія должны были обнаружиться позднѣе. Онъ поступилъ съ общественнымъ мнѣніемъ, какъ съ ребенкомъ,—сперва заманивая его, словно игрушкою. Онъ устроилъ желѣзный путь между Петербургомъ и увеселительнымъ Павловскимъ воксаломъ. Но онъ предчувствовалъ, что рельсы его разростутся. Онъ разчелъ, что удобство, съ которымъ можно прокатиться до Павловска, родитъ желаніе съ такимъ же удобствомъ прокатиться до Москвы, и такъ далѣе. Въ этой попыткѣ, какъ въ могущественномъ зародышѣ, таилось до времени сближеніе Балтійскаго моря съ Чернымъ, промышленныхъ нашихъ областей съ хлѣбородными—однимъ словомъ, таились новыя звенья, которыми Русская дѣятельность прочно и плодотворно связывалась съ дѣятельностью всемірною. Предчувствіе его долго не разрѣшалось отъ бремени. Но онъ отъ него не отказывался, онъ не отчаявался въ немъ. Онъ дожилъ еще до той отрады, что могъ видѣть и убѣдиться въ томъ, что съ легкой руки его и съ первоначальной мысли его дѣло пошло въ ростъ и въ даль.

Свекловично-сахарная промышленность извѣстна у насъ уже съ начала столѣтія, но только въ видѣ частныхъ и робкихъ начинаній. Бобринскій вынесъ ее на плечахъ своихъ и далъ ей важность и размѣры государственной промышленности. Водвореніе въ

какой нибудь мѣстности промышленности обширной и значительной есть не только личное предпріятіе и частная спекуляція: оно вмѣстѣ съ тѣмъ истинное и общее благодѣяніе для края, по которому она разливается. Въ сторонѣ малолюдной, безжизненной она создаетъ средоточіе дѣятельности, новой жизни; привлекаетъ къ себѣ, воплощаетъ въ себѣ частныя и личныя силы, остающіяся праздными въ своемъ единичномъ безсиліи. За такимъ водвореніемъ промышленности, человѣчески и разумно постигаемой, послѣдовательно возникаютъ мастерскія, училища, больницы. Кругомъ разносится благосостояніе, улучшается, просвѣщается смиренная и скудная доля работника. Тѣмъ важнѣе, тѣмъ плодотворнѣе польза подобной промышленности, когда она вызывается изъ нѣдръ естественной почвы, когда почерпаетъ она пособія и силы свои въ распространеніи и улучшеніи земледѣлія. Въ этомъ отношеніи, графъ Бобринскій многое сдѣлалъ для многихъ въ живой средѣ частной своей дѣятельности. Этою дѣятельностью, еще во время оно, возвысилъ онъ и нравственно облагородилъ званіе и права помѣщика.

Эти заслуги его предъ Россіею должны быть приведены наукою въ извѣстность и въ цыфры. Мы уже откровенно и смиренно признались, что этотъ трудъ намъ не по силамъ и не по нашей части *).

Въ нашихъ воспоминаніяхъ мы не имѣли цѣлію выставить вполнѣ общественную и государственную дѣятельность графа Бобринскаго; мы только хотѣли обрисовать его личность и указать на любезныя и благородныя свойства, которыя въ общественной жизни—нравственной и гласной—давали ему полное право на уваженіе и любовь современниковъ. А современникамъ предстоитъ обязанность замолвить о такомъ человѣкѣ, хотя и частнымъ образомъ, доброе и памятное слово грядущимъ поколѣніямъ.

---

*) Въ числѣ предшественниковъ Бобринскаго по сахарной промышленности нельзя забыть нашего общаго съ нимъ пріятеля, Дмитрія Александровича Давыдова. Онъ также положилъ въ нее много лѣтъ, много усилій и трудовъ и много денегъ, — едва ли не все свое благосостояніе, заключавшееся въ милліонѣ рублей ассигнаціями. Удача не вознаградила его усердія и пожертвованія; но и самыя неудачи, тяжкія для того, кто ихъ понесъ, могутъ служить полезнымъ указаніемъ и предостереженіемъ для другихъ: слѣдовательно, также имѣютъ свою общую пользу.

XCIX.

КНЯЗЬ КОЗЛОВСКІЙ.

1868.

I.

Князь Козловскій не былъ, что называется нынѣ, поэтомъ. Онъ, просто, писалъ стихи; по крайней мѣрѣ въ молодости, какъ и многіе писали ихъ въ то время.

Когда-то разсказывали, что одинъ генералъ дѣлалъ выговоръ подчиненному ему офицеру за то, что онъ писалъ и печаталъ стихи. Что это вамъ вздумалось, говоритъ онъ. На это есть сочинители, а вы офицеръ. Сочинитель не пойдетъ за васъ со взводомъ и въ караулъ. И вамъ не зачѣмъ за него ходить въ журналы и печатать себя. Все это, конечно, забавно, но имѣетъ свою долю правды. Въ старину были люди, которые слыли сочинителями; но были и такіе, которые *сочиняли стихи*, а не были приписаны къ цеху сочинителей. Въ старыхъ журналахъ Екатерининскаго времени находимъ мы подъ эпистолами, героидами и разными другими стихотвореніями подписи людей, которыхъ позднѣе на высшихъ государственныхъ ступеняхъ нельзя было заподозрить въ стихотворныхъ грѣхахъ первой молодости. Тутъ, между прочими, встрѣчаются имена: Козодавлева, графа Сергія Румянцова, графа Новосильцова. Сей послѣдній, если не печатно, то, по крайней мѣрѣ, про себя, въ чинахъ и въ старости не совершенно отрекался отъ Феба и всѣхъ дѣлъ его. Однажды, въ Варшавѣ, пришелъ я къ нему по

дѣлáмъ службы и засталъ его за переводомъ бѣлыми стихами одной изъ одъ Анакреона: и замѣтить слѣдуетъ за переводомъ подлинника; хотя я и постоянно пользовался благосклонностію и дружелюбнымъ обращеніемъ Новосельцова, но никогда не былъ такъ доволенъ своимъ начальникомъ, какъ въ этотъ день.

Обращаемся къ нашему дѣлу. Обязательнымъ сообщеніемъ нашего извѣстнаго и любезнаго библіофила и литературнаго сыщика С. А. Соболевскаго мы имѣемъ подъ глазами двѣ оды князя Козловскаго. Одна подъ заглавіемъ: „Чувствованіе Россіянина при чтеніи милостивыхъ манифестовъ, изданныхъ Его Императорскимъ Величествомъ Александромъ I-мъ 1801 года Апрѣля во 2-й день (печатано въ Университетской типографіи у Х. Клаудія); другая „Его сіятельству князю Александру Борисовичу Куракину, на выздоровленіе благодѣтеля (въ С.-Петербургѣ 1802 г., съ указаннаго дозволенія напечатано въ Императорской типографіи).

Признайтесь, что одни эти заглавія могли-бы въ настоящее время погубить человѣка навсегда. Но что-же дѣлать, если въ то время оно не было поводомъ къ погибели? Что же дѣлать, если это не мѣшало Козловскому быть умнымъ юношей и, позднѣе, однимъ изъ умнѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей въ Европейской средѣ ума и образованности? Можно-ли унижать себя до того, чтобы печатно признавать вельможу и начальника за благодѣтеля своего? Можно-ли воспѣвать выздоровленіе подобной личности? Вотъ что съ благороднымъ негодованіемъ и съ самодовольнымъ сознаніемъ превосходства своего подумаетъ не одинъ изъ читателей нашихъ. О присяжныхъ нашихъ критикахъ, этихъ потомкахъ какихъ-то баснословныхъ *сороковыхъ годовъ*, и говорить нечего. Заглавія, самое содержаніе стихотвореній и способъ выраженія, все послужило-бы имъ задачею для краснорѣчиваго уличенія стараго времени въ пошлости, низкопоклонности и отсутствіи всякаго человѣческаго достоинства. Вообще наши убѣжденія, критики, порицанія, наши мнѣнія, понятія, взгляды лишены способности отрекаться, хотя условно, отъ настоящаго дня, отъ мимо текущаго часа. Мы не умѣемъ переноситься въ другое, нѣсколько отдаленное, время; мы не умѣемъ мысленно переселяться въ чуждую намъ среду и въ другія поколѣнія, перерождаться, воплощать себя умозрительно въ

отжившія лица. Мы не къ нимъ возвращаемся, какъ-бы слѣдовало, когда судимъ ихъ. Мы насильственно притягиваемъ ихъ къ себѣ, къ своему письменному столу, и тутъ дѣлаемъ надъ ними расправу. То-есть, мы раскладываемъ ихъ на мѣрила наши, подобно извѣстному ложу Прокуста. Оттого и сужденія наши такъ часто уродливы: неминуемо вслѣдствіе того, что мы, предумышленно, разложеніемъ, истязаніемъ, пыткою исказили, изувѣчили то, что подлежало сужденію нашему.

При способности же соображать свое время другимъ временемъ, свою личность и ея постановку и обстановку съ другими личностями приходимъ совершенно къ инымъ впечатлѣніямъ и выводамъ. Видимъ различіе эпохъ, но ничего возмутительнаго и ужаснаго, и съ другой стороны, ничего торжественнаго и побѣдоноснаго въ этомъ различіи не видимъ. Напротивъ, можемъ спокойно и съ нѣкоторымъ сочувственнымъ удовлетвореніемъ любопытства разглядѣть и увѣриться, что въ то время такая личность, какъ Козловскій, могла не краснѣя ни предъ собою, ни предъ современниками своими, напримѣръ: предъ Жуковскимъ, Блудовымъ, Тургеневымъ, называть князя Куракина благодѣтелемъ своимъ. Если ставить гражданскую доблесть и искреннее негодованіе и безпощадное обличеніе, то почему-же не позволить благодарности заявить себя, и при случаѣ безнаказанно подавать свой голосъ?

Опять покаемся въ мягкосердечной слабости своей: мы съ удовольствіемъ прочитали стихотворенія Козловскаго, хотя далеко не отличаются они ни поэтическимъ вдохновеніемъ, ни даже художественною стихотворческою отдѣлкою. Но они замѣчательны, но они нравятся намъ по чувству, по духу, которое возбудило ихъ, по нѣкоторымъ мыслямъ, которыя они выразили. Смѣшно признаться, нравится намъ и эпиграфъ, приложенный къ стихамъ, посвященнымъ князю Куракину. Нравится намъ сей эпиграфъ потому, что признаемъ его искреннимъ предисловіемъ, сказаннымъ авторомъ; вѣрною вывѣскою того, что онъ чувствовалъ. Мы убѣждены, что не *лесть* и не *низкопоклонство* водили перомъ его; мы убѣждены, что одно *простосердечіе*, одна *признательность* внушили ему эти стихи. Наши убѣжденія подкрѣпляются и оправдываются тѣмъ,

что и позднѣе, среди соблазна свѣта, среди испытаній жизни, Козловскій до конца сохранилъ это свѣжее благоуханіе простосердечія. Отъ этихъ стиховъ, отъ эпиграфа, заимствованнаго у Ж. Ж. Руссо, такъ и вѣетъ на душу кроткое и сладостное ощущеніе. Намъ пріятно находить въ Козловскомъ, въ этомъ отъявленномъ либералѣ, эти чувства, эту простоту, которыя нынѣ заклеймили мы пошлостію.

Впрочемъ, по тому времени и самые стихи Козловскаго не лишены нѣкотораго достоинства. Мы уже замѣтили, что въ концѣ минувшаго столѣтія и въ началѣ нынѣшняго не одни поэты по призванію писали стихи, но и другіе, только потому, что они были люди грамотные. Литтературная сторона царствованія Екатерины II-й развивала вкусъ и привычку къ литтературнымъ занятіямъ. Какъ Императрица въ приближенномъ кружку своихъ царедворцевъ и вмѣстѣ съ ними переводила Велисарія и писала оперы и комедіи: такъ и другіе, увлекаясь примѣромъ ея, писали, переводили и, такъ сказать, незамѣтно попадали въ число сочинителей.

Выпишемъ нѣсколько стиховъ князя Козловскаго, останавливая вниманіе читателей не на внѣшнемъ ихъ достоинствѣ, а на внутреннемъ, т. е. на томъ духѣ, которымъ они запечатлѣны.

Обращаясь къ Императору Александру, онъ говоритъ:

Начало дѣлъ твоихъ прекрасно!
Хвалити и тому напрасно,
Кто-бъ ихъ хвалить искусно могъ.
Но благодарность — не искуство,
Она простаго сердца чувство,
Ея гласъ слышитъ Богъ.
Ахъ, часто въ горести, въ напасти
Несчастный слабый человѣкъ
Въ минуту сильной буйной страсти
Проступкомъ помрачаетъ вѣкъ,
И съ самой нѣжною душою,
Судьбы жестокою рукою
Во зло бываетъ вовлеченъ.
Судьи холодно разсуждаютъ;
Разсудкомъ сердце обвиняютъ,
Но ты на тронѣ — онъ прощенъ,
Прощенъ и оживленъ тобою!
Ты снова чувства далъ ему.
Преступникъ съ тронутой душею

Спѣшитъ къ престолу твоему;
Перенеся удары рока,
Клянется убѣгать порока:
Какъ скорбь отцу нанесшій сынъ
Передъ самимъ собой винится,
Опять къ семьѣ своей стремится,
Опять онъ добрый гражданинъ.
Ты вспомнилъ обо всѣхъ на тронѣ
Въ своемъ отеческомъ законѣ;
Сказалъ: всякъ счастливо живи!
Въ моемъ правленьи нѣтъ угрозы,
Но слезы искренней любви.

Эти стихи имѣютъ уже и то достоинство, что въ нихъ слышится отголосокъ народнаго чувства, которое привѣтствовало воцареніе Императора Александра. Въ отношеніи къ сочинителю, здѣсь встрѣчается первый признакъ человѣческаго чувства и нравственность политическихъ убѣжденій, которыя послѣ укрѣпились въ немъ и которымъ онъ навсегда остался вѣренъ. Съ литтературной точки зрѣнія, эти стихотворенія замѣчательны какою-то спокойною сдержанностію и трезвостію выраженій. Подобныя свойства рѣдко встрѣчаются въ молодыхъ, начинающихъ стихотворцахъ. Имъ всегда хочется блеснуть какими нибудь вычурами и смѣлыми скачками.

Впрочемъ, чтобы доказать безпристрастіе наше, выставимъ нѣсколько стиховъ, при которыхъ улыбнется читатель отъ сравненія Москвы съ Перуанкою.

Градовъ твоихъ всѣхъ мать, царица!
Москва тебя къ себѣ зоветъ!
Тебя Россійскихъ странъ столица,
Какъ Перуанка солнца ждетъ.

Сравненіе, можетъ быть, и вѣрное; но почему-же оно забавно? Здѣсь заключается тайна литтературнаго приличія, которое трудно объяснить и опредѣлить.

II.

Князь Варшавскій называлъ Козловскаго присяжнымъ защитникомъ проигранныхъ тяжебъ.

Опредѣленіе остроумное и мѣткое, но нисколько для Козлов-

скаго не обидное. Напротивъ, зная его, можно поручиться, что было оно ему пріятно и лестно. Въ свѣтѣ встрѣчается такъ много людей, горячихъ и громогласныхъ адвокатовъ всякой выигранной тяжбы и готовыхъ распинаться за всякую удачу, что, хотя для одного разнообразія, отрадно встрѣтить человѣка, который не только не отрекается отъ проигравшихъ тяжбу, но еще сострадаетъ имъ. Таково было, вѣроятно, мнѣніе и фельдмаршала. Не входимъ въ оцѣнку военныхъ дарованій и мѣста, которое онъ займетъ въ современной исторіи: на этотъ разъ довольствуемся сказать утвердительно, что способность человѣка высокопоставленнаго выслушивать мнѣнія ему противорѣчащія есть несомнѣнный признакъ ума свѣтлаго и открытаго. Подобныя побѣды надъ собою стоятъ побѣдъ надъ Турками и Персіянами. Этими, можно сказать, великодушными свойствами долженъ былъ обладать князь Паскевичъ. Мелкіе и узкіе умы не имѣютъ подобныхъ свойствъ. Въ нихъ только есть темный уголокъ, чтобы держать въ сохранности свои исключительныя и доморощенныя мнѣнія и понятія. Эта терпимость, это, такъ сказать, гостепріимство чужихъ мнѣній особенно замѣчательно и достойно уваженія въ лицахъ, власть имѣющихъ.

Мы сказали гостепріимство: это слово имѣнно и выражаетъ нашу мысль. Умъ принимаетъ чужія мнѣнія, чужія понятія, какъ гостей: онъ бесѣдуетъ съ ними, онъ оказываетъ имъ уваженіе; но это еще не значитъ, что онъ отдаетъ имъ домъ свой какъ хозяевамъ. Большіе бары живутъ или живали открытымъ домомъ. Умные люди должны жить открытымъ умомъ. Тамъ, гдѣ нѣтъ доступа, гдѣ двери назаперти, тамъ, повѣрьте, или нищета, или закоснѣлость, или недовѣріе къ собственнымъ силамъ, чтобы отражать нашествіе иноплеменное.

Князь Варшавскій познакомился съ Козловскимъ еще во время путешествія по Европѣ великаго князя Михаила Павловича, при которомъ Паскевичъ находился. Онъ полюбилъ его и при первомъ удобномъ случаѣ приблизилъ къ себѣ. Въ теченіе многихъ лѣтъ просиживалъ онъ съ нимъ ежедневно въ своемъ варшавскомъ кабинетѣ по нѣскольку часовъ сряду далеко за полночь. Знавшимъ Козловскаго, но мало знавшимъ князя Паскевича, эти бесѣды проливаютъ новый свѣтъ на личность полководца; эти бесѣды не должны были быть всегда

мирныя и одногласныя. Нѣтъ сомнѣнія, что часто было и разногласіе. Тѣмъ лучше! при искреннемъ и горячемъ обмѣнѣ мыслей должны быть и обоюдныя уступки. Это весьма важно: добросовѣстныя уступки не ослабляютъ нашу внутреннюю силу. Напротивъ, онѣ очищаютъ и укрѣпляютъ ее; онѣ отсѣкаютъ отъ нея то, что было въ ней неправильно и болѣзненно наросшаго. Способность воспринимать истину, если выходитъ она и изъ непріятельскаго лагеря, есть тоже сила ума самобытнаго. Для подобнаго ума истина, хотя исходитъ она и отъ противника, перестаетъ быть непріятельскою. Есть люди, особенно между публицистами, которые, при первомъ заявленіи мнѣнія съ мнѣніемъ ихъ невполнѣ согласнаго, начинаютъ съ того, что хватятъ противника по рожѣ и потомъ говорятъ ему: ну, теперь потолкуемъ о дѣлѣ. Эти люди готовы признавать за измѣну себѣ терпѣливое выслушиваніе противника.

Соотношенія двухъ варшавскихъ собесѣдниковъ были совершенно другаго свойства.

Однажды Намѣстникъ получаетъ, по дѣлу довольно важному, записочку на цвѣтной бумагѣ, раздушенную, отъ г-жи Вансовичъ Князю Намѣстнику не понравилась эта безцеремонность. Онъ готовъ былъ дать о томъ рѣзко почувствовать. Помилуйте, сказалъ Козловскій, если она признавала-бы васъ за сераскира, то, конечно, подала-бы вамъ формальное прошеніе на длинномъ листѣ бумаги или даже на пергаментѣ. Но она видитъ въ васъ только Тюрена или Конде. А эти великіе полководцы любили получать цедулочки отъ любезныхъ женщинъ. При этихъ словахъ оффиціальная щекотливость была, разумѣется, разомъ обезоружена.

Въ другой разъ фельдмаршалъ былъ за что-то недоволенъ Англійскимъ консуломъ и, кажется, выразилъ ему свое неудовольствіе не въ бровь, а прямо въ глазъ. Это смутило и возмутило Козловскаго. Проживши много лѣтъ за границею съ дипломатами и самъ старый дипломатъ, онъ, по своимъ понятіямъ, видѣлъ въ каждомъ дипломатѣ лицо избранное и неприкосновенное.

Легко догадаться можно, что Козловскій употребилъ все свое краснорѣчіе, всѣ свои уловки, чтобы уладить эту дипломатическую

размолвку, чтобы усмирить эту бурю въ стаканѣ. Но князь Паскевичъ не сдавался. Онъ рѣшительно не хотѣлъ дѣлать ни одного примирительнаго шага. Дулся-ли Козловскій на героя или точно былъ огорченъ непреклонностію его, не знаю. Но нѣсколько дней сряду не ходилъ онъ въ Царскій Замокъ. Наконецъ, однажды утромъ получаетъ онъ приглашеніе на обѣдъ къ Намѣстнику. Пріѣхавъ къ нему, застаетъ онъ въ числѣ приглашенныхъ и Англійскаго консула. Воображаемъ себѣ удивленіе и радость Козловскаго. Эта черта, какъ ни маловажна, не должна быть пропущена молчаніемъ, для характеристики князя Паскевича. Тутъ есть что-то утонченно-вѣжливое и сочувственно-человѣческое.

Польскій генералъ Кинскій не принималъ никакого участія ни въ мятежѣ 1831 года, ни въ военныхъ дѣйствіяхъ, которыя за нимъ слѣдовали. Все время оставался онъ въ сторонѣ. По усмиреніи мятежа и взятіи Варшавы, Польское войско было распущено. Кинскій, какъ ни въ чемъ неповинный, уволенъ былъ изъ службы съ назначеніемъ ему пенсіи. Нѣсколько лѣтъ спустя, другъ его, принимавшій участіе въ войнѣ, умеръ въ Краковѣ. Онъ не оставилъ по себѣ ни родныхъ, ни денегъ. Кинскій, движимый любовью къ старому и любимому товарищу, поставилъ памятникъ на могилѣ друга своего. Донесли о томъ Правительству, какъ объ изъявленіи сочувствія къ мятежу. Кинскій лишенъ былъ получаемой имъ пенсіи. Узнавъ о томъ, Козловскій дождался праздника Пасхи и когда князь Паскевичъ выходилъ изъ церкви, сталъ умолять его это исправить. Князь не съ первыхъ словъ согласился на неожиданное ему предложеніе: вѣроятно даже довольно рѣзко отразилъ ходатайство адвоката всѣхъ проигранныхъ тяжебъ. Но вскорѣ послѣ того Кинскому возвратили утраченную имъ пенсію.

Эти черты для меня драгоцѣнны и въ отношеніи князя Козловскаго, и князя Паскевича: можетъ быть еще драгоцѣннѣе въ отношеніи къ послѣднему. Я дорожу всегда этими снисходительными уступками силы высокопоставленной. Можетъ быть я и виноватъ, но я никогда не умѣлъ уважать, а еще менѣе любить этихъ мужей, у которыхъ, по словамъ поэта:

Тройнымъ булатомъ грудь была вооружена.

Мнѣ хотѣлось-бы видѣть маленькія прорѣхи въ этой стальной бронѣ. Онѣ давали бы просторъ, выходъ и доступъ человѣческому чувству, человѣческому благоволенію. Государственная необходимость имѣетъ свое полное и правильное значеніе, но иногда можно принимать въ уваженіе и другую необходимость, имѣющую также свою силу, свою пользу — необходимость уступчивости. Можетъ быть такой образъ мыслей есть во мнѣ признакъ и предосудительный, остатокъ нашего стараго мягкаго поколѣнія. Готовъ я въ этомъ каяться, но раскаяваться не буду.

Впрочемъ, рѣчь идетъ здѣсь о Козловскомъ; любезной памяти его посвящаю эти разсказы. Тѣнь его не станетъ мнѣ противорѣчить. Козловскій также принадлежалъ къ этому мягкому поколѣнію; вмѣстѣ съ нимъ предаемъ себя нареканію и суду новѣйшихъ Катоновъ.

По приведеннымъ нами незначительнымъ примѣрамъ (а въ теченіе долгаго времени было, вѣроятно, ихъ и много) можно заключить о положеніи, которое Козловскій занималъ при Намѣстникѣ въ устройствѣ общественнаго снаряда, которымъ Правитель двигалъ Польское Царство. Онъ былъ, если можно позволить себѣ такое сравненіе, родъ подушки (именно подушка, да еще какая!), которая служила иногда къ смягченію треній, неминуемо бывающихъ между властью и власти подлежащими.

Послѣднее время появились въ нашемъ журнальномъ литературномъ языкѣ новыя выраженія, новыя слова, которыя отзываются какою-то дикостію. Они не получили въ языкѣ нашемъ права гражданства и не могли получить его; но закрались въ него подобно безпаспортнымъ лицамъ, которыя гнѣздятся въ столичныхъ притонахъ. Къ этимъ выраженіямъ принадлежатъ: *полякующій*, поляковать и, не помню въ какомъ-то журналѣ, *расположеніе католицизма*, расположеніе протестантизма. Въ этомъ лексикографическомъ обогащеніи есть, можетъ быть, много глубокаго чувства любви къ отечеству. Спорить не стану. Но, во всякомъ случаѣ, есть много и литературнаго варварства. Не щадите Поляковъ, можетъ быть имъ и по дѣломъ; но пощадите по крайней мѣрѣ Русскій языкъ. Политическія страсти своими уклонительными и ругательными кличками никогда языка не обогащали, а напротивъ, позорили и опош-

ляли языкъ, какъ мы это видѣли въ литературномъ революціонномъ Французскомъ языкѣ прошлаго столѣтія. Благодаря Бога, нѣтъ у насъ повода вводить въ нашъ языкъ эту краснорѣчивую запальчивость. Бѣда въ томъ, что именно тѣ, которые ничего не хотятъ заимствовать у Запада изъ того, что у него есть хорошаго, первые кидаются на все, что въ немъ есть предосудительнаго и прискорбнаго, и себѣ его присвоиваютъ.

Какъ-бы то ни было, а признаться должно, что доживи князь Козловскій до нашего времени, былъ бы онъ нѣкоторыми изъ нашихъ публицистовъ заклейменъ словомъ полякующій. Да, онъ оставилъ по себѣ въ Варшавѣ самое сочувственное преданіе. Онъ и самъ полюбилъ Варшавское общество.

Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ Польской бури онъ пріѣхалъ въ Варшаву на постоянное житье. Въ обществѣ еще нашелъ онъ нѣсколько всплывшихъ обломковъ, уцѣлѣвшихъ отъ общаго крушенія. Буря уже утихла, но осталось еще колебаніе въ морѣ. За всѣмъ тѣмъ, общественная жизнь, разумѣется не въ прежнемъ размѣрѣ, мало-по-малу приходила въ себя. Она начинала опамятоваться отъ ударовъ надъ нею разразившихся, отъ угара, которымъ была она охвачена. Время постепенно залечивало язвы, отрезвляло умы. Польское общество имѣло въ себѣ большую жизненную силу. Въ судорожныхъ припадкахъ своихъ оно падаетъ, разбивается въ кровь и опять возстаетъ, какъ будто ни въ чемъ не бывало. И этимъ свойствомъ сближается оно съ Французами, къ которымъ притягиваетъ ихъ какая-то роковая и зловѣщая сила. Это свойство пагубно было для Польши и въ историческомъ отношеніи. Политическое легкомысліе лишаетъ Польскій народъ той разсудительности, той сдержанности, которыя нужны для собственнаго самосохраненія и здраваго воззрѣнія на свое настоящее положеніе и на свое будущее. Но, въ отношеніи къ свѣтскому общежитію, эта забывчивость, эта легкость въ жизни имѣетъ свою прелесть, по крайней мѣрѣ для постороннихъ.

Поляку сродно или бѣситься, или наслаждаться жизнію. Унывать онъ неспособенъ. Здѣсь опять замѣчается Французское воспитаніе Польскаго народа. Этимъ объясняется, отчасти, и международное сочувствіе Поляковъ и Французовъ. Французъ узнаетъ себя

въ Полякѣ; Полякъ вѣруетъ во Француза, молится ему. Безуспѣшность вѣрованій и молитвъ не разочаровываетъ, не озадачиваетъ его. Умный и, безъ сомнѣнія, благодушный Мицкевичъ не видѣлъ-ли въ Наполеонѣ I-мъ новаго Мессію? Можно-ли послѣ того сердиться и негодовать на Поляковъ? Не скорѣе-ли должно жалѣть о нихъ? Должно противодѣйствовать ихъ политическимъ увлеченіямъ и мечтаніямъ, но, между тѣмъ, слѣдуя здравой, а не страстной политикѣ, дѣлать имъ добро часто противъ собственной ихъ воли.

Вскорѣ по прибытіи своемъ въ Варшаву, князь Козловскій завязалъ знакомство и пріязни въ Польскомъ обществѣ. Образованные Поляки и особенно Полячки очень чутки къ умственнымъ и блестящимъ способностямъ благовоспитаннаго человѣка. Они легко вглядываются въ него и къ нему прислушиваются. Тутъ забываются политическія и племенныя разногласія. Варшавское общество не могло не оцѣнить превосходство Козловскаго и не увлечься прелестью его. И онъ не могъ не порадоваться новой своей аудиторіи. А слушатели были ему необходимы

III.

Письменные источники, документы, о князѣ Козловскомъ очень недостаточны и рѣдки. Какъ я ни заботился объ ихъ отысканіи, даже у людей наиболѣе къ нему приближенныхъ, но поиски мои остались безъ успѣха. Впрочемъ, оно такъ быть и должно. Главная дѣятельность Козловскаго была дѣятельность устная, а не письменная и не выражавшаяся въ дѣйствіяхъ. Нужно было бы имѣть при немъ постояннаго и неутомимаго стенографа. Вотъ что могло бы дать полную и живую фотографію его. Онъ мнѣ говорилъ однажды, что письменный процессъ для него тягостенъ и ненавистенъ. Другой разъ говорилъ онъ мнѣ, что прямое призваніе его есть живая устная рѣчь. Онъ въ ней признавалъ свою силу, свое дарованіе и превосходство. И надобно признаться, что онъ въ этомъ не ошибался. Такой отзывъ о себѣ былъ въ немъ

не обольщеніе самолюбія, а прямое и внутреннее сознаніе своего достоинства. Всѣ отрасли, всѣ принадлежности, составляющія даръ слова, были ему доступны, и онъ владѣлъ ими въ равномъ совершенствѣ. Онъ готовъ былъ говорить о математикѣ и о точныхъ наукахъ, къ которымъ имѣлъ особенное призваніе, развивать въ живыхъ и блестящихъ картинахъ достопримѣчательнѣйшія историческія эпохи, проникать въ ихъ тайный смыслъ; готовъ былъ преподавать мимоходомъ полный курсъ классической литературы, особенно Римской, и съ этихъ высотъ спускаться къ частнымъ разсказамъ о современныхъ личностяхъ и къ сплетнямъ Парижскихъ и Лондонскихъ салоновъ. Всѣ эти *мотивы* были въ немъ присно-памятны и ему присущи. Стоило только въ разговорѣ прикоснуться къ той или другой струнѣ, и симфонія мыслей и словъ изливалась, то съ величавой стройностью, то съ прихотливой игривостью.

Французъ графъ De-Lagarde, который встрѣтилъ князя Козловскаго въ Вѣнѣ, во время знаменитаго конгресса, удѣлилъ Козловскому нѣсколько страницъ въ своемъ повѣствованіи объ этой исторической эпохѣ. Разсказамъ вообще должно довѣрять съ большою осторожностью. По крайнѣй мѣрѣ, я большой скептикъ по этой части. Особенно разсказы француза должны подлежать строгой браковкѣ. У Французовъ нѣтъ ни Нѣмецкой точности, ни Нѣмецкой добросовѣстности. Въ переводахъ иностранныхъ твореній они позволяютъ себѣ нерѣдко отступать отъ подлинника, искажать и украшать его съ точки Французскаго воззрѣнія и согласно съ потребностями, предразсудками и суевѣріями своихъ родныхъ читателей. Такимъ образомъ, не придавая исключительной и безусловной вѣры въ разсказы нашего автора, мы отчасти воспользуемся ими за неимѣніемъ другихъ, болѣе достовѣрныхъ, убѣдительныхъ матеріаловъ.

Если не ошибаемся, этотъ графъ Де-Лагардъ извѣстенъ былъ въ 1809 или 1810 году, подъ именемъ le chevalier de Messance De-Lagarde. Тогда беззаботная и гостепріимная Москва радушно встрѣчала и угощала пріѣзжихъ иностранцевъ. Чужія стихіи легко смѣшивались съ домашнею и народною стихіею. Онѣ придавали ей разнообразіе и свѣтлые оттѣнки. Messance, какъ и вообще всѣ Французы, былъ словоохотенъ и любезенъ; къ тому-же онъ сочи-

нялъ и пѣлъ романсы, которыхъ заслушивались молодыя красавицы и даже зрѣлыя барыни. Тогда о политикѣ мало думали и въ обществѣ не боялись соглядатаевъ и лазутчиковъ изъ враждебнаго стана. Но правительство не раздѣляло общей безпечности и довѣрчивости къ этому молодому трубадуру. Не знаю на какомъ основаніи и по какимъ причинамъ, но Messance былъ у него на замѣчаніи. Вотъ что приводитъ меня къ подобному заключенію: По кончинѣ отца моего, семейство Карамзина и наше продолжали еще жить открытымъ домомъ; вечеромъ не рѣдко съѣзжалось къ намъ многолюдное общество, заключавшееся въ Московскихъ жителяхъ и пріѣзжихъ. Однажды Карамзинъ получаетъ письмо отъ Дмитріева, который, по приказанію Государя, предваряетъ его въ самыхъ милостивыхъ выраженіяхъ, что онъ напрасно принимаетъ часто въ домѣ своемъ Messance, который человѣкъ неблагонадежный и пріѣхавшій въ Россію съ неблагонамѣренными порученіями и цѣлью. Дѣло въ томъ, что Messance, вездѣ принятый, никогда не вступалъ ногою въ нашъ домъ. Карамзинъ поспѣшилъ передать о томъ Дмитріеву, и разумѣется дѣло тѣмъ и кончилось. Это была просто попытка какого-нибудь досужаго доносчика, клеветника, враждебнаго Карамзину.

Обратимся къ воспоминаніямъ о Вѣнскомъ конгрессѣ графа Де-Лагарда. Вотъ что онъ говоритъ о князѣ Козловскомъ: „Одинъ изъ нашихъ собесѣдниковъ, князь Козловскій, Русскій посланникъ въ Туринѣ, былъ призванъ на конгрессъ государемъ своимъ, чтобы содѣйствовать присоединенію Генуэзской области къ Піемонту. Онъ запивалъ рюмкой Токая каждое шутливое слово и каждую эпиграмму, которыя беззаботно и почти невольно пускалъ онъ то въ свою державу, то въ державу, при которой былъ онъ уполномоченъ. Его открытая и одушевленная физіономія носила на себѣ выраженіе искренности, которая имѣла что-то особенно-привлекательное и рождало желаніе съ нимъ сблизиться. Внукъ человѣка, котораго Екатерина отправила къ Вольтеру, какъ образецъ Русскаго просвѣщенія и Русской вѣжливости, князь Козловскій признанъ былъ однимъ изъ умнѣйшихъ людей этой эпохи, въ которой умъ былъ однакоже не особенная рѣдкость; разговоръ его, исполненный разнообразія, огня и краснорѣчія, могъ бы признанъ быть

совершеннымъ, если бы у него монологъ не слишкомъ часто былъ исключителенъ". Хотя въ этомъ отношеніи словоохотливый Французъ могъ быть пристрастенъ, но должно признаться, что сужденіе его не лишено справедливости. Впрочемъ, эта монологія разговора не должна касаться одного Козловскаго. Всѣ люди, особенно владѣющіе даромъ слова, причастны этой погрѣшности, если можно назвать въ нихъ это погрѣшностью.

Послѣ Вѣнскаго конгресса, князь Козловскій занималъ мѣсто Русскаго посланника при Стутгардскомъ дворѣ. Позднѣе провелъ онъ довольно много времени въ Англіи. Въ сей странѣ, важной и степенной, но въ которой любятъ все поднимать на смѣхъ, былъ онъ предметомъ разныхъ каррикатуръ и ими почти гордился. (Впрочемъ эти каррикатуры относились болѣе до его физическаго сложенія и необыкновеннаго дородства). Такъ, напримѣръ, въ одной изъ нихъ представленъ онъ былъ танцующимъ съ княгиней Ливенъ, которая была очень худощава. Подъ каррикатурою написано было: *долгота и широта Россіи*. Къ этому должно прибавить, что княгиня Ливенъ занимала не только по своему офиціальному положенію, но и по уму и по любезности своей блестящее и почетное мѣсто въ исключительномъ и по преимуществу аристократическомъ Лондонскомъ обществѣ. Разсказываютъ, что Княгиня накликала на себя эту каррикатуру отвѣтомъ своимъ довольно неловкому англичанину, который предлагалъ ей съ нимъ вальсировать: „je ne danse qu'avec mes compatriotes".

Князь Козловскій былъ въ милости у Императора Александра, котораго забавлялъ своими остроумными выходками. Онъ самъ былъ искренно преданъ величію и славѣ своего отечества. Но со всѣмъ тѣмъ мнѣ казалось, что онъ самъ думалъ о возможности попасть въ немилость или даже въ опалу. Такова была сила и мѣткость нѣкоторыхъ его замѣчаній, что говори онъ въ Петербургѣ то, что свободно говорилъ въ Вѣнѣ, не удивился бы я, если бы фельдъегерь и кибитка унесли его въ Сибирь, чтобы тамъ научиться молчаливому умозрѣнію, которое, казалось, должно было быть необходимою принадлежностью его дипломатическаго званія.

Говоря о принцѣ Де-Линь графъ Де-Лагардъ продолжаетъ: „Если при старомъ фельдмаршалѣ любовался я сокровищами его опыт-

ности и благоразумія и этою тонкою, *деликатною* оцѣнкою общества, то находилъ я въ Русскомъ Князѣ возвышенность воззрѣній и независимость выраженій и сужденій о людяхъ и политическихъ событіяхъ, столь рѣдкія между дипломатами. Бесѣда его, исполненная пыла, притягивала къ нему, а искренность его внушала пріязнь и уваженіе".

Далѣе приводитъ нашъ авторъ нѣкоторыя рѣчи князя Козловскаго:

„Знаете ли вы (сказалъ онъ автору) этого прекраснаго кавалера, который прошелъ мимо насъ? Это молодой графъ ***. До нынѣ былъ онъ только извѣстенъ успѣхами своими при дамахъ. Онъ хочетъ быть посломъ. Вы можетъ быть думаете, что онъ много путешествовалъ, что онъ знаетъ свѣтъ, что онъ изучалъ отношенія и свойства потребностей народовъ. Нисколько! Но во всей обстановкѣ и внѣшности его есть какой-то отпечатокъ отличія, а лице его одно изъ тѣхъ, которыя женщинъ сводятъ съ ума. Княгиня ***, которой доброту и чувствительность вы знаете, принимаетъ живѣйшее участіе въ этомъ дипломатическомъ искателѣ: не пройдетъ недѣли, и онъ будетъ посломъ. Такія ли еще чудеса совершитъ конгрессъ!"

„Слышали ли вы (продолжалъ Козловскій) о приключеніи, которое взволновало политическіе салоны? Баронъ Штейнъ, котораго видите вы возлѣ Гарденберга, былъ въ немъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ. Отъ природы горячій и заносчивый, сей государственный человѣкъ никогда не могъ усмирить запальчивость нрава своего, не смотря на соприкосновеніе съ дипломатической средою, въ которой онъ живетъ. Уже не разъ многіе изъ сотоварищей его имѣли поводъ на это жаловаться: восемь дней тому, повѣренный въ дѣлахъ маленькаго Нѣмецкаго принца, незамѣтный полномочный на конгрессѣ, но можетъ быть весьма важное лицо въ краю своемъ, приказываетъ доложить о себѣ Барону. А онъ именно, очень занятый въ это время, хотѣлъ быть одинъ. Посѣтитель скромно входитъ въ кабинетъ его и собирается объяснить ему причину своего посѣщенія съ покорною вѣжливостью, которую предписываетъ ему значеніе представителя великой державы. Сидя за бумагами, Баронъ поднимаетъ глаза и, не спрашивая у новаго посѣтителя

ни имени, ни причины посѣщенія его, яростно кидается на него, беретъ его за воротъ и выталкиваетъ за дверь. Все это совершилось съ быстротою молніи. Между тѣмъ объясненія были потребованы: заносчивый дипломатъ долженъ былъ выразить раскаяніе за неприличный свой поступокъ; но впечатлѣніе еще не вполнѣ изгладилось. Признайтесь, вотъ печальный образчикъ того терпѣнія и того спокойствія, которое рѣшители нашихъ судебъ вносятъ въ свои сношенія и дѣйствія".

Особенною прелестью было въ немъ то, что природа и личность его были, такъ сказать, разносторонни и разнообразны. Онъ принадлежалъ не только двумъ поколѣніямъ, но, можно сказать, двумъ столѣтіямъ, двумъ мірамъ: такъ были разнородны и противорѣчивы преданія, въ немъ зарожденныя и сохранившіяся, и свойства, имъ самимъ нажитыя и благопріобрѣтенныя. Въ немъ былъ и герцогъ Версальскаго двора, и Англійскій свободный мыслитель; въ немъ оттѣнялись утонченная вѣжливость, и нѣсколько искуственныя, но благовидныя пріемы только что угасшаго общежитія, и независимость, плодъ новаго вѣка и новаго общественнаго порядка. Вмѣстѣ съ тѣмъ Европейское обращеніе въ круговоротахъ жизни не стерло съ него Русской оболочки; но сохранилъ онъ Русское добродушіе и нѣсколько свойственное ей Русское легкомысліе; вмѣстѣ съ тѣмъ терпимость космополита, который вездѣ перебывалъ, многое и многихъ зналъ и видѣлъ, если не всегда дѣятельно участвовалъ въ событіяхъ, то прикасался къ нимъ и, такъ сказать, около нихъ терся. Такія условія сберегаютъ и застраховываютъ человѣка отъ исключительности въ мнѣніяхъ и сужденіяхъ. Есть люди, которые всецѣло принадлежатъ къ своему поколѣнію и прикованы къ своему времени. Твердости и глубинѣ ихъ убѣжденій не рѣдко соотвѣтствуютъ мелкость ихъ понятій и ограниченность объема ихъ умозрѣнія. Они стѣснены и втиснуты въ раму, которая облегаетъ ихъ со всѣхъ сторонъ. Это Чацкіе, которые плотно сидятъ на конькѣ своемъ и ѣдутъ все прямо, не оглядываясь по сторонамъ. То ли дѣло Онѣгины! Это личности гораздо сочувственнѣе и ближе къ человѣческой природѣ. Въ нихъ встрѣчаются противорѣчія, уклоненія: тѣмъ лучше. Въ этой зыбкости есть болѣе человѣческой правды, нежели въ людяхъ, безусловно вылитыхъ *въ*

одну форму. Одни живые, хотя и шаткіе люди; другіе, пожалуй, и самородки, но необточенные и не приспособленные къ употребленію.

Князь Козловскій долго не жилъ въ Россіи. Въ Петербургѣ новое поколѣніе и люди новаго порядка не знали его, столь извѣстнаго въ царствованіе Императора Александра. Старые люди успѣли забыть о немъ, или помнили только нѣкоторыя его странности, рѣзкія сужденія и острыя слова. Большія столицы не долго памятливы; особенно у нихъ справедлива Французская пословица, что отсутствующій виноватъ. Въ этомъ отношеніи Петербургъ не уступитъ ни на волосъ прочимъ блестящимъ Европейскимъ столицамъ. Здѣсь осуществляется и увѣковѣчивается вымыселъ древняго баснословія: Сатурнъ пожираетъ дѣтей своихъ. Петербургъ многихъ изъ нихъ имѣетъ на совѣсти и на желудкѣ своемъ.

Какъ бы то ни было, когда Козловскій возвратился въ Петербургъ послѣ многолѣтняго отсутствія, онъ нашелъ, что хваленое старое Русское гостепріимство и хлѣбосольство сошли уже въ преданіе давно минувшихъ лѣтъ. Первая эта пора была для него тягостна, и при всемъ добродушіи его было ему нѣсколько обидно и досадно. Мы уже выше указали на причину этого недружелюбнаго пріема. Тутъ ничего не было обдуманнаго, а дѣлалось оно какъ-то само-собою. Иные можетъ быть и опасались Козловскаго и остерегались впустить въ среду свою человѣка, отвыкшаго отъ Россіи, подозрѣвая въ немъ даже мало къ ней сочувствія. Боялись въ немъ либерала, острослова и даже, такъ сказать, нѣсколько враждебнаго соглядатая того, что дѣлается въ домашней средѣ. Все это, разумѣется, было тягостно для баловня блестящихъ и высшихъ салоновъ Европейскихъ, предъ которымъ двери растворялись вездѣ настежъ и знакомства котораго жадно искали и государственные люди, и просвѣщенные вельможи, и блестящія представительницы Европейской любезности и утонченнаго общежитія. Онъ нашелъ въ Петербургѣ, кромѣ родственниковъ своихъ, и нѣкоторыхъ (въ ограниченномъ числѣ) вѣрныхъ пріятелей. Для него этой малой аудиторіи было недостаточно. Подобно знаменитой Каталани, которая, въ пребываніе свое въ Петербургѣ, не могла довольствоваться пѣть въ концертныхъ залахъ, а захотѣла пѣть и

пѣла въ обширной биржевой залѣ, и ему нужны были просторъ и многочисленные слушатели. Онъ часто передавалъ мнѣ сѣтованія скорби своей. Наконецъ является онъ ко мнѣ однажды съ нѣсколько просвѣтленнымъ лицомъ. Я угадалъ, что было въ немъ выраженіемъ успѣха. Что же оказалось? Онъ почти торжественно объявляетъ мнѣ, что льдиная преграда пробита, и что по приглашенію Шишкова обѣдаетъ онъ у него сегодня.

Свыкшійся съ Европейскими понятіями, онъ думалъ, что членъ государственнаго совѣта, бывшій министръ просвѣщенія, президентъ академіи долженъ занимать въ обществѣ и высокое, и передовое мѣсто. Смѣясь, вынужденъ я былъ разсѣять его обольстительное заблужденіе. Мой бѣдный Козловскій впалъ опять въ уныніе. Мнѣ стало жаль его, а дѣлать нечего.

Здѣсь кстати замѣтить, и не безъ удивленія, что въ Россіи, въ этой странѣ, по преимуществу странѣ чина, чиновъ и чиновниковъ, въ обществѣ, по крайней мѣрѣ въ избранномъ и высшемъ, табель о рангахъ не имѣетъ никакого значенія. Лордъ Ярмутъ, бывшій въ Петербургѣ, забавно говорилъ, что онъ очень хорошо принятъ въ домѣ красавицы VI-го класса, которая живетъ въ 14-й линіи. Эта шутка нисколько не опровергаетъ выставленнаго мною указанія. Петербургское общество едва-ли не самое демократическое въ Европѣ. Условія мѣстничества и другихъ боярскихъ преимуществъ давнымъ давно уже забыты и не оставили слѣда на перепаханной и уравненной почвѣ. Императрица Екатерина спросила однажды стараго генерала: растолкуйте мнѣ, пожалуйста, какая разница между единорогомъ и пушкою? О! разница большая, Матушка Государыня, отвѣчалъ тотъ: пушка сама по себѣ, а единорогъ самъ по себѣ. Ага, теперь понимаю, сказала улыбаясь Екатерина. Такъ и въ нашемъ обществѣ: чины сами по себѣ, а люди сами по себѣ. Могутъ быть модные министры и модные генералы, но не всѣ генералы бываютъ львами Петербургскихъ салоновъ. Спросите любую хозяйку, какого чина тотъ или другой гость, и она съ изумленіемъ посмотритъ вамъ въ глаза, ничего не пойметъ въ вашемъ тарабарскомъ вопросѣ и подумаетъ, что вы рехнулись съ ума. По привычкѣ и по застарѣвшимъ предразсудкамъ многіе у насъ не имѣютъ о томъ яснаго понятія. Въ этомъ отношеніи особенно отличаются анахро-

низмами нѣкоторые изъ нашихъ нравоописателей и нравоучителей. Въ романахъ и драмахъ своихъ они съ особеннымъ мужествомъ и ожесточеніемъ ратуютъ противъ этой мнимой нашей общественной олигархіи. Имъ особенно пріятно и будто вмѣняется въ обязанность выставлять глущомъ каждое превосходительство, а ужъ тѣмъ паче каждое высокопревосходительство. Они думаютъ, что совершаютъ тѣмъ гражданскій подвигъ и отмщаютъ общество за наложенное на него униженіе. Генералитетъ туманитъ ихъ глаза и понятія. Не беру на себя отвѣтственности отстаивать умъ каждаго генерала. Помню слова Ланжерона, имъ кому-то сказанныя на полѣ сраженія: *Вы пороху не боитесь, но вы его и не выдумали;* а у нашихъ авторовъ идетъ въ этомъ отношеніи поголовщина и погенеральщина. Въ этомъ-то и есть ихъ ошибка. Все это выходитъ изъ того, что они мало знаютъ. Все это привидѣнія и кикиморы ихъ запуганнаго и провинціальнаго воображенія.

Но пора возвратиться къ Козловскому. Къ удовольствію нашему, мы находимъ его въ лучшемъ положеніи. Дни его тяжкаго испытанія и опалы приходили къ концу. Вскорѣ былъ онъ самымъ блестящимъ образомъ вознагражденъ за свое долготерпѣніе. Двери Михайловскаго Дворца гостепріимно и радушно раскрылись предъ нимъ. Великій Князь Михаилъ Павловичъ вѣроятно гдѣ-нибудь встрѣтился съ нимъ во время перваго заграничнаго своего путешествія. Узнавъ о пребываніи Козловскаго въ Петербургѣ, онъ пригласилъ его къ себѣ. Это первое сближеніе не могло оставаться случайнымъ. Великій Князь и Великая Княгиня, какъ и должно было слѣдовать, оцѣнили умъ, любезность и своеобразность Козловскаго. Онъ вскорѣ сдѣлался приближеннымъ и почти домашнимъ при этомъ Дворѣ. Великаго Князя немногіе знали: многіе неспособны были убѣдиться въ благородствѣ чувствъ и характера его, въ прямотѣ и ясности ума и увлекательности простосердечнаго обхожденія его. Его болѣе знали по строгости воззрѣній его на военную дисциплину и по частымъ примѣненіямъ этихъ воззрѣній къ общимъ и частнымъ случаямъ. Но и тутъ эта строгость, можетъ быть, доводимая иногда до крайности, была въ немъ слѣдствіемъ высокаго чувства отвѣтственности, которую сознавалъ онъ въ себѣ предъ Государемъ своимъ и общественнымъ благоустрой-

ствомъ. Что-же касается собственно до него, то сердце его никогда не участвовало въ дѣйствіяхъ строгости и въ порывахъ вспыльчивости его. Напротивъ, оно часто, помимо воли и умозаключеній его, заступалось и ходатайствовало съ успѣхомъ за минутныя жертвы правилъ, которыя онъ предписалъ себѣ и которыхъ держался какъ нужныхъ и необходимыхъ узаконеній. Какъ бы то ни было, въ сношеніяхъ внѣ служебныхъ и частныхъ нельзя было найти человѣка болѣе обходительнаго, болѣе доступнаго къ выраженію мнѣній независимыхъ и иногда встрѣчавшихъ въ немъ искренняго и добросовѣтнаго опровергателя.

Впрочемъ, вопросъ о военной дисциплинѣ въ войскахъ и о примѣненіи теоретическихъ правилъ ея въ дѣйствительности есть важный государственный вопросъ, который еще не единогласно и не окончательно рѣшенъ ни военными спеціалистами, ни знаменитыми полководцами. Разумѣется, онъ не подлежитъ здѣсь нашему разсмотрѣнію. Мы только мимоходомъ затронули его въ связи съ характеристическимъ очеркомъ Его Высочества. Я имѣлъ счастіе пользоваться особеннымъ благоволеніемъ Великаго Князя. Онъ нерѣдко бывалъ у насъ по вечерамъ, и присутствіе его нисколько не стѣсняло ни нашего семейнаго круга, ни обыкновенныхъ нашихъ посѣтителей. Напротивъ, оно оживляло и разнообразило наши бесѣды. Ближайшими посѣтителями нашими въ то время были: Арзамасецъ нашъ и бывшій дипломатъ Полетика, котораго Великій Князь, охотникъ до прозвищъ, называлъ всегда monsieur le fallacieux diplomate, графъ Михаилъ Віельгорскій, Жуковскій, котораго Великій Князь особенно любилъ и уважалъ, и еще кое-кто изъ нашихъ пріятелей; разумѣется, что когда Козловскій находился въ Петербургѣ, онъ былъ непремѣннымъ членомъ этого тѣснаго пріятельскаго кружка. Бывали и дамы. Великій Князь не требовалъ никакихъ исключеній въ вечернихъ нашихъ пріемахъ. Разговоръ касался до всего и на лету затрогивалъ и важные вопросы, и просто житейскіе. Помню, что однажды шли пренія о смертной казни, противъ которой и Великій Князь подавалъ свой голосъ. Онъ свободно и часто съ особенной живостью и мѣткостью выражался на Русскомъ языкѣ и на Французскомъ, пересыпая рѣчи свои каламбурами, не только Французскими, но и Русскими, и ча-

сто весьма удачными. Особенно мастеръ былъ онъ разсказывать. Память его была неистощима. Когда-же измѣняла она ему и забывалъ онъ имя какой-нибудь личности, мнѣ случалось получать отъ него на другое утро записку съ приведеніемъ имени, которое наканунѣ не могъ онъ припомнить. Онъ обладалъ необыкновеннымъ даромъ и искусствомъ мимики. Выраженіе лица его, голосъ, ужимки, все въ разсказѣ его олицетворяло личность, которую онъ хотѣлъ представить. Помню, съ какимъ одушевленіемъ, можно сказать, съ какою живописью въ словахъ вызывалъ онъ предъ нами сцены, которыя происходили предъ сдачею Варшавы въ 1831 году. Я зналъ многія изъ Польскихъ личностей, которыя выводилъ онъ въ разсказѣ своемъ, и могъ вполнѣ оцѣнить вѣрность и мѣткость его характеристической съемки. Особенно живо былъ представленъ заносчивый генералъ Крюковецкій, который, въ присутствіи Великаго Князя, вмѣсто возраженій на дѣлаемыя предложенія, ударилъ кулакомъ по столу, съ нарушеніемъ приличій, требуемыхъ важностью совѣщаній. Встрѣтясь у насъ однажды съ госпожею Тютчевою (первою супругою Ѳедора Ивановича), пріѣхавшею изъ Мюнхена, онъ весь пересоздалъ себя въ короля Лудвига Баварскаго, извѣстнаго своими странными ухватками и причудами. Тютчева говорила, что ей кажется, что она не въ Петербургѣ, а въ Мюнхенѣ.

Великая Княгиня Елена Павловна, само собою разумѣется, раздѣляла сочувствіе супруга своего къ Козловскому. Она не могла не оцѣнить вполнѣ умъ его и не увлечься богатыми и разнообразными свойствами этой замѣчательной личности. Напротивъ, съ тонкою женскою проницательностью вскорѣ угадала она, что при этомъ блестящемъ умѣ было и доброе сердце, и всѣ внутреннія качества, которыя, такъ сказать, пополняютъ дары ума и придаютъ силѣ его какую-то еще болѣе привлекательную прелесть.

Князь Козловскій сдѣлался своимъ и домашнимъ человѣкомъ не только въ Михайловскомъ Дворцѣ, но и въ загородныхъ домахъ Ихъ Высочествъ имѣлъ съ ними свое лѣтнее пребываніе. Если они были къ нему благосклонны, то и онъ отвѣчалъ имъ вполнѣ неограниченною преданностью своего любящаго и признательнаго сердца. Великая Княгиня была къ нему такъ внимательна, что,

зная его любовь къ наукамъ и съ цѣлью разнообразить кругъ ихъ ежедневныхъ бесѣдъ, давала въ честь его академическіе обѣды, приглашая на нихъ наши ученыя знаменитости. Тутъ Козловскій изъ дипломата, изъ блестящаго свѣтскаго человѣка, воспитаннаго всѣми избраннѣйшими салонами Европейскими, дѣлался настоящимъ профессоромъ и углублялся во всѣ тайны науки.

Мы уже сказали, что кромѣ познаній своихъ по части исторіи онъ обладалъ и обширными свѣдѣніями въ области точныхъ наукъ. Вотъ тому, между прочимъ, доказательство, переданное мнѣ А. В. Веневитиновымъ. Онъ предложилъ ему однажды ѣхать на экзаменъ въ Институтъ Путей Сообщенія. Они усѣлись въ третьемъ или четвертомъ ряду. Козловскій, вслушавшись въ задаваемые ученикамъ вопросы и отвѣты ихъ, не утерпѣлъ и вмѣшался въ прения. Вопросы его и замѣчанія далеко выходили изъ ряда обыкновенныхъ и свидѣтельствовали о такой учености, что обратили на него (никому тутъ неизвѣстнаго) общее вниманіе и въ особенности графа Толя, бывшаго тогда управляющимъ этого министерства. Онъ нѣсколько разъ съ мѣста своего оборачивался и съ удивленіемъ вглядывался въ лицо, ему совершенно незнакомое. Послѣ экзамена просилъ онъ Веневитинова представить его Козловскому и въ лестныхъ словахъ выразилъ ему свое къ нему уваженіе.

Императоръ Николай Павловичъ, вѣроятно, не имѣлъ сначала особеннаго благорасположенія къ Козловскому. Его двадцатилѣтнее и болѣе пребываніе за-границею, молва о его рѣзкихъ и не всегда, по мнѣнію Государя, правомыслящихъ сужденіяхъ, однимъ словомъ, молва о крайнемъ либерализмѣ его, все это служило камнями преткновенія, которые Козловскому трудно было переступить.

Между тѣмъ, вотъ что записано было Козловскимъ въ Добберанѣ *), вѣроятно, въ 1825 г., о тогдашнемъ Великомъ Князѣ Николаѣ Павловичѣ, который туда пріѣзжалъ:

„Великій Князь получилъ отъ природы высшій даръ, который можетъ она удѣлить призваннымъ судьбою быть выше другихъ: никогда въ жизни моей не видалъ я лица и осанки болѣе благо-

*) Отрывокъ изъ записокъ князя Козловскаго, написанный имъ по поводу посѣщенія великой герцогиней Мекленбургъ-Шверинской Добберана.

родныхъ. Обыкновенныя выраженія физіономіи его имѣютъ что-то строгое и мизантропическое, предъ которымъ становится какъ-то неловко. Улыбка его есть улыбка благоволенія, но въ ней не видать слѣда веселости. Привычка его повелѣвать собою такъ срднилась со всѣмъ его существомъ, что вы не замѣчаете въ немъ ни малѣйшаго принужденія, ничего изысканнаго и изученнаго, а между тѣмъ всѣ его слова, какъ и движенія его, подчиняются какому-то *размѣру* (sont cadencés), какъ-будто предъ нимъ листъ бумаги съ музыкальными нотами. Удивительная и чудная вещь вся его *постановка*. Онъ говоритъ съ живостью, съ простотою и приличіемъ совершеннымъ; все, что онъ говоритъ—умно; нѣтъ ни пошлой шутки, ни слова оскорбительнаго или неумѣстнаго; ничего нѣтъ въ голосѣ его или въ составленіи его фразы, что указывало-бы на гордость или притворство, а между тѣмъ вы чувствуете, что его сердце заперто, что эта преграда недоступна и что безумно было-бы надѣяться проникнуть въ сокровенность мыслей его, или пріобрѣсть его полную довѣренность". (Тутъ далѣе Козловскій, съ предвзятыми своими соображеніями, приписываетъ этотъ видъ сдержанности и недовѣрчивости Русскому Двору, запечатлѣнному Меншиковыми и Остерманами, и гдѣ съ ихъ временъ и до нынѣ коварство и *интрига* безпрестанно, какъ зміи, свистятъ въ уши Царственныхъ Особъ). Какъ-бы то ни было, физіономія Великаго Князя такъ величественна и благородна, что я не могъ оторваться отъ нея и все любовался ею. Если мои историческія впечатлѣнія вѣрны, то онъ мнѣ *являлся* Людовикомъ XIV, преобразованнымъ духомъ нашего вѣка. Великій Князь занимается не только подробностями по части военной, но, сказываютъ, что онъ и отличный инженеръ и, слѣдовательно, хорошій математикъ. Окружающіе его увѣряли меня, что онъ обладаетъ въ высшей степени этою силою внимательности, которая, по знаменитому опредѣленію Montesquieu, не что иное, какъ геній. Одно характеристическое слово, которое можетъ быть примѣнимо ко всѣмъ членамъ Императорскаго Дома, такъ живо сохранилось въ памяти моей, что кажется и теперь слышу его. Рѣчь шла о Парижѣ: Онъ говорилъ мнѣ, что и не предвидитъ возможности туда съѣздить, развѣ, прибавилъ онъ (это было въ послѣдніе мѣсяцы жизни Людовика XVIII), что меня по-

шлютъ поздравить новаго Короля. Но Ваше Императорское Высочество слишкомъ высоко стоите, чтобъ исполнить такое порученіе, возразилъ я ему. Нисколько, отвѣчалъ онъ: могутъ послать меня, какъ и всякаго другаго. Это, такъ-сказать, умаленіе личности своей встрѣчается во всѣхъ Великихъ Князьяхъ; оно имѣетъ свой недостатокъ. Не есть ли это уничтоженіе всего прочаго, когда и сами Великіе Князья не имѣютъ никакого права и преимущества, сродныхъ и присущихъ ихъ высокому рожденію? Что же остается послѣ на долю чувства самобытности всякой частной личности? Великій Князь ограничилъ себя до нынѣ дѣятельностью генерала; но все доказываетъ, что ему сродно быть со временемъ и государственнымъ человѣкомъ. Если онъ кончитъ жизнь свою, не ознаменовавъ ее великими дѣяніями, то это покажетъ, что онъ не исполнилъ своего призванія, потому что природа одарила его качествами тому приличными. Великій Князь любитъ супругу свою, какъ онъ дѣлаетъ и все, просто и благородно. Онъ не расточаетъ этихъ обыкновенныхъ ласкъ, не выказываетъ этой малодушной нѣжности, которыя приличны только пастушку, увѣнчанному миртами. Пріязнь его и преданность къ ней имѣютъ отпечатокъ мужества, силы, искренней выразительности, которыя тѣмъ болѣе достойны уваженія, что онѣ рѣдко встрѣчаются въ этихъ верховныхъ слояхъ".

Государь увидалъ однажды Козловскаго на вечерѣ въ Михайловскомъ Дворцѣ. Козловскій, послѣ паденія своего въ Варшавѣ, былъ слабъ на ногахъ, худо владѣлъ ими и съ трудомъ ходилъ на костыляхъ. Онъ сидѣлъ въ углу комнаты. Государь, замѣтивъ его, прямо подошелъ къ нему. Козловскій, разумѣется, съ усиліями хотѣлъ встать предъ нимъ. Николай Павловичъ мощною дланью своею усадилъ его. Козловскій повторялъ свои попытки. Государь — свои сопротивленія. Помилуйте, Государь, сказалъ Козловскій: когда сижу предъ вами, мнѣ кажется, что шестьдесятъ милліоновъ подданныхъ лежатъ у меня на плечахъ.

Великій Князь Михаилъ Павловичъ, при этой борьбѣ, смѣясь сказалъ: посмотрите на Оконеля въ подобострастномъ замѣшательствѣ.

Государь продолжалъ съ нимъ милостиво разговаривать. Онъ

спросилъ его, зачѣмъ хочетъ онъ поселиться и служить въ Варшавѣ. „Чтобы проповѣдывать Полякамъ любовь къ Вашему Величеству и къ Россіи“. „Ну,“ сказалъ ему на то Императоръ, улыбаясь: „какъ вы ни умны, а при всемъ умѣ и дарованіяхъ вашихъ, вѣроятно, цѣли вы своей не достигнете“.

Послѣ того Козловскій бывалъ и при Большомъ Дворѣ. Былъ маскарадъ въ Аничковскомъ Дворцѣ. Въ числѣ приглашенныхъ и участниковъ находился и Козловскій. Помнится мнѣ, былъ онъ въ числѣ посольства, присланнаго отъ Китайскаго Императора. По окончаніи маскарада, далеко за полночь, пріѣхалъ онъ ко мнѣ съ Михаиломъ Віельгорскимъ выкурить сигарку и дать отчетъ въ праздникѣ. Главнымъ впечатлѣніемъ изъ него вынесъ онъ, что преобразованія Петра Великаго, даже въ отношеніи къ одеждѣ, были благотворны и необходимы. И вотъ на чемъ онъ свое заключеніе основывалъ: двое изъ лицъ высокопоставленныхъ были наряжены Русскими боярами. Они такъ плотно вошли въ свою роль и въ свое платье, что безсознательно и невольно клали земные поклоны. При появленіи Государя, они, для соблюденія вѣрности въ мѣстныхъ и современныхъ краскахъ, повалились въ ноги Императору. Государю, казалось, было это непріятно, а Козловскаго, воспитаннаго въ новѣйшихъ западныхъ обычаяхъ, это поразило прискорбно и глубоко. На эту тему, съ обычной своей живостью и краснорѣчіемъ, цѣлый часъ оправдывалъ онъ мѣры, принятыя Петромъ I. „Платья“, говорилъ онъ, „не безъ вліянія на нравы. Этимъ двумъ господамъ“, продолжалъ онъ, „получившимъ хорошее воспитаніе, образованнымъ, никогда не могла бы придти въ голову эта азіатская выходка, если были бы они иначе одѣты“.

Само собою разумѣется, что разъ водворенный въ Михайловскій Дворецъ, Козловскій получилъ право гражданственности и во всѣхъ салонахъ избраннаго Петербургскаго общества. Онъ снова попалъ въ свою стихію и наслаждался своимъ положеніемъ. Но худое состояніе здоровья его часто препятствовало ему вполнѣ предаваться своимъ свѣтскимъ увлеченіямъ. Онъ по недѣлямъ долженъ былъ сидѣть дома. Мы тогда съ Жуковскимъ часто навѣщали его и заставали то въ ванной, то на кровати. Не смотря на участіе въ его недугахъ, нельзя было безъ смѣха видѣть барах-

тавшуюся въ водѣ эту огромную человѣческую глыбу. Здѣсь можно кстати употребить это прилагательное *огромное*, которое такъ часто и неумѣстно нынѣ у насъ употребляется. Предъ нами копошился морской тюлень допотопнаго размѣра. До цинизма доходящее неряшество обстановки комнаты его было изумительно. Тутъ ужъ не было ни малѣйшаго слѣда, ни тѣни англоманіи. Онъ лежалъ въ затасканномъ и засаленномъ халатѣ; изъ-за распахнувшихся халата и сорочки выглядывала его жирная и дебелая грудь. Столъ обставленъ и заваленъ былъ головными щетками, окурками сигаръ, объѣдками кушанья, газетами. Стояли стклянки съ разными лѣкарствами, графины и недопитые стаканы разнаго питья. Въ нелицемѣрной простотѣ виднѣлись здѣсь и тамъ посуда, вовсе не столовая, и мебель, вовсе не салонная. Въ такомъ безпорядкѣ принималъ онъ и дамъ, и еще какихъ дамъ, Господи прости! Самыхъ изящныхъ и самыхъ высокорожденныхъ. Но все это забывалось и исчезало при первомъ словѣ чародѣя, когда онъ въ живой и остроумной бесѣдѣ расточалъ сокровища своихъ воспоминаній и наблюденій, а иногда и парадоксальныхъ сужденій о событіяхъ и людяхъ.

Въ Козловскомъ была еще другая прелесть, сказалъ бы я, другой талисманъ, если бы сравненіе это не было слишкомъ мелко и не подъ ростъ ему; скажемъ просто, была особенно-притягательная сила, и эта сила (смѣшно сказать, но оно такъ) заключалась въ его дородствѣ и неуклюжествѣ. Толщина, при нѣкоторыхъ условіяхъ, носитъ на себѣ какой-то отпечатокъ добродушія, развязности и какого-то милаго неряшества; она внушаетъ довѣріе и благопріятно располагаетъ къ себѣ. Надъ толщиною не насмѣхаешься, а радушно улыбаешься ей. Съ нею обыкновенно соединяется что-то особенно комическое и располагающее къ веселости. Впрочемъ, я увѣренъ, что въ тѣлесномъ сложеніи и сложеніи внутреннемъ и духовномъ есть какія-то прирожденныя сочувствія и законныя соразмѣрности. Крыловъ, напримѣръ, долженъ былъ быть именно такимъ, какимъ онъ былъ, чтобы написать многія свои басни. Слогъ есть выраженіе человѣка: Le style c'est l'homme, давно сказано; и не только нравственный человѣкъ, но и физическій, не только внутренній, но и внѣшній. Для знавшихъ Крылова нѣко-

торыя изъ басенъ его не имѣли бы половины успѣха, если былъ бы онъ худощавый и поджарый. Плоды, которые онъ приносилъ, много выигрывали отъ дерева, которое ихъ произростало. Пушкинъ, родись въ физическихъ условіяхъ Крылова, не написалъ бы многаго изъ того, что онъ написалъ.

С.

ОЗЕРОВЪ.

1869.

Имя Озерова, какъ ни суди о степени драматическаго дарованія его, котораго самобытность впрочемъ никакъ отрицать нельзя, занимаетъ свѣтлое, если не единственное, мѣсто въ лѣтописяхъ Русской трагедіи, по крайней мѣрѣ той, которую мы привыкли называть классическою. Многіе и многіе годы онъ безраздѣльно господствовалъ на трагической сценѣ театра нашего. Трагедія его: *Эдипъ*, *Фингалъ*, *Дмитрій Донской* были любимыми представленіями публики обѣихъ столицъ. Замѣчательно, что наша публика, средняя и низшая (или высшая, т.-е. сидящая въ амфитеатрѣ и въ райкѣ), едва-ли не предпочитаетъ трагедію всѣмъ другимъ отраслямъ драматическаго искусства. Смѣяться можетъ она и даромъ: а если заплатитъ деньги, то хочетъ, чтобъ ее заставляли плакать или вздрагивать отъ ужаса. Какъ бы то ни было, трагедіи Озерова удовлетворяли требованіямъ зрителей образованныхъ и полуобразованныхъ. Онѣ не только возбуждали общее сочувствіе, но имъ обязаны были образованіемъ актеры, воспитывавшіе искусство свое, такъ сказать, въ школѣ Озерова. Достаточно назвать Семенову. Ея умная, понятливая игра, ея вѣрное и глубокое чувство, выразительный, сладкозвучный и обработанный голосъ, не говоря о женской прелести, которою была она одарена, все оставило въ памяти знавшихъ ее сильное впечатлѣніе: это впечатлѣніе не было послѣ ни ослаблено, ни замѣнено другими новѣйшими впечатлѣніями. Съ Озеровымъ и

Семеновой, какъ будто умерла только что родившаяся Русская трагедія.

Послѣднее произведеніе Озерова, *Поликсена*, не имѣло, какъ извѣстно, успѣха. Въ представленіи видѣть ее мнѣ не случилось; но если и въ самомъ дѣлѣ она потерпѣла пораженіе отъ невнимательности и холодности публики, то скажемъ откровенно, что это пораженіе не приноситъ чести зрителямъ. Они не умѣли оцѣнить трагедію, которая, и по содержанію и по языку, есть безъ сомнѣнія, лучшее произведеніе Озерова. Впрочемъ, если оно было и такъ, то окончательно и безусловно нельзя обвинять и публику нашу. Сколько и въ другихъ литературахъ видимъ драматическихъ твореній, которыя не съ перваго шага вступили твердою ногою на сцену. Напомнимъ между прочимъ *Федру* Расина. Публика часто, если не всегда, своенравна. Сегодняшній ея восторгъ не ручается за успѣхъ завтрашняго дня. Съ другой стороны, и гнѣвъ ея не рѣдко обращается на милость.

Поликсену давали только два раза. Потомъ сдали ее въ театральный архивъ, на томъ основаніи, что принесла она Дирекціи только 1846 руб. 25 к. Этотъ рублевый и копѣечный разсчетъ, этотъ взглядъ на выручку театральной кассы, уже черезчуръ несовмѣстны со взглядомъ, который должно обращать на творенія искусства. Развѣ театръ одно промышленное и торговое заведеніе? Театръ долженъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ, и прежде всего, изящнымъ и просвѣщеннымъ развлеченіемъ публики; кромѣ того, по возможности нравственнымъ и художественнымъ училищемъ ея. Не однимъ прихотямъ публики долженъ онъ себя подчинять. Есть у него и другое, высшее призваніе. Часто, и вопреки ей самой, обязанъ онъ очищать, облагораживать ея понятія, ея требованія и наклонности. Обязанъ онъ возвышать уровень ея вкуса, воспитывать его; однимъ словомъ, такъ образовать публику, чтобы она съ просвѣщенною взыскательностію вызывала и порождала великихъ авторовъ и великихъ актеровъ.

Мы вовсе не принадлежимъ къ числу театральныхъ законодателей и блюстителей общественнаго благочинія, которые исключительно смотрятъ на театръ, какъ на исправительный и смирительный домъ, куда нужно засаживать публику для укрощенія и

наказанія человѣческихъ пороковъ. Мы вовсе не расположены проповѣдывать такое строгое, одностороннее и уголовно-драматическое ученіе. По мнѣнію нашему, нѣтъ никакой бѣды, нѣтъ никакого грѣха забавлять иногда публику даже и шуточными представленіями, фарсами, пародіями и т. д. Мы даже осмѣливаемся думать, что иныя, такъ называемыя нравоучительныя и народныя драмы, гдѣ человѣческая испорченная природа выставляется во всей своей сырой и *реальной* наготѣ, во всей своей соблазнительной истинѣ (и то частной и случайной) гораздо вреднѣе и пагубнѣе могутъ дѣйствовать на публику и развращать ея чувственность и понятія, нежели всѣ *Прекрасныя Елены* и всевозможныя причуды и шалости, выводимыя на сцену изобрѣтательностію и плодовитостію Офенбаха и его школы. Въ этихъ шуткахъ, если не всегда цѣломудренныхъ, по крайней мѣрѣ не оскорбляется человѣческое и Русское чувство безобразными и дикими картинами, списанными будто съ народнаго быта. Во всякомъ случаѣ, мало ли что есть въ народномъ и человѣческомъ бытѣ? Мало ли что есть и въ природѣ неблаговиднаго и отвратительнаго? Искусству незачѣмъ кидаться съ жадностію на эти непотребства и печальныя исключенія. Нѣкоторые драматурги, выставляя пьянаго негодяя и безстыдную жейщину, думаютъ, что драма у нихъ уже и готова. Предпочитаемъ шутки, выдаваемыя за шутки, всѣмъ этимъ притязаніямъ на какое-то преподаваніе народной нравственности въ образцахъ распутства и чувственной развратности. Но при этомъ изъявленіи широкой терпимости нашей въ отношеніи къ драматическимъ шуткамъ, мы все же окончательно думаемъ, что театръ прежде и выше всего долженъ поощрять, цѣнить и оглашать изящныя произведенія чистаго и благороднаго искусства. Внутреннее наслажденіе, развиваемое въ насъ зрѣлищемъ прекраснаго, имѣетъ уже въ себѣ свою образовательную и нравственную силу. Музыка ничему не учитъ, никакой порокъ не обличаетъ и не клеймитъ, не выставляетъ намъ образцовъ добродѣтели, которымъ слѣдуетъ подражать: но впечатлительная и чувствительная душа не безъ пользы подчиняется ея вдохновительному и благотворному дѣйствію и очарованію.

Въ „Дѣлѣ о Поликсенѣ“, которое отыскалъ И. П. Варпаховскій и за сообщеніе котораго мы ему обязаны и весьма благо-

дарны, никакое Озерову враждебное имя не проглядываетъ изъ подъ канцелярской тайны. Все въ порядкѣ, и все ведено какъ слѣдуетъ. Но не чуется ли, не подразумѣвается ли, что тутъ невидимо скрыта какая-то недобрая сила и лукавая цѣль? Вотъ вопросъ, на который желали бы мы дать правдоподобное и удовлетворительное объясненіе.

Рѣшителями тяжбы, проигранной Озеровымъ, являются: А. Л. Нарышкинъ, князь А. Н. Голицынъ и окончательно Императоръ Александръ. Руководствуясь теоріей вѣроятностей, постараемся изслѣдовать: могли ли эти личности, по собственному побужденію и убѣжденію, постановить приговоръ, который всею своею безпощадною строгостію и, можно сказать, несправедливостію долженъ былъ обрушиться на голову несчастнаго Озерова?

Мы Нарышкина знали: да и кто, по крайней мѣрѣ, по слухамъ не зналъ и не знаетъ его? Онъ былъ добродушный, привѣтливый, беззаботный, веселый баринъ стараго покроя. Онъ былъ очень остеръ и мастеръ играть словами. Слова и остроты его переносились изъ Петербурга во всѣ края Россіи. Если собрать ихъ, вышла бы порядочная и очень веселая *Нарышкиніана*. Но при этихъ привлекательныхъ качествахъ, уже никакъ нельзя было назвать его скопидомомъ. Расточительность его, до разстройства значительныхъ и богатыхъ помѣстій, извѣстна столько же, сколько и его шутки и побасенки. Онъ самъ шутилъ надъ нею, надъ собою и надъ своими заимодавцами.

Однажды на великолѣпномъ праздникѣ у него въ домѣ, Императоръ Александръ, похваляя устройство и пышность праздника, сказалъ ему: „А порядочно все это должно тебѣ стоить?“—Нѣтъ, Ваше Величество, отвѣчалъ Нарышкинъ, не болѣе 25-ти рублей, —„Какъ 25-ти рублей?“ — Которые придется мнѣ заплатить за вексельную бумагу.

Приглашенный на вечеръ къ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, пріѣхалъ онъ, не имѣя на себѣ Андреевской звѣзды, алмазами украшенной, Императрица шутя ему о томъ замѣтила. „Mes diamants, Madame, сказалъ онъ, s'excusent de ne pouvoir se présenter à V. M. Ils sont *engagés ailleurs* *).

*) Непереводимая игра словъ: значеніе Французскаго слова *engagér* отвѣчаетъ двумъ нашимъ: *пригласить* и *заложить*.

Когда-то при немъ разговорился я съ кѣмъ-то о драматическихъ переводахъ. Онъ вслушался и перебилъ нашу рѣчь: „Переводите все что вамъ угодно, и Расина и Вольтера, только прошу покорно, не переводите на меня долговъ: у меня и своихъ довольно".

Нисколько не желая оскорбить память любезнаго человѣка и задѣть укоромъ гражданскую честность его, можно себѣ однакоже дозволить вопросъ: при такой личной расточительности и при такомъ презрительномъ взглядѣ на *презрѣнный металлъ*, могъ ли онъ быть способенъ соблюдать казенные интересы до скряжничества и до оскорбленія человѣка, котораго дарованіе и драматическія заслуги долженъ онъ былъ уважать, и безъ сомнѣнія уважалъ?

Два представленія *Поликсены* принесли 1846 р. 25 коп. Что стоило бы Театральной Дирекціи дать еще два — три представленія, чтобы выручкою недостающихъ 1153 р. 75 к. доколотить эту несчастную сумму, не превышающую 3000 рублей? Мы видимъ изъ писемъ Озерова къ А. Н. Оленину, какъ заботливо и болѣзненно хлопоталъ онъ о ней: разумѣется не изъ корысти и алчности къ деньгамъ, а, вѣроятно, изъ авторскаго сознанія и личнаго достоинства. Помнимъ, что въ то время еще разыгрывались трагедіи Княжнина, напримѣръ *Дидона*. Содержаніе ея также взято изъ классической древности и не могло имѣть для зрителей современную заманчивость. О художественномъ превосходствѣ надъ нею *Поликсены* и говорить нечего. А собиралась же публика смотрѣть на *Дидону!* Во всякомъ случаѣ собиралась бы она, хотя отъ нечего дѣлать, и на представленіе *Поликсены*. И эти роковые 3000 руб. были бы наконецъ собраны.

Къ чему же эта торопливость Нарышкина ходить съ докладомъ къ Государю о такой ничтожной суммѣ? Къ чему послѣ двухъ представленій рѣшительно объявлять, что трагедія *не можетъ быть выгодна для Дирекціи*, и потому она, то-есть Дирекція *остановилась ее представлять?* Подумаешь, что публика какимъ-нибудь формальнымъ заявленіемъ удостовѣрила Дирекцію, что она ни за какія блага въ мірѣ не станетъ ходить въ театръ, когда даютъ *Поликсену*.

Воля ваша, все это странно и невѣроятно! Все это не похоже на Нарышкина. Хотя въ докладѣ его нѣкоторымъ образомъ испрашивается Высочайшее соизволеніе на выдачу Озерову условленныхъ съ нимъ денегъ, но только не изъ Дирекціи, *потому что она не имѣетъ на то надлежащихъ суммъ.* Не имѣетъ 1153 р. 75 к., когда сотни тысячъ рублей отпускались ей изъ казны? А главное дѣло, къ чему вносить всѣ эти домашніе и ничтожные разсчеты на рѣшеніе Государя? Вѣроятно не представлялись же Ему ежедневныя репортички о выручкахъ театральной кассы. Къ чему же это предпочтеніе, оказанное бѣдной *Поликсенѣ?*

Далѣе: нѣтъ сомнѣнія, что при болѣе благовидной обстановкѣ этого дѣла и князь А. Н. Голицынъ не далъ бы всеподданнѣйшему докладу своему той офиціальной формальности, которая выразилась въ отвѣтѣ его. Князь Голицынъ могъ не быть посѣтителемъ театровъ и мало дорожилъ успѣхами драматическаго искусства. Охотно соглашаемся. Все это было для него дѣло постороннее. Но онъ былъ умный и образованный человѣкъ; былъ вмѣстѣ съ тѣмъ мягкосердеченъ и услужливъ, болѣе былъ склоненъ иногда легкомысленно и неосторожно одолжать, нежели сухо отказывать въ добромъ участіи.

Въ Императорѣ Александрѣ и сомнѣваться нечего. Будь это дѣло Ему представлено — а необходимость представленія кажется намъ очень сомнительною — не въ видѣ какого-то бухгалтерскаго разсчета по театральной кассѣ, Онъ конечно обратилъ бы на докладъ болѣе сочувственное и милостивое вниманіе. Въ кипѣ разнородныхъ, многосложныхъ и многочисленныхъ бумагъ, которыя представляли Ему ежедневно на утвержденіе, можно ли удивляться, что подобная бумага проскользнула у Него между глазъ и мыслей? Никто не далъ себѣ труда выставить предъ Нимъ съ особеннымъ благорасположеніемъ, что рѣчь идетъ о творцѣ *Димитрія Донскаго.* Эта трагедія имѣла въ свое время литтературное и политическое значеніе, которому не могъ не сочувствовать Императоръ Александръ. Въ ней (и между прочимъ въ посвященіи этой трагедіи имени Государя) кромѣ намековъ на современныя событія, какъ будто пророчески слышится и недалекій 1812 годъ. Нѣтъ, при мало-мальски тепломъ ходатайствѣ, Александръ рѣшилъ бы это

дѣло не по строгимъ правиламъ контроля, а по внушенію сердца и по уваженію къ литтературнымъ заслугамъ поэта.

Теперь, указавъ на всю несостоятельность приведенныхъ доводовъ и предположеній, которыми можно было бы объяснить законное паденіе *Поликсены*, должны мы домогаться болѣе правдоподобнаго объясненія этого дѣла въ какихъ нибудь побочныхъ происках, прикрытыхъ канцелярскою продѣлкою.

И въ этихъ изысканіяхъ невольно, но съ какимъ-то убѣжденіемъ, натыкаешься на имя князя Шаховскаго: какъ ни дѣлай, какъ ни вертись, а окончательно приходится же произнести это имя. Князь Шахокской былъ дѣйствующимъ и дѣятельнымъ лицемъ въ Театральной Дирекціи. Нарышкинъ былъ внѣшне главнымъ директоромъ зрѣлищъ; но внутренно князь Шаховской былъ главнымъ двигателемъ міра кулиснаго и закулиснаго. Онъ, сказываютъ, былъ въ обществѣ очень пріятный, словоохотливый и забавный собесѣдникъ. Эти свойства должны были сблизить его съ Нарышкинымъ: оно такъ и было. Онъ былъ совершенно домашнимъ у доступнаго и гостепріимнаго Нарышкина. Театральная спеціальность Шаховскаго должна была вполнѣ овладѣть довѣріемъ довольно беззаботнаго начальника. Оно такъ и было. Къ тому же князь Шаховской былъ и самъ драматическій писатель. Вотъ улики, если не вещественныя, не буквально-законныя, то умозрительно-подходящія къ дѣлу. Въ то время эти улики были приняты въ соображеніе. Мнѣніе многихъ обвиняло князя Шаховскаго въ паденіи *Поликсены;* а вслѣдствіе того, по роковому логическому выводу, и во всѣхъ скорбныхъ обстоятельствахъ, которыя послѣ выпали на долю чувствительнаго и злополучнаго Озерова. Это мнѣніе довольно ясно и гласно было выражено и въ литтературныхъ заявленіяхъ. Въ числѣ обличителей назовемъ: Блудова, Дашкова и Жуковскаго. Князь Шаховской не возражалъ на эти обвиненія. А имѣй онъ убѣдительныя доказательства безучастія своего въ этомъ дѣлѣ, онъ могъ, болѣе того, онъ обязанъ былъ, очистить себя отъ оскорбительнаго и несправедливаго наговора. Тутъ дѣло шло не просто о литтературномъ спорѣ, о литтературныхъ мнѣніяхъ, болѣе или менѣе рѣзкихъ: оно отчасти касалось совѣсти и личной чести. Тутъ пренебрегать выраженнымъ мнѣніемъ нельзя. Съ этой точки зрѣнія обратили и мы

пытливое вниманіе на старую тяжбу, прошедшую сквозь много давностей, а все еще окончательно нерѣшенную. Дѣло въ томъ, что если князь Шаховской правъ и чистъ, то виноваты обвинители его: обѣ стороны совершенно правы быть не могутъ; изъ нихъ одна подлежитъ осужденію. По убѣжденію и по совѣсти выборъ для меня здѣсь не затруднителенъ. Мнѣніе, неблагопріятно выраженное для князя Шаховскаго, принадлежитъ людямъ, которыхъ нельзя заподозрить въ зависти, въ недобросовѣстности и въ другихъ неблаговидныхъ побужденіяхъ. Можно укорить ихъ развѣ въ нѣкоторой запальчивости и рѣзкости.

Но нѣтъ ли и въ этомъ дѣлѣ какихъ нибудь облегчающихъ или послабляющихъ обстоятельствъ? Поищемъ. Эти старыя литературныя распри давно затихли. Поле битвы замолкло и остыло. Отважные и пылкіе бойцы давно сошли съ поля битвы: многіе и съ лица земли. Оставшіе*ся* устарѣли и холодомъ годовъ остепенились. Могъ бы я сказать оставшій*ся*: это было бы еще ближе къ истинѣ. Одинъ изъ героевъ трагедіи Озерова, о коей идетъ здѣсь рѣчь, говоритъ:

Но жизни перейдя волнуемое поле,
Сталъ менѣ пылокъ я и жалостливъ сталъ болѣ.

Здѣсь приходится сказать не болѣ *жалостливъ*, а уступчивѣе, умѣреннѣе. На участье Шаховскаго въ этомъ дѣлѣ, если и признать его несомнѣннымъ, можно нынѣ смотрѣть безстрастнѣе и разностороннѣе. Князя Шаховскаго я не зналъ, но по нѣкоторымъ отзывамъ о немъ могу заключить, что былъ онъ человѣкъ не злой, а скорѣе простосердечный. Были у него друзья; они нерѣдко смѣялись надъ нимъ (что видно напримѣръ въ разсказахъ старика Аксакова), но любили его; слѣдовательно имѣлъ онъ качества, привлекающія сочувствіе. Но онъ былъ писатель въ исключительномъ и полномъ, хорошемъ и дурномъ, значеніи этого слова; а потому болѣе или менѣе раздражителенъ и способенъ увлекаться. Литературныя страсти и убѣжденія, какъ и политическія, часто измѣняютъ нравъ и натуру человѣка. Лица, захваченныя этими страстями, бываютъ нерѣдко односторонни, чтобы не сказать помѣшаны на одной точкѣ. Не трогай ихъ больнаго мѣста, они люди смирные и уживчивые. Коснись слегка ихъ болячки, т. е. ихъ любимой

мысли, или болѣзненно гнѣздящагося въ нихъ мнѣнія, они готовы лѣзть на стѣну и вцѣпиться въ противника. Озеровъ, кажется, не былъ лично знакомъ съ Карамзинымъ; но по всему судить можно, что онъ принадлежалъ къ школѣ его, т.-е. къ Московской школѣ. Князь Шаховской былъ ревностный старовѣръ Петербургскаго толка, т. е. изступленный послушникъ Шишкова. Въ то время, эти двѣ школы были два лагеря между собою враждебные. Въ комедіяхъ своихъ Шаховской задѣвалъ Карамзина, а позднѣе и Жуковскаго. Творенія Озерова, по убѣжденію или предубѣжденію, нравиться ему не могли. Это было бы съ его стороны отступничество. Легко статься, что онъ не имѣлъ и врожденнаго поэтическаго чувства, чтобы оцѣнить ихъ, чтобы сочувствовать имъ. Шишковъ также былъ человѣкъ не злой, но увлекаемый страстью. Помню, что во время оно видѣлъ я экземпляръ трагедіи *Димитрія Донскаго*, весь испещренный рѣзкими и часто бранными отмѣтками Шишкова. Вспомнимъ, съ какимъ ожесточеніемъ нападалъ онъ когда-то на Карамзина, какъ на врага Русскаго языка, и чуть ли какъ не на врага Россіи. Въ этихъ литературныхъ страстяхъ, можетъ быть, и отыщется вся разгадка дѣла о *Поликсенѣ*. На дорогѣ, извивающейся покатостью, трудно держаться средины: такъ человѣка и уноситъ къ крайностямъ. Князь Шаховской, можетъ быть, полагалъ и въ самомъ дѣлѣ, что онъ оказываетъ услугу Русской литературѣ, затормозивъ дальнѣйшее движеніе Озерова. Во всякомъ случаѣ было бы непростительно допустить, что онъ могъ предвидѣть пагубныя и плачевныя послѣдствія, которыя повлекло за собою противодѣйствіе его успѣхамъ Озерова. Можно не любить соперниковъ и противниковъ своихъ: по человѣческой слабости можно иногда загораживать и дорогу имъ. Это видалось. При нѣкоторой зоркости зрѣнія, можетъ быть, видится и нынѣ Но рыть яму противнику своему, такъ чтобы онъ непремѣнно въ нее рухнулся и оставилъ въ ней кости свои, подобное явленіе, къ чести человѣчества, болѣе рѣдко. Приписывать такое намѣреніе, или нѣчто въ родѣ этого намѣренія князю Шаховскому въ отношеніи къ Озерову, мы не въ правѣ и нисколько бы не желали. Мы добросовѣстно выдѣляемъ долю человѣческой слабости и авторской запальчивости, но далѣе не идемъ и не хотѣли бы идти.

Какъ новый докладчикъ по *дѣлу о Поликсенѣ*, представляю докладъ свой, безъ формальнаго заключенія, на безпристрастное сужденіе читателей, этихъ присяжныхъ всякой литературной тяжбы. Тяжба устарѣла, согласенъ. Ни до Озерова, ни до Шаховскаго теперь никому нѣтъ дѣла; но въ возстановленіи истины и маловажной, или по крайней мѣрѣ въ попыткѣ возстановить то, что признаешь за истину, есть удовлетвореніе внутренней потребности и пріятная обязанность для тѣхъ, которые, гдѣ бы то ни было и въ чемъ бы то ни было, любятъ истину отыскивать.

CI.

БАРАТЫНСКІЙ.

1869.

Карамзинъ говорилъ, что въ молодости любилъ онъ иногда изъ многолюднаго и блестящаго собранія, съ бала, изъ театра прямо ѣхать за городъ, въ лѣсъ, въ уединенное мѣсто. Послѣ смутныхъ и тревожныхъ ощущеній свѣтскихъ, находилъ онъ въ окрестной тишинѣ, въ величавой обстановкѣ природы, въ свѣжести и умиротворительности впечатлѣній особенную и глубоко объемлющую душу прелесть. Подобнаго рода наслажденье испыталъ я, исключительно предавшись на дняхъ чтенью Баратынскаго, котораго „Полное Собраніе Сочиненій“ появилось на дняхъ въ печати. Я тоже, такъ сказать, бѣжалъ изъ наплыва волнъ текущей словесности, и я готовъ былъ сказать съ Дмитріевымъ:

Примите древнія дубравы
Подъ тѣнь свою питомца музъ!

И въ самомъ дѣлѣ, въ наши дни для многихъ поэзія Баратынскаго есть также „древняя дубрава“, но только немногимъ придетъ охота углубиться въ ея тѣнь; даже не пройдутъ они и по опушкѣ ея, чтобы не свернуть съ столбовой дороги. Какъ непонятна и смѣшна въ наше время была бы сентиментальная проза Карамзина, такъ равно покажется страннымъ и совершенно отсталымъ движеніемъ обращенье мое къ поэту, нынѣ едвали не забытому поколѣньемъ ему современнымъ и вѣроятно совершенно незнакомому поколѣнію новѣйшему. Баратынскій и при жизни и въ самую пору поэтической своей дѣятельности не вполнѣ пользовался

сочувствіемъ и уваженіемъ, которыхъ былъ онъ достоинъ. Его заслонялъ собою и, такъ сказать, давилъ Пушкинъ, хотя они и были пріятелями и послѣдній высоко цѣнилъ дарованіе его. Впрочемъ, отчасти вездѣ, а особенно у насъ, всеобщее мнѣнье такую узкую тропинку пробиваетъ успѣху, что рядомъ двумъ, не только тремъ или болѣе, никакъ пройти нельзя. Мы прочищаемъ дорогу кумиру своему, несемъ его на плечахъ, а другихъ и знать не хотимъ, если и знаемъ, то развѣ для того, чтобы сбивать ихъ съ ногъ справа и слѣва и давать кумиру идти, попирая ихъ ногами. И въ литературѣ, и въ гражданской и государственной средѣ пріемлемъ мы за правило эту исключительность, это безусловное, верховное одиночество. Глядя на этихъ поклонниковъ единицы, можно бы заключить, что природа напрасно такъ богато, такъ роскошно разнообразила дары свои.

Кумиры у насъ недолговѣчны. Позолота ихъ скоро линяетъ. Набожность поклонниковъ остываетъ. Уже строится новое капище для водворенья новаго кумира.....

CII.

ЗАМѢТКА О ЗАПИСКѢ КАРАЗИНА, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ВЪ 1820 ГОДУ, ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I КАСАТЕЛЬНО ОСВОБОЖДЕНІЯ КРЕСТЬЯНЪ.

1871.

Изложеніе записки, сколько помнится, довольно сходно съ подлинникомъ: если не въ самой редакціи, то въ мысляхъ и въ сущности. Только подана она была Государю Александру Павловичу не чрезъ руки графа Каподистрія, а прямо и лично самимъ графомъ Воронцовымъ.

Въ запискѣ не было испрашиваемо, чтобы составившееся общество было подъ руководствомъ управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, а сказано, подъ предсѣдательствомъ лица, которое благоугодно будетъ Государю по этому дѣлу назначить. Подписали эту записку графъ Воронцовъ, князь Меншиковъ, генералъ-адъютантъ Иларіонъ Васильевичъ Васильчиковъ, генералъ-адъютантъ графъ Станиславъ Потоцкой, три брата Тургеневыхъ (Александръ, Николай и Сергѣй, впрочемъ, за Сергѣя подписались братья, потому что самъ онъ былъ тогда заграницею) и князь Петръ Вяземской, только что пріѣхавшій въ Петербургъ на время изъ Варшавы. Другихъ подписей, кажется, не было. Вотъ какъ дѣло происходило: графъ Воронцовъ заблаговременно предварилъ Государя о желаніи нѣкоторыхъ помѣщиковъ подать ему всеподданнѣйшее прошеніе такого рода. Государь очень милостиво принялъ это предложеніе и сказалъ, что оно совершенно соотвѣтствуетъ давнишнимъ и всегдашнимъ желаніямъ его.

О таковомъ Высочайшемъ отзывѣ графъ Воронцовъ увѣдомилъ вышепомянутыя лица. Записка была немедленно составлена, не упомнится теперь кѣмъ именно, но вѣроятно Александромъ или Николаемъ Тургеневымъ. Назначенъ былъ отъ Государя день, въ который графъ Воронцовъ долженъ былъ привезти эту записку въ Царское Село. Она была всѣми означенными лицами подписана. Но наканунѣ поѣздки графа Воронцова въ Царское Село генералъ Васильчиковъ сказалъ графу, что онъ одумался и отказывается отъ участія въ этомъ дѣлѣ, на томъ, между прочимъ, основаніи, что онъ не считаетъ себя вправѣ подписывать такую бумагу, потому что онъ не отдѣленный сынъ при отцѣ и самъ никакими крестьянами не владѣетъ. Разумѣется, бумага тутъ же была изорвана, снова переписана и подписана прежними лицами за исключеніемъ Васильчикова. На другой день явившись къ Государю, графъ Воронцовъ нашелъ его уже въ совершенно другомъ настроеніи въ отношеніи къ дѣлу, которое онъ еще такъ недавно привѣтствовалъ охотно и благодушно. Императоръ торопливо принялъ бумагу изъ рукъ графа Воронцова, торопливо прочелъ ее и сказалъ ему: — „Здѣсь никакого общества и комитета не нужно, а каждый изъ желающихъ пускай представитъ отдѣльно свое мнѣніе и свой проектъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, тотъ разсмотритъ его и по возможности дастъ ему надлежащій ходъ“. Такимъ образомъ дѣло принимало другой оборотъ. Во первыхъ, ясно оказывалось, что Государь уже не довѣрялъ рукамъ, которыя должны были подготовить вопросъ для дальнѣйшей государственной и окончательной разработки. Во вторыхъ, также несомнѣнно оказывалось, что дѣло пошло бы обыкновеннымъ бумажно-канцелярскимъ порядкомъ, и благополучно опочило бы въ пещерахъ министерства на вѣчныя времена.

Въ тотъ же день графъ Воронцовъ встрѣтился съ княземъ Вяземскимъ въ Царскомъ Селѣ, на вечерѣ у князя Ѳедора Сергѣевича Голицына. Но, вѣроятно изъ осторожности и опасенія огласки, не сказалъ ему ни слова объ исходѣ или, вѣрнѣе, о паденіи зачатаго дѣла, а поручилъ Жуковскому его о томъ увѣдомить. Тѣмъ дѣло и закончилось. Неизвѣстно, что могло или кто могъ повредить въ умѣ Государя предпріятію, которое началось

такъ благонадежно и съ такими залогами прочнаго и желаннаго осуществленія. Впрочемъ, какъ эта попытка не держалась втайнѣ, но, вѣроятно, что-нибудь о ней да проскользнуло въ городскіе слухи. Велѣдствіе того противники освобожденія крестьянъ, а можетъ быть и недоброжелатели нѣкоторыхъ изъ подписавшихся лицъ, нашли доступъ къ Государю, представили дѣло въ превратномъ видѣ и успѣли зародить сомнѣнія и подозрѣнія въ осторожномъ и малодовѣрчивомъ нравѣ Императора Александра. Разсказывали тогда, что графъ Потоцкой, послѣ претерпѣнной неудачи просилъ на колѣняхъ прощенія у Государя и каялся предъ нимъ, какъ будто въ преступномъ замыслѣ. Но нельзя полагать, чтобы все это дѣло оставило въ Государѣ невыгодное впечатлѣніе и неудовольствіе противъ подателей помянутой записки. По крайней мѣрѣ нѣсколько дней спустя, Государь встрѣтясь, въ обыкновенной утренней прогулкѣ по Царскосельскому саду, съ Карамзинымъ, сказалъ ему: — „Вы полагаете, что мысль объ освобожденіи крестьянъ не имѣетъ ни отголоска, ни сочувствія въ Россіи, а вотъ получилъ я на дняхъ прошеніе, противорѣчащее вашему мнѣнію. Записка подписана все извѣстными лицами, между коими и вашъ родственникъ князь Вяземскій“. Сей послѣдній не говорилъ о томъ Карамзину, не потому что онъ считалъ Карамзина противникомъ освобожденія, а потому что положено было держать это дѣло втайнѣ. Упомянувъ о Карамзинѣ, нынѣ при ожесточенныхъ нападкахъ на него въ нѣкоторыхъ журналахъ нашихъ, невольно хотѣлось бы войти въ изслѣдованіе и оцѣнку воззрѣнія его на вопросъ освобожденія крестьянъ и на другіе такъ называемые либеральные вопросы. Но отвѣты и возраженія на обвиненія ополчившихся противъ памяти Карамзина вовлекли бы въ слишкомъ далекую полемику. Можно ограничиться на первый разъ изложеніемъ нѣкоторыхъ мыслей и указаній. Въ означенныхъ нападкахъ нерѣдко встрѣчаешь глубокое невѣдѣніе о томъ, что было, и поверхностное и одностороннее воззрѣніе на то, что есть: что также равняется невѣдѣнію. Оцѣнщики Карамзина и среды ему современной покушаются и силятся выставить его человѣкомъ отсталымъ, даже въ свое время и врагомъ всякаго измѣненія и улучшенія въ государственномъ устройствѣ. Такой судъ надъ нимъ совершенно ложенъ. Мишенью для обстрѣливанья

и чуть ли не разстрѣливанья Карамзина служитъ обыкновенно записка о древней и новой Россіи. Нѣтъ сомнѣнья, что эта записка можетъ быть признана политической и гражданской исповѣдью автора. Изъ нея видно, что Карамзинъ не сочувствовалъ поспѣшнымъ и, по мнѣнію его, нерѣдко мало обдуманнымъ нововведеніямъ, которыя должны были прирости къ почвѣ на развалинахъ. Какъ историкъ, онъ опасался крутой ломки настоящаго, которое, такъ сказать, на глазахъ его воплотилось изъ событій минувшаго. Онъ зналъ изъ опыта вѣковъ, что исторія и судьбы народовъ не упрочиваются скачками, а совершаются постепенно и медленно, какъ всякое благоразумное и благонадежное развитіе. Есть школа историческая и та, что можно назвать скороспѣлою школой публицистики. Карамзинъ умомъ, вѣрованіями и душою принадлежалъ первой.

Кто-то сказалъ о Сперанскомъ, что, при всѣхъ многосторонихъ и гибкихъ способностяхъ и дарованіяхъ его, онъ былъ ничто иное какъ чиновникъ *огромнаго размѣра*. Карамзинъ могъ также не признавать въ немъ творческаго и глубокаго государственнаго дѣятеля. Ему могло казаться, что Сперанскій болѣе изучилъ чужеземныя законодательства, чѣмъ Россію, чѣмъ нравственный и политическій бытъ ея, потребности, свойства и ту степень зрѣлости, которая въ состояніи выдержать разные попытки и эксперименты. Ему могло казаться, что Сперанскій болѣе способенъ ломать, нежели строить; болѣе способенъ пересаживать, нежели сѣять. Позволяя себѣ строгія сужденія о политическихъ и гражданскихъ понятіяхъ Карамзина, забываютъ одно важное обстоятельство, а именно—эпоху, въ которую онъ дѣйствовалъ. Въ то время надъ Европою и надъ Россіей постоянно тяготѣлъ Дамоклесовъ и Наполеоновскій мечъ. Россіи угрожала все ближе и ближе подходящая къ ней опасность. Карамзинъ могъ бояться крутыхъ измѣненій въ государственномъ быту Россіи, бояться, чтобы подъ этой ломкою, въ ожиданіи будущихъ благъ, не ослабѣли и не разсѣялись силы Россіи, столь нужныя ей для отпора, когда настанетъ день роковой и сокрушительной борьбы. Впрочемъ нельзя отрицать, что Карамзинъ въ извѣстной запискѣ своей можетъ быть иногда слишкомъ горячо, рѣзко, а иногда и насмѣшливо отзывался о Сперан-

скомъ и преобразованіяхъ его. Но онъ по совѣсти и убѣжденіямъ своимъ хотѣлъ предостеречь правительство и, такъ сказать, отвлечь его съ пути пролагаемаго Сперанскимъ. Для убѣжденія Царя ему должно было не щадить вожатаго, по мнѣнію его опаснаго, притомъ должно сказать, что не смотря на кротость и благодушіе, Карамзинъ могъ иногда и нечувствительно поддаваться увлеченію слова. Онъ былъ авторъ. И въ запискѣ его полемической писатель подчасъ нарушаетъ спокойствіе, безпристрастіе и воздержность судіи. Но онъ не былъ ни завистникомъ, ни личнымъ врагомъ Сперанскаго и быть не могъ потому, что зависть и вражда были чужды чистой и возвышенной душѣ его. Напротивъ, былъ онъ того мнѣнія, что въ извѣстной мѣрѣ можно и должно было воспользоваться дарованіями Сперанскаго. Вотъ тому доказательство. Государь однажды жаловался Карамзину на недостатокъ людей, которые могли бы служить помощниками ему. Карамзинъ указалъ ему на Сперанскаго, который тогда только-что возвратился въ Петербургъ. Но отвѣтъ Государя, кажется, выразилъ мнѣніе не совсѣмъ благопріятное Сперанскому.

Спустя шестьдесятъ лѣтъ нѣкоторые судятъ о Карамзинѣ по нынѣшнимъ понятіямъ, выработавшимся силою времени и событій, многіе судятъ о немъ не только по нынѣшнимъ, созрѣвшимъ понятіямъ, но и по нынѣшнимъ увлеченіямъ, чуть ли не угадывая и не присвоивая себѣ и завтрашнее. Одинъ Французскій писатель сказалъ: „надобно умѣть входить въ чужія мысли и умѣть выходить изъ нихъ, точно также, какъ надобно умѣть выходить изъ своихъ мыслей и возвращаться къ нимъ“. Такое передвиженіе вездѣ рѣдко встрѣчается, а у насъ и подавно. Наши умы сидятъ дома съ своими домочадцами и единомыслителями при запертыхъ дверяхъ и съ закрытыми ставнями. Ничего нѣтъ легче, какъ промышлять, такъ сказать, дешевымъ и готовымъ либерализмомъ. Для этого только стоитъ прочесть двѣ — три книги извѣстныхъ западныхъ публицистовъ и выписать изъ нихъ рецепты для составленія всѣхъ возможныхъ политическихъ и гражданскихъ вольностей. Но трудность заключается въ томъ, чтобы во время и смотря по сложенію паціента, примѣнять эти рецепты. Карамзинъ не былъ въ сущности врагомъ *законносвободныхъ* учрежденій; такъ Императоръ

Александръ переводилъ слово *либеральный*. Но Карамзинъ не вѣрилъ въ дѣйствительность и силу сочиняемыхъ и писанныхъ конституцій или законоположеній—тоже переводъ Императора Александра. И Карамзинъ не вѣрилъ этимъ бумажнымъ программамъ, опять по той же причинѣ, что онъ былъ историкъ.

Въ Англіи нѣтъ писанной конституціи, но она, такъ сказать, воплощена въ государствѣ и въ народѣ. Тамъ въ преніяхъ палатъ не ссылаются поминутно на такую-то или другую статью государственной хартіи, для защиты того или другаго общественнаго права. Во Франціи въ писанныхъ многостатейныхъ конституціяхъ недостатка нѣтъ. Выбирай любую: при каждомъ политическомъ переворотѣ является новая; а все толку мало и Франція около ста лѣтъ все еще не можетъ досочиниться до конституціи и до государственнаго порядка, которые дали бы ей средство жить правильною и здоровою жизнью. Если Карамзинъ былъ не охотникъ до писанныхъ и, такъ сказать, канцелярско-бумажныхъ конституцій, то онъ былъ врагъ всякаго насилія, всякой несправедливости, всякаго произвола. Лучшая конституція, которую вы въ настоящее время можете дать Россіи, говорилъ онъ Императору, заключается въ твердой и ни въ какомъ случаѣ непоколебимой волѣ истребить произволъ въ самомъ себѣ и въ тѣхъ, которыхъ облекаете вы властью.

CIII.

СОВРЕМЕННЫЯ ТЕМЫ ИЛИ КАНВА ДЛЯ ЖУРНАЛЬНЫХЪ СТАТЕЙ.

1873—1875.

I.

Наши журнальные публицисты много толкуютъ объ обязательномъ народномъ обученіи. Это съ ихъ стороны очень обязательно. Нельзя не похвалить и побужденія ихъ, и цѣли, на которыя они указываютъ. Но жаль, что они дѣло начинаютъ не съ начала, а съ конца. Они, да и не они одни, забываютъ мудрое сказаніе знаменитаго Французскаго гастронома: „если хотите изготовить заячье жаркое, то прежде всего имѣйте зайца“. Примѣняясь къ этому, можно сказать нашимъ публицистамъ: если хотите имѣть много грамотныхъ учениковъ, то займитесь первоначально обязательнымъ обученіемъ учителей. Будетъ заяцъ, можно имѣть и жаркое. Будутъ учителя, можно будетъ имѣть и учениковъ. Не походитъ ли это на горячаго охотника, который со сворою гончихъ и борзыхъ собакъ отправляется на травлю зайцевъ въ такую мѣстность, въ которой отъ сотворенія міра ни единый заяцъ никогда не пробѣгалъ. Очевидно, что онъ возвратится домой безъ зайца къ обѣду.

II.

Много толкуютъ и о женскомъ вопросѣ. Много шуму *за* и много шуму *противъ*. Почему же и не заняться этою діалектическою гимнастикою? Всякое умственное движеніе развиваетъ, расправляетъ и

укрѣпляетъ мозговыя силы. Но и здѣсь жаль, что вопросъ неясно и неопредѣлительно поставленъ. Нужно было бы положительно и откровенно выяснить, на какія мужскія должности могутъ и право имѣютъ поступать женщины. На всѣ ли, такъ чтобы полное равноправіе установилось между полами? Въ такомъ случаѣ, женщины должны равномѣрно подходить и подъ всесословную и поголовную воинскую повинность. Почему же и нѣтъ? Въ древности бывали же амазонскіе полки. Амазонки дрались не хуже мужчинъ. Не знаю, какъ было въ древности, но у насъ, при такомъ порядкѣ, не худо было бы, на всякій случай, имѣть въ придачу къ полковымъ фельдшерамъ и нѣсколько повивальныхъ бабокъ. Впрочемъ, все же мудрено, какъ ни думай, какъ ни вертись, установить совершенное равноправіе между прекраснымъ и вообще некрасивымъ поломъ. Все же, въ томъ или другомъ соображеніи, одинъ изъ половъ можетъ оказаться обиженнымъ противъ другаго. Напримѣръ, за женщиною останется одно право, которое нельзя перенести и на мужчину, а именно право рожать. Но въ этомъ случаѣ маленько виновата натура: она не предвидѣла, не угадала, что вопросъ равноправія мужчинъ и женщинъ будетъ стоять на очереди у нашихъ журнальныхъ публицистовъ...

III.

Умилительно смотрѣть на единомысліе и единодушіе, которыя иногда связываютъ, какъ Сіамскихъ близнецовъ, двухъ дѣятелей журналовъ, часто совершенно противорѣчащихъ другъ другу. Недавно зашла въ періодической прессѣ нашей рѣчь о Гоголѣ. Явились предъ публикой два оратора — оба сопитомцы Бѣлинскаго, оба наслѣдники и преемники своего учителя. Литературное наслѣдство его раздѣлили они между собою полюбовно и побратски. Одинъ усвоилъ себѣ необузданность рѣчи принципала своего, его литературное ухарство, и валяй по всѣмъ по тремъ, куда ни попало. Другой ухватился за многословіе и широковѣщательность его. Что можно высказать на двухъ-трехъ страницахъ, онъ, какъ и образецъ его, непремѣнно расплавитъ, разбавитъ жидкими чернилами своими на нѣсколько десятковъ страницъ. Впрочемъ, мо-

жетъ быть, въ этомъ обильномъ спускѣ чернилъ оказывается не столько литературная привычка, сколько хозяйственное и домашнее распоряженіе. Легко станется, что между писателемъ и редакторомъ журнала заключено добровольное условіе, вслѣдствіе чего первый обязывается въ извѣстные сроки доставлять послѣднему столько-то кубическихъ саженей исписанной бумаги. Какъ бы то ни было, одинъ изъ субъектовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію нашему, говоритъ, что въ Гоголѣ „непосредственное художественное творчество было главнымъ русломъ тѣхъ идей, въ развитіи которыхъ состояло прогрессивное движеніе общества“. Другой субъектъ, перекликаясь съ первымъ изъ своего угла, подхватываетъ эти слова. Онъ любуется ихъ счастливымъ выраженіемъ, а если сообразить эти слова съ дѣломъ, то выйдетъ изъ нихъ совершенная безсмыслица. Какъ ни уважай и высоко ни цѣни несомнѣнное дарованіе Гоголя, но не найдешь никакого *русла идей* и никакого прогрессивнаго движенія общественнаго ни въ „Ревизорѣ, ни въ „Мертвыхъ Душахъ“, ни въ другихъ повѣствовательныхъ очеркахъ его. Въ нихъ ярко обозначается великій художникъ, но *мыслителя* въ принятомъ вообще и полномъ значеніи этого слова нѣтъ. Мыслителя въ Гоголѣ найдешь и найдетъ потомство именно въ одной его „Перепискѣ съ друзьями“, которая заклеймена такимъ презрѣніемъ нашею недальновидною критикой. Можно не раздѣлять мнѣній автора, мыслей его и направленія, изъявленныхъ въ этой перепискѣ. Можно не сочувствовать имъ; пожалуй, можно даже съ извѣстной точки зрѣнія и считать обязанностью бороться съ этимъ направленіемъ, опровергать и побѣждать его. Но во всякомъ случаѣ состязаніе *мыслей* между Гоголемъ и противниками его можетъ быть совершаемо только на ристалищѣ, обведенномъ этою перепискою. Здѣсь-то и выходитъ затрудненіе и препятствіе. На мысли Гоголя нужно отвѣчать оружіемъ мысли, но въ этомъ отношеніи критика наша не оруженосна. Легче ей было однимъ разомъ охаять эту злосчастную переписку, которая такъ неожиданно сбила ее съ толку и съ ногъ. Она такъ и сдѣлала. Гоголь съ изумительнымъ искусствомъ фотографировалъ пошлыя и смѣшныя стороны человѣческой натуры. Съ однихъ живыхъ лицъ писалъ онъ живые портреты во весь ростъ; другіе портреты писалъ онъ

по аналогіи съ созданій собственнаго воображенія и творчества. Онъ былъ великій сатирикъ и великій каррикатурный живописецъ. Вотъ гдѣ критикѣ, не мудрствуя лукаво, должно искать его. Вотъ его настоящее и самобытное *русло*. Но у насъ критики большіе охотники и мастера искать въ полдень *четырнадцать часовъ*, по Французской поговоркѣ и по Итальянскому суточному исчисленію. Оттого и сбиваются они часто въ часахъ и мысляхъ.

Если Гоголь былъ вдохновенный и своеобразный *каррикатуристъ*, былъ онъ и великій живописецъ въ другихъ картинахъ, какъ, напримѣръ, въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“ и другихъ произведеніяхъ, а особенно въ „Тарасѣ Бульбѣ“. Вотъ и *второе русло* его. Но и здѣсь нѣтъ мѣста пошлому исканію какого-то *прогрессивнаго движенія*. Это исканіе *прогресса*—вѣрный признакъ застоя и закоснѣлости односторонняго мышленія. Наши господа прогрессисты такъ мало подвижны, такъ тяжелы на подъемъ, что они все еще держатся за фалды давно износившагося платья Бѣлинскаго. Извѣстное письмо послѣдняго къ Гоголю, по поводу изданной переписки, все еще для нихъ святыня, заповѣдь, сошедшая съ высоты ихъ литературнаго Синая. Въ сущности это письмо невѣжливо до грубости и въ этомъ отношеніи даетъ мѣрило образованности и благовоспитанія того, кто писалъ его. Онъ въ глаза честитъ автора „проповѣдникомъ кнута, апостоломъ невѣжества, поборникомъ обскурантизма и мракобѣсія, панегиристомъ татарскихъ правъ“. Переписку называетъ онъ „надутою и неопрятною шумихою словъ и фразъ“. Не скорѣе ли къ письму его можно примѣнить этотъ приговоръ? Когда же онъ хочетъ быть литературнымъ критикомъ, онъ въ письмѣ вооружается противъ слова *всякъ*. „Неужели, говоритъ онъ Гоголю, вы думаете, что сказать „всякъ“ вмѣсто „всякій“ значитъ выражаться по-библейски? Какая эта великая истина, что когда человѣкъ отдается лжи, его оставляютъ умъ и талантъ“. И эту *великую истину* почерпнулъ онъ не изъ колодца, куда истина прячется,—предъ нимъ ларчикъ проще открывался: истину свою извлекъ онъ изъ слова *всякъ*. Вотъ что значитъ глубокомысліе и проницательная находчивость! Между тѣмъ однимъ ударомъ пораженъ и старикъ Дмитріевъ; въ пѣсни своей:

„*Всякъ* въ своихъ желаньяхъ воленъ!
Лавры! васъ я не ищу“—

и онъ подпадаетъ обвиненію, что хотѣлъ выразиться по-библейски. Но въ этомъ письмѣ есть двѣ - три строки, которыя достойны особеннаго вниманія и даютъ ключъ ко многому и въ отношеніи къ Бѣлинскому, и въ отношеніи къ его произхожденію. Приводимъ строки: „вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ мнѣніемъ такъ-называемое либеральное направленіе даже и при бѣдности таланта". Именно такъ! Будь такъ называемый либералъ, хотя бы въ самомъ узкомъ и тупомъ значеніи этого выраженія, будь притомъ и *бѣденъ талантомъ*, все равно, — ты будешь награжденъ если *не общимъ мнѣніемъ*—это уже черезчуръ завоевательно—но все же мнѣніемъ и суевѣріемъ уѣздныхъ поклонниковъ либеральнаго Хлестакова. Бѣлинскій вышеприведенными строками вѣрно опредѣлилъ и себя, и своихъ доморощенныхъ послѣдователей. Лучше этого ничего придумать нельзя. Бѣденъ талантомъ, но такъ-называемый либералъ,—вотъ несомнѣнныя примѣты многихъ изъ нашихъ новѣйшихъ борзописцевъ.

IV.

Явное доказательство, что многіе изъ нашихъ критиковъ не имѣютъ вѣрнаго чувства того, что въ литературѣ хорошо, и того, что дурно, найти можно и въ слѣдующемъ: нерѣдко встрѣчаемъ въ нихъ восхищеніе Пушкинымъ и Гоголемъ и рядомъ съ этимъ восхищеніе Полевымъ и Бѣлинскимъ. Не ясно ли, не разительно ли изъ того слѣдуетъ, что они не понимаютъ не только Пушкина и Гоголя, но не понимаютъ и Полеваго и Бѣлинскаго? Кого же понимаютъ они? Себя самихъ?—Врядъ ли это.

V.

Вообще, критика наша пишется на-обумъ, а еще и того хуже—пишется подъ напоромъ болѣе или менѣе узкихъ и пошлыхъ предубѣжденій политическихъ, соціальныхъ и другихъ западныхъ вопросовъ, которые изучила она бѣглымъ, а часто и малопонятливымъ чтеніемъ иностранныхъ журналовъ и газетъ. Разбирая книгу

или вообще написанное авторомъ, она никогда не проникаетъ въ духъ сказаннаго, а зацѣпляется за слова и спотыкается на словахъ. Вотъ примѣръ: Гоголь говоритъ, что „на поприщѣ писателя онъ служитъ такъ же государству своему, какъ бы онъ дѣйствительно находился въ государственной службѣ“. Благородная независимость критики содрогается отъ этихъ словъ. Видите ли въ чемъ дѣло: ее пугаютъ и коробятъ слова *служба, государство.* Ей мерещится, что подъ этими словами Гоголь выпрашиваетъ крестикъ, или чинъ коллежскаго ассесора за свою *Шинель*, за свой *Носъ*, или за свои *Мертвыя Души.* Не смотря на свое либеральничанье, критика не понимаетъ истиннаго либеральнаго смысла рѣчи, сказанной Гоголемъ. Онъ хотѣлъ сказать и сказалъ, что честный и талантливый писатель на поприщѣ своемъ также служитъ государству, то-есть отечеству, то-есть согражданамъ своимъ, и приноситъ имъ пользу, какъ и воинъ, и администраторъ, въ средѣ своей дѣятельности. Воззрѣніе это и справедливо и либерально. Государство, или правительство, которое раздѣляетъ это воззрѣніе и помогаетъ писателямъ посвящать себя исключительно умственному дѣлу и письменнымъ трудамъ, поступаетъ также въ смыслѣ просвѣщеннаго либерализма. Но этотъ либерализмъ не имѣетъ ничего общаго съ либерализмомъ либераловъ-самозванцевъ. Они и не понимаютъ его. Критикѣ не нравится выраженіе Жуковскаго: „Поэзія есть добродѣтель“. Такъ что же? О вкусахъ спорить нельзя. Можетъ иной, пожалуй, любить и такую поэзію, которая все, что хотите, но только никакъ не похожа на добродѣтель. Критикѣ не нравится, что Карамзинъ во время оно желалъ быть исторіографомъ, то-есть имѣть свободный доступъ къ государственнымъ архивамъ. Не нравится и то, что въ званіи исторіографа получалъ онъ скромную пенсію въ вознагражденіе за потерю тѣхъ денегъ, которыя онъ вырабатывалъ своимъ журналомъ „Вѣстникъ Европы“. Но, на бѣду нашей либеральной критикѣ, нашлись и тогда истинно либеральные сановники, какъ Муравьевъ и Новосильцовъ, которые ходатайствовали предъ либеральнымъ правительствомъ за Карамзина и дали ему возможность исключительно посвятить себя историческому труду. Критика еще такъ и сякъ, хотя скрѣпя сердце, будто мирится съ пенсіей Карамзина. Но критика вооружается на

Гоголя за то, что онъ получалъ пособія отъ правительства; она видитъ нѣчто возмутительное въ *патріархальномъ* ходатайствѣ за него друзей и министерства. Что же дѣлать, если въ это нелиберальное время запоздалые, каковы были Жуковскій и министръ Уваровъ, — иначе смотрѣли на это, нежели смотрятъ передовые сигнальщики нашего времени. Гоголь не былъ способенъ сдѣлаться литературнымъ барышникомъ, ему для труда нужны были: время, спокойствіе и свобода. Онъ былъ богатъ талантомъ, но бѣденъ деньгами и здоровьемъ. Все это сообразили *патріархальные* доброхоты, — они обратили милостивое вниманіе Государя на Гоголя и дали ему до нѣкоторой степени возможность писать, гдѣ онъ хочетъ, когда хочетъ и что захочетъ. Удивительно, какъ эти старосвѣтскіе патріархи любили стѣснять, подавлять и тормозить волю и дѣйствія несчастнаго ближняго!

Разумѣется, хорошо было бы, если писатель съ талантомъ непремѣнно имѣлъ бы заранѣе сто тысячъ рублей годоваго дохода. Въ такомъ случаѣ могъ бы онъ свободно писать и даромъ пускать въ обращеніе свои печатныя произведенія. Но вѣдь стотысячные писатели рѣдки. Какъ ни дѣлай, а все же вопросъ снизойдетъ до денегъ, то-есть до *презрѣннаго металла*. Очень знаемъ, что этотъ презрѣнный металлъ претитъ нашей независимой критикѣ, что имъ брезгаютъ наши литературные судьи, которыхъ безкорыстіе дошло до какой-то баснословной чистоты. Извѣстно, что каждый изъ нихъ, говоря о своемъ сотрудничествѣ въ журналѣ, можетъ сказать:

Изъ чести лишь одной я въ домѣ здѣсь служу.

Но вѣдь это одни благородныя и умилительныя исключенія, а вопросъ о гонораріяхъ все-таки стоитъ предъ нами, какъ роковая необходимость.

VI.

Допустимъ здѣсь одно предположеніе, которое, конечно, у насъ несбыточное, но перенесемъ это предположеніе, напримѣръ, въ биржевую и спекулятивную Францію, гдѣ все на деньги и за деньги, или, пожалуй, въ Японію, такъ охотно и такъ гостепріимно встрѣчающую всякій Европейскій посѣвъ. Положимъ, что въ томъ

или другомъ государствѣ встрѣтятся борзописцы, которые получаютъ отъ редактора повременнаго изданія извѣстныя *разовыя деньги* (театральное выраженіе), чтобы въ срочные дни выходить на потѣху публики, кривляться, ломаться и гаерствовать на балаганныхъ подмосткахъ газетнаго фельетона. Неужели эти *разовыя деньги* честнѣе тѣхъ, которыя Карамзинъ, въ видѣ пенсіи, а Гоголь, въ видѣ пособій, получали отъ правительства? Вѣдь правительство въ этомъ случаѣ олицетворяло государство и отечество; такимъ образомъ, неужели деньги, имъ выдаваемыя, или даже жалуемыя, должны уступить въ нравственномъ достоинствѣ своемъ деньгамъ той или другой журнальной редакціи?

Смиренно предоставляемъ сей вопросъ на рѣшеніе безсребреннымъ Космамъ и Даміанамъ нашей независимой и либеральной критики.

VII.

Въ 1814 году, была въ Парижѣ мода на узкія панталоны. Русскіе побѣдоносные посѣтители Парижскихъ театровъ, по возвращеніи во-свояси, разсказывали чудеса про игру актера Потье (Potier). Въ это время особенно отличался онъ въ роли le çi-devant jeune homme, въ комедіи подъ этимъ заглавіемъ (бывшій молодой человѣкъ). Кажется графъ Ростопчинъ сказалъ, что изъ всего и всѣхъ, что онъ видѣлъ въ Парижѣ, оказался одинъ Потье не ниже репутаціи своей. Потье былъ особенно уморителенъ въ сценѣ съ портнымъ. Онъ заказываетъ ему нижнее платье и, разумѣется, въ обтяжку и прильнутое (collant) до невозможности. Je vous préviens, говоритъ онъ, si j'y entre, je ne le prends pas. (Говорю вамъ заранѣе, если они влѣзутъ, то я ихъ не беру).

Перейти отъ панталонъ къ литературѣ, какъ-то неловко и вообще shocking. Но что-же дѣлать, если мысли въ такомъ порядкѣ развились и сцѣпились? Знаю читателей, которые готовы, вмѣстѣ съ *бывшимъ молодымъ человѣкомъ* сказать автору: если книгу вашу пойму, то и читать ее не хочу. Во-первыхъ, для такихъ читателей неудобопонятность книги или журнальной статьи неминуемо возвышаетъ достоинство и цѣнность ея. Во-вторыхъ, они въ подобномъ чтеніи находятъ поживу самолюбію своему. Вотъ дескать, думаютъ

они, съ самодовольствіемъ и гордостью, какія книги читаемъ мы! А не эту дребедень, которую каждый понять можетъ, и которою отсталые писатели угощаютъ своихъ пошлыхъ читателей. Мы и такъ знаемъ, что дважды-два—четыре: подавай намъ такія задачи, отъ которыхъ никакого толка не доберешься.—Надобно признаться, не мало есть и писателей, которые усердно и проворно работаютъ въ этомъ смыслѣ и въ этомъ вкусѣ. Часто сами не понимаютъ они того, что пишутъ; но дѣлать нечего: нынѣче большое требованіе на *узкія панталоны въ обтяжку;* вотъ они и кроятъ ихъ и поспѣшно несутъ ихъ на толкучій журнальный рынокъ или въ книжные магазины. Бываютъ эпохи натуральнаго, свободнаго, правдиваго развитія народной литтературы; но бываютъ эпохи и насильственнаго и лживаго развитія. Въ первой эпохѣ нѣсколько замѣчательныхъ и высокихъ дарованій, одновременно и какъ будто случайно, сходятся и стоятъ въ главѣ литтетатурнаго движенія. Они самовластно, и въ то же время законно, подчиняютъ себѣ общество, увлекаютъ его, образуютъ и дѣлаютъ литтературнымъ. Тутъ и не слыхать сѣтованій и скрежета зубовъ и перьевъ предъ равнодушіемъ общества, и холодностью его къ трудамъ и наслажденіямъ ума. Въ такую эпоху и писатели довольны обществомъ, и общество довольно писателями. Въ другой, противоположной эпохѣ, крупныхъ талантовъ нѣтъ: небо беззвѣздное; а въ полумракѣ большое движеніе, чтобы не сказать большая бѣготня, возня, толкотня. Много, очень много пишется, много, слишкомъ много читается; но проку мало: пишущіе не знаютъ сами, что пишутъ, читающіе не понимаютъ того, что читаютъ. Въ атмосферѣ, въ привычкахъ, во всей обстановкѣ общества нѣтъ ничего литтературнаго; нѣтъ благорастворенія воздуховъ, нѣтъ изобилія литтературныхъ плодовъ. Тогда и воздухъ тяжелъ и плоды какъ будто искусственные. Тогда возбуждаются и родятся фальшивые, ложные аппетиты. Толпа кидается на эти несвѣжіе, несочные, непитательные плоды. Головоломная, или желудколомная наука обременяетъ, томитъ, растроиваетъ желудки, не приготовленные заранѣе къ этой пищѣ. Наука—дѣло святое, благотворное, но не всѣми удобоваримое. Надобно пройти чрезъ долговременный искусъ, чтобы приспособить себя къ полезному и надежному воспріятію ея. А наука, брошенная зря и преждевременно

на съѣденіе всѣмъ и каждому, не обратится въ здоровую силу; напротивъ, смутитъ и уничтожитъ и тѣ силы, которыя даны были природою. Надобно и къ Нѣмцамъ быть справедливымъ. Если есть поговорка: что русскому здорово, то нѣмцу смерть, — нельзя-ли, въ нѣкоторомъ отношеніи, передѣлать ее и такъ: что нѣмцу здорово, то русскому смерть. Всмотритесь, вчитайтесь со вниманіемъ въ одни заглавія книгъ, и многаго, что у насъ пишется и печатается на потребленіе почтеннѣйшей публики. Отъ однихъ заглавій зарябитъ въ глазахъ и понятіяхъ, — голову ошеломитъ. Умозрительныя, философическія, соціальныя, натуральныя, допотопныя, подземныя, позитивныя, и Богъ вѣсть еще какія — задачи громоздятся одна на другую. Точно Русскіе читатели баснословные кентавры, точно хотятъ, ставя гору на гору, облегчить имъ путь, чтобы прямо залѣзть на небеса и взять ихъ приступомъ! А большинству читателей нашихъ еще достаточно, чтобы прокладывали имъ дорогу по ровнымъ мѣстамъ. Научите ихъ ходить, а уже послѣ предоставьте имъ карабкаться и прыгать на горы, если на то силъ у нихъ хватитъ. Теперь что-же выходитъ изъ этого преподаванія и изъ этого ученія? Школа взаимнаго вспомоществованія и обученія невѣжеству, ибо невѣжество не есть одно натуральное невѣдѣніе: невѣжество есть и худое, превратное накопленіе свѣдѣній худо набранныхъ, худо расположенныхъ и въ одну кучку скомканныхъ, и это невѣжество горше перваго. Первое еще излѣчимо, второе — болѣзнь безнадежная. Въ первомъ случаѣ многаго не знаешь криво и безтолково. И этихъ конюшень царя Ожіаса никто, даже и самъ Геркулесъ, не въ силахъ очистить.

Какъ-бы то ни было, неизвѣстно, какое дѣйствіе произведетъ на умныхъ людей это нашествіе на Россію науки и двенадесяти языковъ; поумнѣютъ-ли они еще, или нѣтъ? Но подлежитъ-ли сомнѣнію, что немудрые, простые отъ него поглупѣютъ, и уже поглупѣли? Они совершенно, что называется, сбились съ панталыку. Они несчастные, не пропитанные наукою, а наукою испитые. Наука заѣла до плоти, до мозга костей малую частичку разума, которою надѣлила ихъ природа. Съ позволенія сказать, навьюченная наука для иныхъ, что сѣдло коровѣ. Но корова добровольно не стала бы нести сѣдло, а они чванятся и хорохорятся подъ сѣдломъ своимъ,

и подъ бубенчиками и побрякушками, которые наука на нихъ навѣшала. А чтобы возвратиться къ Потье, съ котораго мы начали, скажемъ: вся бѣда въ томъ, что мода на узкія панталоны въ обтяжку. Этимъ модникамъ по-неволѣ неловко въ этихъ узкихъ панталонахъ: они въ нихъ ни ходить, ни сидѣть свободно не могутъ. Но охота пуще неволи. Глядя на передовыхъ, которые обтянули себя до нельзя, они думаютъ, что совѣстно-же имъ оставаться въ домашнихъ шароварахъ. Вотъ они и пялятъ на себя науку, себѣ на мученье, а другимъ — на смѣхъ.

VIII.

Еще одно сравненіе также по литтературно-портняжной части. Эта страсть захватывать, загребать науки, какъ можно скорѣе и подешевлѣ, могла бы уподобиться прихоти человѣка, который, заказывая себѣ платье, предлагалъ бы сшить его изъ разныхъ лоскутьевъ, выгодно купленныхъ въ лоскутномъ ряду. Платье, пожалуй, и будетъ, но какое? Арлекинское.

IX.

За весьма рѣдкими исключеніями, такъ называемая нынѣшняя литтература наша не жалуетъ такъ называемой нашей аристократіи, то-есть нашего высшаго общества. А спросить ее: почему она не любитъ? Она прямо не скажетъ того, а пустится въ разныя пустословныя многоглаголанія. Не беремъ на себя смѣлости нарушить тайну ея, и безъ дальнихъ, съ своей стороны, многоглаголаній, послѣдуемъ осторожной ея сдержанности. Но позволимъ себѣ только одно объясненіе: эта литтература какъ-то слышала, что въ прежней Франціи было создано вѣками и историческими условіями какое-то *среднее* состояніе, которое и сосредоточило въ себѣ почти всѣ богатства науки, высшаго просвѣщенія, изящныхъ художествъ. Это среднее состояніе было домашнимъ очагомъ, который почти исключительно освѣщалъ и согрѣвалъ Францію, и даже разливалъ свѣтъ и теплоту далеко за предѣлы роднаго рубежа. Много лѣтъ вся Европа грѣлась у этого очага и любовалась блестящимъ пламенемъ его. Мо-

жетъ быть, до слуха этой литературы — а почему и нѣтъ?—вѣдь слухомъ земля полнится — дошло, что нѣкій французъ, именуемый Сіесъ, издалъ, во время оно, брошюрку, подъ заглавіема: *Что такое среднее состояніе?—все. Что было оно донынѣ?—ничего.* Вотъ этой-то литературѣ, слышащей звонъ, но не знающей откуда онъ, и пришло въ голову, что она именно и есть то состояніе, которое играло во Франціи столь второстепенную, но вмѣстѣ съ тѣмъ и столь преобладающую роль. Эта литература и хочетъ восполнить пробѣлъ въ нашемъ общественномъ домостройствѣ. Но увлекаясь своими благотворительными побужденіями, она забыла одну бездѣлицу, а именно: что въ нашемъ общественномъ порядкѣ нѣтъ опредѣленнаго и положеннаго мѣста ни аристократіи, ни среднему состоянію. Еще забыла она одно, что она въ теперешнемъ составѣ вовсе не очагъ ни свѣта, ни тепла, и что образованность ея далеко не преобладательна. Всѣ эти соображенія пришли мнѣ на умъ при чтеніи Русскаго журнала: одинъ изъ нашихъ литературныхъ Сіесовъ, говоря о романѣ, заключаетъ слѣдующимъ приговоромъ: „впрочемъ, и то сказать, дѣйствіе романа происходитъ въ великосвѣтскомъ обществѣ, дѣйствующія лица свѣтскіе люди, а эти люди и это общество едва-ли могутъ служить предметомъ крупной драмы, даже въ смыслѣ личныхъ интересовъ“. Далѣе: „авторъ не надѣляетъ самостоятельностью мысли и чувства такихъ людей (то-есть великосвѣтскихъ), которые, по воспитанію и общественному положенію, не могутъ имѣть ни того, ни другаго?“ Вотъ что называется—коротко и ясно. Фельетонистъ, однимъ махомъ пера, уничтожаетъ все великосвѣтское общество и осуждаетъ его на жизнь просто автоматическую. Не сомнѣваюсь, что онъ самъ не только вхожъ въ это высшее общество, но довольно обжился въ немъ и имѣлъ время изучить его: иначе не бралъ бы онъ на себя власти подвергнуть его такому строгому приговору. Но любопытно было бы узнать достовѣрно, въ какіе именно великосвѣтскіе салоны проникалъ онъ и въ которые изъ нихъ перенесъ онъ свое судейское кресло? Мы и сами, въ старые годы, маленько посѣщали эти великосвѣтскіе салоны, и признаемся, мы приходимъ къ заключеніямъ совершенно противоположнымъ. Мы думаемъ, что и въ этомъ великосвѣтскомъ обществѣ можетъ быть мѣсто роману, что эта почва

въ дѣйствительности и произрождала романы,—и не только романы, но внесла и нѣсколько дѣльныхъ и блестящихъ страницъ въ исторію нашу. Но чтобы рѣшить, кто изъ насъ правъ: мы-ли, или фельетонистъ, необходимо знать: о какихъ именно салонахъ говоритъ онъ и съ сознательною опытностью. Вотъ справка, которую мы желали бы получить отъ него, чтобы безпристрастно и окончательно рѣшить эту тяжбу. Впрочемъ, нашъ многоуважаемый противникъ выгоняетъ великосвѣтское общество не только изъ области романа, но, за несостоятельностью, поражаетъ онъ его такимъ же остракизмомъ и изъ самой исторіи. Въ той-же статьѣ намекаетъ онъ объ уясненіи задачи, состоящей въ томъ, чтобы доказать *полнѣйшую непригодность высшихъ классовъ общества, помочь великому народному бѣдствію 1812 года.* Вотъ, извольте видѣть, въ чемъ дѣло. Пожарскихъ тутъ никакихъ не было, едвали были и Минины. А, вѣроятно, все дѣло благополучно управилось среднимъ состояніемъ и народомъ.

X.

Les beaux esprits se rencontrent. Другой, а можетъ быть тотъ-же bel esprit,—они всѣ другъ на друга такъ смахиваютъ, и только маскируются подъ разными азбучными знаками,—что не скоро разглядишь ихъ,—вспоминаетъ въ другомъ мѣстѣ о какомъ-то достопочтенномъ профессорѣ. А что говоритъ этотъ профессоръ? Вотъ что онъ говорилъ: „Новая Россія далеко передъ нами и мы живемъ пока въ старой. А гдѣ въ ней укрыться? Куда ни посмотришь—на сѣверъ и на востокъ—все лѣсъ, да болота, а на югѣ—степь, да степь. *Здоровая мысль, разумное слово, доброе дѣло—заглохнутъ* въ этомъ безконечномъ пространствѣ.“

Не выписываемъ далѣе. Довольно и этого. И за это спасибо! Такимъ образомъ, по мнѣнію профессора новой Россіи, другаго Вагнера будущей музыки,—прежней, старой Россіи вовсе не было. Россія возрождается, или просто рождается только на подмосткахъ каѳедры его, да и то рожденіе будетъ трудное, долговременное; до новорожденной,—*до новой Россіи еще далеко.* Однимъ почеркомъ пера, или, правильнѣе, съ однимъ поворотомъ профессорскаго

языка, явствуетъ, что все, что донынѣ почитали мы Россіею, было только обманчивое марево: что въ дѣйствительности нѣтъ на Русскомъ историческомъ горизонтѣ ни Петра I, ни Екатерины II, ни Александра I; нѣтъ ни именитыхъ святителей, проповѣдывавшихъ слово Божіе и братскую христіанскую любовь; нѣтъ полководцевъ, нѣтъ мудрыхъ и дѣятельныхъ правителей; нѣтъ Ломоносовыхъ и Карамзиныхъ: все это старыя бредни да сказки, призраки суевѣрнаго воображенія. А доказательство тому, что все это фантасмагорія, волшебный фонарь китайскихъ тѣней, который принимали мы за исторію, есть то, что профессоръ не находитъ никакихъ слѣдовъ лицъ и событій на *болотѣ сѣвера и на степи юга*. Хорошъ долженъ быть этотъ профессоръ! Хорошъ и тотъ, кто затвердилъ эти слова и повторяетъ ихъ съ благоговѣніемъ, какъ завѣтное изрѣченіе верховной мудрости въ назиданіе Русскихъ слушателей и читателей!

Вотъ до чего могутъ люди договориться будто-бы во имя прогресса! Какое невѣжество можетъ достигнуть до высоты подобнаго лукаваго мудрованія?..

XI.

Какъ-то дерзновенно, странно, страшно, грустно сказать, а Франціи умственно нездоровится: нельзя же прямо сказать, что она глупѣетъ. Это было бы обидно для всей Европы, которая болѣе или менѣе, а все-таки продолжаетъ настраиваться на діапазонъ ея.

Иного и обидѣть можно,
А Боже упаси того.

Какъ бы то ни было, она не умѣла выдержать грозу, разгромъ, которые постигли ее въ 1870 и 1871 годахъ. Этотъ ударъ, это паденіе какъ будто произвели сотрясеніе мозга ея. Французы, долго избалованные счастіемъ, богатые дарами природы и многими благопріобрѣтенными сокровищами, часто готовые бѣситься отъ жира, не умѣютъ устоять противъ невзгоды, противъ злополучія. Стóитъ имъ немножко прихворнуть, похудѣть, они становятся въ тупикъ. Пожалуй, они и отъ худобы могутъ иногда бѣситься: но это уже бѣснованіе недуга, немощи. Пруссія, побѣжденная, почти уничто-

женная Наполеономъ I, сосредоточилась, такъ сказать заперлась въ бѣдствіи своемъ: но въ этомъ затворничествѣ, въ этой школѣ горькаго испытанія она перевоспитала себя, переобразовала, переродила себя. Мы знаемъ, какова вышла она изъ этого искупительнаго искуса. Россія, въ свою очередь, не пропустила мимо глазъ и ушей, мимо сознанія и совѣсти уроковъ, преподанныхъ ей Крымскою войною. У Французовъ уроки Провидѣнія пропадаютъ даромъ,—хуже того: они ожесточаютъ ихъ, отуманиваютъ; подъ этими уроками добиваются послѣднія ихъ мужественныя и доблестныя силы; задуваются, тухнутъ послѣднія искры ихъ нѣкогда блестящаго и пламеннаго очага. Французскій умъ болѣе всѣхъ другихъ умовъ смеженъ съ безуміемъ. Умъ есть тоже счастіе, а счастіе есть тоже умъ въ своемъ родѣ. Все зависитъ отъ того, на какую сторону обернется медаль. У Французовъ лицевая сторона медали блистательна до ослѣпленія, за то оборотная достойна сожалѣнія, ниже всякой критики. Наполеонъ I, а съ нимъ и Франція, были умны до Москвы. Въ Москвѣ перевернулась ихъ медаль, и все грохнулось разомъ. Войска ихъ и послѣ хорошо и храбро дрались, но народный духъ упалъ. Праздничная встрѣча союзниковъ въ Парижѣ была дѣло постыдное: тутъ даже и ума не было, а полное затмѣніе народнаго достоинства. Не такъ былъ *принятъ* Наполеонъ Москвою. А Французы все считаютъ себя передовыми во главѣ просвѣщенія и цивилизаціи. Цивилизація есть, такъ сказать, духовное здравіе народа и государства. А какое тутъ здравіе съ періодическими припадками политическихъ и соціальныхъ горячекъ... Вотъ почти сто лѣтъ, какъ Франція безпрестанно мѣняетъ свои конституціи, свою діэту, своихъ лѣкарей, а все еще изъ болѣзни не выходитъ, все еще нѣтъ прочнаго здоровья, нѣтъ даже и примѣтъ скораго выздоровленія. И понынѣ еще не знаетъ она, что она: королевская ли монархія, имперія ли, республика ли? И какая республика: консервативная ли, то есть охранительная, или разрушительная всего, что было, и радикально перепахивающая всѣ бразды, всю почву прежняго порядка, для разравненія новыхъ грядъ, *новыхъ соціальныхъ слоевъ*? Поди, ищи тутъ правды и какихъ нибудь стихій порядка, въ этой путаницѣ понятій, стремленій.

Тьеръ, который дожилъ до семидесяти лѣтъ и болѣе въ правилахъ и чувствѣ, непріязненныхъ къ республикѣ, вдругъ, на старости лѣтъ, въ одно прекрасное утро проснулся убѣжденнымъ и убѣждающимъ республиканцемъ. И какъ выдумалъ онъ политическую загадку: le roi règne et ne gouverne pas, съ которою похоронилъ онъ іюльскую монархію, а временно и себя: такъ и нынѣ въ видѣ лебединой пѣсни, выпустилъ онъ фіоритуру: la république conservatrice. Но *conservatrice* чего: его президентства? Но и тутъ ему не удалось.

XII.

Во дни временнаго президентства его, не дипломатическіе и не воинственные лавры Бисмарка смущали его и не давали ему спокойно́ спать: нѣтъ, тревожили и раздражали его кирасирскій мундиръ и каска Бисмарка. Маленькое, тщедушное тѣло его такъ и просилось, такъ и рвалось въ военный мундиръ. Но, прибѣгая къ народной поговоркѣ, позволимъ себѣ сказать: бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ. А ужъ какъ бы хотѣлось ему пободать. Какъ хотѣлось бы, дай ему только каску, пустить въ ходъ свои тактическія и стратегическія способности, свѣдѣнія, геніальныя вдохновенія. Держись тутъ и самъ Мольтке! Не сдобровать ему. Какъ разъ, отвоюетъ онъ завоеванныя области, да еще прирѣжетъ на долю Франціи лоскутокъ изъ зарейнскихъ владѣній. Дай ему каску военную, и все дѣло въ шляпѣ. Нѣльзя сомнѣваться, таковы потаенные помыслы Тьера и большинства Французовъ: я еще не встрѣчалъ ни одного француза, который не былъ бы подъ давленіемъ и обольщеньемъ этого марева. А между тѣмъ никто и не думаетъ залѣчивать ранъ Франціи: возстановить силы ея нравственныя и политическія. Всѣ раздѣлены на нѣсколько междоусобныхъ становъ; всѣ, мечтая объ отмщеніи надъ счастливымъ, но временнымъ побѣдителемъ, истощаютъ всѣ коренныя и кровныя силы свои въ спибкахъ другъ съ другомъ въ *словопашныхъ* схваткахъ, въ устроеніи каверзовъ одной партіею другой. Никто изъ нихъ не догадывается, а что еще хуже, не хочетъ думать о томъ, что эти увѣчья, эти ущербы, которые они другъ другу наносятъ въ сво-

ихъ поединкахъ, падаютъ язвами, пораженьями и утратами на самую Францію, уже и такъ изнуренную и разстроенную.

XIII.

Тьеръ, какъ государственное, какъ историческое лицо, далеко не Ришелье, тѣмъ болѣе не Вашингтонъ. Мѣсто его, театръ его талантовъ, поприще славы его, тутъ, гдѣ онъ выросъ и, такъ сказать, неминуемо наложилъ себя Франціи, есть: оппозиція. Въ ней онъ первенствуетъ часто врожденнымъ и здравымъ разсудкомъ, а еще чаще силою и ясностью рѣчи своей. Никто въ спорномъ вопросѣ не умѣетъ, какъ онъ, выяснить мысль свою, облечь ее въ удобопонятную для всѣхъ форму; такъ сказать, разжевать ее: другимъ остается только ее проглотить, не давая труда себѣ даже раскусить хорошенько, что проглотили. Дѣльцы оппозиціи, если можно назвать ихъ дѣльцами, скажемъ предводители, воеводы оппозиціи рѣдко являются великими государственными дѣятелями, когда случается имъ отбить власть у противниковъ. Мы видѣли это въ Фоксѣ, видимъ это и въ Тьерѣ. *Ломщики* не бываютъ строителями. Тараны сокрушаютъ стѣны, а не воздвигаютъ ихъ. Въ доказательство государственной и политической несостоятельности Тьера можно привести два указанія, не говоря уже о частыхъ промахахъ и противорѣчіяхъ, которыми были ознаменованы прохожденія его чрезъ разныя министерства, а особенно министерства внѣшнихъ сношеній. Мы уже упоминали о республиканской метаморфозѣ его, совершившейся нѣсколько поздненько. Хорошо и благочестиво сознаваться въ заблужденіяхъ своихъ: что́ и говорить о томъ; но признаваться человѣку на 75 году отъ рожденія своего, что онъ болѣе полувѣка ошибался, шелъ и велъ отечество свое по ложному пути, не понималъ требованій и духа народа своего, но что въ одно прекрасное утро, на пути къ Дамаску, онъ внезапно услышалъ голосъ свыше, почувствовалъ осѣнившее его наитіе и безпрекословно повинуется ему, и что вслѣдствіе того, онъ круто поворотилъ, или вѣрнѣе сказать, перепрыгнулъ на другую дорогу, и въ прыжкѣ своемъ хочетъ увлечь всю Францію,—все это можетъ быть очень похвально и назидательно въ смыслѣ откровенности и

старческаго отреченія отъ заблужденій молодости и зрѣлыхъ, и даже перезрѣлыхъ лѣтъ; но, воля ваша, тутъ нельзя признать государственнаго человѣка; а развѣ смирившагося и кающагося грѣшника.

Другое указаніе также неоспоримо и побѣдоносно. Тьеръ вмѣстѣ съ Беранже были долгое время рапсодами первой имперіи и Наполеона I. Послѣдній пѣснями своими распространялъ въ народѣ и подогрѣвалъ легенды о славныхъ дняхъ и событіяхъ павшей имперіи. Тьеръ, въ своей исторіи консульства и имперіи, довелъ поклоненіе Наполеону до идолопоклонства, до какого-то фетишизма, шаманства. Никогда и нигдѣ Французскій шовинизмъ,—Французскій, *знай наших*,—не доходилъ до такой жаркой температуры. Мало того, что онъ почти обоготворилъ свой кумиръ и пробудилъ въ народѣ набожное сочувствіе къ нему, онъ еще вызвалъ этотъ кумиръ изъ отдаленной, поэтической и величественной могилы его и, такъ сказать, воплотилъ его снова въ глазахъ народа на потѣху парижанамъ-зѣвакамъ и обожателямъ всякаго театральнаго зрѣлища. Это было родъ исторической и политической канонизаціи. Ужь если Тьеръ не былъ восторженнымъ Наполеонидомъ, то гдѣ искать его и кого имъ признать? Если онъ все это дѣлалъ и не предвидѣлъ послѣдствій, то онъ не былъ государственнымъ человѣкомъ. Если онъ совершалъ все это сознательно, умышленно, то почему же встрѣтилъ онъ непріязненно вторую имперію въ лицѣ другаго Наполеона,—имперію, которую отогрѣлъ онъ за пазухою, которую высидѣлъ, выписалъ перомъ своимъ, застраховалъ именемъ и дѣйствіями своими? J'aime assez sa sauce, mais je n'aime pas le cuisinier, сказалъ онъ о Наполеонѣ III (довольно люблю соусъ его, но не люблю повара). Кажется, напротивъ: можно бы любить повара, но порицать соусъ его. Во всякомъ случаѣ, не Тьеру бы говорить это: поваръ этотъ — есть дѣло рукъ его; онъ выкликалъ его на Францію. Многіе причисляютъ Тьера къ либераламъ и ставятъ его въ ихъ главѣ. Оно такъ, если судить о немъ на скамьѣ оппозиціи; но, облеченный властью, какъ министръ, или президентъ республики, онъ скоро разоблачался и являлся совершенно въ иномъ видѣ. Въ статьѣ о немъ, впрочемъ писанной въ хвалебномъ направленіи, одинъ англичанинъ, говоря о президентствѣ его, сказалъ: „можно только опасаться, что при-

чину любви его къ республикѣ должно преимущественно искать въ положеніи, которое онъ въ ней занимаетъ. Если это не такъ, то почему, напрягая всѣ силы свои, чтобы *опереспубликанить* своихъ соотечественниковъ, удѣляетъ онъ на себя *такъ много республики* и *такъ мало* изъ нея имъ предоставляетъ? Во всей машинѣ административной нѣтъ ни одного министерства, въ которомъ не управлялъ бы онъ самолично и самовластно; всѣ министры его почти не что иное, какъ подчиненные его и орудія, черезъ которыя приводитъ въ дѣйствіе приказанія свои".

Видно, тутъ пресловутая аксіома его въ сторонѣ: королю не дозволяется, но президенту республики можно въ одно время и *царствовать*, и *править*.

Но доказательство, что онъ именно и исключительно рожденъ, вооруженъ и окрѣпъ для оппозиціи, а не для правленія—явственно истекаетъ изъ него самого. Онъ много содѣйствовалъ низверженію монархической власти, которой служилъ и которую выгодно было бы ему поддерживать; а когда верховная власть досталась ему самому въ руки, онъ не съумѣлъ усидѣть на своемъ царственно-президентскомъ креслѣ. Оппозиція такъ глубоко вкоренилась въ плоть и привычки его, что онъ и тогда оппозіонствовалъ самому себѣ и подкапывался подъ власть свою.

XIV.

Франціи не скоро и не легко дойти до внутренняго и домашняго примиренія воззрѣній, мыслей, мнѣній, алчныхъ желаній своихъ. Это гораздо труднѣе, нежели собрать биржевыми оборотами и фокусами пять милліардовъ для уплаты военной контрибуціи. „Франція довольно богата, чтобы заплатить за славу свою", сказалъ нѣкогда Гизо. Можно также справедливо сказать, что она настолько богата, что можетъ уплачивать и за свои ошибки, и дурачества. Будь она бѣднѣе, она была бы умнѣе. Періодическія, политическія и соціальныя бури, которыя часто волновали и взбудораживали почву ея до самой сердцевины, не утихли еще и нынѣ. Онѣ должны были уязвить много вѣрованій и сочувствій, накопить много желчи, внести много недочетовъ въ политическій и нрав-

ственный бытъ общества и частныхъ лицъ. Эти бури усѣяли Францію многими обломками и развалинами. Какъ привести всѣ эти раздражительныя противорѣчія въ одно стройное цѣлое? Какъ изъ этихъ развалинъ, или на этихъ развалинахъ, воздвигнуть новое зданіе? Гдѣ искусные зодчіе? Гдѣ добросовѣстные и усердные рабочіе? Отчаяваться за будущее не слѣдуетъ. Но мы говоримъ о настоящемъ, а настоящее является, въ видѣ взаимной враждебности и междоусобицы, во всемъ и во всѣхъ. До ручной драки, благодаря Бога, еще не дошло, но драка чуется въ воздухѣ; а пока дерутся мнѣнія, страсти, улики, злопамятованія. Бѣда въ томъ, что у француза убѣжденій мало: событія такъ перетрепали эти убѣжденія, что разорвали ихъ на клочки Но если у француза мало уцѣлѣвшихъ убѣжденій, то много непромокаемыхъ, несгораемыхъ, неветшающихъ предубѣжденій. Добросовѣстныя убѣжденія, въ часъ нужды, въ виду общей пользы, могутъ еще дѣлать другъ другу уступки, могутъ признать, что иногда худой миръ лучше доброй ссоры. Но предубѣжденія, по роковому свойству своему, непреклонны, упрямы до нельзя. Они, вообще, слѣпотствующія и оглохшія. Какъ же требовать, какъ же надѣяться, чтобы они вдругъ прозрѣли, вдругъ разслышали голосъ истины? Дуракъ броситъ камень въ воду, а десять умныхъ его не достанутъ. Предубѣжденіе именно и есть въ одно время и этотъ дуракъ, и этотъ камень.

XV.

Еще одно знаменіе времени во Франціи: оно частное, но примѣнимо ко многому и ко многимъ. Г. Ларошъ кандидатъ въ члены національнаго собранія, говоритъ предъ своими избирателями: „on ne devrait s'occuper pendant toute la durée du septennat que de questions économiques et administratives“ (Во все продолженіе семилѣтія должно бы заниматься одними экономическими и административными вопросами). Что можетъ быть благоразумнѣе этихъ словъ? А старѣйшій и, по видимому, серьезнѣйшій, изъ Французскихъ журналовъ, Journal des Débats, изволитъ трунить надъ ними. Онъ говоритъ: „nous voudrions au contraire, que l'assemblée nationale se décidât enfin à aborder les questions

politiques" (Мы хотѣли бы, напротивъ, чтобы національное собраніе рѣшилось, наконецъ, приступить къ вопросамъ политическимъ). Какъ же этотъ много-пережившій, много-испытавшій и часто измѣнявшійся и линявшій журналъ, не успѣлъ догадаться, что тамъ, гдѣ экономическіе и административные вопросы въ порядкѣ, то есть финансы и государственное благоустройство упрочено, тамъ и политика сама собою будетъ хороша? Какъ этотъ журналъ не видитъ, что политика во Франціи, то-есть политическія страсти, и пренія обезсилили и обезсиливаютъ ее? Самое преобладаніе политическое того и другаго государства надъ Европою не есть еще прочная и благонадежная сила. Политика, то есть внѣшняя, есть оружіе обоюдоострое. „Взявшій мечь—мечемъ погибнетъ".

Кто одною политикою, завоевательною или притязательною, вознесется, тотъ этою политикою въ свое время можетъ и обрушиться. Господство Франціи, то есть умственное, духовное, а иногда и суетное, возникло и усилилось въ Европѣ тогда, когда народъ Французскій не занимался политикой, не было ни собраній народныхъ, ни политическихъ каѳедръ. Трагедіи Корнеля и Расина: *Сидъ*, *Поліевктъ*, *Кассандра*, *Аталія*, *Федра;* комедіи Мольера: *Тартюфъ*, *Мизантропъ*, вотъ что́ въ то время было политическою Французскою пропагандою въ Европѣ. Онѣ и теперь еще сила, и пережили дюжину политическихъ конституцій, которыя выкроила себѣ Франція. Умы и писатели XVIII вѣка еще болѣе, еще разнообразнѣе и вліятельнѣе поддержали эту пропаганду. Не оставили ея безъ вниманія и сочувствія и такія самобытныя личности, какъ Екатерина великая и Фридрихъ великій. Екатерина хвалилась тѣмъ, что почерпала изъ Монтескьё свои государственныя и политическія правила. Фридрихъ писалъ, хотя и довольно плохіе стихи, но на Французскомъ языкѣ. Французскій языкъ сдѣлался общимъ Европейскимъ языкомъ. Вотъ сила Франціи!

XVI.

Буря и взволнованное разлитіе рѣки сорвали и разорвали на щепки мосты, которые перегибались по этой рѣкѣ и служили народу сообщеніемъ между противоположными берегами. Народъ

послѣ перваго страха сталъ въ тупикъ. Нашлись благоразумные люди, которые предложили, на первый случай, построить парóмъ. Не хотимъ парома: дай намъ сейчасъ постоянный мостъ—закричали, завопили передовые горланы, и тутъ пошли новые толки; одни кричатъ: мы хотимъ американскій мостъ; другіе: а мы мостъ раздвижной; третьи: мостъ королевскій (pont royal) и т. д. Наконецъ, раскричавшись до перхоты и видя, что ни до какого рѣшенія не дойдешь, всѣ de guerre lasse рѣшились устроить парóмъ, предоставляя каждому, по истеченіи условленнаго срока, рѣшить—какой прочный мостъ можетъ быть воздвигнутъ. Вотъ исторія Французскаго септенната, семилѣтія. Казалось, образумится народъ. Ни чуть не бывало. Едва ли не на другой день этого постановленія, пошли въ національномъ собраніи толки, а какой будетъ этотъ септеннатъ: личный или безличный? Точно споры грамматиковъ о какихъ-то личныхъ или безличныхъ глаголахъ. Не напоминаетъ ли это схоластическія Византійскія распри въ то время, когда непріятель стучался въ городскія ворота? У Французовъ также стучится въ ворота непріятель, который гораздо опаснѣе Бисмарка въ своемъ кирасирскомъ шишакѣ: именно, полнѣйшая наурядица свыше и снизу.

XVII.

На дняхъ что-то будто устроилось во Франціи, и всѣ какъ будто довольны: наконецъ, нашли они философскій камень, который долженъ быть краеугольнымъ камнемъ новаго государственнаго зданія; нашли квадратуру круга, которая отнынѣ и на вѣки спасетъ ихъ отъ привычки кружиться и кувыркаться въ безвыходномъ кругѣ (cercle vicieux). Дай-то Богъ! Тимирязевъ говорилъ объ одномъ общемъ пріятелѣ, который убилъ нѣсколько сотъ тысячъ рублей и до гроша разорился на разныя спекуляціи, а онъ не унываетъ: покажи ему въ дверяхъ пятирублевую ассигнацію—у него въ тотъ-же часъ замерещится, зарябятъ въ глазахъ милліоны, и онъ опять готовъ затѣять новую спекуляцію. Нѣтъ ли у Французовъ нѣкотораго сходства съ пріятелемъ нашимъ?

Правительство, журналы и публика провозглашаютъ: времен-

ное (provisoire) положеніе пришло къ концу. Нынѣ у насъ возстановлено правительство легальное и твердо опредѣленное. Прекрасно! Но позвольте спросить: сколько въ послѣднія три четверти вѣка имѣли вы разноцвѣтныхъ и разношерстныхъ *легальныхъ* и на неизмѣнныхъ началахъ прочно основанныхъ государственныхъ законоположеній?

Всѣ эти перестройки, воздвиженія, въ болѣе или менѣе краткомъ срокѣ, оказывались тѣми же воздушными замками. Французы съ правительствами своими поминутно пересаживаются съ мѣста на мѣсто, какъ музыканты Крылова. Посмотримъ, наконецъ, усядутся ли они какъ слѣдуетъ.

XVIII.

А что ни говори, Французовъ нельзя не любить, особенно намъ: даромъ, что графъ Закревскій, въ пребываніе свое въ Парижѣ, когда бывали частыя покушенія на жизнь Луи-Филиппа, говаривалъ: „шельма нація, такъ и стрѣляетъ въ короля своего, какъ въ мишень“—да, нечего сказать—скверная привычка! Но эти застрѣльщики не составляютъ народа. Разноплеменные революціонеры изъ всѣхъ народовъ образуютъ особенное отродье, которое не имѣетъ ничего общаго съ другими: они не принадлежатъ тому или другому государству. Ихъ общая родина революція. Правъ и графъ Закревскій съ своей точки зрѣнія. Правы будемъ и мы, когда скажемъ, что Французы любезный народъ: мы, то есть Русскіе, не можемъ не мирволить Французамъ потому, что въ натурѣ вещей мирволить себѣ самимъ. Не одно воспитаніе клонитъ насъ на сторону ихъ: прирожденныя, физіологическія сочувствія, природное сродство сближаютъ насъ съ ними. Съ Нѣмцами, Англичанами, Италіанцами у насъ гораздо менѣе точекъ соприкосновенія, менѣе магнетическихъ притоковъ, чѣмъ съ Французами. Посмотрите на Русскаго солдата, прямо вышедшаго изъ среды простонародья: онъ скорѣе побратается съ французомъ-непріятелемъ, нежели съ нѣмцемъ-союзникомъ. Мы въ французѣ сочувствуемъ не латинцу, а галлу. Галльскій умъ съ своею веселостью самородною, съ своею насмѣшливостью, быстрымъ уразумѣніемъ, имѣетъ

много общаго съ Русскимъ умомъ. Никто изъ образованныхъ народовъ Европейскихъ не понимаетъ Французской остроты, Французской шутки, какъ мы понимаемъ ихъ на лету. Ривароль говорилъ, что Нѣмцы складываются (se cotisent), чтобы понять Французскую шутку. Французскій театръ—нашъ театръ; французъ общежителенъ, уживчивъ, и съ нимъ легко уживаться: онъ незлопамятенъ, но и не предусмотрителенъ; поговорка: *день мой—опытъ мой*, могла бы родиться на Французской почвѣ, какъ родилась на нашей. Французъ, когда не сглазила, не испортила его политика, добродушенъ, благопривѣтливъ, снисходителенъ. Все это и наши свойства: отыщутся у нихъ и наши недостатки. Графъ Ростопчинъ, который былъ русскій до запоя, до подноготной, ожесточенный врагъ Французовъ въ Россіи, и послѣ 12 года маленько поссорившійся съ Русскими, этотъ въ сокращенномъ видѣ новый Коріоланъ, отправился на отдыхъ отъ своихъ подвиговъ, недочетовъ, уязвленій честолюбія и самолюбія, не въ союзную Англію, не въ союзную Германію, а прямо, просто, въ Парижъ. Тамъ жилъ и ужился онъ въ ненавистными Французами: забывалъ, что сжегъ любимое свое Вороново только для того, чтобы Французская нога не осквернила порога его; тамъ отрекся онъ даже и отъ сожженія Москвы: Французы, слушая его, забывали, что онъ русскій, да еще какой русскій? le férоce gouverneur général de Moscou. Еще недавно Парижская печать, упоминая о немъ, говоритъ, что онъ въ скорое время сдѣлался наилюбезнѣйшимъ и почетнѣйшимъ изъ тѣхъ гостей, которыхъ Парижъ называлъ: *наши пріятели-непріятели* (nos amis les ennemis).

XIX.

Съ нѣкотораго времени идетъ у насъ непомѣрный расходъ на юбилеи, телеграммы, адресы и револьверы: всѣ наперерывъ употребляютъ во зло, и какъ-бы запоемъ, эти модныя пособія и орудія. Употребленіе первыхъ изъявленій, по крайней мѣрѣ, невинно. Но послѣднее орудіе, сей роковой ультиматумъ воли болѣзненной и противуестественной, въ высшей степени прискорбенъ, какъ злополучное знаменіе вѣка и нравственнаго разстройства.

Въ старое время юбилей,—это Іудейское религіозное постановленіе, перешедшее и въ новѣйшую исторію, — совершалось и праздновалось рѣдко, въ память великихъ событій. Были столѣтніе, пятидесятилѣтніе юбилеи, потомъ двадцатипятилѣтніе. Мы сократили эти сроки. Не одни мертвые, какъ въ балладѣ Бюргера, скачутъ скоро: живые скачутъ еще скорѣе. У насъ юбилеи празднуются едва-ли не безъ году въ недѣлю. Побужденіе прекрасное и человѣколюбивое, особенно жизнелюбивое. Жизнь—Божій даръ, почему же и не поспѣшить отпраздновать его съ подобающимъ сопровожденіемъ обѣда съ музыкою, заздравными тостами, рѣчами и неминуемыми телеграммами куда-нибудь и кому-нибудь: собралось десятка два человѣкъ пообѣдать—ну, и прекрасно! Кажется, довольствоваться можно и этимъ, особенно, если обѣдъ хорошъ и вина хороши,—впрочемъ на подобныхъ торжествахъ это не всегда бываетъ. Нѣтъ, обѣдъ не въ обѣдъ, если не дать себѣ удовольствія пустить вдаль, по проволокѣ извѣстіе: что мы дескать обѣдаемъ. Обѣдающіе свято удовлетворили тѣмъ потребности и духу вѣка. Адресы,—жаль только, что они не всегда грамотно написаны. Les adresses sont souvent des maladresses. Но что же дѣлать? Не всякое лыко въ строку: не до грамматики и не до логики тамъ, гдѣ сердце и перо отъ избытка чувствъ глаголютъ. Вотъ и родилась у насъ особенная телеграфическая и адресная литтература. За неимѣніемъ другой, будемъ пока довольствоваться и этой: худаго тутъ пока ничего нѣтъ. Людямъ пришла охота гласно витійствовать и писать—пусть они и тѣшатся. Но для чего при этомъ пришла охота стрѣлять въ себя и въ ближняго? Вотъ это уже не только непохвально, но и достойно всякаго порицанія. Человѣкъ смотритъ на себя и на другаго какъ на цѣль, выставленную для упражненія себя въ стрѣльбѣ. Револьверъ сдѣлался необходимою принадлежностью каждаго. Въ старину каждый имѣлъ табакерку въ карманѣ, частью для собственнаго употребленія, частью и напоказъ: теперь подчуютъ сосѣда уже не щепоткою табаку, а щепоткою пороха, при нѣсколькихъ пулькахъ изъ револьвера. Гдѣ прежде при размолвкѣ съ пріятелемъ или съ любовницею топнешь въ сердцахъ ногою, или сердито хлопнешь дверью, тамъ теперь является неминуемый револьверъ. Въ старые годы Гёте основалъ свой романъ

на самоубійствѣ: и этотъ романъ произвелъ на всѣхъ потрясающее впечатлѣніе потому, что развязка романа была тогда какъ-то въ диковинку. Теперь самоубійство дѣло обыденное и вносится чуть-ли не ежедневно въ полицейскія и другія вѣдомости, вмѣстѣ съ обыкновенными происшествіями и случаями текущаго дня. Самоубійство, можно сказать, опошлилось. Всѣ прибѣгаютъ къ нему: женщины и мужчины, старые и малые, свѣтскіе и духовные: гимназистъ отъ того, что не выдержалъ экзаменъ; чиновникъ отъ того, что обойденъ чиномъ; другой отъ того, что онъ не милліонеръ, и слѣдовательно обиженъ Богомъ и людьми. Того обманула любовница: это сплошь бывало и бываетъ. Умный человѣкъ возьметъ другую—и дѣло съ концомъ, или постарается урезонить себя и поразсѣять. Нынѣ человѣкъ полагаетъ, что короче всего разстрѣлять себя, или вмѣстѣ съ собою и невѣрную—и бацъ въ нее и въ себя, благо, что въ револьверѣ нѣсколько пуль. Эти явленія еще тѣмъ прискорбнѣе, что они часто не вспышки, не взрывы сильныхъ и горячихъ страстей. Часто страсть тутъ не при чемъ. Вообще, нашъ вѣкъ, а Русскій вѣкъ въ особенности, не вѣкъ страстей, а вѣкъ разсчета. Многія изъ этихъ убійствъ и самоубійствъ совершаются какъ будто по разсчету, обдуманно, въ ужасающимъ хладнокровіемъ. Грѣшно клепать и на грѣшниковъ: а невольно сдается, что иныя изъ этихъ жертвоприношеній совершаются для публики, ради гласности и журнальной статьи. Преступные безумцы рисуются предъ современниками и потомствомъ; а современники на другой день забываютъ ихъ: о потомствѣ и говорить нечего. Оно ничего не узнаетъ о нихъ. Вотъ они, бѣдные, и остаются съ грѣхомъ на душѣ предъ Богомъ и дураками у людей. Но съ какой стороны ни смотрѣть на эти человѣческія гекатомбы, онѣ печальныя знаменія нравственнаго упадка и вопіющія улики вѣку. Въ нихъ есть что-то дикое, звѣрское, канибальское: это просто заѣдать себя и ближняго.

Наша печать любитъ приписывать себѣ, если не всегда починъ, то постоянное благодѣтельное содѣйствіе, во всѣхъ полезныхъ преобразованіяхъ, улучшеніяхъ и новыхъ пріобрѣтеніяхъ, которыми ознаменовалось общество наше въ послѣднее время. Оно, частью, можетъ быть и такъ. Но если имѣетъ она силу на добро,

то можетъ имѣетъ силу и на зло. Пускай провѣритъ она совѣсть свою въ искренней и чистой исповѣди своей, не дознается ли она, что въ этихъ бурныхъ и мутныхъ явленіяхъ есть, пожалуй, хотя отрицательная, но есть маленькая частичка и ея вліянія? Разумѣется, печать не проповѣдуетъ ни убійства, ни самоубійства. Но преподаетъ ли она постоянно и убѣдительно тѣ общественныя условія, тѣ нравственные законы, которые могутъ противодѣйствовать поползновеніямъ къ этому злу, отвратить отъ него, отъ него отучить? Не содѣйствуетъ ли она своимъ скептицизмомъ въ оцѣнкѣ всего прошедшаго, и своимъ самодовольнымъ и восторженнымъ оптимизмомъ предъ благопріобрѣтеніями настоящаго, не содѣйствуетъ ли она ослабленію, а иногда и радикальному расторженію, тѣхъ связей, потрясенію и срытію тѣхъ основъ, которыми и на которыхъ держалось старое общество, и на которыхъ должно держаться всякое благоустроенное гражданское христіанское общество?

Не скажемъ, чтобы старое общество было во всемъ лучше нынѣшняго: въ иномъ хуже, въ другомъ лучше. Если провѣрить и свести счеты хорошенько и добросовѣстно, то едва ли не окажется, особенно по главнымъ статьямъ прихода и расхода, что ни то, ни другое не въ долгу одно предъ другимъ. Старое общество имѣло свои недостатки и грѣшки, — имѣетъ свои и новое, но не рѣдко съ тою разницею, что мы къ родовому наслѣдству по этой части, доставшемуся послѣ предковъ, наживаемъ еще особенно благопріобрѣтенныя. Что же тутъ дѣлать? Живется, слѣдовательно и согрѣшается. Но, кажется, когда хорошо осмотришься и поглубже вникнешь въ дѣло, какъ будто убѣдишься, что есть еще одно существенное различіе между старымъ и новымъ. Если и въ старомъ, то есть въ предшествующемъ нашему, обществѣ, уже не сильно дѣйствовалъ страхъ Божій, то еще былъ силенъ страхъ людской: была дисциплина, которой невольно покорялись лица и общество,— страхъ, довольно искуственный, условный – это правда, дисциплина нѣсколько лицемѣрная — и это правда. Но все-таки, что-то было; а теперь ничего нѣтъ. Страха Божія не болѣе, чѣмъ прежде, а страхъ людской сданъ въ архивъ, какъ старое, давно порѣшенное дѣло.

Нынѣ слишкомъ много разноглагольствуютъ, проповѣдуютъ о

новыхъ удобствахъ, о новомъ *комфортѣ* жизни матеріальной, нравственной, политической. Матеріальныя, вещественныя завоеванія науки надъ природою нынѣ изумительны: они имѣютъ свою высокую и неоспоримую цѣну, даже и въ нравственномъ отношеніи. Это неоспоримо. Люди сытые, защищаемые хорошею кровлею отъ непогодъ и холода, пользующіеся легко и дешево нѣкоторыми удобствами жизни, должны быть, или по крайней мѣрѣ, должны бы довольными быть. Но на бѣду, оно не всегда такъ. Правила: отъ добра добра не ищешь—держатся благоразумные люди. Но въ мірѣ не одни благоразумные люди, есть и другіе. Теперь хорошо, или, по крайней мѣрѣ, порядочно—ну, и слава Богу! Нѣтъ, такъ давай искать, гдѣ получше. Вотъ философія многихъ. Вотъ, что называется нынѣ les declassés — безкласные, общественные бобыли, лѣзутъ въ сторону, или вверхъ, да и то пролѣзть хотятъ не трудомъ, не доблестною работою, какъ, напримѣръ Сперанскій, а какою нибудь спекуляціей, биржевою игрою на той или другой биржѣ общественнаго урока.

Во всякомъ случаѣ, удобства не должны заглушать обязанности. Матеріальное довольство не должно усыплять духовныя побужденія. Насущный хлѣбъ—прекрасная вещь, но не о единомъ хлѣбѣ живъ человѣкъ. Въ жизни главное дѣло не въ томъ, чтобы имѣть какъ можно болѣе хлѣба, чтобы класть его въ карманъ. Печать, вообще, не слишкомъ ли много заботится объ этомъ хлѣбѣ и возбуждаетъ имъ аппетиты толпы? Не слишкомъ ли мало заботится она о другомъ хлѣбѣ, которымъ насыщалась бы духовная потребность человѣка, также присущная въ немъ, но часто заслоненная и подавленная другими потребностями, въ которыхъ нѣтъ ничего духовнаго?

Печать учитъ новыя поколѣнія правамъ, которыя искони связаны съ достоинствомъ человѣка. Но не забываетъ ли она, что есть тоже исконныя обязанности? Несоблюденіе ихъ, отсутствіе ихъ дѣлаетъ эти права своевольными, грубыми и дикими.

Хорошо и похвально быть ходатаями слабыхъ и низшихъ, принимать горячо къ сердцу ихъ нужды; но изъ того не слѣдуетъ, что, при каждомъ случаѣ, ни за что и ни про что, должно кидать каменьями въ сильныхъ и въ высшихъ; иначе, такимъ образомъ,

высшіе и сильные становятся обиженными, а обида не должна идти ни сверху внизъ, ни снизу вверхъ.

Молодежи намъ нельзя не любить. Въ ней видимъ мы отблескъ, въ ней слышимъ мы отдаленный отголосокъ самихъ себя. Молодежь для насъ и воспоминаніе, и надежда. Въ этомъ чувствѣ есть что-то семейное, родительское. Старики—отцы новаго поколѣнія, и любятъ ее, какъ отецъ любитъ дѣтей своихъ. Но надобно, чтобы и дѣти питали чувства почтенія и любви къ своимъ родителямъ, вѣрили и слушались ихъ опытности. Изъявленіе презрѣнія къ минувшему мало обѣщаетъ плодовъ для будущаго. Печать не слишкомъ ли свысока, не слишкомъ ли насмѣшливо и порицательно обращается съ прежними порядками и дѣятелями, которые все-таки отцы и приготовители нынѣшнихъ порядковъ, нынѣшнихъ дѣятелей? Позорить старину не тоже ли, что кусать грудь кормилицы, которая воспоила насъ молокомъ своимъ? Можно и не оставаться навсегда грудным ребенкомъ, но все же не мѣшаетъ признательно обращаться съ кормилицею и любить ее.

Что же все это имѣетъ общаго съ револьверомъ? спроситъ иной читатель. А что имѣло общаго съ женщиною дѣло, представленное на разсмотрѣніе судьи, который искалъ въ немъ женщины, хотя о ней и въ поминѣ не было? Эта искомая женщина, которая позднѣе или ранѣе, легче или труднѣе, а все-таки окончательно, такъ или сякъ, нашлась въ процессѣ, не можетъ ли навести насъ на печать, не только нашу, но и общую?

Мы пишемъ не разсужденіе, не трактатъ, а просто накидываемъ современныя тэмы въ нашъ вопросительный вѣкъ,—мы позволяемъ себѣ также смиренно и безпристрастно задать нѣсколько вопросовъ: можетъ быть, кому нибудь и придетъ на умъ провѣрить эти тэмы и отвѣчать на эти вопросы. Если намъ добросовѣстно и побѣдоносно докажутъ, что наши тэмы ошибочны и односторонни, если наши вопросы возбудятъ отвѣты, обличающіе эти вопросы въ ложномъ понятіи того, что есть, и въ напрасномъ страхѣ того, что быть можетъ, мы первые обрадуемся нашему пораженію: мы предъ побѣдою противника положимъ перо свое и отречемся отъ своихъ предубѣжденій и заблужденій.

Но, во всякомъ случаѣ, тутъ печати есть надъ чѣмъ призаду-

маться. Noblesse oblige, но и presse oblige. У печати много есть средствъ для ежедневнаго, и такъ сказать, безостановочнаго дѣйствія; но на ней лежатъ и великія обязанности.

Незнакомецъ, въ одномъ изъ прошлогоднихъ фельетоновъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей", написалъ нѣсколько сильныхъ, благоразумныхъ, правдивыхъ, теплымъ чувствомъ согрѣтыхъ строкъ, противъ этой воспалительной и возвратной лихорадки, и револьвера, и другихъ смертоубійственныхъ снарядовъ. Онъ дѣло свое сдѣлалъ—и прекрасно сдѣлалъ. Но противъ подобнаго зла фельетонъ недостаточенъ. Тутъ нужны не одни смѣлые и меткіе застрѣльщики. Тутъ нужно выдвинуть всю свою тяжелую артиллерію. Журналистикѣ нужно пустить въ ходъ всѣ свои печатные станки и поражать врага безостановочно и безпощадно.

Вотъ, кажется, мы, по крайней мѣрѣ съ своей стороны, покончили слѣдствіе свое надъ револьверомъ. Рѣшительный судъ о немъ передаемъ на разсмотрѣніе высшей инстанціи. Остаются еще на рукахъ нашихъ юбилеи, поздравительныя телеграммы, рѣчи, адресы. По нашему мнѣнію, не худо было бы обложить ихъ налогомъ и довольно высокимъ, хотя, по народной поговоркѣ, которая также есть своего рода законъ, и постановлено, что съ *вранья пошлинъ не берутъ*. Но въ нѣкоторыхъ экстренныхъ случаяхъ изъятія изъ общихъ законовъ дозволительны. Нѣтъ сомнѣнія, что и послѣ налога найдутся многочисленные охотники юбилировать, адресировать, телеграфировать, обѣдать, витійствовать. Тѣмъ лучше. Изъ собираемыхъ такимъ налогомъ денегъ, предложили бы мы составить фондъ для благонадежнаго содѣйствія къ обязательному обученію грамотѣ и еще кое-чему будущихъ учителей, которые будутъ обучать будущихъ учениковъ въ нашихъ будущихъ народныхъ школахъ. Кажется, это предложеніе довольно либерально.

На этомъ пока и остановимся.

CIV.

МИЦКѢВИЧЪ О ПУШКИНѢ.

(Mélanges posthumes d'Adam Mickiewicz, publiés avec introduction, préface et notes par Ladislas Mickiewicz, Paris, 1872).

1873.

I.

Мицкѣвичъ, хотя и блудный братъ, хотя и не возвратившійся подъ кровъ родной, такъ что не удалось намъ угостить его упитаннымъ и примирительнымъ тельцомъ, все-же остается братомъ нашимъ: онъ Литвинъ. Къ тому-же, по высокому поэтическому дарованію, онъ и безъ того сродни намъ и всѣмъ образованнымъ братьямъ человѣческой семьи. Есть высшіе нравственные и умственные слои, куда не должны достигать политическія предубѣжденія и мелочныя, хотя часто и неистовыя, страсти семейныхъ междоусобій: тутъ не существуютъ условныя перегородки приходскихъ національностей. Отъ нихъ на землѣ душно: выше воздухъ свѣжѣе, чище и успокоительнѣе. Мы пользуемся повсѣмѣстными плодами земнаго шара, не справляясь, какою почвою они были взращены, дружественной ли намъ, или непріязненной? Такъ должно обращаться и съ плодами умственной почвы. Политика — сила обыкновенно разъединяющая: поэзія должна быть всегда примиряющей и скрѣпляющею силой. Политическія предубѣжденія, политическія злопамятства и сочувствія Мицкѣвича умерли съ нимъ:

намъ до нихъ дѣла нѣтъ. Но то что̀ создано внутреннимъ духомъ и дарованіемъ поэта переживаетъ попытки односторонней и тревожной дѣятельности Мицкѣвича-эмигранта.

Мицкѣвичъ, какъ Байронъ, какъ Пушкинъ, не могъ быть дѣйствующимъ политическимъ лицомъ. Онъ былъ и выше и ниже этой роли. Каждому дана своя доля. Конечно подобныя натуры могутъ, какъ видѣли мы въ Байронѣ, принести себя на жертву идеѣ, или служенію предназначенной себѣ цѣли. Подобныя натуры, по своей раздражительной впечатлительности, могутъ увлекаться мнѣніями и волненіемъ того или другаго лагеря. Но тогда изъ владыкъ на почвѣ имъ родной становятся они на чужой сценѣ игралищами и невольниками часто мелкихъ и своекорыстныхъ политическихъ подрядчиковъ, или импрезарій.

По несчастью, еще въ весьма молодыхъ лѣтахъ Мицкѣвичъ былъ заброшенъ въ ряды оппозиціи. Въ Виленскомъ учебномъ округѣ возникли частью ребяческія, частью предосудительныя, но во всякомъ случаѣ прискорбныя затѣи Польской молодежи. Имя Мицкѣвича было замѣшано въ этой неурядицѣ. Вѣроятно участвовалъ онъ въ ней болѣе пѣснями, нежели дѣломъ; но и онъ подвергся строгости суда, въ числѣ другихъ былъ исключенъ изъ учебнаго заведенія и сосланъ во внутренность Россіи. Въ мятежѣ 1830 года, онъ не участвовалъ. Но почти общее Польское потрясеніе было такъ сильно, что не могло, хотя и заднимъ числомъ, не отозваться на поэтѣ. Къ довершенію несчастія, попалъ онъ потомъ въ Парижъ и былъ обхваченъ лихорадочною и судорожною жизнью его. Выше умомъ, нравственностію и честностью своею тѣхъ людей, съ которыми онъ силою обстоятельствъ сблизился, онъ предался ихъ вліянію. Въ нормальномъ состояніи не могъ-бы онъ никогда подѣлиться съ ними сочувствіемъ и удостоить ихъ своимъ уваженіемъ, но онъ уже не принадлежалъ себѣ, а идеѣ. Онъ создалъ себѣ кумиры. Польская эмиграція овладѣла имъ; овладѣлъ и театральный либерализмъ, то есть лживый и безплодный, такихъ высокопарныхъ пустомелей, каковы: Мишле и Кине. Онъ былъ чистъ и добросовѣстенъ; но повторимъ еще, онъ уже не принадлежалъ себѣ. Съ своимъ свѣтлымъ умомъ не могъ онъ также на-

дѣяться на окончательный успѣхъ предпринятаго дѣла. Но жребій былъ брошенъ и запечатлѣлъ его своею роковою необходимостью. Виленскій студентъ былъ увлекаемъ все далѣе и далѣе по этой покатистой и безъисходной дорогѣ. Вскорѣ затѣмъ, подъ какимъ-то, словно магнетическимъ или *спиритическимъ* наущеніемъ Товянскаго, создалъ онъ мечтательное и (какъ ни больно признаться) безобразное ученіе о какомъ-то Наполеоновскомъ мессіанизмѣ. Видѣть въ Наполеонѣ I преобразователя и возсоздателя новаго человѣчества, есть такое отемнѣніе, что, за исключеніемъ политическаго, никакое другое зелье и обмороченіе произвести его не могутъ. Г-жа Сталь сказала: „Въ царствованіе Бонапарте одни военныя дѣла были хорошо ведены: все прочее добровольно и умышленно дѣлалось дурно". Впрочемъ, не смотря на частныя блистательныя побѣды, и войны въ Испаніи и Россіи 1812 и слѣдующихъ годовъ не были окончательно дѣломъ слишкомъ удачнымъ. Доказательствомъ тому служитъ, между прочимъ, двукратное бивакированіе союзныхъ войскъ въ стѣнахъ Парижа. Однимъ Французамъ, по врожденнымъ въ нихъ легкомыслію и хвастливости, простительно покланяться Вандомской колоннѣ, которая должна бы напоминать имъ объ униженіи и раззореніи Франціи, до коихъ довелъ ее тотъ же Наполеонъ. Во всякомъ случаѣ, не Поляку славословить и баснословить память его. Что же сдѣлалъ онъ для Польши? Обратилъ къ ней нѣсколько военныхъ мадригаловъ въ своихъ прокламаціяхъ и реляціяхъ, роздалъ ей нѣсколько крестовъ Почетнаго Легіона, купленныхъ ею потоками Польской крови. Вотъ и все! Но Мицкѣвичъ, какъ замѣтили мы прежде, былъ уже омраченъ, омороченъ. Изъ всѣхъ человѣческихъ пристрастій и увлеченій, политическія наиболѣе и упорнѣе слѣпотствующія. Политика обыкновенно съуживаетъ умы: примѣры кардинала Ришелье, Вашингтона или Франклина рѣдкія исключенія. Не лишнимъ замѣтить здѣсь мимоходомъ, что, не смотря на свой идолопоклонническій наполеонизмъ, онъ въ 1852 году, былъ исключенъ президентомъ республики Людовикомъ Наполеономъ вмѣстѣ съ Мишле и Кине изъ числа преподавателей во Французской Коллегіи. Когда загорѣлась Крымская война, онъ, по порученію Французскаго правительства а частью, можетъ быть, и Польской эми-

граціи и князя Чарторыскаго, отправился въ Константинополь. Тутъ несчастный и умеръ отъ холеры, въ одиночествѣ, вдали отъ нѣжно любимаго имъ семейства.

Въ двадцатыхъ годахъ былъ онъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ, въ родѣ почетной ссылки. Въ томъ и другомъ городѣ сблизился онъ со многими Русскими литераторами и радушно принятъ былъ въ лучшее общество. Были ли у него и тогда потаенныя, заднія или передовыя мысли, рѣшить трудно. Оставался онъ кровнымъ Полякомъ и тогда, это несомнѣнно; но озлобленія въ немъ не было. Въ сочувствіи-же его къ нѣкоторымъ нашимъ литераторамъ и другимъ лицамъ ручаются неопровергаемыя свидѣтельства: гораздо позднѣе, въ самомъ разгарѣ своихъ политическихъ увлеченій, онъ устно и печатно говоритъ о нѣкоторыхъ Русскихъ писателяхъ съ любовью и уваженіемъ. И въ нихъ оставилъ онъ по себѣ самое дружелюбное впечатлѣніе и воспоминаніе. Въ прибавленіяхъ къ посмертному собранію сочиненій Мицкѣвича, писанныхъ на Французскомъ языкѣ, находимъ мы извѣстіе, что Московскіе литераторы дали ему передъ выѣздомъ изъ Москвы прощальный обѣдъ съ поднесеніемъ кубка и стиховъ. На кубкѣ вырѣзаны имена: Баратынскаго, братьевъ Петра и Ивана Кирѣевскихъ, Елагина, Рожалина, Полеваго, Шевырева, Соболевскаго. Тутъ же разсказывается слѣдующее: Пушкинъ, встрѣтясь гдѣ-то на улицѣ съ Мицкѣвичемъ, посторонился и сказалъ: „Съ дороги двойка, тузъ идетъ“. На что Мицкѣвичъ тутъ-же отвѣчалъ: „Козырная двойка туза бьетъ“.

Въ тѣхъ же прибавленіяхъ находимъ мы стихотвореніе Мицкѣвича, въ родѣ думы предъ памятникомъ Петра Великаго. Поэтъ говоритъ: „Однажды вечеромъ два юноши укрывались отъ дождя, рука въ руку, подъ однимъ плащемъ. Одинъ изъ нихъ былъ паломникъ, пришедшій съ Запада, другой—поэтъ Русскаго народа, славный пѣснями своими на всемъ Сѣверѣ. Знали они другъ друга съ недавняго времени, но знали коротко, и было уже нѣсколько дней, что были они друзьями. Ихъ души, возносясь надъ всѣми земными препятствіями, походили на двѣ Альпійскія скалы-двойчатки, которыя, хотя силою потока и раздѣлены на вѣки, но пре-

клоняются другъ къ другу своими смѣлыми вершинами, едва внимая ропоту враждебной волны".

Очевидно, что тутъ идетъ рѣчь о Мицкѣвичѣ и Пушкинѣ. Далѣе поэтъ приписываетъ Пушкину слова, которыхъ онъ, безъ сомнѣнія, не говорилъ; но это поэтическая и политическая вольность: ни дивиться ей, ни жаловаться на нее нельзя. Впрочемъ замѣтка, что конь подъ Петромъ болѣе сталъ на дыбы, нежели скачетъ впередъ, принадлежитъ не Мицкѣвичу и не Пушкину.

II.

Вскорѣ по кончинѣ Пушкина, явилось во Французскомъ журналѣ Le Globe, 25 Мая 1837 г., біографическое и литтературное извѣстіе о немъ за подписью *другъ Пушкина* (un ami de Pouschkine). Книга, о которой мы говорили выше, открываетъ намъ, что этотъ *другъ Пушкина* былъ Мицкѣвичъ. Какія ни были бы политическія мнѣнія и племенныя препирательства, но все-же вѣроятно многимъ будетъ любопытно и занимательно узнать сужденія великаго поэта о другомъ великомъ поэтѣ. Въ этомъ предположеніи сообщаемъ Русскимъ читателямъ статью Мицкѣвича въ слѣдующемъ переводѣ.

III.

Біографическое и литтературное извѣстіе о Пушкинѣ.

Промежутокъ времени между 1815 и 1830 былъ счастливою эпохою для поэтовъ. Послѣ великой войны, Европа, усталая отъ сраженій и конгрессовъ, отъ военныхъ бюллетеней и протоколовъ, казалось, опостылѣла къ грустной дѣйствительности и возносила взоры свои къ тому, что называли міромъ идеальнымъ. Тогда явился Байронъ. Онъ скоро овладѣлъ въ областяхъ воображенія такимъ же мѣстомъ, какимъ владѣлъ Императоръ на почвѣ положительной силы. Судьба которая безпрестанно давала Наполеону предлоги къ безконечнымъ войнамъ, благопріятствовала Байрону продолжительнымъ миромъ. Во время поэтическаго царствованія его

никакое великое событіе не отвлекало вниманія Европы, вполнѣ занятой чтеніемъ Англійскихъ произведеній.

Въ эту самую пору молодой русскій Александръ Пушкинъ довершалъ образованіе свое въ Царскосельскомъ Лицеѣ. Въ этомъ училищѣ направляемомъ иностранными методами, юноша не обучался ничему что могло бы обратиться въ пользу народному поэту; напротивъ, все могло содѣйствовать ему многое забыть: онъ утрачивалъ остатки родныхъ преданій; онъ становился чуждымъ и нравамъ, и понятіямъ роднымъ. Царскосельская молодежъ нашла однакожъ противоядіе отъ иноплеменнаго вліянія въ чтеніи поэтическихъ произведеній, особенно Жуковскаго. Сей знаменитый писатель, сперва подражатель Нѣмецкимъ поэтамъ, въ послѣдствіи сдѣлавшійся соперникомъ ихъ, пытался запечатлѣть Русскую поэзію народнымъ характеромъ : онъ воспѣвалъ Русскія легенды и отечественныя преданія. Такимъ образомъ Жуковскій началъ воспитаніе Пушкина. Но Байронъ слишкомъ рано похитилъ его изъ этаго хорошаго училища и увлекъ его на долго въ фантастическія пустыни и пещеры романтизма.

По прочтеніи Байроновскаго *Корсара*, Пушкинъ почувствовалъ себя поэтомъ. Онъ написалъ и выдалъ въ свѣтъ много произведеній, изъ коихъ главнѣйшія: *Кавказскій Плѣнникъ и Бахчисарайскій Фонтанъ*. Эти творенія возбудили восторгъ, который выразить-бы трудно: большая часть читателей дивилась новизнѣ содержанія и поэтическихъ пріемовъ; женщины любовались глубокою чувствительностью молодаго человѣка и богатствомъ воображенія его; литтераторы были поражены силою, изящностью и точностью слога. Пушкинъ былъ уже признанъ первымъ Русскимъ писателемъ. Эти легкіе успѣхи, внушая ему желаніе пріобрѣсти новые какъ можно скорѣе, много повредили спокойному развитію дарованія его: не должно забывать, что Пушкинъ былъ тогда еще отрокъ, выспренній, величественный (sublime), но все еще ребенокъ: нравственный человѣкъ на Сѣверѣ созрѣваетъ медленнѣе, чѣмъ на Западѣ; общественная почва далеко не содержитъ въ себѣ тѣхъ стихій броженія, какими исполнена почва старой Европы; литтературная атмосфера, которою на Сѣверѣ дышешь, менѣе заражена электричествомъ страстей. Такимъ образомъ Пушкинъ зажилъ слиш-

комъ рано; онъ проматывалъ (gaspillait) дарованіе свое; онъ слишкомъ понадѣялся на силы свои, преждевременно возлетѣлъ въ высшія области, гдѣ не могъ держаться самъ собою, и впалъ въ сферу притяженія Байрона. Онъ кружился около этаго свѣтила, какъ планета, покорная системѣ его и озаренная его свѣтомъ. И подлинно, въ произведеніяхъ перваго пріема его (manière) все Байроновское: содержаніе, характеры, мысли и форма. А между тѣмъ Пушкинъ не столько былъ подражатель твореніямъ, сколько поработился духомъ любимаго творца своего. Онъ не былъ фанатическимъ Байронистомъ: скорѣе назовемъ его Байроніакомъ. Поэтому, если не существовали-бы творенія Англійскаго поэта, Пушкинъ былъ-бы провозглашенъ первымъ поэтомъ своей эпохи.

Подобный феноменъ предсказывалъ на Сѣверѣ великую литературную революцію: въ салонахъ не было уже иного разговора какъ о хорошихъ сторонахъ и о недостаткахъ новой поэтической школы; борьба за классицизмъ и романтизмъ готова была вспыхнуть въ Россіи, и замѣчательно, что въ тоже время затѣвался политическій переворотъ.

Писатели въ Россіи (hommes de lettres) образуютъ родъ братства, соединеннаго многими связями. Они почти всѣ или люди зажиточные, или чиновники правительства: пишутъ они большею частью для того, чтобы пріобрѣсть славу или общественное значеніе. Талантъ у нихъ не сдѣлался еще товаромъ, а потому рѣдко встрѣчается между ними ремесленное совмѣстничество и вражда интересовъ. По крайней мѣрѣ я не видалъ тому примѣра. (Не должно при семъ забывать, что Мицкѣвичъ говоритъ о литературѣ двадцатыхъ годовъ, которую засталъ онъ въ Россіи). Такимъ образомъ литераторы любили собираться между собою, видались почти ежедневно и весело проводили время среди обѣдовъ, чтеній, дружескихъ бесѣдъ и споровъ. Поэтому заговорщикамъ, въ числѣ коихъ были также извѣстные писатели, легко было дѣйствовать пропагандою на Московскихъ и Петербургскихъ пріятелей. Пушкинъ, какъ и всѣ товарищи его, дѣлалъ оппозицію въ послѣднихъ годахъ царствованія императора Александра I. Онъ выпустилъ нѣсколько эпиграммъ противъ правительства и самого царя; онъ даже написалъ оду „къ Кинжалу“. Эти летучія стихотворенія раз-

носились въ рукописяхъ изъ Петербурга до Одессы; вездѣ читали ихъ, толковали, любовались ими. Они придали поэту болѣе популярности, чѣмъ послѣдовавшія за тѣмъ творенія его, которыя сравнительно были и значительнѣе, и превосходнѣе. Въ слѣдствіе того императоръ Александръ призналъ нужнымъ выслать Пушкина изъ столицы и велѣть ему жить въ провинціи. Императоръ Николай отмѣнилъ строгія мѣры, принятыя въ отношеніи къ Пушкину. Онъ вызвалъ его къ себѣ, далъ ему частную аудіенцію и имѣлъ съ нимъ продолжительный разговоръ. Это было безпримѣрное событіе: ибо дотолѣ никогда Русскій царь не разговаривалъ съ человѣкомъ, котораго во Франціи назвали-бы пролетаріемъ, но который въ Россіи гораздо менѣе чѣмъ пролетарій на Западѣ: ибо, хотя Пушкинъ и былъ благороднаго происхожденія, онъ не имѣлъ никакого чина въ административной іерархіи. (Здѣсь Мицкевичъ увлекается западными воззрѣніями на Россію. Онъ могъ бы, не изыскивая другихъ примѣровъ, вспомнить о Петрѣ I, которому не рѣдко случалось бесѣдовать съ Русскими пролетаріями).

Въ сей достопамятной аудіенціи, Императоръ говорилъ о поэзіи съ сочувствіемъ. Здѣсь въ первый разъ Русскій Государь говорилъ о литературѣ съ подданнымъ своимъ. (Мицкѣвичъ опять уклоняется отъ дѣйствительности: онъ забываетъ Екатерину Великую и отношенія Императора Александра къ Карамзину). Онъ ободрялъ поэта продолжать занятія свои, освободилъ его отъ офиціальной цензуры. Императоръ Николай явилъ въ этомъ случаѣ рѣдкую проницательность: онъ умѣлъ оцѣнить поэта; онъ угадалъ, что по уму своему Пушкинъ не употребитъ во зло оказываемой ему довѣренности, а по душѣ своей сохранитъ признательность за оказанную милость. Либералы однако же смотрѣли съ неудовольствіемъ на сближеніе двухъ потентатовъ. Начали обвинять Пушкина въ измѣнѣ дѣлу патріотическому; а какъ лѣта и опытность возродили въ Пушкинѣ обязанность быть воздержнѣе въ рѣчахъ своихъ и осторожнѣе въ дѣйствіяхъ, то начали приписывать перемѣну эту разсчетамъ честолюбія. Около того времени появились *Цыганы*, а позднѣе *Мазепа* (то-есть Полтава), творенія замѣчательныя и которыя свидѣтельствовали о постепенномъ возвышеніи таланта Пушкина. Эти двѣ поэмы болѣе окрѣпли въ дѣйствитель-

ности. Содержаніе ихъ не изысканно и не многосложно, характеры изображенныхъ лицъ лучше постигнуты и обрисованы твердою рукою, слогъ ихъ освобождается отъ всякой романтической принужденности. Къ сожалѣнію, Байроновская форма, какъ доспѣхи Саула, все еще подавляютъ и гнетутъ движенія сего молодаго Давида; но однакоже уже очевидно, что онъ готовъ сложить съ себя эти доспѣхи. (Если Мицкѣвичъ въ этомъ случаѣ правъ, то развѣ въ отношеніи къ „Цыганамъ“. Алеко все еще доводится сродни Байроновскимъ героямъ; но въ „Полтавѣ“ Пушкинъ уже стоялъ твердою ногою на своей собственной почвѣ).

Эти оттѣнки, означающіе переходъ художника отъ одного пріема (manière) къ другому, явствуютъ, очевидно, въ лучшемъ, своеобразнѣйшемъ и наиболѣе національномъ изъ твореній его – въ *Онѣгинѣ*.

Пушкинъ, создавая свой романъ, передавалъ его публикѣ отдѣльными главами, какъ Байронъ *Донъ-Жуана* своего. Сначала онъ еще подражаетъ Англійскому поэту; вскорѣ пытается идти съ помощью однѣхъ собственныхъ силъ своихъ; кончаетъ тѣмъ, что становится самъ оригиналенъ. Разнообразное содержаніе, лица, введенныя въ *Онѣгинѣ*, принадлежатъ жизни дѣйствительной, жизни частной; въ нихъ отзываются трагическіе отголоски и развиваются сцены высокой комедіи. Пушкинъ написалъ также драму, которую Русскіе цѣнятъ высоко и ставятъ на равнѣ съ драмами Шекспира. Я не раздѣляю ихъ мнѣнія. Объясненіе тому вовлекло бы меня въ разсужденія черезъ-чуръ пространныя; достаточно замѣтить, что Пушкинъ былъ слишкомъ молодъ для возсозданія историческихъ личностей. Онъ сдѣлалъ опытъ драмы, но опытъ, который доказываетъ, до чего могъ бы онъ достигнуть со временемъ: et tu Shakespeare eris si fata sinant *).

Драма *Борисъ Годуновъ* содержитъ въ себѣ подробности и даже сцены изумительной красоты. Особенно прологъ кажется мнѣ столь самобытенъ и величественъ (original et grandiose), что, не обинуясь, признаю его единственнымъ въ своемъ родѣ. Не могу отказаться отъ удовольствія сказать о немъ нѣсколько словъ. (Здѣсь авторъ обозначаетъ въ краткомъ изложеніи основу драмы, сцену

*) И ты будешь Шекспиромъ, если судьба дозволитъ.

Шимена и Отрепьева). Драма, какъ и все, что Пушкинъ до того времени издалъ, не даетъ мѣры таланта его. Въ той эпохѣ, о которой говоримъ, онъ прошелъ только часть того поприща, на которое былъ призванъ: ему было тридцать лѣтъ. Тѣ, которые знали его въ это время, замѣчали въ немъ значительную перемѣну. Вмѣсто того, чтобы съ жадностью пожирать романы и заграничные журналы, которые нѣкогда занимали его исключительно, онъ нынѣ болѣе любилъ вслушиваться въ разсказы народныхъ былинъ и пѣсней и углубляться въ изученіе отечественной исторіи. Казалось, онъ окончательно покидалъ чуждыя области и пускалъ корни въ родную почву. Одновременно, разговоръ его, въ которомъ часто прорывались задатки будущихъ твореній его, становился обдуманнѣе и степеннѣе (sérieux). Онъ любилъ обращать разсужденія на высокіе вопросы, религіозные и общественные, о существованіи коихъ соотечественники его, казалось, и понятія не имѣли. (Съ кѣмъ же Пушкинъ входилъ въ подобныя пренія, если соотечественники и современники его не были въ состояніи понимать эти вопросы? Онъ мало входилъ въ связь съ иностранцами: отношенія его съ ними были чисто-свѣтскія). Очевидно поддавался онъ внутреннему преобразованію. Какъ человѣкъ, какъ художникъ, онъ несомнительно готовъ былъ измѣнить свою прежнюю постановку, или скорѣе найти другую, которая была бы ему исключительно свойственная. Онъ пересталъ писать стихи. (Не совсѣмъ вѣрно. Онъ до конца писалъ отдѣльныя стихотворенія, если не такого объема, какъ прежнія поэмы, но за то запечатлѣнныя еще болѣе трезвостью и зрѣлостью). Онъ выдалъ въ свѣтъ нѣсколько историческихъ сочиненій, которыя должно признать однѣми подготовительными работами. Къ чему предназначалъ онъ себя? Чего хотѣлъ? Выставить со временемъ ученость свою? Нѣтъ! Онъ презиралъ авторовъ, не имѣющихъ никакой цѣли, никакого направленія (tendance). (И это едва ли правда). Онъ не любилъ философскаго скептицизма и художественной безстрастности Гёте. Что происходило въ душѣ его? Воспринимала ли она безмолвно въ себя дуновеніе этого духа, который животворилъ созданія Манзони, Пеликко, и который, кажется, оплодотворяетъ размышленія Томаса Мура, также замолкшаго? Или воображеніе его, можетъ быть, работало надъ осуществленіемъ въ себѣ

мыслей С. Симона и Фурье? Не знаю: въ нѣкоторыхъ бѣглыхъ стихотвореніяхъ его и разговорахъ, мелькали слѣды этихъ направленій. (Здѣсь Мицкѣвичъ, какъ обольщенный ученикъ Товянскаго, совершенно удаляется отъ истины. Онъ видитъ не то что есть, а что подъ обаяніемъ воззрѣнія ему мерещится. Любознательный умъ Пушкина могъ быть заинтересованъ изученіемъ возникающихъ системъ; но такъ называемыя соціальныя и мистическія теоріи были совершенно чужды и противны натурѣ его). Какъ бы то ни было, я былъ убѣжденъ, что въ поэтическомъ безмолвіи его таились счастливыя предзнаменованія для Русской литтературы. Я ожидалъ, что вскорѣ явится онъ на сценѣ человѣкомъ новымъ въ полномъ могуществѣ дарованія своего, созрѣвшимъ опытностью, укрѣпленнымъ въ исполненіи предначертаній своихъ. Всѣ знавшіе его дѣлили со мною эти желанія. Выстрѣлъ изъ пистолета уничтожилъ всѣ надежды.

Пуля, сразившая Пушкина, нанесла ужасный ударъ умственной Россіи. Она имѣетъ нынѣ отличныхъ писателей; ей остаются Жуковскій, поэтъ, исполненный благородства, граціи и чувства; Крыловъ, басенникъ, богатый изобрѣтеніемъ, неподражаемый въ выраженіи, и другіе; но никто не замѣнитъ Пушкина. Только однажды дается странѣ воспроизвести человѣка, который въ такой высокой степени соединяетъ въ себѣ столь различныя и, повидимому, другъ друга исключающія качества. Пушкинъ, коего талантъ поэтическій удивлялъ читателей, увлекалъ, изумлялъ слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, былъ одаренъ необыкновенною памятью, сужденіемъ вѣрнымъ, вкусомъ утонченнымъ и превосходнымъ. Когда говорилъ онъ о политикѣ внѣшней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человѣка замотерѣвшаго въ государственныхъ дѣлахъ и пропитаннаго ежедневнымъ чтеніемъ парламентарныхъ преній. Онъ нажилъ себѣ много враговъ эпиграммами и колкими насмѣшками. Они мстили ему клеветою. Я довольно близко и довольно долго зналъ Русскаго поэта; находилъ я въ немъ характеръ слишкомъ впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренній, благородный и способный къ сердечнымъ изліяніямъ. Погрѣшности его казались

плодами обстоятельствъ, среди которыхъ онъ жилъ: все, что было въ немъ хорошаго, вытекало изъ сердца. Онъ умеръ 38 лѣтъ.

IV.

Мы извлекли изъ статьи Мицкѣвича все что прямо относилось до Пушкина, оставивъ въ сторонѣ кое-какія Польско-политическія прянности, коими авторъ счелъ за нужное посыпать статью свою. Во-первыхъ, онѣ не идутъ къ дѣлу; во-вторыхъ эти вставочныя сужденія не заключаютъ въ себѣ ничего новаго: каждый читатель, немного знакомый съ стеоретипными нареканіями западной печати на Россію, можетъ представить себѣ оговорки, намеки и приговоры Польскаго эмигранта, который говоритъ предъ Французами. Главная занимательность статьи заключалась, по нашему мнѣнію, въ сужденіи великаго поэта о великомъ поэтѣ.

Можно не вездѣ, не всегда и не вполнѣ согласоваться съ приговорами Польскаго писателя: иногда онъ слишкомъ строгъ, иногда, за давностью и, можетъ быть, за недостаткомъ матеріаловъ подъ рукою, онъ иное запамятовалъ, на другое ссылается не съ надлежащей точностью; но вобще критика его запечатлѣна здравою трезвостью, глубокимъ знаніемъ дѣла и сочувствіемъ. Онъ вообще хорошо понялъ талантъ Пушкина и вѣрно оцѣнилъ его. Въ этой характеристикѣ есть мысль, чувство и судъ; въ ней слышится голосъ просвѣщеннаго критика и великаго художника. Едва ли найдется въ Русской критикѣ (а о Пушкинѣ много писали и пишутъ) подобная вѣрная, тонкая и глубокая характеристика поэта нашего.

V.

Въ дополненіе къ вышеприведенной статьѣ, напечатаны въ той же книгѣ другіе отзывы о Пушкинѣ, извлеченные изъ лекцій, читанныхъ Мицкѣвичемъ во Французской Коллегіи, когда онъ занималъ въ ней каѳедру Славянскихъ языковъ. Въ этихъ отрывкахъ встрѣчается многое, что уже было сказано въ предыдущей

статьѣ. Выписываемъ изъ нихъ только то, что представляетъ новыя воззрѣнія, или добавляетъ прежнія. Въ этихъ выпискахъ, и по тѣмъ же причинамъ, будемъ держаться исключительно литературнаго содержанія, не забѣгая на политическія тропинки, которыя увлекаютъ профессора.

VI.

Съ появленіемъ Пушкина (говоритъ профессоръ) въ училищахъ преподавали еще старую литературу, слѣдовали правиламъ ея въ книгахъ; но публика забывала ее. Предъ Пушкинымъ мало по малу исчезали Ломоносовъ, а съ нимъ и Державинъ, уже престарѣлый, надѣленный почестями и славою. Въ то же время новые поэты, какъ Жуковскій, человѣкъ великаго дарованія, и Батюшковъ, уже сходили на вторую ступень. Еще любили стихотворенія ихъ, но уже не восторгались ими; восторгъ былъ данью одному Пушкину.

Пушкинъ началъ подражаніемъ всему, что засталъ онъ въ Русской поэзіи: онъ писалъ оды въ родѣ Державина, но превзошелъ его; какъ Жуковскій, онъ подражалъ старымъ народнымъ пѣснопѣніямъ, но и его превзошелъ окончательностью формы и особенно же полнотою творчества (la largeur de ses compositions). Обыкновенно писатель проходитъ чрезъ школы до него существовавшія: онъ перелетаетъ сферы минувшаго, чтобы возвыситься въ будущемъ.

За подражаніями Байрону, Пушкинъ безсознательно подражалъ также и Вальтеру Скотту. Тогда много толковали о краскѣ мѣстности, объ историческомъ изученіи, о необходимости возсоздавать исторію въ поэзіи. Послѣднія творенія Пушкина колеблятся между двумя этими направленіями: онъ то Байронъ, то Вальтеръ Скоттъ. Онъ еще не Пушкинъ.

Далѣе, Мицкѣвичъ называетъ *Онѣгина* оригинальнѣйшимъ созданіемъ Пушкина, которое читано будетъ съ удовольствіемъ во всѣхъ Славянскихъ странахъ. Онъ излагаетъ въ нѣсколькихъ строкахъ ходъ поэмы и говоритъ:

Пушкинъ не такъ плодоносенъ и богатъ какъ Байронъ, не

возносится такъ высоко въ полетѣ своемъ, не такъ глубоко проникаетъ въ сердце человѣческое, но вообще онъ правильнѣе Байрона и тщательнѣе и отчетливѣе въ формѣ. Его проза изумительной красоты. Она безпрестанно и непримѣтно мѣняетъ краски и пріемы свои. Съ высоты оды снисходитъ до эпиграммы, и среди подобнаго разнообразія встрѣчаешь сцены, достигающія до эпическаго величія.

Въ первыхъ главахъ романа своего Пушкинъ, вѣроятно, не имѣлъ еще въ виду развязки, которою онъ романъ кончаетъ: иначе не могъ бы онъ съ такою нѣжностью, съ такими простосердечіемъ и силою изобразить молодыхъ этихъ людей (Ленскій, Ольга и Татьяна) и кончить разсказъ свой такимъ грустнымъ и прозаическимъ образомъ. (Вѣроятно, критикъ указываетъ здѣсь на браки двухъ сестеръ. Впрочемъ, онъ, кажется, совершенно правильно угадалъ, что поэтъ не имѣлъ первоначально преднамѣреннаго плана. Онъ писалъ *Онѣгина* подъ вдохновеніями минуты и подъ наитіемъ впечатлѣній, слѣдовавшихъ одно за другимъ. Одна умная женщина, княгиня Голицина, урожденная графиня Шувалова, извѣстная въ концѣ минувшаго столѣтія своею любезностью и Французскими стихотвореніями, царствовавшая въ Петербургскихъ и заграничныхъ салонахъ, сердечно привязалась къ Татьянѣ. Однажды спросила она Пушкина: „Что думаете вы сдѣлать съ Татьяною? Умоляю васъ, устройте хорошенько участь ея“. — „Будьте покойны, княгиня“, отвѣчалъ онъ, смѣясь: „выдамъ ее замужъ за генералъ-адъютанта“. — „Вотъ и прекрасно“, сказала княгиня. „Благодарю“. — Легко можетъ быть, что эта шутка порѣшила судьбу Татьяны и поэмы). Эта поэма проникнута грустью болѣе глубокою, чѣмъ та, которая выражается въ поэзіи Байрона. Пушкинъ начитавшись романами, раздѣлявшій чувства друзей своихъ, молодыхъ, заносчивыхъ либераловъ, ощущаетъ жестокую пустоту обмановъ: отъ того и разочарованіе его ко всему что есть великое и прекрасное на землѣ, и Пушкинъ, рисуя Байрониста, дѣлаетъ свой собственный портретъ.

Пушкинъ былъ таковъ. Другая личность романа, молодой русскій съ распущенными волосами, поклонникъ Канта и Шиллера, энтузіастъ и мечтатель, тоже Пушкинъ въ одной изъ эпохъ жизни его. Поэтъ предсказалъ собственную участь свою. Пушкинъ, какъ

и созданный имъ Владиміръ, погибъ на поединкѣ вслѣдъ за незначительною ссорою.

Замѣчательно, какъ, продолжая Онѣгина и задумавъ поссорить его съ Ленскимъ, Пушкинъ былъ сильно озабоченъ поединкомъ, къ которому ссора эта должна была довести. Въ этой заботѣ есть въ самомъ дѣлѣ какое-то тайное предчувствіе. Съ другой стороны есть въ ней и признакъ подвластности его Байрону. Онъ боялся, что пѣвецъ *Дона Жуана* упредитъ его и внесетъ поединокъ въ поэму свою. Пушкинъ съ лихорадочнымъ смущеніемъ выжидалъ появленій новыхъ пѣсней, чтобы искать въ нихъ оправданія или опроверженія страха своего. Онъ говорилъ, что послѣ Байрона никакъ не осмѣлится вывести въ бой противниковъ. Наконецъ, убѣдившись, что въ *Донъ Жуанѣ* поединка нѣтъ, онъ зарядилъ два пистолета и вручилъ ихъ сегодня двумъ врагамъ, вчера еще двумъ пріятелямъ. Заботы поэта не пропали. Поединокъ въ поэмѣ его — картина въ высшей степени художественная; смерть Ленскаго, все что̀ поэтъ говоритъ при этомъ, можетъ быть въ своемъ родѣ лучшіе и трогательнѣйшіе изъ стиховъ Пушкина. Правда и то, что Ленскій только смертью своею и возбуждаетъ сердечное сочувствіе къ себѣ (въ чемъ, вопреки указаніямъ Мицкѣвича, вовсе не сходится онъ съ Пушкинымъ). Когда Пушкинъ читалъ еще неизданную тогда главу поэмы своей, при стихѣ:

Друзья мои, вамъ жаль поэта.

одинъ изъ пріятелей его сказалъ: „Вовсе не жаль“!—„Какъ такъ“? спросилъ Пушкинъ. — „А потому“, отвѣчалъ пріятель, „что ты самъ вывелъ Ленскаго болѣе смѣшнымъ, чѣмъ привлекательнымъ. Въ портретѣ его, тобою нарисованномъ, встрѣчаются черты и оттѣнки каррикатуры“. Пушкинъ добродушно засмѣялся, и смѣхъ его былъ, повидимому, выраженіемъ согласія на сдѣланное замѣчаніе.

Говоря о нѣкоторыхъ отдѣльныхъ стихотвореніяхъ поэта, Мицкѣвичъ обращаетъ особенное вниманіе на извѣстное подъ заглавіемъ *Пророкъ*. Въ этомъ произведеніи критикъ видитъ начало новой эры въ жизни Пушкина; но продолжаетъ онъ: Пушкинъ не имѣлъ въ себѣ достаточно силы, чтобы осуществить это предчувствіе; не достало смѣлости, чтобы подчинить внутреннюю жизнь и

труды свои этимъ возвышеннымъ понятіямъ. Произведеніе, о которомъ говоримъ, блуждаетъ посреди произведеній его какъ нѣчто совершенно отдѣльное и по истинѣ превосходное.

Какое понятіе имѣютъ Славянскіе поэты о своемъ призваніи и о своихъ обязанностяхъ? Судя искусство и художественныя созданія, они принимаютъ за одно форму и внутренность содержанія, рѣчь и то что она выражаетъ, и все заключается у нихъ въ одномъ словѣ: дѣйствіе. Такимъ образомъ, по мнѣнію Богдана Залѣсскаго, не желаніе воспѣть подвиги какихъ нибудь вождей, не жажда популярности, не любовь къ искусству могутъ образовать поэта: нужно быть предъизбраннымъ, нужно тайными узами сопрягаться съ страною, которую воспоешь, а воспѣвать — ничто какъ иное, какъ повѣдать Божію мысль, которая почіетъ на сей странѣ и на народѣ, къ которому поэтъ принадлежитъ.

По мнѣнію критика, послѣ *Пророка* начинается нравственное паденіе поэта. Онъ безспорно остался художникомъ неподражаемымъ; но съ тѣхъ поръ не создалъ онъ ничего подобнаго произведенію, о которомъ рѣчь идетъ: кажется даже, онъ возвращается вспять.

Видимо, Мицкѣвичу все хотѣлось-бы завербовать Пушкина подъ хоругвь политическаго мистицизма, которому онъ самъ предался съ такимъ увлеченіемъ. Мудрено понять, какъ поэтъ въ душѣ и во всѣхъ явленіяхъ жизни своей, каковымъ былъ Польскій поэтъ, могъ придавать какому нибудь отдѣльному стихотворенію глубокое значеніе переворота и новаго преобразованія въ общемъ и основномъ характерѣ поэта. Неужели самому Мицкѣвичу не случалось быть подъ наитіемъ всеобладающаго, но перелетнаго вдохновенія? Въ жизни поэта день на день, минута на минуту не приходятся. Одни мелкіе умы и тупоглазые критики, прикрѣпляясь къ какой нибудь частности, подводятъ ее подъ общій знаменатель. Далеко не таковы были умъ и глаза Мицкѣвича. Но духъ системы, но политическое настроеніе отуманиваютъ и самые свѣтлые умы, и самое проницательное зрѣніе. Односторонность, пристрастіе, свойственныя людямъ, закабалившимъ себя одной мысли или одному расколу, лишаютъ ихъ, разумѣется, и свободы въ воззрѣніи на людей и вещи. Одержимые недугомъ исклю-

чительной мысли, они все и всѣхъ къ ней пригибаютъ: случайности отдѣльныя, переходчивыя явленія сейчасъ втискиваютъ они въ свою готовую раму. Явленія къ ней не подходятъ? Рама то слишкомъ узка, то слишкомъ велика? – Они укорачиваютъ событія, или вытягиваютъ ихъ до нельзя. Имъ горя нѣтъ: была бы рама цѣла и не нарушимо уважена, а событія и истина тутъ дѣло второстепенное. Суевѣрно себя обманывая, эти люди безсознательно обманываютъ и другихъ.

Въ доказательство мистическаго расположенія, которымъ былъ захваченъ духъ Мицкѣвича, приведемъ еще мысли его о трагедіи *Борисъ Годуновъ*.

Драма есть сильнѣйшее художественное осуществленіе поэзіи. Много трудности въ созданіи Славянской драмы. Подобная драма должна быть лирическая: она должна напоминать намъ прекрасные напѣвы народныхъ пѣсней; ей должно переносить насъ въ *міръ сверхъестественный* (?). Драма Пушкина въ составѣ своемъ— подражаніе Шиллеру и Шекспиру. Но онъ худо сдѣлалъ, что ограничилъ ее дѣйствіемъ на землѣ. Въ прологѣ своемъ даетъ онъ намъ предчувствовать міръ сверхъестественный, но вскорѣ совершенно забываетъ о немъ, и драма просто кончается политическою интригою.

Мицкѣвичъ цитуетъ еще и оду Пушкина на смерть Наполеона и приводитъ послѣднюю строфу:

„Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его развѣнчанную тѣнь!
Хвала!... Онъ Русскому народу
Высокій жребій указалъ
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщалъ.

И здѣсь, говоритъ онъ, выказывается чувство Русской національности, воспоминаніе поэзіи Державинской. Видишь также и предчувствіе будущаго въ сознаніи, что Наполеонъ былъ пророкомъ свободы.

Если и былъ онъ пророкомъ свободы, то кстати сказать здѣсь: никто не пророкъ въ своемъ отечествѣ.

Въ другомъ мѣстѣ говоритъ онъ: Чтобы дать себѣ явственное понятіе о ходѣ поэтовъ и литературъ у Славянскихъ племенъ, должно представить себѣ путниковъ, которые съ разныхъ точекъ горизонта направляются безсознательно къ одному мѣсту общаго соединенія. Всѣ, безъ изъятія, покидаютъ минувшее, кто съ сожалѣніемъ, кто съ отчаяніемъ. Но какъ каждый возносится въ области болѣе возвышенныя, то и предвидишь уже тотъ день, въ который сойдутся они. Мы уже замѣтили, что критическая минута, которая отрываетъ минувшее отъ грядущаго, зачинается съ Байрона. Послѣднее слово Польскаго поэта, который ближе всѣхъ слѣдуетъ за лордомъ Байрономъ, есть также вопль отчаянія: Мальчевскій, не находя на землѣ ничего достойнаго исканія и желанія, обнажаетъ саблю свою противъ всего общества, потому что онъ утратилъ всю надежду на осуществленіе высокихъ чувствъ и высокихъ помысловъ. Онъ хочетъ умереть потому, что ничему возвышенному не суждено успѣть на землѣ. Пушкинъ расточается въ безпрерывныхъ варіяціяхъ на эту же тему; онъ плачетъ, потому что юность обманула его, потому что пережилъ онъ всѣ сновидѣнія своихъ прекрасныхъ дней, сновидѣніе любви, сновидѣніе свободы, сновидѣніе славы; и онъ наконецъ восклицаетъ: „Цѣли нѣтъ передо мною“.

Къ чему же тогда писать ему? Увы! Къ тому, чтобы бросить какой-нибудь блескъ, нѣсколько цвѣтковъ на могилу свою, чтобы оставить воспоминаніе о грустной жизни своей. Таковы чувства, имъ выраженныя. Жизнь ускользала отъ поэта: у него уже не было будущаго. Польскіе поэты за пѣснями о минувшемъ находятъ въ стремленіи религіозномъ, а особенно политическомъ, новую сферу дѣйствія. Въ Пушкинѣ находишь одно предчувствіе того.

Со смертью Пушкина Мицкѣвичъ хоронитъ и всю Русскую литературу. Приговоръ слишкомъ безусловный и самовластный. Литература можетъ на время онѣмѣть; но она не умираетъ, пока живъ народъ. Какъ ни будь могущественъ и плодоносенъ временный представитель ея, нынѣ умолкнувшій, изъ самаго этого глубокаго молчанія рано или поздно возникнетъ преемникъ, который отзовется на прерванную рѣчь. Вотъ подлинныя слова Польскаго критика:

Такова была кончина Русской литературы, образовавшейся подъ вліяніемъ Петра Великаго. Конечно остаются еще великія дарованія, пережившія Пушкина; но на дѣлѣ Русская литература съ нимъ кончилась. Онъ умеръ, сей человѣкъ столь ненавидимый и преслѣдуемый всѣми партіями: онъ оставилъ имъ свободное мѣсто. Кто же замѣнилъ его на этомъ упраздненномъ мѣстѣ? Писатели съ умомъ? Пушкинъ не былъ ли всѣхъ ихъ умнѣе! Пѣвцы сонетовъ, балладъ? Пушкинъ далеко превзошелъ ихъ. На какой новый путь попытаются вступить они? Съ понятіями, которыя они имѣютъ, имъ невозможно подвинуться на шагъ впередъ: Русская литература на долгое время заторможена.

Какъ бы то ни было, тутъ есть доля и правды, и доля неумѣренности. Къ тому же опять должно помнить, что все сказанное выше относится къ эпохѣ, которая отдѣлена отъ нашей нѣсколькими десятками годовъ. Иное могло съ того времени измѣниться, и дѣйствительно измѣнилось; но въ какомъ отношеніи, вотъ вопросъ. Любопытно угадать, какое было бы мнѣніе Мицкѣвича о Русской литературѣ, если бы дожилъ онъ до настоящаго возраста ея. Едва ли нашелъ бы онъ въ этотъ періодъ времени законнаго преемника, даже въ самомъ Лермонтовѣ. Едва ли онъ открылъ бы залоги и признаки новой жизни въ той литературѣ, которою онъ восхищался въ Пушкинѣ и особенно въ той, которую онъ ожидалъ и требовалъ отъ возрожденнаго Пушкина. Онъ безъ сомнѣнія нашелъ бы большое развитіе и движеніе, и даже нѣкоторую роскошь въ литературѣ, такъ сказать *дѣловой*, реальной, положительной. Его удивило бы множество разродившихся литературъ: какъ-то литература финансовая, литература хозяйственная, желѣзнодорожная, полицейская, сыскная, адвокатурная, литература земская, всесословная, волостная, биржевая; всѣхъ подростковъ въ этомъ новомъ литературномъ питомникѣ не изчислишь. Нѣтъ сомнѣнія, что эта письменная дѣятельность, которая обхватила наши журналы и печать, часто, если не всегда, приноситъ пользу свою общественному дѣлу: она пополняетъ значительные пробѣлы, существовавшіе до того въ печати нашей. Но все же это не литература, которую Мицкѣвичъ преподавалъ съ каѳедры и которой служилъ въ твореніяхъ своихъ; не литература Пушкинская, даже не

Гоголевская, не литтература въ томъ значеніи, въ которомъ она отъ первыхъ образцовъ Грековъ и Римлянъ перешла ко всѣмъ образованнымъ народамъ. Еще болѣе: такою ли поденною литературою можетъ довольствоваться общество, которое стремится облагородить, возвысить нравственныя силы свои, воспитать и просвѣтить понятія и чувства? Безъ этой духовной пищи, на потребу умственнымъ вожделѣніямъ и жадности, безъ полнаго удовлетворенія этимъ также насущнымъ потребностямъ образованнаго общества, недостаточны и ненадежны самые положительные и матеріальные успѣхи, которыми настоящее время можетъ до нѣкоторой степени гордиться.

Прежде у насъ много жаловались, и часто не безъ причины, на цензуру. Теперь есть еще цензора, но цензуры уже нѣтъ, или почти нѣтъ. Литтература имѣла свое 19 Февраля: перья освобождены отъ цензурнаго крѣпостничества. Правда, они по старому порядку платятъ еще иногда нѣкоторыя повинности, но это исключеніе; а въ сущности право свободы провозглашено, и на дѣлѣ имъ пользуются. Но отвѣчаетъ ли эта польза надеждамъ, которыя многіе питали? Что окончательно выиграла литтература, въ первобытномъ значеніи своемъ, отъ простора, который разчищенъ передъ нею? Многіе думали, что сними ограду, новые дѣятели, новые геніи и плодовитые таланты, такъ и нахлынутъ на отверстое ристалище. Едва ли оно такъ сбылось. Безцензурная эпоха пока молчитъ и пробавляется старыми запасами. Нынѣ извѣстнѣйшіе и любимѣйшіе публикою писатели все еще лица давно намъ знакомыя. Не называю ихъ: они сами себя называютъ.

Молчу, но не молчатъ журналы и весь свѣтъ.

Дѣло въ томъ, что они принадлежатъ цензурной эпохѣ и что имъ не приходится посторониться предъ новымъ наплывомъ. Но вотъ что всего страннѣе: и лучшія произведенія этихъ вчерашнихъ писателей принадлежатъ не нынѣшней порѣ, а вчерашней. Дѣти ихъ, рожденныя отъ гражданскаго брака, далеко отстали отъ прежнихъ дѣтей ихъ, богобоязненно записанныхъ въ метрику цензурнаго прихода. Какъ объяснить это физіологическое явленіе? Можетъ быть, объясненія и найдутся; но на нихъ нужна книга: отдѣльной статьи не станетъ.

VII.

Окончивъ обозрѣніе отзывовъ Польскаго поэта о Пушкинѣ, мы, разставаясь съ Мицкѣвичемъ, хотимъ посвятить ему еще нѣсколько словъ сочувственныхъ и добропамятныхъ. Когда явился онъ въ Москву высланнымъ изъ Литвы вслѣдствіе безпорядковъ, возникшихъ въ Виленскомъ учебномъ округѣ, тогда Польскаго вопроса еще не было. То время не было столь вопросительно, какъ наше. Возбужденіе вопросовъ рождаетъ часто затруднительность и многосложность ихъ. Польшу тогда знали мало, мало говорили о ней. Это было не хорошо: теперь журнальные публицисты знаютъ ее не лучше, но говорятъ о ней больше; и это худо. Польская литература оставалась въ совершенномъ невѣдѣніи. Нѣкоторые государственные люди и другіе мыслители сѣтовали о привилегированномъ положеніи, въ которомъ Императоръ Александръ возсоздалъ Царство Польское. Но и тутъ племенной вражды не было: было одно политическое соображеніе съ точки Русскаго государственнаго воззрѣнія. Впрочемъ, не должно забывать, въ огражденіе памяти Императора, что это привилегированное положеніе Польши было въ видахъ Александра только временное. Въ обширныхъ замыслахъ его (сбыточны-ли и полезны-ли были-бы они, это другой вопросъ, сужденію нашему не подлежащій), Царство Польское, какъ часть одного цѣлаго, должно было войти въ общую систему государственнаго преобразованія, которое Государь готовилъ. Какъ-бы то ни было, Мицкѣвичъ радушно принятъ былъ Москвою. Она видѣла въ немъ подпавшаго дѣйствію административной мѣры, но мало заботилась о поводѣ, вызвавшемъ эту мѣру. Мало ли было и по другимъ учебнымъ округамъ примѣровъ подобнаго распоряженія со стороны начальства? Все въ Мицкѣвичѣ возбуждало и привлекало сочувствіе къ нему. Онъ былъ очень уменъ, благовоспитанъ, одушевителенъ въ разговорахъ, обхожденія утонченно-вѣжливаго. Держался онъ просто, то есть благородно и благоразумно, не корчилъ изъ себя политической жертвы; не было въ немъ и признаковъ ни заносчивости, ни обрядной уничижительности, которыя встрѣчаются (и часто въ совокупности) у нѣкоторыхъ Поляковъ. При оттѣнкѣ меланхолическаго выраженія въ лицѣ, онъ

былъ веселаго склада, остроуменъ, скоръ на мѣткія и удачныя слова. Говорилъ онъ по-французски не только свободно, но изящно и съ примѣсью иноплеменной поэтической оригинальности, которая оживляла и ярко расцвѣчивала рѣчь его. По-русски говорилъ онъ тоже хорошо, а потому могъ онъ скоро сблизиться съ разными слоями общества. Онъ былъ вездѣ у мѣста: и въ кабинетѣ ученаго и писателя, и въ салонѣ умной женщины, и за веселымъ пріятельскимъ обѣдомъ. Поэту, то есть степени и могуществу дарованія его, вѣрили пока на слово и по наслышкѣ; только весьма немногіе, знакомые съ Польскимъ языкомъ, могли оцѣнить Мицкѣвича-поэта, но всѣ оцѣнили и полюбили Мицкѣвича-человѣка. Между тѣмъ онъ въ тишинѣ продолжалъ свои поэтическія занятія. Замѣчательно, что многія изъ нихъ напечатаны въ Москвѣ и въ Петербургѣ и, разумѣется, съ одобреніемъ цензуры. Только позднѣе и заднимъ числомъ, то есть послѣ Польскаго возстанія 1830 года, подверглись они новому цензурному допросу и слѣдствію. Князь Паскевичъ и графъ Чернышовъ (военный министръ) входили по этому предмету въ сношенія съ министерствомъ народнаго просвѣщенія. За этимъ, сочиненія Мицкѣвича и едва ли не самое имя его подпали *индексу*, то есть безусловному запрету. Особенно же заподозрѣна была поэма его *Валленродъ*, напечатанная въ Россіи и отрывки коей показывались въ переводѣ въ нашихъ журналахъ. Была ли она дѣйствительно написана не подъ однимъ поэтическимъ, но и подъ макіавелическимъ вдохновеніемъ, рѣшить не беремся. Но что въ ней многое могло быть истолковано въ такомъ смыслѣ, это несомнѣнно. По крайней мѣрѣ, послѣдовавшія событія придали ей этотъ смыслъ.

Мы упомянули о находчивости и мѣткости слова у Мицкѣвича. Вотъ примѣръ тому, одинъ изъ многихъ. Въ Москвѣ кто-то заспорилъ съ нимъ о правописаніи Польской фамиліи: Мокроновски. Москвичъ утверждалъ, что она пишется Мокроноски. Мицкѣвичъ настаивалъ и совершенно правильно, что пишется *Mokronovski*. „Развѣ“, прибавилъ онъ, „что эта фамилія была окорочена вслѣдствіе новаго раздробленія Польши, о которомъ я еще не слыхалъ“.

При воспоминаніяхъ о пребываніи Польскаго поэта въ Москвѣ,

приходитъ на умъ довольно странное сближеніе. Замѣчательно, что упрекъ его Пушкину, что онъ слишкомъ подчинялъ себя Байрону, былъ гораздо прежде обращенъ къ нему самому. Еще въ 1828 году, умный и къ сожалѣнію и къ стыду нынѣшняго поэтическаго чувства, мало оцѣненный Баратынскій говоритъ въ прекрасныхъ стихахъ:

Не подражай: своеобразенъ геній
И собственнымъ величіемъ великъ...
Съ Израилемъ пѣвцу одинъ законъ:
Да не творитъ себѣ кумира онъ.
Когда тебя, Мицкѣвичъ вдохновенный,
Я застаю у Байроновыхъ ногъ,
Я думаю: поклонникъ униженный,
Возстань, возстань и вспомни: самъ ты богъ!

Мицкѣвичъ былъ не только великій поэтъ, но и великій импровизаторъ. Хотя эти два дарованія должны, повидимому, быть въ близкомъ родствѣ, но на дѣлѣ это не такъ. Импровизированная, устная поэзія, и поэзія писанная и обдуманная не одно и тоже. Онъ былъ исключеніемъ изъ этого правила. Польскій языкъ не имѣетъ свойствъ, пѣвучести, живописности Итальянскаго: тѣмъ болѣе импровизація его была новая побѣда, побѣда надъ трудностью и неподатливостью подобной задачи. Импровизированный стихъ его, свободно и стремительно, вырывался изъ устъ его звучнымъ и блестящимъ потокомъ. Въ импровизаціи его были мысль, чувство, картины и въ высшей степени поэтическія выраженія. Можно было думать, что онъ вдохновенно читаетъ наизустъ поэму, имъ уже написанную. Для Русскихъ пріятелей своихъ, не знавшихъ по-польски, онъ иногда импровизировалъ по-французски, разумѣется, прозою, на заданную тему. Помню одну. Изъ свернутыхъ бумажекъ, на коихъ записаны были предлагаемыя задачи, жребій палъ на тему, въ то время и поэтическую, и современную: приплытіе Чернымъ моремъ къ Одесскому берегу тѣла Константинопольскаго православнаго патріарха, убитаго Турецкою чернью. Поэтъ на нѣсколько минутъ, такъ сказать, уединился во внутреннемъ святилищѣ своемъ. Вскорѣ выступилъ онъ съ лицемъ, озареннымъ пламенемъ вдохновенія: было въ немъ что-то тревожное и прорицательное. Слушатели въ благоговѣйномъ молчаніи были

также поэтически настроены. Чуждый ему языкъ, проза бо́лѣе отрезвляющая, нежели упоя́ющая, мысль и воображеніе, не могли ни подавить, ни остудить порыва его. Импровизація была блестящая и великолѣпная. Жаль, что не было тутъ стенографа. Дѣйствіе ея еще памятно; но, за неимѣніемъ положительныхъ слѣдовъ, впечатлѣнія не передаваемы. Жуковскій и Пушкинъ, глубоко потрясенные этимъ огнедышащимъ изверженіемъ поэзіи, были въ восторгѣ.

Въ Москвѣ домъ княгини Зинаиды Волконской былъ изящнымъ сборнымъ мѣстомъ всѣхъ замѣчательныхъ и отборныхъ личностей современнаго общества. Тутъ соединялись представители большаго свѣта, сановники и красавицы, молодежь и возрастъ зрѣлый, люди умственнаго труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все въ этомъ домѣ носило отпечатокъ служенія искусству и мысли. Бывали въ немъ чтенія, концерты, диллетантами и любительницами представленія Итальянскихъ оперъ. Посреди артистовъ и во главѣ ихъ стояла сама хозяйка дома. Слышавшимъ ее нельзя было забыть впечатлѣнія, которыя производила она своимъ полнымъ и звучнымъ контръ-альто и одушевленною игрою въ роли Танкреда, оперѣ Россини. Помнится и слышится еще, какъ она, въ присутствіи Пушкина и въ первый день знакомства съ нимъ, пропѣла элегію его, положенную на музыку Геништою:

„Погасло дневное свѣтило,
На море синее вечерній палъ туманъ".

Пушкинъ былъ живо тронутъ этимъ обольщеніемъ тонкаго и художественнаго кокетства. По обыкновенію, краска вспыхивала въ лицѣ его. Въ немъ этотъ дѣтскій и женскій признакъ сильной впечатлительности былъ несомнѣнное выраженіе внутренняго смущенія, радости, досады, всякаго потрясающаго ощущенія. Нечего и говорить, что Мицкѣвичъ, съ самаго пріѣзда въ Москву, былъ усерднымъ посѣтителемъ и въ числѣ любимѣйшихъ и почетнѣйшихъ гостей въ домѣ княгини Волконской. Онъ посвятилъ ей стихотвореніе, извѣстное подъ именемъ *Pokoj Grecki* (Греческая комната). При доставленіи ей своихъ Крымскихъ Сонетовъ приложилъ онъ Польскіе стихи, которые самъ перевелъ онъ для нея Французскою прозою. Вотъ переводъ съ автографическаго перевода: „О

поэзія, ты не искусство живописи: когда хочу живописать, для чего мысли мои не иначе могутъ проявиться, какъ сквозь слова чужеземной рѣчи, подобно узникамъ, которые смотрятъ изъ за желѣзной рѣшетки, скрывающей и искажающей ихъ черты? О поэзія, ты не искусство пѣть: ибо чувства мои не имѣютъ голоса, который можетъ быть понятенъ; они подобны подземнымъ потокамъ, которыхъ шумъ никому не слышенъ. О поэзія неблагодарная! Ты даже не искусство писать: я написалъ стихи, а подношу ей одни листки. Она увидитъ въ нихъ знаки непостижимые, ноты музыки, которая, увы! никогда исполнена не будетъ".

Воспоминая всю обстановку того времени, все это движеніе мыслей и чувствъ, кажется, переносишься не въ дѣйствительное минувшее, а въ какую-то баснословную эпоху. Личности, присутствіемъ своимъ озарявшія этотъ міръ, исчезли, жизнь утратила поэтическое зарево, которымъ она тогда отсвѣчивалась; улетучились, выдохлись благоуханія, которыми былъ пропитанъ воздухъ, окружавшій эти ясные и обаятельные дни. Одна ли старость вырываетъ изъ груди эти сѣтованія о минувшемъ, почти похожія на досадливыя порицанія настоящаго? Надѣюсь, что нѣтъ. Не углубляюсь далѣе, предоставляя каждому дѣлать свои заключенія.

Послѣ многолѣтней разлуки и даже перерыва письменныхъ сношеній, мы встрѣтились съ Мицкѣвичемъ въ Парижѣ, и сошлись, разумѣется, старыми пріятелями. Мимо и внѣ всякихъ политическихъ событій, которыя измѣнили и перевернули многое, я не видалъ въ Мицкѣвичѣ Поляка; онъ не видалъ во мнѣ Москаля, а развѣ просто Москвича. Съ этимъ именемъ связывались и для него, и для меня, самыя сердечныя и дружелюбныя воспоминанія. Онъ показался мнѣ много и преждевременно постарѣвшимъ. Волненія, скорбь вырѣзали слѣды свои на лицѣ, уже и прежде осѣненномъ меланхолическимъ выраженіемъ. Мнѣ показалось, что онъ во многомъ разочаровался въ отношеніи къ Франціи и къ политическимъ надеждамъ своимъ. Можетъ быть, ошибаюсь; но думаю, что положеніе эмигранта внутренно тяготило его. Мы въ разговорахъ своихъ не касались этихъ щекотливыхъ вопросовъ, но и въ самомъ молчаніи люди близкіе угадываютъ другъ друга и безмолвно перекликаются. Особенно же при второй встрѣчѣ съ нимъ въ Парижѣ

(1850) замѣтны были мнѣ въ немъ еще болѣе признаки разочарованія и нравственной усталости. Они являлись въ немъ и прежде. Вотъ что въ 1832 г., писалъ онъ Лелевелю, одному изъ пламеннѣйшихъ и глубоко убѣжденныхъ дѣятелей Польскаго возстанія: „Между нашими, одни довѣряютъ Французскому правительству, другіе—людямъ движенія. Я смотрю на эти двѣ партіи, какъ на сволочь (ramassis) эгоистовъ, утратившихъ чувство нравственное. Французы, Аѳиняне временъ Демосѳена; они будутъ шумѣть, мѣнять предводителей и ораторовъ; но они не исцѣлимы, потому что у нихъ ракъ въ сердцѣ".

Вотъ еще двѣ выписки изъ писемъ его; въ нихъ особенно выражается благородный и добросовѣстный его характеръ. Въ 1840 году, учреждена была въ Парижѣ каѳедра Славянской литтературы. Ее предложили Мицкѣвичу; онъ тогда былъ въ Лозаннѣ преподавателемъ Латинской словесности, любимый учениками и уважаемый обществомъ. „Сожалѣю (пишетъ онъ) о Лозаннѣ, гдѣ имѣлъ кусокъ хлѣба и тихую жизнь. Грустно мнѣ будетъ разстаться съ мѣстомъ, которое занялъ я безъ всякаго покровительства, кромѣ покровительства Бога. Люди здѣсь добрые; но я соглашусь на Славянскую каѳедру изъ опасенія, что какой нибудь Нѣмецъ влѣзетъ на нее и станетъ лаять противъ насъ".

Около 1844 г., отношенія Мицкѣвича къ Французскому правительству измѣняются. Министерство находитъ, что онъ уклоняется отъ программы преподаванія. Каѳедра его, изъ первыхъ, была закрыта; потомъ, кажется, каѳедры Мишле и Кине. Вотъ что онъ по этому поводу пишетъ брату своему: „Положеніе мое затруднительно, и въ отношеніи къ Французамъ, и въ отношеніи къ соотечественникамъ моимъ. Я могъ-бы спокойно и выгодно погрязнуть, ибо скажу тебѣ (одному тебѣ), что министерство готово дать мнѣ прибавочное содержаніе, если соглашусь не служить долѣе дѣлу, которому я посвятилъ себя; но таже совѣсть, которая не позволяла мнѣ искать общественныхъ успѣховъ и выгодъ въ Россіи и Швейцаріи, не даетъ мнѣ возможности остановиться на дорогѣ. Я убѣжденъ, что если буду вѣренъ голосу совѣсти, со мною ничего худаго не будетъ, хотя грядущее усѣяно опасностями. Братъ! Мы устарѣли. Жизнь проскользнула какъ мгновеніе; но будемъ отвѣт-

ствовать только за то, какъ употребили ее во благо ближняго и отечества".

Изъ этихъ послѣднихъ выписокъ видно, что если Мицкѣвичъ и увлекся политическимъ движеніемъ и былъ политическимъ противникомъ Россіи, но не былъ онъ революціонеромъ; нѣтъ, онъ остался навсегда чистымъ и нравственнымъ человѣкомъ и сочувственною личностью.

CV.

ДѢЛА ИЛЬ ПУСТЯКИ ДАВНО МИНУВШИХЪ ЛѢТЪ.

(Письмо къ М. Н. Лонгинову).

1873.

Премного благодарю васъ, любезнѣйшій Михаилъ Николаевичъ, за присылку мнѣ Сентябрьской книжки Русскаго Вѣстника. Въ ней напечатана статья о „неизданныхъ піесахъ Грибоѣдова". А какъ въ одной изъ упомянутыхъ піесъ есть и мое участіе, то вы, по любознательности своей, желаете имѣть отъ меня справки и объясненія по этому дѣлу. Не могу не повиноваться требованіямъ вашимъ: вы отецъ и командиръ всей пишущей, грамотной и полуграмотной братіи нашей, какъ строевой и наличной, такъ и безсрочно-отпускной и инвалидной. Вы не только *начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати* живой и нынѣшней, но и мертвой, вчерашней, третьягоднишней, и едвали не допотопной. Трудолюбивый, неутомимый изыскатель по Русской части біографической и библіографической, вы все прочуяли, перевѣдали, пересмотрѣли, до всего добрались и продолжаете добираться. Отъ вашихъ истинно ценсорскихъ, то есть сотенныхъ Аргусовыхъ глазъ ничто печатное до нынѣ, и чуть-ли не все писанное, не ускользнуло. Всевѣдѣніе и память ваша изумительны. На ловца и звѣрь бѣжитъ. Вотъ нечаянно попалось вамъ на глаза давнымъ давно забытое, да и въ свое время мало извѣстное и, можно сказать, случайное произведеніе Грибоѣдова: „Кто братъ? Кто сестра?", и вы сейчасъ производите, хотя и по остывшимъ отъ времени слѣ-

дамъ, дознаніе, чтобы опредѣлить, какъ и когда и при какихъ обстоятельствахъ оно возникло и совершилось. Изъ всѣхъ отвѣтчиковъ и свидѣтелей по этому дѣлу, чуть ли не я одинъ на лицо изъ числа всѣхъ живущихъ на землѣ. Присягнувъ предъ вами, что буду говорить правду и одну правду, начинаю показаніе свое. Но извольте принять въ соображеніе, что съ того времени прошло нѣсколько законныхъ и крупныхъ давностей; слѣдовательно, могу передать только то, что̀ помню и что̀ уцѣлѣло въ памяти моей подъ спудомъ, нынѣ неожиданно пробужденной вашимъ вопросомъ и предъявленными уликами. Теперь къ дѣлу, но съ маленькимъ предисловіемъ.

Литтература наша въ настоящее время переродилась въ Чичикова. Вѣроятно за неимѣніемъ живыхъ, наличныхъ душъ, она принялась промышлять мертвыми. Вездѣ, гдѣ бы то ни было, у кого бы то ни было, скупаетъ она мертвыя души, выгребаетъ ихъ изъ могилъ и закладываетъ въ разные журнальные банки. Иныя изъ этихъ операцій хорошо и блистательно удаются, но далеко не всѣ. Другія проваливаются, за недостаткомъ достовѣрныхъ и законныхъ свидѣтельствъ, за неблагонадежностью лицъ, представляющихъ эти залоги. Впрочемъ это дѣло банковъ—быть осмотрительными и строго контролировать свои кредитныя распоряженія. Жаль только, что частыя несостоятельности и ложные документы могутъ подрывать довѣріе публики къ подобнымъ сдѣлкамъ. Впрочемъ и то сказать, публика наша такая благонравная, такая цѣломудренно-довѣрчивая, что за нее печалиться намъ не для чего. Одинъ тесть говорилъ про зятя своего: „мой зять прекрасный человѣкъ; что̀ ни поставь передъ нимъ—все съѣстъ“. Наша публика сродни этому зятю.

Какъ бы то ни было, я никогда не думалъ и не гадалъ, чтобы по истеченіи полустолѣтія вынырнуло изъ театральныхъ подваловъ дитя почти мертворожденное и вскорѣ погребенное. Мнѣ казалось, что, не удержавшись на сценѣ, оно вовсе и безвозвратно погибло. Не тутъ-то было. Выходитъ, что Французская поговорка: „discret comme la tombe“ не всегда вѣрна. Въ наше время и могилы сдѣлались очень нескромными и болтливыми.

Во время оно и я былъ присяжнымъ Московскимъ театра-

ломъ. Привычка къ театру есть родъ запоя. Въ извѣстный часъ послѣ обѣда заноетъ какой-то червь въ груди; дома не сидится; покидаешь чтеніе самой занимательной книги, отрываешься отъ пріятнаго и увлекательнаго разговора и отправляешься въ театръ, чтобы въ креслахъ своихъ смотрѣть на посредственныхъ актеровъ и слушать скучную драму. Московская труппа была такъ себѣ. Большихъ талантовъ, и въ особенности образованныхъ актеровъ, тогда не было. Репертуаръ, какъ и вообще весь Русскій репертуаръ, былъ слабъ и скуденъ. Насъ, между прочимъ, забавляло смотрѣть, какъ нѣкоторые изъ актеровъ, на сценѣ, въ самомъ пылу дѣйствія или любовнаго объясненія, однимъ глазомъ ни на минуту не смигнутъ съ директорской ложи, чтобы видѣть, доволенъ ли игрою ихъ Аполлонъ Александровичь Майковъ, тогдашній директоръ театра. Но насъ, на ту пору *блестящую* Московскую молодежь, привлекалъ въ особенности балетъ, пламенно воспѣтый Денисомъ Давыдовымъ въ лицѣ красавицы Ивановой и удостоенный похвальнымъ отзывомъ въ *Евгеніи Онѣгинѣ*. Когда говорю балетъ, то должно подъ нимъ скорѣе разумѣть *разнохарактерный дивертисементъ*. Тутъ подлинно, въ разнообразныхъ пляскахъ, являлись красивыя, граціозныя и талантливыя танцовщицы. Это было своего рода ноэзія. Кромѣ помянутой и царствующей Ивановой, было нѣсколько блестящихъ личностей, въ числѣ ихъ назову Новикову, живую, увлекательную черноглазую и густо-черноволосую цыганочку. Особенно памятенъ мнѣ одинъ дивертисементъ подъ названіемъ, кажется, *Семикъ*. Тутъ на выборъ подобрано было все, что ни есть лучшаго въ Московскомъ театрѣ по вѣдомству пляски и пѣнія. Молодой Лобановъ въ ролѣ цыгана, съ черною бородою и въ яркокрасномъ архалукѣ, приводилъ въ восторгъ всю публику отъ креселъ до райка своими эксцентрическими и неистовыми *кольцами*. Тогда *канканъ* не былъ еще изобрѣтенъ, и мы безпорочно довольствовались нѣкоторою отвагою въ движеніяхъ. Со славою Лобанова, соперничалъ, помнится, какой-то Лебедевъ, не принадлежавшій Московскому театру, но „со стороны“ участвовавшій въ *Семикѣ*, какъ пѣсельникъ. Голосомъ своимъ онъ звонко заливался; руки его, вооруженныя ложками, фейерверочно вертѣли ими; ноги его такъ прытко изворачивались въ присядку, и все тѣло его

такъ изгибалось и трепетало, что онъ былъ живой и превосходный образецъ бѣснующагося. Въ одинъ изъ проѣздовъ чрезъ Москву Государя Александра Павловича театральная дирекція вздумала угостить его *Семикомъ*. Но онъ вообще не охотникъ былъ до эксцентрическихъ изъявленій и выказалъ мало сочувствія разгулу и дикой поэзіи *Семика*. Напротивъ, узнавъ, что бѣснующійся *ложечникъ* — служащій писарь по какому-то военному вѣдомству, онъ остался очень недоволенъ: приказалъ, чтобы сей артистъ-дилеттантъ впередъ не осмѣливался показываться на сценѣ, а военному начальству его сдѣланъ строжайшій выговоръ за допущеніе подобнаго безобразія.

Извините меня: старыя воспоминанія бывшаго театрала увлекли меня далеко въ сторону. Но судя уже по вашей любопытной статьѣ о *Русскомъ театрѣ*, видно, что и вы старый театралъ. А потому оправдываюсь предъ вами передѣлкою стиха Латинскаго поэта: „Вы театралъ, и ничто театральное чуждымъ быть вамъ не можетъ“.

Теперь уже рѣшительно выступаю на прямой путь.

Въ первой половинѣ двадцатыхъ годовъ, въ 22-мъ или 23-мъ, директоръ Московскаго театра Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ, съ которымъ находился я въ пріятельскихъ отношеніяхъ, просилъ меня написать что нибудь для бенефиса Львовой-Синецкой (кажется такъ) актрисы, состоявшей подъ особеннымъ покровительствомъ его. Я ему отвѣчалъ, что не признаю въ себѣ никакихъ драматическихъ способностей, но готовъ ссудить начинкою куплетовъ піесу, которую другой возмется состряпать.

Предъ самымъ тѣмъ временемъ, познакомился я въ Москвѣ съ Грибоѣдовымъ, уже авторомъ знаменитой комедіи. Я сообщилъ ему желаніе Кокошкина и предложилъ взяться вдвоемъ за это дѣло. Онъ охотно согласился. Мы условились въ нѣкоторыхъ основныхъ началахъ. Онъ бралъ на себя всю прозу; расположеніе сценъ, разговоръ и проч. Я бралъ — всю стихотворную часть, то-есть все, что должно быть пропѣто. Грибоѣдову принадлежитъ только одинъ куплетъ:

Любитъ обновы
Мальчикъ Эротъ и пр.

(Русскій Вѣстникъ, Сентябрь 1873 г., стр. 257).

Не помню и не полагаю, чтобы романсъ Грибоѣдова:

Ахъ, точно-ль никогда ей въ персяхъ безмятежныхъ...
(тамъ же, страница 257).

былъ пропѣтъ на сценѣ въ водевилѣ: „Кто братъ? Кто сестра?“ Всѣ мои куплеты изъ этого водевиля были, помнится мнѣ, въ послѣдствіи времени напечатаны въ „Дамскомъ Журналѣ“, издававшемся княземъ Шаликовымъ. Не задолго предъ тѣмъ возвратился я изъ Варшавы. Въ память пребыванія моего въ Польшѣ, предложилъ я Грибоѣдову перенести мѣсто дѣйствія въ Польшу и дать вообще лицамъ и содержанію Польскій колоритъ. Каюсь,—двумъ дѣвицамъ, участвующимъ въ піесѣ, далъ я имена *Антося* и *Людвися*, въ честь двухъ Варшавскихъ сестеръ-красавицъ, которыхъ можно было встрѣтить на всѣхъ гуляньяхъ, во всѣхъ спектакляхъ, однимъ словомъ—вездѣ, гдѣ можно было на людей посмотрѣть, а особенно себя показать. Водевильную стряпню свою изготовили мы скоро. Кокошкину и бенефиціанткѣ пришлась она очень по вкусу. Казалось, все шло хорошо. Но первый день представленія все измѣнилъ. Піеса, сама по себѣ не очень оживленная занимательнымъ и веселымъ дѣйствіемъ, еще болѣе задерживалась и, такъ сказать, застывала подъ вялою игрою актеровъ, изъ которыхъ иные неохотно играли. За тѣмъ, разумѣется, публика неохотно слушала. Однимъ словомъ, если піеса не совершенно пала, то развѣ отъ того, что на офиціальной сценѣ піесы падать не могутъ. Извѣстная французская поговорка „il est un dieu pour les ivrognes“ можетъ быть примѣнена у насъ къ театру. Для пошатнувшихся и спотнувшихся драматурговъ есть театральная дирекція. Она можетъ сбить съ ногъ лучшій успѣхъ и вынести на рукахъ своихъ комедію, рожденную калѣкою. Какъ бы то ни было, піеса наша была не хуже многихъ, которыя съ успѣхомъ разыгрывались на Московской сценѣ.

Худо нынѣ помню содержаніе и ходъ водевиля; но имя Грибоѣдова ручается, что произведеніе его не было же лишено всякаго дарованія и вообще драматической снаровки. Тоже скажу, безъ уничиженія и гордости, о куплетахъ своихъ, которые только что теперь прочелъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, какъ будто заново или чужіе. Право, не хуже они того, что́ распѣвалось на Русской

сценѣ прежде и послѣ. Причина неуспѣха нашего скрывалась въ закулисныхъ тайнахъ. Въ тогдашней Московской театральной дирекціи числился молодой Писаревъ. Онъ былъ ловкій переводчикъ Французскихъ водевилей и неутомимый поставщикъ ихъ на Московскую сцену, которая ими только и жила. Вообще былъ онъ не безъ дарованія, но, вѣроятно, вслѣдствіе болѣзненнаго организма, былъ раздражителенъ и желченъ. Онъ меня, не знаю за что, не взлюбилъ. Не любилъ онъ и Грибоѣдова, который уже пользовался рукописною славою своего „Горе отъ ума“. Вліятельнымъ лицемъ въ дирекціи былъ и Загоскинъ, также ко мнѣ тогда недоброжелательный. Съ Грибоѣдовымъ же имѣлъ онъ старые счеты по Петербургу. Однимъ словомъ, хотя приглашенные и почетные гости у хозяина дома, Кокошкина, — мы были вовсе не въ чести у домашнихъ его. Съ Загоскинымъ мы въ послѣдствіи времени хорошо сблизились. Вы знавали его и согласитесь, что никакое злопамятство не могло устоять противъ его цвѣтущаго и румянаго добродушія. Съ Писаревымъ примиренія у насъ не было, но не было и случая къ примиренію.

Теперь, по желанію вашему, приступимъ къ замѣткамъ моимъ о статьѣ, напечатанной въ „Русскомъ Вѣстникѣ“.

Грибоѣдовъ, вовсе не съ горя, что не удалось ему видѣть на сценѣ *Горе отъ ума* (стр. 251), принялся за помянутый водевиль, а какъ сказано мною выше, совершенно случайно и по моей просьбѣ.

Стран. 252. Ошибочно сказано, что я съ Грибоѣдовымъ познакомился *„въ то время, когда мы оба служили въ военной службѣ и стояли съ полками въ Царствѣ Польскомъ“*. Въ военной службѣ состоялъ я только въ 1812 году и не далѣе Бородина; съ Грибоѣдовымъ познакомился лѣтъ десять позднѣе въ Москвѣ.

Стран. 258. Также ошибочно показаніе, что куплеты: *„Жизнь наша сонъ! все пѣсня одна!“* писаны *именно* Грибоѣдовымъ. Напротивъ, написаны они *именно* мною, въ подражаніе Французской пѣснѣ, которую пѣвалъ въ то время заѣзжій Французъ.

Выше упомянулъ я о недоброжелательствѣ ко мнѣ Писарева. Вотъ между прочимъ и доказательство тому. Однажды сидимъ мы одни съ Грибоѣдовымъ въ директорской ложѣ. Сознаюсь, я тогда

болѣе смотрѣлъ на ложи, нежели на сцену. Вдругъ Грибоѣдовъ говоритъ мнѣ: „eh bien, vous voilà chansonné sur la scène". — Какъ это? спросилъ я. Между тѣмъ слышу громкія рукоплесканія и крики „*bis*". Къ нимъ присоединилъ я и свои, чтобы узнать, въ чемъ дѣло. Актеръ повторилъ требуемый куплетъ, и я догадался, куда авторъ хотѣлъ мѣтить. Это было во время полемики моей съ М. А. Дмитріевымъ по поводу „Бахчисарайскаго Фонтана". Помню куплетъ до нынѣ. Не подумайте, что онъ занозою въѣлся въ память мою. Сейчасъ покажу вамъ, что куплетъ вовсе не занозливый. Но онъ былъ однимъ изъ поличныхъ обстоятельствъ въ литературной тяжбѣ, которая въ свое время не мало надѣлала шума. А потому и почитаю, что онъ подлежитъ вашему цензурно-генералъ-прокурорскому надзору:

Извѣстный журналистъ Графовъ
Мишурскаго задѣлъ разборомъ;
Мишурскій, не теряя словъ,
На критику отвѣтилъ вздоромъ.
Пошли писатели шумѣть,
Кричать, сердиться отъ бездѣлья.
Пришлось-же публикѣ терпѣть
Въ чужомъ пиру похмѣлье.

Позвольте мнѣ теперь на досугѣ изслѣдовать археографически и археологически этотъ допотопный памятникъ. *Извѣстный журналистъ Графовъ*. Въ то время подъ этимъ прозвищемъ „*Графовъ*" осмѣивали бѣднаго графа Хвостова; придать это прозвище и Каченовскому не было очень лестно для журналиста, котораго Писаревъ считался приверженцемъ.

Мишурскій, *не теряя словъ*,
На критику отвѣтилъ вздоромъ.

Мишурскій, очевидно я, и потому, что я урожденный сіятельство, а вѣроятно, еще болѣе потому, что люблю играть словами и часто выраженіями своими пускаю въ глаза блескъ, или пожалуй, мишуру. Прекрасно! Но на бѣду автора куплета, риѳма попутала его. Онъ долженъ былъ и хотѣлъ сказать „*не теряя времени*". А теперь мудрено согласовать, что я и „*не терялъ словъ*" и „*отвѣтилъ вздоромъ*".

Пошли писатели шумѣть,
Кричать, сердиться отъ бездѣлья.

Подъ словомъ *писатели* долженъ быть подразумѣваемъ и М. А. Дмитріевъ, съ которымъ мы вели пререканія. А между тѣмъ Писаревъ и онъ были пріятелями и литературными единомышленниками. Такимъ образомъ, швыряя въ меня камнемъ, задѣваетъ онъ при сей вѣрной оказіи и пріятеля своего. Одинъ путный стихъ во всемъ куплетѣ есть послѣдній, да и то потому, что онъ весь заключается въ извѣстной пословицѣ.

Прозвище *Мишурскаго* напоминаетъ мнѣ другаго остряка, который гдѣ-то пожаловалъ меня: „княземъ Ковришкинымъ“. Что же прикажете дѣлать? не обережешься отъ нарѣзнаго огнестрѣльнаго остроумія нашихъ литературныхъ знаменитостей.

Авторъ статьи о неизданныхъ піесахъ Грибоѣдова читалъ (стр. 257) большое письмо его къ Верстовскому по поводу водевиля нашего, выражающее *„большую заботу о постановкѣ этой піесы“*. Я этого никакъ не ожидалъ, и вотъ по какой причинѣ:

Слѣдующій разсказъ можетъ во всякомъ случаѣ служить характеристическою чертою въ изображеніи Грибоѣдова и показать, какъ умѣлъ онъ владѣть собою и не выдавать себя другимъ въ расплохъ. Вообще не былъ онъ вовсе, какъ полагаютъ многіе, человѣкомъ увлеченія: онъ былъ болѣе человѣкомъ обдумыванія и разсчета.

Въ день представленія водевиля, Грибоѣдовъ обѣдалъ у меня съ нѣкоторыми пріятелями моими. Въ числѣ ихъ былъ и Денисъ Давыдовъ. „А что“, спросилъ онъ Грибоѣдова, „признайся: сердце у тебя немножко ёкаетъ, въ ожиданіи представленія?“ — „Такъ мало ёкаетъ“,—отвѣчалъ отрывисто Грибоѣдовъ,—„что даже я и не поѣду въ театръ“.—Такъ онъ и сдѣлалъ. Мы отправились безъ него и заняли литтерную ложу во 2-мъ ярусѣ. Оттуда могъ я слѣдовать за постепеннымъ паденіемъ піесы. Со всѣмъ тѣмъ, по окончаніи, раздалось въ партерѣ нѣсколько голосовъ, вызывавшихъ автора. Я, разумѣется, не вышелъ. Актеръ явился на сцену и донесъ публикѣ, что авторовъ два, но что ни одного изъ нихъ нѣтъ въ театрѣ. Давали-ли водевиль послѣ перваго представленія,—сказать не могу, и до нынѣшняго случая ничего не слыхалъ о немъ.

Въ разбираемой статьѣ (стр. 252) говорится, что піеса никогда не была напечатана, *„хотя изданіе ея было бы въ высшей*

степени любопытно", но нельзя приступить къ тому *безъ согласія моего*. Не полагаю, чтобы это произведеніе Грибоѣдова могло послужить приращеніемъ къ славѣ его и къ пользѣ нашего репертуара. Но во всякомъ случаѣ, что до меня относится, предоставляю этотъ водевиль въ полное распоряженіе желающихъ потребителей.

Еще одно замѣчаніе, хотя по предмету постороннему. На страницѣ 235 приводится извѣстная эпиграмма на Карамзина:

Послушайте, я вамъ скажу про старину,
Про Игоря и про его жену и проч.

и приписывается она Грибоѣдову. Въ заграничныхъ изданіяхъ печатается она подъ именемъ Пушкина — и, кажется, правильно. Въ ней выдается почеркъ Пушкина, а не Грибоѣдова, котораго стихи, за исключеніемъ многихъ удачныхъ и блестящихъ стиховъ въ *Горѣ отъ ума*, вообще грубоваты и тяжеловаты. При всемъ своемъ уваженіи и нѣжной преданности къ Карамзину, Пушкинъ могъ легко написать эту шалость; она, вѣроятно, заставила бы усмѣхнуться самого Карамзина. Въ лѣта бурной молодости Пушкинъ не разъ бывалъ увлекаемъ то въ одну, то въ другую сторону, разнородными потоками обстоятельствъ, соблазновъ и вліяній литературныхъ и другихъ.

Въ той же статьѣ приводятся слова Грибоѣдова, сказанныя пріятелю его, уже послѣ написанія *Горе отъ ума*. Они меня очень поразили, между прочимъ и тѣмъ, что служатъ новымъ свидѣтельствомъ тому, какъ часто авторы ошибаются въ оцѣнкѣ свойствъ таланта своего. Онъ говоритъ: „я не напишу болѣе комедіи; веселость моя исчезла, а безъ веселости нѣтъ хорошей комедіи". Послѣднія слова совершенно справедливы. Но дѣло въ томъ, что въ комедіи *Горе отъ ума* именно нѣтъ нисколько веселости. Есть умъ, есть острота, насмѣшливость, ѣдкость, даже желчь; есть, здѣсь и тамъ, бойкія черты карандаша, схватывающаго съ удивительною вѣрностью и живостью каррикатурные сколки; все это есть—и въ изобиліи. Но *веселости*, безъ чего нѣтъ *хорошей комедіи*, по словамъ Грибоѣдова, не найдешь въ *Горѣ отъ ума*. Это сатира, а не драма; импровизація, а не дѣйствіе. О комическихъ положеніяхъ, столкновеніяхъ, нечаянностяхъ (естественно, а не

натянуто и не произвольно, вытекающихъ изъ самой сущности драматической басни) нѣтъ тутъ и помина. Одинъ Чацкій, и то, разумѣется, противъ умысла и желанія автора, оказывается лицомъ комическимъ и смѣшнымъ. Такъ напримѣръ, въ сценѣ, когда онъ, послѣ долгой проповѣди, оглядывается и видитъ, что всѣ слушатели его одинъ за другимъ ушли; или когда Софья Павловна подъ носомъ его запираетъ дверь комнаты своей на ключъ, чтобы отъ него отдѣлаться. Эта исповѣдь моя, по поводу *Горе отъ ума*, покажется многимъ дикою и страшною ересью. Но я ни въ чемъ не терплю преувеличенія. Одинъ изъ первыхъ привѣтствовалъ я *Горе отъ ума* съ живымъ сочувствіемъ. Не только у насъ, на сценическомъ безлюдіи, но и на другой гуще населенной сценѣ, напримѣръ Французской, комедія Грибоѣдова была бы блестящимъ явленіемъ. У насъ, послѣ *Недоросля* и до *Ревизора*, была она не только блестящей, но прямо изъ жизни, выхваченной картиной; картина, можетъ быть, слишкомъ раскрашена, немного натянута; въ ней можетъ быть выдается болѣе самъ живописецъ, нежели изображенныя имъ лица; но все-же, повторяю, картина замѣчательная по бойкости кисти, по краскамъ и живости своей. Кажется, довольно и сказаннаго для безпристрастной оцѣнки этого творенія. Вѣроятно и самъ авторъ, не смотря на самолюбіе свое и чадолюбіе, которое присущно каждому автору, не пошелъ бы многимъ далѣе меня въ опредѣленіи достоинства комедіи своей. Онъ былъ очень уменъ, образованъ, хорошо зналъ иностранныя литтературы, слѣдовательно не могъ запрашивать у общественнаго мнѣнія цѣну, слишкомъ не подходящую къ дѣлу. Но наши присяжные *цѣнители и судьи* не связаны ни этими и никакими другими условіями. Они рубятъ съ плеча того, кто имъ не по вкусу и не по нраву; за то уже любимцевъ своихъ торжественно и празднично *закачиваютъ* на усердныхъ рукахъ своихъ до, безпамятства и тошноты. Признаюсь, мнѣ оскомину набили эти стереотипныя прилагательныя: *безсмертная*, *геніальная*, которыя, по заведенному единожды порядку, привѣшиваютъ къ комедіи *Горе отъ ума*. Хотѣлось бы спросить этихъ господъ: изъ какихъ доходовъ раздаютъ они эти дипломы на безсмертіе и геніальность? Какія личныя права имѣютъ они на подобныя производства? Вообще критика наша несостоя-

тельна: ей слѣдовало бы воздерживать себя отъ неблагоразумной расточительности. Но широкой Русской натурѣ тѣсно въ условныхъ и законныхъ предѣлахъ. Она перескакиваетъ ихъ. Ей, напримѣръ, Мольеръ не болѣе извѣстенъ чѣмъ Китайцамъ; но она не усомнится принести его и многихъ другихъ въ жертву Грибоѣдову. И такъ далѣе, вездѣ и во всемъ. У насъ встрѣчаются писатели съ дарованіемъ, но писателей образованныхъ очень мало. Отъ того и критика наша или поверхностна, или сбивчива, когда ей захочется поумствовать и полиберальничать. Общественное мнѣніе, по крайней мѣрѣ въ большинствѣ, подчиняясь этой критикѣ, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе заблуждается и падаетъ. Что ни говори, а все это признаки болѣзненности и отсутствія образованности.

А вы, которые извѣдали, изслѣдовали, провѣрили, промѣрили на Руси всѣ чернильные потоки, протоки, притоки, знаете-ли вы, что въ комедіи *Горе отъ ума* есть и моя капля, если не меда и желчи, то по крайней мѣрѣ капля чернилъ, то есть: точка. Угадайте, поищите. Нѣтъ, не находите! Такъ и быть: укажу я вамъ.

Скоро послѣ пріѣзда въ Москву, Грибоѣдовъ читалъ у меня и про одного меня комедію свою. Послѣ паденія Молчалина съ лошади, испуга и обморока Софьи Павловны (дѣйствіе 2-е, явленіе 8-е) Чацкій говорилъ:

Желалъ бы съ нимъ убиться для компаньи.

Тутъ замѣтилъ я, что влюбленному Чацкому, особенно послѣ словъ

Смятенье, обморокъ. . . .
Такъ можно только ощущать,
Когда лишаешься единственнаго друга.

неловко употребить пошлое выраженье *„для компаньи“*, а лучше передать его служанкѣ Лизѣ. Такъ Грибоѣдовъ и сдѣлалъ: точка раздѣлила стихъ на два; и эта точка моя неотъемлемая собственность въ *безсмертной* и *геніальной* комедіи Грибоѣдова. Слѣдовательно и на мою долю падаетъ чуть замѣтная, гомеопатическая крупинка, о чемъ имѣю честь заявить нашимъ маклерамъ по части безсмертныхъ и геніальныхъ дѣлъ.

„Ухъ“! скажете вы. „Ухъ“! говорю и я. Меня самого пугаетъ непомѣрная долгота письма моего. Каково же будетъ вамъ? Впрочемъ, виноваты сами вы. Вы задрали роднымъ вопросомъ стараго пріятеля, который въ Нѣмецкомъ закоулкѣ своемъ сидитъ, какъ заключенникъ въ тюрьмѣ, на одиночномъ и безмолвномъ положеніи. Вотъ меня и прорвало! Впередъ будте осторожнѣе.

CVI.

ОТМѢТКИ ПРИ ЧТЕНІИ ИСТОРИЧЕСКАГО ПОХВАЛЬНАГО СЛОВА ЕКАТЕРИНѢ II, НАПИСАННАГО КАРАМЗИНЫМЪ.

1873.

I.

Не знаю, пришла ли кому-нибудь въ Россіи мысль прочесть предъ 24-мъ числомъ ноября истекшаго года историческое похвальное слово императрицѣ Екатеринѣ II, написанное Карамзинымъ тому безъ малаго три четверти вѣка. Но мнѣ на чужбинѣ запала эта мысль и въ умъ, и въ сердце. Лишенный радости присутствовать на Екатерининскомъ и всенародномъ празднествѣ, которое въ минувшемъ ноябрѣ торжествовалъ Петербургъ при сочувствіи всей Россіи, я хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, поклониться Екатеринѣ въ частномъ и скромномъ памятникѣ, воздвигнутомъ ей литературнымъ ваятелемъ, художникомъ мысли и слова.

Похвальныя слова вышли нынѣ, какъ и многое другое, изъ употребленія, но было время, когда, особенно во Франціи, были они живою и уважаемою отраслью литературы; теперь мѣсто ихъ занимаютъ біографіи и монографіи.

Впрочемъ, дѣло не въ формѣ, не въ покроѣ, не въ оболочкѣ. Формы видоизмѣняются болѣе наружно, чѣмъ существенно: иногда старыя формы вовсе разбиваются; но содержаніе, но истинно жизненное остается неприкосновеннымъ, если при рожденіи своемъ воспріяло оно отпечатокъ и залогъ жизни, и обладаетъ внутреннею цѣнностію. При этихъ условіяхъ, не смотря на новыя требованія,

на прихотливость своенравнаго и самовластительнаго вкуса, однимъ словомъ, не смотря на то, что можно бы назвать нравственною, духовною модою, совмѣстницею моды матеріальной, всякое умственное произведеніе, будь то книга, картина и тому подобное, имѣетъ свою внутреннюю жизнь: мысль, чувства, одушевляющія это произведеніе, переживаютъ время свое и не утрачиваютъ достоинства своего. Сапфиръ все тотъ же сапфиръ, хотя и въ старинной оправѣ. Цѣнители внутренняго значенія не пожертвуютъ имъ изъ пристрастія ко внѣшней отдѣлкѣ. Напротивъ, истинные художники, совѣстливые поклонники искусства, часто дорожатъ этимъ отпечаткомъ старины. Не только пріятно, но даже и нужно время отъ времени освѣжать свой вкусъ подобными отступленіями отъ воззрѣній и обычаевъ настоящаго. Чувство пресыщается и окончательно притупляется, когда оно исключительно обращено на однообразіе текущаго и на господствующіе пріемы и краски того или другого дня.

Въ отношеніи къ литературѣ, особенно полезно и отрадно возвращаться, безъ пристрастія и безъ приговора, заранѣе замышленнаго, къ источникамъ, которые нѣкогда утоляли и прохлаждали нашу нравственную и умственную жажду.

Твореніе Карамзина, о которомъ идетъ рѣчь, возбудило въ насъ желаніе сказать о немъ нѣсколько словъ. Оно не просто образцовое произведеніе искусства: оно сверхъ того можетъ удовлетворить троякимъ требованіямъ, въ отношеніи историческомъ, гражданскомъ и общежитейскомъ. Во всѣхъ этихъ видахъ носитъ оно отпечатокъ и знаменье времени своего и вмѣстѣ съ тѣмъ вѣрный и глубокій отпечатокъ личности самого автора.

II.

Нѣкоторыя изъ предполагаемыхъ преобразованій и государственныхъ попытокъ Екатерины, какъ, напримѣръ, созваніе депутатовъ со всей Россіи, не вполнѣ развились и осуществились; но и сами положенныя, набросанныя начала, хотя не дозрѣли до событія, не менѣе того оставили слѣды по себѣ.

Они и нынѣ не стерлись съ лица Русской земли. Сами собою были они уже благотворительны. Они внесли въ общество новыя понятія и новыя стремленія. Они, такъ-сказать, перевоспитали общество, или по крайней мѣрѣ значительную часть его. Слова: *либералъ*, *гуманность*, *прогрессъ* не имѣли тогда права гражданства ни въ академическомъ словарѣ, ни въ общемъ устномъ употребленіи, но значеніе ихъ, истинное и дѣйствительное, но многозначительный смыслъ ихъ распространили вліяніе свое въ безыменномъ еще, но не менѣе того плодотворномъ могуществѣ. Громки и велики были дѣла Екатерины, твердо вошедшія въ исторію и въ ней сохранившіяся въ полномъ блескѣ своемъ, въ несокрушимой силѣ совершившихся событій. Но много было еще силъ, такъ сказать, неочевидныхъ, неосязательныхъ, которыми располагала Екатерина. Эти силы запечатлѣлись на обществѣ: послѣ временнаго молчанія, онѣ сочувственно и ободрительно отозвались въ первыхъ годахъ царствованія любимаго ею внука, онѣ отзываются и нынѣ.

Петръ преобразовалъ, создалъ или подготовилъ новую политическую и государственную Россію. Но суровость нравовъ, но пробужденіе умовъ, общая потребность въ образованности худо повиновались богатырской и самовластительной рукѣ его. Нравы не смягчались. Благородныя, нравственныя и умственныя побужденія и стремленія мало и рѣдко прорывались изъ общаго застоя. Общество еще не нуждалось въ свѣтѣ дня, въ свѣжести живительнаго воздуха. Екатерина внесла въ Русское общество просвѣтительныя и животворныя стихіи, и внесла ихъ не крутыми мѣрами, не насильствуя личной воли. Она, такъ-сказать, не самодержавно просвѣщала общество; но чистымъ и женскимъ искусствомъ направляла она общее настроеніе, общее мнѣніе. Нѣтъ сомнѣнія, что въ ней женщина много содѣйствовала силѣ самодержца. Въ преданности волѣ ея много было рыцарства и воодушевленія.

Она нетолько продолжала дѣло, начатое Петромъ, но облекла его большею законностью, округлила, смягчила пружины, которыя приводили его въ дѣйствіе. Петръ былъ натуры суровой, многосносливой: онъ себя не берегъ, думалъ, что и другихъ беречь не для чего. Онъ былъ сложенія, желѣзомъ окованнаго; къ вещамъ и

людямъ прикасался онъ желѣзною рукою. Екатерина въ тѣмъ и другимъ приложила женскую руку, почти не менѣе твердую, нежели рука Петра, равно искусную и жизнедательную, но, разумѣется, болѣе мягкую и ласковую. Она умѣла облечь силу самодержавія пріемами сочувственными, не пугающими, не оскорбляющими нравственнаго достоинства, нравственной независимости каждаго лица. Мы здѣсь выхваляемъ Екатерину не въ ущербъ Петру. Петръ былъ дѣятель своего времени, дѣятель пылкій, нетерпѣливый, какъ-будто предчувствовавшій, что ему нужно спѣшить, нужно все перевернуть, чтобы успѣть сдѣлать всему, по крайней мѣрѣ, починъ: прорубить дремучій лѣсъ и поставить вехи для означенія, гдѣ, какъ и куда должна быть направлена задуманная имъ дорога. Екатерина—дѣятель эпохи уже болѣе подготовленной къ воспріятію новыхъ понятій, новыхъ порядковъ. Крутая ломка и передѣлка уже были совершены Петромъ. Онъ на свою личную отвѣтственность и на отвѣтственность памяти о себѣ предъ потомствомъ принялъ съ самоотверженіемъ всю неблаговидную и часто прискорбную сторону дѣйствій, которыя почиталъ онъ, ошибочно или нѣтъ, нужными и необходимыми. Дорога предъ Екатериною была уже расчищена: съ природою бороться ей уже менѣе потребно было, да и Европа Петра не была еще Европою Екатерины.

Благія начала, введенныя Екатериною въ государственномъ и общественномъ устройствѣ, не могли не отозваться въ литературѣ нашей. Карамзину предоставляется честь, что онъ изъ первыхъ и съ большимъ успѣхомъ проникнутъ былъ миротворительнымъ вліяніемъ новаго дня, восшедшаго надъ Россіей. Подъ этимъ вліяніемъ перенесъ онъ литературу на почву новую и всѣмъ болѣе доступную. Карамзину вообще, какъ приверженцами, такъ равно и противниками, приписывается, что онъ преобразовалъ общеупотребительный языкъ, раскрылъ въ этомъ орудіи мысли новыя качества и способности: плодъ этихъ изысканій проявилъ онъ въ первыхъ произведеніяхъ своихъ. Но главное достоинство его не въ матерьяльномъ преобразованіи рѣчи нашей, какъ ни велика и эта заслуга: основное, зиждительное достоинство его выражается въ томъ, что онъ навѣялъ новый духъ на литературу нашу, оживилъ ее

новыми побужденіями и направленіемъ, нравственно согрѣлъ ее, приблизилъ ее къ обществу и его сблизилъ съ нею. Тутъ прямо выказываются вліянія Екатерининскаго времени. За сближеніемъ общества съ правительствомъ силою законодательною, неминуемо, логически должно было слѣдовать и общественное сближеніе съ литературою, которая и должна быть выраженіемъ общества. До него литература была власть довольно суровая, мало общительная; она была сама по себѣ, общество само по себѣ. Ей поклонялись издали, уважали и чествовали ее суевѣрно, но равнодушно. Съ нимъ литература сдѣлалась живою частью общества, членомъ общей народной семьи. И прежде, даже и нынѣ, были и встрѣчались люди, которые смѣялись и смѣются надъ такъ-называемою *сентиментальностью* его. Во-первыхъ, эта способность умиленія, это сочувствіе любви къ явленіямъ природы, къ человѣчеству, эта, пожалуй, нервическая чуткость и чувствительность были въ немъ не привитыя, не заимствованныя: онѣ были вполнѣ самородныя. Эти природныя личныя склонности и расположенія могли иногда влечь за собою свои частные и временные недостатки и уклончивости. Но вмѣстѣ съ тѣмъ были они чистымъ и обильнымъ источникомъ живой впечатлительности его, глубокой любви ко всему прекрасному и доброму, силы ощущеній и увлекательной способности живо выражать ощущенія и чувства свои и передавать ихъ другимъ. Къ тому же эта *сентиментальность* была въ нашей литераттурѣ не только дозволительна, но совершенно умѣстна и своевременна. Она была сильнымъ и радикальнымъ противудѣйствіемъ литературы чрезмѣрно безстрастной и нѣсколько сухой и безжизненной. Мягкость, мягкосердечіе, проявившіяся въ литературѣ нашей подъ перомъ Карамзина, были безъ сомнѣнія плодомъ царствованія Екатерины. „Письма Русскаго путешественника“ и многія другія произведенія его, не исключая даже и „Бѣдной Лазы“, носили отпечатокъ этого мягкаго и благорастворенаго времени. Вліяніе его еще сильнѣе и явственнѣе выражается въ историческомъ похвальномъ словѣ. Оно зрѣлый и сочный плодъ, снятый прямо съ дерева. Въ полномъ сознаніи и съ живѣйшимъ чувствомъ Карамзинъ, приступая къ изображенію Екатерины, могъ воскликнуть: „благо-

дарность и усердіе есть моя слава. Я жилъ подъ Ея скипетромъ и я былъ счастливъ Ея правленіемъ, и буду говорить о Ней!"

III.

Похвальное слово раздѣлено на три части. „Екатерина безсмертна своими побѣдами, мудрыми законами и благодѣтельными учрежденіями: взоръ нашъ слѣдуетъ за нею по симъ тремъ поприщамъ" – говоритъ авторъ. Въ отмѣткахъ нашихъ будемъ держаться того же порядка.

Въ первой части изображаются въ сжатой, но, можно сказать, полной картинѣ, и рядъ преобразованій, введенныхъ Екатериною въ нашемъ войскѣ, и рядъ блистательныхъ и плодоносныхъ побѣдъ, одержанныхъ войскомъ, ею преобразованнымъ и воодушевленнымъ именемъ ея и любовью къ ней. Слѣдующими словами авторъ начинаетъ главу свою:

„Сколь часто поэзія, краснорѣчіе и мнимая философія гремятъ противъ славолюбія завоевателей! Сколь часто укоряютъ ихъ безчисленными жертвами сей грозной страсти! Но истинный философъ различаетъ, судитъ, и не всегда осуждаетъ. Прелестная мечта всемірнаго согласія и братства, столь милая душамъ нѣжнымъ, для чего ты была всегда мечтою? Правило народовъ и государей не правило частныхъ людей: благо сихъ послѣднихъ требуетъ, чтобы первые болѣе всего думали о внѣшней безопасности: а безопасность есть могущество".

„Петръ и Екатерина хотѣли пріобрѣтеній, но единственно для пользы Россіи, для ея могущества и внѣшней безопасности, безъ которой всякое внутреннее благо не надежно".

Все это такъ; но позволяемъ себѣ сдѣлать здѣсь маленькую замѣтку и оговорку. Если допросить исторію всеобщую и объемлющую всѣ столѣтія, то увидимъ, что каждый народъ, каждое правительство понимаютъ по своему законность правъ своихъ на необходимое обезпеченіе и застрахованіе себя отъ притязаній и покушеній сосѣда, и сосѣда часто довольно отдаленнаго. Политическій катихизисъ, обязательный для совѣсти каждаго, еще не опредѣленъ и не вошелъ въ законную силу; но что толковать тутъ о

политикѣ? она неповинна и здѣсь ни при чемъ. По неисповѣдимымъ судьбамъ, естественныя условія всего созданнаго и живущаго опираются на препирательствѣ и борьбѣ. Необходимость войны, вслѣдствіе той или другой причины, того или другого предлога, той или другой страсти, есть прискорбное таинство въ жизни человѣчества. Люди съ малолѣтства, еще дѣтьми, дерутся между собою изъ зависти, жадности, любостяжанія, чтобы выхватить изъ рукъ товарища игрушку или лакомство. А дикіе звѣри, а домашніе животныя, не грызутся ли между собою по врожденному инстинкту? Кажется, тутъ политика ни въ чемъ не замѣшена, а есть война.

Въ этомъ первомъ отдѣленіи, посвященномъ воинскимъ подвигамъ, встрѣчаются мастерскіе и одушевленные очерки. Въ самомъ разсказѣ отзываются живость движенія и пламень боя. Особенно замѣчательно то, что сказано о Румянцовѣ. Изображеніе его отличается особенною мѣткостью и воспроизводительностью кисти. Кажется, что изъ всѣхъ военныхъ предводителей царствованія Екатерины, Румянцовъ былъ ему наиболѣе сочувственъ. Вотъ что говоритъ онъ о Задунайскомъ:

„Сей великій мужъ славно отличилъ себя во время войны Прусской; взялъ Кольбергъ, удивлялся хитрости искуснаго Фридриха, но часто угадывалъ его тайные замыслы; сражался съ нимъ и видѣлъ нѣсколько разъ побѣгъ его воинства".

„Если таланты изъясняются сравненіемъ, то Задунайскаго можно назвать Тюреномъ Россіи. Онъ былъ мудрый полководецъ; зналъ своихъ непріятелей, и систему войны образовалъ по ихъ свойству; мало вѣрилъ слѣпому случаю, и подчинялъ его вѣроятностямъ разсудка: казался отважнымъ, но былъ только проницателенъ, соединялъ рѣшительность съ тихимъ и яснымъ дѣйствіемъ ума; не зналъ ни страха, ни запальчивости, берегъ себя въ сраженіяхъ единственно для побѣды; обожалъ славу, но могъ бы снести и пораженіе, чтобы въ самомъ несчастіи доказать свое искусство и величіе; обязанный геніемъ натурѣ, прибавилъ къ ея дарамъ и силу науки; чувствовалъ свою цѣну, но хвалилъ только другихъ; отдавалъ справедливость подчиненнымъ, но огорчился бы въ глубинѣ сердца, если бы кто нибудь изъ нихъ могъ сравниться съ

нимъ талантами: судьба избавила его отъ сего неудовольствія.— Такъ думаютъ о Задунайскомъ благородные ученики его".

Замѣчательно, что въ сей военной главѣ вовсе не упоминаетъ онъ о Потемкинѣ, не смотря на притязанія его на славу полководца и на военныя почести, которыми былъ онъ возвышенъ. Такое умолчаніе едва ли не есть умышленное. Высокая, нравственная, цѣломудренная натура Карамзина не могла вполнѣ ладить съ этимъ баловнемъ счастія, хотя одареннымъ нѣкоторыми свойствами и особенно вдохновеніями государственнаго дѣятеля. Карамзинъ, вѣроятно, не прощалъ ему, что, при счастіи своемъ, онъ нерѣдко имъ употреблялъ во зло, что онъ, такъ сказать, *барился*, нѣжился и сатрапствовалъ въ счастіи и могуществѣ своемъ. Карамзинъ не прощалъ *великолѣпному князю Тавриды*, какъ прозвалъ его Державинъ, что онъ не всегда соблюдалъ нравственное достоинство, безъ котораго истиннаго величія быть не можетъ. Съ одной стороны будетъ блескъ, сила, порабощеніе толпы; съ другой—обаяніе, уступчивое потворство; но прочной связи, трезвыхъ, сознательныхъ впечатлѣній не будетъ. На Русскомъ языкѣ есть прекрасное, глубокоумное слово: временщикъ. Какъ дворы, такъ и общественное мнѣніе, а къ сожалѣнію, иногда и сама исторія, имѣютъ своихъ временщиковъ. Карамзинъ былъ не изъ тѣхъ, которые поклонялись бы имъ. Ему было совѣстно записать имя Потемкина рядомъ съ именами болѣе безукоризненными, болѣе свѣтлыми, съ именами Румянцова, Суворова, Репнина, Петра Панина, Долгорукаго-Крымскаго. Въ панегиристѣ отзывался уже строгій и нелицепріятный судъ будущаго историка. Впрочемъ, въ другомъ мѣстѣ авторъ удѣляетъ нѣсколько строкъ Потемкину. Онъ, какъ-будто мимоходомъ, но вѣрно и живо набрасываетъ очеркъ его. „Видѣли мы при Екатеринѣ", говоритъ онъ, „возвышеніе человѣка, котораго нравственное и патріотическое достоинство служитъ еще предметомъ споровъ Россіи. Онъ былъ знатенъ и силенъ: слѣдственно не многіе могутъ судить о немъ безпристрастно; зависть и неблагодарность суть два главные порока человѣческаго сердца. Но то неоспоримо, что Потемкинъ имѣлъ умъ острый, проницательный; разумѣлъ великія намѣренія Екатерины, и потому заслуживалъ ея довѣренности. Еще неоспоримѣе то, что онъ не имѣлъ никакого рѣ-

шительнаго вліянія на политику, внутреннее образованіе и законодательство Россіи, которыя были единственнымъ твореніемъ ума Екатерины".

IV.

Вторую часть творенія своего авторъ начинаетъ слѣдующими словами:

„Екатерина-завоевательница стоитъ на ряду съ первыми героями вселенной; міръ удивлялся блестящимъ успѣхамъ ея оружія, но Россія обожаетъ ея уставы, и воинская слава героини затмѣвается въ ней славою образовательницы государства. Мечъ былъ первымъ властелиномъ людей, но одни законы могли быть основаніемъ ихъ гражданскаго счастія; и, находя множество героевъ въ исторіи, едва знаемъ нѣсколько именъ, напоминающихъ мудрость законодательную". Въ этой главѣ Карамзинъ, съ мѣткостью присяжнаго законовѣда и съ теплымъ чувствомъ гражданина, обозрѣваетъ всѣ труды Екатерины по части законодательной, административной и всѣхъ многосложныхъ отраслей государственнаго устройства. Ничто не забыто: многое анализировано съ ясностью и знаніемъ дѣла; на все достойное особеннаго вниманія указано: на весь трудъ проливается свѣтъ добросовѣстной и положительной критики. Съ умѣніемъ и порядкомъ размѣщается на нѣсколькихъ страницахъ полное и вѣрное извлеченіе изъ государственныхъ актовъ тридцати-трехъ лѣтняго царствованія. Въ этомъ искусствѣ собирать матеріалы да приводить ихъ въ порядокъ уже угадывается завтрашній историкъ.

Между прочими богатствами, оставленными Екатериною въ наслѣдіе Россіи, особенное сочувствіе и прилежаніе автора обращены на знаменитый Наказъ ея.

Извѣстно, что подвигъ, предназначенный депутатамъ, собраннымъ со всѣхъ концовъ обширной и, что ни говори, а все же, разноплеменной Россіи, не достигъ окончательной цѣли и былъ прекращенъ въ самомъ развитіи своемъ.

„Ея Наказъ долженствовалъ быть для депутатовъ аріадниною

нитію въ лавиринѳѣ государственнаго законодательства, но онъ, открывая имъ путь, означая все важнѣйшее на семъ пути, содержитъ въ своихъ мудрыхъ правилахъ и душу главныхъ уставовъ политическихъ и гражданскихъ, подобно какъ зерно заключаетъ въ себѣ видъ и плодъ растенія".

Легко понимаемъ, что нынѣшній реализмъ, съ пуританскою своею совѣстью, смущается баснословными воспоминаніями, которыя выглядываютъ изъ этихъ словъ. Аріаднина нить, лавиринѳъ— все это ребяческія преданія! но что же дѣлать, если то, что нынѣ преданіе, еще вчера было достояніемъ общей Европейской литтературы?

Далѣе авторъ продолжаетъ:

„Уже депутаты Россійскіе сообщали другъ другу свои мысли о предметахъ общаго уложенія, и жезлъ маршала гремѣлъ въ торжественныхъ ихъ собраніяхъ. Екатерина невидимо внимала каждому слову, и Россія была въ ожиданіи; но Турецкая война воспылала, и Монархиня обратила свое вниманіе на внѣшнюю безопасность государства".

„Сограждане! принесемъ жертву искренности и правдѣ; скажемъ, что Великая не нашла, можетъ быть, въ умахъ той зрѣлости, тѣхъ различныхъ свѣдѣній, которыя нужны для законодательства".

„Да не оскорбится тѣмъ справедливая гордость народа Россійскаго! Давно ли еще сіяетъ для насъ просвѣщеніе Европы? и мудрость Ликурговъ была ли когда-нибудь общею? Не всегда ли великое искусство государственнаго образованія считалось небеснымъ вдохновеніемъ, извѣстнымъ только нѣкоторымъ избраннымъ душамъ? Оставляя суевѣрныя преданія древности о нимфахъ Эгеріяхъ, можемъ согласиться, что Нумы всѣхъ вѣковъ имѣли нужду въ чрезвычайныхъ откровеніяхъ генія. Сколько мудрости потребно законодателю! Сколь трудно знать человѣческое сердце, предвидѣть всевозможныя дѣйствія страстей, обратить къ добру ихъ бурное стремленіе, или оставить твердыми оплотами, согласить частную пользу съ общей; наконецъ, послѣ высочайшихъ умозрѣній, въ которыхъ духъ человѣческій, какъ древле Моисей на горѣ Синайской съ невидимымъ Божествомъ сообщается, спуститься въ обыкно-

венную сферу людей и тончайшую метафизику преобразить въ уставъ гражданскій, понятный для всякаго!

„Но собраніе депутатовъ было полезно: ибо мысли ихъ открыли Монархинѣ источникъ разныхъ злоупотребленій въ государствѣ. Прославивъ благую волю свою, почтивъ народъ довѣренностію, убѣдивъ его такимъ опытомъ въ ея благотворныхъ намѣреніяхъ, она рѣшилась сама быть законодательницею Россіи".

Карамзинъ не могъ изслѣдовать всѣ труды коммиссіи, которые только на дняхъ были обнародованы. Но мысль его, что собраніе депутатовъ, хотя и не довершившее подвигъ свой, было полезно, не подлежитъ сомнѣнію. Предъ нами развалины недостроеннаго зданія, но самая попытка воздвигнуть подобное зданіе, есть уже само по себѣ историческое событіе. Возвращаясь на родину и въ дома свои, депутаты выдержали уже нѣкоторое политическое воспитаніе. Благодѣтельныя, человѣколюбивыя и *законно-свободныя* (какъ императоръ Александръ I перевелъ слово *libéral*) правила и понятія, пущенныя въ обращеніе, не могли не оставить нѣсколько свѣтлыхъ слѣдовъ въ умѣ многихъ изъ участвующихъ въ этомъ дѣлѣ. Въ провинціи, въ отдаленныхъ мѣстахъ Россіи, занесены были сѣмена, которыя должны были, гдѣ болѣе, гдѣ менѣе, но все-же оплодотворить почву. Наказъ есть болѣе книга политической нравственности, чѣмъ книга практической политики. Но со всѣмъ тѣмъ и наказъ сдѣлалъ свое дѣло и совѣщанія депутатовъ сдѣлали свое.

Слова, падающія въ народъ съ высоты престола, имѣютъ не только отголосокъ въ народѣ, но ложатся на него основою, если не настоящихъ, то въ свое время сбывающихся послѣдствій и явленій. Будь наказъ написанъ частнымъ публицистомъ, онъ не могъ бы имѣть то значеніе, ту важность, которыми онъ проникнутъ, когда воображаешь себѣ, что это плодъ мыслей, чувствованій и желаній державнаго лица. Переводъ на Русскій языкъ Мармонтелева „*Велисарія*", напечатанный частнымъ переводчикомъ, хотя и талантливымъ, затерялся бы въ библіотекѣ, вмѣстѣ со многими другими книгами; но если вспомнить, что этотъ переводъ обязанъ существованіемъ своимъ перу Екатерины, въ сообществѣ съ нѣкоторыми лицами, приближенными ко Двору ея, въ самое то время,

когда подлинникъ подвергался во Франціи порицаніямъ Сорбонны и офиціальному осужденію, то этотъ переводъ пріемлетъ иное и высшее значеніе. Это въ своемъ родѣ знаменіе времени, указаніе на политическую и общественную температуру современной эпохи. Жаль, что ни одному изъ нашихъ ученыхъ и литературныхъ учрежденій не пришла мысль изготовить къ празднеству Екатерины новое изданіе книги, тѣмъ болѣе, что въ настоящее время сдѣлалась она библіографическою рѣдкостью!

V.

Считаемъ не излишнимъ извлечь изъ второй главы, посвященной законодательной дѣятельности Государыни нѣкоторыя мѣста, по мнѣнію нашему, чѣмъ-нибудь особенно замѣчательныя. Онѣ могутъ послужить отчасти характеристикѣ Екатерины и вмѣстѣ съ тѣмъ ея панегириста.

Онъ говоритъ: „Она уважала въ подданномъ санъ человѣка, нравственнаго существа, созданнаго для счастія въ гражданской жизни. (Замѣтьте съ какою осторожностью, не пускаясь въ историческія умозрѣнія, авторъ опредѣляетъ свойство счастія, о которомъ онъ упоминаетъ). Петръ Великій хотѣлъ возвысить насъ на степень просвѣщенныхъ людей: Екатерина хотѣла обходиться съ нами, какъ съ людьми просвѣщенными“.

„Монархиня презирала и самыя дерзкія сужденія, когда оныя происходили единственно отъ легкомыслія и не могли имѣть вредныхъ послѣдствій для государства: ибо она знала, что личная безопасность есть первое для человѣка благо и что безъ нея жизнь наша, среди всѣхъ этихъ способовъ счастія и наслажденія, есть вѣчное мучительное безпокойство“.

Упомянувъ о внутреннемъ преобразованіи нашихъ армій, которое есть, какъ онъ говоритъ, *дѣло Екатерины*, авторъ продолжаетъ:

„Она произвела, что воины одного полка считали себя дѣтьми одного семейства, гордились другъ другомъ и стыдились другъ за друга; она, требуя отъ однихъ непрекословнаго повиновенія, другимъ предписала въ законъ: не только человѣколюбіе, но и самую

привѣтливость, самую ласковую учтивость; изъявляя, можно сказать, нѣжное попеченіе о благосостояніи простаго воина, хотѣла, чтобы онъ зналъ важность сана своего въ имперіи, и, любя его, любилъ отечество".

„Монархиня (въ наказѣ) прежде всего опредѣляетъ образъ правленія въ Россіи—*самодержавный;* не довольствуется единымъ всемогущимъ изрѣченіемъ, но доказываетъ необходимость сего правленія для неизмѣримой имперіи".

Раздѣляя это мнѣніе, авторъ говоритъ: „Здѣсь примѣры служатъ убѣдительнѣйшимъ доказательствомъ. Римъ, котораго именемъ цѣлый міръ назывался, въ единомъ самодержавіи Августа, нашелъ успокоеніе послѣ всѣхъ ужасныхъ мятежей и бѣдствій своихъ. Что видѣли мы въ наше время? Народъ многочисленный на развалинахъ трона хотѣлъ повелѣвать самъ собою: прекрасное зданіе общественнаго благоустройства разрушилось; неописанныя несчастія были жребіемъ Франціи, и сей гордый народъ, осыпавъ пепломъ главу свою, проклиная десятилѣтнее заблужденіе, для спасенія политическаго бытія своего вручаетъ самовластіе честолюбивому Корсиканскому воину". Далѣе: „Мое сердце не менѣе другихъ воспламеняется добродѣтелію великихъ республиканцевъ; но сколько кратковременны блестящія эпохи ея? Сколь часто именемъ свободы пользовалось тиранство и великодушныхъ друзей ея заключало въ узы"?

Въ искренности сказанныхъ словъ и признанія автора сомнѣваться нельзя. Карамзинъ былъ въ самомъ дѣлѣ душою республиканецъ, а головою монархистъ. Первымъ былъ онъ по чувству своему, горячимъ преданіямъ юношества и духовной своей независимости; вторымъ сдѣлался онъ вслѣдствіе изученія исторіи и съ нею пріобрѣтенной опытности. Говоря нынѣшнимъ языкомъ, скажемъ: какъ человѣкъ, былъ онъ либералъ, какъ гражданинъ былъ онъ консерваторъ. Таковымъ былъ онъ и у себя дома, и въ кабинетѣ Александра. Замѣтимъ мимоходомъ, что въ этомъ кабинетѣ нужно было имѣть нѣкоторую долю независимости и смѣлости, чтобы оставаться консерваторомъ.

Екатерина говоритъ: „лучше повиноваться законамъ подъ единымъ властелиномъ, нежели угождать многимъ". (Нельзя не обра-

тить вниманія на тонкій и глубокій смыслъ выраженія: Екатерина не говоритъ: повиноваться законамъ единаго властелина, а законамъ подъ единымъ властелиномъ).

„Предметъ самодержавія, говоритъ законодательница, есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы дѣйствія ихъ направить къ величайшему *благу*".

(*Благо*, вѣроятно, означаетъ здѣсь *благосостояніе, bien-être*).

„Сіе правленіе (самодержавное), говоритъ Карамзинъ, тѣмъ благотворнѣе, что оно соединяетъ выгоды Монарха съ выгодами подданныхъ: чѣмъ они довольнѣе и счастливѣе, тѣмъ власть его святѣе и ему пріятнѣе; оно всѣхъ другихъ сообразнѣе съ цѣлію гражданскихъ обществъ, ибо всѣхъ болѣе способствуетъ тишинѣ и безопасности".

Вотъ исповѣданіе политической вѣры Карамзина. Коротко знавшіе его убѣжденія говорятъ, что онъ не былъ ни политическимъ, ни религіознымъ лицемѣромъ, расчеты и какое бы то ни было корыстолюбіе были ему чужды.

Далѣе авторъ прекрасно опредѣляетъ Сенатъ. Онъ большой приверженецъ сего Петровскаго учрежденія, и подлинно изъ всѣхъ тогдашнихъ государственныхъ учрежденій оно легче и прочнѣе принялось на Русской почвѣ. Слѣдовательно оно удовлетворяло живымъ и насущнымъ потребностямъ страны. Долго въ Россіи въ отдаленныхъ провинціяхъ и въ простомъ народѣ только и знали, что Государя и Сенатъ.

Карамзинъ, упоминая о власти, которую Екатерина предоставляетъ Сенату, разрѣшая ему входить съ представленіями государю, если Сенатъ найдетъ въ законахъ, присланныхъ ему для исполненія что-нибудь *вредное, темное, или противное уложенію*, заключаетъ слѣдующими словами:

„Такимъ образомъ Сенатъ въ отношеніи къ Монарху есть совѣсть его, а въ отношеніяхъ къ народу—рука Монарха; вообще онъ служитъ эгидою для государства, будучи главнымъ блюстителемъ порядка". Кстати замѣтить здѣсь, что въ другомъ мѣстѣ, онъ какъ опытный законовѣдецъ и какъ-будто человѣкъ измученный судейскими проволочками—онъ вѣроятно не имѣлъ въ жизни ни одной тяжбы—мѣтко указываетъ на одну изъ язвъ судопроизвод-

ства. Говоря объ учрежденіи палатъ гражданской и уголовной, которыя имѣютъ права коллегій и судятъ въ средоточіи губерній, онъ прибавляетъ: „Всѣ нужныя объясненія могутъ быть доставляемы скоро, и *медленность, первое зло по неправдѣ*, пресѣкается". И въ знаменитой запискѣ своей „О древней и новой Россіи", позднѣе написанной Карамзинымъ, все съ тѣмъ же рвеніемъ отстаиваетъ Сенатъ. Вотъ что онъ говоритъ: „Фельдмаршалъ Минихъ замѣчалъ въ нашемъ государственномъ чинѣ нѣкоторую пустоту между Трономъ и Сенатомъ, но едва ли справедливо. Подобно древней Боярской Думѣ, Сенатъ въ началѣ своемъ имѣлъ всю власть, какую только высшее правительствующее мѣсто въ самодержавіи имѣть можетъ. Генералъ-прокуроръ служилъ связью между имъ и государемъ: тамъ вершались дѣла, которыя бы надлежало вершить Монарху: по человѣчеству, не имѣя способа обнять ихъ множества, онъ далъ Сенату свое верховное право и свое око въ генералъ-прокурорѣ, опредѣливъ въ какихъ случаяхъ дѣйствовать сему важному мѣсту по извѣстнымъ законамъ и въ какихъ требовать его Высочайшаго соизволенія. Сенатъ издавалъ законы, повѣрялъ дѣла коллегій, рѣшалъ ихъ сомнѣнія, или испрашивалъ у Государя, который, принимая на него жалобы отъ людей частныхъ, грозилъ строгою казнію ему въ злоупотребленіи власти, или дерзскому челобитчику въ несправедливой жалобѣ".

Вообще, приведенныя выписки изъ узаконеній и правительственныхъ мѣръ Екатерины доказываютъ съ какимъ искусствомъ и сочувствіемъ, съ какою критическою разборчивостью авторъ умѣлъ воспользоваться матеріалами, имѣющимися у него подъ руками; въ этомъ трудѣ выказывается государственный умъ и будущій историкъ, который въ примѣчаніяхъ своихъ, въ написанной имъ исторіи, извлекъ и согласовалъ всѣ свѣдѣнія, всѣ указанія изъ лѣтописей и другихъ источниковъ, имъ открытыхъ.

Указывая на новое поприще государственной дѣятельности, открытое не служащему дворянству призывомъ его занимать должности по выбору, авторъ говоритъ. „Прежде дворянство наше гордилось какою-то, можно сказать, дикою независимостью въ своихъ помѣстіяхъ; теперь, избирая важныя судебныя власти и черезъ то участвуя въ правленіи, оно гордится своими великими государствен-

ными правами, и благородныя сердца ихъ болѣе нежели когда-нибудь любятъ свое отечество".

Здѣсь позволимъ себѣ высказать маленькое критическое замѣчаніе. Вмѣсто того, чтобы сказать положительно *гордиться*, не вѣрнѣе ли было бы сказать: *должно гордиться*.

Но, можетъ быть, такой уклончивый оборотъ рѣчи не ладилъ съ требованіями и условіями похвальнаго слова, хотя бы и историческаго. Но какъ бы то ни было, не законы и не учрежденія виноваты, когда общество не умѣетъ вполнѣ ими пользоваться. Много званныхъ, мало избранныхъ. Но были же избранные, которые при равнодушіи другихъ постигли важность даруемыхъ имъ правъ, добросовѣстно признавая, что права возлагаютъ и обязанности. Далѣе: „Новое учрежденіе", говоритъ авторъ, „пресѣкло многія злоупотребленія господской власти надъ рабами, поручивъ ихъ судьбу особенному вниманію намѣстника. Сіи гнусные, но къ утѣшенію добраго сердца, малочисленные тираны, которые забываютъ, что быть господиномъ, есть для истиннаго дворянина, быть отцемъ своихъ подданныхъ, не могли уже тиранствовать во мракѣ; лучъ мудраго правительства освѣтилъ тѣ дѣла; страхъ былъ для нихъ краснорѣчивѣе совѣсти, и судьба подвластныхъ земледѣльцевъ смягчилась".

Многіе обвиняютъ Карамзина въ пристрастной приверженности къ крѣпостному помѣщицкому праву. Мы сейчасъ видѣли, какъ сильно возстаетъ онъ противъ злоупотребленій этого права, не обинуясь позоритъ онъ злыхъ помѣщиковъ клеймомъ: *гнуснаго тиранства*. Какъ человѣкъ, онъ безъ сомнѣнія, въ душѣ своей за уничтоженіе крѣпостнаго состоянія, которое влечетъ за собою ужасы, имъ упоминаемые; какъ политикъ, какъ публицистъ, онъ могъ думать, что время для этого уничтоженія еще не застало. Онъ не доктринеръ, готовый принести все въ жертву единственно для торжества принципа. Онъ могъ ошибаться по части политической экономіи, могъ опасаться гибельныхъ послѣдствій, которыя могли и не осуществиться. Это дѣло другое; публицистъ не обязанъ быть пророкомъ; довольно и того, если правильно судитъ онъ о настоящемъ: взвѣшиваетъ выгоды и невыгоды вопроса, сужденію его подлежащаго, и приходитъ къ заключенію по совѣсти своей и по

своему разумѣнію. Чтобы о дѣйствіяхъ человѣка и писателя (а писанія его—тоже дѣйствія) судить безпристрастно и правильно, нужно всегда принимать въ соображеніе эпоху ему современную и, такъ сказать, внутреннюю среду умственнаго и нравственнаго положенія его. Всякая картина, для прямаго дѣйствія ея на зрителя, требуетъ, чтобы выставлена была она въ приличномъ и свойственномъ ей свѣтѣ. Карамзинъ писалъ записку свою „о древней и новой Россіи“ въ то самое время, когда надъ Европою и особенно надъ Россіею висѣла шпага Дамоклеса, т.-е. Наполеона, уже поразившая двѣ трети Европы. Карамзину могло казаться неудобнымъ крутыми преобразованіями и мѣрами дѣлать въ то время опыты надъ Россіею, т.-е. ломать, уничтожать живыя силы, которыми такъ или иначе держалась она, и создать наскоро новыя еще неизвѣстныя силы, которыя, во всякомъ случаѣ, не успѣли бы предъ подходящею грозою достаточно развиться и окрѣпнуть. Съ другой стороны, онъ уже посвятилъ нѣсколько лѣтъ трудолюбивой жизни своей на возсозданіе исторіи глубоко и пламенно любимаго имъ отечества. Онъ шагъ за шагомъ, столѣтіе за столѣтіемъ, событіе за событіемъ, слѣдилъ за возростаніемъ и безпрерывно мужающимъ могуществомъ государства. Не могъ же онъ не придти къ тому заключенію и убѣжденію, что, не смотря на частыя, прискорбныя и предосудительныя явленія, все-же находились въ этомъ развитіи, въ этомъ устроившемся складѣ и порядкѣ, многіе зародыши силы и живучести. Безъ того не удержалась бы Россія. Онъ полюбилъ Россію, каковою сложилась она и выросла. И это очень натурально. Вотъ вдохновенія и основы консерватизма его. Либералу, т.-е. тому, что называютъ либераломъ, трудно быть хорошимъ историкомъ. Либералъ смотритъ впередъ и требуетъ новаго: онъ презираетъ минувшее. Историкъ долженъ возлюбить это минувшее, не суевѣрною, но родственною любовью. Анатомировать бытописаніе, какъ охладѣвшій трупъ, изъ одной любви къ анатоміи, исторіи, есть трудъ неблагодарный и безполезный.

Въ доказательство того, что Карамзинъ не былъ политическимъ старовѣромъ, приведемъ слѣдующія строки изъ похвальнаго слова: „Я означилъ только главныя дѣйствія Екатерины, дѣйствія уже явныя, но еще многія хранятся въ урнѣ будущаго, или въ

началѣ своемъ менѣе примѣтны для наблюдателя. Оно необходимо, просвѣщая народъ, окажется тѣмъ благодѣтельнѣе въ слѣдствіяхъ, чѣмъ народъ будетъ просвѣщеннѣе".

Слѣдовательно, Карамзинъ не замыкалъ народъ въ извѣстныхъ и не перешагиваемыхъ граняхъ: онъ ни гражданъ не закрѣплялъ къ неизмѣнному во вѣки строю, ни земледѣльцевъ не закрѣплялъ вѣчно къ землѣ. Онъ понималъ, что тѣмъ и другимъ должно прорубать новыя просѣки, раскрывая новые горизонты, но подъ однимъ условіемъ, а именно *Просвѣщенія*. Въ этомъ словѣ заключается все.

VI.

Съ такою же сметливою выборкою, какъ и въ предыдущихъ главахъ, авторъ и въ третьей части похвальнаго слова обозначаетъ главнѣйшія дѣйствія Екатерины по части народной благотворительности и просвѣщенія. Каждое учрежденіе не во многихъ словахъ, но вѣрно изображено и выставлено въ полномъ объемѣ своемъ. Замѣчанія или поясненія по тому или другому предмету оцѣниваютъ существенное достоинство и указываютъ на цѣль и пользу его. Упоминая о воспитательномъ или сиротскомъ домѣ, авторъ говоритъ:

„Тамъ несчастные младенцы, жертвы бѣдности или стыда, пріемлются во святилище добродѣтели, спасаются отъ бури, которая сокрушила бы ихъ на первомъ дыханіи жизни; спасаются и, что еще болѣе, спасаютъ, можетъ быть, родителей отъ адскаго злодѣянія къ несчастію не безпримѣрнаго.

„Тамъ воспитаніе, пріучая питомцевъ къ трудолюбію и порядку, готовитъ въ нихъ отечеству полезныхъ гражданъ. Искусные въ художествахъ и ремеслахъ, которыя дѣлаютъ человѣка независимымъ властелиномъ жизни своей, сіи питомцы монаршей щедрости выходятъ въ свѣтъ, и послѣдній даръ ими изъ рукъ ея пріемлемый есть—гражданская свобода". Здѣсь встрѣчаемъ прекрасный портретъ Бецкаго, который „служилъ Екатеринѣ первымъ орудіемъ для исполненія ея благотворныхъ, въ великомъ дѣлѣ, намѣреній. Бецкій жилъ и дышалъ добродѣтелію, не блестящею и

не громкою, которая изумляетъ людей, но тихою и медленно-награждаемою общимъ уваженіемъ, да и *рѣдкою*, ибо люди стремятся болѣе къ блестящему, нежели къ основательному, и мужественною, ибо она не страшится никакихъ трудовъ. Онъ довольствовался славою быть помощникомъ Екатерины, радовался своими трудами и, будучи строгимъ наблюдателемъ порядка, безпрестанно взыскивая и требуя, сей другъ человѣчества умѣлъ заслужить любовь и надзирателей и питомцевъ, ибо требовалъ только должнаго и справедливаго. Герой, искусный министръ, мудрый судья есть конечно украшеніе и честь государства; но благодѣтель юности не менѣе ихъ достоинъ жить въ памяти благодарныхъ гражданъ".

Уже императрица Анна учредила кадетскій корпусъ, но цвѣтущая и многополезная пора его принадлежитъ царствованію Екатерины.

„Кадетскій корпусъ, говоритъ авторъ, производилъ хорошихъ офицеровъ и даже военачальниковъ; ко славѣ его должно вспомнить, что Румянцовъ былъ въ немъ воспитанъ. Но сіе учрежденіе клонилось уже къ своему паденію, когда Екатерина обратила на оное творческій взоръ свой — умножила число питомцевъ, надзирателей; предписала новые для нихъ законы, сообразные съ человѣколюбіемъ, достойные ея мудрости и времени. Военная строгость, которая доходила тамъ нерѣдко до самой крайности, обратилась въ прилежное, но кроткое надзираніе, и юныя сердца, прежде ожесточаемыя грозными наказаніями, исправлялись отъ легкихъ пороковъ гласомъ убѣдительнаго наставленія. Прежде Нѣмецкій языкъ, математика и военное искусство были почти единственнымъ предметомъ науки ихъ: Екатерина прибавила какъ другіе языки (особливо совершенное знаніе Россійскаго), такъ и всѣ необходимыя для государственнаго просвѣщенія науки, которыя, смягчая сердца, умножая понятія человѣка, нужны для благовоспитаннаго офицера: ибо мы живемъ уже не въ тѣ мрачныя, варварскія времена, когда отъ воина требовалось только искусство убивать людей, когда видъ свирѣпый, голосъ грозный и дикая наружность считались нѣкоторою принадлежностью сего состоянія. Уже давно первыя Европейскія Державы славятся такими офицерами, которые служатъ единственно изъ благороднаго честолюбія, любятъ побѣду, а не крово-

пролитіе; повелѣваютъ, но не тиранствуютъ; храбры въ огнѣ сраженія и пріятны въ обществѣ; полезны отечеству шпагою, но могутъ быть ему полезны и умомъ своимъ. Такихъ хотѣла имѣть Монархиня, и корпусъ сдѣлался ихъ училищемъ".

На памяти нашей еще встрѣчались въ обществѣ бывшіе кадеты, которые достигли до высшихъ государственныхъ степеней и были образованными и пріятными людьми. Упомянемъ между прочими: Кушникова, члена государственнаго совѣта, Салтыкова (М. А.), сенатора и попечителя Казанскаго университета Полетику.

Вопросъ о *народныхъ училищахъ*, который теперь на очереди во многихъ государствахъ, у насъ былъ уже угаданъ и, по возможности, разработываемъ предусмотрительнымъ и просвѣщенно-любивымъ умомъ Екатерины. Карамзинъ также въ похвальномъ словѣ обращаетъ на него особенное и сочувственное вниманіе. Но сей вопросъ, повидимому, не изъ тѣхъ, которые легко поддаются соображеніямъ и предначертаніямъ власти и требованіямъ принциповъ и умозрительности. Вопросъ сей, если и подвинулся со временъ Екатерины, то все же медленно и находится все еще развѣ на полу-дорогѣ. Общее народное обученіе и поголовная грамотность, какъ о нихъ многіе ни заботятся, остаются пока въ разрядѣ *благочестивыхъ желаній* и будущихъ благъ. У насъ, кромѣ политическихъ и духовныхъ затрудненій, присущихъ этому вопросу, не должно забывать и о затрудненіяхъ матеріальныхъ, топографическихъ и климатическихъ. Пространство нашей Русской земли, скудость во многихъ областяхъ народонаселенія разбросаннаго, разсѣяннаго на этихъ необозримыхъ пространствахъ, сильные морозы, губительныя метели, а имѣть въ каждомъ селеніи училище и учителя дѣло несбыточное. Ходить ребенку на урокъ одному, худо одѣтому, за три, пять, а часто и болѣе верстъ, при 15 градусахъ мороза, а часто и болѣе, при снѣжныхъ вьюгахъ, при краткости нашего зимняго дня, при продолжительности нашей зимы, за которою слѣдуетъ продолжительная распутица, все это равномѣрно противодѣйствуетъ практикѣ.

Какъ бы то ни было, слова Карамзина еще не устарѣли, пережитыя дѣйствительностью. Пора дѣйствительности еще не на-

стала; читая его, можно думать, что читаешь страницу изъ вчера вышедшей книжки Русскаго журнала.

Вотъ что авторъ говоритъ въ первый годъ текущаго столѣтія:

„Екатерина учредила вездѣ въ малѣйшихъ городахъ и въ глубинѣ Сибири народныя училища, чтобы разлить, такъ сказать, богатство свѣта по всему государству. Особенная коммисія, изъ знающихъ людей составленная, должна была устроить ихъ, предписать способы ученія, издавать полезнѣйшія для нихъ книги, содержащія въ себѣ главныя, нужнѣйшія человѣку свѣдѣнія, которыя возбуждаютъ охоту къ дальнѣйшимъ успѣхамъ, служатъ ему ступенью къ высшимъ знаніямъ, и сами собою уже достаточны для гражданской жизни народа, выходящаго изъ мрака невѣжества. Сіи школы, образуя учениковъ, могутъ образовать и самыхъ учителей, и такимъ образомъ быть всегдашнимъ и время отъ времени яснѣйшимъ источникомъ просвѣщенія. Онѣ могутъ и должны быть полезнѣе всѣхъ академій въ мірѣ, дѣйствуя на первые элементы народа; и смиренный учитель, который дѣтямъ бѣдности и трудолюбія изъясняетъ буквы, ариѳметическія числа и разсказываетъ въ простыхъ словахъ любопытные случаи исторіи, или развертывая нравственный катихизисъ, доказываетъ сколь нужно и выгодно человѣку быть добрымъ, въ глазахъ философа почтенъ не менѣе метафизика, котораго глубокомысліе и тонкоуміе для самихъ ученыхъ едва вразумительно, или мудраго натуралиста, физіолога, астронома, занимающихъ своею наукою только часть людей".

Могла ли въ похвальномъ словѣ быть забыта литтература съ ея „сильнымъ вліяніемъ на образованіе народа и счастіе жизни"? Екатерина не только покровительствовала ей, поощряла ее царскимъ вниманіемъ и щедротами, но и сама была литтераторъ. Она находила время на все: и эту силу на всестороннюю дѣятельность почерпала она, по мнѣнію панегириста, *въ духѣ порядка*, который *благодѣтеленъ для всякаго и въ добромъ монархѣ—счастіе народа.* Замѣчательны слѣдующія слова:

„Если она (Екатерина) своими ободреніями не произвела еще болѣе талантовъ, виною тому независимость генія, который одинъ не повинуется даже и Монархамъ, дикъ въ своемъ величіи, упрямъ

въ своихъ стремленіяхъ, и часто самыя неблагопріятныя для себя времена предпочитаетъ блестящему вѣку, когда мудрые цари съ любовью призываютъ его для торжества и славы".

Въ числѣ многихъ благодѣтельныхъ мѣръ, принятыхъ въ царствованіе Екатерины, для водворенія въ обществѣ нашемъ образованности и просвѣщенія, авторъ упоминаетъ о слѣдующей, которая, безъ сомнѣнія, не могла оказаться безплодною: „желая присвоить Россіи лучшія творенія древней и новой чужестранной литературы, она учредила коммисію для переводовъ, опредѣлила награду для трудящихся—и скоро почти всѣ славнѣйшіе въ мірѣ авторы вышли на нашемъ языкѣ, обогатили его новыми выраженіями, оборотами, а умъ Россіянъ—новыми понятіями".

Жаль, что эта коммисія, или что-нибудь подобное, уже не существуетъ. Намъ переводы нужны. Система туземныхъ протекціонистовъ въ литературѣ никуда не годится: привозная литература вездѣ полезна, а у насъ и подавно. Но, не стѣсняя частныхъ и вольнопрактикующихъ переводчиковъ въ свободѣ переводить все, что имъ подъ руку попадется, или придется по вкусу, хорошо бы имѣть у насъ учрежденіе, напримѣръ подъ надзоромъ академіи, которое слѣдило бы за всеобщимъ литературнымъ движеніемъ и заботилось о выборѣ для перевода на Русскій языкъ книгъ полезныхъ какъ въ отношеніи къ наукѣ, такъ и нравственности и политическому воспитанію народа. Не достаточно пещись о распространеніи грамотности и возбужденіи духовныхъ позывовъ къ ней: нужно еще пещись и о приготовленіи здоровой пищи для грамотныхъ. Вредная, испорченная пища не лучше голода.

VII.

Изданные и вновь издаваемые въ наше время біографическіе матеріалы съ каждымъ днемъ болѣе и короче знакомятъ насъ съ Екатериною. Предъ нами растетъ величіе Екатерины, но вмѣстѣ съ тѣмъ проникаемъ мы въ свойства личности ея частной и домашней. Мы доселѣ жили исторической жизнью ея: нынѣ живемъ жизнью ея ежедневной. Доселѣ могли мы говорить съ Державинымъ

„Екатерина въ низкой долѣ и не на царскомъ бы престолѣ была-бъ великою женой". Нынѣ можемъ сказать, съ достовѣрностью и убѣжденіемъ, что при этомъ была она умнѣйшею и любезнѣйшею женщиною. Привлекательность и прелесть ума и нрава ея были также родъ всемогущества—всемогущество обаянія.

Жаль, что эти посмертныя свѣдѣнія не могли быть извѣстны нашему панегиристу. Они обогатили бы похвальное слово многими занимательными и блестящими страницами. Онъ, разумѣется, съ похвалою и горячимъ сочувствіемъ отзывается о перепискѣ Екатерины съ современными ей Европейскими знаменитостями, и въ этой перепискѣ „Европа удивляется не имъ, а ей." Но эта переписка все-же носитъ почти официальный характеръ. Эти письма подготовлены, обработаны въ виду Европейскаго суда и суда потомства. Писавшая ихъ могла предвидѣть, что *тайна писемъ* не будетъ соблюдена. Но мы теперь застаемъ Екатерину, такъ сказать, врасплохъ. Отъ вниманія нашего и розыска не ускользаетъ ни малѣйшая строка, наскоро наброшенная бѣглымъ карандашемъ. Мы, такъ сказать, разбираемъ ее по косточкѣ. Мы анатомируемъ ее, и что же? Часто посмертныя изслѣдованія, загробныя нескромности нарушаютъ добрую память сошедшаго съ лица земли въ полномъ блескѣ величія и безукоризненной славы; съ Екатериною сбывается совершенно иное. Исторія внесла уже на скрижали свои громкія и великія дѣла ея: строгою, а часто и пристрастною рукою занесла она и несовершенства, и погрѣшности ея, свойственныя всѣмъ смертнымъ на землѣ. Но отнынѣ правдивая исторія обогатится новыми свѣдѣніями, которыя прольютъ невѣдомый блескъ на личность ея и выкупятъ многіе упреки, которыми отяготили память ея отъ этой загробной ревизіи дѣлъ ея и помышленій. Государыня нисколько не умаляется: напротивъ; но частная личность, но человѣкъ, но женщина возвышается и обрисовывается въ самомъ плѣнительномъ образѣ. Недаромъ Екатерина отказывалась при жизни отъ статуй и похвальныхъ титуловъ. Она умѣла ждать и вѣровала въ потомство — потомство оправдало вѣру ея.

IX.

Говорить ли о языкѣ и слогѣ похвальнаго слова? Казалось бы, это было бы и лишнимъ. А впрочемъ, въ наше время именно можетъ быть и несовершенно неумѣстнымъ сказать о томъ нѣсколько словъ. Правильность, ясность, свободное, но вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдовательное и, такъ сказать, *образумленное* теченіе рѣчи, искусство ставить каждое слово именно тамъ, гдѣ ему быть надлежитъ и гдѣ оно выразительнѣе — все это является здѣсь въ изящномъ порядкѣ и полной силѣ. Трезвость слога не влечетъ за собою сухости. Нѣкоторые ораторскіе пріемы, свойственные вообще похвальному слову, не заносятся до высокопарности. Все живо, но мѣрно, все одушевлено ясною мыслью и теплымъ чувствомъ. Мы уже намекали, что будущій историкъ угадывается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разбираемаго нами произведенія. Нынѣ, прочитавъ все похвальное слово, скажемъ, что оно въ полномъ объемѣ есть, такъ сказать, проба пера, которое авторъ готовъ исключительно посвятить исторіи. Слогъ, т.-е. то, что прежде называли слогомъ, есть нынѣ слово и понятіе, утратившія значеніе свое. Одни литтературные старообрядцы обращаютъ вниманіе на него. Въ нашъ скороспѣшный и скороспѣлый вѣкъ, въ вѣкъ желѣзныхъ дорогъ, паровыхъ силъ, телеграфовъ, фотографій, мало заботятся объ отдѣлкѣ. Все торопитъ и всѣ торопятся—это хорошо! Жизнь коротка: почему же не удесятерить цѣнность и значеніе времени, если есть на то возможность? Но искусство терпитъ отъ той усиленной гонки за добычею: искусство нуждается въ трудѣ, трудъ требуетъ усидчивости, а мы и трудиться и сидѣть разучились. Рѣдко кто наложитъ на себя обузу и епитемью просидѣть нѣсколько дней и по нѣскольку часовъ сряду, хотя бы передъ фанъ-Дейкомъ или Брюловымъ, чтобы имѣть портретъ свой во весь ростъ. Мы всѣ бѣжимъ по сосѣдству къ ближайшему фотографу, который дѣло свое покончитъ въ пять минутъ.

Посмотрите на черновые листы Карамзина и Пушкина: они, казалось бы, писали легко и отъ избытка вдохновенія и силъ, а между тѣмъ тетради перечеркнуты, перемараны вдоль и поперегъ.

Тотъ и другой перепробуетъ иногда три четыре слова, прежде нежели попадетъ на слово настоящее, которое выразитъ вполнѣ мысль, со всѣми ея оттѣнками.—Да, это Египетская работа! скажутъ мнѣ. Такъ; но Египетскія работы воздвигали пирамиды, переживающія тысячелѣтія! Правила, искусство, вкусъ зодчества измѣнились въ теченіе времени; но любознательность и просвѣщенные путешественники со всѣхъ концовъ міра съѣзжаются къ этимъ пирамидамъ изучать ихъ и любоваться ими. Слогъ есть оправа мысли и души, онъ придаетъ ей форму, блескъ и жизнь. Не даромъ сказано, что въ слогѣ выдается весь человѣкъ: каковъ человѣкъ, таковъ и слогъ его. Въ прозѣ Жуковскій и Пушкинъ принадлежали школѣ Карамзина; но слогъ Жуковскаго не есть слогъ Карамзина, а слогъ Пушкина не есть слогъ Жуковскаго. Слогъ даетъ разнообразіе и разнохарактерность таланту и выраженію. Слогомъ живетъ литтература. Гдѣ или когда нѣтъ слога, нѣтъ и литтературы.

Если есть музыка *будущаго*, то можно сказать о языкѣ Карамзина, что это музыка *минувшаго*. Между тѣмъ этотъ языкъ не устарѣлъ, какъ не устарѣла музыка Моцарта. Могли оказаться измѣненія, то къ лучшему, то къ худшему; но діапазонъ все-таки остается вѣрнымъ и образцовымъ. При началѣ литтературнаго поприща Карамзина, обвиняли его въ *галлицизмахъ*. Мы давно гдѣ-то сказали, что критики его ошибались. *Галлицизмы* его были необходимые *европеизмы*. Никакой языкъ, никакая литтература совершенно избѣгнуть ихъ не могутъ. Есть денежные знаки, которые вездѣ пользуются свободнымъ обращеніемъ: червонецъ вездѣ червонецъ. Такъ бываетъ и съ иными словами и оборотами. Есть лингвистическія завоеванія, которыя нужны, а потому и законны. Но есть лингвистическія переряженія, пестрыя заплатки, которыя вшиваются въ народное платье. Эти смѣшны и только портятъ основную ткань.

Чтобы показать то, что мы разумѣемъ подъ слогомъ и подъ искусствомъ писать, выберемъ изъ многихъ мѣстъ одно, напримѣръ, слѣдующее:

„Геройская ревность къ добру соединялась въ Екатеринѣ съ рѣдкимъ проницаніемъ, которое представляло ей всякое дѣло, всякое начинаніе въ самыхъ дальнѣйшихъ слѣдствіяхъ, и потому ея воля и рѣшеніе были всегда непоколебимы. Она знала Россію,

какъ только одни чрезвычайные умы могутъ знать государство и народы; знала даже мѣру своимъ благодѣяніямъ: ибо самое добро въ философическомъ смыслѣ можетъ быть вредно въ политикѣ, какъ скоро оно несоразмѣрно съ гражданскимъ состояніемъ народа. Истина печальная, но опытомъ доказанная! Такъ, самое пламенное желаніе осчастливить народъ можетъ родить бѣдствія, если оно не слѣдуетъ правиламъ осторожнаго благоразумія сограждан! Я напомню вамъ Монарха, ревностнаго къ общему благу, дѣятельнаго, неутомимаго, который пылалъ страстію человѣколюбія, хотѣлъ уничтожить вдругъ всѣ злоупотребленія, сдѣлать вдругъ все добро, но который ни въ чемъ не имѣлъ успѣха, и при концѣ жизни своей видѣлъ съ горестью, что онъ государство свое не приблизилъ къ цѣли политическаго совершенства, а удалилъ отъ нея: ибо преемнику, для возстановленія порядка, надлежало всѣ новости его уничтожить. Вы уже мысленно наименовали Іосифа — сего несчастнаго государя, достойнаго, по его благимъ намѣреніямъ, лучшей доли! Онъ служитъ тѣнію, отъ которой мудрость Екатерины тѣмъ лучезарнѣе сіяетъ. Онъ былъ несчастливъ во всѣхъ предпріятіяхъ — она во всемъ счастлива; онъ съ каждымъ шагомъ впередъ отступалъ назадъ — она безпрерывными шагами шла къ своему великому предмету; писала уставы на мраморѣ неизгладимыми буквами; творила во время и потому для вѣчности и потому никогда дѣлъ своихъ не передѣлывала".

Здѣсь нельзя ни единаго слова ни прибавить, ни убавить, ни переставить; но и еще примѣръ:

„Европа удивлялась *счастію* Екатерины. Европа справедлива, ибо мудрость есть рѣдкое счастіе; но кто думаетъ, что темный, неизъяснимый случай рѣшитъ судьбу государствъ, а не разумная или безразсудная система правленія, тотъ, по крайней мѣрѣ, не долженъ писать исторіи народовъ. Нѣтъ, нѣтъ! феноменъ Монархини, которой всѣ войны были завоеваніями и всѣ уставы счастіемъ имперіи, изъясняется только соединеніемъ великихъ свойствъ ума и души".

Все это такъ просто и ясно сказано, что читатель, не посвященный въ таинства искусства, можетъ подумать, что и каждый съумѣлъ бы такъ изъясниться; но дѣло въ томъ, что, кромѣ здравой

мысли, здѣсь есть еще и здравое выраженіе, плодъ многихъ и обдуманныхъ изученій языка и свойства его.

При всей изящности языка и самого изложенія должны, разумѣется, встрѣтиться въ похвальномъ словѣ прикрасы чеканки, нѣкоторыя, такъ сказать, литературныя *чинкве-ченто*, нынѣ для насъ странныя и обветшалыя.

Напримѣръ: „Чтобы утвердить славу мужественнаго, смѣлаго, грознаго Петра, должна черезъ сорокъ лѣтъ послѣ его царствовать Екатерина; чтобы *предуготовить* славу кроткой, человѣколюбивой, просвѣщенной Екатерины, долженствовалъ царствовать Петръ: такъ сильные порывы благодѣтельнаго вѣтра волнуютъ весеннюю атмосферу, чтобы разсѣять хладные остатки зимнихъ паровъ и приготовить натуру къ *теплому вліянію зефировъ!*“

Мы теперь готовы открещиваться отъ этого *зефира*, отъ этого языческаго навожденія. Но въ то время *зефиры* со всею братьею, со всѣми сестрами своими, были добрыми домовыми литературы; и писатели, и читатели дружелюбно уживались съ ними. Укорять Карамзина, что и онъ зналася съ ними и говорилъ, напримѣръ, въ другомъ мѣстѣ: „Земледѣльцы, сельскою добродѣтелію отъ плуга на ступени *Ѳемидина храма* возведенные, и проч.“; укорять его, повторимъ, въ этихъ баснословныхъ пріемахъ, тоже, что сказать: Карамзинъ говорятъ былъ пригожъ въ своей молодости, но жаль, что онъ имѣлъ несчастную привычку пудрить волоса свои. А между тѣмъ всѣ пудрились.

Впрочемъ, что же тутъ особенно худаго въ этихъ древнихъ преданіяхъ, имѣющихъ иногда глубокій смыслъ и всегда много поэзіи? Греческое баснословіе положено въ основу Европейскаго просвѣщенія. Слѣдовательно, слишкомъ пренебрегать имъ не подобаетъ. Величайшіе умы, неподражаемые художники, краснорѣчивѣйшіе святые отцы болѣе или менѣе воспитаны были и образовались въ этой языческой школѣ.

Каждый вѣкъ, почти каждое поколѣніе имѣютъ свою критику, свое литературное законодательство. Нынѣ, если дѣло пойдетъ на сравненіе, мы почерпаемъ его въ наукахъ точныхъ, въ медицинѣ, въ реальномъ производствѣ, въ механикѣ, въ фабричной промышленности. Все *идеальное* забраковано, заклеймено печатью отверже-

нія. Но неужели думать намъ, что и мы, по выраженію Карамзина, *творимъ во время, а потому для вѣчности?* Едва-ли. Какъ мы многое отвергли изъ того, что перешло къ намъ отъ дѣдовъ, такъ и 20-й вѣкъ, который уже не за горами, вѣроятно, отвергнетъ многое, чѣмъ мы нынѣ такъ щеголяемъ и гордимся. Нынѣшніе, страстные нововводители будутъ въ глазахъ внуковъ нашихъ запоздалые старообрядцы. Какъ знать? можетъ быть, внуки наши, если помянутъ старину, то перескочатъ чрезъ наше поколѣніе и возобновятъ прерванную связь съ поколѣніями, которыя намъ предшествовали.

Мы не говоримъ здѣсь исключительно о Русской литературѣ, но вообще о литературѣ Европейской.

Замѣтимъ мимоходомъ, что въ похвальномъ словѣ ни разу не встрѣчается слово *сословіе*, хотя, разумѣется, не разъ упоминается о томъ, что оно нынѣ выражаетъ. Карамзинъ вездѣ говоритъ: или *государственные чины, или среднее политическое состояніе, мѣщанское состояніе, три государственныя состоянія* и такъ далѣе. Въ самомъ концѣ нѣтъ этого слова. Тамъ, напримѣръ, отдѣленіе VII озаглавлено: *о среднемъ родѣ людей*. Родъ, конечно, не хорошо, но все же лучше, нежели сословіе. Любопытно было бы изслѣдовать, съ котораго времени и съ чьей тяжелой руки пущено въ обращеніе и водворилось въ нашу рѣчь это безобразное, неуклюжее и въ противность этимологіи и логикѣ составленное слово?

X.

До сихъ поръ говорили мы о Екатеринѣ словами Карамзина, примѣшивая къ нимъ иногда и свои. Нынѣ заключимъ и, можно сказать, увѣнчаемъ статью собственными словами и мнѣніемъ Императрицы о Наказѣ своемъ, важнѣйшемъ изъ письменныхъ трудовъ ея, и который, вѣроятно, она наиболѣе любила и уважала. Фридрихъ Великій изъявилъ желаніе ознакомиться съ нимъ. Екатерина послала ему переводъ Наказа на нѣмецкомъ языкѣ при письмѣ своемъ. Письмо это, кажется, донынѣ не было напечатано. Извлекаемъ изъ него все то, что прямо относится до Наказа и до воз-

зрѣній автора на свой трудъ. Не должно забывать притомъ, что приличіе и условіе авторской скромности побуждали ее не придавать большой и особенной важности произведенію своему. Вотъ что, между прочимъ, писала Екатерина Фридриху II изъ Москвы 17 октября 1767 года: „Согласно съ желаніемъ Вашего Величества приказала я сегодня передать вашему министру графу Сольмсу Нѣмецкій переводъ Наказа *(de l'instruction)*, который дала я для преобразованія *(réformation)* законовъ въ Россіи. Ваше Величество не найдетъ въ немъ ничего новаго, ничего такого, что было бы Вамъ неизвѣстно. Вы увидите, что я поступала, какъ воронъ въ баснѣ, который сдѣлалъ платье себѣ изъ павлиныхъ перьевъ. Мое тутъ одно расположеніе содержанія *(l'arrangement des matières)* и кое-гдѣ строка, слово; если бы собрать все, что я отъ себя къ сему приложила, то думаю, не окажется тутъ болѣе двухъ или трехъ листовъ. Большая часть извлечена изъ духа законовъ президента Монтескье и изъ трактата о преступленіяхъ и наказаніяхъ маркиза Беккарія. Я должна предварить Ваше Величество о двухъ вещахъ: одна, что Вы найдете нѣсколько мѣстъ, которыя, можетъ быть, покажутся Вамъ странными. Прошу Васъ не забывать, что я часто должна была приноравливаться *(m'accomoder)* къ настоящему, а между тѣмъ не заграждать дороги къ будущему, болѣе благопріятному. Другая вещь та, что Русскій языкъ гораздо болѣе Нѣмецкаго силенъ и богатѣе въ выраженіяхъ и болѣе Французскаго богатъ въ свободной переноскѣ словъ".

„Мнѣ было бы очень чувствительнымъ знакомъ дружбы Вашего Величества, если бы согласились сообщить мнѣ мнѣнія свои о недостаткахъ и погрѣшностяхъ *(les defauts)* этого произведенія. Ваши мнѣнія не могли бы не просвѣтить меня на пути столь для меня новомъ и трудномъ, и моя послушность *(docilité)* для исправленія показала бы Вашему Величеству неограниченную цѣну *(le cas infini)*, которую придаю и дружбѣ вашей, и вашимъ свѣдѣніямъ, и просвѣщенію *(lumière)*".

CVII.

ГРИБОѢДОВСКАЯ МОСКВА.

1874—1875.

I.

Сослуживецъ мой по Министерству Финансовъ и по выставкѣ промышленности въ Москвѣ (1831 г.), Польскаго происхожденія, и кажется, трагически кончившій жизнь въ Висбаденѣ, или Гомбургѣ, то-есть самоубійствомъ, описывалъ мнѣ въ письмѣ изъ Петербурга прискорбныя уличныя событія при появленіи холеры, и переходя въ разсказѣ своемъ къ другимъ предметамъ менѣе печальнымъ, заключалъ свое описаніе слѣдующими словами: „mais n'anticipons pas sur le passé. То-есть въ приблизительномъ переводѣ: но не будемъ забѣгать *впередъ въ минувшее*. Мы очень смѣялись этому lapsus пера и логики. Онъ долго былъ между нами стереотипною поговоркою. Въ минувшемъ времени эти слова и могли казаться забавною обмолвкою. Но въ настоящее они получили дѣйствительное и едва ли не правильное значеніе. По крайней мѣрѣ они часто приходятъ мнѣ въ голову. Наши новѣйшіе сборники о старинѣ нерѣдко *забѣгаютъ впередъ*, и слишкомъ далеко. Въ поискахъ, въ наѣздническихъ набѣгахъ своихъ они не удерживаются никакими границами, никакими законами приличія въ отношеніи къ мертвымъ, забывая при сей вѣрной оказіи и живыхъ. Съ кладбищемъ и могилами должно также обращаться осторожно и почтительно. Не подобаетъ, не слѣдуетъ переносить на кладбище всякіе слухи и сплетни, подобныя тѣмъ, которыми про-

бавляются въ салонахъ живыхъ. Воейковъ говаривалъ: съ мертвыми церемониться нечего: ими хоть заборъ городи. Къ сожалѣнію, у насъ случается, что по поводу мертвыхъ городятъ всякую чепуху, а иногда, если и говорятъ правду, то такую, которую лучше бы промолчать. Не всякая правда идетъ въ дѣло и въ прокъ; правда не кстати, не во время неприлично сказанная, не далеко отстоитъ отъ лжи: часто смѣшивается съ нею. Хороша историческая истина, когда она просвѣтляетъ исторію, событіе или лице: когда старое объясняется, обновляется еще неизданными, неизвѣстными указаньями, источниками, хранившимися дотолѣ подъ спудомъ. Но къ сожалѣнію оно бываетъ такъ не всегда. Все, что есть въ печи, все на столъ мечи. Ройся въ уголкахъ, въ завалинахъ, въ подвалахъ и выноси изъ избы какъ можно болѣе сора. Въ печи бываетъ и то, напримѣръ сажа, чѣмъ не слѣдуетъ убирать обѣденный столъ. Всякій соръ не есть еще святый пепелъ древности, мало ли что найдется въ домѣ, гдѣ живутъ живые люди, но не все же найденное выставлять на показъ и на обнюхиванье, а наши новѣйшіе преподобные Несторы и журналисты тщательно все собираютъ, переливаютъ въ сосуды свои, боясь проронить каплю, упустить изъ вида малѣйшую соринку, пылинку, грязинку. Нѣтъ сомнѣнія, что возникшая страсть охотиться на полянахъ и въ дремучихъ лѣсахъ старины; дѣло полезное и похвальное. Нельзя не поблагодарить охотниковъ за ихъ труды и усердное полеваніе; но и здѣсь кстати сказать: pas trop de zèle. За неимѣніемъ въ настоящее время свѣжей и сочной домашней живности, мы только и лакомимся,—по крайней мѣрѣ я, и какъ знаю, многіе и другіе,—что питательною, вкусною добычею, которою нерѣдко потчиваютъ насъ наши историческіе и литературные Нимроды. Но зачѣмъ въ живую и лакомую пищу впускаютъ они иногда тукъ и тину: иногда такое, что ни рыба, ни мясо. Повара должны имѣть чуткое обоняніе, чтобы хорошенько разнюхать все сомнительное. Изыскатели старыхъ матеріаловъ должны обладать подобнымъ чутьемъ, которое въ дѣлѣ письменной стряпни называется *тактомъ*, а такта у насъ часто и не имѣется. Не говоримъ уже о поварахъ, которые пожалуй и имѣли бы достаточно чутья, но для личной наживы подаютъ на столъ своимъ застольникамъ

припасы сомнительные, иногда совершенно негодные, и такою контрабандою портятъ весь обѣдъ. Впрочемъ, есть и потребители, которымъ нужна пища съ острымъ душкомъ: ихъ грубое и толстокожее нёбо требуетъ пересола, переквашенья, чего то въ родѣ мертвечины. Искусный поваръ, образованный въ хорошей школѣ и уважающій достоинство свое, никогда не согласится потворствовать ихъ одичалымъ аппетитамъ. Въ поваренномъ искусствѣ есть также свой тактъ и свой слогъ, своя мѣра. Писатель также не долженъ угождать всѣмъ требователямъ и всѣмъ вкусамъ.

II.

Вышеписанныя соображенія и замѣчанія не относятся до писемъ М. А. Волковой, о которой хотимъ сказать нѣсколько словъ. Строгость осужденья нашего на нихъ не падаетъ. Въ нихъ нѣтъ ничего исторически-предосудительнаго: онѣ не посягаютъ, или рѣдко, и то слегка, на личность и достоинство государственныхъ дѣятелей и имена которыхъ мы привыкли уважать. Но въ ихъ обнародываньи много свѣтски—неловкаго и неприличнаго. И въ этомъ отношеніи онѣ не первый примѣръ и вѣроятно, къ сожалѣнію, не послѣдній. Вина тому въ самой натурѣ литтературы нашей и особенно журналистики. Та и другая худо справляются, когда имъ приходится прикоснуться къ такъ-называемому высшему обществу, а между тѣмъ такъ и гянетъ ихъ къ этому обществу, на которое смотрятъ они, разумѣется, свысока, съ какимъ-то, что называется *неглиже съ отвагою*, съ улыбкой презрительною, съ педагогическою важностью школьнаго учителя, съ суровымъ лицемъ неумолимаго и непогрѣшимаго судіи. Но всѣ эти внушительныя и начальническія *позы*, всѣ эти усилія, притязанія на *эффектъ* и на напугиваніе оказываются безсодержательными и напрасными. Дѣло въ томъ, что большая часть литтературы нашей и журналистики, которая не есть литтература, въ нынѣшнемъ составѣ ея живутъ внѣ того общества, которое призываютъ онѣ на свой судъ. Языкъ, нравы, обычаи этого общества, хорошія и худыя свойства его, имъ совершенно чужды. Они тутъ на чужой сторонѣ, пришельцы, бездомные бобыли, какъ

они не поражай этотъ высшій свѣтъ гражданскою смертью, какъ ни негодуй на него, какъ ни проклинай его; но этотъ высшій свѣтъ околдовываетъ ихъ, омрачаетъ разсудокъ ихъ, какъ пріемъ дурмана или хашиша. Они предъ этимъ высшимъ свѣтомъ, какъ предъ маревомъ, которое притягиваетъ къ себѣ и пугаетъ ихъ. Часто поражаетъ ихъ то, что не стоило бы особеннаго вниманія, но въ скудости ихъ собственнаго, домашняго существованія и быта они часто невольно, безсознательно признаютъ, что на этой для нихъ terra incognita всетаки болѣе началъ жизни, всетаки болѣе разнородныхъ стихій, движенія, чѣмъ на ихъ голой и безплодной почвѣ. Они хотятъ приглядѣться, прислушаться къ тому, что въ этомъ далекомъ мірѣ дѣлается и говорится: но глаза ихъ близоруки и тупы, уши ихъ не чутки, а потому и выводы и заключенія ихъ неосновательны, разумѣется, мы говоримъ здѣсь о томъ разрядѣ литераторовъ нашихъ, если еще литераторы они, которые ходятъ въ чужой приходъ съ толкомъ своимъ, садятся въ чужія сани и становятся на цыпочкахъ и на подмосткахъ, чтобы высмотрѣть, что творится въ высокихъ хоромахъ. Здѣсь о истинныхъ талантахъ нашихъ, о труженикахъ мысли и науки, не можетъ быть и рѣчи.

Въ подтвержденье нашихъ оцѣнокъ укажемъ, напримѣръ, на письма подлежащія разсмотрѣнію нашему. Они, по большой части, не заслуживаютъ гласности, которую имъ придали. Писавшая ихъ была, безъ сомнѣнія, умная дѣвица, часто съ воззрѣніями довольно вѣрными и мѣткими, но все не выходятъ они изъ разряда обыкновеннаго. Если наши издатели знали-бы покороче среду, изъ которой эти письма вышли, они знали бы, что можно въ этой средѣ отыскать двадцать, тридцать переписокъ не только равныхъ, но и много превосходящихъ ту, которую они предлагаютъ любопытству читателей. Они думаютъ, что отрыли новинку, рѣдкость: а въ этой новинкѣ ничего нѣтъ новаго. Въ этой рѣдкости ничего нѣтъ рѣдкаго, по крайней мѣрѣ для тѣхъ, которымъ среда эта знакома и такъ сказать родственна. Для другихъ же постороннихъ людей тутъ не найдется пищи заманчивой, лакомой. Писавшая ихъ достаточно была умна, чтобы осмѣять предпріятіе обнародыванія этихъ писемъ, если могла-бы она предвидѣть, что попадетъ она за

нихъ въ журналистику и въ исторію. Самое заглавіе, приданное этой перепискѣ, не кстати и произвольно. Въ этихъ письмахъ нисколько не обрисовывается *Грибоѣдовская Москва*. Скорѣе тутъ проглядываетъ Москва анти-грибоѣдовская. Тутъ не видать ни Фамусова, ни многихъ домочадцевъ и посѣтителей кружка его. Да и пора, наконецъ, перестать искать Москву въ комедіи Грибоѣдова. Это развѣ часть, закоулокъ Москвы. Рядомъ или надъ этою выставленною Москвою была другая свѣтлая, образованная Москва. Вольно-же было Чацкому закабалить себя въ темной Москвѣ. Впрочемъ въ каждомъ городѣ не только у насъ, но и за границею, найдутся Фамусовы своего рода: найдутся и другія лица, сбивающіяся на лица, возникшія подъ кистью нашего комика. Суетность, низкопоклонство, сплетни и все тому подобное не одной Москвѣ прирожденныя свойства: найдешь ихъ и въ другихъ Европейскихъ городахъ. Во всякомъ случаѣ Грибоѣдовская Москва не отражается въ письмахъ М. П. Волковой. Ни въ ней, ни въ той, къ которой они писаны нѣтъ и оттѣнковъ, которые оправдали бы заглавія предлагаемой картины. Обѣ были родныя Москвички: онѣ могли сблизиться и подружиться вслѣдствіе обстоятельствъ, нѣкоторыхъ общихъ сочувствій; но впрочемъ онѣ другъ на друга мало походили. Изъ самихъ писемъ Волковой видно, что во многихъ мнѣніяхъ и сужденіяхъ онѣ расходились. Можетъ быть въ этихъ противорѣчіяхъ и таилась главная связь ихъ взаимныхъ отношеній. Посредственные и слабоумные люди любятъ однихъ своихъ прихожанъ, они отворачиваются отъ людей, записанныхъ въ другомъ приходѣ. Княжна Одоевская (вышедшая послѣ замужъ за Сергѣя Степановича Ланскаго) была особенно миловидна и граціозна, онъ былъ влюбленъ въ нее и воспитаніе ея было совершенно особенное. Ея мать, которую прозвали въ Москвѣ Madame de Genlis, по образовательнымъ и педагогическимъ наклонностямъ ея, прилежно и своеобразно пеклась о дочери своей. Заботы ея удались, вѣроятно и по даровитой натурѣ воспитанницы. Послѣ смерти родителей своихъ жила она у дяди своего, Ланскаго, который былъ кажется, Московскимъ губернаторомъ. Показалась она въ свѣтѣ и выѣзжала съ теткою. Появленіе ея въ обществѣ, на частныхъ балахъ, въ Московскомъ Благородномъ Собраніи было блистательно

и побѣдительно. Въ тогдашней Москвѣ было много красавицъ, но эта новая звѣзда заняла свое и почетное мѣсто въ сіяющемъ созвѣздіи. Въ тѣ счастливые года Московскаго процвѣтанія молодежь изъ гвардіи пріѣзжала зимою на отпускъ въ Москву: себя показать и на красавицъ посмотрѣть. Въ одну изъ такихъ зимъ явился молодой гусаръ, тогда извѣстный болѣе проказами своими и нѣкоторыми бойкими стихами. Это былъ Денисъ Давыдовъ. Онъ не замедлилъ влюбиться въ княжну Одоевскую и прозвалъ ее *Галатеею*: а соперника, который также вздыхалъ по ней и тяжело за нею увивался, рослаго гвардейскаго офицера, прозвалъ онъ Полиѳемомъ. Тогда поэтическое баснословіе было у насъ еще въ ходу и всѣмъ понятно. Но ни *Анакреонъ подъ доломаномъ*, ни дюжій циклопъ, хотя и двуглазый не тронули сердца Московской Нереиды. Неуязвленное и свободное, по крайней мѣрѣ повидимому, перенесла она его въ Петербургъ, куда переселилась съ родственниками. Позднѣе вышла она замужъ за С. С. Ланскаго. Въ двадцатыхъ годахъ находимъ ихъ въ Москвѣ: мужъ и жена имѣли порядочное, скорѣе блестящее состояніе, домъ ихъ сдѣлался изъ первыхъ въ столицѣ. Лучшее общество въ Москвѣ пристало къ нему и водворилось въ немъ. Навѣщающіе Москву иностранцы, особенно Англичане, пользовались въ немъ не только хлѣбосольствомъ, этою Славянскою и особенною Московскою доблестью, но и просвѣщеннымъ гостепріимствомъ. Хозяйка знакомила ихъ съ Москвою, съ ея достопримѣчательностями, а лучше всего знакомила ихъ съ прирожденнымъ достоинствомъ и плѣнительными свойствами Русской образованной женщины. Не чуждая Русской и иностранной литературѣ, въ особенности Англійской и Французской, она иногда переводила для иноплеменныхъ гостей своихъ замѣчательнѣйшія страницы, обратившія вниманіе ея въ Русскихъ журналахъ или вновь появившейся книгѣ.

Умная пріятельница ея не обижена была, въ равной степени, этою невыразимою прелестью женственности, которая впрочемъ дается отъ природы не всѣмъ женщинамъ. Въ ней было что-то болѣе рѣшительное и бойкое. Воспитаніе ее вѣроятно, было болѣе практическое, чѣмъ идеальное. Ея, мать, женщина уважаемая въ Москвѣ за твердый разсудокъ свой и за нравственное достоинство,

на которомъ умѣла она основать положеніе свое въ обществѣ, не пускалась въ умозрительныя задачи: она просто воспитала дѣтей своихъ, какъ вообще тогда воспитывали, *не мудрствуя лукаво* и не гоняясь за журавлями въ небѣ. Между тѣмъ все обошлось благополучно: дочери ея и вообще все семейство, заключающееся въ двухъ дочеряхъ и трехъ сыновьяхъ, было одарено отличными музыкальными способностями и по части инструментальной, и по части голосовой. Екатерина Аполлоновна (вышедшая впослѣдствіи замужъ за Рахманова) была прелестной красоты и отличная піанистка. Многіе изъ насъ заглядывались тогда на голубые глаза ея, на золотистые, бѣлокурые локоны и заслушивались ея оживленной, блестящей и твердой игрой. Не одно сердце трепетало при встрѣчѣ съ нею и заплатило дань красотѣ ея. Старшая сестра ея Марія, была очень музыкально образована и пѣла съ искусствомъ и чувствомъ. Братъ ихъ Сергѣй Аполлоновичъ, былъ также отличный музыкантъ. Многіе годы былъ онъ однимъ изъ любезнѣйшихъ собесѣдниковъ Петербургскихъ салоновъ. Онъ былъ въ ближайшихъ сношеніяхъ съ графомъ и графинею Нессельроде, съ графомъ Киселевымъ, Орловымъ, княземъ Алексѣемъ Ѳедоровичемъ. Съ семействомъ Вьельгорскихъ былъ онъ въ родственной связи по женѣ своей, сестрѣ графа Михаила Юрьевича. Долго живъ въ обществѣ, онъ многое зналъ отъ другихъ: много подмѣтилъ и самъ собою. Между тѣмъ сношенія съ нимъ были совершенно надежны. Онъ не былъ присяжнымъ вѣстовщикомъ и никакія сплетни не находили въ немъ удобнаго перехода въ городскую молву. Разговоръ его былъ живой, часто остроумный, съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ насмѣшливости, но всегда умѣряемый законами приличія и обычаями свѣтскаго благовоспитанія. Кажется, въ первыхъ годахъ царствованія Императора Николая былъ онъ предназначаемъ въ попечители Московскаго Университета, но по какимъ-то обстоятельствамъ назначеніе не состоялось. Племянникъ Родіона Александровича Кошелева и потому пользовавшійся благорасположеніемъ князя Александра Николаевича Голицына, онъ и въ царствованіе Александра I не сдѣлалъ что называется *блестящей служебной карьеры*. Онъ, полагать должно, былъ характера и привычекъ довольно независимыхъ. Долгая отставка не тяготила его: многіе у насъ не умѣютъ

уживаться съ нею: они смотрятъ какими-то разрозненными томами въ богатой общественной библіотекѣ. Волковъ не обижался своею разрозненностью, не сѣтовалъ на нее, не рвался онъ, чтобы какъ нибудь прильнуть къ роскошному экземпляру и попасть въ офиціальный каталогъ. Онъ не состоявшій *ни при чемъ* и *ни при комъ* умѣлъ усвоить себѣ приличное мѣсто въ высшемъ обществѣ, гдѣ такіе образцы, что ни говори о чиновничествѣ, всетаки встрѣчаются. Правда, и то сказать — онъ любилъ играть въ карты, игралъ въ коммерческія игры по высокой цѣнѣ, игралъ мастерски и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ, что называется, благороднымъ и пріятнымъ игрокомъ. Такими свойствами и качествами пренебрегать не слѣдуетъ. Это, своего рода талантъ, онъ достойно цѣнится въ обществѣ, не только въ нашемъ, но и въ Парижѣ, и въ Лондонѣ. Не даромъ Талейранъ говоритъ, что не умѣющій играть въ вистъ готовитъ себѣ печальную старость. Онъ почиталъ вечерній вистъ пріятнымъ умственнымъ развлеченіемъ и отдыхомъ, чуть и не гигіеническимъ упражненіемъ, способствующимъ хорошему пищеваренію и долголѣтію. Сергѣй Аполлоновичъ въ этомъ отношеніи, наслѣдовалъ привычкамъ и дарованіямъ матери своей Маргариты Александровны. За исключеніемъ какихъ нибудь городскихъ праздниковъ и собраній и лѣтнихъ мѣсяцевъ, которые проводила въ подмосковной, она по вечерамъ была всегда дома и принимала близкихъ себѣ и гостей. Эти вечера подъ дѣятельнымъ предсѣдательствомъ хозяйки, походили иногда на засѣданія игорной академіи. Разговоръ былъ тутъ на второмъ планѣ, но однакоже не было недостатка и въ немъ. Въ Москвѣ разсчитывали, что по обилію расхода на карточныя колоды въ этомъ домѣ — извѣстно, что остающійся съ выигрышемъ обыкновенно платитъ по 5 рублей за пару колодъ—прислуга безъ всякой придачи могла достаточно содержать себя. Вотъ, развѣ въ этомъ отношеніи, можетъ быть оправдано заглавіе, приданное помянутой перепискѣ: Грибоѣдовская Москва. Но эта мѣстная черта, вѣроятно не была извѣстна ни Грибоѣдову, ни издателямъ переписки.

Кстати замѣтить, что если-бы Сергѣй Аполлоновичъ оставилъ-бы по себѣ свой дневникъ, то онъ былъ-бы гораздо любопытнѣе

и занимательнѣе писемъ сестры; не смотря на то, что какой-то рецензентъ этихъ писемъ, нашелъ въ писавшей ихъ сходство съ Чацкимъ.

Не хитрому уму не выдумать и ввѣкъ.

CVIII.

ПИСЬМО КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО КЪ КНЯЗЮ Д. А. ОБОЛЕНСКОМУ ИЗДАТЕЛЮ ХРОНИКИ НЕДАВНЕЙ СТАРИНЫ.

1875.

I.

Сердечно благодарю васъ, любезнѣйшій князь, за присылку мнѣ корректурныхъ листовъ семейной вашей хроники. Эта хроника отчасти и моя: я современникъ ея содержанія. Прочелъ я ее съ живѣйшимъ удовольствіемъ, не чуждымъ умиленія, потому что чтеніе воскрешало въ памяти и душѣ моей *преданія старины глубокой,* мнѣ близкія. Но, отлагая въ сторону мои личныя впечатлѣнія, позволяю себѣ, какъ старый литераторъ, богатый по крайней мѣрѣ нѣкоторою опытностію, поздравить васъ съ подаркомъ и услугою, которыми вы порадуете добросовѣстную и образованную часть нашей читающей публики. Нигдѣ, можетъ быть, подобнаго рода книги не способны приносить такую пользу, какъ у насъ. Въ другихъ обществахъ старыя письма, памятныя записки (mémoires) возбуждаютъ любопытство новыхъ поколѣній: тамъ общество уже такъ созрѣло и такъ сказать заматерѣло въ своихъ привычкахъ, оно прошло сквозь такія событія, перевороты, перерожденія, что имъ уже нечему, да и некогда научиться изъ указаній, уроковъ и образцовъ стараго быта. Leur siége est déjà fait, какъ говорятъ Французы. Новыя поколѣнія рады знать, что дѣлали отцы и предки, потому что, не смотря на новый бытъ и радикальное переустройство его, они, напримѣръ, даже и часто линяющіе Французы, все-

таки держатся съ сочувствіемъ преданій, по крайней мѣрѣ литературныхъ и общежительныхъ. Французы при первомъ недоразумѣніи, при первомъ столкновеніи съ властью, готовы ниспровергнуть до послѣдняго камня все свое историческое и государственное зданіе, но остроумное слово, сказанное за сто лѣтъ тому, но какое ни есть удачное четверостишіе—остаются у нихъ неприкосновенными и переживаютъ всѣ возможныя и даже невозможныя революціи. У насъ книга, подобная вашей, не только любопытна и занимательна, но поучительна и назидательна. Наше общество развивается не постепенною жизнью. Мы росли, образовались, возмужали болѣе порывами, прыжками. У насъ настоящій день мало оглядывается на вчерашній. А чтобы осмотрительнѣе и вѣрнѣе идти впередъ, хорошо иногда припоминать откуда идешь. Мы вообще мало придерживаемся такого обратнаго умозрѣнія. Многіе не только мало придерживаются, но и отрекаются отъ пройденнаго пути. Они за собою хотятъ оставить однѣ развалины и пепелъ: они минувшее истребляютъ, ломаютъ и сожигаютъ. Словно дикая орда проходитъ чрезъ исторію. Ваша книга, живая картина, изображающая не только частныя и семейныя лица, въ высшей степени привлекательныя, но и безъ притязательствъ на историческую важность, она, т.-е. книга ваша, вмѣстѣ съ тѣмъ и историческая картина того времени. Надобно только умѣть ловить и постигать исторію, то есть смыслъ минувшаго и въ частныхъ и легкихъ очеркахъ его. Равно книга ваша, безъ раздражительныхъ пререканій и полемики, безъ предвзятаго мнѣнія служитъ прекраснымъ и убѣдительнымъ опроверженіемъ необдуманныхъ толковъ о какой-то исключительно барской, малограмотной и маломыслившей старинѣ. Многіе годы дѣйствія или сущности этой книги протекаютъ и разыгрываются въ Москвѣ. Здѣсь опять естественное и возникающее само собою изъ натуры вещей, изъ общаго положенія лицъ и событій неопровержимое возраженіе противъ указаній на какую-то *Грибоѣдовскую Москву*, которою намъ колютъ глаза и оскомину набиваютъ. Какъ старый москвичъ, не могу не порадоваться этому живому и убѣдительному заявленію того, что было на дѣлѣ, въ противорѣчіе тому, что позднѣе вошло въ понятія отъ односторонннихъ воззрѣній, предубѣжденій и легкомыслія. Я родился въ ста-

рой Москвѣ, воспитанъ въ ней, въ ней возмужалъ; по наслѣдственному счастію рожденія своего, по средѣ, въ которой мнѣ пришлось вращаться, я не зналъ той Москвы, которая такъ охотно и словоохотно рисуется подъ перомъ нашихъ повѣствователей и комиковъ. Можетъ быть, въ нѣкоторыхъ углахъ Москвы и была, и вѣроятно была фамусовская Москва. Но не она господствовала: при этой Москвѣ была и другая образованная, умственною и нравственною жизнью жившая Москва. Москва Нелединскаго, князя Андрея Ивановича Вяземскаго, Карамзина, Дмитріева и многихъ другихъ единомысленныхъ и сочувственныхъ имъ личностей. Своего рода Фамусовы найдутся и въ Парижѣ, и въ Лондонѣ, и каждый изъ нихъ будетъ носить свой отпечатокъ. Грибоѣдовъ очень хорошо сдѣлалъ, что забавно, а иногда и остроумно посмѣялся надъ Фамусовымъ и обществомъ его, если пришла ему охота надъ ними посмѣяться. Не на автора обращаю свои соображенія, свою критику: онъ въ сторонѣ, онъ посмѣялся, пошутилъ, и дѣло свое сдѣлалъ прекрасно. Но виноваты, и подлежатъ такому-же осмѣянію тѣ, которые въ каррикатурѣ, мастерскою и бойкою рукою написанной, ищутъ и будто находятъ исторически вѣрную, такъ сказать, буквальную истину.

Напрасно хотите вы напечатать книгу свою въ маломъ числѣ экземпляровъ, для келейнаго обращенія, а не въ продажу. Напротивъ, эта книга имѣетъ всѣ возможныя права на гласность, и гласность обширную. Дай Богъ только, чтобы умѣли оцѣнить ее. Повторяю, книга имѣетъ не только чисто литтературное и общежительное достоинство, но и большое историческое: однимъ словомъ, достоинство увлекательное и поучительное. Хлѣбъ-соль ѣшь, а правду рѣжь, и если не рѣжь, то по крайней мѣрѣ не таи ее подъ спудомъ. Въ нынѣшней хлѣбъ-соли есть, безъ сомнѣнія, много хорошаго, сытнаго и вкуснаго. Но и отцы наши не питались одними желудями и мякиною. Ваша книга представляетъ прекрасный и лакомый *тепи* нашей старинной трапезы. По этой столовой запискѣ, взыскательнѣйшіе и щекотливѣйшіе гастрономы нашего времени, если только нёбо и желудокъ ихъ не испорчены и безпристрастны, должны будутъ сознаться, что и кухня отцовъ нашихъ имѣла свои поваренныя достоинства и цѣну.

Слова: *либерализмъ*, *либералъ*, *гуманность*, слова новаго чекана: они недавно сдѣлались ходячею монетою, хотя иногда и довольно низкопробнаго достоинства. Во времена Нелединскаго ихъ не знали. Но понятія, но духъ *либерализма*, хотя еще безъименнаго и не окрещенаго, но духъ *гуманности*—puisque гуманность il-y-a, какъ не претительно это слово на нашемъ языкѣ, эти сочувственныя духовныя ноты, также звучали и въ прежнее время: тонкое ухо, тонкое внутреннее чувство умѣютъ разслушать ихъ и тамъ, гдѣ о нихъ какъ будто и не говорится, но гдѣ они явственно подразумѣваются, угадываются, *подчувствуются*. Не знаю какъ другимъ, но мнѣ очень по сердцу этотъ либерализмъ avant la lettre. Литографированныя картины, литографированный либерализмъ для дешеваго и обиходнаго употребленія, не имѣютъ дѣйствительнаго достоинства—оно какъ будто то же, а не то же. Доказательствомъ этому служатъ многія письма, приведенныя въ книгѣ вашей. Что, напримѣръ, въ общемъ, внутреннемъ достоинствѣ и смыслѣ выраженье, можетъ быть *либеральнье* отношеній и переписки Юрія Александровича съ Императрицею Маріею Ѳедоровной? Отъ нихъ такъ и вѣетъ духомъ и благоуханіемъ того, что мы нынѣ называемъ *либеральностью и гуманностью*, а что прежде просто называлось образованностью, человѣколюбіемъ, теплымъ сочувствіемъ ко всему человѣческому, къ нуждамъ, страданіямъ и радостямъ ближняго. Многіе признаютъ одинъ политическій либерализмъ, но безъ либерализма нравственнаго, либерализма въ нравахъ, съ однимъ политическимъ, не далеко уйдешь по дорогѣ истиннаго общественнаго преуспѣянія. Какъ только нѣжнѣйшая мать можетъ любить единственную дочь свою и постоянно заботиться о настоящей и будущей участи ея, такъ Императрица любила нѣсколько тысячъ пріемышей своихъ. Какъ мать, какъ домовитая хозяйка, какъ образовательница, какъ администраторша, пеклась она о нихъ; ничто: ни важное, ни мелкое не ускользало отъ ея всевидящаго вниманія. Вотъ это такъ и есть настоящій, не временный, не условный *либерализмъ*, а либерализмъ, который былъ и есть во всѣ времена и при всѣхъ порядкахъ, присущихъ душѣ возвышенной и любящей. Когда встрѣчаешь подобныя качества и чувства на высшей степени общественной іерархіи, то впечатлѣніе

ими производимое еще свѣтлѣе и глубже проникаетъ въ душу. По всей перепискѣ видно, что изъ всѣхъ сподвижниковъ и орудій Императрицы на поприщѣ просвѣтительной благотворительности, ближайшимъ и пользовавшимся ея отличительнымъ довѣріемъ былъ особенно Нелединскій. Это одно укрѣпляетъ за нимъ мѣсто, которое онъ занялъ и заслужилъ въ современной ему эпохѣ нашего общежитія и образованности. Въ продолженіи многихъ лѣтъ одинъ только разъ Нелединскій не угадалъ своей высокой Начальницы и не угодилъ ей. Когда въ 1812 году непріятель приближался къ Москвѣ, начальство, за неимѣніемъ свободныхъ экипажей въ смущенной и разъѣзжающейся по всѣмъ направленіямъ Москвѣ, отправило въ Казань на телѣжкахъ воспитанницъ института Св. Екатерины, toutes filles de gentilshommes, enfin toutes nobles (какъ сказано въ письмѣ Императрицы), comment se peut-il que vous, mon bon Nélédinsky, avec la délicatesse de vos sentiments, vous ayez pu souscrire au cruel arrangement de faire partir nos demoiselles, и такъ далѣе, говоритъ она. Материнская нѣжность и чувства аристократическаго приличія, очень понятно и естественно, сливаются въ особѣ ея. Она возмутилась при такомъ распоряженіи мѣстныхъ властей. Эта черта можетъ возбудить невольную улыбку, особенно въ наше время, но вмѣстѣ съ тѣмъ должна возбудить и умилительное сочувствіе къ заботливому покровительству Вѣнценосной Начальницы этихъ воспитательныхъ заведеній. Впрочемъ, не однѣ *телѣжки* обратили на себя неудовольствіе Императрицы. Она дѣлаетъ дружескій выговоръ Нелединскому за то, что дѣвицы Института были отправлены въ путь „sans prêtre, sans inspecteur des études, sans aucun maître и проч. Ensuite vous, mon bon vieux Nélédinsky, пишетъ она, je vous charge, après avoir dit *виноватъ*, de réparer vos fautes, de soigner l'envoi de notre excellent prêtre que vous munirez de nos vases sacrés et images (si vous le trouvez nécessaire), ensuite de notre inspecteur des études, de même que du meilleur de nos maîtres des langues étrangères et d'un de nos bons maîtres d'histoire et de géographie, и проч. Какая заботливость, предусмотрительность, и въ какое время? Когда опасность грозила цѣлости государства, когда, по словамъ ея въ томъ же письмѣ: „je n'ai pas besoin de vous exprimer ce qui se

passe dans mon coeur, les paroles le rendent mal: cependant soyez persuadé que je suis remplie d'espoir et de confiance dans la bonté divine, и проч. Послѣ этихъ словъ, вылившихся изъ сердца Вѣнценосной вдовы и матери царствующаго надъ Россіею Государя, въ ней снова слышатся чувства Высокой Начальницы женскихъ учебныхъ заведеній: „Ah! mon bon Nélédinsky, que je serai heureuse, lorsque je saurai de nouveau, nos enfants en chemin, pour revenir à Moscou, que je les saurai arrivés et que celles rendues aux parents se réuniront de nouveau à eux. Informez vous, je vous en prie, comment va la petite Smetkoff, qui a été si malade, dites moi si les parents quittent Moscou, enfin ayez un oeil protecteur sur les leurs et dites aux parents que je vous ai prié de m'en donner des nouvelles.

Отмѣтимъ мимоходомъ весь духъ этого обвинительнаго письма, этого выговора по дѣламъ службы отъ Царской Начальницы къ подчиненному своему. Такое письмо, по многимъ отношеніямъ, принадлежитъ Русской исторіи: оно вноситъ и отрадную отмѣтку въ нравственную лѣтопись сердца человѣческаго. Имя Нелединскаго займетъ тоже свое мѣстечко въ этой достопамятной страницѣ. Мы упомянули, что Юрій Александровичъ былъ *либералъ*, хотя и не былъ *либераломъ*, потому что въ то время этой клички еще не было. Теперь, можетъ быть, и много либераловъ, но нѣкоторые изъ нихъ часто мало либеральны въ дѣйствіяхъ своихъ. Къ этому прибавить можно, что онъ былъ довременно тоже, avant la lettre, и членъ общества покровительства животнымъ, когда ни у насъ, да, кажется, и нигдѣ еще подобнаго общества не существовало. Знаете-ли вы, что дѣдъ вашъ, садясь въ свою наемную карету, всегда отнималъ у кучера кнутъ и клалъ его возлѣ себя, съ тѣмъ, чтобы кучеръ не могъ стегать лошадей своихъ. Подобное *покровительство* простиралъ онъ не только на живую тварь, но и на божіи плоды въ царствѣ прозябаемомъ. Онъ, который былъ большой лакомка, никогда не рѣшался ѣсть соленыя груши, персики, ананасы, и съ негодованіемъ признавалъ подобное соленіе въ домашнемъ хозяйствѣ, у насъ обычное, за святотатство противъ природы. Какъ, говорилъ онъ, натура ущедрила эти плоды особенною сладостью и душистымъ вкусомъ, а мы унижаемъ ихъ до разряда огурца, или

капусты... Разумѣется, все это говорилось шуточно, но подобная шутка не придетъ въ каждую голову. Въ самой простой шуткѣ отзывается иногда нота общаго настроенія. Шутки, понятія, отдѣльныя слова, привычки, вкусы, отвращенія, не тѣ же-ли живыя проявленія нашей внутренней растительности? Каждый человѣкъ носитъ въ себѣ почву свою, и эта почва даетъ цвѣты и плоды, ей особенно свойственные. Въ письмахъ Нелединскаго часто и совершенно неожиданно пробиваются примѣты внутренней натуры его, внутренняго слоя. Иногда при самой сухой рѣчи о мелочахъ обыденной жизни проскакиваетъ слово, въ которомъ выражается черта личности его, черта духовная, психологическая, въ которой обнаруживается весь человѣкъ. А вы по многимъ причинамъ и соображеніямъ, весьма уважительнымъ, не могли еще представить вполнѣ всю переписку его. Но надобно бережно сохранить ее.

„Не намъ, такъ дѣтямъ пригодится“.

Придетъ время: содѣйствіе и освященіе времени нужны для всего, и тогда въ свой часъ, эта полная переписка дорисуетъ, но ни въ чемъ не будетъ противорѣчить уже извѣстному очерку замѣчательной и сочувственной личности.

Въ новое доказательство, что дѣдъ вашъ не только правильно, честно жилъ и дѣйствовалъ въ настоящемъ, но что, такъ сказать, предчувствовалъ и понималъ благоразумныя условія будущаго, можно указать на письмо къ сыну съ поздравленіемъ его при полученіи офицерскаго чина. Это полный трактатъ объ обязанностяхъ воина. Онъ и нынѣ, а, можетъ быть, особенно нынѣ, при учрежденіи общей воинской повинности, имѣетъ все значеніе и все достоинство современнаго, хотя и за полстолѣтіе тому написаннаго наставленія. Многое хорошее не такъ ново, какъ оно кажется глазамъ, любующимся новизною. Мы вообще склонны исключительно себѣ приписывать всякое полезное и плодотворное явленіе. Но многія изъ этихъ явленій невидимо уже таились въ зародышѣ и до насъ. Время сѣятелей не бываетъ временемъ и пожинателей. Поколѣнія, одно за другимъ, что-нибудь да наслѣдуютъ отъ своего предшественника. Что же касается до Нелединскаго, то нельзя не замѣтить, что, если онъ и былъ одно изъ высшихъ и привлекательнѣйшихъ выраженій образованности своего времени, своего поколѣнія,

то онъ не былъ выродкомъ, исключеніемъ изъ общей среды. Одинъ въ полѣ не воинъ, говоритъ пословица. Но Нелединскій и не былъ одинъ. Дѣло въ томъ, что отдѣльные воины тогдашняго времени не были еще призваны къ рѣшительной битвѣ: побѣды были впереди; но они безсознательно готовили эти побѣды: поле ихъ не было праздною и необработанною пустошью.

Вы желаете, чтобы я въ дополненіе книгѣ вашей составилъ по возможности біографическій очеркъ Юрія Александровича. Всѣми помышленіями, всею душею взялся бы я за исполненіе вашего требованія. Но оно, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, не легко можетъ быть приведено въ дѣйствительность. Вѣроятно я одинъ на Русской землѣ или, по крайней мѣрѣ, одинъ изъ двухъ, а много трехъ современниковъ Нелединскаго. Дѣтскія воспоминанія мои сливаются и съ воспоминаніемъ о немъ. Въ теченіе многихъ лѣтъ онъ почти ежедневно былъ посѣтителемъ дома друга своего и моего родителя князя Андрея Ивановича. Связь ихъ началась еще въ порѣ первой молодости, въ порѣ шалостей и проказъ ея. Позднѣе, съ лѣтами зрѣлости, связь эта еще болѣе окрѣпла въ нравственныхъ и умственныхъ сочувствіяхъ и единомысліяхъ. Мой отецъ былъ также однимъ изъ умнѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей своего времени. Говорю это не изъ одного пристрастнаго сыновняго чувства. Отца имѣлъ я несчастіе лишиться въ такіе годы, когда не могъ я еще имѣть мнѣніе, основанное на собственномъ сужденіи и опытѣ. Но преданія по немъ оставшіяся въ людяхъ достойныхъ оцѣнить умъ и качества современника своего, утвердили меня въ понятіи о немъ. Еще въ дѣтствѣ вслушивался я въ рѣчи Нелединскаго, многаго въ нихъ, разумѣется, не понимая. Помню, какъ въ предсмертные дни своего друга не отходилъ онъ отъ постели его, какъ во время отпѣванія, въ церкви Антипія, что у Колымажнаго двора, стоялъ онъ у самаго гроба, и держалъ въ рукѣ своей онѣмѣвшую и остывшую руку друга своего. Позднѣе эти дѣтскія сочувствія перешли, смѣю сказать, въ пріязненныя отношенія, основанныя, конечно, на наслѣдственномъ началѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и на добровольныхъ и благопріобрѣтенныхъ условіяхъ. Живо помню эту до старости сочувственную и милую личность. Онъ былъ небольшаго, скорѣе малаго роста, довольно плот-

ный, коренастый, съ косичкою, лентой заплетенной, которой оставался онъ вѣренъ, когда всѣ уже обрѣзали косы свои. Глаза голубые, выразительные, улыбка привѣтливая, которая имѣла почти прелесть женской улыбки, голосъ мягкій и звучный. Помню рѣчь его, неблиставшую остроумными вспышками и словами, которыя Французы называютъ bons mots или, mots à retenir, хотя и въ нихъ не было недостатка: въ рѣчи его болѣе всего привлекало и поражало особенно покойный строй ея, всегда ясный и прозрачный: все было сказано кстати, во время, безъ малѣйшей подготовки. О поэзіи, о любви говорилъ онъ особенно охотно и съ увлеченіемъ. Иногда любилъ онъ говорить и объ особенно любопытныхъ и выходящихъ изъ обыкновеннаго уровня дѣлахъ подлежащихъ сужденію Сената. Онъ часто пристращался къ этимъ дѣламъ, къ полному изслѣдованію ихъ, къ проникновенію въ темныя, гадательныя стороны подобныхъ процессовъ. Въ разговорахъ своихъ прибѣгалъ онъ иногда въ обществѣ къ повѣркѣ этихъ юридическихъ вопросовъ. Помню, что случалось ему и у меня, еще тогда отрока, спрашивать иногда по краткомъ изъясненіи въ чемъ дѣло, кого признаю я виновнымъ, или невиннымъ въ такомъ-то дѣлѣ? Онъ любилъ провѣрять чужимъ впечатлѣніемъ свой взглядъ, свое мнѣніе, свое убѣжденіе. Это было родъ совѣщательнаго (consultatif) присяжнаго суда, который онъ призывалъ въ помощь суду своему: и такой совѣщательный присяжный судъ, по мнѣнію моему, могъ бы примѣняемъ быть съ пользою и къ дѣламъ судебнымъ.

Все это помню. Все это такъ. Кажется, только и стоило бы присѣсть къ столу, взять перо и приняться con amore, что и было бы въ высшей степени кстати при настоящемъ случаѣ, и добросовѣстно исполнить возложенное на меня порученіе. Но за этимъ слѣдуютъ нѣсколько *но*, частыя и неотложныя закорючки многихъ человѣческихъ предпріятій и дѣйствій. Приглашеніе написать біографическій очеркъ Юрія Александровича напало на меня врасплохъ. Здѣсь нужно мнѣ довести до свѣдѣнія вашего, мою маленькую авторскую исповѣдь. Стихи еще могу кое-какъ импровизировать въ прогулкахъ моихъ, подъ прихотью минуты и воображенія: не смѣю сказать вдохновенія. На прозу я гораздо туже. Проза требуетъ совершенно здраваго духа и здраваго тѣла, спокойствія, усидчи-

вости, равновѣсія. Относительно собственно до меня, проза нуждается въ ночахъ безъ *хлорала,* во дняхъ затишья нервовъ, во дняхъ бодрости и внутренней потребности, такъ сказать, жажды чернилъ и труда. А этого часто у меня нѣтъ. Часто мнѣ не только не пишется, но и противно то, что напишется. Поэтому, никакъ не могу браться за срочную работу. У меня были когда-то подготовлены и собраны сырые матеріалы для скромнаго памятника, который мнѣ хотѣлось соорудить во имя Нелединскаго. Но и эти матеріалы теперь у меня не подъ рукою. Въ послѣдніе скитальческіе и больничные года мои, я, по разнымъ мѣстамъ, разбросалъ пожитки свои. Нужно было бы время, чтобы розыскать ихъ, обдѣлать и связать. Вы видите, любезнѣйшій князь, что добрая воля и есть: но средства недостаточны. Я почелъ бы за счастіе принести *каплю меда* своего въ вашъ богатый и душистый улей. И подлинно выраженіе *улей* здѣсь кстати: въ Нелединскомъ было много аттическаго: былъ и гиметскій медъ, была и аттическая соль. Но я-то часто не трудолюбивая пчела, и природою разжалываюсь въ трутни. Между тѣмъ, не хотѣлось бы мнѣ на-отрѣзъ отказать вамъ въ пріятномъ и лестномъ вашемъ предложеніи. Къ отмѣткамъ, уже выше разбросаннымъ, приложу еще нѣсколько моихъ впечатлѣній, глубоко сохранившихъ всю свѣжесть свою въ памяти и сердцѣ моемъ.

II.

Начнемъ съ того, что мимоходомъ заглянемъ въ Москву, въ которой жилъ Нелединскій и въ которой зналъ я его.

Эта Москва, по имени еще первопрестольная, на дѣлѣ, по вступленіи соперницы своей въ совершеннолѣтіе, была уже второстепенною столицею. Дѣйствующая жизнь отхлынула отъ нея и перелилась въ Петербургъ. Но историческая жизнь ея осталась еще при ней: и осталась не въ однихъ каменныхъ стѣнахъ Кремля. Были въ ней и живые памятники, такъ сказать ходячія историческія записки, преданія, отголоски. Въ Москвѣ доживали тогда свой вѣкъ дѣйствующія лица, со сцены сошедшія. Живали отставные нравительственные дѣятели, вельможи, министры, между прочимъ

и отставныя красавицы, *фрейлины Екатерины первой*, по выраженію Грибоѣдова. Давно уже сказалъ я, что Москва дѣвичья Россіи, а С.-Петербургъ — но къ чему поминать старые грѣхи мои? Да, Москва была въ то время какимъ-то убѣжищемъ, затишьемъ людей доживающихъ свой вѣкъ. Нынѣ какъ-то никто не *доживаетъ:* каждый съ жизни на юру, съ жизни на маковкѣ, прямо и скоропостижно падаетъ въ могилу. Эти закаты жизни, эти мерцанія, имѣли и свою теплоту и свои отблески. Жизнь, въ остаткѣ годовъ своихъ, послѣ труднаго, часто тревожнаго, часто блистательнаго поприща, удаляясь, *ретировалась* въ свои внутренніе покои.

Москва была эти внутренніе покои Русской жизни. Такъ поступилъ мой отецъ. Такъ поступили и многіе. Такъ поступилъ и Нелединскій, когда разсчелъ, что онъ уже *отжилъ* и что остается ему только *доживать*. Но переѣхалъ онъ не въ Москву, которую разлюбилъ съ того времени, какъ непріятели пребываніемъ своимъ въ ней ее запятнали: переѣхалъ онъ въ Калугу и тамъ отшельникомъ отъ міра тихо, но свѣтло вечерѣлъ при семейномъ и любвеобильномъ очагѣ.

Но не думайте, чтобы при этой тихой Московской погодѣ, царствовалъ въ обществѣ неподвижный, мертвенный *штиль*. Нѣтъ, было и тогда колебаніе, волненіе. Были люди, чающіе движенія воды и чающіе не напрасно, подобно разслабленному при купели у овечьихъ воротъ въ Іерусалимѣ. Были и въ то время свои мнѣнія, убѣжденія, вопросы, стремленія, страсти. Въ этомъ обществѣ встрѣчались люди противоположныхъ ученій, разныхъ вѣрованій, разныхъ эпохъ. Тутъ были люди, созрѣвшіе подъ вліяніемъ и блестящимъ солнцемъ царствованія Екатерины, были выброски крушеній отъ слѣдовавшаго за нимъ царствованія, уже выглядывали и обозначались молодые умы, молодыя силы, развивавшіяся подъ благорастворѐніемъ первоначальныхъ годовъ правленія Императора Александра I. Эти года навѣяли на общество новое дыханіе, новую температуру: слѣдовательно на обществѣ отсвѣчивались разнообразные историческіе и нравственные оттѣнки. Въ общественномъ, какъ и въ литературномъ быту, были старообрядческіе послѣдователи Шишкова, и новокрещенцы, послѣдователи Карамзина. Двигались

и мыслили и *сыны Вольтера*, и сыны *крестоносцевъ*, какъ говорятъ Французы, а по-русски—сыны православной церкви. Въ томъ же обществѣ, въ томъ же домѣ, за обѣдомъ, или на вечерѣ, могли встрѣтиться и князь Платонъ Александровичъ Зубовъ, и княгиня Екатерина Романовна Дашкова: первая страница и послѣдняя страница исторіи царствованія Императрицы Екатерины.

Графъ Ростопчинъ и графъ Никита Петровичъ Панинъ — два почти политическіе противника.

Графъ Аркадій Ивановичъ Марковъ и Обольяниновъ — двѣ историческія и характеристическія противоположности.

Мистикъ и Мартинистъ Иванъ Владиміровичъ Лопухинъ и Нелединскій—также далеко не близнецы и не однородцы.

Здѣсь представляемъ мы сокращенный сколокъ съ живыхъ картинъ болѣе или менѣе историческихъ лицъ. Представленіе давалось на общественной сценѣ, предъ любопытствующимъ и внимательнымъ партеромъ: то-есть публикою. Зрѣлище, нечего сказать, довольно привлекательное и не лишенное блеска и достоинства.

А сколько еще можно насчитать лицъ, если не прямо принадлежащихъ исторіи, то не менѣе того лицъ, запечатлѣнныхъ особымъ выраженіемъ, особымъ значеніемъ, и также имѣющихъ свое косвенное вліяніе па дѣла и на общество. Есть исторія явственная, гласная, но есть также исторія подспудная, такъ сказать побочная, которая часто и невидимымъ образомъ сливается съ первою и ею поглощается.

Вотъ нѣкоторыя имена Московскаго общества, современныя Нелединскому.

Графъ Левъ Кириловичъ Разумовскій: образецъ того, что Французы называютъ, или скорѣе называли *grand seigneur*—слово *вельможа* не передаетъ этого значенія: — онъ же и образецъ благовоспитаннаго, любезнаго свѣтскаго человѣка.

Библіофилъ и полиглотъ, всеязычный графъ Бутурлинъ.

Петръ Васильевичъ Мятлевъ, оживляющій разговоръ остроуміемъ, а не рѣдко и полуязвительными насмѣшками.

Ѳедоръ Ивановичъ Киселевъ, рѣзкій въ сужденіяхъ своихъ, часто раздражительный и желчный; но въ это время терпимости прощали ему эти выходки, потому что въ человѣкѣ уважали благо-

родныя качества его, независимый умъ и независимое положеніе его въ обществѣ. Къ тому же въ это время нѣкоторое *фрондёрство* было въ обычаѣ и въ чести: въ обществѣ любовались этими наѣздниками слова, которые ловко метали пращи свои (Извѣстно, что выраженіе la fronde, frondeur заимствовано отъ бойцовъ, вооруженныхъ пращею).

Павелъ Никитичъ Каверинъ. Онъ, можетъ быть, не имѣлъ общей Европейской образованности, но былъ Русскій краснобай, въ полномъ и лучшемъ значеніи этого слова. Соловей рѣчи и соловей неумолкаемый! Говорунъ и разскащикъ, имѣлъ онъ, что говорить и что разсказывать. Онъ былъ ума бойкаго и смѣтливаго. Настоящій Русскій умъ, тамъ гдѣ онъ есть, свѣжій, простосердечно хитрый и нѣсколько лукавый. Въ долголѣтнемъ званіи своемъ столичнаго оберъ-полицмейстера — въ званіи, которое онъ, впрочемъ, никогда во зло не употреблялъ — имѣлъ онъ случай много и многихъ узнать, обучиться жизни на практикѣ, вблизи и разносторонне. Вся эта живая наука отзывалась въ разговорѣ его. Онъ былъ, между прочимъ, пріятель графа Ростопчина, Дмитріева и Карамзина.

Князь Андрей Ивановичъ Вяземскій: гостепріимный собиратель Московской земли; въ теченіи многихъ лѣтъ домъ его былъ сборнымъ мѣстомъ всѣхъ именитостей умственныхъ, всѣхъ любезностей обоего пола. Самъ слылъ онъ упорнымъ, но вѣжливымъ спорщикомъ: сжатый и сильный діалектикъ, словно вышедшій изъ Аѳинской школы, онъ любилъ словесные поединки и отличался въ нихъ своею ловкостью и изящностью движеній.

Князь Яковъ Ивановичъ Лобановъ-Ростовскій, другъ князя Вяземскаго и Нелединскаго, съ выраженіемъ нѣсколько суровымъ въ смугломъ лицѣ, съ волосами, причесанными дыбомъ, былъ весельчакомъ этого общества: много было у него прибаутокъ Французскихъ и Русскихъ, которыми онъ мѣтко и забавно разнообразилъ рѣчь свою.

Тончи, живописецъ, поэтъ и философъ. Стройная и величавая наружность: лицо еще свѣжее, волоса густые и нѣсколько кудрявые, осеребренные преждевременною и красивою сѣдиною. Онъ, между прочимъ, преподавалъ въ салонахъ ученіе *призрачностей, мнимо-*

стей: (des apparences) то-есть, что все вещественное въ мірѣ и въ жизни, а особенно, впечатлѣнія, ощущенія, все это только кажущееся, воображаемое. Онъ имѣлъ даръ слова: и на Французскомъ языкѣ, озаренномъ и согрѣтомъ южнымъ блескомъ и поэтическими красками, онъ если не былъ убѣдителенъ, то всегда былъ увлекателенъ. Впрочемъ, онъ имѣлъ нѣсколько и учениковъ, и послѣдователей: въ числѣ ихъ былъ Алексѣй Михайловичъ Пушкинъ.

Вотъ также личность въ высшей степени своеобразная. Прямой сынъ Вольтера, энциклопедистъ съ Русскою закваскою, воспитанникъ дяди своего Меллисино, куратора Московскаго университета, бывшій въ военной службѣ и въ походахъ, слѣдовательно не чуждый Русской жизни и ея особенностей. Трудно опредѣлить его: одно можно сказать, что онъ былъ соблазнительно-обворожителенъ. Бывало изъявитъ онъ мнѣніе, скажетъ мѣткое слово, нерѣдко съ нѣкоторымъ цинизмомъ, и то, и другое совершенно въ разрѣзъ мнѣніямъ общепринятымъ и все это выразитъ съ такою энергическою и забавною мимикой, что никто не возражаетъ ему, а всѣ увлекаются взрывомъ неудержимаго смѣха. Онъ вообще не любилъ авторитетовъ: гораздо прежде романтической школы ругалъ онъ Расина, котораго, впрочемъ, переводилъ, и скажемъ мимоходомъ, довольно плохо. Доставалось и солнцу, какъ авторитету, и поэтамъ, которые воспѣваютъ восхожденіе его, „а оно, радуясь“ этимъ похваламъ, раздувшись и „раскраснѣвшись, вылѣзаетъ на небосклонъ“. И все это было *иллюстрировано* живыми ухватками, игрою лица. И все это дѣлалъ онъ и говорилъ, вовсе не изъ желанія казаться страннымъ, оригинальнымъ, рисоваться. Онъ былъ необыкновенно простъ въ обхожденіи: нѣтъ, онъ былъ таковымъ потому, что таковъ былъ складъ ума его.

Въ дѣтскихъ воспоминаніяхъ моихъ еще нахожу низверженнаго Молдавскаго господаря, князя Маврокордато. Онъ также сдѣлался москвичемъ. Не знаю, много-ли онъ содѣйствовалъ пріятности общества, но какъ декорація, онъ очень разнообразилъ обстановку сцены. Восточная важность, пестрота восточнаго костюма его привлекали по крайней мѣрѣ мои любопытные дѣтскіе глаза.

Есть еще лица и имена, которыя могли бы внесены быть въ этотъ списокъ. А сколько иностранныхъ путешественниковъ, худож-

никовъ, мелькавшихъ въ этой картинѣ! Иные изъ нихъ заѣзжали въ Москву проѣздомъ и оставались въ ней на зиму и болѣе. Бывали между ними и странствующіе рыцари, искатели приключеній. Но и они для разнообразія, для драматическаго движенія, были не лишніе. Назовемъ между прочимъ барона Жерамба, гусара изъ полка гусаровъ смерти, *hussards de la mort*, въ черномъ доломанѣ, съ металлической мертвою головою на груди. Былъ-ли онъ баронъ, былъ-ли онъ гусаръ: это осталось не рѣшеннымъ. Но онъ разъѣзжалъ по Москвѣ въ каретѣ цугомъ, велъ большую карточную игру, много проигрывалъ, но мало уплачивалъ, писалъ Латинскіе стихи, а что всего лучше, былъ очень уменъ и забавенъ, и возбуждалъ общее любопытство и вниманіе своею загадочностью. Въ общественномъ каруселѣ, гдѣ каждый подвизался по своему, онъ ловко разыгрывалъ роль неизвѣстнаго рыцаря, подъ непроницаемымъ забраломъ.

Литтература не была чужда этому разнообразному, разнохарактерному представительству. Не говоримъ уже о литтературѣ иностранной, особенно Французской; всѣ старыя и новыя явленія ея были знакомы, прилежно прочитывались, горячо обсуждались. Но и доморощенная словесность была не чужая въ этомъ обществѣ, хотя и созданномъ немножко по образу и подобію запада. Во главѣ ея стояли Карамзинъ и Дмитріевъ. Они были не просто писатели, дѣйствовавшіе съ перомъ въ рукахъ въ кабинетѣ своемъ. Они и въ обществѣ и въ салонахъ были дѣйствующими лицами. Голосъ ихъ присоединялся къ общимъ голосамъ: онъ былъ и слышимъ и уважаемъ. Русская Московская литтература примыкала въ то время съ одной стороны къ старинѣ въ лицѣ Хераскова, тихо доживавшаго въ Москвѣ славу свою: съ другой стороны привѣтствовала она новое поколѣніе поэзіи, въ лицѣ Жуковскаго и Батюшкова, и нѣкоторыхъ другихъ упованій нашего Парнасса, скажемъ мы на языкѣ того времени. Нелединскій также занималъ видное и почетное мѣсто въ литтературномъ кругу. Но онъ писалъ болѣе урывками, и былъ, такъ сказать, дилетантомъ въ ней. Красавицы и молодыя пѣвицы на вечерахъ распѣвали, за клавикордами пѣсни и романсы его. Тогда скромно довольствовались и этимъ.

Выше упомянули мы о Иванѣ Владиміровичѣ Лопухинѣ, сопоставляя его съ личностью Нелединскаго, какъ два разнородныя начала. Но судьба, однажды, свела ихъ по одной дорогѣ. Какъ сенаторы, были они посланы Императоромъ Александромъ на ревизію, особенно по дѣламъ Молокановъ. Тотъ и другой были люди умные, образованные и благодушные: въ изслѣдованіи истины, въ добросовѣстномъ исполненіи обязанности, на нихъ возложенной, они не могли расходиться. Дружно дѣйствовали они, а по окончаніи дѣла, разбрелись опять каждый въ свою сторону, но съ уваженіемъ другъ къ другу, хотя ни одинъ изъ нихъ не переманилъ и не думалъ переманить другого на свои воззрѣнія въ свободной области личныхъ мнѣній и убѣжденій. Здѣсь также отыскивается знаменіе того времени.

Мы, можетъ быть, не въ мѣру расширили рамку очерка, который избрали задачею своею. Но намъ казалось, что для точнѣйшаго, по возможности изученія событія, или лица нужно то и другое оставить во времени и въ средѣ, въ которыя то событіе совершилось, или то лицо жило и дѣйствовало. Иначе, можно дойти до того, что будешь удивляться и пенять Кристофору Колумбу, который, для открытія новаго міра, отправился на парусномъ кораблѣ, а не на пароходѣ. Такія сужденія, такіе анахронизмы въ печати не рѣдки. Не надобно терять изъ вида, что Нелединскій былъ человѣкъ своего времени, и что это время могло имѣть и имѣло свои недостатки; но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣло свои почтенныя и любезныя достоинства. Многія понятія, многіе вопросы тогда еще не возникали. Но было много мыслящихъ людей, имѣвшихъ потребность въ обмѣнѣ мыслей. За неимѣніемъ дѣйствія тогда и разговоръ былъ уже дѣйствіе. Въ другія времена дѣйствіе ограничивается часто однимъ пустословіемъ. Тогда образованные, умные люди, а было ихъ не мало, съѣзжались по вечерамъ на бесѣду, потолковать, поспорить, развязать мысль свою, или просто языкъ свой. Каждый приносилъ, что имѣлъ, что умѣлъ и что могъ: кто золотой талантъ, кто посильную лепту, кто жемчужину, кто просто полевой цвѣтокъ, но свѣжій и душистый. Я выросъ въ этой школѣ: могу говорить о ней по отроческимъ впечатлѣніямъ и позднимъ воспоминаніямъ. Живыя преданія того времени не замолкли, не

изгладились во мнѣ. Тогда было менѣе помышленій о свободѣ въ учрежденіяхъ: горизонтъ былъ ограниченнѣе; но было болѣе свободы въ мысли и въ общежитіи, горизонтъ и ограниченный былъ чище. Каждый былъ и казался тѣмъ, что онъ есть. Онъ не былъ завербованъ подъ такое-то или другое знамя. Никто не подчинялся извѣстному лозунгу, и не нуждался въ немъ. Тогда подписывались на журналъ, на газету, но не приписывались къ нимъ. Тогда просто хотѣли узнать отъ повременнаго листка, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ: и баста! Никому не приходило на умъ узнать отъ журнала, какъ прикажетъ онъ мыслить, чувствовать, судить о такомъ-то событіи, оцѣнить такую-то правительственную мѣру; однимъ словомъ, не было того духовнаго крѣпостничества, въ силу журнальной печати, которое кое-гдѣ встрѣчается нынѣ: и оно ожидаетъ свое 19 Февраля; но скоро-ли дождется?

III.

Нелединскій могъ-бы быть предметомъ прилежнаго изученія и изслѣдованія для физіолога и психолога. Онъ во многихъ отношеніяхъ былъ натура совершенно своеобразная: натура крайностей и противоположностей, но не противорѣчій. Въ самыхъ крайностяхъ хранилось какое-то равновѣсіе, какая-то нравственная примирительная сила. Онъ былъ натурою своею будто раздѣленъ на особые участки. И каждый участокъ не посягалъ на другой, не вредилъ ему. Въ немъ были участки свѣтлые, благорастворенные, возвышенные; были и участки чрезполосные, спорные; правила и условія нравственной топографіи могли протестовать противъ нихъ. Но, не надобно терять изъ вида, что первые участки, то-есть свѣтловозвышенные, были открыты и доступны всѣмъ ближнимъ его, всему обществу; другіе были, такъ сказать, заповѣдные, личные, ему одному свойственные: онъ одинъ отвѣтствовалъ за нихъ и они одного его касались. Объяснимъ слова наши словами изъ письма его къ вашей матери: Rapportez tout à cet Etre (Богу), cette source unique de tout, qui Vous a donné l'esprit, la raison, le caractère que Vous avez. – Remerciez le—Твоя отъ Твоихъ!—Ce n'est pas un capucin qui vous parle, mais bien un libertin qui le sera

toute sa vie,—à qui cet Etre suprême a départi, dans sa bonté, une raison qui l'a autant préservé d'être impie que bigot.

Въ этихъ строкахъ явное размежеваніе этихъ участковъ, о которыхъ мы говорили. И въ каждомъ участкѣ является не лицедѣй, ни фразёръ, а живой, искренній человѣкъ, который показывается тѣмъ, чѣмъ есть и дѣйствуетъ согласно съ тѣмъ. Въ этомъ же письмѣ, вотъ какъ этотъ *libertin*, отзывается о женѣ своей и говоритъ дочери: oui, chère amie, l'esprit et la raison, que vous avez reçus en naissant, ont été cultivés par les soins de votre mère. Oui, c'est à elle seule que vous êtes redevable de vos talents, et si vous voulez réfléchir avec moi, vous conviendrez que son amour pour ses enfants l'a toujours guidé de manière qu'elle a tenu une méthode, mis une suite à tout ce qui avait rapport à votre éducation.—Depuis votre naissance, jamais je ne suis venu à temps pour lui conseiller la moindre chose relativement à vous autres, jamais je n'étais dans le cas de désapprouver ce qu'elle avait résolu de faire pour vous.

Какъ много еще разбросано въ письмахъ, собранныхъ вами, свидѣтельствъ о нѣжной предусмотрительной, изобрѣтательной заботливости его о слабой, нервной женѣ. Сколько тутъ любви, сердоболія, самоотверженія. Я слышалъ, что онъ однажды, чтобы согласить жену свою дать выдернуть больной зубъ, далъ, для ободренія ея, выдернуть при ней здоровый зубъ у себя. Нельзя не убѣдиться, читая письма его, что если по общепринятымъ понятіямъ, не былъ онъ безукоризненнымъ, то былъ образцовымъ супругомъ. Отношенія его къ дѣтямъ проникнуты самою теплою, безкорыстною, безграничною родительскою любовью. Вотъ свѣтлая семейная сторона его. А между тѣмъ, этотъ мужъ, нѣжный, какихъ немного, дома весь преданный обязанностямъ супруга и отца семейства, внѣ дома имѣлъ всегда кумиръ, предъ которымъ страстно благоговѣлъ, который воспѣвалъ, подобно Петраркѣ и Данту, чистыми пѣснями, кумиръ, предъ которымъ колѣнопреклоненный возжигалъ онъ благоуханный и чистый фиміамъ любви, страсти. Таковъ былъ онъ внѣ семейнаго круга, такъ сказать, на сторонѣ отъ него; а еще дальше, и на другой, даже противоположной сторонѣ встрѣчаемъ его, какъ-бы сказать вѣжливѣе

и почтительнѣе—впрочемъ, скажемъ опять не своими словами, а его собственными, встрѣчаемъ: „un libertin, qui le sera toute sa vie“.—Повторяемъ еще разъ: если въ угоду строгой нравственности назвать эти стороны *темными*, то онѣ никогда не затемняли свѣтлыхъ, а свѣтлыя часто очищали и самыя темныя. Это не есть оправданіе темныхъ сторонъ, не есть и разрѣшеніе другимъ снисходительно смотрѣть на свои слабости. Вовсе нѣтъ. Примѣръ Нелединскаго не есть примѣръ для подражанія. Но онъ себя въ примѣръ и не ставилъ. Дѣло въ томъ, что щедро надѣленная натура его умѣла и могла вынести, могла даже согласовать, уравновѣшивать эти внутреннія противорѣчія, это междоусобіе врожденныхъ свойствъ, склонностей, порывовъ, страстей. Такія натуры рѣдки. На долгомъ вѣку своемъ, мы даже другой подобной ему не встрѣчали. Приведу здѣсь еще личное воспоминаніе, которое дополнитъ сказанное нами. Мнѣ было лѣтъ десять или одиннадцать. По ученью я былъ далеко не изъ скороспѣлокъ; но, по другимъ отношеніямъ, умственная смѣтливость моя была довольно развита. Вообще не былъ я прилеженъ, а болѣе лѣнивъ. Мнѣ не хотѣлось учиться, а хотѣлось знать. Какъ бы то ни было, однажды, незамѣтно вошелъ я въ кабинетъ отца моего: онъ сидѣлъ и разговаривалъ съ Нелединскимъ. Разговоръ ихъ, вѣроятно, былъ не изъ назидательныхъ. Отецъ мой могъ вообразить, что я кое-что изъ него разслушалъ. И вотъ что онъ мнѣ сказалъ: „послушай, Петруха, если тебѣ суждено быть повѣсою (сказано было по Французски mauvais sujet), то будь имъ какъ Нелединскій; хорошо знаю его таковымъ; но, если при смерти моей, твоя сестра оставалась-бы безъ родственниковъ и семейнаго покровительства, я спокойно и съ полною увѣренностію, поручилъ-бы ее никому иному какъ Нелединскому“.

Эти слова врѣзались въ память мою, хотя въ то время не вполнѣ понималъ я ихъ значеніе. Послѣ истеченія полустолѣтія и болѣе они еще и нынѣ звучатъ въ ушахъ моихъ. Для меня они прекрасно и убѣдительно характеризуютъ одну изъ сторонъ Нелединскаго, на которую я указалъ. Отецъ мой былъ не фразёръ: онъ говорилъ то, что думалъ и чувствовалъ. Свѣтлый умъ его, житей-

ская опытность и тѣсная дружба съ Нелединскимъ, придаютъ словамъ его неоспоримый авторитетъ.

Съ одной стороны перейдемъ на другую, на солнечную! Императрица Марія Ѳеодоровна пишетъ: „Gare à vous, mon pauvre Nélédinsky; rappelez vous les beaux préceptes, que votre sagesse de tuteur vous fait débiter à nos demoiselles (воспитанницамъ институтовъ) profitez en vous même et *fuyez le danger* en revenant chez nous, si non je vous crois *perdu*.

Эти строки относятся, какъ сказано въ примѣчаніи подъ этимъ письмомъ, къ Елисаветѣ Семеновнѣ Обресковой, въ которую Нелединскій *казался влюбленъ*. Нѣтъ не *казался*, а былъ влюбленъ и влюбленъ страстно. Ему было тогда 56 лѣтъ, но впечатлительность его, но сердце сохранили всю первобытную мягкость, всю воспламеняемость молодости. Онъ любилъ Обрескову, какъ во время оно любилъ Темиру, съ тою же нѣжностью, утонченностью чувствъ, съ тою же благоговѣйною покорностью. Можетъ быть, еще и съ усиліемъ этихъ чувствъ противъ прежняго. Прежде молодость могла брать свое, и, вѣроятно, брала; но на закатѣ жизни чувства, помышленія всѣ сосредоточились въ одномъ чувствѣ страсти преобладательной. Вся эта платоническая драма разыгрывалась преимущественно въ домѣ нашемъ: сперва при жизни князя Андрея Ивановича, а послѣ кончины его, при Карамзиныхъ. Обресковы, мужъ и жена, и Нелединскій были почти ежедневные вечерніе посѣтители дома нашего, извѣстнаго подъ фирмою Вяземскихъ и Карамзиныхъ. Однажды на такомъ вечерѣ подходитъ ко мнѣ Нелединскій—мнѣ было тогда лѣтъ пятнадцать—и спрашиваетъ меня: „хороша-ли она и какъ одѣта сегодня?— Кто? говорю я. — Да, разумѣется, Елисавета Семеновна. — Помилуйте, что же вы меня разспрашиваете, вѣдь вы теперь около двухъ часовъ за однимъ столомъ играли съ нею въ бостонъ.—Да развѣ ты не знаешь, что я уже три мѣсяца не смотрю на нее, и что я наложилъ на себя этотъ запретъ, потому, что видимое присутствіе ея слишкомъ меня волнуетъ.

Это также была не фраза, не поэтическая ложь, а вполнѣ дѣйствительное сознаніе. Отъ подобнаго-ли напряженія чувствъ, или просто по физическимъ причинамъ, но недолго послѣ этого разговора онъ на вечерѣ у насъ былъ постигнутъ апоплексическимъ

ударомъ, который, впрочемъ, важныхъ и ощутительныхъ послѣдствій не имѣлъ. Еще одна при этомъ характеристическая черта житья-бытья Нелединскаго. Послѣ удара онъ пролежалъ у насъ два дня. И жена его, нѣжно имъ любимая и нѣжно любившая его, нервная, легко смущаемая, по болѣзни своей мнительная, не имѣла повода особенно тревожиться отсутствіемъ его. Онъ писалъ ей два раза, что заигрался въ карты до утра, прямо съ игры отправился въ Сенатъ, а изъ Сената прямо опять на игру, которая крѣпко завязалась и требуетъ окончательной и важной по своимъ послѣдствіямъ развязки.

Не знаю, довольны-ли вы мною: чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ. Но я, по долгой бесѣдѣ съ вами, хочу на прощаніе, еще разъ премного благодарить васъ, любезнѣйшій князь, за наслажденіе, которое вы мнѣ доставили. Читая ваши корректурные листы, я переживалъ многіе и многіе годы свои, едва-ли не лучшіе годы. Молодость, и даже первоначальные дни *бабьяго лѣта* жизни имѣютъ особенную привлекательную прелесть и благоуханіе, которыми услаждаешь и прикрашиваешь суровые позднѣйшіе дни. Какъ-то отрадно живется въ старинѣ и преданіяхъ ея. Для меня настоящая жизнь всегда тѣмъ красивѣе, или, по крайней мѣрѣ, тѣмъ сноснѣе, что на ней отсвѣчиваются оттѣнки минувшаго. Дивлюсь людямъ и жалѣю о тѣхъ, которые въ жизни смотрятъ только на *профиль* ея, а не обхватываютъ всѣхъ сторонъ лица. У такихъ людей зрѣніе узкое: узки и понятія ихъ. Они словно сидятъ вѣчно передъ зеркаломъ и только и видятъ, что себя и только на себя и смотрятъ. Это бы еще ничего: но вотъ что худо. Такая односторонность собственно размежевываетъ время, поколѣнія, людскую семью на враждебные полосы и кружки. Они вносятъ въ жизнь раздоръ и междоусобицу. По понятію нѣкоторыхъ, если любишь ровесниковъ и братьевъ, то неминуемо, то обязательно должно порочить и презирать старшихъ. Другіе почитаютъ однихъ отцовъ; за то осыпаютъ бранью все новое поколѣніе. У нихъ дни не слѣдуютъ одинъ за другимъ въ естественномъ и мирномъ порядкѣ. Нѣтъ, они другъ на друга выступаютъ въ боевомъ порядкѣ; поколѣнія не помогаютъ, не содѣйствуютъ другъ другу, а встрѣчаются и сходятся на ножахъ. Повторяю, въ старину жили шире; было болѣе терпимости,

слѣдовательно и общежительности. Молодежь не дичилась старости; старость не косилась на молодежь. Нелединскій былъ одинъ изъ лучшихъ представителей этой эпохи мирнаго соревнованія, благоразумной уступчивости, терпимости въ мнѣніяхъ: однимъ словомъ, эпохи истиннаго образованія, которое стремится болѣе согласовать, болѣе сближать, чѣмъ расходиться и оборачиваться спиною ко всему и ко всѣмъ, которые хотя на вершокъ и хотя на одну букву, на іоту, отдѣляются отъ мнѣній и воззрѣній сосѣда.

Теперь довольно, а, можетъ быть, скажете вы: давно довольно.

CIX.

ПО ПОВОДУ БУМАГЪ В. А. ЖУКОВСКАГО.

ДВА ПИСЬМА КЪ ИЗДАТЕЛЮ РУССКАГО АРХИВА.

1875.

I.

Вы просите меня, любезнѣйшій Петръ Ивановичъ, дать вамъ нѣкоторыя поясненія относительно къ бумагамъ В. А. Жуковскаго, которыя напечатаны въ вашемъ *Русскомъ Архивѣ* [1]). Охотно исполняю желаніе ваше. Начну съ того, что вы совершенно справедливо замѣчаете, что полная по возможности переписка Жуковскаго, т.-е. письма ему писанныя и имъ писанныя, будетъ служить прекраснымъ дополненіемъ къ литературнымъ трудамъ его. Вмѣстѣ съ тѣмъ, будетъ она прекраснымъ комментаріемъ его жизни. За неимѣніемъ особенныхъ событій или рѣзкихъ очерковъ, которыми могла-бы быть *иллюстрирована* его біографія, эта переписка близко ознакомитъ и насъ современниковъ, и потомство, съ внутреннею, нравственною, жизнью его. Эта внутренняя жизнь, какъ очагъ, разливалась теплымъ и тихимъ сіяніемъ на все окружающее. Въ самыхъ письмахъ этихъ есть уже дѣйствіе: есть въ нихъ несомнѣнные, живые признаки душевнаго благорастворенія, душевной дѣятельности, которая никогда не остывала, никогда не утомлялась. Вы говорите, что *печатныя творенія выразили далеко не всѣ стороны этой удивительно-богатой души.* Совершенно такъ. Но едва-ли не тоже самое бываетъ и со всѣми богатыми и чисто-возвышенными натурами. Полагаю, что ни одинъ

[1]) См. Р. Архивъ 1875, III (кн. XI), стр. 317—375.

изъ великихъ писателей и вмѣстѣ съ тѣмъ одаренныхъ, какъ вы говорите, *общечеловѣческимъ достоинствомъ* не могъ выказаться и высказаться вполнѣ въ сочиненіяхъ своихъ. Натура все-таки выше художества. Въ твореніи, назначенномъ для печати, человѣкъ, вольно или невольно, принаряживается сочинителемъ. Сочинитель въ печати чуть-ли не актеръ на сценѣ. Въ сочиненіи все-таки невольно выглядываетъ сочинитель. Въ письмахъ же самъ человѣкъ болѣе на лицо. Художникъ, разумѣется, не убиваетъ человѣка; но такъ сказать, умаляетъ, стѣсняетъ его. Все это говорится о писателяхъ, которые отличаются и великимъ художествомъ, и великими внутренними качествами. Съ писателями средней руки бываетъ часто напротивъ. Они, по дарованію своему, когда оно есть, могутъ высказываться болѣе и выказывать болѣе, чѣмъ натура ихъ выноситъ. Дарованіе ихъ, то есть талантъ, то есть врожденная уловка, есть прикраса, а не красота: это часто блестящее шитье по основѣ неплотной, быть можетъ и дырявой.

Изъ бумагъ, сообщенныхъ вами, каждая имѣетъ цѣну и достоинство свое. Но на меня живѣе всего подѣйствовали письма Батюшкова. Другіе будутъ читать эти письма, а я ихъ слушаю. Въ нихъ слышится мнѣ знакомый, дружественный голосъ. На него какъ будто отзываются и другіе сочувственные голоса. Въ этомъ *унисонѣ*, въ этомъ стройномъ единогласіи, сдается мнѣ, что слышу я и свой голосъ, еще свѣжій, не притупленный годами. При этомъ возрожденіи минувшаго, припоминаю себѣ ближнихъ и себя. Это частное и временное воскресеніе изъ мертвыхъ. Да и кто-же и здѣсь на землѣ, хотя отчасти, не живетъ уже загробною жизнью? Въ жизни каждаго таится уже нѣсколько заколоченныхъ гробовъ.

Гдѣ прежній я, цвѣтущій, жизнью полный?

сказалъ, кажется, Жуковскій. Гдѣ они? Гдѣ оно, это время, которое оставило по себѣ однѣ развалины, пепелъ и могилы? Для людей новаго поколѣнія эти развалины, эти могилы и остаются развалинами и могилами. Развѣ какой нибудь археологъ обратитъ на нихъ мимоходомъ одно буквальное вниманіе: холодно и сухо изслѣдуетъ ихъ, и пойдетъ далѣе искать другихъ могилъ. Но если, на долгомъ пути своемъ, странникъ, попутчикъ товарищей, отъ которыхъ отсталъ, которыхъ давно потерялъ изъ виду, наткнется въ

степи на могилу одного изъ нихъ, эта могила, пепелъ въ ней хранящійся, мгновенно преобразуются въ глазахъ его въ духъ и плоть. Эта могила ему родственная: тутъ часть и его самого погребена. Могила уже не могила, а вѣчно живущая, вѣчно нетлѣнная святыня. Въ виду подобныхъ памятниковъ, запоздалый странникъ умиляется и съ какимъ-то сладостно-грустнымъ благоговѣніемъ переживаетъ съ отжившими для свѣта, но для него еще живыми, тогда уже давно минувшіе.

И тутъ не нужны воспоминанія ярко опредѣлившіяся, не нужны слѣды глубоко впечатлѣвшіеся въ почву. Довольно бездѣлицы, одного слова, одной строки, чтобы вызвать изъ нея полный образъ, всего человѣка, все минувшее. Любовнику достаточно взглянуть на одинъ засохшій цвѣтокъ, залежавшійся въ бумажникѣ его, чтобы возсоздать мгновенно предъ собою всю повѣсть, всю поэму молодой любви своей. Дружба такой-же могучій и волшебный медіумъ.

Старость имѣетъ одно преимущество (надобно-же ей имѣть что нибудь отрадное): она можетъ многое помнить; много и печальнаго, спора нѣтъ; но вѣдь и въ дѣйствительности, и въ насущности, нѣтъ свѣта безъ тѣни и, какъ говорили въ старину, нѣтъ розы безъ шиповъ. Нынѣшнимъ лѣтомъ имѣлъ я случай напомнить о себѣ лорду Стратфорду Редклифу. Подъ именемъ Стратфорда Каннинга былъ онъ мнѣ знакомъ по Константинополю. Въ то время слылъ онъ большимъ недоброжелателемъ Россіи; можетъ и былъ онъ таковымъ; но во всякомъ случаѣ, былъ онъ болѣе противникомъ политики Россіи на Востокѣ или, что къ одному приходитъ, былъ слишкомъ ревнивымъ, мнительнымъ и раздражительнымъ блюстителемъ политическихъ Англійскихъ интересовъ на Востокѣ. Какъ бы то ни было, но въ частныхъ сношеніяхъ съ Русскою колоніею въ Константинополѣ былъ онъ самаго любезнаго и дружескаго расположенія. Никогда не забуду свидѣтельствъ вниманія и пріязни, которыя онъ мнѣ оказывалъ. Вотъ что, по поводу привѣта моего, пишетъ онъ мнѣ изъ Лондона и что навело меня на имя его, въ рѣчи, до которой, казалось, нѣтъ ему никакого дѣла. Nous nous rappelons bien, lady Stratford et moi, le temps, aujourd'hui aussi éloigné, de votre visite aux rives du Bosphore.

Il vaut bien la peine dė vivre longtemps pour pouvoir encore jouir d'un souvenir tellement agréable [1]).

Разумѣется, это вѣжливыя, любезныя слова; но много теплоты и чувства въ мысли выраженной старцемъ, что *отрадно, что стоитъ того долго прожить, чтобы наслаждаться еще пріятными воспоминаніями*. Въ этой мысли лучшая похвала, лучшее оправданіе и утѣшеніе старости.

Въ письмахъ Батюшкова находятся звѣздочки (на стран. 350 и 361). Эти звѣздочки въ печати тоже что маски лицамъ, которымъ предоставляется сохранять *инкогнито*. Оно иногда нужно изъ приличія. Вообще періодическая и хроническая печать мало придерживается этого обычая: она любитъ демаскировать лица, она мало уважаетъ охранительныя звѣздочки и ведетъ большой расходъ собственнымъ именамъ. Между тѣмъ не слѣдуетъ забывать, что собственное имя есть вмѣстѣ съ тѣмъ и личная собственность, собственность родовая, семейная. Съ такимъ имуществомъ постороннимъ людямъ должно обращаться осторожно и почтительно, пока эта собственность, какъ напримѣръ литтературная, авторская, не поступитъ, за истеченіемъ нѣсколькихъ десятилѣтнихъ давностей, въ область общаго достоянія. А до законнаго срока — эта законность не можетъ быть опредѣлена цыфрами, но чувствомъ приличія и нравственнымъ тактомъ. Такая собственность должна оставаться неприкосновенною, не только при жизни собственника, смотря съ которой стороны подходишь къ этой собственности, но должна быть признаваема во второмъ и третьемъ поколѣніи. Печать унижаетъ себя, когда печатаетъ то, что человѣкъ не осмѣлился бы сказать гласно и прямо въ лицо другому человѣку; или когда говоритъ на листкахъ своихъ то, что подсказывающій ей никогда не рѣшился бы сказать въ порядочномъ домѣ и предъ порядочными людьми. Печатное слово должно быть брезгливо, цѣломудренно и совѣстливо. Вотъ оттѣнки, которые мало, — извините меня, милостивый государь, Петръ Ивановичъ, — и не всегда соблюдаются господами журналистами. Впрочемъ, говорю здѣсь не объ

[1]) Мы съ женою хорошо помнимъ время, нынѣ столь отдаленное, когда вы навѣстили насъ на берегу Босфора. Жить долго стоитъ труда, дабы имѣть еще возможность наслаждаться столь пріятнымъ воспоминаніемъ.

одной нашей журналистикѣ: иностранная также не безъ грѣха. Но особенность нашей журналистики заключается въ томъ, что даже самая животрепещущая, самая горячая часть ея живетъ какъ-то внѣ общества, на которое хочетъ она дѣйствовать. Говоря языкомъ ея, она часто *игнорируетъ* семейныя преданія, связи тѣхъ лицъ, которыя выводитъ на свѣжую, и еще чаще, на мутную воду. Все это нерѣдко дѣлаетъ она невинно, безсознательно. Въ такихъ случаяхъ журналистика выходитъ *бѣдовое дитя* гласности (enfant terrible). Но какъ бы то ни было, соблазнъ, скандалъ все-таки заносится на печатные листы.

Разумѣется, здѣсь рѣчь идетъ не о письменной жизни писателя: такая сторона дѣятельности его есть прямая принадлежность публики. Сочиненіе, отданное въ печать, есть тотъ же товаръ, выносимый на рынокъ: каждый прохожій имѣетъ право судить его, толковать о немъ, хвалить его или хаять, какъ угодно.

Возвратимся къ вашимъ звѣздочкамъ. Въ принципѣ я совершенно ихъ одобряю; но здѣсь, кажется, были онѣ излишняя осторожность. Сначала онѣ, особенно первыя, меня немножко интриговали. Но скоро могъ я сказать: je te reconnais, или je me reconnais, beau masque [1]). Еслибы вы снеслись со мною заблаговременно, я уполномочилъ бы васъ выдать меня публикѣ живьемъ и en toutes lettres. Въ первомъ инкогнито я догадываюсь, что это я. Но вовсе не помню, къ чему относится жалоба и укоризна Батюшкова. Вѣроятно, недовольный Жуковскимъ за медлительное распоряженіе рукописями Михаила Никитича Муравьева, обратилъ онъ гнѣвъ и на меня, по тому же поводу. Досада его понятна и приноситъ честь ему. Онъ дорожилъ именемъ и памятью Муравьева. Муравьевъ былъ родственникъ ему, пекся о воспитаніи его; какъ человѣкъ, какъ государственный дѣятель, онъ былъ чистая, возвышенная личность; какъ писатель, оставилъ онъ по себѣ труды, если не блестящіе, то пріятные и добросовѣстные, пропитанные любовью къ Россіи, къ наукѣ и чувствами высокой нравственности. Сочувствія и благодарность связывали Батюшкова съ Муравьевымъ. Очень понятно, что онъ признавалъ себя въ правѣ

[1]) Я узнаю тебя (себя), прекрасная маска.

сердиться на друзей своихъ, когда относились они небрежно къ памяти ему дорогой и милой.

Подъ звѣздочками (стр. 361) уже несомнѣнно узнаю себя и долженъ въ томъ сознаться, не смотря на похвалы, означенныя подъ ними. Похвалы, медъ въ сторону; но строгій приговоръ, но горькая истина всплываетъ, и я не могу отречься отъ нихъ. Тѣмъ болѣе не могу, что нерѣдко слыхалъ я отъ самого Батюшкова почти тоже, что говоритъ онъ обо мнѣ въ письмѣ къ Жуковскому. Не жалуюсь и не аппелирую. Но, если уже пришлось къ слову, то вотъ что скажу я отъ себя. Пора жизни моей, на которую указываетъ мой ценсоръ, была точно ознаменована, а по мнѣнію его, обезсилена большимъ разсѣяніемъ, свѣтскою и всякою житейскою суетностью. Но, можетъ быть, все это происходило между прочимъ и отъ смиреннаго убѣжденія, что я вовсе не могу считать себя, по дарованію своему, призваннымъ занять трудовое и видное мѣсто въ литературѣ нашей. Я былъ, такъ сказать, подавленъ дарованіями и успѣхами двухъ друзей моихъ; мало того, я не смѣлъ сравнивать себя и съ второстепенными дарованіями, которыя въ то время, болѣе или менѣе, пользовались сочувствіями и одобреніемъ публики. Эти слова не униженіе паче гордости, а добросовѣстное и убѣжденное сознаніе. Батюшковъ пеняетъ мнѣ, что я не вполнѣ посвящаю себя обязанностямъ и трудамъ писателя. Но я никогда и не думалъ *сдѣлаться* писателемъ: я писалъ, потому что писалось, потому что во мнѣ искрилось нѣчто такое, что требовало улетучиванія, просилось на волю и наружу. Это напоминаетъ мнѣ мой же сатирическій куплетъ, давнымъ давно на кого-то написанный:

Одинъ шепнулъ, другой сказалъ,
И что онъ въ умники попалъ,
Нечаянно случилось.

Впрочемъ, не хочу оправдывать и прикрывать себя однимъ смиреніемъ. Смиреніе смиреніемъ, но, вѣроятно, числилась на совѣсти моей въ то время и порядочная доля легкомыслія, беззаботности и падкости къ житейскимъ увлеченіямъ и соблазнамъ.

Карамзинъ, около той же поры и еще съ большимъ авторитетомъ, чѣмъ Батюшковъ, также журилъ меня, съ укоризною и

скорбью въ голосѣ, за то, что я *живу слишкомъ легко* (собственныя слова его). И эти укоризны не относились къ литературѣ, а ко всему складу жизни. И въ самомъ дѣлѣ, какъ припоминаю себѣ то время, не могу не сказать, что я тогда не признавалъ жизни за трудъ, за обязанность, за нравственный подвигъ. Какъ писалъ я, потому что писалось: такъ и жилъ я, потому что жилось. О служеніи какому-нибудь высшему идеалу, о стремленіи къ цѣли общеполезной я и не заботился и не думалъ. Мнѣ какъ-то казалось что у меня на это не хватитъ и достаточно силъ. Довольствовался я тѣмъ, что могъ уважать въ другихъ эти высокія побужденія, эту святую вѣру въ свой подвигъ, эту силу и постоянство, съ которыми были они вѣрны цѣли своей; но въ себѣ не находилъ я ни натуры, ни призванія подвижничества. Спасибо и за то, что ихъ умѣлъ оцѣнивать я въ другихъ. Благодарность и Провидѣнію, которое по пути моему свело и сблизило меня съ подобными избранными подвижниками.

Разумѣется, впослѣдствіи времени жизнь беретъ свое. Какъ ни обращайся съ нею легко и непочтительно, но уроки ея, испытанія, досадные щелчки, а иногда и удары обухомъ по головѣ, или по сердцу, царапины, раны, болѣе или менѣе глубокія, заставляютъ человѣка опамятоваться и призадуматься. Тогда онъ узнаетъ, онъ убѣждается, и часто слишкомъ поздно, что съ жизнью шутить нельзя, что она не игра, не увеселительный катокъ, по которому скользишь и на досугѣ росписываешь фантастическіе узоры и вензеля.

Возстановленіе имени моего на мѣсто загадочныхъ звѣздочекъ нужно и для исторіи литературы нашей. Оно хорошо объяснитъ и выставитъ на показъ, какія были въ то время литературныя и литераторскія отношенія, а особенно въ нашемъ кружкѣ. Мы любили и уважали другъ друга (потому, что безъ уваженія не можетъ быть настоящей, истинной дружбы), но мы и судили другъ друга безпристрастно и строго, не по одной литературной дѣятельности, но и вообще. Въ этой нелицепріятной, независимой дружбѣ и была сила и прелесть нашей связи. Мы уже были Арзамасцами между собою, когда Арзамаса еще и не было. Арзамаское общество служило только оболочкой нашего нравственнаго братства. Шуточные

обряды его, торжественныя засѣданія, все это лежало на второмъ планѣ. Не излишне будетъ сказать, что съ приращеніемъ общества, какъ бываетъ это со всѣми подобными обществами, общая связь, растягиваясь, могла частью и ослабнуть: подъ конецъ могли въ общемъ итогѣ оказаться и Арзамасцы пришлые и полуарзамасцы. Но ядро, но сердцевина его сохраняли всегда всю свою первоначальную свѣжесть, свою коренную, сочную, плодотворную силу.

Напечатанное на страницѣ 358-й *письмо неизвѣстнаго лица* къ неизвѣстному лицу есть письмо Батюшкова ко мнѣ. Стихи, разбираемые въ немъ, мои. „Не помяни грѣховъ юности моея". Я этихъ стиховъ и не помянулъ, т.-е. не напечаталъ; они со многими другими стихотвореніями моими лежатъ въ бумагахъ моихъ и не торопясь ожидаютъ движенія печати.

Стихи, упоминаемые въ примѣчаніи на той же 358 страницѣ, взяты изъ куплетовъ, сочиненныхъ Д. В. Дашковымъ. Послѣ перваго представленія *Липецкихъ Водъ* было устроено въ честь Шаховскаго торжественное празднество, помнится мнѣ въ семействѣ Бакунинныхъ. Автора увѣнчали лавровымъ вѣнкомъ и читали ему похвальныя рѣчи. По этому случаю и написаны куплеты Дашкова. Иные изъ нихъ очень забавны. Когда-нибудь можно бы ихъ напечатать, потому что все относящееся до комедіи *Липецкія Воды* и до общества Арзамасъ принадлежитъ, болѣе или менѣе, исторіи Русской литтературы. Тутъ отыщутся нѣкоторыя черты и выраженія физіономіи ея въ извѣстное время. Напечатанное въ *Сынѣ Отечества* и упоминаемое на страницахъ 356 и 357 *Письмо къ новѣйшему Аристофану*, то-есть къ князю Шаховскому, есть тоже произведеніе Арзамасца *Чу*, то-есть Д. В. Дашкова.

Теперь отъ чисто литтературной стороны повернемъ къ политической, также по поводу бумагъ Жуковскаго и поговоримъ о братьяхъ Тургеневыхъ. Но оставимъ это до слѣдующаго письма.

II.

На страницѣ 318 (*Русскій Архивъ*, 1875, кн. III), сказано: „Три послѣдніе брата (Тургеневы) послѣ 14-го декабря 1825 года, принадлежали къ числу опальныхъ людей и проч.". Это не со-

всѣмъ такъ. Опалы тутъ не было. Николай Ивановичъ былъ не въ опалѣ, а подъ приговоромъ верховнаго уголовнаго суда. Не явясь къ суду, послѣ вызова, онъ долженъ былъ, какъ добровольно не явившійся (contumace), нести на себѣ всю тяжесть обвиненій, которыя приписывались ему сочленами его по тайному обществу и, между прочими, если не ошибаюсь — Пестелемъ и Рылѣевымъ. Братья Александръ и Сергѣй не принадлежали къ Обществу. Послѣ несчастія брата, они сами и добровольно отказались отъ дальнѣйшей своей служебной дѣятельности. Сергѣй Тургеневъ вскорѣ потомъ умеръ. Александръ сохранилъ потомъ придворное званіе свое. Во время пріѣздовъ своихъ въ Россію, онъ, какъ камергеръ, состоялъ даже иногда дежурнымъ при императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ и (прибавимъ здѣсь откровенно и безъ малѣйшаго нареканія) назначался на эту службу вовсе не противъ воли своей. Въ продолженіи того же времени, по ходатайству князя Александра Николаевича Голицына, получилъ онъ орденъ св. Станислава первой степени, за историческія и дипломатическія изысканія и труды свои въ Римскихъ архивахъ. Знавшіе и видѣвшіе его, вѣроятно, помнятъ еще, какъ онъ носилъ двѣ звѣзды на фракѣ своемъ. Все это доказываетъ, что ни его не считали, и что онъ самъ не считалъ себя въ опалѣ. Онъ могъ быть въ числѣ недовольныхъ, но не былъ въ числѣ опальныхъ.

Императоръ Николай не препятствовалъ и Жуковскому, человѣку приближенному ко Двору и къ самому царскому семейству, быть въ сношеніяхъ съ другомъ своимъ Николаемъ Тургеневымъ и упорно и смѣло ходатайствовать за него устно и письменно. Тѣмъ болѣе не могъ онъ негодовать на двухъ братьевъ Тургеневыхъ за то, что они по связямъ родства и любви, не отрекались отъ несчастнаго брата своего. Въ то время разсказывали даже слѣдующее. Вскорѣ по учрежденіи слѣдственной коммиссіи по дѣламъ политическихъ обществъ, Жуковскій спрашивалъ Государя: нужно-ли Николаю Тургеневу, находящемуся за-границею, возвратиться въ Россію? Государь отвѣчалъ: „Если спрашиваешь меня, какъ Императора, скажу: нужно. Если спрашиваешь меня какъ частнаго человѣка, то скажу: лучше ему не возвращаться“. — Не помню въ точности, слышалъ-ли я этотъ разсказъ отъ самого Жуковскаго,

или отъ кого другого; а потому и не ручаюсь въ достовѣрности этихъ словъ. Но, по убѣжденію моему, они не лишены правдоподобія.—А вотъ другое обстоятельство, которое живо запечатлѣлось въ памяти моей. Жуковскій разсказывалъ мнѣ слѣдующее и читалъ мнѣ письма, относящіяся къ этому дѣлу. Спустя уже нѣсколько времени, Тургеневъ, по собственному желанію своему, изъявилъ готовность пріѣхать въ Россію и предать себя суду. Онъ писалъ о томъ Жуковскому, который поспѣшилъ доложить Государю. Императоръ изъявилъ на то согласіе свое. Дѣло пошло въ ходъ, но по силѣ вещей, по силѣ дѣйствительности, не могло быть доведено до конца. Не состоялось оно, между прочимъ, и потому, что не только трудно было, но положительно несбыточно, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, возобновить бывшее слѣдствіе и бывшій судъ. Обвиненія, павшія на Тургенева, были неисключительно частныя и личныя. Это былъ не уголовный, обыкновенный процессъ, за отдѣльный проступокъ; дѣло было государственное и въ связи со многими другими; а изъ этихъ другихъ, иныхъ не было уже на свѣтѣ; прочіе сосланы были въ отдаленныя мѣста Сибири. Голословное сужденіе о виновности Тургенева не повело бы ни къ какому юридическому заключенію. Поднять на ноги все минувшее и весь злополучный процессъ было дѣло невозможное. Такъ оно и кончилось. Честный пріятель Тургеневыхъ и вовсе въ понятіяхъ и стремленіяхъ своихъ *не ретроградный* Дашковъ, говорилъ мнѣ въ то время, что попытка Тургенева оправдать себя на возобновленномъ судѣ не имѣетъ для себя никакой юридической почвы и пользы принести не можетъ. Александръ Тургеневъ, раздраженный обстоятельствами и глубоко уязвленный въ любви своей брату, поссорился при этомъ случаѣ съ Дашковымъ, какъ онъ прежде поссорился съ Блудовымъ. Онъ полагалъ, что Дашковъ, изъявленіемъ мнѣнія своего, затормозилъ и окончательно прекратилъ всѣ дальнѣйшія попытки брата и его самого.

Взвѣшивая безпристрастно всѣ обстоятельства этого дѣла и вѣроятныя послѣдствія его, можно, кажется, придти къ тому заключенію, что нечего сожалѣть о неудачѣ начатыхъ переговоровъ. Конечно, изгнаніе для Тургенева было тяжкое испытаніе, особенно

въ началѣ. Но все же не было оно ссылкою въ Сибирь и на каторжныя работы. Вѣрю вполнѣ, что *виновность* Тургенева не доходила до *преступленія;* но за то на дѣлѣ и не раздѣлялъ онъ нуждъ и страданій бывшихъ сочленовъ своихъ, чтобы не сказать сообщниковъ: онъ пользовался свободою и, благодаря самоотверженію брата своего Александра, пользовался всѣми удобствами и угодьями жизни.

На той же страницѣ сказано, что Жуковскій *имѣлъ отраду убѣдить предержащія власти въ политической честности своего друга.* Кажется, и это не совсѣмъ такъ. Если подъ словомъ честности разумѣть въ этомъ случаѣ совершенную невинность, политическую невинность, то нѣтъ сомнѣнія, что послѣ убѣжденія предержащихъ властей, свободное возвращеніе въ Россію Тургенева было бы разрѣшено; но этого не было и быть не могло. Самъ Жуковскій въ одной докладной запискѣ своей Государю пишетъ: „Прошу на колѣняхъ Ваше Императорское Величество оказать мнѣ милость. Смѣю надѣяться, что не прогнѣваю васъ сею моею просьбою. Не могу не принести ея Вамъ, ибо не буду имѣть покоя душевнаго, пока не исполню того, что́ почитаю священнѣйшею должностію. Государь, снова прошу о Тургеневѣ; но уже не о его оправданіи: если чтеніе бумагъ его не произвело надъ Вашимъ Величествомъ убѣжденія въ пользу его невиновности, то уже онъ ничѣмъ оправданъ быть не можетъ“. Далѣе, Жуковскій проситъ, по разстроенному здоровью Николая Тургенева, разрѣшенія ему выѣхать изъ Англіи, климатъ коей вреденъ ему, и обезпечить его отъ опасенія *преслѣдованія.* „По волѣ Вашей, продолжаетъ Жуковскій, сего преслѣдованія быть не можетъ; но наши иностранныя миссіи сочтутъ обязанностью не позволять ему имѣть свободное пребываніе въ земляхъ, отъ вліянія ихъ зависящихъ“. Докладная записка, или всеподданнѣйшее письмо, заключается слѣдующими словами: „Государь, не откажите мнѣ въ сей милости. Съ восхитительнымъ чувствомъ благодарности къ Вамъ, она прольетъ и ясность, и спокойствіе на всю мою жизнь, столь совершенно Вамъ преданную“. Голосъ дружбы не напрасно ходатайствовалъ предъ Государемъ: съ той поры Николай Тургеневъ могъ безопасно

жить въ Швейцаріи, во Франціи и вездѣ, гдѣ хотѣлъ за-границею. Мы привели выписку изъ прошенія Жуковскаго, чтобы доказать, что если онъ былъ убѣжденъ въ политической невиновности Тургенева, то *предержащія власти* не раздѣляли этого убѣжденія.

Не знаю о какихъ оправдательныхъ бумагахъ Тургенева говоритъ Жуковскій въ письмѣ своемъ къ Государю; но помню одну оправдательную записку, присланную изгнанникомъ изъ Англіи. Въ бытности моей въ Петербургѣ, былъ я однажды приглашенъ княземъ А. Н. Голицынымъ, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, и вѣроятно по указанію Жуковскаго, на чтеніе вышепомянутой записки. Передъ чтеніемъ, князь сказалъ намъ улыбаясь: „Мы поступаемъ немного беззаконно, составляя изъ себя комитетъ, не разрѣшенный правительствомъ; но такъ и быть, приступимъ къ дѣлу“. По окончаніи чтенія, сказалъ онъ: „cette justification est trop à l'eau de rose“ [1]). Князь Голицынъ былъ человѣкъ отмѣнно благоволительный; онъ вообще любилъ и поддерживалъ подчиненныхъ своихъ. Александра Тургенева уважалъ онъ и отличалъ особенно. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ обрадовался-бы первой возможности придраться къ случаю быть защитникомъ любимаго брата любимаго имъ Александра Тургенева; однако же записка не убѣдила его. По минованіи стольких лѣтъ, разумѣется, не могу помнить полный составъ ея; но по оставшемуся во мнѣ впечатлѣнію, нашелъ и я, что не была она вполнѣ убѣдительна. Это была скорѣе адвокатская рѣчь, болѣе или менѣе искусно составленная на извѣстную задачу; но многое оставалось въ ней неяснымъ и какъ будто недосказаннымъ.

Прибавимъ еще нѣсколько словъ по этому поводу. Полемика о виновности или невинности Николая Тургенева была уже не однажды, хотя и поверхностно, возбуждена въ печати. Выразимъ о томъ и свои соображенія. По мнѣнію нашему, учрежденіе тайнаго общества и участіе въ немъ, съ цѣлью болѣе или менѣе политическою, съ цѣлью замѣнить существующій государственный порядокъ новымъ порядкомъ, есть преступленіе: оно заключаетъ въ себѣ виновность не только противъ правительства, но, можно сказать, еще болѣе противъ гражданскаго общества, противъ на-

[1]) Въ этомъ оправданіи слишкомъ много розовой воды.

родной гражданской семьи, къ которой принадлежишъ. Горсть людей изъ этой семьи, какія ни были-бы побужденія и цѣли ихъ, никогда не въ правѣ, по собственному почину своему, распоряжаться судьбами Отечества и судьбами тысячи и милліоновъ ближнихъ своихъ. Возставая противъ злоупотребленій настоящаго и противъ произвола лицъ власть имѣющихъ, эти господа сами покушаются на величайшій произволъ: они присвоиваютъ себѣ власть, которая ни въ какомъ случаѣ имъ законно не принадлежитъ. Они, въ кружкѣ своемъ, мимо всего общества сограждапъ своихъ, тайно, притворно, двулично, замышляютъ дѣло, котораго не могутъ они предвидѣть ни значеніе, ни исходъ. Можно сказать почти утвердительно, что никакое тайное политическое общество не достигало цѣли своей: оно никогда и нигдѣ никого и ничего не спасало, но часто проливало много неповинной крови и губило много жертвъ.

Малое-ли время и мало-ли было тайныхъ политическихъ обществъ въ Италіи въ послѣднее пятидесятилѣтіе? Вся Италія, съ своими Карбонарами и другими имъ подобными, была обширная и неугасимая кузница, въ которой ковались всевозможные заговоры. Что-же сдѣлали эти общества? Ровно ничего. Кавуръ одинъ освободилъ Италію при содѣйствіи и подъ прикрытіемъ штыковъ и пушекъ Наполеона III. Изъ исторіи, можетъ быть, видимъ еще примѣры нѣкоторыхъ нужныхъ и полезныхъ переворотовъ, подготовленныхъ какъ будто самимъ историческимъ промысломъ. Въ подобныхъ переворотахъ возникаютъ великія личности, обреченныя Промысломъ на такой-то день, на такой-то подвигъ. Но въ тайномъ обществѣ есть всегда съ одной стороны непомѣрное высокомѣріе или злой умыселъ, а съ другой робкое малодушіе и легкомысліе. Эта необходимость облекаться всегда доспѣхами лжи, лукавить, промышлять предательствами, должна окончательно имѣть пагубное вліяніе на понятія и самыя чувства. Все это, такъ сказать, съеживаетъ внутреннее достоинство человѣка, ограничиваетъ горизонтъ его и заражаетъ его исключительными предубѣжденіями касты, въ самой себѣ замкнутой.

По стеченію какихъ обстоятельствъ, неизвѣстно, но Николай Тургеневъ былъ въ Петербургѣ членомъ тайнаго политическаго общества. Если и не былъ онъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ чле-

новъ, однимъ изъ двигателей его, то сила вещей такъ сложилась, что долженъ онъ былъ быть однимъ, если не единственнымъ, то главнымъ лицомъ въ этомъ обществѣ. Серьезный складъ ума его, самая наружность его, серьезная и нѣсколько строгая, образованность его, свѣдѣнія по наукѣ финансовъ и по другимъ государственнымъ наукамъ, высота его надъ умственнымъ уровнемъ окружавшихъ его, независимость и благородство характера, все это должно было обращать вниманіе на него. Серьезныхъ политическихъ людей въ обществѣ было мало, очень мало. Молодежь, смутно тревожимая стремленіями, еще неясно и неположительно опредѣлившимися, должна была сочувственно и съ надеждою смотрѣть на Тургенева, какъ на наставника, какъ на будущаго руководителя и вождя. Можетъ быть, умъ Тургенева не могъ быть причисленъ къ разряду умовъ очень обширныхъ и производительныхъ. Кажется, въ умѣ его было мало гибкости и движенія: онъ не отсвѣчивался оттѣнками; умъ его былъ одноцвѣтенъ. Но за то, онъ былъ человѣкъ нѣсколькихъ твердыхъ и честныхъ убѣжденій, это свойство встрѣчается рѣже, чѣмъ другія болѣе блестящія. Эти убѣжденія съ нимъ срослись; они врѣзались въ немъ неизгладимо, и неистребимо, какъ на завѣтныхъ каменныхъ доскахъ. Вступая въ тайное общество онъ, вѣроятно, хотѣлъ и надѣялся провести эти убѣжденія въ средѣ сочленовъ своихъ, съ тѣмъ чтобы позднѣе могли они разлиться далѣе и проникнуть въ самое гражданское общество. Одно изъ таковыхъ убѣжденій была человѣческая и государственная необходимость освобожденія крестьянъ въ Россіи отъ крѣпостнаго состоянія. Это желаніе, эта завѣтная дума были присущи и другимъ въ то время. Между прочими, Батюшковъ, мало занимавшійся политическими вопросами, написалъ въ 1814-мъ году прекрасное четверостишіе, въ которомъ, обращаясь къ императору Александру, говорилъ, что послѣ окончанія славной войны, освободившей Европу, призванъ онъ Провидѣніемъ довершить славу свою и обезсмертить свое царствованіе освобожденіемъ Русскаго народа. Къ сожалѣнію, утратились эти стихи и въ бумагахъ моихъ, и изъ памяти моей. Но въ Тургеневѣ эта мысль была не летучимъ вдохновеніемъ, а такъ сказать idée fixe, символомъ политической религіи его. Онъ ее всюду и всегда проповѣдывалъ. Онъ

былъ ревностнымъ апостоломъ ея. Здѣсь стоялъ онъ на твердой почвѣ, и на почвѣ совершенно родной, совершенно Русской. Но, кажется, сочлены его худо слѣдовали за нимъ по этой почвѣ. Большинство изъ нихъ увлекалось болѣе условными, космополитическими соображеніями: оно хотѣло, во что́ бы ни стало, переворота и не удовольствовалось коренными улучшеніями. Мы уже замѣтили выше, что серьезныхъ политическихъ дѣятелей въ обществѣ почти не оказывалось. Тургеневъ, можетъ быть, и самъ былъ не чуждъ нѣкоторыхъ умозрительныхъ началъ западной конституціонной идеалогіи; но въ немъ, хотя онъ и мало жилъ въ Россіи и мало зналъ ее практически, билась живая народная струя. Онъ страстно любилъ Россію и страстно ненавидѣлъ крѣпостное состояніе. Равнодушіе или, по крайней мѣрѣ, не довольно горячее участіе членовъ общества въ оживотвореніи этого вопроса, вѣроятно, открыло глаза Тургеневу; а открывши ихъ, могъ онъ убѣдиться, что и это общество, и всѣ его замыслы и разглагольствія ни къ чему хорошему и путному повести не могутъ.

Вотъ что, между прочимъ, по этому поводу, говорилъ Жуковскій въ одной изъ защитительныхъ своихъ докладныхъ записокъ на Высочайшее имя, въ пользу Тургенева (ибо онъ былъ точно адвокатомъ его предъ судомъ Государя).

„По его мнѣнію (т.-е. Тургенева), которое и мнѣ было давно извѣстно, освобожденіе крестьянъ въ Россіи можетъ быть съ успѣхомъ произведено только верховною властью самодержца. Онъ имѣлъ мысли свободныя, но въ то же время имѣлъ умъ образованный. Онъ любилъ конституцію въ Англіи и въ Америкѣ и зналъ ея невозможность въ Россіи. Республику-же вездѣ почиталъ химерою. Вступивъ въ него (въ общество), онъ не надѣялся никакой обширной пользы, ибо зналъ, изъ какихъ членовъ было оно составлено; но счелъ должностью вступить въ него, надѣясь хотя нѣсколько быть полезнымъ, особенно въ отношеніи къ цѣли своей, то-есть къ освобожденію крестьянъ. Но скоро увидѣлъ онъ, что общество не имѣло никакого дѣла, и что члены, согласившись съ нимъ въ главномъ его мнѣніи, то есть въ необходимости отпустить крѣпостныхъ людей на волю, не исполняли сего на самомъ дѣлѣ. Это совершенно его къ обществу охладило. И во всю бытность

свою членомъ, онъ находился не болѣе пяти разъ на такъ-называемыхъ совѣщаніяхъ, въ коихъ говорено было не о чемъ иномъ, какъ только о томъ, какъ бы придумать для общества какое-нибудь дѣло. Сіи разговоры изъ частныхъ, то-есть относительныхъ къ обществу, обыкновенно обращались въ общіе, то-есть въ разговоры о томъ, что въ то время дѣлалось въ Россіи, и тому подобное".

Далѣе Жуковскій говоритъ въ той же запискѣ:

„Если онъ былъ признаваемъ однимъ изъ главныхъ, по всеобщему къ нему уваженію, то еще не значитъ, чтобы онъ былъ главнымъ дѣйствователемъ общества. На это нѣтъ доказательствъ".

Все это не подкрѣпляетъ-ли правду словъ нашихъ, что честному и благоразумному человѣку не слѣдуетъ вступать ни въ какое тайное общество? Съ честнѣйшими, лучшими преднамѣреніями можно попасть въ просакъ, или въ ловушку: дѣлаешься не только участникомъ, но, по общинному началу, и отвѣтственнымъ лицемъ за рѣчи, за дѣянія, отъ коихъ внутри совѣсти отрекаешься. Вступая въ общество, можетъ быть знаешь головы его, но не знаешь хвоста; а въ подобныхъ сходбищахъ хвостъ часто перетягиваетъ голову и тащитъ ее за собою.

Жуковскій гораздо короче моего зналъ Николая Тургенева. Всѣ защитительныя соображенія, приводимыя имъ въ запискахъ своихъ, вѣроятно, сообщены были ему самимъ Тургеневымъ. Принимать-ли все сказанное на вѣру, или подвергать безпристрастному и строгому изслѣдованію и анализу, не входитъ въ нашу настоящую задачу. Могу только отъ себя прибавить, что, по моему убѣжденію, Тургеневъ былъ въ полномъ смыслѣ честный и правдивый человѣкъ; но все-же былъ онъ предъ судомъ виновенъ: виновенъ и предъ нравственнымъ судомъ. Какъ-бы то ни было, можно положительно сказать, что онъ не былъ-бы на Сенатской площади 14-го Декабря. Сослуживецъ и пріятель государственнаго Прусскаго мужа Штейна, онъ могъ-бы съ нимъ участвовать въ упованіяхъ и тайныхъ стремленіяхъ какого-нибудь Tugenbund'a, но всегда былъ бы противенъ понятіямъ его, чувствамъ и правиламъ всякой уличный бунтъ. Съ другой стороны убѣжденъ я и въ томъ, что Тургеневъ, сознавшій всю несостоятельность общества для правильнаго дѣйствія въ предѣлахъ, которые онъ себѣ, по совѣсти, предназна-

чилъ, и убоясь увлеченій этого общества по дорогѣ, на которой онъ остановить его былъ-бы не въ силахъ, пришелъ къ заключенію, что необходимо ему окончательно удалиться изъ общества и прекратить съ нимъ всѣ сношенія. Это онъ и исполнилъ, отправившись за границу. Таковы мои личныя догадки, почти убѣжденія. Разумѣется, могу и ошибаться.

Совокупляя и провѣряя всѣ эти соображенія, невольно приходишь къ одному грустному заключенію: жаль, что Тургеневъ былъ увлеченъ политическимъ водоворотомъ. Честное и почетное мѣсто ожидало его въ рядахъ государственныхъ Русскихъ дѣятелей. Изо всѣхъ несчастныхъ жертвъ, которыхъ разгромила и похитила гроза 14-го декабря, онъ да можетъ быть еще человѣка два-три, не болѣе, носили въ себѣ залоги чего-то, которое могло созрѣть въ будущемъ и принести плодъ. Часто повторяютъ, что гроза 14-го Декабря погубила прекрасную жатву дарованій и гражданскихъ надеждъ, которымъ не дано было возможности развернуться и осуществиться. Все это, не сомнѣваюсь, сострадательныя и добросовѣстныя сѣтованія, но не выдерживающія безпристрастной и строгой повѣрки. Въ государственномъ и политическомъ значеніи и говорить нечего: дѣла прискорбно и громко говорятъ сами за себя. Сама затѣя совершить государственный переворотъ на тѣхъ началахъ и при тѣхъ способахъ и средствахъ, которые были въ виду, уже побѣдоносно доказываетъ политическую несостоятельность и умственное легкомысліе этихъ мнимыхъ и самозванныхъ преобразователей. Были между ними благодушныя, скажу, чистыя личности, у которыхъ умъ зашелъ за разумъ, которыя много зачитались и мало надумались. Ихъ соблазняла слава гражданскаго подвига. Они мечтали, что стоитъ только захотѣть, стоитъ только заключить союзъ благоденствія или какой другой, обязать себя клятвою, и дѣло народнаго спасенія и перерожденія возникнетъ, какъ будто само собою. Это были утописты, романтическіе политики. Много зналъ я таковыхъ. Прочіе, большинство, были политическіе диллетанты, любители политическихъ зрѣлищъ и дѣйствій. Многіе изъ нихъ вступали въ тайное общество, какъ приписывались къ Масонамъ, къ членамъ благотворительныхъ и литературныхъ обществъ, даже къ членамъ Англійскаго клуба: приписывались съ

тѣмъ, чтобы въ собственныхъ глазахъ своихъ быть и казаться чѣмъ нибудь. Приманка тайны была всесильнымъ соблазномъ для нихъ. Она дѣлалась для нихъ освященіемъ. Сами на себя смотрѣли они съ какимъ-то благоговѣніемъ. Все это исторія почти всѣхъ тайныхъ обществъ, особенно нашего. Много пало и падаетъ жертвъ, по закону виновныхъ, по нравственному и физіологическому сужденію невинныхъ или непорочныхъ, въ которыхъ недугъ былъ не самородный, а привитой. О несчастныхъ можно, и даже должно, сожалѣть, будь они увлекатели, или увлеченные; но все-же изъ того не слѣдуетъ, что каждое несчастіе должно возводить на амвонъ и преклонять предъ нимъ колѣна, какъ предъ святынею.

Обратимся теперь къ мнимымъ нашимъ литтературнымъ утратамъ. Въ поэтическомъ дарованіи Рылѣева не было ничего такого, что могло-бы въ будущемъ обѣщать великія поэтическія созданія; что было въ немъ поэтическаго, онъ все высказалъ. Стало быть, не въ литтературномъ отношеніи можно сожалѣть о преждевременной погибели его. Можно въ немъ оплакивать только человѣка увлеченнаго при жизни фанатизмомъ политическимъ, возросшимъ до крайней степени и вѣроятно безкорыстнымъ. Извѣстный стихъ его:

Меня судьба ужъ обрекла

былъ искренній стихъ, глубоко имъ прочувствованный и для него самого пророческій. Въ предсмертные дни, судя по письмамъ его, онъ смиренно и съ покорностью сознавалъ заблужденія свои. Александръ Бестужевъ, и послѣ тяжкой участи, постигшей его, имѣлъ все время выдать и осуществить весь запасъ дарованія своего. Тоже можно сказать и о Кюхельбекерѣ. Стало быть, буря 14-го декабря не губительно опустошила ниву литтературы нашей. И здѣсь можно сожалѣть о людяхъ, по чувству человѣческому, а не о погибшихъ надеждахъ, которыя обѣщали намъ богатую литтературную жатву.

Но Тургеневъ имѣлъ въ себѣ способности, которыя готовили въ немъ хорошаго и замѣчательнаго дѣятеля. Нельзя не сожалѣть, что участіе его, или пожалуй злополучное присутствіе его въ тайномъ обществѣ лишило его возможности быть гласно полезнымъ Отечеству. Онъ любилъ дѣятельную службу. Къ ней призывали его горячее желаніе благотворнаго труда, непреклонная правота его, по-

знанія въ дѣлѣ государственнаго управленія. Познанія эти съ каждымъ годомъ совершенствовались и росли; опытность увѣнчала-бы ихъ полнымъ успѣхомъ. Въ праздномъ изгнаніи своемъ скучалъ онъ бездѣйствіемъ, тосковалъ по дѣятельнымъ занятіямъ своимъ въ канцеляріи Государственнаго Совѣта. Если былъ-бы онъ и совершенно чуждъ всякихъ честолюбивыхъ замысловъ, все-же могъ онъ въ изгнаніи своемъ упрекать себя, что не пошелъ далѣе и выше по законной дорогѣ, которая открыта была предъ нимъ. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ достигъ-бы на ней значенія и положенія, которыя раскрыли-бы предъ нимъ широкое поприще государственной дѣятельности. Еще одно замѣчаніе. Если главною и завѣтною думою его, было—и нѣтъ повода здѣсь къ сомнѣнію—освобожденіе крестьянъ, то какъ не пожалѣть, что онъ, отсутствіемъ изъ Россіи, лишилъ себя законнаго участія въ совершеніи подвига, который считалъ онъ необходимымъ и святымъ? Правда, дожидался-бы онъ долго, но все-же дождался-бы этого радостнаго и обѣтованнаго для него дня. Какъ-бы то ни было, все-же могъ онъ сказать: „нынѣ отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу Твоему, съ миромъ“.

Вѣроятно, никто болѣе его не возрадовался событіемъ 19-го Февраля. Съ этимъ событіемъ жизнь его, соскочившая когда-то съ законной колеи, могла снова стать на прямую дорогу свою. Было-ли ему, между тѣмъ, грустно, что дѣло сдѣлалось и безъ него, сказать трудно; но во всякомъ случаѣ долженъ былъ онъ самъ на себя посѣтовать, что погубилъ около тридцати годовъ своей жизни, безъ участія въ дѣлахъ и судьбѣ Отечества, которое любилъ онъ пламенно и которому могъ-бы служить усердно и полезно.

Я здѣсь нѣсколько распространился въ общихъ и частныхъ соображеніяхъ, во первыхъ потому, что такая за мною водится привычка и слабость; а во вторыхъ потому, что мнѣ казалось нужнымъ сказать, при случаѣ, мнѣніе мое въ спорномъ и нѣсколько загадочномъ дѣлѣ.

Къ событіямъ и лицамъ, болѣе или менѣе историческимъ, нужно, по мнѣнію моему, приступать и съ историческою правдивостью и точностью. Сохрани Боже легкомысленно клепать и добровольно наводить тѣни на нихъ; но не хорошо и раскрашивать исторію и лица ея идеализировать; тѣмъ болѣе, что возвышая иныхъ не въ

мѣру, можно тѣмъ самымъ понижать другихъ несправедливо. Исторія должна быть безпристрастною и строгою возмездницею за дѣла и слова каждаго, а не присяжнымъ обвинителемъ и не присяжнымъ защитникомъ.

CX.

ПО ПОВОДУ ЗАПИСОКЪ ГРАФА ЗЕНФТА.

(MÉMOIRES DU COMTE DE SENFFT, ANCIEN MINISTRE DE SAXE. 1863).

НАПОЛЕОНЪ I.—АЛЕКСАНДРЪ I.—ЛАГАРПЪ.—КНЯЗЬ ЧАРТОРЫЙСКІЙ.—СПЕРАНСКІЙ.—ГРАФЪ КАПОДИСТРІЯ.—ПРИПИСКА.

1876.

I.

Книга, выше озаглавленная, кажется, мало извѣстна; но не лишена она исторической занимательности. Графъ Зенфтъ былъ Саксонскимъ посланникомъ при дворѣ Наполеона I. Можетъ быть, и не былъ онъ дипломатъ первостатейный, не Талейранъ, не Поццо-ди-Борго; но чтеніе книги его убѣждаетъ читателя, что онъ былъ умный, честный и добросовѣстный повѣствователь событій, въ которыхъ, хотя и находился второстепеннымъ участникомъ, но всегда внимательнымъ и ясновидящимъ зрителемъ. Подобные свидѣтели и разскащики могутъ иногда внушать болѣе довѣренности, нежели главныя дѣйствующія лица: на нихъ менѣе лежитъ отвѣтственности; ихъ *я* не столько нуждается въ восхваленіи или оправданіи дѣйствій своихъ.

Саксонія, какъ извѣстно, оставалась вѣрною союзницею Наполеона, когда другіе Германскіе союзники его, или просто узники одинъ за другимъ, пользуясь побѣдами Русскаго войска, отходили и освобождались отъ прежняго побѣдителя. Впрочемъ, точнѣе сказать, не Саксонія оставалась вѣрна, а король ея оставался вѣренъ Наполеону. Предпочитая политикѣ личную честность, онъ не хо-

тѣлъ измѣнять союзнику, почти повелителю, въ то самое время, когда счастіе начало измѣнять прежнему своему любимцу. Было одно время, что въ Дрезденѣ царствовалъ не король, находившійся тогда въ роли плѣнника, а князь Репнинъ [1]).

Судя по запискамъ Зенфта, не всѣ государственные люди въ Саксоніи раздѣляли рыцарскія сочувствія короля и приверженность его къ Наполеону. Въ запискахъ, о коихъ идетъ рѣчь, не щадятъ его и не рисуютъ въ благопріятномъ свѣтѣ. Вотъ что, между прочимъ, встрѣчаемъ въ нихъ: „Маркизъ Досмонъ (le marquis d'Osmond), „столь достойный почтенія, въ благородной простотѣ удаленія сво„его отъ дѣлъ (retraite) ни малѣйшимъ пятномъ не задѣтый, имѣлъ „полное право сказать объ императорѣ Наполеонѣ: кто до него „дотронется, тотъ запачкается (quiconque y touche, se salit)".

А вотъ любопытныя и характеристическія отмѣтки о Наполеонѣ, при проѣздѣ его чрезъ Дрезденъ, послѣ несчастнаго путешествія въ Россію. „Онъ явился въ комнатѣ, въ которой всѣ собрались и ожидали его, уже одѣтый въ дорожное платье. Вошелъ онъ напѣвая въ полъ-голоса (en fredonnant) какую-то пѣсеньку, съ видомъ насмѣшливымъ и самодовольнымъ (un air goguenard). Ясно было, что онъ хотѣлъ казаться неподавленнымъ подъ гнетомъ величайшаго бѣдствія. Такое притворство не было приличнымъ выраженіемъ бодрости души высокой: оно, можетъ быть, скорѣе выказывало недостатокъ истиннаго великодушія и правильнаго образа мыслей. Подобное свойство и расположеніе ума его не было-ли слѣдствіемъ понятій, которыя остались въ немъ отъ первоначальнаго воспитанія и сдѣлались ему привычными и сродными? Такая черта характера можетъ быть присуща и настоящему величію, но она именно обличаетъ себя въ минуты великихъ кризисовъ и переломовъ, подобныхъ тѣмъ, которыхъ были мы свидѣтелями, когда почти непостижимымъ образомъ внезапно угасалъ и разсѣявался призракъ, такъ долго поражавшій міръ удивленіемъ. Къ нѣкоторымъ изъ присутствовавшихъ лицъ Наполеонъ обращался съ вопросами, относившимися болѣе до предлежавшаго ему пути. Поговоривъ немного съ королемъ, онъ поспѣшно отобѣдалъ и въ семь

[1]) Намъ случилось видѣть офиціальныя бумаги, на Нѣмецкомъ языкѣ, за подписью: Fürst Repnin, Vice-König von Sachsen.

часовъ вечера сѣлъ съ герцогомъ Виченскимъ въ карету королевы. Карета поставлена была на санныя полозья. По отъѣздѣ его, г-нъ де Серра сказалъ, что многіе въ Германіи, если бы догадались, что̀ вмѣщаетъ въ себѣ эта карета, дали бы ей знать себя (jouer quelque mauvais tour)".

Разсказъ простой и въ сущности маловажный; но подъ этими немногими словами подразумѣвается и чуется сцена изъ великой и роковой драмы.—Далѣе авторъ говоритъ, что, „вызывая новыя усилія со стороны Поляковъ, Наполеонъ сказалъ: „Польскій вопросъ становится очень затруднительнымъ; но Герцогство Варшавское должно устоять, будь оно оставлено въ рукахъ Саксонскаго короля, или передано кому другому".

Нельзя здѣсь не замѣтить, что есть вопросы, которые исторія и время постоянно подымаютъ въ извѣстные дни и при извѣстныхъ обстоятельствахъ. Таковы, напримѣръ, вопросы: Польскій и Восточный. Еще со временъ Екатерины не сходятъ они съ очереди; дипломатія и публицистика живутъ и промышляютъ ими. На нѣсколько времени они какъ бы и кое-какъ разрѣшаются и будто сдаются въ архивъ; но, неугомонные, они и тамъ окончательно не засыпаютъ. Вдругъ, ни съ того, ни съ другого, выскакиваютъ они изъ архива, стряхиваютъ съ себя пыль и снова колобродятъ по бѣлому свѣту. Такіе вопросы задавались на рѣшеніе Промысла и Россіи и Наполеономъ I-мъ, и Наполеономъ III-мъ.

А вотъ еще выписка изъ этой книги, болѣе для насъ любопытная:

„Россійскій императоръ въ Эрфуртѣ, 1808 года, говорилъ Саксонскому королю, что онъ чувствуетъ себя лучшимъ (se sent meilleur) послѣ каждой бесѣды съ императоромъ Наполеономъ, и что часъ разговора съ этимъ великимъ человѣкомъ обогащаетъ его болѣе, нежели десять лѣтъ опытности".

Точно-ли въ такихъ словахъ выразилъ Александръ мысль свою, неизвѣстно. Можно даже, съ нѣкоторою достовѣрностью, предполагать, что сказанныя имъ слова были умѣреннѣе и нотою ниже здѣсь пересказанныхъ; но сущность, но смыслъ и духъ ихъ очень правдоподобны. Время Эрфуртскаго свиданія было временемъ выс-

шаго увлеченія Александра и вѣроятно искреннихъ сочувствій его къ Наполеону.

Извѣстно, что при драматическомъ представленіи у Наполеона въ Эрфуртѣ, devant un parterre de rois (какъ говорили въ то время), когда актеръ произнесъ стихъ

L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux,

Императоръ Александръ, сидѣвшій рядомъ съ Наполеономъ, схватилъ руку его и крѣпко пожалъ ее.

Какъ ни подозрѣвали Александра въ прирожденной и благопріобрѣтенной хитрости, какъ ни былъ онъ, въ полномъ значеніи слова, себѣ на умѣ, но нѣтъ повода сомнѣваться въ искренности движенія его и обаянія, которому онъ покорялся. Это обаяніе даже очень понятно и естественно: Наполеонъ былъ изъ малаго числа геніальныхъ и свѣтлыхъ умовъ, когда страсть честолюбія не омрачала его. Всѣ приближенные къ нему согласовались въ томъ, что въ обхожденіи, въ рѣчи его было много обольстительнаго, особенно когда нужно было ему кого нибудь приголубить и околдовать. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ заряды, всѣ чары умственнаго кокетства его были обращены на Александра. Многое въ характерѣ Наполеона еще не успѣло тогда выясниться. Ненасытный честолюбецъ еще не вполнѣ и не до наготы сорвалъ съ себя личину свою. Очень натурально, что онъ обольстилъ младшаго собесѣдника своего, впечатлительнаго и нѣсколько склоннаго къ идеализаціи. Прибавимъ, впрочемъ мимоходомъ, что Эрфуртскія впечатлѣнія могли и не закоренѣть въ Александрѣ; но они и не закоренились. Характеръ Александра былъ не изъ одного слоя образованъ: въ немъ оттѣнковъ было много. За порою обаянія могла слѣдовать пора отрезвленія; за порою довѣрчивости—пора не только охлажденія, но и мнительности. Все это человѣческое, а особенно царское. Царю трудно быть постоянно идеалистомъ: изъ области надоблачной или безоблачной, въ которой духъ его витаетъ, сами-же люди снизводятъ его на землю и часто переиначиваютъ этотъ духъ въ школѣ опыта, дознанія, разочарованія, а иногда и раскаянія въ излишней довѣрчивости.

Въ Императорѣ Александрѣ могло скрываться еще другое по-

бужденіе, которое тогда влекло его къ Наполеону. Мы уже говорили о строѣ ума его, нѣсколько романическомъ. Но этотъ умъ имѣлъ еще другой отпечатокъ, вслѣдствіе первоначальнаго воспитанія его, подъ руководствомъ Лагарпа: а именно, отпечатокъ слегка демократическій. Извѣстно, что Государь мало обольщался блескомъ присвоеннымъ рожденію и званію. Въ Наполеонѣ, вѣроятно, нравился ему человѣкъ, который власти не наслѣдствовалъ, а пріобрѣлъ ее и царствованіе самъ собою, завоевалъ ихъ силою ума и воли, цѣною подвиговъ, едва-ли въ исторіи не безпримѣрныхъ. Съ этой точки зрѣнія Александръ могъ ставить Наполеона въ воображеніи и сочувствіи своемъ на подножіе, которое превышало все окружающее и все знакомое.

Впрочемъ, не одинъ Александръ въ семействѣ своемъ былъ временно подъ очарованіемъ Наполеона. Помню, какъ за обѣдомъ у Великой Княгини Екатерины Павловны, въ Твери, возникъ оживленный споръ между Великимъ Княземъ Константиномъ Павловичемъ и Карамзинымъ. Первый говорилъ съ восторгомъ о Наполеонѣ и съ одушевленіемъ превозносилъ геніальныя качества его; другой, съ хладнокровіемъ и строгостью историка, судилъ о немъ болѣе умѣренно и отклонялъ излишнія похвалы, ему возносимыя. Споръ длился. Наконецъ Карамзинъ—какъ самъ въ томъ послѣ сознался—утомленный этими преніями, сказалъ, что за многіе подвиги и успѣхи свои Наполеонъ часто и преимущественно былъ обязанъ ошибкамъ противниковъ своихъ. Эти слова не совсѣмъ были умѣстны и царедворны; но они сорвались съ утомленнаго языка. Карамзинъ спохватился, но поздно: сказаннаго слова не воротишь. Впрочемъ, споръ кончился мирно и благополучно, то есть каждая сторона осталась при своемъ мнѣніи.

Были приверженцы Наполеону и въ правительственной Русской средѣ: напримѣръ канцлеръ графъ Николай Петровичъ Румянцовъ и Сперанскій. Разумѣется, тотъ и другой полагали, что для Россіи выгоднѣе было держаться политики его, нежели прекословить ей и раздражать Наполеона. Карамзинъ, какъ мы видѣли, былъ не поклонникъ Наполеона, но также не желалъ разрыва съ нимъ, то есть войны. Онъ опасался ея для благоденствія и цѣлости Россіи. Историкъ не угадалъ 1812-го года, но и не обязанъ былъ

угадывать его. Исторія есть наука не предположеній и не гаданій: она преимущественно наука опытности и преподающая уроки ея правительствамъ и народамъ.

II.

Мы имѣли уже случай отмѣтить способность Императора Александра пристращаться къ лицамъ: онъ также пристращался къ мыслямъ и предпріятіямъ. Вообще привязывался онъ и предавался лицамъ только тогда, когда они казались ему представителями мысли имъ возлюбленной, или надежными орудіями для совершенія задуманнаго предпріятія. Онъ не имѣлъ при себѣ того, что на придворномъ языкѣ называется любимцемъ или фаворитомъ; но при немъ были и имъ самимъ уполномочивались вліятельныя лица.

Натуры, одаренныя способностью увлекаемости, бываютъ обыкновенно и сами привлекательны. Умъ и сердце ихъ имѣютъ нѣсколько открытыхъ, доступныхъ сторонъ, призывающихъ сочувствіе и преданность. Натура слишкомъ цѣльная, замкнутая въ себѣ самой, какъ крѣпость, конечно, болѣе или менѣе, застрахована отъ нападеній и приступовъ какъ со стороны, такъ и отъ собственныхъ ошибокъ, болѣе увѣрена въ силѣ своего сопротивленія; но за то и остается она безъ сообщенія съ внѣшнею, окружающею ее жизнью. Она внушаетъ уваженіе, но не любовь. Ей предстоитъ опасность завянуть и зачерствѣть въ своемъ величавомъ одиночествѣ. Повторяемъ: въ подобной способности увлекаться и создавать себѣ идеалы есть признакъ особенной мягкости и свѣжести души воспріимчивой и дѣвственной. Много есть здѣсь высоко-человѣческаго, много любви и желанія добра. Можно ошибаться въ выборѣ сочувствій и приверженностей своихъ; ошибаться есть участь и дѣло всякаго человѣка; но внутренняя, задушевная потребность искать идеалы и орудія для совершенія благихъ предпріятій на пользу народа своего и человѣчества, эта тоска по чемъ-то лучшемъ падаютъ на долю однихъ избранныхъ и возвышенныхъ личностей. Императоръ Александръ былъ одна изъ нихъ. Эти свойства должны быть ему

зачтены предъ судомъ исторіи и потомства. Изъ писемъ его видимъ, что, еще во дни ранней молодости, онъ не сочувствовалъ дѣятелямъ и высокопоставленнымъ лицамъ, которыя значились тогда при дворѣ и у кормила государства. Онъ уже тосковалъ о пріискѣ новыхъ людей; ему нужна была другая атмосфера, нуженъ былъ воздухъ болѣе чистый и легкій. Ему было душно въ той средѣ, въ которой былъ онъ запертъ; онъ жаждалъ перевоспитать себя, пересоздаться въ новой школѣ, въ сотовариществѣ или, вѣрнѣе сказать, подъ руководствомъ, подъ вліяніемъ людей другихъ понятій, другихъ стремленій, другого закала. Съ увлекательностью молодости, съ полною довѣрчивостью и едва-ли не съ полнымъ нравственнымъ подчиненіемъ окружилъ онъ себя Новосильцовымъ, Строгоновымъ, Чарторыйскимъ, Кочубеемъ. Позднѣе говаривалъ онъ, что не любитъ, когда ввертываютъ палки въ колеса его (quand on met des bâtons dans mes roues); но здѣсь бояться этого было нечего: сподвижники его не тормозили колесъ, а скорѣе придавали имъ лишняго хода. Позднѣе, когда требованія теоріи обратились въ обязанности практики, когда бремя государственныхъ заботъ и дѣлъ легло всею тяжестью своею на плеча и совѣсть его, онъ тоже, можно сказать, съ лихорадочною заботливостью искалъ людей избранныхъ и свыше предназначенныхъ для осуществленія чистыхъ и доброжелательныхъ намѣреній своихъ; искалъ, испытывалъ, но не всегда находилъ. За то, когда встрѣчалъ онъ личности, въ которыхъ признавалъ тѣ качества, которыя мечтались ему, онъ предавался имъ, можно сказать, безъ оглядки; но до поры и до времени, прибавить должно. Мы видѣли, какъ былъ онъ подъ обаяніемъ Сперанскаго и графа Каподистріи. Первоначальное вліяніе на него Лагарпа не осталось безъ слѣдовъ, можетъ быть, и на всю жизнь его. Г-жа Крюднеръ, и та имѣла свой вліятельный день: отпечатокъ ея отмѣтитъ двѣ-три страницы, какъ политической, такъ и глубоко-внутренней исторіи Александра.

III.

Были горячія привязанности, но бывали и охлажденія. Если ближе и безпристрастно вникнуть въ эти послѣднія, если изслѣдовать причины и свойства ихъ, то увидимъ, что они порождались не столько измѣнчивостью характера и сочувствій Александра, сколько логическою силою событій и знаменій времени. По странному стеченію обстоятельствъ, нѣкоторыя изъ довѣренныхъ лицъ Государя, при всей искренней преданности къ нему, въ которой нисколько не сомнѣваемся, имѣли еще и цѣли личныя, которыя они преслѣдовали. Не будемъ винить ихъ и въ этомъ; вѣроятно, по ихъ убѣжденію, подобное стороннее домогательство могло согласоваться съ политическимъ могуществомъ Россіи. Они могли заблуждаться, но могли быть и добросовѣстны. Лагарпъ, напримѣръ, былъ кровный Швейцарецъ и республиканецъ. Не измѣняя Россіи, онъ пользовался положеніемъ своимъ и благоволительными отношеніями къ нему Александра, чтобы склонять политику Россіи на сторону Швейцаріи и обезпечить судьбу и свободу ея могущественнымъ тогда покровительствомъ Русскаго императора. Князь Чарторыйскій былъ въ такомъ-же двусмысленномъ, или двуличномъ положеніи. Онъ безъ сомнѣнія былъ преданъ Государю. Нѣтъ повода признавать его измѣнникомъ государству и Россіи во время участія его въ государственныхъ дѣлахъ. Безъ натяжки нельзя обвинять его въ измѣнѣ. Но надежды, но виды его въ пользу родины такъ чувствительно и щекотливо дотрогивались до самородныхъ выгодъ Россіи, что политическое положеніе его было въ самомъ дѣлѣ неправильностью и могло даже казаться опасностью. Но въ этомъ отношеніи не онъ одинъ былъ виноватъ; а виноваты были обстоятельства, такъ сложившіяся. Безъ измѣны Россіи, Чарторыйскій могъ мечтать о Польшѣ, возстановленной при содѣйствіи Россіи и подъ охраною и опекою ея. Могло казаться ему, что Польша, удовлетворенная и успокоенная, будетъ надежною и полезною передовою страною Россіи; что такимъ образомъ она вѣрнѣе и навсегда сольется съ нею. Впрочемъ, въ то время самъ Александръ, болѣе или ме-

нѣе, раздѣлялъ съ нимъ желанія и надежды его. Слѣдовательно, измѣны пока не было. Позднѣйшаго Чарторыйскаго создали опять событія. По всѣмъ отзывамъ людей, близко знавшихъ его, онъ былъ человѣкъ характера не твердаго, воли не сильной, а легко поддающейся гнету обстоятельствъ, искательствамъ и внушеніямъ среды его окружающей. Къ тому-же наслѣдственное, родовое честолюбіе, которымъ пропиталъ онъ себя съ груди матери, могло легко увлечь его далѣе, нежели онъ предполагалъ и желалъ. Какъ-бы то ни было, измѣнникомъ Россіи и государственнымъ преступникомъ явился онъ уже по кончинѣ императора Александра. Но прозорливый Государь какъ будто предвидѣлъ будущія колебанія и умыслы своего прежняго сподвижника и друга. Съ самаго возстановленія Царства Польскаго прервались почти всѣ сношенія, которыя болѣе или менѣе сближали ихъ. Многіе приписывали большое вліяніе Чарторыйскому надъ Александромъ и послѣ удаленія его отъ дѣлъ и увольненія отъ министерства. Это несправедливо. Доказательствомъ тому служитъ, что, при образованіи Царства Польскаго, Чарторыйскій оставленъ былъ на второмъ и третьемъ планѣ. Своимъ, такъ-сказать, повѣреннымъ въ дѣлахъ Польскихъ Государь назначилъ не его, а Новосильцова. Этотъ выборъ ослабилъ и охолодилъ старыя связи двухъ пріятелей. Чарторыйскій никогда не могъ простить Новосильцову, что онъ занялъ мѣсто, которое онъ признавалъ своимъ.

Императоръ Александръ не разъ, съ тонкою политическою прозорливостью и осторожностью, умѣлъ останавливать на ходу и спроваживать людей, которые могли, такъ-сказать, компрометировать достоинство и власть его. Здѣсь кстати примѣнить къ дѣлу простую нашу поговорку: дружба дружбою, а служба службою. Цари могутъ лично любить кого хотятъ; но государственною властью и довѣріемъ обязаны они облекать только тѣхъ, которые государству могутъ быть истинно полезны, и держать ихъ при себѣ, пока они полезны.

Сперанскій одаренъ былъ великими и разносторонними способностями; онъ легко и скоро работалъ. Не смотря на нѣкоторыя придирки Карамзина (впрочемъ, всѣ основательныя) редакторъ былъ онъ искусный, даже изящный; особенно въ сравненіи съ прежними

правительственными редакторами. Въ этомъ отношеніи отдавалъ справедливость ему и строгій до педантизма Дмитріевъ [1]). Докладчикомъ долженъ онъ былъ быть превосходнымъ, пріятнымъ, вкрадчивымъ, такъ. сказать ловко преподающимъ свой докладъ. Умъ его не былъ умъ глубокій, сосредоточивающій, а легко податливый на всѣ стороны, умъ охотно и свободно объемлющій все, что представлялось глазамъ его. Онъ также могъ быть министромъ финансовъ, министромъ народнаго просвѣщенія, какъ министромъ иностранныхъ дѣлъ. Вездѣ, и тутъ и тамъ, былъ-бы онъ на мѣстѣ и, болѣе или менѣе, отличался-бы своею служебною дѣятельностью. Но энциклопедическія свойства ума его призваны были на поприще ему именно болѣе всего приличное. Государь угадалъ его и съ полною довѣренностью приблизилъ къ себѣ. Онъ облекъ его сначала совѣщательною властью: никакого управленія не отдалъ онъ въ руки ему; но при себѣ, но въ кабинетѣ своемъ, давалъ ему голосъ по всѣмъ частямъ управленія. Вскорѣ сей голосъ келейный возобладалъ надъ всѣми другими голосами. Не имѣя министерства ему присвоеннаго, не будучи министромъ, Сперанскій былъ то, что въ старину называли первымъ министромъ.

Какъ-бы то ни было, Сперанскій былъ для Александра неоцѣненной находкой. Нѣкоторые изъ дѣятелей стараго времени, еще оставшіеся на лицо, имѣли болѣе опытности, болѣе государственнаго вѣса, можетъ быть ближе знали Россію, нежели Сперанскій, такъ-сказать однимъ шагомъ поступившій изъ семинаріи въ среду государственныхъ дѣлъ. Но молодой Государь извѣрился въ достоинство старыхъ дѣятелей. Онъ требовалъ молодыхъ силъ, новыхъ стихій. Онъ хотѣлъ вино новое влить въ мѣхи новые; а вино преобразованій, новыхъ учрежденій, новыхъ порядковъ бродило въ то время и просилось наружу. Таковы были соображенія Государя. Можетъ быть, Россія не совершенно имъ сочувствовала: она болѣе

---

[1]) Всѣ проекты новыхъ постановленій и ежегодные отчеты по министерству внутреннихъ дѣлъ при Кочубеѣ были имъ (Сперанскимъ) писаны. Послѣдніе не только имѣли достоинство новизны, но и со стороны методическаго расположенія (весьма рѣдкаго и понынѣ въ нашихъ приказныхъ бумагахъ), историческаго изложенія по каждой части управленія, по искуству въ слогѣ, могутъ послужить руководствомъ и образцами („Взглядъ на мою жизнь“ И. И. Дмитріева).

довѣряла старикамъ, которыхъ привыкла видѣть у кормила государства, которыхъ привыкла она называть сановниками, вельможами. Народъ вообще вовсе не такъ демократиченъ, какъ многіе полагаютъ. Обаяніе высокаго имени очень дѣйствуетъ на него: онъ охотно вѣруетъ въ людей дошедшихъ до большихъ чиновъ постоянною, долговременною службою. Петровская Россія не любила Меншикова, Александровская—Сперанскаго. Петръ и Александръ, напротивъ, особенно любили избранныхъ пріемышей своихъ. И это очень естественно. Они готовы были сказать: „Пусть мертвые хоронятъ мертвецовъ своихъ; намъ нужны живые, люди еще небывалые, не очерствѣвшіе подъ корою преданій".

Александръ также желалъ быть преобразователемъ и вѣроятно былъ-бы имъ, если бы внѣшнія обстоятельства не воспрепятствовали тому. Сначала, при завоевательномъ и ненасытномъ властолюбіи Наполеона, прежде нежели предпринимать ломку у себя, нужно было думать о политическомъ достоинствѣ Россіи и едва-ли не о цѣлости ея. Отсюда почти безпрерывныя войны. Позднѣе, по паденіи Наполеона, возникала здѣсь и тамъ другая сила, не менѣе властолюбивая и не менѣе угрожающая мирному развитію и благоденствію Европы, а слѣдовательно и Россіи (которая, что ни говори, все-же частичка Европейской общины и связана съ нею круговою порукою). Отсюда конгрессы. Все это отвлекало Государя отъ домашняго очага и домашняго хозяйства. По мнѣнію его и эти отвлеченія были необходимы для пользы самой Россіи и, такъ сказать, были вынуждаемы этою пользою. Мы здѣсь не беремся оправдывать воззрѣнія и дѣйствія; мы только стараемся изъяснить событія и логическую ихъ связь, стараемся очистить ихъ отъ тѣней и лживыхъ освѣщеній, которыя набрасываетъ на нихъ легкомысленная или преднамѣренно-недоброжелательная критика.

Но пора возвратиться намъ къ Сперанскому. Онъ, по рожденію своему, по воспитанію, по врожденнымъ свойствамъ, не могъ любить старые порядки. Вслѣдствіе быстраго перехода изъ одной среды въ другую, гораздо высшую, не могъ онъ не имѣть сильныхъ *новаторскихъ* стремленій. По своему положенію въ обществѣ, онъ долженъ былъ принадлежать къ этому разряду честолюбивыхъ умовъ *средняго состоянія*, которые играли такую важную роль во

Франціи въ концѣ прошедшаго столѣтія. Судьба сблизила его съ Государемъ, именно въ эпоху, когда самъ Александръ желалъ *новаторства*, то есть внутреннихъ государственныхъ нововведеній. Сперанскій, разумѣется, усердно дѣйствовалъ въ смыслѣ Государя; но частью, можетъ быть, еще усерднѣе въ своемъ собственномъ смыслѣ. Государь и Сперанскій дружно шли по одному пути. Но спрашивается: одна-ли цѣль, одна-ли межа была въ виду у того и у другаго? Не хотѣлъ-ли Сперанскій идти далѣе того предѣла, который предназначалъ себѣ Государь? Между тѣмъ на полъ-дорогѣ Александръ началъ одумываться. Тутъ кстати подоспѣли наговоры, болѣе или менѣе вѣрные и правдоподобные, игра придворныхъ и канцелярскихъ баттарей, по просту сказать интригъ. Современники той эпохи знаютъ, что Сперанскій на вершинѣ могущества своего, въ виду народа и общества, казался какъ-то представителемъ не Русской государственной мысли и силы. Онъ болѣе выражалъ силу какъ будто иноземную. Онъ казался болѣе пришлый самозванецъ власти, въ родѣ какого-то Бирона, разумѣется безъ злодѣйствъ и преступленій его. Напротивъ, можно положительно сказать, что онъ никогда не злоупотребилъ властью и положеніемъ своимъ съ цѣлью кому нибудь повредить и сбить его съ мѣста: онъ довольствовался тѣмъ, что всѣхъ преодолѣлъ и сталъ головою выше, нежели всѣ другіе. Но нашлись однако же новые Волынскіе: они дѣйствовали успѣшнѣе перваго. Неожиданно для всѣхъ, приготовленный довольно издалека разрывъ совершился однимъ почеркомъ пера: вѣроятно и безъ пера, а просто устно, въ короткихъ, но повелительныхъ словахъ.

Прежняя неограниченная довѣренность обращалась мало по малу въ охлажденіе; охлажденіе въ мнительность, мнительность въ сильное подозрѣніе, если не въ убѣжденіе виновности прежняго любимца. Что ни писали о томъ, что ни говорили, но паденіе Сперанскаго остается неразрѣшенною загадкою въ новѣйшей исторіи нашей. Сперанскій въ Перми такое-же загадочное лицо, какъ узникъ въ желѣзной маскѣ во Франціи. Даже и по возвращеніи Сперанскаго изъ ссылки и новаго постепеннаго возвышенія его, маска эта не была съ него совершенно снята. Со времени паденія его, по старому юридическому выраженію нашему, онъ у боль-

шинства Русскихъ людей былъ оставленъ *въ сильномъ подозрѣніи*. Правильно, или нѣтъ? При существующихъ данныхъ рѣшить нельзя. Обвинять-ли Александра въ непостоянствѣ, въ малодушной уступчивости предъ врагами Сперанскаго, въ неблагодарности къ нему? Также нельзя. Поводъ, причины, содѣйствовавшія разрыву съ любимцемъ и паденію его, должны были быть на лицо. Это несомнѣнно. Но въ какой мѣрѣ оправдываютъ они крутую кару, постигшую его, это также вопросъ, остающійся на очереди для будущаго времени.

Въ числѣ лицъ, которыхъ государственная дѣятельность наиболѣе, наисимпатичнѣе слилась съ дѣятельностью Александра и живѣе выразила мысли и чувства его по крайней мѣрѣ на время— ярко и особенно привлекательно отдѣляется отъ другихъ имя графа Каподистріи. Онъ также былъ пришлый въ Русской государственной средѣ. Онъ также при семъ былъ и представителемъ частнаго, случайнаго вопроса, который могъ находить сочувствіе въ Россіи, но не былъ вопросъ прямо Русскій, исключительно Русскій. Выборъ, можно сказать, отысканіе такого человѣка, внѣ среды обыкновенной и подручной, уже показываетъ, какъ чутко и вѣрно было чувство Александра.

Чистая и благодушная личность Каподистріи была нѣсколько лѣтъ свѣтлою звѣздою царствованія Императора. Но и этому свѣтилу, по естественному теченію, суждено было, въ данную минуту, отклониться отъ прямого и главнаго пути, ему предстоявшаго. Такова уже была участь Александра въ приближеніи къ себѣ сподвижниковъ, вызываемыхъ имъ на совершеніе благихъ стремленій его. Преданный всѣми способностями ума своего и души, Каподистрія былъ вѣрный слуга Государя и Россіи; но въ виду цѣли, къ которой шелъ онъ добросовѣстно во слѣдъ Александру, имѣлъ онъ свою боковую, родную цѣль. Въ понятіяхъ его и по убѣжденіямъ совѣсти, не отдѣлялъ онъ одной цѣли отъ другой. Служа православной Россіи, онъ думалъ, что служитъ и православной родинѣ своей. Нельзя было требовать отъ него, чтобы, возлюбивъ второе отечество свое, забылъ и разлюбилъ онъ первое: тѣмъ болѣе, что выгоды того и другого не имѣли ничего другъ другу враждебнаго. Напротивъ, онѣ могли казаться ему взаимно полезными, единомыслен-

ными, единокровными. Все это такъ и было до поры и до времени, какъ часто бываетъ на свѣтѣ и въ дѣлахъ житейскихъ. Государь и министръ его хорошо понимали другъ друга, они единодушно шли впередъ путемъ себѣ предназначеннымъ. Но возстаніе Ипсиланти, не въ добрый часъ и при неблагопріятныхъ обстоятельствахъ задуманное и затѣянное, бросило камень преткновенія на этотъ мирный и благоуспѣшный путь.

По своимъ человѣколюбивымъ и религіознымъ чувствамъ, Александръ не могъ не соболѣзновать о страданіяхъ единовѣрцевъ своихъ. Но политика имѣетъ свои условія и законы. Филантропія и политика не близнецы. Государь заподозрилъ народное Греческое движеніе. Онъ не находилъ въ немъ живыхъ признаковъ самобытности; въ этомъ движеніи не признавалъ онъ взрыва самороднаго ключа, который бьетъ и пѣнится самъ собою. Ему казалось, что тутъ есть что-то поддѣльное, наносное, заимственное. Однимъ словомъ, въ этомъ возстаніи видѣлъ онъ движеніе болѣе революціонное, пущенное со стороны, нежели народное. Едва ли ошибался онъ въ сомнѣніяхъ и въ подозрѣніи своемъ: положеніе Греціи и въ нынѣшнее время, послѣ пятидесятилѣтняго опыта, не показываетъ-ли, къ прискорбію, что въ ней мало было политическихъ самобытныхъ силъ, мало политической живучести? Драться за свободу свою дѣло благородное; но одной драки, даже побѣдительной, не достаточно: нужны еще другія доблести, чтобы заслужить и утвердить свободу свою. А подобныя доблести не вездѣ и не всегда встрѣчаются. Какъ-бы то ни было, разрывъ между Государемъ и министромъ былъ неминуемъ. Въ эти торжественные, роковые дни Греческаго возстанія, для Каподистріи выборъ не подлежалъ сомнѣнію: онъ не могъ оставаться ни на службѣ Россіи, ни въ Россіи, когда Россія отказывалась подать руку помощи Греціи. А что онъ любилъ родину свою, онъ это доказалъ и жизнью, и смертью своею: „Нѣтъ больше той любви, какъ если кто положитъ душу свою за друзей своихъ“. Убійство Каподистріи, совершенное Греческою рукою, наложило на Грецію роковую эпитимію, отъ которой она еще и понынѣ не отрѣшилась.

Разставаясь съ министромъ своимъ, Александръ не имѣлъ огорченія видѣть, какъ бывало прежде, довѣріе свое омраченное, при-

стыженное позднимъ подозрѣніемъ. Искренній разрывъ между ними совершился послѣ искренняго и взаимнаго объясненія. Но и объясненіе было не нужно: обоюдное положеніе ихъ было ясно и прямо говорило само собою. Каподистрія въ данную минуту не могъ не быть прежде всего и выше всего Грекомъ. Государь, при всемъ уваженіи своемъ къ чувствамъ и характеру его, не могъ долѣе держать его при себѣ. По своимъ понятіямъ, по отвѣтственности, которую признавалъ онъ для себя непреложною, онъ выше выгодъ Греціи ставилъ обязанности—Русскаго царя и Европейскаго государя; а этихъ двухъ званій онъ никогда не отрывалъ одно отъ другаго. Онъ не могъ и не долженъ былъ мирволить и помогать народному возстанію, въ какомъ видѣ ни являлось-бы оно, тѣмъ болѣе, что онъ не довѣрялъ правдѣ этого возстанія. Такія дѣйствія Александра приписывали, приписываютъ нерѣдко и нынѣ, пагубному вліянію Меттерниха. Обвиняютъ тогдашнюю внѣшнюю политику нашу въ слабодушномъ подчиненіи Австрійской. И это не вѣрно. Тутъ никакого подчиненія не было. Было одно взаимное политическое застрахованіе на случай пожара, или какого другого бѣдствія. Положимъ, со стороны Меттерниха, дипломата старой школы, и были тайныя козни, подспудныя, то есть дипломатико-подканцелярскія интриги; но онѣ не могли-бы совратить политику Александра съ пути, который онъ себѣ предначерталъ. Ларчикъ проще открывался: политика Австріи или Меттерниха, силою вещей, силою погоды господствующей тогда въ наэлектризированной Европейской атмосферѣ, невольно, почти безсознательно, сошлась по пути съ политикою Александра. Неправдоподобно, чтобы умъ Александра обольстился до ослѣпленія умомъ Австрійскаго министра и подчинился ему, Австріи, съ ея Италіянскими, Венгерскими, Чешскими и другими разнородными племенами, нельзя было сидѣть въ пріятномъ созерцаніи и спустя рукава, когда революція разгуливала себѣ по сосѣдству. Россія съ легко возгораемою Польшею, возникающимъ внутреннимъ броженіемъ умовъ, которое извѣстно было правительству, также не могла оставаться равнодушною зрительницею пожаровъ, занимавшихся здѣсь и тамъ. Противникъ революціонныхъ движеній въ Испаніи и Италіи, Александръ, не могъ въ то же время благопріятствовать подобнымъ дви-

женіямъ, хотя и въ единовѣрной Греціи. Религіозный вопросъ не есть вопросъ политическій.

Кстати скажемъ здѣсь нѣсколько словъ о принципѣ невмѣшательства въ чужія дѣла, про которое толковали и толкуютъ. Не забываютъ-ли при этомъ вопросѣ, что, особенно со временъ первой Французской революціи, въ области политики уже нѣтъ прямо чужихъ дѣлъ? Каждое политическое дѣло, болѣе или менѣе, непосредственно или косвенно, такъ или иначе, ранѣе или позднѣе, но съ домашней почвы переходитъ на общую. Если взглянуть на эту чрезполосную политику съ хорошей стороны, то можно сказать себѣ въ утѣшеніе, что она плодъ цивилизаціи. Это общая круговая порука: и радости, и скорби, выгоды и ущербы, все и для всѣхъ пополамъ. Мы знаемъ, что вся политическая мудрость нѣкоторыхъ публицистовъ заключается въ поговоркѣ: „моя хата съ краю, ничего не знаю“. Но эта поговорка принадлежитъ лѣтамъ давно минувшимъ. Она могла годиться для Московскаго государства. Для Европейской Россіи она устарѣла. Нѣтъ, какую хату ни имѣй, а нынѣ надобно *знать*. Если же знать не можешь или не хочешь, то принудятъ тебя узнать; но знаніе тогда будетъ позднее. Нынѣ, выстрѣлъ въ отдаленномъ Европейскомъ захолустьѣ раздается по всей Европѣ, и грохотъ его долго не умолкаетъ. Построеніе Китайскихъ стѣнъ въ Европѣ неосуществимо. Да не въ пользу онѣ и самому Китаю. Онъ, за крѣпкою и высокою оградою (клепать на него нечего), въ чужія дѣла не вмѣшивается; но другіе вмѣшиваются въ дѣла его. Англичане и Французы, ни съ того, ни съ другого, перелѣзли чрезъ эту стѣну и временно хозяйничали себѣ въ Небесномъ государствѣ.

А нынѣ? Посмотрите на Герцеговину. Кажется, кому бы до нея дѣло? Вся-то она ничто иное, какъ большое село, едва-ли лучше нашего села Ивановскаго. Но расшевелилась, и всѣ дипломатическія перья съ одного конца Европы до другого пришли въ движеніе. Хорошо еще, если дѣло обойдется безъ передвиженія войскъ. А на Европейскихъ биржахъ фонды, эта ртуть новѣйшихъ политическихъ барометровъ, уже пришли въ большое волненіе. Что на глазахъ у насъ нынѣ, то было уже и при Александрѣ I. Одиночной политики быть не можетъ.

IV.

Мы имѣли цѣлью слегка очертить лица, которыя, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, ближе и знаменательнѣе связываются съ именемъ императора Александра. Эти лица имѣли свое временное значеніе и свой кругъ дѣйствія; потомъ они сходили со сцены, иногда безъ причины извѣстной и явно оправданной. Можно было приписывать подобныя возвышенія и паденія одному непостоянству Государя и прихотямъ личнаго и безотвѣтственнаго произвола. Мы старались, по крайнему разумѣнію нашему и по совѣсти, если не вполнѣ оправдать, то объяснить эти перемѣны личностей, а съ ними иногда и перемѣну въ самомъ политическомъ направленіи. Молодая публицистика, догматическая, такъ сказать школярная, выше всего дорожитъ теоріею. Событія цѣнитъ она дешево. А когда встрѣчаетъ ихъ на пути и обойти не можетъ, то пригибаетъ ихъ такъ, чтобы они уложились въ теорію, которая составляетъ вѣру, законъ и единственное міровоззрѣніе новѣйшихъ историковъ. Внѣ этой теоріи они, какъ слѣпые, бродятъ въ потемкахъ. Не осмѣливаемся присвоивать себѣ ни званіе, ни права публициста. Но позволимъ себѣ сказать, въ пользу свою, что имѣемъ нѣкоторыя данныя и задатки, намъ принадлежащіе. Во-первыхъ, по складу понятій нашихъ, по независимости мыслей нашихъ, мы ни къ какой теоріи и ни къ какому толку (ученію, расколу) не приписаны, не закрѣпощены. Далѣе: годами нажили мы практику жизни. Если и не имѣли мы особеннаго, личнаго дѣйствія въ общественныхъ дѣлахъ, если были мы скорѣе седьмою спицею въ колесницѣ, то могли, по крайней мѣрѣ, видѣть вблизи, какъ и чѣмъ вертятся колеса. Общественнымъ положеніемъ нашимъ, обстоятельствами, мы могли, такъ сказать, потереться около дѣлъ и дѣятелей. Насъ жизнь чему-нибудь да научила; мы что-нибудь узнали. А молодая публицистика такъ сложена, что она ничего не знаетъ и ничего знать не можетъ. При всемъ блестящемъ дарованіи своемъ, она можетъ только умствовать. Она загадываетъ, поэтизируетъ, гипотезничаетъ. Мы же можемъ похвалиться тѣмъ, что кое-что видѣли и кое-кого слышали.

На основаніи этихъ соображеній, къ прежнимъ главамъ хотимъ еще прибавить нѣкоторыя черты, путевыя впечатлѣнія, плоды странствованія нашего по области минувшаго, которое было, въ свое время, и нашимъ настоящимъ. Можетъ быть, эти впечатлѣнія, какъ ни поверхностны они, послужатъ къ лучшему пониманію характера Александра и положенія современной ему Европы. Мы, можетъ быть, войдемъ въ нѣкоторыя повторенія уже сказаннаго нами, но эти повторенія сами собою на насъ навязываются. Надѣемся на снисходительность и терпѣніе читателя.

V.

Не входя въ изслѣдованіе всего царствованія Александра, скажемъ, что особенно послѣднее десятилѣтіе его возбуждаетъ въ печати строгія сужденія. Но совершенно-ли они, то есть безусловно-ли они вѣрны? Не думаемъ. По теоріи, строгіе цѣнители, можетъ быть, и правы; но, если признать дѣйствительность, то вѣроятно многія обвиненія падутъ сами собою. Невзгоды разразившіяся надъ Россіею въ 1812 г., не могутъ быть отнесены къ событіямъ частнымъ, отдѣльнымъ. Нашествіе на Россію было событіе Европейское, едва-ли не міровое. Страданія, бѣдствія народа, во время войны, пожертвованія, великодушно имъ принесенныя, счастливое искупленіе, нечаянно и скоро совершившійся поворотъ, превратившій бѣдствія въ успѣхъ и въ народное торжество, имѣли цѣлью не только обезпеченіе независимости Русскаго государства, но и умиротвореніе и спасеніе Европы. Нужно было этой-же Россіи сорвать съ Европы тяготѣвшее на ней революціонное ярмо, прикрытое деспотическою властью. Не слѣдуетъ забывать, что Наполеонъ, какъ императоръ, былъ ничто иное, какъ воплощеніе, олицетвореніе и *ощарствореніе* революціоннаго начала. Онъ былъ равно страшенъ и царямъ, и народамъ. Кто не жилъ въ эту эпоху, тотъ знать не можетъ, догадаться не можетъ, какъ душно было жить въ это время. Судьба каждаго государства, почти каждаго лица, болѣе или менѣе, такъ или иначе, не сегодня, такъ завтра, зависѣла отъ прихотей Тюльерійскаго кабинета, или отъ боевыхъ распоряженій Наполеоновской главной квартиры. Всѣ были какъ подъ

страхомъ землетрясенія или изверженія огнедышущей горы. Вся Европа задыхалась отъ этого страха. Никто не могъ ни дѣйствовать, ни дышать свободно. Александръ рѣшился обуздать, сокрушить беззаконную силу, всѣмъ и всѣми овладѣвшую. Въ походѣ своемъ отъ Русскихъ границъ до Парижа онъ неуклонно шелъ путемъ, который велъ къ этой цѣли; дорогою освобождалъ онъ и вербовалъ подъ знамя свое правительства и народы, еще наканунѣ раболѣпно подчиненные чуждой власти. Александръ былъ вождемъ, связью и душою союза, который долженъ былъ совершить великое и святое дѣло избавленія и праведнаго возмездія. Кругомъ его возникали робкія сомнѣнія и колебанія, прорывались личные расчеты: онъ отклонялъ тѣ и другіе. Часто подозрѣваемый въ недостаткѣ твердости, въ шаткости убѣжденій, онъ въ эти торжественные и нелишенные опасностей дни, явилъ въ себѣ волю непреклонную, всѣ препятствія и всѣ тайные помыслы превозмогающую. Какъ ни старайся скептическая, а болѣе всего мѣщанская и будничная исторіографія понизить величавость исторіи и стереть съ нея блескъ поэтической дѣйствительности, все-же не успѣетъ она въ своемъ иконоборствѣ. Народная любовь сохранитъ икопы и праздники свои. Она съ гордостью будетъ помнить и перечитывать нѣкоторыя праздничныя и эпическія страницы бытописанія своего. Что ни говори, но Александръ вплелъ такую яркую и незабвенную страницу въ нашу народную исторію.

Когда поле битвы очистилось, когда палъ исполинскій боецъ, нужно было приступить къ мѣропріятіямъ, обезпечивающимъ одержанную побѣду. Европа была насильственно перетасована рукою счастливаго и не всегда добросовѣстнаго игрока. Нужно было возстановить болѣе правильный и законный порядокъ въ политической игрѣ. Европа, послѣ волненій и крушеній, господствовавшихъ надъ нею во время двадцатипятилѣтней бури, прежде всего нуждалась въ отдыхѣ, въ покоѣ. Улучшенія могли быть въ виду, впереди. На первый разъ самое спокойствіе было уже улучшеніе. Собранъ былъ Вѣнскій Конгрессъ. Александръ является и здѣсь первозваннымъ и верховнымъ лицемъ. Всѣ-ли постановленія и мѣры, принятыя симъ высшимъ вселенскимъ политическимъ соборомъ, были безупречны и освящены политическою мудростью? Нечего и

спрашивать: разумѣется, не всѣ. Были и ошибочныя, и особенно непрозорливыя. Но не слѣдуетъ забывать, что въ теченіи многихъ лѣтъ, акты Вѣнскаго Конгресса были охранительными граматами Европейскаго, если не благоденствія, то спокойствія. Слышны были здѣсь и тамъ пререканія, слышны были частные взрывы; но не было Европейской войны. Промышленность, торговля, мирныя завоеванія науки развивались на пути преуспѣянія. Не всѣмъ было хорошо, потому что всѣмъ хорошо быть не можетъ; но вообще эра, наступившая послѣ паденія Наполеона и подготовленная Вѣнскимъ Конгрессомъ, была эрою перемирія, была яснымъ днемъ послѣ ненастныхъ и грозныхъ дней недавняго минувшаго. Александръ могъ не безъ удовольствія смотрѣть на умиротворенную Европу, дѣло рукъ его, въ которое положилъ такъ много воли своей, мужества и устойчивости. Могъ онъ вмѣстѣ съ тѣмъ гордиться и народомъ своимъ, который содѣйствовалъ ему своими наслѣдственными доблестями, христіанскимъ и великодушнымъ терпѣніемъ, самоотверженіемъ и смиреніемъ, доходящимъ до высшей степени геройства: не говоримъ уже о мужествѣ и храбрости въ бояхъ, какъ о свойствахъ обычныхъ и, такъ сказать, уже второстепенныхъ качествахъ Русской натуры. Во всякомъ случаѣ, Государь былъ основателемъ, такъ сказать, главнымъ отвѣтственнымъ издателемъ новаго уложенія, которому подчинилась Европа. Отвѣтственность, лежавшая на немъ, была не мнимая, не заурядная, не *синекурная*. По совѣсти, по исторической обязанности долженъ онъ былъ блюсти, оберегать постановленія, которыя облекъ онъ въ законную и обязательную силу. Не говоримъ уже о прирожденной каждому человѣку наклонности самолюбиво охранять и отстаивать дѣло рукъ своихъ, особенно когда это дѣло совершено съ убѣжденіемъ и добросовѣстнымъ желаніемъ. Александръ долженъ былъ поставить себѣ цѣлью согласовать, по возможности, встрѣчаемыя противорѣчія и, болѣе или менѣе, своекорыстныя пререканія и требованія. Послѣ великихъ событій 13-го и 14-го года, Европа была ошеломлена, упоена освобожденіемъ своимъ. Ей нужно было осмотрѣться, одуматься. Она, избавясь отъ желѣзной опеки, вступала въ возрастъ совершеннолѣтія и личной независимости. Она, единогласно, единодушно праздновала сокрушеніе того, что было

еще вчера; но не знала опредѣлительно, что придумать къ завтрашнему дню, какъ пристроить себя въ будущемъ. Конгрессъ былъ необходимъ для обмѣна мыслей, для умиренія злопамятныхъ оскорбленій съ одной стороны, съ другой для умиренія честолюбивыхъ помысловъ и непомѣрныхъ притязаній. Наконецъ многосложная махина была улажена и пущена въ ходъ, если не навсегда, то потому, что *всегда* слово не житейское и не земное: въ дѣлахъ человѣческихъ слово *всегда* замѣняется выраженіемъ *на время*.

Въ томъ-же направленіи и также по почину Александра, заключенъ былъ и такъ называемый Священный Союзъ. Во-первыхъ былъ онъ задуманъ и созданъ вовсе не въ видахъ притѣсненія и порабощенія народовъ. Напротивъ, побужденіе, давшее жизнь ему и цѣль, къ которой онъ стремился, было предохраненіе отъ новыхъ переворотовъ, потрясеній, отъ новыхъ тяжкихъ жертвъ, отъ новой Европейской войны. Если и могъ онъ быть дял кого нибудь угрозителенъ, то развѣ для одной Франціи: военными неудачами уязвленное ея самолюбіе, зародыши безпорядковъ и возмущеній, которые въ ней всегда таятся, могли требовать учрежденія надъ нею постояннаго и бдительнаго надзора. Но вообще Священный Союзъ имѣлъ въ виду оградить нравственное и постепенное развитіе, политическое и гражданское, государствъ и народовъ. Правильна пословица наша: худой миръ лучше доброй брани. Да худаго мира и быть не можетъ въ общемъ значеніи. Всякая война есть недугъ: она изнуряетъ народныя силы, отвлекаетъ ихъ отъ правильнаго внугренняго разработыванія. Вѣнскій Конгрессъ и Священный Союзъ, по крайней мѣрѣ, на нѣсколько лѣтъ обезпечили и сохранили Европейскій миръ. Европа имъ воспользовалась матеріально и нравственно. Въ продолженіи времени и при разглашеніи новыхъ политическихъ софизмовъ ослабились, расшатались столбы, на которыхъ построено было новое зданіе: безпрерывныя войны снова ринулись на Европу. Что выиграли отъ того народы? Еще увидимъ: отвѣтъ впереди.

Неопровержимымъ доказательствомъ, что въ Александрѣ не таилось желаніе противодѣйствовать законнымъ народнымъ стремленіямъ, на пути гражданскаго преуспѣянія, служатъ дѣйствія его въ Польшѣ. Главный распорядитель на Вѣнскомъ Конгрессѣ, осно-

ватель Священнаго Союза, немедленно по совершеніи этихъ актовъ, открываетъ сеймъ въ Варшавѣ. Онъ даруетъ Царству Польскому политическое *законносвободное* бытіе. Гдѣ-же тутъ искать Макіавелическихъ умышленій противъ народовъ? При первой возможности примѣнить къ дѣйствительности свои молодыя и возлюбленныя мечтанія, онъ принимается за дѣло. Побѣдитель, рѣшитель судебъ Европейскихъ, самодержецъ, онъ добровольно, съ душевнымъ увлеченіемъ, освящаетъ опытъ, съ надеждою распространить его и далѣе, если Промыслъ благословитъ благое начинаніе его. Давши примѣръ въ Польшѣ, разумѣется, не онъ воспротивился-бы тому, чтобы послѣдовали ему въ Пруссіи и Австріи. Много толковали о Священномъ Союзѣ, много поносили его и поносятъ до нынѣ, а никому не пришло въ голову и въ совѣсть сопоставить одно предъ другимъ эти два явленія: Священный Союзъ и учрежденіе представительнаго правленія въ Польшѣ. Кажется, дѣло не трудное: оно само по себѣ на виду; но предубѣжденія, но страсти, пошлое повтореніе какихъ-то теоретическихъ суевѣрныхъ причитаній, затемняютъ здравый смыслъ и порождаютъ призраки, которые заслоняютъ собою жизнь и дѣйствительность.

Кажется, все нами здѣсь сказанное не гадательныя предположенія, не адвокатскія уловки и увертки, чтобы представить предосудительное умилительнымъ, а черное бѣлѣе сельной лиліи. Мы даже остерегались отъ натяжекъ. Событіямъ и лицамъ старались мы смотрѣть прямо въ глаза. Желаемъ, чтобы сказанное нами и соображенія наши были взвѣшаны и оцѣнены исторіею, когда исторія будетъ истиннымъ гласомъ Божіимъ и народа, а не заносчивымъ памфлетомъ, по горячимъ, по мимоидущимъ вопросамъ и прихотямъ дня.

Нынѣ забываютъ, или отрицаютъ, но исторія вспомнитъ, что послѣ умиренія Европы, правительствамъ пришлось бороться съ другими опасностями. Наслѣдникомъ Наполеона явился духъ мятежа, духъ революціонный: изъ огня да въ полымя. На островѣ Св. Елены Наполеонъ пророчилъ, что будетъ такъ. И онъ не ошибся. Новой, возрожденной Европѣ, было не болѣе пяти-шести лѣтъ отъ роду, а смѣльчаки, которымъ нечего терять, а можетъ быть, что нибудь еще и попадется въ мутной и встревоженной водѣ, помышляли и

пытались возбудить новые безпорядки. Съ одной стороны возставалъ духъ революціонный, демократическій; съ другой шевелился во Франціи духъ бонапартизма. Однимъ словомъ, здѣсь и тамъ возникали враждебныя силы, отъ которыхъ философически и равнодушно отнѣкиваться было невозможно. Онѣ нагло вызывали на бой; надобно было принять его, или преклониться предъ ними и сказать имъ: милости просимъ, дѣйствуйте, какъ знаете; а мы мѣсто вамъ уступаемъ.

Послѣ всего сказаннаго нами, какъ разъ пришла намъ на помощь и на подкрѣпленіе переписка графа Ростопчина съ графомъ С. Р. Воронцовымъ [1]). Эта книга въ высшей степени и по многимъ отношеніямъ любопытна. Рѣдко, со времени введенія печати въ Россіи, появлялась книга, столь животрепещущая, хотя относится она къ эпохамъ уже минувшимъ. Многое можно сказать о ней. Нынѣ ограничиваемся тѣмъ, что привѣтствуемъ ее какъ союзницу по нѣкоторымъ вопросамъ, нами возбужденнымъ. Этихъ двухъ государственныхъ мужей никакъ нельзя, какъ видимъ изъ переписки, подозрѣвать въ излишней и безусловной приверженности къ Александру. Оба чуть-ли не держатся на окраинѣ оппозиціи. Графъ Воронцовъ, Англійскій тори, можетъ быть, смотритъ иногда на событія и политику съ Англійской точки зрѣнія; но воспоминаніями, душою онъ чисто и глубоко Русскій человѣкъ, Русскій сановникъ, каковы бывали въ царствованіе императрицы Екатерины. Онъ хладнокровенъ, сдержанъ въ своихъ сужденіяхъ и приговорахъ. Онъ и въ оппозиціи все таки Англійскій тори, преданный правительственной власти и правиламъ законнаго порядка. Ростопчинъ, напротивъ, страстный, необузданный, недовольный, раздраженный, даетъ полную волю чувствамъ и словамъ своимъ. Онъ не столько членъ оппозиціи, сколько frondeur, заносчивый, ѣдкій. Рѣчь и перо его бритва: такъ и рѣжетъ. Остроумію его нѣтъ предѣла. Но и у того и другаго, у Ростопчина еще чаще, вырываются ноты, въ которыхъ такъ и отзывается, такъ и звенитъ чистая, глубокая любовь къ Россіи. Прочтите, что пишутъ они о современномъ положеніи Европы, объ опасностяхъ ей угрожающихъ, о броженіи умовъ, о неминуемомъ взрывѣ, который долженъ снова взорвать

[1]) Въ осьмой книгѣ Архива Князя Воронцова.

Европу и покрыть ее новыми обломками и развалинами. Одинъ въ Лондонѣ, другой въ Парижѣ могли удобно вглядѣться въ облака, которыя сгущались на горизонтѣ; могли вслушаться въ глухіе, вѣщіе голоса и шумы, которые рокотали подъ землею и въ воздухѣ. Они вовсе были не клевретами Меттерниха и Австрійской политики: напротивъ, были скорѣе враждебны имъ. А между тѣмъ и Меттернихъ, и Ростопчинъ, и Воронцовъ, и Александръ сходятся въ одномъ оптическомъ средоточіи. Слѣдовательно мнительность, опасенія Русскаго императора не были самовольныя и ему исключительно свойственныя немощи. Опасность была, и она разразилась. Тѣни, ею наброшенныя на Европейскую почву, еще не окончательно разсѣялись. Пятидесятилѣтній періодъ еще не могъ ихъ пережить. Франція все еще мерещится пугаломъ, которое не сегодня, такъ черезъ годъ, черезъ два, можетъ поднять всю Европу на ноги. Одни наши простосердечные публицисты думаютъ, что она, достигнувъ обѣтованнаго берега своего, то есть республики, уже окончательно утвердитъ якорь свой и будетъ блаженствовать. Одно только озабочиваетъ ихъ, что Макъ-Магонъ и Бюфе пока мало отпускаютъ Французамъ товара, то есть республики: не скупились-бы они, то-ли было-бы дѣло! А между тѣмъ, судьба Франціи будетъ еще долго переливаться изъ республики въ имперію, изъ имперіи въ анархію и въ республику. Испанія едва-ли не жалѣетъ о временахъ, когда конгрессы рѣшали участь ея, которую сама рѣшить она не умѣла. И если теперь по дѣламъ ея не созываютъ новаго конгресса, то развѣ по той-же причинѣ, по которой Богъ не послалъ на землю втораго потопа: онъ видѣлъ, сказалъ Шамфоръ, всю безполезность перваго. Италія, послѣ долговременныхъ судорогъ и корчей, наконецъ кое-какъ устроилась съ помощью чужихъ рукъ и чужихъ ружей и пушекъ. Но все это прочно-ли? Все это созиждено-ли на честныхъ основахъ? Чиста-ли работа? Нѣтъ-ли тутъ подспудныхъ лукавыхъ продѣлокъ, недостойныхъ доблестнаго подвига, когда народъ дорожитъ независимостью и хочетъ съ боя сорвать ее?

Впрочемъ это не наше дѣло и до статьи нашей не относится. Мы пишемъ не о настоящемъ и не о будущемъ. Статья наша посвящена минувшему. Мы хотѣли, между прочимъ, доказать, что

послѣ долгаго владычества Наполеона и сверженія его, Вѣнскій Конгрессъ былъ нуженъ; что каковъ онъ ни былъ, но много лѣтъ былъ онъ охранителемъ мира въ Европѣ. А болѣе всего хотѣли мы доказать, что Александръ, главное лицо въ этомъ конгрессѣ, былъ и долженъ былъ быть блюстителемъ постановленій, которыя вошли въ политическій кодексъ Европы. Отступая отъ нихъ, или измѣняя имъ, онъ не былъ бы вѣренъ самъ себѣ.

VI.

Приписка. Прочитавъ статью свою, мы замѣтили въ ней довольно значительный пробѣлъ. Увертываться нечего; нужно восполнить его. Въ исчисленіи *личныхъ сочувствій* Александра, людей, которыхъ онъ приближалъ къ себѣ, мы не упомянули одного имени; а это имя утаить нельзя, тѣмъ болѣе, что оно громко само возглашаетъ себя. Послѣ вышеупомянутыхъ личностей, болѣе или менѣе свѣтлыхъ, какъ-то странно, а во всякомъ случаѣ смѣло, выставить имя Аракчеева. Но, во-первыхъ, мы смѣлости не страшимся; во-вторыхъ, если бы и промолчать, то, переиначивая стихъ Сумарокова, могли бы намъ сказать:

Молчишь: но не молчитъ Россія и весь свѣтъ [1]).

По мнѣнію многихъ, имя Аракчеева легло темною и долгою тѣнью на царствованіе и на свѣтлый образъ Александра. Ему прощаютъ и Чарторыйскаго, и Сперанскаго, но не хотятъ простить ему Аракчеева.

Точно былъ-ли онъ безусловно темная личность, безъ малѣйшаго проблеска свѣта? Неужели таки нѣтъ вовсе облегчающихъ обстоятельствъ, которыя могли бы умилостивить приговоръ, уже заранѣе произнесенный надъ нимъ? Неужели нѣтъ возможности, хотя отчасти, оправдать Александра въ выборѣ и приближеніи къ себѣ такого человѣка, каковъ былъ Аракчеевъ? На всѣ эти вопросы отвѣчать положительно нельзя: вѣроятно рано. Соглашаться со всѣми обвиненіями недобросовѣстно, пока свѣтъ исторіи недостаточно озаритъ дѣла и таинства минувшаго; пока исторія, основываясь на

[1]) Молчу: но не молчитъ Европа и весь свѣтъ.

достовѣрныхъ свидѣтельствахъ, „не очиститъ гумна своего, не отребитъ пшеницы отъ соломы“, то-есть слово истины отъ сплетней журнальныхъ приживалокъ и людской молвы, которая таже приживалка. Побѣдительно опровергать эти обвиненія также преждевременно. Остается быть безпристрастнымъ и не ругать человѣка, только потому, что другіе ругаютъ его.

Въ обществѣ нашемъ, а особенно въ печати нашей, очень любятъ, когда предаютъ имъ на прокормленіе, на съѣденіе, какое-нибудь событіе политическое или имя высокопоставленное. Въ подобномъ случаѣ всѣ зубы острятся и работаютъ до оскомины. Разница въ этомъ отношеніи между живымъ обществомъ и печатью, еле живою, заключается въ томъ, что устное слово заѣдаетъ болѣе живыхъ, а печатное пока лакомится мертвечиною. Публицисты-Чичиковы скупаютъ мертвыя души, промышляютъ ими и готовятъ ихъ на всѣ возможные соусы. Одна изъ этихъ мертвыхъ душъ и есть Аракчеевъ. Разумѣется, не беру на себя защищать его и безусловно отстаивать. Я опять-таки не адвокатъ. И при жизни, и при силѣ его многое мнѣ въ немъ не нравилось: многое претило понятіямъ моимъ, правиламъ, сочувствіямъ. Но у Аракчеева былъ и есть другой адвокатъ, а именно Александръ. Если онъ держалъ его при себѣ, облекалъ, почти уполномочивалъ властью, то несомнѣнно потому, что признавалъ въ немъ нѣкоторыя качества, вызывающія довѣріе его. Императоръ Александръ былъ щедро одаренъ природою. Умъ его былъ тонкій и гибкій. Всѣ духовные инстинкты его были въ высшей степени развиты. Онъ удивлялъ другихъ не столько тѣмъ, что́ зналъ, сколько тѣмъ, что́ угадывалъ. Свойства и нрава былъ онъ мягкаго и кроткаго. Онъ болѣе заискивалъ любви, нежели доискивался страха. Личнаго властолюбія было въ немъ немного. Преимуществами, присвоенными державѣ, онъ не дорожилъ. Скорѣе, а особенно въ послѣдніе годы жизни своей, онъ властью и царствованіемъ какъ будто тяготился. Были даже слухи, что онъ намѣревался отречься отъ престола. Духомъ былъ онъ не робокъ. Почитали его мнительнымъ; но онъ не укрывалъ себя во дворцѣ, какъ въ неприступной твердынѣ, не окружалъ себя вооруженными тѣлохранителями. Вездѣ могли встрѣчать его одного, на улицѣ, въ саду, за городомъ, во всѣ часы дня и

ночи. Слѣдовательно, онъ за жизнь свою, за себя не боялся. Можно сказать утвердительно, что онъ имѣлъ неопредѣленныя, темныя свѣдѣнія о политическомъ броженіи нѣкоторыхъ умовъ, о попыткѣ устроить тайное общество. Разсказывали, и довольно достовѣрно, что при одномъ смотрѣ войскъ на Югѣ, оставшись особенно доволенъ одною кавалерійскою бригадою, сказалъ онъ начальнику ея, который послѣ оказался крѣпко замѣшаннымъ въ заговорѣ: „благодарю тебя за то, что бригада приведена въ отличное положеніе, и совѣтую тебѣ и впередъ болѣе заниматься службою, нежели политическими бреднями".

При такихъ обстоятельствахъ, при подобномъ расположеніи и настроеніи духа, спросимъ мы: къ чему нуженъ былъ ему грозный Аракчеевъ, это пугало, какимъ рисуютъ его? Александръ, при умѣ своемъ, при долгой опытности, онъ, умѣвшій оцѣнить обаяніе Сперанскаго и Каподистріи, могъ-ли быть въ ежедневныхъ сношеніяхъ съ человѣкомъ по государственнымъ дѣламъ, и не догадаться, что это человѣкъ посредственный и ничтожный? Здравый смыслъ и логика отрицаютъ возможность подобныхъ противорѣчій. Ясно и очевидно, что Аракчеевъ былъ не вполнѣ тотъ, что мерещится намъ въ журнальныхъ легендахъ, которыя поются съ такою охотою на удовольствіе общественнаго суевѣрія. Александръ былъ въ данномъ случаѣ лучшимъ судіею въ этомъ дѣлѣ: предъ судомъ его слабѣютъ улики постороннихъ соглядатаевъ того, что есть, и особенно того, что было. Нужно при этомъ вспомнить, что Александръ въ послѣднее десятилѣтіе уже не былъ и не могъ быть Александромъ прежнихъ годовъ. Онъ прошелъ школу событій и тяжкихъ испытаній. Либеральные помыслы его и молодыя сочувствія болѣзненно были затронуты и потрясены грубою и безпощадною дѣйствительностью. Заграничныя революціонныя движенія, домашній бунтъ Семеновскаго полка, неурядицы, строптивыя замашки Варшавскаго сейма, на который еще такъ недавно онъ полагалъ лучшія свои упованія, догадки и болѣе чѣмъ догадки о томъ, что и въ Россіи замышлялось что-то недоброе, всѣ эти признаки, болѣзненные симптомы, совокупившіеся въ одно цѣлое, не могли не отразиться сильно на впечатлительномъ умѣ Александра. Діагностика врача не могла не измѣниться. Переписка о Семеновскомъ дѣлѣ, напечатан-

ная въ *Русскомъ Архивѣ*, убѣждаетъ насъ, что сей бунтъ былъ не просто солдатскій. Александръ до конца жизни оставался въ этомъ убѣжденіи. Если и не соглашаться со всѣми соображеніями и выводами честнаго и прямодушнаго Васильчикова и благоразумнаго и опытнаго князя Волконскаго, то нельзя не признать, что въ ихъ воззрѣніи много было государственной прозорливости и правды. Эта переписка проливаетъ на нихъ благопріятный свѣтъ, особенно же на Государя. Волею, или неволею долженъ былъ онъ спуститься съ поэтическихъ и оптимическихъ, улыбающихся вершинъ. Мы уже замѣтили: лично былъ онъ выше страха; здѣсь боялся онъ не за себя, а могъ бояться за Россію. Политическія повѣтрія очень прилипчивы и заразительны. Въ такое время нужны предохранительныя мѣры и карантины. Аксіома: laissez faire, laissez passer можетъ быть удобно и съ пользою примѣняема въ иныхъ случаяхъ, но не всегда и не во всѣхъ. Напримѣръ, хоть бы въ отношеніи къ огню, когда горитъ сосѣдній домъ. Мы оберегаемся отъ худыхъ и опасныхъ вліяній въ мірѣ физическомъ; противъ разлитія рѣкъ и наводненій мы устроиваемъ плотины; противъ бѣдствій отъ грозы мы застраховали себя громовыми отводами; противъ засухи мы пользуемся искусственными орошеніями; противъ излишней влажности и болотистой почвы искусственными осушеніями. Никто не порочитъ этихъ предосторожностей, никто не назоветъ суетною мнительностью и слабодушіемъ этой борьбы съ природою. Почему же въ одномъ нравственномъ и политическомъ мірѣ признавать предосудительными эти мѣры общественнаго охраненія? Почему присуждать правительство и общественныя силы къ бездѣйствію и безчувственности восточнаго фатализма, даже и въ виду грядущей опасности.

Государь, вѣроятно, обратилъ первоначальное вниманіе свое на Аракчеева, какъ на преданнаго и благодарнаго слугу императора Павла. Онъ имѣлъ административныя военныя способности, особенно по артиллеріи; онъ былъ одинокъ въ обществѣ, не примыкалъ ни къ какой партіи вліятельной или ищущей вліянія, слѣдовательно не могъ быть орудіемъ какого-нибудь кружка, не могъ быть и его главою. Государь не опасался встрѣтить въ немъ человѣка систематически закупореннаго въ той, или другой доктринѣ.

Не могъ бояться онъ, что, при исполненіи воли и предпріятій его, будутъ при случаѣ обнаруживаться въ Аракчеевѣ свои заднія или передовыя мысли. Вспомнивъ бывшаго пріятеля своего Наполеона, Александръ могъ также, какъ и тотъ, не возлюбить идеологовъ. Самъ Александръ оставался въ иномъ болѣе идеологомъ, нежели практикомъ; но въ работникахъ, въ дѣльцахъ своихъ не хотѣлъ онъ идеологіи. Не должно терять изъ виду ни времени, ни обстоятельствъ, въ которыя Государь приблизилъ къ себѣ Аракчеева. Мы выше уже упомянули о томъ. Въ Александрѣ не могло уже быть прежней бодрости и самонадѣянности. Онъ вынужденъ былъ сознаться, что добро не легко совершается, что въ самихъ людяхъ часто встрѣчается какое-то необдуманное, тупое противодѣйствіе, парализирующее лучшіе помыслы, лучшія заботы о пользѣ и благоденствіи ихъ. Здѣсь опять теорія сталкивается съ дѣйствительностью, и теорія рѣдко оказывается побѣдительницею. Тяжки должны быть эти разочарованія и суровыя отрезвленія. Александръ ихъ испыталъ: онъ извѣдалъ всю ихъ уязвительность и горечь. Строгіе судіи, умозрительные и безпощадные, могутъ, конечно, сказать, что человѣкъ съ твердою волею, одаренный могуществомъ духа, долженъ всегда оставаться выше подобныхъ житейскихъ невзгодъ и сопротивленій. Можетъ быть. Но мы не чувствуемъ въ себѣ достаточной силы, чтобы пристать къ этимъ строгимъ приговорамъ. Мы полагаемъ, что если и были ошибки, то многія изъ нихъ были искуплены подобными испытаніями и подобнымъ горемъ. Мы здѣсь не осмѣливаемся судить: мы можемъ только сострадать.

Въ такомъ расположеніи, Государь прежде всего искалъ исправныхъ дѣлопроизводителей, бдительныхъ и строгихъ соблюдателей насущнаго порядка.

Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende. Исправнѣйшаго исполнителя въ кругѣ подобной дѣятельности онъ найти не могъ: выборъ его палъ на Аракчеева.

Вотъ что говоритъ о немъ сенаторъ Брадке въ Запискахъ своихъ: „Что Аракчеевъ былъ человѣкъ необыкновенныхъ способностей и дарованій, едва-ли можетъ быть подвержено сомнѣнію со стороны тѣхъ лицъ, кто его хоть нѣсколько зналъ и кто не увлекался безусловно своими предубѣжденіями. Быстро охватывая пред-

метъ, онъ въ тоже время не лишенъ былъ глубины мышленія, когда самъ того желалъ, и когда она не вовлекала его въ противорѣчіе съ предвзятыми его намѣреніями".

Еще выписка: „По истинѣ рѣдкая и строго-направляемая дѣятельность, необыкновенная правильность въ распредѣленіи времени, давали ему очевидную возможность совершать болѣе того, что могло быть сдѣлано обыкновеннымъ путемъ и служили въ беззастѣнчивой рукѣ бичемъ для всѣхъ его подчиненныхъ". (Р. Арх. 1875, кн. I).

Послѣднія строки не могутъ быть иначе разъяснены, какъ въ слѣдующемъ смыслѣ: что онъ былъ взыскательнымъ начальникомъ и что, много дѣлая, безпощадно требовалъ онъ отъ подчиненныхъ своихъ, чтобы и они многое дѣлали.

У Брадке за мадригаломъ обыкновенно недалеко слѣдуетъ и эпиграмма: медъ не мѣшаетъ быть и дегтю. Слѣдовательно одобрительное слово его имѣетъ свою существенную цѣнность. Довѣрять ему можно. Брадке долго служилъ при Аракчеевѣ по вѣдомству военныхъ поселеній. Сдѣлалъ онъ, что называется, дальнѣйшую служебную карьеру не при немъ. Слѣдовательно нельзя подозрѣвать его въ излишней признательности къ милостивцу своему. Онъ былъ человѣкъ нрава независимаго. Онъ былъ вовсе не Аракчеевецъ, ни по образованію своему, ни по чувствамъ, ни по своимъ понятіямъ. Онъ былъ ума свѣтлаго, безпристрастнаго. Самъ былъ дѣлецъ и тоже работникъ неутомимый по разнымъ отраслямъ государственнаго управленія. Въ немъ самомъ были зародыши высшаго государственнаго дѣятеля; а потому и судитъ онъ Аракчеева, какъ государственный человѣкъ. А доселѣ и послѣ Брадке, многіе судили о немъ по анекдотамъ, болѣе или менѣе достовѣрнымъ, которыми питалась уличная молва.

Вотъ еще свидѣтельство, которое можно привести въ подтвержденіе и объясненіе нашего тезиса. Въ практическомъ отношеніи оно не имѣетъ вѣса и авторитета, подобнаго свидѣтельству, которое доставилъ намъ Брадке; но въ нравственномъ отношеніи оно тоже чего нибудь да стоитъ. Въ продолженіе пребыванія своего въ Петербургѣ, Карамзинъ ни въ какихъ сношеніяхъ, даже просто свѣтскихъ, съ Аракчеевымъ не состоялъ. Карамзинъ не могъ быть

безусловнымъ сторонникомъ военныхъ поселеній. Вѣроятно, между нимъ и Государемъ возникали пренія по этому вопросу. Какъ-бы то ни было, однажды лѣтомъ Государь предложилъ Карамзину съѣздить вмѣстѣ съ Аракчеевымъ въ Новогородскія поселенія и лично ознакомиться съ ними и съ порядкомъ ихъ. Отказываться было невозможно. Карамзинъ и Аракчеевъ отправляются вдвоемъ въ коляскѣ. Двое сутокъ, а можетъ быть и трое, проводятъ они другъ съ другомъ почти безразлучно. Карамзинъ былъ словоохотливъ и скорѣе невоздержанъ, чѣмъ сдержанъ въ разговорѣ. Между придворными онъ часто возбуждалъ смущеніе и недоброжелательство своею рѣчью, недостаточно офиціальною. Любопытно было-бы подслушать разговоръ двухъ этихъ личностей съ глазу на глазъ. Странныя сцены разыгрываетъ случай: напримѣръ, сближеніе Карамзина и Аракчеева, двухъ разнородностей. Оба преданы были Государю, но преданность каждаго была привлечена къ нему едва-ли не съ противуположныхъ полюсовъ. Карамзинъ возвратился съ этой поѣздки, вѣроятно, не совсѣмъ убѣжденный въ пользѣ военно-колонизаторской системы, и во всякомъ случаѣ не возвратился онъ обращеннымъ въ Аракчеевскую вѣру. Положеніе воина-хлѣбопашца, ремесленника, семьянина могло до нѣкоторой степени плѣнять воображеніе его, какъ плѣнило оно воображеніе и Александра, *идиліею въ будущемъ*, по мѣткому выраженія Брадке. Но Карамзинъ не принадлежалъ къ тѣмъ людямъ, которые хотятъ строить зданіе будущаго благоденствія на жертвахъ, страданіяхъ и развалинахъ настоящаго. Разумѣется, поселенія были представлены Карамзину хозяиномъ ихъ съ казоваго конца. Аракчеева винятъ въ подобномъ способѣ казанія. Но это вовсе не исключительно Аракчеевскій обычай. Не онъ выдумалъ его, а просто Русскій человѣкъ: товаръ лицемъ продается. Но Карамзинъ возвратился съ нѣкоторыми впечатлѣніями выгодными для Аракчеева. Онъ убѣдился въ умѣ его, въ распорядительности, въ нѣкоторыхъ свойствахъ нужныхъ для государственнаго человѣка. Онъ говорилъ, что, нѣсколько сблизившись съ нимъ, онъ теперь понимаетъ, какъ Александръ привыкъ къ нему и облекаетъ его довѣріемъ своимъ. Такія два свидѣтельства, какъ Брадке и Карамзинъ, могутъ нѣсколько поколебать вѣру въ другія, на скорую руку приведенныя свидѣтельства: въ приговорѣ по

тяжбѣ, вызванной въ печати противъ подсудимаго, эти два голоса должны быть приняты въ соображеніе и повести, по крайней мѣрѣ, къ тому, что есть въ пользу его и нѣкоторыя смягчающія обстоятельства. Огульно приговорить человѣка, лишить его *весьма живота*, какъ-то многіе дѣлаютъ съ Аракчеевымъ и въ видѣ нравоученія, говорить съ поэтомъ:

Поди душа во адъ и буди вѣчно плѣнна,

конечно судъ короткій и ясный; но мы въ дѣлѣ правосудія предпочитаемъ проволочки этимъ скорымъ производствамъ дѣлъ: мы не любимъ ни гражданскихъ, ни литературныхъ Шемякинскихъ расправъ и судовъ.

VII.

Вопросъ о военныхъ поселеніяхъ слишкомъ обширенъ и многосложенъ, чтобы затрогивать его бѣглымъ перомъ, чтобы изучать и изслѣдовать его мимоходомъ. Сей вопросъ имѣетъ двѣ стороны одинаково важныя: военную и политическую, или государственную. Нужно глубоко провѣрить, можетъ-ли подобное учрежденіе образовать и облагонадежить существованіе военныхъ государственныхъ силъ, то есть такихъ, которыя были бы залогомъ мира внутри и охранителями безопасности и независимости государства во внѣшнихъ отношеніяхъ его. Не можетъ-ли такая вооруженная сила быть опасностью для своихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ слабостью для отраженія нападающихъ внѣшнихъ враговъ? Уже извѣстно, что не Аракчеевъ былъ родоначальникомъ этой мысли. Она собственно принадлежитъ Государю и въ такомъ случаѣ истекаетъ, можетъ быть, изъ ошибочнаго, но человѣколюбиваго побужденія. Освобожденіе народа отъ ежегодныхъ и тяжкихъ рекрутскихъ наборовъ, водвореніе войска въ домашній и семейный бытъ, пополненіе на будущія времена этого войска собственными и наслѣдственными средствами, уничтоженіе различія, которое существовало между понятіями и дѣйствительностью въ званіи землепашца и воина, соединеніе этихъ двухъ лицъ въ одномъ лицѣ, все это могло улыбаться воображенію и внутреннимъ стремленіямъ Александра. Не смотря на суровые опыты, его все еще нѣсколько тянуло въ об-

ласть мечтательности и благодушныхъ упованій. Съ новою возрожденною силою схватился онъ за эту мысль. Онъ пристрастился къ ней, онъ видѣлъ въ успѣшномъ осуществленіи ея одно изъ великихъ дѣлъ царствованія своего. Въ борьбѣ съ препятствіями, которыя встрѣчались ему на пути, не признавалъ онъ законной причины отказаться отъ цѣли своей. Каждое нововведеніе требуетъ болѣе или менѣе пожертвованія. Онъ надѣялся, что самое время придетъ ему на помощь, что предубѣжденія, народныя, закоснѣлыя суевѣрія ослабѣютъ, что одолѣетъ ихъ въ свой часъ видимая, осязательная польза; что зло, неминуемое при каждомъ переворотѣ, такъ сказать, перемелется и забудется, а добро, въ началѣ сопряженное съ нимъ, отъ него отдѣлится и устоитъ. При всей мягкости характера и возвышеннаго человѣческаго настроенія, которыми Карамзинъ плѣнялся въ Александрѣ, въ немъ было много и самолюбивой упорности. Этимъ послѣднимъ свойствомъ примыкалъ онъ къ Аракчееву. Аракчеевъ, съ своей стороны, былъ пропитанъ чувствомъ восточнаго повиновенія. Эти два качества, царя и подданнаго, на бѣду сошлись въ дѣлѣ военнаго поселенія: другъ другу помогали, то есть вредили другъ другу. Аракчеевъ, по натурѣ своей, по всѣмъ обстоятельствамъ жизни, былъ человѣкъ порядка, порядка, доходящаго до педантизма, до деспотизма. Русскій человѣкъ вообще порядка не любитъ; законъ и подчиненность ему претятъ натурѣ его. Вотъ, кажется, въ короткихъ, но правдоподобныхъ словахъ, объясненіе прискорбныхъ послѣдствій, которыми омрачено было дѣло военнаго поселенія, задуманное во благо народа. Въ этомъ случаѣ Аракчеевъ былъ анахронизмъ. Онъ былъ бы на мѣстѣ своемъ, какъ орудіе реформъ Петра Великаго. Но, по современнымъ понятіямъ, не былъ онъ приличнымъ орудіемъ преобразованій въ рукахъ того, котораго наименовали *Александромъ Благословеннымъ*. Какъ бы то ни было, когда улягутся страсти и и злопамятныя впечатлѣнія, исторія, то есть судъ, произносимый потомствомъ, взвѣситъ всѣ соображенія за и противъ и произнесетъ свой окончательный приговоръ.

VIII.

Мы Аракчеева лично не знали, но многое слышали о немъ отъ людей болѣе или менѣе близкихъ ему. Не только по кончинѣ, но уже и при жизни былъ онъ живая легенда. Домъ его на Литейной былъ какимъ-то таинственнымъ, заколдованнымъ замкомъ: въ немъ обиталъ Змѣй Горынычъ. Толпа съ невольнымъ страхомъ проходила мимо дома, любопытно и суевѣрно заглядывала съ робостью въ окна его, ничего особеннаго въ немъ не подмѣчала; тѣмъ болѣе многое ей мерещилось. Для пополненія очерка, нами намѣченнаго, соберемъ изъ памяти кое-какія сохранившіяся о немъ впечатлѣнія. Общій выводъ ихъ заключается въ томъ, что онъ былъ человѣкъ, выходящій изъ ряда обыкновенныхъ людей. Онъ пробилъ себѣ дорогу самъ собою. Но онъ и не пробивалъ ея, а просто шелъ и нечаянно дошелъ до высоты, на которой мы видѣли его. Онъ былъ безкорыстенъ, по крайней мѣрѣ относительно и сравнительно. Обезпеченный и щедро обезпеченный милостью императора Павла, онъ могъ-бы желать разбогатѣть еще болѣе. Случаи къ тому были ему сподручны: Но онъ остался при томъ, что имѣлъ. Когда императоръ Александръ пожаловалъ ему свой портретъ, осыпанный алмазами, то онъ алмазы возвратилъ и просилъ дозволенія носить одинъ портретъ. Охотно вѣримъ, что тутъ проглядываетъ отчасти гордость и желаніе отличить себя отъ другихъ. Но всѣ-ли, и многіе-ли способны имѣть такое желаніе? Другой, на мѣстѣ его и также для отличія, могъ-бы ходатайствовать о томъ, чтобы алмазы при портретѣ были покрупнѣе *не въ примѣръ другимъ*. Не чужды были ему гордость и надменность, но и ихъ выказывалъ онъ не подобно другимъ. Пошлаго чванства въ немъ не было. Онъ не хотѣлъ ослѣплять городъ и толпу роскошью и пышностью. Онъ могъ желать сравниться съ Потемкинымъ въ объемѣ власти; но по догадливости своей и благоразумію разсчёлъ, что Таврическая постановка и обстановка были уже не въ духѣ времени. Онъ, въ будничной силѣ своей, не гонялся за праздничными принадлежностями исключительнаго положенія своего. Родъ жизни его былъ болѣе домосѣдный; привычки мало измѣнялись и сохранили во мно-

гомъ первоначальную простоту темныхъ и трудовыхъ годовъ его. Въ блестящихъ собраніяхъ Двора какая-то суровость военнаго схимника отличала его отъ среды другихъ сановниковъ и вельможъ. Эта черта личности его, ему врожденная, или имъ благопріобрѣтенная, могла также служить точкою сближенія его съ Александромъ. Извѣстно, что и Государь былъ врагъ роскоши и пышности. Гордость Аракчеева, когда выступала наружу, имѣла что-то саркастическое и выказывалась какою-то эпиграммою въ лицахъ и въ дѣйствіяхъ. Нѣкоторые изъ податливыхъ сановниковъ испытывали ее и бывали ея жертвами. Онъ зналъ ихъ насквозь: хорошо вѣдалъ, что они готовы потворствовать ему и трусятъ предъ нимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ всею душою ненавидятъ его. Онъ надъ ними въ веселый часъ — и у него были свои веселые часы — зло и забавно подтруниваль, напримѣръ такимъ образомъ: Когда живалъ онъ въ Грузинѣ, многіе сановники приглашаемы бывали имъ изъ Петербурга, или сами усердно напрашивались. Туалетный этикетъ въ то время вездѣ еще строго соблюдался. Тогда черныхъ нашейниковъ не знали; не знали и разныхъ пальто и пиджаковъ. Фракъ и бѣлый галстухъ были необходимыми принадлежностями порядочныхъ людей даже и на утреннихъ посѣщеніяхъ. Разумѣется, на офиціальныхъ съѣздахъ у высокопоставленныхъ личностей, у знатныхъ особъ обоего пола, соблюденіе правилъ въ какой *быть формѣ* было еще строже. Человѣкъ порядка, человѣкъ военной дисциплины и чинопочитанія, каковымъ былъ старый Гатчинецъ, не могъ не держаться такой туалетной іерархіи. Заранѣе распредѣлено было, въ какомъ видѣ явиться: въ мундирѣ-ли съ лентой, или безъ ленты, во фракѣ-ли безъ ленты, или съ лентою. Гости были о томъ заранѣе оповѣщены въ Петербургѣ. Но когда на хозяина находилъ веселый часъ, а этотъ веселый часъ падалъ особенно на самыя именитыя лица, на станціи Чудовѣ ожидала ихъ повѣстка, въ которой означалось, что туалетная форма измѣнена, такъ что приходилось имъ или возвращаться въ городъ безъ допущенія къ лицезрѣнію, или просидѣть нѣсколько часовъ на станціи, въ ожиданіи посланнаго, который былъ отправляемъ курьеромъ въ Петербургъ, чтобы привезти требуемыя принадлежности одѣванія. — Или вотъ еще потѣха Аракчеева: Въ извѣстный день недѣли проводилъ онъ

вечеръ, кажется, у генерала Апрѣлева. Тутъ за партіей бостона непремѣннымъ партнеромъ его была сановитая, престарѣлая личность, а именно, если не ошибаемся, свѣтлѣйшій князь Лопухинъ. На одномъ такомъ вечерѣ хозяинъ предложилъ графу начать партію. — „А гдѣ-же князь Петръ Васильевичъ?“ спрашиваетъ Аракчеевъ. — „Онъ прислалъ извиниться, что за болѣзнью быть сегодня не можетъ“. — „Какой вздоръ! Вѣрно старикъ полѣнился. Послать за нимъ!“ И вотъ несчастный является. Садятся за ломберный столъ, разумѣется, съ княземъ. Аракчеевъ, едва взявъ карты въ руки, подзываетъ кого-то изъ присутствующихъ, отдаетъ ему игру свою и вставая говоритъ ему: „Играй за меня, а мнѣ сегодня что-то играть не хочется“, и тутъ-же уѣзжаетъ. Вотъ картина и драматическая сцена! Можно представить себѣ, какъ вытянулись лица хозяина и бѣднаго князя. Шутка жестокая, неблаговидная, недостойная человѣка благовоспитаннаго. Совершенно согласны. Но Аракчеевъ и не выдавалъ себя за человѣка благовоспитаннаго. Онъ любилъ хвастаться тѣмъ, что учился и образовалъ себя на мѣдныя деньги. Нельзя похвалить его за грубый и дикій поступокъ. Но, грѣшный человѣкъ, мнѣ какъ-то нравятся эти проказы его: въ нихъ есть замысловатость и много комическаго, есть и саркастическая язвительность. Впрочемъ, разсказомъ этимъ мы едва-ли не угодимъ нѣкоторымъ изъ нашихъ общественныхъ Катоновъ-цензоровъ. Это, можетъ быть, хотя нѣсколько примиритъ ихъ съ Аракчеевымъ; послѣ такихъ выходокъ его, они скажутъ: нельзя не сознаться, что и въ Аракчеевѣ было что-то хорошее.

Въ грубой и тусклой натурѣ Аракчеева, которой вполнѣ отрицать нельзя, просвѣчивались иногда отблески теплаго и даже нѣжнаго чувства. Не знаемъ, въ какой степени способенъ онъ былъ ощущать радость, но скорбь чувствовалъ онъ сильно и этому чувству предавался съ порывомъ и съ глубокимъ постоянствомъ. Всѣ изъявленія благодарной памяти его къ почившимъ благодѣтелямъ, Павлу и Александру, носятъ отпечатокъ не только глубокой преданности, но и чего-то поэтическаго. Часы, имъ заказанные, которые въ минуту, когда совершилась смерть Александра, издавали заупокойные звуки, могутъ служить доказательствомъ, что, если и были въ немъ стороны очерствѣлыя, то очерствѣніе не вполнѣ

охватило его. Многія другія памятованія, или поминки его, обозначаются такими-же оттѣнками. Если даже и признавать въ нихъ характеръ не чисто духовный, болѣе наружный, нежели глубокій, что-то языческое, то и въ такомъ случаѣ скорбь все остается скорбью. Каждый выражаетъ ее по внутреннему настроенію и по своему.

IX.

Мы говорили, что Аракчеевъ, какъ историческое лицо, будетъ въ свое время подлежать суду исторіи. Но онъ не страшился этого суда, а главное, хотя человѣкъ мало образованный, онъ сознательно, или мало сознательно, признавалъ и уважалъ достоинство и авторитетъ исторіи. Мало того, что не страшился, онъ самъ вызвалъ этотъ судъ надъ собою. Много въ послѣднее время было написано о немъ. Его разбирали по косточкамъ, даже по яблокамъ. Помнится, гдѣ-то чуть не ставили въ вину ему, что онъ требовалъ отъ хозяйственнаго управленія въ Грузинѣ вѣдомости о сборѣ яблокъ съ яблоней въ саду его, или что-то тому подобное. Нѣмцовъ не удивила-бы такая взыскательность и акуратность. Въ Германіи все на счету и все записывается; подлинно у нихъ каждое лыко въ строку. Нашимъ счетчикамъ до мелочи всѣмъ дѣйствіямъ, движеніямъ и словамъ Аракчеева не пришло на умъ обратить вниманіе на знаменательную черту изъ жизни его. Мы говоримъ о завѣщаніи его, по которому опредѣляетъ онъ значительную сумму, кажется 100.000 рублей — тому, кто представитъ, черезъ сто лѣтъ, лучшую, по приговору ученыхъ, исторію царствованія Императора Александра. Онъ зналъ, что въ этой исторіи найдется мѣсто и ему, хорошее-ли, дурное-ли, но неминуемо. Если онъ хотѣлъ-бы задобрить и подкупить историка въ пользу свою, онъ не отложилъ-бы ея появленія на цѣлое столѣтіе. Напротивъ, онъ поторопилъ-бы благосклоннаго и благодарнаго историка написать ее какъ можно скорѣе и при немъ, еще заживо. Сомнѣваться нельзя, что нашлись-бы историки, которые въ запуски старались-бы перещеголять другъ друга въ восхваленіи щедраго героя.

Il s'en présentera, gardez vous d'en douter.

Но Аракчеевъ, по тонкому и истинно-просвѣщенному чувству, не хотѣлъ, ни въ отношеніи къ обожаемому Монарху, ни въ отношеніи къ себѣ, заискивать благоволительность присяжнаго и подкупнаго адвоката. Онъ вѣровалъ въ исторію и требовалъ отдаленнаго и нелицепріятнаго историка. Одна эта свѣтлая, оригинальная черта убѣждаетъ, что въ Аракчеевѣ были зародыши и заявленія, не во многихъ людяхъ встрѣчающіеся. Если нѣкоторые изъ этихъ зародышей не вполнѣ развились; другіе, можетъ быть, и заглохли: то причина тому недостатокъ образованности и сила житейскихъ условій и обстоятельствъ. Бѣда его въ томъ, что онъ родился въ средѣ хотя дворянской, но мало образованной и что первоначальное воспитаніе его было совершенно пренебрежено. Другая бѣда его, что почти безъ приготовленія былъ онъ судьбою заброшенъ на вышину, которая давала ему обширную власть, обязывала его большою отвѣтственностью и ставила всѣмъ на виду. Поболѣе равномѣрности и равновѣсія въ распредѣленіи того, что онъ дать былъ въ силахъ и того, что случайныя обстоятельства и взыскательность людей отъ него требовали, однимъ словомъ участь менѣе порывистая, но болѣе правильная и раціональная, и изъ Аракчеева вышелъ-бы человѣкъ, который могъ занять съ пользою второстепенное мѣсто въ государственномъ управленіи. Во всякомъ случаѣ, избѣжалъ-бы онъ тогда многихъ ошибокъ и тѣхъ укоризнъ, частью справедливыхъ, большею частью празднословныхъ и наглыхъ поношеній, которыми безжалостно и безпощадно преслѣдуютъ память его.

X.

А знаете-ли, что меня, вовсе не почитателя и не приверженца Аракчеева, вовлекло въ защиту, не защиту, въ апологію и того менѣе, а развѣ просто въ нѣкоторое изученіе и разъясненіе этой загадочной исторической личности? Во первыхъ: добросовѣстность. Говоря объ Александрѣ и о способности его пристращаться (s'engouer), указывая на лица, которыя были предметами такого пристрастія, я не могъ выключить, утаить изъ этой портретной вы-

ставки имя, которое болѣе и долѣе другихъ было у всѣхъ на виду. Я не могъ „слона то и не примѣтить“, или скорѣе не слона, а козла отпущенія. Но сознаюсь: у меня было и другое побужденіе. У меня есть своего рода скептицизмъ, недовѣріе къ тому, что неправильно именуется общимъ или общественнымъ мнѣніемъ. По моему мнѣнію, общаго мнѣнія нѣтъ и быть не можетъ. Это опять одна изъ узаконенныхъ мистификацій, которыми промышленники цыганятъ и надуваютъ толпу, собранную на площади. Каждый кружокъ, какъ бы ни былъ онъ малъ, каждый журналъ имѣетъ у себя на-готовѣ доморощенное общее мнѣніе, во имя котораго онъ разглагольствуетъ, судитъ и рядитъ, караетъ и милуетъ. Это общественное мнѣніе, раздробленное на многочисленныя части, другъ другу противорѣчащія и другъ другу враждебныя, и есть—въ добрый часъ молвить, а въ худой промолчать—тотъ бѣсъ, котораго имя: „легіонъ, яко мнози есмы“.

Когда-же ночью и днемъ, въ горахъ и гробахъ, подъ этою кличкою, раздается, разносится и пошло повторяется сужденіе и приговоръ, тутъ невольно возбуждаются во мнѣ сомнѣнія въ правотѣ и законности подобнаго единогласія.

Было еще и другое побужденіе. Въ наше время, проповѣдующее систему всеобщихъ голосованій, истина бываетъ не рѣдко заглушена и затерта именно обиліемъ этихъ голосовъ. Бороться, въ текучій часъ, съ подавляющимъ изверженіемъ этихъ голосовъ безполезно и неблагоразумно; но это не мѣшаетъ подавать, хотя для очистки совѣсти, свой одиночный, протестующій голосъ. Этому голосу не дается сила стараго Польскаго veto, *не позволямъ*, который на Польскихъ сеймахъ останавливалъ бурный потокъ большинства; но нравственная сила и одинокаго протеста можетъ быть принята въ соображеніе, если не нынѣ, то завтра, какъ ни будь еще далеко это гадательное завтра.

Приступимъ наконецъ къ заключенію. Мы не хотѣли и не хотимъ возбуждать полемики объ Аракчеевѣ. Во всякомъ случаѣ, отъ нея заранѣе отказываемся. Повторяемъ: мы не защитники его. Еще менѣе принимаемъ на себя обязанность оправдать Александра, который, предъ судомъ исторіи и потомства, не будетъ нуждаться

въ нашихъ оправдательныхъ рѣчахъ. Мы единственно, исключительно въ качествѣ свидѣтеля, хотѣли, по возможности, разъяснить нѣкоторыя темныя мѣста въ лѣтописи событій, которыхъ были мы современниками.

CXI.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ПИСЬМА КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО ГРАФУ С. Д. ШЕРЕМЕТЕВУ.

1876.

.... Вы жаждете газетъ; а у меня трещитъ отъ нихъ голова, въ глазахъ рябитъ и наливается темная вода. Получаю ихъ пять и по малодушію всѣ ихъ читаю, а толку добиться отъ нихъ не могу. Французскія газеты врутъ, а Русскія врутъ и безъ милосердія, и безъ зазрѣнія совѣсти лгутъ. Одинъ номеръ противорѣчитъ другому. Вообще все, что дѣлается по Восточному вопросу настоящій и головоломный кошмаръ. Правительства не видать и не слыхать; а на сценѣ * и ** съ компаніею. Они распоряжаются судьбами Россіи и Европы. Если Правительство съ ними, то дѣлается слишкомъ мало; если не съ ними, то черезъ чуръ много. Тутъ нѣтъ ни политическаго достоинства, ни политической добросовѣстности: нѣтъ и благоразумія. Всѣ плотины прорваны и потокъ бушуетъ и разливается на всѣ стороны: многое затопитъ онъ. Если, когда нибудь, загорится война между Франціей и Пруссіей, народныя сочувствія будутъ, какъ и были они въ прошлую войну на сторонѣ Франціи. Позволитъ ли Правительство Русскимъ стать подъ Французскія знамена и высылать Французамъ воиновъ, оружія, денегъ и всѣ военныя снадобья? Правительства не должны увлекаться сентиментальными упоеніями: они должны держаться принциповъ. Безъ принциповъ Правительство играетъ въ жмурки, да я и не вѣрю въ глубину и сознательность нынѣшняго народ-

наго движенія. Это не движеніе, а судороги, родъ пляски de St. Guy. Русскій человѣкъ подверженъ запою. И это запой, тотъ же запой, но въ дистанціяхъ огромнаго размѣра, который въ театрѣ закидываетъ какую нибудь Жюдикъ цвѣтами на нѣсколько тысячъ рублей, когда у многихъ всего пятиалтынникъ въ карманѣ, который вызываетъ пѣвунью или плясунью сорокъ разъ пока не начнутъ тушить въ залѣ. И этимъ безобразіемъ и шумнымъ юродствомъ мы думаемъ удивить и перещеголять Европу. Въ началѣ Славянскаго движенія все было у насъ тихо. Одни журналы кричали. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ запретило Земствамъ высылать деньги Славянамъ, замѣтивъ очень благоразумно, что земскія деньги собираются съ народа на земскія и народныя нужды. Журналы стали пуще кричать и бѣсноваться и перекричали Министерство и Правительство. И пошла потѣха и попойка. Всѣ упиваются патріотическою сивухою на Славянскомъ настоѣ и закусываютъ бѣленою. Народъ не можетъ желать войны, а по недосмотрительности своей ведетъ къ войнѣ. Война теперь можетъ быть для насъ не только вредъ, но и гибель. Она можетъ наткнуться на государственное банкротство. У насъ, какъ у Французовъ, нѣтъ въ жилетномъ карманѣ милліардовъ не говоря уже о другихъ худыхъ послѣдствіяхъ войны. Нѣтъ сомнѣнія, что между Славянскими крикунами, особенно журнальными, есть у насъ охотники до войны pour pousser le gouvernement et le mettre au pied de mur. Это говорю я между нами: не хочу быть доносчикомъ, но убѣжденіе мое въ томъ крѣпко стоитъ. Видѣть Россію въ рукахъ * и ** страшно и грустно. За ними не видать Правительства, qui ne dit mot consent. Слѣдовательно Правительство молча потакаетъ этой политической неурядицѣ и горько можетъ поплатиться за нее. Мы не Англія. Тамъ общественныя движенія, движенія массы, вошли въ народныя политическія привычки, но тамъ есть и государственно-политическія учрежденія, которыя уравновѣшиваютъ эти движенія и окончательно управляютъ ими и держатъ ихъ въ законныхъ границахъ. У насъ этого нѣтъ—у насъ нѣтъ законныхъ плотинъ и шлюзовъ, чтобы удерживать потоки, когда они разольются. У насъ есть законная власть, и она не должна обезоруживать себя не изъ одного самохраненія своего, а по обязанности хранить свой

народъ, свое государство. А какую мораль можно вывести изъ всѣхъ криковъ печати нашей? Именно ту, что общественное мнѣніе выше и крѣпче Правительства нашего, что теперь праздникъ на ихъ улицѣ. * разсылаетъ телеграммы и приказанія по Россіи, разсылаетъ *уполномоченныхъ отъ себя* въ города (См. вчерашній *Голосъ*). Да это такая белиберда, что глазамъ и ушамъ не вѣрится. И кто же, и что же этотъ *, которому духовенство высылаетъ образа и благословенія, которому служитъ молебствія, которому Россія подноситъ поздравительные и торжественные адресы? Что же онъ сдѣлалъ? Онъ кое-какъ барахтается съ Турками и только. Кое гдѣ бьетъ ихъ, кое гдѣ ими битъ. *Кондотьерство* его могло бы оправдано быть однимъ: если онъ недѣль въ шесть добился бы до Константинополя или какого нибудь Седана. Но онъ и отъ Константинополя и отъ Седана очень далекъ. А только по пятамъ своимъ привелъ Турокъ въ Сербію и предалъ имъ области ея на раззоренія и опустошенія. Этотъ Аннибалъ, этотъ Вашингтонъ христорадничаетъ у Россіи крови ея, денегъ, офицеровъ, сапоговъ и корпіи. Этотъ полководецъ не умѣлъ даже и корпіи заготовить. Хороши и Сербы! Россія стряхнула съ себя Татарское иго, а послѣ Наполеоновское руками своими, а не хныкала и не попрошайничала помощи отъ сосѣдовъ. Неужели мы своими боками, кровью своею, можетъ быть будущимъ благоденствіемъ своимъ должны жертвовать для того, чтобы Сербы здравствовали. Сербы Сербами, а Русскіе Русскими. Въ томъ то главная погрѣшность, главное недоразумѣніе наше, что мы считаемъ себя болѣе Славянами нежели Русскими. Русская кровь у насъ на заднемъ планѣ, а впереди Славянолюбіе. Единовѣрчество тутъ ничего не значитъ. Французы то же единовѣрцы съ Поляками. А что говорили мы, когда Французы вступались за мятежныхъ Поляковъ? Религіозная война хуже всякой войны и есть аномалія, анахронизмъ въ наше время. Турки не виноваты, что Богъ создалъ ихъ Магометанами, а отъ нихъ требуютъ Христіанскихъ, Евангельскихъ добродѣтелей. Это нелѣпо. Высылайте ихъ изъ Европы если можете, или окрестите ихъ если умѣете: если нѣтъ, то оставьте ихъ и Восточный вопросъ въ покоѣ, до поры и до времени. Восточный вопросъ очень легокъ на подъемъ и мы любимъ подымать

его; но не умѣемъ поставить на ноги и давать ему правильный ходъ. Когда Наполеонъ III поднялъ Италіанскій вопросъ, онъ вмѣстѣ съ нимъ поднялъ и двухсотъ-тысячную армію и въ три недѣли побилъ и разгромилъ Австрію. А мы дразнимъ и раздражаемъ и совершенно безсовѣстно Турцію *, ** и санитарными отправленіями, при барабанномъ боѣ, шампанскомъ и разныхъ крикахъ, чуть ли не въ присядку съ бубнами и ложками. Все это недостойно величія Россіи. Между тѣмъ, я увѣренъ, что запрети полиція всѣ эти крики: ура и живіо, при проводахъ добровольцевъ, то провожали бы ихъ одни родственники со слезами, но безъ этихъ патріотическихъ вакханалій.

Въ Русской груди есть потребность орать. Читали вы въ *Голосѣ* письма доктора Висковатова? Посмотрите, что онъ говоритъ о многихъ изъ этихъ добровольцахъ. Должно быть такъ, непремѣнно такъ и скорѣе еще больше чѣмъ сказано. Вся эта шумная задорная политическая благотворительность по мнѣ никуда не годится. Тутъ много виновато и общество покровительства раненыхъ. Изъ Христіанскаго и Евангельскаго подвига сдѣлали они machine de guerre. Крестъ Спасителя обратили въ пушку и стрѣляютъ изъ креста. Все это неправильно, недобросовѣстно, просто не честно. И изъ чего подымаютъ всю эту тревогу и весь этотъ гвалтъ? Изъ чего такъ разнуздали и печать, и шайки разныхъ проходимцевъ... Изъ чего, того и смотри загорится вся Европа и распространится всеобщая война? Неужели думаютъ, что Россія окрѣпнетъ силою возстановленныхъ Славянскихъ племенъ? Нисколько, а напротивъ. Мы этимъ только обезпечимъ и утвердимъ недоброжелательство и неблагодарность сосѣда, котораго мы воскресили и поставили на ноги.

„Il est grand, il est beau de faire des ingrats“. Это говоритъ поэзія, а политика не то говоритъ. Лучше для насъ имѣть съ боку слабую Турцію, старую, дряхлую, нежели молодую, сильную, демократическую Славянію, которая будетъ насъ опасаться, но любить насъ не будетъ. И когда были намъ въ пользу Славяне? Россія для нихъ дойная корова, и только. А всѣ сочувствія ихъ уклоняются къ Западу. А мы даемъ себя доить до крови. Много еще можно было бы сказать на эту тему. Сѣтованія мои и желчь еще

не совсѣмъ излились. Но пора дать вамъ отдохнуть. Я и такъ, вѣроятно, пессимизмомъ своимъ, раздражилъ ваши Славянскія фибры. Сохраните письмо мое... Хочу, чтобы потомство удостовѣрилось, что въ пьяной Россіи раздавались кое-какіе трезвые голоса.

CXII.

ЖУКОВСКІЙ ВЪ ПАРИЖѢ.

1827 годъ. Май. Іюнь.

1876.

I.

Жуковскій не долго былъ въ Парижѣ: всего, кажется, недѣль шесть. Не за веселіемъ туда онъ ѣздилъ и не на радость туда пріѣхалъ. Ему нужно было тамъ ознакомиться съ книжными хранилищами, съ нѣкоторыми учеными и учебными учрежденіями и закупить книги и другія спеціальныя пособія, для предстоящихъ ему педагогическихъ занятій. Онъ былъ уже хорошо образованъ, умъ его былъ обогащенъ свѣдѣніями; но онъ хотѣлъ еще практически доучиться, чтобы правильно, добросовѣстно и съ полною пользою руководствовать ученіемъ, которое возложено было на отвѣтственность его. Собственные труды его, въ это такъ сказать приготовительное время, изумительны. Сколько написалъ онъ, сколько начерталъ плановъ, картъ, конспектовъ, таблицъ историческихъ, географическихъ, хронологическихъ! Бывало, придешь къ нему въ Петербургѣ: онъ за книгою и дѣлаетъ выписки, съ карандашемъ, кистью или циркулемъ, и чертитъ, и малюетъ историко-географическія картины, и такъ далѣе. Подвигъ, терпѣніе и усидчивость по истинѣ, не нашего времени, а Бенедиктинскіе. Онъ наработалъ столько, что изъ всѣхъ работъ его можно составить обширный педагогическій архивъ. Въ эти годы, вся поэзія его, вся поэзія жизни

сосредоточилась, углубилась въ эти таблицы. Не даромъ-же онъ когда-то сказалъ:

„Поэзія есть добродѣтель!“

Сама жизнь его была вполнѣ выраженіемъ этого стиха. Зиму 1826 года провелъ онъ, по болѣзни, въ Дрезденѣ. Съ нимъ были братья Тургеневы Александръ и Сергѣй. Сей послѣдній страдалъ уже душевною болѣзнью, развившейся въ немъ отъ скорби, вслѣдствіе несчастной участи, постигшей брата его, Николая. Всѣ трое, въ Маѣ 1827 года, отправились въ Парижъ, гдѣ Сергѣй вскорѣ и умеръ.

Связь Жуковскаго съ семействомъ Тургеневыхъ заключена была еще въ ранней молодости. Безпечно и счастливо прожили они годы ея. Все, казалось, благопріятствовало имъ: успѣхи шли къ нимъ на встрѣчу, и они были достойны этихъ успѣховъ. Вдругъ разразилась гроза. Въ глазахъ Жуковскаго опалила и сшибла она трехъ братьевъ, трехъ друзей его. Одинъ осужденъ законами и въ изгнаніи. Другой умираетъ пораженный скорбью, но почти безсознательною жертвою этой скорби. Третій, Александръ, нѣжно любящій братьевъ своихъ, хоронитъ одного и, по обстоятельствамъ служебнымъ и политическимъ, не можетъ ѣхать на свиданіе съ оставшимся братомъ, который, сверхъ горести утраты, могъ себя еще попрекать, что онъ былъ невольною причиною смерти любимаго брата. Жуковскій остается одинъ сострадателемъ, опорою и охраною несчастныхъ друзей своихъ.

Въ письмахъ своихъ къ Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ онъ живо и подробно описываетъ тяжкое положеніе свое. Онъ не скрываетъ близкихъ и глубокихъ связей, соединяющихъ его съ Тургеневыми. И должно замѣтить: дѣлаетъ онъ это не спустя нѣсколько лѣтъ, а такъ сказать по горячимъ слѣдамъ, въ такое время, когда непріятныя впечатлѣнія 14-го декабря и обстоятельствъ съ ними связанныхъ могли быть еще живѣе. И все это пишетъ онъ не стѣсняясь, ничего не утаивая, а просто отъ избытка сердца, и потому, что онъ знаетъ свойства и душу той, къ которой онъ пишетъ. Вообще переписка Жуковскаго съ Императрицею и Государемъ, когда время позволитъ ей явиться въ свѣтъ, внесетъ богатый вкладъ, если не въ офиціальныя, то въ личныя и нравственныя лѣ-

тописи наши. „Нѣсть бо тайно еже не явится“. Когда придетъ пора этому явленію, и то что́ пока еще почти современно перейдетъ въ область исторической давности, офиціальный Жуковскій не постыдитъ Жуковскаго-поэта. Душа его осталась чиста и въ томъ, и въ другомъ званіи. Пока можно сказать утвердительно, что никто не имѣлъ повода жаловаться на него, а что многимъ сдѣлалъ онъ много добра. Разумѣется, въ новомъ положеніи своемъ Жуковскій могъ изрѣдка имѣть и темныя минуты. Но когда-же и гдѣ и съ кѣмъ бываютъ вѣчно ясные дни? Особенно, такія минуты могли падать на долю Жуковскаго въ средѣ, въ которую нечаянно былъ онъ вдвинутъ судьбою. Впрочемъ не все тутъ было дѣломъ судьбы, или случайности. Призваніемъ своимъ на новую дорогу Жуковскій обязанъ былъ первоначально себѣ, то есть личнымъ своимъ нравственнымъ заслугамъ, дружбѣ и уваженію къ нему Карамзина и полному довѣрію Царскаго семейства къ Карамзину. Какъ-бы то ни было, онъ долго, если не всегда, оставался новичкомъ въ средѣ, опредѣлившей ему мѣсто при себѣ. Онъ вовсе не былъ честолюбивъ, въ обыкновенномъ значеніи этого слова. Онъ и при Дворѣ все еще былъ „Бѣлева мирный житель“. Отъ него все еще пахло, чтобы не сказать благоухало, сельскою элегіей, которою началъ онъ свое поэтическое поприще. Но со всѣмъ тѣмъ, онъ былъ щекотливъ, иногда мнителенъ: онъ былъ цвѣтокъ „не тронь меня“; онъ иногда приходилъ въ смущеніе отъ малѣйшаго дуновенія, которое казалось ему неблагопріятнымъ, именно потому, что онъ не родился въ той средѣ, которая окружала и обнимала его, и что онъ былъ въ ней пришлый и такъ сказать чужеземецъ. Онъ, для охраненія личнаго достоинства своего, бывалъ до раздражительности чувствителенъ, взыскателенъ, можетъ быть, иногда и не кстати. Переписка его, въ свое время, все это выскажетъ и обнаружитъ. Но между тѣмъ и докажетъ она, что всѣ эти *маленькія смущенія* были мимолетны. Искренняя, глубокая преданность съ одной стороны, съ другой уваженіе и сочувствіе были примирительными средствами для скораго и полнаго возстановленія случайно или ошибочно разстроеннаго равновѣсія.

Мы выше уже сказали, что печальны и тяжки были впечатлѣнія, которыя встрѣтили Жуковскаго въ Парижѣ, въ этой всемір-

ной столицѣ всѣхъ возможныхъ умственныхъ и житейскихъ развлеченій и приманокъ. Вотъ что писалъ онъ Императрицѣ:

Je passerai tout le mois de Juin à Paris; mais je sens que je ne profiterai pas autant de mon séjour, que je l'aurais pu faire avant notre malheur (т. е. смерти Тургенева). Говоря о собственномъ расположеніи своемъ въ эти дни грусти, онъ прибавляетъ: c'est comme une maladie de langueur, qui empêche de prendre aucun intérêt à ce qui vous entoure [1]).

Между тѣмъ жизнь беретъ, или налагаетъ свое. Движеніе шумъ и блескъ жизни пробуждаютъ и развлекаютъ человѣка отъ горя. Онъ еще груститъ, но уже оглядывается, слышитъ и слушаетъ. Внѣшніе голоса отзываются въ немъ. Жуковскій кое-что и кое-кого видѣлъ въ Парижѣ: и видѣлъ хорошо и вѣрно. Не смотря на недолгое пребываніе, онъ понялъ или угадалъ Парижъ. Онъ познакомился со многими лицами, между прочими, съ Шатобріаномъ, съ Кювье, съ философомъ и скромнымъ, но прекрасно-дѣятельнымъ филантропомъ Дежерандо. Но болѣе, кажется, сблизился онъ съ Гизо. Посредниками этого сближенія могли быть Александръ Тургеневъ и пріятельница Гизо, графиня Разумовская (иностранка). Впрочемъ самая личность Гизо была такова, что болѣе подходила къ Жуковскому, нежели многія другія извѣстности и знаменитости. Гизо былъ человѣкъ мысли, убѣжденія и труда: не рябилъ въ глаза блесками Французскаго убранства. Онъ былъ серьезенъ, степененъ, протестантъ вѣроисповѣданіемъ и всѣмъ своимъ умственнымъ и нравственнымъ складомъ. Первоначальное образованіе свое получилъ онъ въ Женевѣ. Землякъ его по городу Ниму, извѣстный булочникъ и замѣчательный и сочувственный поэтъ, Ребуль, говорилъ мнѣ: и по слогу Гизо видно, что онъ прошелъ чрезъ Женеву. Гизо былъ человѣкъ возвышенныхъ воззрѣній и стремленій, свѣтлой и строгой нравственности и религіозности. Среди суетливаго и лихорадочнаго Парижа, онъ былъ такое лицо, на которомъ могло остановиться и успокоиться вниманіе путешественника, особенно такого, какимъ былъ Жуковскій. Какъ политикъ, какъ министръ, почти управляю-

[1]) Т. е. я проведу весь іюнь мѣсяцъ въ Парижѣ, но чувствую, что пребываніемъ моимъ я не воспользуюсь, какъ бы я это сдѣлалъ до нашего несчастія. Это въ родѣ разслабляющей болѣзни, которая не дозволяетъ принимать какое нибудь участіе въ томъ, что дѣлается вокругъ.

щій Франціею, онъ могъ ошибаться; онъ ставилъ принципы, не въ мѣру выше дѣйствительности, а человѣческая натура и слѣдовательно человѣческое общество такъ несовершенны, такого слабаго сложенія, что грубая дѣйствительность, le fait accompli, совершившееся событіе налагаютъ свою тяжелую и побѣдоносную руку на принципы, на всѣ логическіе расчеты ума и нравственныя начала. Но проигравъ политическую игру, онъ за карты уже не принимался: онъ уединился въ своемъ достоинствѣ, въ своихъ литературныхъ трудахъ, въ своей семейной и тихой жизни. Не то что бойкій и богатый блестящими способностями соперникъ и противникъ его по министерской и политической дѣятельности: тотъ также проигрался, но, находчивый и особенно искательный, онъ однакоже не могъ найти себѣ достойное убѣжище въ самомъ себѣ. Вертлявый, легко мѣняющій убѣжденія свои, онъ снова началъ играть по маленькой, чтобы отыграться и кончилъ тѣмъ, что связался съ политическими шулерами и опять доигрался до новаго проигрыша, до новаго паденія. Другія видныя лица въ Парижѣ, также не могли особенно привлечь Жуковскаго. Шатобріанъ, не смотря на свои геніальныя дарованія, былъ-бы для него слишкомъ напыщенъ и постоянно въ представительной постановкѣ. Поэтъ Ламартинъ, тогда еще не политикъ, не рушитель старой Франціи и не рѣшитель новой, былъ какъ-то сухъ, холоденъ и чопоренъ. По крайней мѣрѣ таковымъ показался онъ мнѣ, когда позднѣе познакомился я съ нимъ. Малыя сношенія мои, также позднѣе, съ Гизо были однако-же достаточны, чтобы объяснить и оправдать въ глазахъ моихъ сочувствіе къ нему Жуковскаго.

II.

Мы сказами выше, что Жуковскій, хотя и мимоходомъ, но ясно и вѣрно разглядѣлъ Парижъ. Выберемъ нѣкоторыя отмѣтки изъ дневника его.

Камера депутатовъ. Равель, предсѣдатель, благородная, красивая наружность. Предсѣдательствуетъ съ большимъ достоинствомъ и отмѣннымъ навыкомъ. Засѣданіе было не весьма интересно. Взошелъ на каѳедру Себастьяни. Онъ ужасно декламировалъ и декла-

мируя горячился. Il parle en acteur. Отъ непривычки къ дебатамъ (преніямъ) Французы видятъ въ трибунѣ сцену, въ себѣ актеровъ, а въ посѣтителяхъ партеръ. Нѣтъ ничего столь мало убѣдительнаго, какъ пышное краснорѣчіе. Одна ясность, одно краснорѣчіе положительное и самобытное (l'éloquence des choses), одно вдохновеніе вспыхнувшее разомъ и неподготовленное, могутъ произвести дѣйствіе и, что называется, de l'effet. Тѣ же недостатки, которые господствуютъ въ палатѣ депутатовъ, поражаютъ васъ и въ театрѣ. Съ другой стороны, казалось-бы, что Французы рождены для публичныхъ преній. Никто не ловитъ на лету такъ легко, какъ Французъ, каждую мысль, каждое слово. Я это часто замѣчаю на улицѣ. Спросишь прохожаго о чемъ нибудь: тотчасъ готовъ отвѣтъ самый короткій, ясный и приличный. Les Français pourraient être très-éloquents, si le désir de produire de l'effet ne détruisait pas l'effet (Французы могли-бы быть очень краснорѣчивы, если-бъ желаніе метить на *эффектъ* не убивало эффекта)". Замѣчаніе остроумное и глубоко-вѣрное.

Далѣе: „Сей даръ быстрой понятливости и живой воспріимчивости составляетъ главную принадлежность характера ихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ недостатковъ. Натура, при этомъ, какъ будто лишила ихъ потребности углубляться въ предметы, потому что они такъ легко постигаютъ и схватываютъ ихъ. Надобно имѣть большой навыкъ слушать и удерживать въ памяти слышанное, чтобы съ пріятностью слѣдовать за дебатами. Я очень многаго не слыхалъ, многаго и не слушалъ, а смотрѣлъ на слушающихъ. Изъ министровъ были Виллель, Корбьеръ, Пэроне и Шабролъ. На сторонѣ министровъ большинство. Но не смотря на то, во время засѣданій, имъ крѣпко достается: въ глаза судятъ ихъ безъ пощады. Эти часы должны быть для нихъ тяжелы; но, кажется, они къ этой пыткѣ уже привыкли".

„Несмотря на свой Гасконскій выговоръ, Виллель говоритъ пріятно, ибо просто, и рѣдко позволяетъ себѣ фразы. Его антагонистъ (Гидъ-де-Нёвиль) горячился какъ ребенокъ".

„Бенжаменъ Констанъ напоминаетъ Фридриха [1]). Прекрасный

---

[1]) Т.-е. живописца Фридриха, которому Жуковскій покровительствовалъ.

профиль, худощавъ, нѣсколько неуклюжъ, говоритъ безъ претензіи, но хорошо, ибо также не дѣлаетъ фразъ".

„Былъ у Дежерандо. Онъ живетъ въ глухомъ переулкѣ. Горница, въ которой мы были, весьма небольшая; стѣны покрыты рисунками видовъ изъ Италіи. Есть и картины, между коими особенно замѣтны Волхвы и Святое Семейство Перужжіо". (Жуковскій былъ страстный любитель и хорошій знатокъ живописи. Эта любовь встрѣчается и сильно отзывается въ поэзіи его: живописное выраженіе его всегда вѣрно и превосходно). „На столѣ стоитъ прекрасный бюстъ хозяина, работы Кановы, и бронзовый Наполеона, также Кановы. Дежерандо, лицо добраго философа. Нѣсколько разсѣянъ и задумчивъ, привлекательной внѣшности. Онъ повелъ насъ въ школу глухо-нѣмыхъ. Пробыли въ ней слишкомъ короткое время: съ охотою Тургенева (Александра) торопиться нельзя ничего видѣть и слышать. Вотъ въ какомъ порядкѣ устроиваются отношенія между наставниками и воспитанниками. Начальныя основанія: языкъ движеній и соединеніе понятій съ письменными знаками. Сами воспитанники выдумываютъ свои знаки. Понятія о временахъ: знакъ рукою впередъ—будущее; знакъ рукой предъ собою—настоящее; знакъ рукою за себя — прошедшее. Въ высшихъ классахъ сами воспитанники помогаютъ учителямъ и служатъ монитерами. Но, что̀ меня наиболѣе поразило, то была дѣвушка глухо-нѣмая отъ рожденія и ослѣпшая на 13-мъ году. Теперь ей болѣе 13-ти лѣтъ. Въ этомъ состояніи полнаго *одиночества*, она не только сохранила первыя воспоминанія, но и пріобрѣла новыя понятія. Она счастлива внутреннею жизнью, которая вся религіозная. Правда, она окружена такими людьми, которые могутъ съ нею выражаться посредствомъ осязанія и которымъ можетъ она знаками сообщать мысли свои и отвѣты. Дежерандо взялъ ее за руку. Она его узнала въ минуту и выразила знаками, положивъ руку на сердце, что это онъ. Спросили, любитъ-ли ее Дежерандо. Она отвѣчала утвердительно и прибавила, что сама очень любитъ его. Я взялъ ее за руку. Спросили: кто? Она отвѣчала, что не знаетъ. Знаками сказали, что я учитель Великаго Князя Наслѣдника Русскаго престола. Она поняла.—Спрашивается: что̀ бы она была, есть-ли бы не пользовалась 13 лѣтъ зрѣніемъ? Теперь предметы имѣютъ для

нея нѣкоторую форму; тогда эту форму сообщило бы ей воображеніе. Они не были бы сходны съ существеннымъ; но все каждый предметъ имѣлъ бы свой отдѣльный, ясный знакъ, и все бы могъ существовать языкъ для выраженія мысли, ощущенія: ибо языкъ есть выраженіе внутренней жизни и отношеній къ внѣшнему. Здѣсь торжествуетъ душа".

„Былъ на лекціи Вильменя. Превосходно о Генріадѣ и эпопеѣ. Ораторъ говорилъ о другихъ эпическихъ поэтахъ, представляя ихъ исторію и исторію ихъ генія: изобразилъ то чѣмъ Вольтеръ не былъ и то чѣмъ онъ былъ. Превосходное изображеніе Данте и Камоэнса. Сравненіе Вольтера съ Луканомъ (Латинскій поэтъ, авторъ поэмы: Фарзалія). Вильмень говоритъ: эпическая поэма есть выраженіе мысли всего народа, цѣлой эпохи и вмѣстѣ съ тѣмъ высшее твореніе великаго генія. Происхожденіе Генріады не вѣкъ Генриха IV, а Вольтеровъ вѣкъ".

„Поутру писалъ къ Императрицѣ. Обѣдалъ у Гизо. — Французы умѣютъ схватывать смѣшное и выражать его. Они этимъ наслаждаются. Мистификація есть важное дѣло для Француза, но онъ незлостно-насмѣшливъ (malicieux). У насъ десятой части нельзя того сдѣлать, что́ дѣлаютъ здѣсь, не бывъ осмѣяннымъ". (Разумѣется, Жуковскій говоритъ здѣсь не о нравственныхъ поступкахъ, а объ ежедневныхъ явленіяхъ жизни: chez nous on cherche à tourner en ridicule. Ici on est bienveillant: on n'attaque que la prétention). Вотъ также вѣрная и схваченная на лету замѣтка.

Парижъ самый гостепріимный, снисходительный городъ. Хозяева даютъ гостямъ полную волю жить какъ угодно и дѣлать что угодно. Не то что въ Англіи и особенно въ Лондонѣ. Парижъ издавна такое скопище иностранцевъ и заѣзжихъ, что онъ успѣлъ ко всѣмъ и ко всему приглядѣться. Послѣ Лондона, едва-ли не Петербургъ самый взыскательный и самовластительный городъ. Мы иностранцевъ любимъ и во многомъ подражаемъ имъ, простой народъ также къ нимъ привыкъ; но мы вообще готовы подсмѣивать ихъ, во всѣхъ обычаяхъ и повадкахъ, которые еще не успѣли у насъ обрусѣть и получить право гражданства. Французъ человѣкъ веселый; Русскій насмѣшливый. Французъ иногда осмѣиваетъ, но

потому, что онъ смѣется; Русскій смѣется потому, что онъ осмѣиваетъ. Но пойдемъ опять вслѣдъ за Жуковскимъ.

„Поутру въ засѣданіи полиціи исправительной (police correctionnelle). Дѣло студентовъ медицины. Предсѣдатель Дюфуръ. Вопросы неясные и сбивчивые. Тонъ грубый. Образъ разспросовъ очень пристрастенъ. Неприличіе смѣшивать политическое съ полицейскимъ. Краснорѣчіе Французовъ всегда *тенденціозно*".

Жуковскій въ Парижѣ усердно посѣщалъ театры. Онъ вообще любилъ театръ, а въ Парижѣ театръ болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь способствуетъ изученію народа, нравовъ, обычаевъ, уровня умственныхъ и духовныхъ силъ и свойствъ современнаго общества. Сказано было, что литература выраженіе общества; это такъ, но не вполнѣ и не всегда. Театръ скорѣе имѣетъ право присвоить себѣ это опредѣленіе. Литература говоритъ, драма дѣйствуетъ. Литература картина, театръ зеркало. Это особенно примѣняется къ Парижу. Въ старину, Расинъ геніально выразилъ царствованіе Людовика XIV-го съ пышностью его, рыцарствомъ, поклоненіемъ женщинъ, со всею его царедворческою обстановкою. Въ вѣкъ Вольтера драма была преимущественно философическая. Нынѣ Корнели, Расины, Мольеры не родятся. Есть таланты въ обращеніи, но эти монеты до потомства не дойдутъ: онѣ не обратятся въ медали. Нѣтъ уже классическаго чекана, а романтическаго и не бывало. Драмы В. Гюго пародія на романтизмъ. Парижскій театръ нынѣ есть что-то въ родѣ café chantant. А между тѣмъ все Парижское народонаселеніе живетъ утромъ политическими журналами, а вечеромъ спектаклями. Одинъ изъ главныхъ представителей нынѣшняго театра, Дюма-сынъ, все вертится около женщинъ полусвѣта, или полумрака, и около седьмой заповѣди. И не такъ, какъ дѣлали старики добраго минувшаго времени, чтобы посмѣяться и поповѣсничать, а съ доктринерскою важностью, съ тенденціозностью, съ притязаніями на ученье новой нравственности. Уморительно-скучно въ исполненіи: уморительно смѣшно въ преднамѣреніи.

Вотъ нѣкоторыя театральныя выдержки изъ дневника Жуковскаго. Кажется, чуть-ли не въ первый день пріѣзда его былъ онъ во Французской оперѣ. „Давали La prise de Corinthe, оперу Россини. Музыка оперы прекрасная, но не новая: все слышанное въ

другихъ операхъ его. Пѣніе Французовъ, послѣ Итальянцевъ, кажется крикомъ; въ ихъ пѣніи болѣе декламаціи: все что мелодія— крикъ. Но я слушалъ съ удовольствіемъ пѣвца Нурри. Въ игрѣ Французовъ вообще замѣтно желаніе производить эффектъ жестами и ихъ разнообразіемъ. У Нѣмцевъ иногда слишкомъ явное стараніе рисоваться, но игра ихъ вообще проще. Французы скрываютъ свое кокетство лучше, но за то они безпрестанно на сценѣ. „Все картина".

„Балетъ Joconde. Танцы прелестны, но болѣе всего апплодируютъ сильнымъ прыжкамъ".

„Во Французскомъ театрѣ Адамитъ и Зенобія (трагедія старика Кребильона, переведенная у насъ, кажется, Висковатовымъ: „Висковатый предъ Кребильономъ виноватый", сказалъ во время оно В. Л. Пушкинъ). Трагедія теперь въ упадкѣ. Дюшенуа произвела надо мною непріятное впечатлѣніе. Она старуха. И не могу вообразить, чтобы когда-нибудь могла быть великою актрисою". (Мнѣніе Жуковскаго не соглашается здѣсь съ общимъ Парижскимъ и почти Европейскимъ мнѣніемъ. Дюшенуа не красива была собою, а между тѣмъ, по отзыву многихъ соперничала съ красавицею Жоржъ, и въ нѣкоторыхъ роляхъ даже побѣждала ее. Жуковскій въ молодости былъ поклонникомъ актрисы Жоржъ, во время бытности ея въ Москвѣ. Можетъ быть, не хотѣлъ онъ и не могъ измѣнить своимъ прежнимъ впечатлѣніямъ и воспоминаніямъ). „Да, въ трагедіяхъ Французскихъ нельзя быть *актеромъ* (то-есть *дѣйствующимъ лицомъ*, хотѣлъ сказать Жуковскій). Все дѣло состоитъ въ декламаціи стиховъ, а не въ изображеніи всего характера съ его *нюансами*, ибо такихъ характеровъ нѣтъ въ трагедіяхъ Французскихъ. Ихъ лица суть не что иное, какъ представители какой-нибудь страсти. Какъ въ басняхъ левъ представляетъ мужество, тигръ жестокость, лисица хитрость, такъ, напримѣръ, Оросманъ, Ипполитъ, Орестъ представляютъ любовь въ разныхъ выраженіяхъ; но характеръ человѣка тутъ не видѣнъ. Отъ этого великое однообразіе въ піесахъ и въ игрѣ актеровъ. Актеръ долженъ много творить отъ себя, чтобы дать своей ролѣ что-нибудь человѣческое. Таковъ былъ одинъ Тальма. За трагедіей слѣдовала забавная комедія: Le jeune marі. Въ комедіи Французы не имѣютъ соперниковъ. Удивительный ensemble".

Нельзя вниманію не остановиться на меткомъ и бѣгломъ, но глубоко обдуманномъ сужденіи о Французскомъ театрѣ вообще и о Французской трагедіи въ особенности. Какъ жаль, что Жуковскій не имѣлъ времени или охоты посвятить себя трудамъ и обработкѣ критики. Изъ него вышелъ бы первый, чтобы не сказать единственный учитель нашъ въ этой важной отрасли литтературы, которая безъ нея почти мертвый, или неоцѣненный капиталъ.

„Меропа. Засталъ послѣднюю сцену и не пожалѣлъ. M-lle Duchenois не говоритъ моему сердцу. Дебютантъ Varlé (кажется, такъ, въ рукописи не хорошо разберешь) въ ролѣ Эгиста—несносный крикунъ. За то и партеръ безъ вкуса. Апплодируютъ тому, что надобно освистывать. Исмена была какъ бѣшеная въ описаніи того, что происходило во храмѣ, что совершенно противно натурѣ. А партеръ все-таки хлопаетъ, ибо каждый стихъ отдѣльно былъ выраженъ съ пышностью. Франція не имѣетъ трагедіи; она во гробѣ съ Тальмою: онъ одинъ оживлялъ пустоту и сухость напыщенныхъ Французскихъ трагедій". О Тальмѣ Жуковскій говоритъ на основаніи общихъ отзывовъ и сужденій о превосходной и новыми понятіями обдуманной игрѣ этого актера. Застать его онъ уже не могъ: Тальма умеръ въ 1826 году.

Возвращаясь къ несочувственнымъ впечатлѣніямъ Жуковскаго, скажу и я, по воспоминаніямъ молодости, что игра актрисы Дюшенуа могла и не нравиться Жуковскому, особенно въ ролѣ Меропы, потому что m-lle Georges была великолѣпна именно въ этой ролѣ.

Хотя и не совсѣмъ кстати, а не могу утерпѣть, не передать здѣсь одно преданіе. Одна Московская барыня, восхваляя Жоржъ, говорила, что особенно поражена она была вдохновеніемъ и величавостью ея, когда въ ролѣ Федры сказала она:

Mérope est à vos pieds.

„Давали La dame blanche. Музыка Боельдье прелестная, но піеса глупая".

„Театръ Федо, L'amant jaloux. Музыка Гретри. (Представленная въ первый разъ въ 1778 г.). Музыка еще не устарѣла".

„Въ Théâtre Français. Le Cid. Почтенный старикъ Корнель. Простота и сила его стиховъ. Нѣтъ характера. Одни отрывки. Всѣ

говорятъ поочереди. Многое прекрасно, часто не къ мѣсту. Послѣ комедія: Les trois quartiers. Простодушіе Жоржеты, благородная вѣжливость графини, пошлость негоціанта, безцеремонность банкира (ton dégagé), пошлость и плоскость выскочки (parvenu), гибкость прихлебателя (la souplesse du parasite), все было выражено въ совершенствѣ. Смотрѣть и слушать истинное наслажденіе".

Этимъ заключимъ мы выдержки изъ Парижскаго дневника Жуковскаго. Разумѣется, видѣлъ онъ все, что только достойно вниманія: библіотеки, музеи, картинныя галлереи; тутъ онъ съ любовью смотритъ и записываетъ все, что видѣлъ—зданія, храмы различныя учрежденія и проч. Дневникъ его не систематическій и не подробный. Часто отмѣтки его просто колья, которые путешественникъ втыкаетъ въ землю, чтобы означить пройденный путь, если придется ему на него возвратиться, или заголовки, которыя записываетъ онъ для памяти, чтобы послѣ на досугѣ развить и пополнить. Можетъ статься, Жуковскій имѣлъ намѣреніе собрать когда нибудь замѣчанія и впечатлѣнія свои и составить изъ нихъ нѣчто цѣлое. Не рѣдко встрѣчаются у него отмѣтки такого рода: „у Свѣчиной: разговоръ о Пушкинѣ". „Съ Гизо о Французскихъ мемуарахъ". Тутъ-же: „Онъ вызвался помочь мнѣ въ пріисканіи и покупкѣ книгъ". „Разговоръ о политическихъ партіяхъ: крайняя лѣвая сторона подъ предводительствомъ Лафайета, Лафита, Бенжаменъ-Констана. Крайняя правая сторона: аристократія согласна сохранить хартію, но съ измѣненіями. За республику большая часть стряпчихъ, адвокатовъ, врачей, особенно въ провинціи".

Иногда ограничивается онъ именными списками. Напримѣръ: „Обѣдъ у посла. Комната съ Жераровыми амурами (Gerard знаменитый Французскій живописецъ). Портретъ Государя Доу. Великолѣпный обѣдъ. Виллель, Дамасъ, Корбьеръ, Клермонъ-Тоннеръ, Талейранъ, фельдмаршалъ Лористонъ, папскій нунцій, весь дипломатическій корпусъ; изъ Русскихъ: Чичаговъ, Кологривовъ (братъ князя Александра Николаевича Голицына), князь Лобановъ (вѣроятно извѣстный нашъ библіофилъ и собиратель разныхъ коллекцій), Дивовъ, князья Тюфякинъ, Долгоруковъ, графъ Потоцкій".

Жуковскій не лѣнивъ былъ сочинять, но писать былъ лѣнивъ, напримѣръ, письма. Работа, рукодѣлье писанія были ему въ тягость.

Сначала велъ онъ дневникъ свой довольно охотно и горячо; но позднѣе этотъ трудъ потерялъ прелесть свою. Замѣтки его стали короче, а иногда и однословны. Это очень понятно. Кажется, надобно имѣть особенное сложеніе, физическое и нравственное, совершенно особую натуру, чтобы постоянно и акуратно вести свой дневникъ, изо дня въ день. Не каждый одаренъ свойствомъ пріятеля Жуковскаго, Александра Тургенева: этотъ прилежно записывалъ каждый свой шагъ, каждую встрѣчу, каждое слово имъ слышанное. Къ нему также примѣняется мѣткое слово Тютчева о другомъ нашемъ любознательномъ и методическомъ пріятелѣ: „Подумаешь, что Господь Богъ поручилъ ему составить инвентарій мірозданія". Въ журналахъ-фоліантахъ, оставленныхъ по себѣ Тургеневымъ, вѣроятно можно было-бы отыскать много поясненій и пополненій къ краткому дневнику Жуковскаго.

Выписываемъ еще одну замѣтку, которая не вошла въ рамы вышеприведенныхъ выдержекъ; но она, кажется, довольно оригинальна.

„Палероялъ есть нѣчто единственное въ своемъ родѣ. Это образчикъ всей Французской цивилизаціи, всего Французскаго характера. Взгляни на афиши и познакомишься съ главными нуждами и сношеніями жителей; взгляни на товары — получишь понятіе о промышленности; взгляни на встрѣчающихся женщинъ и получишь понятіе о нравственной физіономіи. Колонны Палероялъ, оклеенныя афишами, могутъ познакомить съ Парижемъ. Удивительное искусство привлекать вниманіе размѣщеніемъ товаровъ и даже наклейкою афишъ".

Совершенно вѣрно и понынѣ. Французы мастера хозяйничать и устраиваться дома. Они, кажется, вѣтренны; но порядокъ у нихъ, часто ими разстроиваемый, снова и скоро возстановляется, по крайней мѣрѣ въ вещественномъ, внѣшнемъ отношеніи. Послѣ Іюльской революціи 30-го года, Пушкинъ говорилъ: „Странный народъ! Сегодня у нихъ революція, а завтра всѣ столоначальники уже на мѣстахъ, и административная махина въ полномъ ходу".

Поговорка: товаръ лицемъ продается, выдумана у насъ, но обращается въ дѣйствительности у Французовъ. Въ торговлѣ примѣняется она у насъ только къ обману и къ надувательству; но

вообще она мертвая буква. Мы и хорошее не умѣемъ приладить къ лицу. О худомъ и говорить нечего: мы не только не способны скрасить его, а еще угораздимся показать его хуже, чѣмъ оно есть.

Быть въ Парижѣ, посѣщать маленькіе театры и не затвердить нѣсколько каламбуровъ, дѣло не сбыточное. Вотъ и ихъ занесъ нашъ путешественникъ въ свой дневникъ. Для соблюденія строгой точности и мы впишемъ ихъ въ свои выдержки.

Въ комедіи: Глухой или полная гостинница, актеръ спрашиваетъ:

Que font les vaches à Paris?
—Des vaudevilles (des veaux de ville).
Quel est l'animal le plus âgé?
—Le mouton, car il est lainé.
(*Laine*, шерстистый).

Жуковскій не пренебрегалъ этими глупостями. И самъ бывалъ въ нихъ искусникъ.

Теперь заключимъ переборку нашу выпискою, въ которой показывается не Парижскій Жуковскій, а просто человѣкъ. Вся замѣтка не многословная, но знаменательная и характеристическая:

„*Споръ съ Тургеневымъ и моя безсовѣстная вспыльчивость*“.

За что былъ споръ, неизвѣстно; но по близкому знакомству съ обоими, готовъ я поручиться, что задирщикомъ былъ Тургеневъ. Жуковскій, въ увлеченіи пренія, иногда горячился; но Тургеневъ, безъ прямой горячности въ спорѣ, позволялъ себѣ сознательно и умышленно быть иногда задорнымъ и колкимъ. Онъ, какъ будто, признавалъ эти выходки принадлежностями и обязанностями независимаго характера. Эта стычка между пріятелями не могла, разумѣется, оставить по себѣ злопамятные слѣды. Но покаяніе добраго и мягкосердаго Жуковскаго въ *безсовѣстной вспыльчивости* невольно напоминаетъ мнѣ басню Лафонтена, въ переводѣ Крылова: *Моръ Звѣрей*. Смиренный и совѣстливый Волъ кается:

„Изъ стога у попа я клокъ сѣнца стянулъ“.

Теперь придется и мнѣ сдѣлать предъ читателемъ маленькую исповѣдь, какъ для очистки своей совѣсти, такъ въ особенности для очистки Жуковскаго. Нѣкоторыя изъ бѣглыхъ замѣтокъ его писаны на Французскомъ языкѣ. Впрочемъ ихъ немного. Не знаю, какъ и почему, въ работѣ моей, переводилъ я ихъ иногда на бѣло

порусски. Нечего и говорить, что я строго держался смысла подлинника; но, вѣроятно, выражалъ я этотъ подлинникъ не такъ, какъ-бы выразилъ его самъ Жуковскій. Въ томъ нижайше каюсь.

Дневникъ Жуковскаго кое-гдѣ иллюстрированъ рисунками или набросками пера его: такъ, напримѣръ Théatre Français и другіе очерки, которые трудно разобрать. Вообще Жуковскій писалъ, хотя и некрасиво, но четко, когда прилагалъ къ тому стараніе; но про себя писалъ онъ часто до невозможности неразборчиво.

CXIII.

МОСКОВСКОЕ СЕМЕЙСТВО СТАРАГО БЫТА.

1877.

Князь Петръ Александровичъ Оболенскій, родоначальникъ многоколѣннаго потомства Оболенскихъ, былъ въ свое время большой оригиналъ (то есть таковымъ былъ-бы онъ преимущественно нынѣ, а въ прежнее время, въ эпоху особенныхъ личностей и физіономій болѣе опредѣленныхъ, оригинальность его не удивляла и не колола глаза). Послѣдніе свои двадцать-тридцать лѣтъ прожилъ онъ въ Москвѣ почти безвыходнымъ домосѣдомъ. Изъ постороннихъ онъ никого не видалъ и не зналъ. Дома занимался онъ чтеніемъ Русскихъ книгъ и токарнымъ мастерствомъ. Онъ, вѣроятно, былъ довольно равнодушенъ ко всему и ко всѣмъ, но дорожилъ привычками своими. День его былъ строго и въ обрѣзъ размежеванъ; чрезполосныхъ владѣній и участковъ тутъ не было: все имѣло свое опредѣленное мѣсто, свою грань, свое время и мѣру свою. Разумѣется, онъ рано и въ назначенные часы ложился, вставалъ и обѣдалъ; обѣдалъ всегда одинъ, хотя дома семейство его было многолюдно. Старичекъ былъ онъ чистенькій, свѣженькій, опрятный, даже щеголеватый; но платье его, разумѣется, не измѣнялось по модѣ, а держалось всегда одного и имъ приспособленнаго себѣ покроя. Всѣ домашнія или комнатныя принадлежности отличались изящностью. Англійскій *комфортъ* не былъ еще тогда перенесенъ

въ нашъ языкъ и въ наши нравы и обычаи; но онъ угадалъ его и ввелъ у себя, то есть свой комфортъ, не слѣдуя ни модѣ, ни нововведеніямъ. Осенью, даже и въ года довольно престарѣлые, выѣзжалъ онъ съ шестью сыновьями своими на псовую охоту за зайцами. Какъ ни дичился онъ, или, по крайней мѣрѣ, какъ ни уклонялся отъ общества, но не былъ нелюдимъ, суровъ и старчески-брюзгливъ. Напротивъ, часто добрая и нѣсколько-тонкая улыбка озаряла и оживляла его младенчески-старое лицо. Онъ любилъ иногда и слушать и самъ отпускать шутки, или веселыя рѣчи, которыя на французскомъ языкѣ называются gaudrioles, а у насъ не знаю какъ назвать благоприлично, и которыя обыкновенно имѣютъ особенную прелесть для стариковъ даже и безпорочно-цѣломудренныхъ въ нравахъ и въ житьѣ-бытьѣ: лукавый всегда чѣмъ нибудь, такъ или сякъ, а слегка заманиваетъ насъ въ тенёта свои. Князь Оболенскій одиночествомъ или особничествомъ своимъ не тяготился, но любилъ, чтобы дѣти его—всѣ уже взрослые—заходили къ нему поочередно, но не на долго. Если они какъ-нибудь забудутся и засидятся, онъ, дружески и простодушно улыбаясь говаривалъ имъ: милые гости, не задерживаю ли васъ? Тутъ мгновенно комната очищалась до новаго посѣщенія. Въ дѣтствѣ моемъ, мнѣ всегда было пріятно, когда онъ допускалъ меня въ свою изящную и свѣтлую келью: безсознательно догадывался я, что онъ живетъ не какъ другіе, а по своему.

Женатъ князь П. А. Оболенскій былъ на княжнѣ Вяземской [1]), сестрѣ князя Ивана Андреевича. Въ продолженіи брачнаго сожительства ихъ, имѣли они двадцать дѣтей. Десять изъ нихъ умерло въ разныя времена, а десять пережили родителей своихъ. Не смотря на совершеніе своихъ двадцати женскихъ подвиговъ, княгиня была и въ старости, и до конца своего бодра и крѣпка, роста высокаго, держала себя прямо, и не помню, чтобы она бывала больна. Таковы бывали у насъ *старосвѣтскія помѣщичьи* сложенія. Почва не изнурялась и не оскудѣвала отъ плодовитой растительности. Безо всякаго приготовительнаго образованія, была она ума яснаго, положительнаго и твердаго. Характеръ ея былъ таковъ-же. Въ се-

[1]) Екатеринѣ Андреевнѣ, род. 1741, ум. въ Январѣ 1811.

мействѣ и въ хозяйствѣ княгиня была князь и домоправитель, но безъ малѣйшаго притязанія на это владычество. Оно сложилось само собою къ общей выгодѣ, къ общему удовольствію, съ естественнаго и невыраженнаго соглашенія. Она была не только начальницею семейства своего, но и связью его, сосредоточіемъ, душою, любовью. Въ ней были нравственныя правила, самородныя и глубоко засѣвшія. Въ одинъ изъ пріѣздовъ въ Москву Императора Александра, онъ обратилъ особенное вниманіе на красоту одной изъ дочерей ея, княжны Наталіи. Государь, съ обыкновенною любезностью своею и внимательностью къ прекрасному полу, отличалъ ее: разговаривалъ съ нею въ Благородномъ Собраніи и въ частныхъ домахъ, не разъ на балахъ проходилъ съ нею полонезы. Разумѣется, Москва не пропустила этого мимо глазъ и толковъ своихъ. Однажды домашніе говорили о томъ при княгинѣ-матери и шутя дѣлали разныя предположенія.—„Прежде этого задушу я ее своими руками“, сказала Римская матрона, которая о Римѣ никакого понятія не имѣла. Нечего и говорить, что царское волокитство и всѣ шуточныя предсказанія никакого слѣда по себѣ не оставили.

Это семейство составляло особый, такъ сказать, міръ Оболенскій. Даже въ тогдашней патріархальной Москвѣ, богатой многосемейнымъ и особенно многодѣвичьимъ составомъ, отличалось оно отъ другихъ какимъ-то благодушнымъ, свѣтлымъ и рѣзкимъ отпечаткомъ. На лицо было шесть сыновей и четыре дочери. Было время, что всѣ братья, еще далеко не старые, были въ отставкѣ. Это также было въ своемъ родѣ особенностью въ нашихъ служилыхъ нравахъ. Нѣкоторые изъ нихъ, уже въ царствованіе Александра, щеголяли еще, по большимъ праздникамъ, въ военныхъ мундирахъ Екатерининскаго времени: тутъ являлись на показъ особенный покрой, разноцвѣтные обшлага, красные камзолы съ золотыми позументами и, помнится мнѣ, желтые штаны. Всѣ они долго жили съ матерью и у матери. Будничный обѣденный столъ былъ уже порядочнаго размѣра, а праздничный выросталъ вдвое и втрое. Особенно въ лѣтніе и осенніе мѣсяцы, въ подмосковной, эта семейная жизнь принимала необыкновенные размѣры и харак-

теръ. Кромѣ семейства въ полномъ комплектѣ, пріѣзжали туда погостить и другіе родственники. Небольшой домъ, небольшія комнаты имѣли какое-то эластическое свойство: размноженіе хлѣбовъ, помѣщеній, кроватей, а за недостаткомъ ихъ размноженіе диванов, размноженіе для пріѣзжей прислуги харчей и корма для лошадей, все это какимъ-то чудомъ, по слову хозяйки, совершалось въ этой ветхозавѣтной сторонѣ. А хозяева были вовсе люди небогатые. Помнится мнѣ, что въ отрочествѣ моемъ, по приказанію княгини, отводили мнѣ всегда на ночь кровать-не-кровать, диванъ-не диванъ, а что-то узкое и довольно короткое, которое называла она, не знаю почему, *лодочкою*. Гдѣ эта лодочка? Жива-ли она? Что сдѣлалось съ нею? Какъ мнѣ хотѣлось-бы ее увидать и хотя еще болѣе скорчившись, чѣмъ во время оно, улечься въ ней. Вспоминаю о ней съ сердечнымъ умиленіемъ. Я увѣренъ, что нашелъ-бы въ ней и теперь прежній и беззаботный сонъ, со свѣтлыми сновидѣніями и радостнымъ пробужденіемъ. Но много утекло съ того времени воды, свѣтлой и прозрачной, мутной и взволнованной; съ нею, безъ сомнѣнія, утекла и лодочка моя и разбилась въ дребезги. Во всякомъ случаѣ, мы Русскіе—не антикваріи и небережливы въ отношеніи къ семейнымъ мебели, утварямъ, портретамъ предковъ. Мы привыкли и любимъ заживать съ нынѣшняго текущаго дня.

Мой отецъ, родной племянникъ княгини Екатерины Андреевны, съ молодости своей до конца питалъ къ ней особенную преданность и почти сыновнюю любовь. Мой дѣдъ, былъ, кажется, нрава довольно крутаго и повелительнаго; сынъ его находилъ при матери своей (урожденной княжнѣ Долгоруковой) и при теткѣ своей теплый пріютъ, а иногда и защиту отъ холоднаго и суроваго обращенія родителя своего.

Въ памяти моей врѣзался одинъ разговоръ отца моего съ теткою своею. Она обѣдала у насъ; мнѣ тогда было, можетъ быть, лѣтъ десять. Уже сказано было выше, что она мало была учена и образована. Міръ былъ тогда полонъ именемъ Бонапарта; немудрено, что оно дошло и до нея. За обѣдомъ рѣчь какъ-то коснулась Франціи. Она просила отца моего объяснить ей, что это за человѣкъ, о которомъ всѣ говорятъ. Отецъ мой былъ пламенный

приверженецъ Наполеона, генерала и перваго консула. Онъ, въ сжатомъ, но живомъ разсказѣ, нарисовалъ очеркъ Бонапарта, перечислилъ дѣла его, объяснилъ значеніе его во Франціи, а слѣдовательно и во всей Европѣ, однимъ словомъ преподалъ въ импровизаціи полный историческій урокъ. Помню и теперь, какое впечатлѣніе произвела на меня эта словомъ оживленная и раскрашенная картина. Мой отецъ, какъ и почти всѣ образованные люди его времени, говорилъ болѣе по французски; но здѣсь нужно было говорить по-русски, потому что слушательница никакого другого языка не знала. Жуковскій, который введенъ былъ въ нашъ домъ Карамзинымъ, говорилъ мнѣ, что онъ всегда удивлялся скорости, ловкости и мѣткости, съ которыми, въ разговорѣ, отецъ мой переводилъ на Русскую рѣчь мысли и обороты, которыя, видимо, слагались въ головѣ его на Французскомъ языкѣ У отца моего въ спальнѣ висѣлъ на стѣнѣ большой Бонапартовскій портретъ, тканый шелкомъ въ Ліонѣ и высланный ему въ подарокъ фабрикантомъ, пріѣзжавшимъ въ Москву. Эти частно-историческія отмѣтки кидаютъ нѣкоторый свѣтъ на эпоху. Нельзя не замѣтить и не повторить, что въ то время было болѣе свободы, нежели нынѣ, разумѣется, не въ политическомъ и гражданскомъ отношеніи, а въ личномъ и самобытномъ. Были открытыя симпатіи и антипатіи; никто не утаивалъ ихъ, и общество покрывало все и обезпечивало своею безпристрастною терпимостью. Никто, даже и несогласные съ отцомъ моимъ, не упрекали его за французскія сочувствія его.

Брачные союзы, въ продолженіи времени, должны были вносить новыя и разнородныя стихіи въ единообразную и густую среду семейства Оболенскихъ. Оно такъ и было. Но такова была внутренняя сила этого отдѣльнаго міра, что и пришлыя, чуждыя приращенія скоро и незамѣтно сливались, спаивались, сцѣплялись, срастались вмѣстѣ въ благоустроенномъ организмѣ, первоначальномъ и цѣльномъ. Послѣ нѣкотораго времени, болѣе или менѣе краткаго или продолжительнаго, и мужья вошедшіе въ семейство, и жены въ него поступившія, казались, также искони урожденными Оболенскими. Ничего подобнаго этой *ассимиляціи*, этому объединенію никогда и нигдѣ не было. Политикѣ можно бы позавидовать, глядя на это само собою, тихо и будто безсознательно совершавшееся

перерожденіе отдѣльныхъ частностей и личностей; всецѣло, сердцемъ и обычаями, примыкавшихъ къ господствующему единству. Такова была привлекательная и нѣжнолюбивая сила семейная, которая образовалась и окрѣпла подъ сѣнью и благословеніемъ умной, твердой и чадолюбивой матери. Не было ни зятей, ни невѣстокъ, ни доморощенныхъ и природныхъ, ни присоединенныхъ: всѣ были чада одной семьи, всѣ свои, всѣ однородные.

Тутъ, напримѣръ, былъ князь Щербатовъ, братъ извѣстной княжны Щербатовой, которой суждено было озаботить и подернуть тѣнью нѣсколько дней изъ свѣтлой жизни Императрицы Екатерины. Молодому и блестящему флигель-адъютанту Императора Павла, живому, свѣтскому, казалось, мудренѣе было бы подладить подъ уровень новаго семейства, въ которое онъ вступилъ; но сначала любовь, а потомъ Оболенская атмосфера переродили и его. Онъ, пріѣхавъ изъ Петербурга въ Москву, влюбился въ красавицу княжну Варвару. Бракъ ихъ совершенъ былъ романически и таинственно. Его мать, женщина суровая и властолюбивая, противилась этому браку, со всѣми послѣдствіями отказа въ материнскомъ согласіи. Разумѣется, и мать невѣсты не могла, въ подобныхъ условіяхъ, одобрить этотъ бракъ. Но, кажется, мой отецъ благопріятствовалъ любви молодой четы и способствовалъ браку, уговоривъ свою тетку остаться въ сторонѣ и, по крайней мѣрѣ, не мѣшать счастію влюбленныхъ. Они тайно обвѣнчались и въ тотъ же день отправились въ Петербургъ. Помню, какъ она, въ дорожномъ платьѣ, заѣзжала къ отцу моему проститься съ нимъ и, вѣроятно, благодарить его за усердное и успѣшное участіе; помню, какъ поразила меня красота ея и особенность одежды; вижу и теперь платье темнозеленаго кашмира, въ родѣ амазонки. На головѣ шляпа болѣе круглая, мужская, нежели женская. Изъ подъ шляпы падали и извивались бѣлокурыя кудри. Дѣтство мое угадывало, что во всемъ этомъ есть какая-то романическая тайна. Послѣ многихъ лѣтъ, старуха княгиня Щербатова простила сына своего и приняла у себя невѣстку.

Во многомъ противоположный Щербатову, сдѣлался послѣ членомъ семейства генералъ Дохтуровъ, съ честью вписавшій имя свое въ наши военныя лѣтописи. И сей боевой служака, женив-

шись, сталъ мирный и добрый семьянинъ, совершенно свыкшійся съ новымъ бытомъ своимъ. При пробужденіи моихъ воспоминаній о немъ, предо мною рисуется человѣкъ уже довольно пожилой, роста небольшаго, сложенія плотнаго, обращенія тихаго и скромнаго; помнится мнѣ, былъ онъ довольно молчаливъ, что́ называется серьезенъ и невозмутимъ. Невозмутимъ бывалъ онъ, говорятъ, и въ пылу битвы. Кажется, Михаилъ Орловъ говорилъ мнѣ, что въ какомъ-то жаркомъ сраженіи, посреди самаго разгара, нашелъ онъ его спокойно сидящаго на барабанѣ и дающаго приказанія войскамъ, а пули и ядра такъ кругомъ и сыпались. Но смерть поджидала его не тутъ. Видѣлъ я его за полъ-часа до кончины. Это было въ Москвѣ. Въ семействѣ Оболенскихъ праздновалась обѣдомъ, кажется, чья-то свадьба. Дохтуровъ не садился за столъ, чувствуя себя не совершенно здоровымъ. Но онъ нѣсколько разъ обходилъ гостей, обмѣнивался съ ними нѣсколькими словами, выпилъ бокалъ шампанскаго за здоровье новобрачныхъ и тотъ-часъ послѣ обѣда уѣхалъ. Дома велѣлъ онъ затопить каминъ, сѣлъ предъ нимъ и тутъ же умеръ. Нѣжно любившая жена его была въ отлучкѣ и должна была въ тотъ же день, или на другое утро къ нему пріѣхать. Одинъ изъ братьевъ поѣхалъ къ ней на встрѣчу, чтобы увѣдомить о постигшемъ ее несчастіи. Она пережила мужа многими годами, нѣжно и вѣрно преданная памяти его. Я всегда питалъ къ ней чувство особенной привязанности. Изъ семьи Оболенской, она болѣе другихъ дружна была съ матерью моею, молодою, изъ далекаго края переселенною въ міръ ей совершенно чуждый и незнакомый. Добрая пріятельница, вѣроятно, руководствомъ и участіемъ облегчала и поддерживала ее въ минуты трудныя, неизбѣжныя, когда вступаешь на новый путь. Влеченіемъ поздняго, но не менѣе того живого чувства ставлю себѣ въ обязанность и пріятно мнѣ заявить здѣсь памяти ея мою нѣжную и сыновнюю благодарность.

Князь Александръ Петровичъ Оболенскій водворилъ въ семейство свое дочь Ю. А. Нелединскаго. Вотъ это было уже изъ совершенно другого лагеря. Но послѣдствія были тѣже. Нелединская не была красавица, роста небольшого, довольно плотная, но глаза и улыбка ея были отмѣнно и сочувственно выразительны; въ нихъ

было много чувства и ума, вообще было много въ ней женственной прелести. Въ умѣ ея было сходство съ отцомъ: смѣсь простосердечія и веселости, нѣсколько насмѣшливой. Она очень мило пѣла; романсы отца ея, при ея пріятномъ голосѣ, получали особую выразительность. Въ сочиненіяхъ Жуковскаго есть очень милое и теплое къ ней посланіе; содержаніе его наиболѣе посвящено памяти сестры моей, бывшей впослѣдствіи замужемъ за княземъ Алексѣемъ Григорьевичемъ Щербатовымъ, съ которою съ самаго дѣтства была она очень дружна. Сначала волокитство князя Александра шло не очень удачно. Пріятельница Нелединской, остроумная Хомутова, по этому поводу шуточно перефразировала стихи Французской трагедіи:

Vous voyez devant vous un prince déplorable,
De la rigueur des dieux exemple mémorable.

(а право, много ума и веселости было въ нашу молодость!). Нелединская съ своимъ обожателемъ немножко кокетничала, флертечничала, или, какъ мой отецъ говаривалъ, *пересемьнивала*, дѣло все на ладъ не шло, но наконецъ пошло: они обвѣнчались и многіе годы провели въ согласіи и любви. Молодая внесла новый, свѣжій элементъ литтературной и болѣе утонченной свѣтскости въ патріархальную среду принявшаго ее семейства. Но не менѣе того добрый, простодушный строй его вскорѣ подчинилъ и ее общему семейному настроенію. Въ этой семьѣ не могло быть разноголосицы. Однимъ словомъ, въ княгинѣ Аграфенѣ Юрьевнѣ замѣтно было, что она дочь Нелединскаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ было видно, что она и жена Оболенскаго. Прекрасныя и благородныя свойства князя достаточно вѣрно выразились въ напечатанной прошлымъ годомъ книгѣ: „Хроника недавней старины“. Умная и разборчивая въ людяхъ великая княгиня Екатерина Павловна отличалась особеннымъ довѣріемъ и уваженіемъ двухъ братьевъ Оболенскихъ, князей Василія и Александра, служившихъ адъютантами при герцогѣ Ольденбургскомъ.

Старшій сынъ былъ князь Андрей Петровичъ. Уже вдовый (первая жена его была урожденная Маслова) женился онъ за границею на княжнѣ Гагариной, дочери той Темиры, которую нѣкогда такъ нѣжно и пламенно, съ такимъ страстнымъ самоотвер-

женіемъ любилъ и воспѣвалъ Нелединскій. Княжна Гагарина была, кажется, воспитана за границею, или довершила тамъ свое воспитаніе. Это нѣжное, молодое растеніе было внезапно пересажено съ дальной, чуждой почвы на Московскую почву, въ другой климатъ, подъ условія совершенно новыя, которыя не могли имѣть ничего общаго и сходнаго съ тою атмосферою, которою оно до того дышало. Мужъ былъ уже не первой молодости; слѣдовательно не могло быть упоенія и особеннаго увлеченія, но не менѣе того, она такъ сказать, съ перваго дня обрусѣла, омосквичѣла и переродилась въ купели Оболенскаго крещенія. Нельзя достаточно надивиться этой силѣ объединенія, которое царствовало въ этой многочисленной и, частью, разнородной семьѣ. И вся эта сила почерпала свое законное, освященное, любвеобильное начало въ одномъ чувствѣ, чувствѣ семейной связки; въ одномъ имени, въ одной власти: имени и власти матери. Рѣка принимаетъ въ себя, сосредоточиваетъ въ своемъ лонѣ влекущіеся къ ней ручьи просто, естественно, потому что она рѣка. Мать, общимъ притягательнымъ притокомъ, сосредоточиваетъ въ себѣ семью просто потому, что она мать. Нѣтъ власти естественнѣе, святѣе власти материнской.

Послѣ смерти родителей своихъ, старшій въ семьѣ, прямой законный наслѣдникъ, былъ князь Андрей Петровичъ. Безъ предварительныхъ соглашеній, безъ избранія, а также просто, по общему влеченію, онъ и сдѣлался главою семейства. Авторитетъ его, не имѣя законнаго освященія давности, можетъ быть, и не имѣлъ вполнѣ нравственнаго значенія, которымъ пользовалась первоначальная власть; но въ этой династіи Оболенскихъ законъ прямонаслѣдія не могъ быть никѣмъ оспариваемъ. Такимъ образомъ, это семейство, это колѣно Оболенскихъ, составило опять, или вѣрнѣе сказать, осталось въ Москвѣ неразрозненнымъ, нераздробленнымъ племенемъ, а живою, самобытною и крѣпко-сплоченною единицею.

Время между тѣмъ шло своимъ порядкомъ и со своими видоизмѣненіями. Домъ сына не былъ уже старосвѣтскимъ домомъ матери. Новые обычаи, новыя требованія заглянули и отчасти, какъ бы незамѣтно, вторглись и въ него. Сохраняя, впрочемъ, свой индивидуальный отпечатокъ, свою особенную первенствующую ноту, онъ согласовался съ господствующимъ настроеніемъ общежитія. Тутъ

бывали и балы и спектакли. Но главнымъ признакомъ и отличительною принадлежностью этого дома была семейная жизнь. Семейные обѣды еще разрослись съ размноженіемъ семейства, уже усиленнаго народившимися поколѣніями. Отличительною чертою этихъ обѣдовъ было и то, что число служившихъ за столомъ почти равнялось числу сидѣвшихъ за столомъ. Въ старыхъ домахъ нашихъ многочисленность прислуги и дворовыхъ людей была не однимъ послѣдствіемъ тщеславнаго барства: тутъ было также и семейное начало. Наши отцы держали въ домѣ своемъ, кормили и одѣвали старыхъ слугъ, которые служили отцамъ ихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ призрѣвали и воспитывали дѣтей этой прислуги. Вотъ корень и начало этой толпы болѣе домочадцевъ, чѣмъ челядинцевъ. Тутъ худого ничего не было; а при старыхъ порядкахъ было много и хорошаго, и человѣколюбиваго.

Вовсе не будучи англоманомъ, князь Андрей Петровичъ живалъ большую часть года въ подмосковной своей, селѣ Троицкомъ, Подольскаго уѣзда. Подмосковная была настоящимъ и любимымъ мѣстопребываніемъ его. Тамъ онъ жилъ, въ Москвѣ гостилъ. Тамъ была и довольно богатая библіотека съ нѣкоторыми роскошными изданіями. Собралъ онъ ее во время пребыванія своего за границею. Самъ мало пользовался онъ ею, по крайней мѣрѣ, въ послѣдніе года. Однажды сказалъ онъ мнѣ, что нынѣ, кромѣ духовныхъ, онъ никакихъ книгъ не читаетъ. Не знаю, принадлежалъ-ли онъ къ какой нибудь масонской ложѣ; но пріятельскія связи его съ Плещеевымъ, княземъ А. Н. Голицынымъ, Кошелевымъ, графомъ Львомъ Разумовскимъ могутъ удостовѣрить, что онъ, по крайней мѣрѣ, сочувствовалъ ихъ духовному и мистическому настроенію. Особенно въ осенніе мѣсяцы, деревенскій Троицкій домъ былъ многолюденъ и оживленъ: всѣ родные съ своими чадами и домочадцами, дядьками, гувернантками, прислугою переселялись туда на нѣсколько недѣль. Бывали нѣкоторые и посторонніе изъ пріятелей. Между прочими бывалъ нѣкто Митрополитовъ, не знаю, кто и что именно и откуда онъ. Но онъ очень любимъ былъ въ семействѣ. Отъ него собственно слыхалъ я только одно: „А что, ваше сіятельство, каковы табачки?“ То есть каковъ послѣдній мною купленный турецкій табакъ. (Тогда сигары были еще мало извѣстны). На-

ходился тутъ и отставной генералъ Муромцевъ, большой чудакъ, но человѣкъ честный, умный, крѣпко изувѣченный въ Екатерининскихъ войнахъ, и самъ добровольно и съ любовію крѣпко изувѣчивавшій Французскій языкъ, къ особенному удовольствію графа Ростопчина, также пріятеля его. Въ Муромцовѣ было много и сердечности. Въ 12-мъ году, незадолго до Московскаго разгрома, зная, что денежныя средства Карамзина довольно ограничены и что собирается онъ выѣхать изъ Москвы съ семействомъ своимъ, онъ добровольно предложилъ ему взять у него заимообразно десять тысячъ рублей. Въ тогдашнихъ обстоятельствахъ, когда будущее было очень сомнительно, подобное предложеніе человѣку, съ которымъ не былъ онъ въ дружественныхъ связяхъ, а только въ свѣтско-пріятельскихъ, вѣрно опредѣляетъ оцѣнку и нравственное достоинство его. Даже Карамзинъ, котораго утро было исключительно посвящено исторической работѣ, жертвовалъ ею разъ или два въ теченіи лѣта и ѣзжалъ изъ Остафьева на день или два въ село Троицкое.

Осенніе сборы имѣли здѣсь преимущественно цѣлью охоту за зайцами. Охота и всѣ принадлежности ея были хорошо и богато устроены. Въ промежуткахъ при охотѣ за зайцами, усердно шла охота и за картами; не въ видѣ выигрыша, потому, что всѣ были свои, и что игра была по маленькой; но надобно-же было Русской честной компаніи не терять золотаго времени Иногда садились за карты тотчасъ послѣ завтрака вплоть до обѣда, разумѣется, по деревенскому обычаю въ часъ по полудни. Тутъ всѣ играли: отцы и дѣти, мужья и жены, старые и малые. За обѣдомъ обыкновенно съѣдали, въ разныхъ видахъ и приготовленіяхъ, всѣхъ зайцевъ затравленныхъ наканунѣ.

Карты имѣли вообще значеніе въ жизни князя Андрея Петровича, хотя онъ былъ вовсе не игрокъ. Въ первой молодости своей, пріѣхалъ онъ изъ Москвы въ Петербургъ съ рекомендательными письмами къ роднымъ, но не имѣя въ виду никакого особеннаго покровительства. Положеніе довольно затруднительное и почти безысходное; но здравый умъ его и разсудительность нашли исходъ. Въ обществахъ, гдѣ онъ бывалъ, сильные міра сего по вечерамъ играли въ коммерческія игры. Чтобы не быть въ такомъ обществѣ,

не только лишнимъ, но сдѣлаться и нужнымъ, онъ рѣшился отложить изъ небольшаго капитала своего потребную частичку и пожертвовать ею, для завоеванія себѣ мѣста въ новой средѣ своей. Онъ предложилъ себя участникомъ въ игрѣ. Опредѣленную сумму онъ, можетъ быть, и спустилъ; но главное было добыто: онъ ознакомился, сблизился съ разными значительными лицами, онъ пріобрѣлъ право гражданства въ городскомъ обществѣ. Послѣ этого, остальное пошло само собою. Въ этомъ разсчетѣ его, въ этой отрывочной чертѣ, довольно ясно обозначается и складъ ума его, и складъ тогдашняго общества. Но впрочемъ исключительно-ли и одного-ли тогдашняго?

Князь Андрей Петровичъ умеръ въ позднихъ лѣтахъ и оставилъ по себѣ довольно многолюдное семейство. Дочь его, отъ перваго брака, была замужемъ за Николаемъ Аполлоновичемъ Волковымъ, сыномъ извѣстной въ Москвѣ Маргариты Александровны и братомъ извѣстной Маріи Аполлоновны, которая, неожиданно и непредвидимо для самой себя, получила загробную журнальную извѣстность, по милости писемъ ея, довольно нескромно, а частью и не кстати обнародованныхъ въ журналахъ.

Можно положительно сказать, что князь оставилъ по себѣ добрую и честную память въ Московскомъ обществѣ и даже въ Московскомъ университетѣ, котораго былъ нѣсколько лѣтъ попечителемъ, хотя, конечно, ни приготовительныя условія, ни самыя личныя склонности и желанія, не предназначали его на подобное званіе. Онъ былъ, какъ сказано выше, честный, высокой нравственности, здраво-мыслящій и духовно-религіозный человѣкъ. Эти качества, и не безъ нѣкоторой основательности, обратили на него вниманіе и выборъ Императора Александра и министра просвѣщенія кн. Голицына. Впрочемъ, положеніе, которое умѣлъ онъ заслужить въ обществѣ, побудило еще прежде Великую Княгиню Екатерину Павловну предложить ему мѣсто губернатора въ Твери, отъ котораго онъ отказался. Кажется, позднѣе было ему предложено званіе сенаторское, отъ котораго онъ также уклонился.

Вотъ посильный очеркъ семейной картины стараго быта. Краски, мною употребленныя, не ярки, но вѣрны. Самое содержаніе кар-

тины не богато движеніемъ и замысловатостью; но оно взято съ натуры, писано съ памяти, но памяти сердечной, а по выраженію Батюшкова:

О память сердца, ты сильнѣй
Разсудка памяти печальной!

Признаюсь, мнѣ отрадно было писать эту картину и уловлять въ ней мелкія принадлежности и подробности, которыя могутъ постороннимъ зрителямъ казаться неумѣстными и лишними. Но я самъ имѣю свой уголокъ въ этой картинѣ: и я былъ въ ней дѣйствующимъ лицомъ. Весело, а можетъ быть и грустно, смотрѣть на себя, какъ въ волшебномъ зеркалѣ, и увидѣть себя каковымъ былъ ты, въ любимомъ и счастливомъ *нѣкогда*.

Впрочемъ, въ попыткѣ моей отзывается не одно частное и личное, или какъ говорится нынѣ *субъективное* побужденіе; здѣсь есть еще и болѣе и широкое, и *объективное*. Какъ ни заглядывай въ минувшее, какъ ни проникай въ него, а все же, хотя по соображенію и по сравненію, не минуешь настоящаго: невольно наткнешься на него. Такъ и со мною. Посмотрѣвъ на то, что было, хочется мнѣ окинуть бѣглымъ взглядомъ и то, что есть. Мнѣ кажется, что нынѣ едва-ли найдется семейство подобное тому, которое мною обрисовано. Не говорю уже о численности. Старое время было урожайнѣе нашего. Во всякомъ случаѣ, семейное начало потрясено и урѣзано на Западѣ еще болѣе, нежели у насъ. Семейства раздроблены, однѣ личности выступаютъ впередъ. Въ этомъ, можетъ быть, есть признакъ и выраженіе нѣкотораго улучшенія и освобожденія, или также, какъ говорится нынѣ, *соціальнаго прогресса*. Не споримъ. Но есть вмѣстѣ съ тѣмъ, можетъ быть, и признакъ, зародышъ нѣкотораго таящагося общественнаго разложенія. Есть Русская пословица: „прибыль и убытокъ на однихъ саняхъ ѣздятъ“. Люди, а особенно мы Русскіе, во всѣхъ вопросахъ, смотримъ на одну прибыль, которую возимъ и катаемъ, а на попутчика ея не смотримъ. Между тѣмъ онъ тутъ; рано, или поздно, можетъ быть, онъ дастъ себя знать. Вотъ отъ чего наши окончательные разсчеты часто невѣрны, иногда намъ и въ накладъ. Семейное начало есть почва, есть основа, на которой зиждется и общественное. Если не признавать семейнаго авторитета и дома не

пріучаться уважать его, едва-ли будемъ мы позднѣе способны признавать авторитетъ общественный и честно и съ любовью служить ему. Если мы изъ родительскаго дома выносимъ начало розни, то неминуемо внесемъ ту же рознь и въ общество. Тогда уже общества собственно нѣтъ, а будутъ отдѣльныя общества, расколы, которые каждый создаетъ по образу и подобію своему. Искусственныя узы политическаго родства не могутъ имѣть прочность и святость естественныхъ семейныхъ узъ.

Нынѣ идетъ повсемѣстно споръ объ уравненіи правъ и дѣятельности между прекраснымъ поломъ и поломъ некрасивымъ. Почему же и не идти этому спору? Нѣтъ сомнѣнія, что мужчины могли бы, съ вѣжливою уступчивостью, подѣлиться съ женщинами нѣкоторыми своими присвоенными себѣ *профессіями* и занятіями, другія даже имъ вовсе уступить. Но все это исключенія, случайности. Но все-же настоящее, природою указанное, святое мѣсто женщины есть домъ, есть семейный очагъ, будь она мать, дочь или сестра. Внѣшняя, шумная, боевая, дѣловая жизнь, многосложная дѣятельность, можно сказать, несовмѣстна съ призваніемъ женщины, даже недостойна ея; въ скромномъ и свѣтломъ призваніи она выше, независимѣе, свободнѣе, нежели будетъ она на искусственныхъ и завоеванныхъ ею подмосткахъ.

Впрочемъ, искони бывали примѣры, что женщины входили въ благородное совмѣстничество съ мужчинами. Всегда и вездѣ бывали женщины ученыя, политическія; бывали женщины великіе писатели, превосходные художники. Слѣдовательно, неодолимыхъ преградъ общество предъ ними не воздвигало; не было общественнаго давленія, которое заглушало бы природныя призванія и дарованія, когда теплились въ нихъ лучъ и зародышъ дарованія.

Скажемъ мимоходомъ: если признавать семью, то надобно же кому-нибудь оставаться дома; а когда и жена съ утра, подобно мужу, будетъ обязана отправляться на службу, на работу и къ должности, то кто же останется представителемъ и отвѣтственнымъ лицемъ семейнаго дома, семейнаго начала?

— Quelle est la femme que vous estimez le plus? спросила Бонапарте г-жа Сталь.

— Celle qui a le plus d'enfants, отвѣчалъ онъ ей на-отрѣзъ.

Отвѣтъ, конечно, не очень любезный и даже грубый. Впрочемъ, вопросъ стоитъ отвѣта.

Но когда найдется женщина, которая не только мать многочисленнаго семейства, но и нравственная связь и нравственная сила его; но когда эта мать, подобно крѣпкой и доблестной женѣ Священнаго Писанія, наблюдаетъ въ домѣ своемъ за семействомъ и хозяйствомъ своимъ и „не ѣстъ хлѣба праздности“, то безъ сомнѣнія, общее и глубокое уваженіе ей особенно и преимущественно подобаетъ.

О подобной женщинѣ молчать не слѣдуетъ. Еще болѣе: въ нашу эпоху, прыткую и легко разгорающуюся предъ каждою новизною, а вмѣстѣ съ тѣмъ, можетъ быть, чрезъ-чуръ скептическую и отрицательную въ другихъ отношеніяхъ, сознается полезнымъ и почти обязательнымъ, возбуждать, или, по крайней мѣрѣ, попытаться возбуждать, сочувствіе къ отдаленнымъ образцамъ, къ характеристическимъ личностямъ другого времени, другого порядка, другихъ понятій и, такъ сказать, вѣрованій. Не худо иногда сравнивать настоящее время съ минувшимъ и провѣрять себя, то-есть человѣка. При этомъ все хорошее, добытое новыми поколѣніями при нихъ и останется; никто и ничто не можетъ посягнуть на него. Но при сравненіи, при повѣркѣ, если что-нибудь окажется не совсѣмъ удавшимся, если окажется гдѣ-нибудь пробѣлъ, то почему не позаимствовать у минувшаго то, что не сокрушитъ, не измѣнитъ, не ослабитъ настоящаго, а напротивъ можетъ служить ему опорою и цѣлебною силою?

Подъ вліяніемъ этихъ соображеній, я вызвалъ изъ мрака забвенія, изъ замогильнаго молчанія имя и образъ княгини Екатерины Андреевны Оболенской.

CXIV.

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ И ВОСПОМИНАНІЯ О ГРАФѢ РОСТОПЧИНѢ.

1877.

I.

Графъ Ростопчинъ будетъ извѣстенъ въ исторіи, какъ Ростопчинъ 1812-го года, Ростопчинъ Москвы, Ростопчинъ пожарный: нѣчто въ родѣ патріотическаго Эрострата, озарившаго имя свое заревомъ пожара; но мѣсто, занятое въ исторіи нашимъ Эростратомъ, почетнѣе мѣста отведеннаго Ефезскому.

Между тѣмъ въ графѣ Ростопчинѣ было нѣсколько Ростопчиныхъ. Подобная разнородность довольно присуща Русской натурѣ. У насъ мало цѣльныхъ личностей; избраннѣйшіе изъ Русскихъ бываютъ болѣе или менѣе готовы на всѣ руки. Можно раздѣлить насъ на два разряда: люди на все годные, и люди ни къ чему неспособные. Которыхъ болѣе? Это другой вопросъ, на который отвѣта не даемъ. Дѣло въ томъ, что мы рѣдко готовимся предварительно къ чему-нибудь опредѣленному. Такой у насъ уже климатъ. Въ теченіи года у насъ много короткихъ дней: и въ жизни нашей также. Воспитаніе не успѣваетъ перерождать насъ, мало успѣваетъ и обогащать. *Некогда* есть роковое слово, которое часто у насъ слышится. Какъ бы то ни было, мы созданія, или изданія, не спеціальныя, а болѣе энциклопедическія и эклектическія. Мы справочные словари, а не трактаты. Въ избранныхъ натурахъ подобная смѣсь, подобная плодоносность имѣютъ достоинство свое

но имѣютъ свои невыгоды и недостатки. Такое явленіе бываетъ обыкновенно принадлежностью молодыхъ гражданскихъ обществъ, которыя воспитаніемъ и образованностью еще не строго распредѣлены на извѣстные участки; экономическое правило *раздѣленія работы* есть уже слѣдствіе и плодъ позднѣйшихъ опытовъ и установившагося порядка. Первообразъ нашей образованности, нашего просвѣщенія, есть всесторонній Петръ I. Онъ былъ и воинъ, и мореходецъ, и плотникъ, и *химикъ, и ботаникъ*, домостроитель и заводчикъ, и такъ далѣе, и такъ далѣе: все что угодно, все что на мысль придетъ. Когда барыня Россія попроситъ весь туалетъ: онъ, коллективное лицо, является одинъ на призывъ ея.

Петръ былъ державный Робинсонъ Крюзоэ, на своемъ необитаемомъ островѣ. Правильно, или нѣтъ, это опять другой вопросъ, на который также отвѣчать не беремся; но Петръ и Россію свою признавалъ пустыннымъ островомъ, и порѣшилъ превратить его собственноручно въ Европейскій вертоградъ. Сказано и сдѣлано.

Въ Ростопчинѣ, сверхъ этой Русскимъ свойственной воспріимчивости и гибкости, была еще какая-то особенная и крѣпко выдающаяся разноплеменность. Онъ былъ коренной Русскій, истый москвичъ, но и кровный парижанинъ. Духомъ, доблестями и предубѣжденіями былъ онъ того закала, изъ котораго могутъ въ данную минуту явиться Пожарскіе и Минины; складомъ ума, остроуміемъ, былъ онъ, ни дать ни взять, настоящій французъ. Онъ Французовъ ненавидѣлъ и ругалъ на чисто-Французскомъ языкѣ; онъ поражалъ ихъ оружіемъ, которое самъ у нихъ заимствовалъ. Въ умѣ его было болѣе блеска, внезапности, нежели основательности и убѣжденія. Парафразируя извѣстное изрѣченіе, можно сказать о немъ: grattez le Russe, vous trouverez le Parisien. Или: grattez le Parisien, vous trouverez le Russe, grattez encore, vous retrouverez le Tartare. Что ни говори, а въ нашемъ парижанинѣ отсѣло нѣсколько крупныхъ каплей Тамерланской крови. Впрочемъ, онъ самъ не отрекался отъ Татарскаго происхожденія; подъ однимъ изъ портретовъ своихъ написалъ онъ:

Je suis né Tartare
Et j'ai voulu être Romain;
Les Français m'ont fait barbare,
Et les Russes Georges-Dandin.

Онъ же разсказывалъ, что Императоръ Павелъ спросилъ его однажды:

— Вѣдь Ростопчины Татарскаго происхожденія?

— Точно такъ, Государь.

— Какъ же вы не князья?

— А потому, что предокъ мой переселился въ Россію зимою. Именитымъ Татарамъ-пришельцамъ лѣтнимъ цари жаловали княжеское достоинство, а зимнимъ жаловали шубы.

Можно бы до безконечности продлить списокъ разнородныхъ качествъ, аномалій, антитезъ, междоусобныхъ стихій, которыя составляли личность Ростопчина. Не думаю, чтобы въ немъ была основа государственнаго человѣка, не въ общемъ смыслѣ слова, а въ частномъ примѣненіи его. Мы часто называемъ государственными людьми ловкихъ и удачно возвысившихся чиновниковъ. Истинные государственные люди рѣдки. Исторія считаетъ ихъ много что десятками. Государственный человѣкъ есть тотъ, который, участвуя въ общественныхъ дѣлахъ, оставляетъ по себѣ на государствѣ слѣдъ, если не вѣчный, то прочный и многознаменательный. Но Ростопчинъ могъ быть хорошимъ администраторомъ; онъ имѣлъ Русское чутье, Русскую сноровку и много родственнаго съ народомъ. Не будь онъ такъ страстенъ, запальчивъ въ мнѣніяхъ и сужденіяхъ своихъ, онъ былъ бы отличный дипломатъ. Продолжалъ бы онъ военную службу, онъ, безъ сомнѣнія, внесъ бы въ лѣтописи наши имя храбраго, распорядительнаго, энергическаго военачальника. Въ годы отдыха или опалы, когда онъ жилъ въ деревнѣ, онъ съ любовью и дѣятельностью занимался сельскимъ хозяйствомъ: дѣлалъ изысканія, обращалъ вниманіе на улучшеніе полевыхъ работъ, выписывалъ изъ-за-границы сельскія орудія и пытался усвоить ихъ Русскому работнику. Улучшеніе нашего скотоводства, и особенно коннозаводства, входило также вкругъ любимыхъ заботъ его. Онъ былъ противникъ освобожденія крестьянъ, по крайней мѣрѣ при современномъ ему положеніи Россіи, но, разумѣется, не былъ изъ числа такъ-называемыхъ *крѣпостниковъ*, противъ которыхъ, заднимъ числомъ и заднимъ умомъ, такъ еще горячатся публицисты и повѣствователи.

При другихъ обстоятельствахъ и другой обстановкѣ жизни

мы могли-бы имѣть въ Ростопчинѣ писателя замѣчательнаго и первостепеннаго, подражателя и пополнителя школы Фонъ-Визина: умъ и способности его были еще болѣе гибки, оригинальность болѣе разнообразна, веселость еще болѣе сообщительна, особенно слово его было болѣе бойко, ѣдко и взрывчато, чѣмъ у самого Фонъ-Визина. Все написанное Ростопчинымъ, начиная съ путевыхъ записокъ 1786 г. до позднѣйшихъ очерковъ пера его, носитъ на себѣ неизгладимый и всегда неизмѣнный Ростопчинскій отпечатокъ. Тутъ не ищи автора,—а найдешь человѣка. Языкъ часто неправиленъ, слогъ не обработанъ, не выдержанъ; но читатель отъ того не въ убыткѣ. Тамъ гдѣ писатель хочетъ авторствовать, какъ въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ произведеніяхъ, напримѣръ: Le mystère des forêts, ou L'arbre bavard, La vérité sur l'incendie de Moscou, даже и комедія его „Живой убитый“ (кажется такъ, имѣю подъ глазами одинъ Французскій переводъ), все это слабѣе, безличнѣе. Не слышишь груднаго голоса, не видишь передъ собою живаго человѣка, каковъ онъ есть. Видишь автора, слѣдовательно болѣе или менѣе лицо условное, то есть актера. Ростопчинъ хорошъ и замѣчателенъ, когда онъ мыслитъ и пишетъ *въ слухъ*, когда онъ тотъ-же любимый и возсозданный имъ Сила Андреевичъ Богатыревъ. Искать его надобно особенно въ письмахъ его. Переписка его съ графомъ С. Р. Воронцовымъ [1])—это горячій памфлетъ; но памфлеты обыкновенно и пишутся сгоряча на нѣсколькихъ страницахъ, на извѣстное событіе, или по извѣстному вопросу. А здѣсь памфлетъ почти полувѣковой и ни на минуту не остывающій. Живое отраженіе современныхъ событій, лицъ, городскихъ слуховъ и сплетней, иногда вѣрное, мѣткое, часто страстное и вѣроятно не вполнѣ справедливое, придаетъ этой перепискѣ, особенно у насъ, характеръ совершенно отличный. Нельзя оторваться отъ чтенія, хотя не всегда сочувствуешь писавшему; нерѣдко и осуждаешь его. Многому научишься изъ этой переписки, за многое поблагодаришь; но общее, заключительное впечатлѣніе нѣсколько тягостно. Бранныя слова такъ и сыплятся: онъ за ними въ карманъ не лѣзетъ; они натурально такъ и брызгаютъ съ пера. Не хотѣлось-бы помянуть покойника лихомъ, а невольно скажешь, что онъ былъ большой ру-

[1]) Въ VIII-й книгѣ Архива Князя Воронцова.

гатель; но вмѣстѣ съ тѣмъ признаешься, что ругательство его часто очень забавно, и пришлось-бы сожалѣть, еслибы онъ менѣе ругался.

Отрывокъ его: „Послѣдній день Екатерины II и первый день царствованія императора Павла“, это яркая, живая, глубоко и выпукло вырѣзанная на мѣди историческая страница. Не знаю, оставилъ-ли онъ по себѣ полныя памятныя записки свои; но, если онѣ были написаны такимъ мастерскимъ перомъ, какъ вышепомянутый отрывокъ, съ тою-же живостью и трезвостью, то нельзя не позавидовать потомкамъ, которые, въ свое время, могутъ прочесть эту книгу.

Монархистъ, въ полномъ значеніи слова, врагъ народныхъ собраній и народной власти, вообще врагъ такъ называемыхъ либеральныхъ идей, онъ съ ожесточеніемъ, съ какою-то мономаніею, idée fixe, вездѣ отыскивалъ и преслѣдовалъ Якобинцевъ и Мартинистовъ, которые въ глазахъ его были тѣже Якобинцы. Когда въ 1812-мъ году, Жуковскій поступалъ въ ополченіе, Карамзинъ, предвидя, что едва-ли выйдетъ изъ него служивый воинъ, просилъ Ростопчина прикомандировать его къ себѣ. Ростопчинъ отказалъ, потому что Жуковскій зараженъ Якобинскими мыслями. Къ слову пришлось: скажу, что и я подвергся такому-же подозрѣнію. Въ одномъ письмѣ его нашелъ я слѣдующую замѣтку о себѣ: „Вяземскій, стихотворецъ и якобинецъ“. А между тѣмъ, въ немъ самомъ, при данномъ случаѣ, могъ-бы народиться народный трибунъ. Въ немъ были къ тому и свойства, и замашки. Его влекло къ черни: онъ чуялъ, что могъ-бы надъ нею господствовать. *Мысли въ слухъ на Красномъ крыльцѣ* и такъ называемыя *Московскія афиши* могутъ подтвердить подобное предположеніе. Въ нихъ рѣчь обращается почти исключительно къ народу, то есть къ той средѣ, которая у Французовъ называется populace, а у насъ должна называться чернь. Дѣйствіе этихъ афишекъ было различно оцѣняемо въ Московскомъ обществѣ. Жуковскому онѣ нравились; Карамзинъ читалъ ихъ съ нѣкоторымъ смущеніемъ; хотя и *якобинецъ* по приговору Ростопчина, я рѣшительно ихъ не одобрялъ, и именно потому, что въ нихъ безсознательно проскакивали выходки далеко не консервативныя. Мнѣ тогда казалось, какъ и нынѣ кажется, что правительственнымъ лицамъ, въ какихъ-бы то обстоятельствахъ

ни было, не слѣдуетъ обращаться къ толпѣ съ возбудительною рѣчью. Во-первыхъ, толпа рѣдко принимаетъ и понимаетъ ихъ въ томъ значеніи и въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ онѣ сказаны; толпа всегда готова перейти за эти предѣлы. Во-вторыхъ это— подливать горячее масло на горючія вещества, а въ такихъ веществахъ нигдѣ нѣтъ недостатка. Разумѣется, въ этихъ афишахъ или, такъ сказать, приказахъ по Москвѣ, было много и хорошаго и къ цѣли идущаго, то есть, къ сохраненію спокойствія въ столицѣ; но бывали и обмолвки, которыя могли прямо нарушить это спокойствіе. Въ одной изъ афишъ смѣется онъ надъ мужьями, которые въ видѣ *будущихъ* (выраженіе, употребляемое въ подорожныхъ) выѣзжаютъ съ женами своими. Смѣяться тутъ нечего. Нельзя требовать поголовнаго героическаго населенія. Выѣзжать изъ города, угрожаемаго непріятельскимъ нашествіемъ, дѣло довольно обыкновенное и благоразумное. Въ другой афишѣ сказано (пишу съ памяти, но, если не буквально, то приблизительно вѣрно): „хватайте въ виски и въ тиски и приводите ко мнѣ, хоть будь кто семи пядей во лбу, справлюсь съ нимъ“. Эти *семь пядей во лбу* никого иначе означать не могутъ, какъ дворянъ, людей высшаго разряда. Послѣ такой уличной расправы недалеко и до смертоубійства, особенно если *семи-пяденный* станетъ отбиваться и защищаться. Многіе кровавые государственные перевороты происходили изъ подобныхъ неожиданныхъ столкновеній. Москва отъ копѣечной свѣчки сгорѣла, говоритъ народная поговорка. Русскій Богъ, позднѣе, не спасъ ея отъ пожара, но, по крайней мѣрѣ, до пожара спасъ онъ ее отъ междоусобицы и уличной рѣзни. Впрочемъ, нѣкоторымъ даромъ не обошлось. Довольно Нѣмцевъ поколотили, подъ предлогомъ, что они шпіоны; были и Русскія жертвы. Дворянинъ (кажется Чичеринъ) былъ признанъ толпою за шпіона и крѣпко побитъ за свое запирательство; а запирательство его заключалось въ томъ, что онъ былъ глухъ и нѣмъ отъ рожденія.

II.

Ростопчинъ былъ темперамента нервнаго, раздражительнаго, желчнаго. Мы это видимъ изъ писемъ его и частыхъ жалобъ на худое здоровье. По многимъ свидѣтельствамъ можно было-бы заключить, что онъ былъ натуры ненавистливой, неуживчивой, строптивой, неподатливой. Да и нѣтъ. Продолжительныя и неизмѣнчивыя связи его съ людьми, каковы князь Цицiановъ, герой Кавказа, графъ Воронцовъ, графъ Головинъ, Карамзинъ и другіе, доказываютъ между тѣмъ, что онъ былъ одаренъ сердцемъ, способнымъ любить и счастливо выбирать друзей своихъ. Другія, второстепенныя личности, изъ приближенныхъ къ нему по случайностямъ службы, или другимъ частнымъ обстоятельствамъ, по крайней мѣрѣ нѣкоторыя изъ нихъ пользовались пріязнью и покровительствомъ его, долго по прекращеніи этихъ связывавшихъ обстоятельствъ. Отношенія подчиненныхъ или обязанныхъ лицъ къ начальнику или милостивцу, переживающія самые интересы этихъ отношеній, могутъ часто служить осѣлкомъ и мѣриломъ для нравственной оцѣнки тѣхъ и другихъ. Прежде это было такъ; нынѣ это общинное, круговое начало ослабѣло. Начальники еще есть, пока они начальники; но о милостивцахъ совѣстно и помянуть. Въ наше время закидаютъ.

Служба Ростопчина при Императорѣ Павлѣ неопровержимо убѣждаетъ, что она не заключалась въ одномъ раболѣпномъ повиновеніи. Извѣстно, что онъ въ важныхъ случаяхъ оспаривалъ съ смѣлостью и самоотверженіемъ, доведенными до послѣдней крайности, мнѣнія и предположенія Императора, котораго оспаривать было дѣло нелегкое и небезопасное. Вѣроятно, бывали у него и тогда минуты, когда дѣло шло о сожженіи кораблей своихъ, какъ позднѣе о сожженіи Москвы; но рѣшимость никогда не измѣняла ему, когда была вызываема обстоятельствами и тѣмъ, что онъ признавалъ долгомъ чести и совѣсти. Благодарность и преданность, которыя сохранилъ онъ къ памяти *благодѣтеля* своего (какъ всегда именуетъ онъ Императора Павла, хотя впослѣдствіи и лишившаго его довѣренности и благорасположенія своего) показываютъ свѣтлыя свойства души его. Благодарность къ умершему, можетъ

быть, доводила его и до несправедливости къ живому. Нерѣдко въ сужденіяхъ его о Императорѣ Александрѣ отзываются горечь и суровость, которыя производятъ прискорбное впечатлѣніе. Вообще, нечего сказать, не былъ онъ ни оптимистъ, ни благоволителенъ къ людямъ. Мольеръ нашелъ-бы въ немъ Альцеста своего. Уже въ молодости пробивалось презрѣніе его къ людямъ. Чѣмъ далѣе углублялся онъ въ жизнь и въ сообщество или, скорѣе, въ столкновеніе съ людьми, тѣмъ болѣе росло во всеоружіи своемъ и рѣзче выражалось это прискорбное и, можно сказать, болѣзненное свойство. Презрѣніе къ людямъ, то есть къ подобнымъ себѣ, можетъ быть недугъ наносный, которымъ заражаешься отъ пагубнаго прикосновенія къ другимъ; но можетъ быть оно недугъ и внутренній, спорадическій, самородный: тогда зарождается онъ отъ внутренняго разлада, отъ того, что человѣкъ болѣе или менѣе недоволенъ самъ собою. Избытокъ собственнаго неудовольствія разливается на другихъ. Этимъ вымещаешь на другихъ, съ больной головы на здоровую, чувство скорби и досады на себя.

Карамзинъ сказалъ.

Кто въ мирѣ и любви умѣетъ жить съ собою,
Тотъ радость и любовь во всѣхъ странахъ найдетъ.

Эти два стиха прозрачно вылились изъ чистой безмятежной души. При всемъ уваженіи ко многимъ личнымъ достоинствамъ Ростопчина, позволю себѣ сказать, что именно этого мира, этой любви въ немъ, вѣроятно, и не было. Правда и то, что жизнь одного не походитъ на жизнь другаго. Карамзинъ велъ жизнь философическую: Ростопчинъ боевую, и такую боевую, которая далеко оставляетъ за собою ратную жизнь на поляхъ сраженій. Нравственная борьба съ людьми, событіями и тайными враждебными силами на поприщѣ придворной жизни и государственной дѣятельности, тягостнѣе всякой физической и тѣлесной борьбы. Это школа, въ которой можно пріобрѣсти много мужества и опытности, но можно растратить въ ней и много изъ своихъ внутреннихъ сокровищъ. Эта школа великая наставница, но не рѣдко и великая возмутительница.

Сказать-ли? Вообще, мы недовольно проникнуты нравственною мудростью Ефрема Сирина: „даруй ми зрѣти моя прегрѣшенія и

не осуждати брата моего". Вся сила заключается въ этихъ немногихъ словахъ: ею пресѣкается взаимная вражда, и зиждется миръ въ человѣцѣхъ благоволенія. Пушкинъ, который стихами парафразировалъ эту молитву, говаривалъ, что она такъ и дышетъ монашествомъ. Мнѣ кажется, что въ ней есть общее человѣческое чувство, общая жалоба человѣческой немощи, призывающей свыше силу, которой она въ себѣ не находитъ. Эта молитва,—сокращенный курсъ житейской нравственной мудрости, равно пригодный и для монаха, и для мірянина, для христіанина и для язычника.

Между тѣмъ, этотъ Ростопчинъ-мизантропъ, отыскивающій въ людяхъ поровы, какъ астрономъ отыскиваетъ въ солнцѣ пятна, не былъ вовсе Ростопчинъ-нелюдимъ. Напротивъ, ему нужно, необходимо было сообщество людей, можетъ быть, какъ хирургу-оператору нужна клиника. Впрочемъ, это предположеніе, вѣроятно, слишкомъ изысканно и сурово. Скажемъ простѣе: уединеніе, отшельничество не могли ладить съ натурою его; онъ любилъ быть дѣйствующимъ лицомъ на живой и свѣтской сценѣ; ему, какъ актеру, отличающемуся великимъ дарованіемъ и художествомъ, нужны были партеръ и ложи, занятыя избранными и блестящими слушательницами. Особенно дорожилъ онъ послѣдними. Уже кѣмъ-то было замѣчено, что люди, прошедшіе чрезъ пылъ общественной, государственной дѣятельности и чрезъ пылъ и тревогу событій, особенно любятъ женское общество. Честолюбіе не мѣшаетъ быть волокитою и сердечкинымъ. Посмотрите на Потемкина. Въ письмахъ къ одной изъ своихъ пріятельницъ, называетъ онъ ее: „моя улыбочка!" Сколько поэзіи въ этомъ сердечномъ и шуточномъ выраженіи, и какъ неожиданно оно подъ перомъ великолѣпнаго и честолюбиваго князя Тавриды. Не знаю, былъ-ли Ростопчинъ способенъ на такую поэзію; но по многимъ даннымъ можно заключить, что и онъ не былъ равнодушенъ къ женской улыбкѣ.

Также, не знаемъ, чѣмъ былъ онъ дома по утрамъ; но вечеромъ, въ избранныхъ салонахъ, былъ онъ душою общества. Онъ прекрасно владѣлъ даромъ слова, по-русски и по-французски. При немъ, охотникамъ говорить самимъ было мало простора. Да и невыгодно было-бы вступать съ нимъ въ совмѣстничество: должно было ограничиваться тѣмъ, что на театральномъ языкѣ называется

реплика (la replique). Разговоръ или, скорѣе, монологъ его былъ разнообразенъ содержаніемъ, богатъ красками и переливами оттѣнковъ. Онъ хорошо зналъ историческое царствованіе Екатерины и анекдотическое царствованіе Павла. Онъ былъ довольно искрененъ и распашистъ въ воспоминаніяхъ и разсказахъ своихъ. То отчеканивались на лету живыя страницы минувшаго, то разсыпались легкія, но бойкія замѣтки на людей и дѣла текущаго дня. Онъ, въ продолженіи рѣчи своей, имѣлъ привычку медленно и, такъ сказать, поверхностно принюхивать щепотку табаку, особенно, предъ острымъ словомъ, или при остромъ словѣ; онъ, табакомъ, какъ будто порохомъ, заряжалъ свой выстрѣлъ.

Ходили слухи, и кажется въ печати было передаваемо, что память о злополучной катастрофѣ Верещагина сильно подѣйствовала на послѣдніе годы жизни его, что она смущала тревожила его безсонныя ночи, пугала видѣніями и такъ далѣе. Худо вѣрится мнѣ этимъ указаніямъ. Нѣтъ сомнѣнія, что весь 1812 годъ былъ способенъ потрясти сложеніе его, физическое и нравственное. Онъ вынесъ эту грозу на плечахъ своихъ. Послѣдствія благополучныя, которыя увѣнчали эту годину народною славою и возвысили нѣкоторыя имена, такъ сказать, миновали его. Онъ остался въ сторонѣ; развѣ одни нареканія и общее неудовольствіе пали на долю его. Изъ всей этой исторической драмы, въ которой могъ онъ вполнѣ признавать себя въ числѣ лицъ дѣйствующихъ, на первомъ планѣ, вынесъ онъ одно оскорбленное чувство честолюбія, оскорбленное сперва двусмысленными къ нему отношеніями князя Кутузова, потомъ—по его понятіямъ—неблагодарностью Москвичей, а въ концѣ всего охлажденіемъ, почти до неблаговоленія, Императора Александра. Это чувство выразилъ онъ, хотя и шутливо, но довольно вѣрно и съ оттѣнкомъ грусти, въ своемъ четверостишіи: Vai voulu être Romain, et les Russes m'ont fait Georges-Dandin. Между всѣмъ этимъ, можетъ быть, и смерть Верещагина осталась темнымъ пятномъ въ памяти его; но она не легла незагладимымъ и неискупимымъ грѣхомъ на совѣсти его. Ни въ письмахъ его, ни, сколько мнѣ извѣстно, въ самыхъ потаенныхъ разговорахъ его съ приближенными ему людьми (напримѣръ, съ Александромъ Яковлевичемъ Булгаковымъ, отъ котораго могъ-бы я узнать правду), нигдѣ не

отозвалась трагическая нота, которая звучала-бы угрызеніемъ совѣсти и раскаяніемъ. Посмотрите на него въ Парижѣ: онъ вполнѣ и какъ будто безъ всякаго отношенія къ минувшему, въ совершенной независимости отъ него, жилъ Парижскою жизнью, жизнью текущаго дня. Онъ слѣдитъ за движеніями его, посѣщаетъ салоны и въ нихъ завоевываетъ слушателей себѣ, охотно посѣщаетъ театры, особенно маленькіе, въ которыхъ разыгрываютъ забавныя и веселыя піесы; звучнымъ и громкимъ хохотомъ своимъ привѣтствуетъ онъ остроумныя глупости, съ простотою и художествомъ высказываемыя любимцемъ его, актеромъ Потье (Potier). Встрѣчалъ я его въ Петербургѣ, между прочимъ, въ салонѣ Свѣчиной, въ Москвѣ въ салонѣ графини Бобринской, для которой тогда же были имъ написаны шутливые и остроумные: „Mes mémoires, ou moi au naturel écrits, en dix minutes“. Можно было при встрѣчахъ съ нимъ, здѣсь и тамъ, подъ наружнымъ блескомъ, замѣтить, что въ немъ, уже не было первоначальнаго пыла и увлеченія; видно было, что взволнованная жизнь и тяжкія событія прошли по немъ и оставили довольно глубокія бразды; видно было неудовольствіе жизнью, нѣкоторая усталость, пресыщеніе, пожалуй, нѣкоторые озлобленіе; но сердца ноющаго подъ язвою жгучаго и тяжелаго воспоминанія подмѣтить въ немъ рѣшительно было невозможно. Рѣчь его была еще раздраженнѣе, сужденіе о людяхъ еще суровѣе и оскорбительнѣе; но при томъ, были они мѣтки и замысловаты. Говоря вообще о такъ называемыхъ Декабристахъ, сказалъ онъ однажды: въ эпоху Французской революціи сапожники и тряпичники (chiffoniers) хотѣли сдѣлаться графами и князьями; у насъ графы и князья хотѣли сдѣлаться тряпичниками и сапожниками.

Въ доказательство его будто тревожныхъ ночныхъ, Гамлетовскихъ и Макбетовскихъ галлюцинацій указывали на безсонницы его. Да онъ, гораздо ранѣе 1812 года, былъ уже безпощадный полуночникъ, и полуночникъ эгоистическій. Бывало, когда пріѣдетъ къ кому нибудь на вечеръ, онъ засиживается до трехъ часовъ утра и далѣе. Гости разъѣдутся, хозяинъ пойдетъ спать, останется одна хозяйка. Въ ранней молодости моей, я самъ въ домѣ Карамзиныхъ бывалъ нерѣдко жертвою его ночнаго эгоизма. Изъ приличія, долженъ я былъ оставаться; иногда весело бывало заслушиваться

разсказовъ его, а иногда и спать хотѣлось. Но онъ не любилъ рано возвращаться домой и выжидалъ урочнаго часа своего.

Хочется высказать еще нѣсколько словъ по поводу несчастнаго Верещагина. Дѣло его заключалось въ томъ, что въ 1812 году перевелъ онъ изъ запрещеннаго № Нѣмецкой газеты прокламацію Наполеона I при вступленіи въ Россію и сообщалъ другимъ свой переводъ. Тутъ преступнаго, преднамѣреннаго злоумышленія еще не видно; еще менѣе измѣны Отечеству. Могъ быть одинъ проступокъ. Кто, особенно въ молодости, не любопытствуетъ прочесть запрещенную книгу, запрещенную газету! Все это относится, болѣе или менѣе, къ свойственной человѣчеству слабости прельщаться и лакомиться запрещеннымъ плодомъ. Вся исторія человѣка основана на этой слабости. Но современныя, грозныя обстоятельства придавали дѣйствію Верещагина особенную важность. Ростопчинъ не могъ пропустить его безъ вниманія и безъ строгаго изслѣдованія; не могъ, какъ-бы то было въ обыкновенное время, ограничиться одною полицейскою расправою. На бѣду Верещагина, къ этому присоединилось еще одно обстоятельство: прикосновеніе къ дѣлу почтамтскаго вѣдомства. Верещагинъ познакомился съ прокламаціею, по сношеніямъ своимъ съ этимъ вѣдомствомъ. Ростопчину суждено было на служебной дорогѣ своей препираться съ нимъ. Въ царствованіе Павла онъ съигралъ злую шутку надъ Пестелемъ: здѣсь жертвою его палъ Ключаревъ. Московскій почтъ-директоръ слылъ мартинистомъ, а въ предубѣжденномъ умѣ Ростопчина, мартинистъ и государственный преступникъ—слова имѣющія одинакое значеніе. По логической послѣдовательности понятія глубоко вкоренившагося, даже если оно и заблужденіе, эти двѣ личности, Ключаревъ и Верещагинъ, воплотились въ одну; тотъ и другой—сообщники въ преступномъ умышленіи противъ безопасности и цѣлости государства, и еще въ какое время? Когда побѣдоносный врагъ и такъ угрожаетъ разореніемъ и гибелью! Вотъ процессъ мышленія, который могъ зародиться и развиться въ головѣ Ростопчина. Развязку немудрено угадать. Медлить было нечего: Ключаревъ пока высланъ изъ Москвы, Верещагинъ отданъ подъ судъ. Въ преданіи его суду заключается уже приговоръ его. Все послѣдующее объясняется само собою; не оправдывается—сохрани Боже—но только объясняется.

Между тѣмъ, и то сказать: юридическаго, достовѣрнаго изслѣдованія смерти Верещагина нѣтъ. Положительно только одно: онъ преданъ былъ смерти и на куски разорванъ чернью. Но какое было личное участіе самого Ростопчина въ этой кровавой расправѣ, достаточно не провѣрено, не рѣшено. Все основывается на отдѣльныхъ разсказахъ и догадкахъ. Догадка, что Ростопчинъ принесъ эту жертву для личнаго спасенія своего, не заслуживаетъ ни малѣйшаго довѣрія. Во-первыхъ, всею жизнью своею, характеромъ своимъ онъ отражаетъ эту догадку: никто не имѣетъ права опозорить ею имя его. Во-вторыхъ, бояться ему народа, хотя столпившагося предъ домомъ его, было нечего: какъ Московскій генералъ-губернаторъ, оставляющій Москву, не добровольно, а въ силу неотвратимыхъ обстоятельствъ, онъ имѣлъ всѣ возможные способы отвлечь народъ и приказать ему собраться для совѣщанія въ совершенно противоположную часть города, а самъ благополучно при этомъ выѣхать другими улицами изъ города. Впрочемъ и безо всякаго созыва, могъ онъ улучить удобный часъ для выѣзда своего. Скорѣе уже можно заключить, что, по какому-то роковому вдохновенію, онъ намѣренно замедлилъ отъѣздомъ, чтобы сопоставить лицемъ къ лицу народъ и того, котораго признавалъ онъ измѣнникомъ народу. Ему могло казаться, что въ этомъ жертвоприношеніи совершаетъ онъ суровый, но налагаемый на него долгъ возмездія. Разумѣется, понятіе не христіанское, а болѣе языческое.

Въ страстномъ, возбужденномъ настроеніи своемъ, мало-ли что могло мерещиться ему? Онъ могъ думать, что одинъ въ Москвѣ, Верещагинъ, одинъ онъ во всей Россіи, способенъ радоваться побѣдамъ Наполеона и вступленію его въ Москву. А у самого Ростопчина душа скорбѣла до смерти о потерѣ Москвы. Въ ней видѣлъ онъ и потерю Россіи. Впрочемъ ему некогда и неудобно было разсуждать. Чувства и мысли его было взволнованы и мутны. Онъ задыхался отъ скорби и злобы. Онъ страдалъ. Страданіе и страсть (эти два слова сливаются иногда въ одномъ значеніи), при натурахъ подобныхъ Ростопчинской, не могутъ смиренно покоряться. Страданіе производитъ на нихъ напоръ и удрученіе, а они производятъ взрывъ. Вотъ его и взорвало.

Былъ слухъ, что, пользуясь полномочіями, данными ему на это

время Императоромъ, онъ намѣревался вытребовать изъ Нижняго-Новгорода Сперанскаго, отъ графа Петра Александровича Толстаго. Онъ въ немъ также видѣлъ государственнаго измѣнника. Ему, еще болѣе нежели Кутузову, могъ онъ приписывать паденіе Москвы. Не ручаюсь за достовѣрность этого слуха, даже сомнѣваюсь въ ней. Но, во всякомъ случаѣ, существованіе этого слуха показываетъ, каково могло быть современное мнѣніе о Ростопчинѣ, о характерѣ и ничѣмъ несмущаемой и ни предъ чѣмъ не отступающей рѣшимости его.

Чувствую здѣсь необходимость оговориться предъ читателемъ. Напрасно видѣлъ-бы онъ во мнѣ присяжнаго защитника quand même, во что бы ни стало. Вообще защитники не по убѣжденію, а, такъ сказать, по наряду, которые сами не вѣруютъ въ защиту свою и въ право защищаемаго на оправданіе, возбуждаютъ во мнѣ сомнѣніе, а уже никакъ не желаніе слѣдовать примѣру ихъ. Я просто объясняю: очищаю вопросъ отъ прилѣпившихся къ нему паразитныхъ обстоятельствъ, можно сказать, сплетней.

Впрочемъ и я не предрѣшаю и не разрѣшаю вопроса: предлагаю однѣ догадки свои, болѣе умозрительныя и психическія, нежели юридическія. За неимѣніемъ положительныхъ и достовѣрныхъ уликъ, и такія догадки имѣютъ право на голосъ.

Зналъ я людей, которые выдавали себя за очевидцевъ помянутой драмы; не сомнѣваюсь, что они и были очевидцами. Но очевидѣніе не есть еще достаточный авторитетъ. Уголовныя тяжбы представляютъ намъ примѣры разнорѣчивости въ показаніяхъ свидѣтелей. И не то, чтобы иные хотѣли затемнить истину: нѣтъ! Они просто сбиваются, потому что впечатлѣнія часто сбивчивы, потому что сами глаза часто сбивчивы. Мои очевидцы также не совсѣмъ бывали согласны въ показаніяхъ своихъ. Да къ тому-же они не имѣли свойствъ, которымъ свидѣтельства могутъ запечатлѣться историческою достовѣрностью. А мы вообще очень легковѣрны; мы охотно вѣримъ всѣмъ и всему. Печать наша не всегда и недовольно тщательно пропускаетъ чрезъ сито очистительной критики преданія, разсказы, анекдоты, которые попадаются ей подъ руки. Зерна, отребье, плодъ, шелуха, сбыточное и несбыточное, возможное и невозможное, ложь и правда, все валится, какъ оно есть, неочищенное, непровѣренное, непроцѣженное.

Въ заключеніе повторимъ, что прямое участіе графа Ростопчина въ смерти Верещагина положительно и юридически не доказано; слѣдовательно считать его виновнымъ въ той степени, какую обыкновенно приписываютъ ему, беззаконно и несправедливо.

Такимъ заключеніемъ я и себя обвиняю. Катастрофа Верещагина сильно, въ свое время, меня взволновала. Съ той поры, отношенія мои къ графу Ростопчину очень измѣнились и таковыми остались до самой кончины его. Когда старшій сынъ Графа былъ посаженъ въ Парижскую долговую тюрьму, въ то самое время, въ которое былъ въ Парижѣ и отецъ (впрочемъ уже нѣсколько разъ выкупавшій сына изъ долговъ), я негодовалъ на подобное родительское жестокосердіе. Помню, что тогда писалъ я изъ Варшавы Карамзину, что заточеніе въ тюрьмѣ молодаго Ростопчина служитъ дополненіемъ къ смерти Верещагина. Карамзинъ очень любилъ и уважалъ Ростопчина; въ отвѣтъ на мой рѣзкій отзывъ получилъ я порядочную головомойку. Нечего и говорить, что Карамзинъ не могъ-бы примириться ни съ какимъ смертоубійствомъ, но онъ не могъ и рѣшиться на обвиненіе человѣка безъ неопровержимыхъ уликъ и суда.

Таково теперь мнѣніе и мое.

Поболѣе безпристрастія и терпимости еще не есть равнодушіе. Молодость прежде всего впечатлительна и неразборчива; въ молодости чувствуешь сильно и благодушно, но часто опрометчиво. Когда поживешь, начинаешь болѣе и обдуманнѣе испытывать.

КОНЕЦЪ СЕДЬМАГО ТОМА.

MAY 28 1943